

Тамара Петкевич



*На фоне звёзд
и страха*

Тамара Петкевич

*На фоне звёзд
и страха*

Воспоминания

Санкт-Петербург
«Балтийские сезоны»
2008

УДК 882-94
ББК 84 Р7
П 29

В книге использованы фотографии
из личного архива автора.

Художник *А. В. Дзяк*

ISBN 978-5-903368-11-2

© Т. В. Петкевич, 2008
© А. В. Дзяк, оформление, 2008

ОТ АВТОРА

Книга воспоминаний «На фоне звёзд и страха» фактически является прямым продолжением первой – «Жизнь – сапожок непарный», вышедшей в 1993 году и переизданной в 2004-м.

«Сапожок» охватывает 1920–1952 годы (жизнь семьи, учёба, арест отца в 1937 году, мой арест в 1943-м, когда мне было 22 года, следствие, суд, осуждение на семь лет лишения свободы по статье 58-10, часть 2, на три года поражения в правах с конфискацией имущества, годы неволи, освобождение).

Возвращение в «вольную жизнь» сопровождалось уймой запретов. Вписанная в паспорт административная 39-я статья не разрешала вернуться в Ленинград. С этой статьёй я также не имела права жить в столицах союзных республик и в городах, где были морские порты. У меня не было ни дома, ни профессии, ни семьи. Клеймо «отсидевшей» мешало устройству на любую работу. Происшедшая на Севере схватка с начальником РО МГБ внесла дополнительные сложности.

Немало трудностей добавила и путаница в документах. В трудовой книжке, выданной мне до ареста, и в справках об освобождении и реабилитации отчество указано правильно – Владиславовна. Однако в паспорте, который я получила в 1950 году, по небрежности ЗАГСа появилось неверное отчество – Владимировна. Так я стала – и по сей день пребываю – и Владиславовной, и Владимировной. Прошу не винить за это разночтение моих издателей.

Не желая вписываться в идеологию системы, покалечившей жизни столько друзей и людей вообще, я хотела одного: прожить отпущенный мне срок согласно исконным человеческим законам и собственному разумению. Вопросы адресовала отнюдь не власти, а напрямую – Жизни. У неё же были и есть свои законы. Они не предусматривали сохранения места для вырванных или выпавших из неё. В переводе на бытовой язык жизнь будто говорила: «Ну, мотайся как-то возле. Сама изыскивай занятие и смысл».



У поэта Давида Самойлова есть персонаж, место обитания которого означено им чутко и достоверно:

Он пишет, бедный человек,
Свою историю простую,
Без замысла, почти впустую
Он запечатлевает век.

А сам живёт на фоне звёзд,
На фоне снега и дождей,
На фоне слов, на фоне страхов,
На фоне снов, на фоне ахов!..

Я решила воспользоваться этим поэтическим образом в названии второй части моих воспоминаний. Для множества людей XX века, переживших раскулачивание, репрессии, первую и вторую эмиграции, бедствия Отечественной войны, это и адрес, и точка обзора.

В 1956 году я была реабилитирована «за отсутствием состава преступления». В 1959-м вернулась в Ленинград. Мне было сорок с лишним лет, когда я села за воспоминания о пережитом. К тому толкала отчаянная, сводящая с ума потребность отыскать хоть какую-то логику в «великом эксперименте»; понять во имя чего были отняты и сломаны жизни у такого множества людей. Не уложив этого в голове и в сердце, невозможно было существовать и в космогоническом пространстве.

Я не предполагала, что ещё через сорок лет, на фоне меняющейся Истории возникнет потребность *дорассказать* жизнь.

Начав писать свою вторую книгу в восемьдесят лет, я нуждалась в любой поддержке и помощи – и встретила её со стороны самых разных людей. Я благодарна им за бескорыстие, за щедрость, за проявления творческой фантазии.

Самое сердечное и глубокое спасибо Наталье Владимировне Клименченко, Татьяне Владимировне Клименченко, Ольге Ефимовне Рубинчик, Ларисе Романовне Новиковой, Елене Александровне Фроловой, Ольге Матвеевне Мительман, Алексею Викторовичу Чистоклетову, Светлане Анатольевне Льянвской, Анне Леонидовне Роговой, Римме Григорьевне Запесоцкой, Ксении Николаевне Гловой и всей её семье, Нине Павловне Снетковой, Ирине Бенедиктовне Комаровой и многим-многим другим!

ГЛАВА ПЕРВАЯ

То, что в первой книге условно названо «другой жизнью», берёт начало в раннем июльском утре 1952 года.

Когда, продержав меня всю ночь в зарешёченной конуре местного отделения МГБ посёлка Микунь, гремя ключами, открыли дверь и сказали: «Выходи!», ни одно из чувств во мне не отозвалось на «милость» ведомства.

Было около пяти часов утра. Какими-то гулливеровскими выделись грубоватые песчинки дороги, по которой я механически шагала к дому. Не поэзией, а металлическим чистоганом вонзался в слух птичий гомон... Но вдруг, как при тектоническом проломе всей толщи вымороченной жизни, подключив все ранее усмирённые бунты, меня стал бешено мотать тайфун. Смещая пласты сознания и подсознания, то ли во мне, то ли извне что-то орало: «Хватит! Если не хочешь погибели, немедля срывайся с места! Куда попало беги отсюда! Без оглядки! Ну-у-у!!!»

И меня уже действительно куда-то несло безумие протеста. Ни в какой мере, ни в какой из форм я не могла больше выносить тупого напора вербовки гэбистов, избличавших меня в том, что я куда более злостный враг, чем они считали, что мне следовало «припать» дополнительный срок, а не выпускать из лагеря, раз я смею отвечать отказом советской власти на предложение сотрудничать с нею.

Проведённая под арестом ночь подтверждала реальность их угроз: засадить меня снова в лагерь, заслать в произвол лесопункта.

Задыхаясь, не поспевая набрать воздуха, я в эти же самые секунды должна была взять и рассечь эту дурную вязь во имя того, чтобы дышать, как хочу и могу! Не жить, нет, а только *дышать*.

Денег на железнодорожный билет не набиралось. Вольнонаёмные знакомые? Их было в достатке, но обращаться к ним – риск. А друг? Друг фактически только один: заключённый Борис Маевский.

Просчитав минуты и секунды, когда его выпускали из зоны (он имел пропуск, поскольку как художник единолично оформлял дом культуры), заспешила навстречу. Отчеканила, замедлив возле него шаг:

– Имитировали арест. Продержали всю ночь за решёткой. Грозят новым сроком или высылкой на лесопункт. Больше не могу. Уезжаю!

Приостановившись, он так же чётко атаковал единственным вопросом:

– Куда?

Господи! Я знала, что – отсюда. За тысячи вёрст, но только – отсюда. Куда-то в Сибирь?

– Не знаю, – ответила как на духу.

– Езжай к Ма! – метнул он. – Да! К Ма!

– В Москву? К твоей маме? Чушь!

– Не чушь, а именно так. Там рассудите, как действовать дальше.

– Нет!

– Почему?

– Я ей не по душе.

– Ты ж ни черта не поняла! Узнаешь её – устыдишься. Да, к ней! Прошу! Наверняка нет денег. Сейчас достану. Жди возле железнодорожной будки...

На то, что заключённый Борис решит проблему денег, надеялась. Но конкретный адрес пристанища? Этого в виду не имела. К его Ма? В Москву? Разве возможно?..

Тем не менее, словами «Езжай к Ма» Борис придал безумию подобие реальности. А я была безумна.

До прибытия поезда «Воркута–Москва» оставалось около часа. Остальное складывалось уже само собой. Дождавшись Бориса, попросила кого-то из посторонних купить билет. Чтобы не быть замеченной, села в поезд не с платформы, а с земли, в тамбур последнего вагона. Обернулась в сторону княжпогостского кладбища, где покоился Колюшка: «Прости, родной, прости. Не сумела попрощаться. Прощай, единственный! Прощай!..»

Борис сказал, что вернётся в зону, чтобы поезд проводить оттуда.

Вплотную притёртая к насыпи железной дороги, зона располагалась ниже её. Из окна набравшего скорость поезда увидела Бориса в опутанном проволокой квадрате со сторожевыми вышками по углам. Он стоял один между бараками, раскинув в прощальном жесте обе руки. Был похож на крест. О Господи! Господи! Боже мой!

На языке всех времен это именовалось побегом. Только бежала я не из темницы, не из лагеря, а из-под ока власти с воли. С ВОЛИ – к СВОБОДЕ!!!

После семи лет отсижки в лагерях и пяти – фактической ссылки свобода была определена мне законом, по приговору советского суда.

Но, не подпуская к этой свободе, власть алкала, чтобы сначала ей запродали душу. На ошейник норовила прицепить поводок.

Стучали колеса. Разум и чувства – вразброс. Доверилась бунту, стихии? Сумела! Бегу? Без вещей, без документов, прихватив один паспорт. Сорвалась с первого после освобождения места работы. Оставила первую свою, после лагерных барачков, комнату. Каким трудом терпения были нажиты эта служба и это жильё! Там, да, да, теперь уже – там, на окне остались висеть подаренные одной ленинградской дамой гардины. Еженочно уличный фонарь проецировал на потолок их затейливый узор. Разгадывая его, я придумывала утешительные решения Судьбы. И как же я верила в то, что отыщу своего сыпишку и мы с ним, как лакомки, неторопливо и упоённо будем делить тот ненаглядный уют...

На какое-то время в оставленном доме воцарится теперь тишина. А затем? Затем – поселятся другие люди...

В эти минуты там ещё корчится запуганная соседка Фаня.

Мучаясь грехом доносительства, она и медсестра Анна Фёдоровна всю ночь глушили себя водкой. Спать не ложились. Гадали: выпустят меня или нет. Обе в бестолковой, пьяной стремительности открыли мне дверь в шестом часу утра. Сбивая друг друга с ног, вынесли и влили мне в рот гранёный стакан водки, которую я не умела пить... Дичь! Дичь!

Время от времени забывалась в поезде сном. Приходя в себя, ничего не понимала. То внезапно торжествовало удивление перед решимостью бежать, то резко осаживала знакомая стужа страха. Для многомиллионного государства я – былинка. Они мстительны, злобны. Знаю. Но не станут же они разыскивать меня! К тому же я еду в самую запретную точку страны – в Москву. Там решу, куда поеду дальше. Затеряюсь. И, Боже мой, вольный же я, в конце концов, человек!

Я не хотела осознавать того, что принесла мне воля. Украл, увезли сына. Умер Коля. Все друзья были сосланы на пожизненный срок в Сибирь. Из глухой безработицы выбралась случайно, устроившись в амбулаторию санитаркой. Работала на две ставки. Ведомство ГБ выкручивало вербовкой руки.

Что у меня вообще есть? Ничего. Ничего, кроме «чувства войны»: никому не отдать внутренней свободы.

На Севере теперь оставались два давних друга: в Княж-Погосте – освобождёвшийся из лагеря несколько лет назад Дмитрий Фемистоклевич Караяниди, в Микунди – заключённый Борис Маевский.

Отношение друзей к факту вербовки выявило их разительную несхожесть. Освободившийся Дмитрий четко обозначил свою позицию: «Не бойтесь их, даже если станут угрожать наганом. Ничего они вам *не посмеют* сделать. Стойте на своём: “Нет!”» Только Господу известно, как упрочила душу его поддержка, как благодарна я была Дмитрию за союзничество. Нелепо было связывать это с тем, чем он заключил разговор: «Больше я к вам не приду. Никогда». Последнее я объяснила себе смущением, неожиданно примешавшимся к давней дружбе. И всё же... Он больше действительно не пришёл.. Выбыл тем из друзей. А они? Они – *посмели*. Наганом не грозили – под замок заперли. И вот, я – бегу.

Так и получилось, что в друзьях остался один Борис. У каждого, наверное, есть такой. Он добивается твоей любви, а ты в нём видишь только друга, незаменимого собеседника, и знаешь: верить можешь ему одному.

Во что бы то ни стало желая примирить меня с властью, апеллируя к местоимению «мы» («Что-то придумаем, как-то выпутаемся»), Борис истово настаивал на тактике: я должна была «со страстью борющегося за жизнь человека» так потрясти «нервы и сердце» начальника ГБ, чтобы он сам отступился от меня.

С этой самой «страстью борющегося за жизнь человека» я и отстаивала себя перед начальником РО МГБ: «Меня арестовали по доносу завербованных подруг. Теперь госслужбы хотят, чтобы я писала такие же доносы на кого-то следующего?» С надеждой на понимание я вглядывалась в сидевшего за непомерно большим письменным столом человека. А он вымерял жизнь единственным для него нравственным доводом: «Сам Сталин предлагает вам обелить себя. А вы?..» Ни раздумья, ни тем более улыбки на его лице было не представить. Изброждённые морщинами обвисшие щёки, иссохшие края рта выдавали в нём грудягу. Он мог распоряжаться средствами материального мира, но только не тем, что одушевлено. Власть препоручила ему именно это. Вот он и залезал руками в душу, как в собственный кошель. Без церемоний именовал жизнь другого не чужой, а чуждой. Наседал, карал и обрекал. В этом обоснованном историческим настоящим деятеле перегорело то живое, что каждый из нас ждёт от служивого человека, что обязано оставаться не загубленным никакой идеей.

Я догадывалась о тактических приёмах самого Бориса в схожих ситуациях. Своим интеллектом, хитроумной стратегией он выбивал почву из-под ног у лагерных «кумовьёв» (кумом в лагере называли начальника третьего отдела). Ему ничего не стоило смутить их зака-

муфлированным под имя классиков марксизма-ленинизма афоризмом немецких романтиков Новалиса, Гёльдерлина и даже Ницше. Он ставил их этим в тупик. Он их «обходил». Моё же столкновение с ведомством Силы получилось лобовым.

Я плохо представляла себе, куда меня сбросит смерч, прихоти которого я доверилась. Напутствие Бориса: «Езжай к Ма! Там всё рассудите», записка, которую он впопыхах набросал: «Мамуль! Помоги Томке. Ей сейчас худо», сотня рублей, оставшаяся от добытых им денег, – все мои «соломинки». В придачу – наказ: не посвящать его Ма в вопрос вербовки. С этим в июле 1952 года я и подъезжала к столице отечества.

Улицу, дом отыскала сразу.

Чуть-чуть опамятовалась только перед дверью квартиры: «Я ли это? Что со мной происходит? По какому праву я собираюсь нажать кнопку звонка чужого дома? Что скажу, оказавшись лицом к лицу с матерью человека, отношения с которым отягощены столькими сложностями?»

Дверь открыла мать Бориса. Заметно удивилась. Провела в комнату. А там, как показалось воспалённому сознанию, было полно людей... Гости?

Сквозь пресс глухоты услышала, как Александра Фёдоровна призывала меня:

– Знакомьтесь. Это мой старший сын Костя. Его жена Лида.

И в следующую же секунду что-то напоминающее удар:

– Костя! Лида! А это... Это Борюнькина невеста.

«Ничья я не невеста! Я свободный человек! Совершенно свободный во всём!» – хотела я выкрикнуть.

Находясь в ином измерении, я еще не отдавала отчёта в собственной безответственности. Но то, что на меня, «свободную», накинута лассо, ощутила с пронзительной силой. И всё стало реальным, трезвым и обескураживающим.

Александра Фёдоровна, мать Бориса, занимала шестнадцатиметровую комнату в коммунальной квартире. Пианино, письменный и обеденный столы, диван, кушетка, висевшие на стенах книжные полки делали комнату донельзя тесной.

Уволившись из театра в Сибири, «старшие дети» приехали к матери за несколько дней до моего вторжения в этот дом. Жена старшего сына, Лида, обладала прекрасным меццо. В Москву их привёл объявленный Большим театром конкурс на вакансию солистки оперной труппы.

Осознав, какой головоломной задачей обернулось для семьи моё появление, я стала заверять Александру Фёдоровну в том, что разыщу в Москве кого-нибудь из северных знакомых и ночлег найду.

Ни одного подстраховывающего адреса у меня не было. Москва, 1952 год. Уйди я ночевать на любой из вокзалов, вписанная в паспорт административная 39-я статья гарантировала, что первый же рейд милиционеров отправит меня столыпинским вагоном куда дальше Микуни.

И всё же я отчётливо понимала, что единственно правильное действие – встать и уйти. Куда? Об этом надо было думать раньше.

Как надписанный заключённым сыном багаж, я была адресована Александре Фёдоровне. Она меня – не отпустила. Предавшись её воле, я всеми клетками впитывала каждое её слово:

– При желании площадь умеет увеличиваться. Разместимся все. У соседки пустует кровать. Я там желанный гость.

Я знала Борину мать по её северным приездам на свидания к сыну. В облике статной, высокой женщины было непререкаемое величие. Она напоминала статуи греческих богинь. Когда я в Микуни услышала в её исполнении «Песнь про купца Калашникова» Лермонтова, сражена была её талантом чтицы.

В письмах своих из зоны Борис постоянно писал мне: «Мы с Ма одинаково думаем... Ради меня Ма сделает всё... Припечёт – она меня и с того света вызовет». А я слушала это, как некую сагу о единстве матери и сына.

Собственные наши с нею отношения не заладились сразу. Знакома меня с нею, Борис сказал: «Ма! Я люблю Зорьку». Она, глянув на меня острым, выверяющим взглядом, отвела в сторону непотеплевшие глаза. «Борина мать прозорлива», – подумала я тогда.

Видно, и она запомнила ту минуту, раз вскоре сочла нужным пояснить:

– Знаешь, Томочка, я при первой встрече испугалась тебя. Увидела, что мой сын любит тебя, а ты? Ты отвлечена чем-то своим.

«Зачем же вы так лихо переместили меня из “друга” в “невесту” сына?» – хотела я её спросить. Но ответ – знала. Это не было попыткой сгладить острый угол моего появления для старших детей, как подумалось сразу. Нет. Такова была твёрдость её материнских условий. А я? Ни о каком замужестве не помышляла вообще.

Два полюса: «Борюнькина невеста» и «При желании площадь умеет увеличиваться» – обособили наши отношения с матерью Бориса, сделав их мучительными. С надеждой выправить их кособокость я

вслушивалась не только в текст, но и в интонацию каждого обращённого ко мне слова, увязая в двусмысленности своего положения.

Двусмысленность умножалась ещё и тем, что она не попросила меня объяснить, что значат слова Бориса «Томке сейчас худо», а сама я плохо представляла, что смогла бы сочинить при ограничивающем меня наказе: «Только не посвящай Ма в историю вербовки».

Сразу же по приезде я написала заявление об увольнении и письмо двум наиболее верным сослуживцам. Умоляла их как можно скорее выволить из отдела кадров мою трудовую книжку и получить положенную мне зарплату, чтобы поскорее куда-то уехать, устроиться на работу, освободив семью Бориса от себя.

Пока же Александра Фёдоровна ежедневно давала задания: закупить краски, кисти, провизию для Бориса, упаковать всё это; съездить за город отправить письма, посылки (в Москве на лагерные адреса их не принимали). Что-то надо было купить и в дом.

Старший брат Бориса был актёром драматического театра. Впоследствии я видела его на сцене театра имени Вахтангова в спектакле по пьесе Гауптмана «Перед заходом солнца» в роли Маттиаса Клаузена. Костя играл в очередь с превосходным Астанговым, но тоже был в этой роли хорош. Он великолепно разбирался в живописи, литературе, не говоря о театре. Подкупил, высказав однажды догадку:

– По-моему, тебе страсть как хочется пойти в Третьяковку и попросить, чтобы я был твоим гидом.

О Третьяковке я мечтала действительно «страсть как» ещё с долагерных времён.

Избегая изобличений («Как?.. Впервые в этом храме искусств?.. И этой библейской истории не знаешь?»), Константин погружал меня в сюжеты картин, в жизнь художников.

Однажды после кино, опередив толпу, приступом бравшую подошедший трамвай, он занял для нас с Лидой места и, эпатируя публику тарзаньим криком джунглей, подал нам знак, в каком конце вагона находится. Дружелюбно настроенные после сеанса, граждане улыбались: занятный, мол, у вас кавалер, ничего не скажешь.

Как-то раз Лида доверительно рассказала, что они с Костей встретились в Польше в 1944 году, когда его привезли раненым с фронта в медсанбат, где она работала медсестрой. Благодарность. Увлечение. Любовь. Но Костя сразу её предупредил: «На меня не рассчитывай. У меня семья. Я её не брошу». После войны, однако, с женой развёлся, оставил ей и дочери московскую квартиру и уехал с Лидой на периферию. Проработав в сибирском театре несколько лет, они реши-

ли теперь вернуться и обосноваться в Москве. Конкурс в Большой театр был их ставкой. От его результатов зависели работа по профессии, московская прописка, получение жилплощади.

Слушая, как Лида разучивает арию Любаши из «Царской невесты» («Вот до чего я дожила, Гри-го-о-рий...»), арию Далилы и другие, как концертмейстер после каждого урока восхищённо ободряет её: «Большому кораблю – большое плаванье», – я не сомневалась в её победе.

Ожидание конкурса определяло климат дома. Семья жила в нервном, деятельном напряжении.

За обеденный стол в доме Александры Фёдоровны усаживались, когда все были в сборе. Горячо обсуждались имена членов жюри на предстоящем конкурсе, количество конкурсантов, репертуар Большого театра. Дружно смеялись шуткам Константина. И когда объектом подсмеиваний становилась я, то от неловкости положения в семье сама смеялась, помнится, усерднее прочих. Одна из соседок отложила мне в пергаментную бумагу порцию крема для лица. Соблазн косметики – велик! Я терпеливо дождалась, когда Константин и Лида уснут, и тогда за своей ширмой принималась крайне медленно, с превеликой осторожностью разворачивать громыхавший в тишине пергамент. Так вот, однажды Константин с бесовским огоньком в глазах вдруг обратился ко мне при полном семейном сборе:

– Скажи, дорогуша, а как называются конфеты, которые ты жрёшь по ночам?

От постыдного подозрения у меня, как у шестнадцатилетней, перехватило дыхание, но тридцатидвухлетняя во мне, вовремя спохватившись, присоединилась к общему веселью.

Во мне насмерть сражались между собой два безоговорочных чувства: чувство абсолютной правоты совершённого побега и осознание его непродуманности. Не только возраст, но и всё пройденное, всё понятое про жизнь оказалось в этой ситуации не в счёт. Я была похожа на человека, перепрыгнувшего в запале через улицу с крыши одного дома на крышу другого, но не нашедшего схода с неё.

Москва была, понятно, только перевалочным пунктом. Здесь я должна была определить, в какую точку Союза поеду устраиваться на работу.

К главному разговору – о выборе профессии – к нам с Александрой Фёдоровной подключился старший брат Бориса.

– Может, медсестрой? Статистиком? Лаборанткой? – перечисляли они мои прежние опыты.

– Нет. Нет.

– Может, тебе окончить педагогические курсы в каком-нибудь провинциальном городе?

– Работать в школе, с детьми? Не разрешат.

За мной наблюдали. Как человеку, оказавшемуся на реке во время ледохода, мне надо было сноровисто выгребать к берегу. Не хватало проворства. Недоставало и обоюдной доверительности.

Сама-то я прекрасно знала, кем хочу быть. Заветной мечтой был – ТЕАТР.

Лагерь грубо врубал в плоть и сознание, что становится тем, кем тебя определили (землекопом, тральщиком, укладчиком шпал или грузчиком), – неотвратимость. Мы все тому подчинялись. Но «щучье веленье» начальства, насильственно направившего меня по наряду в лагерный театр, сверсталось с огненным «хотеньем» юности: «быть полезной человеческому обществу». Парадокс заключался в том, что впервые подобную радость я испытала, выйдя на щербатые подмости лагерного клуба. Улавливая очертания лиц людей при свете керосиновых ламп, я пропитывалась их жаждой услышать мелодию, слово, увидеть спектакль. Желание перечувствовать что-то вместе преображало и их, и нас. Возникавшее между нами и зрителями зон созвучие доставляло ни с чем не сравнимую отраду. Ощущение нужности, приток сил, нисходивших на нас «не от мира сего», убеждали в смысле и силе театра. В стремлении служить ему и дальше было наследие Александра Осиповича Гавронского, Коли, атмосферы нашего ТЭКа (театрально-эстрадного коллектива).

Театр вообще виделся мне способом существования. Только ему, театру, было под силу согласовывать и стягивать в узлы такие полярные состояния чувств, как кошмар и счастье, безобразие и красота, ненависть и любовь.

Однако здесь, в артистической семье, затевать разговор о профессии актрисы мне не разрешали обстоятельства и неуверенность в себе. Стены московской комнаты были увешаны афишами с чтецкими программами Александры Фёдоровны, названиями спектаклей, в которых играл Костя, и опер, где пела Лида. Разве не заносчивостью, не дерзостью было бы здесь заикнуться о театре, когда решался вопрос о куске хлеба и крыше над головой?

Сворачивая разговор о моих профессиональных «перспективах», Константин вдруг небрежно бросил:

– Жаль, мы тебя на сцене не видели. Кабы в театр, я бы тебя запросто устроил. Давай попробуем?! А что?

В растерянности я сумела ещё прибегнуть к дипломатичному «Ну что ты», привести доводы не в пользу актёрства. В итоге же, однако, всё свелось к театру. Как выяснилось, попытки устроить меня в какой-нибудь периферийный театр возможны только через биржу. Само словечко «биржа» в пятидесятые годы отдавало чем-то нарочитым, вытасненным из сундука старой лексики. На мой вопрос: «А что это, собственно, значит – биржа?» – Константин живо отозвался:

– Биржа? А это, знаешь ли, базар. Такой симпатичный, немногочисленный базарчик. Сначала там посмотрят на твою мордашу, на то, как по земле ступаешь, заглянут, будто лошадке, в рот, как, мол, там обстоят дела с зубами, перемолвятся с тобой одним-другим словом. Ну а потом так, знаешь ли, расшаркаются и скажут: «Сделайте одолжение, осчастливьте наш город. Приглашаем вас...» Устраивает? – с издёвкой над биржевой процедурой пояснил он.

В этом лучшем из вариантов был один убийственный момент. На биржу, по утверждению Константина, режиссёры и актёры съезжались в Москву в конце августа – начале сентября. Заканчивался же только июль. А я и так оставалась в доме Бориса непозволительно долго. Ни документов, ни зарплаты мне из Микуни не присылали. Сослуживцы молчали. И письма приходили только от Бориса.

Он хоть и сожалел о своей разлетевшейся в пух и прах мечте, что, оказавшись наедине, мы с его Ма «узнаем и полюбим» друг друга, всё равно строчил счастливые письма. С фотографии, которую он прислал, в упор смотрели пугающие своей преданностью мальчишечьи глаза. Он смелел:

Томка!

Начни же наш дерзкий, красивый счёт!
Стань разведчицей счастья нашего!
Мудрено загадать, где стоит наш дом,
У каких плотин, за каким хребтом.
Может, это палатка геолога,
Дом культуры в садах над Волгою.
Может...
В общем, примчу на уральский завод,
В театр Камчатки иль в степи хакасские,
Хоть пешком, хоть бегом в край любой, где живут
Томка, мамка, стихи и краски!..

Поймав себя на раз-два мелькнувшей мысли: «Выйду, действительно, за Бориса замуж; семья умная, жизнь будет интересной», – заметалась ещё больше. Подводила потребность быть во всём в со-

гласии с собой. А выручало в этом случае то, что полтора года, оставшиеся до освобождения Бориса, разрешали этому соображению быть теоретическим.

При внешнем дружелюбии семьи в доме Александры Фёдоровны существовало непонятное мне нелюбопытство к тому, что составляло мою жизнь. Меня никто никогда не спросил здесь ни о лагерных годах, ни как я жила до них. Ни о том, что думаю, хотя бы.

Я оставалась в роли безродной подопечной. Без биографии, без прошлого. Для семьи имело значение только то, что выполнялась просьба Бориса. О нём меня здесь тоже не спрашивали.

Ничем своим не делилась и Александра Фёдоровна. Только однажды, перебирая семейные фотографии, она задала вопрос: «Хочешь посмотреть?» На одном из снимков она стояла на коленях, собирая какие-то бумаги. Похоже, тот, кто фотографировал, внезапно попросил её глянуть в объектив. Поднятые вверх глаза, взгляд – снизу и врасплох. Казалось, будто она что-то вымаливала у неба.

– Может, и вымаливала, – бросила она, – только всё равно с пустыми руками осталась. У меня тогда был роман с одним умным и очень близким мне человеком. К сожалению, нам пришлось расстаться. Впрочем, моё призвание – материнство.

– Призвание?

– Да! Призвание! Почему ты переспрашиваешь?

Меня она только вскользь как-то спросила:

– У тебя ведь тоже, кажется, есть сын?

– Есть! – встрепенулась я: сейчас случится разговор, который так необходим, чтобы ощущать себя человеком.

Но следующий вопрос задан не был.

В какой муке я нащупывала брод в абсурде тюрьмы и лагерей! Чтобы вернуться в свободу, поминутно расшибалась, отыскивая брод и сейчас.

Не находила я объяснения и угрюмому молчанию знакомых из Микуня. Нестерпимо мучило, что стесняю семью Бориса. В самом буквальном смысле этого слова, я не находила себе места.

– Завтра идём с тобой к моей приятельнице, актрисе МХАТа Халютинной. Она мастер высокого класса. Когда-то играла Тильгиля в «Синей птице» Метерлинка, – сказала Александра Фёдоровна. – Надо, чтобы ты насмотрелась как можно больше спектаклей этого театра.

Один-единственный раз, ещё до войны, я видела спектакль МХАТа «Анна Каренина», когда театр приезжал на гастроли в Ленинград.

Софья Васильевна Халютина жила в Леонтьевском переулке, в доме, где обитали актёры этого прославленного театра. Угостив обедом, она сказала, что как раз сегодня идёт «Синяя птица» и, если я хочу увидеть спектакль, она меня приглашает.

Мы заспешили. И всё-таки вошли в театр, когда уже отзвенел третий звонок. Увидев запыхавшуюся актрису, билетёрша быстрыми шажками подбежала к ней и, указывая на боковую дверь партера, заговорщически зашептала: «Сюда, сюда. Я пропущу вас здесь». Но, оскорблённая кощунственной готовностью билетёрши нарушить ради неё священный устав театра (никого после начала спектакля в партер не впускать), Софья Васильевна возмутилась.

– Что вы, что вы, как можно, – протестующе и гневно отрезала она. Резко повернулась, и мы прошествовали с ней в один из ярусов, откуда и посмотрели первый акт.

Завораживающее впечатление от спектакля, трепет старой актрисы перед таинством Театра, её верность незыблемым ценностям взволновали сверх всякой меры. «Значит, мир в своих высоких образцах уцелел? Жив? Неужели?» – бушевало в моей душе. И представления о норме готовы были рвануться на свои, столь много лет пустовавшие места.

По приезде в Москву я сразу подала в адресный стол запрос о местонахождении отца моего сына. Получила знакомый ответ: «Не проживает». С надеждой найти у кого-то угол, чтобы дожидаться открытия биржи, я принялась отыскивать через адресный стол родственников своих северных знакомых.

Вопреки иллюзии, возникшей после посещения МХАТа, что в свободном мире сохранились какие-то нормы, впечатления, почерпнутые тогда в московских домах, привели в смятение. Некоторые и вовсе ужаснули.

С Валей Л. мы вместе находились в лагерном театре. Получив на руки адрес её матери, я направилась к ней, чтобы разузнать о Вале и её дочери. Валина девочка родилась, как и мой сын, в Межогге. Была его однолеткой. Когда вышло распоряжение лагерного начальства – детей старше годика вывезти из зон и разместить по детским домам Коми АССР, – я, под клятвенное обещание Филиппа вернуть мне сына после освобождения, отдала ребёнка ему. Занесённая в списки детского этапа, Валина девочка поступила под опеку государства.

Дверь мне неожиданно открыла сама Валя. Поскольку у неё была бытовая статья (не то растрата, не то халатность), запрет жить после

освобождения в столице на неё не распространялся. Не догадываясь, какую боль приносят такого рода встречи, мы обрадовались, увидев друг друга.

Валя рассказала, как на следующий же день после освобождения отправилась разыскивать дочь и как, объехав с десяток разбросанных по республике детских домов, в конце концов нашла её.

«Вопиёт к небу» – это о её дочке Инне. Девочка была убийственным свидетельством того, как в государственных казённых домах губили жизнь детей. Их там не только не воспитывали, но содержали вообще без присмотра.

В речи Валиной дочери присутствовали одни согласные. Она умудрялась сотворять их даже из гласных. И каждый из трёх-четырёх звуков стартует как первый. Только Валя могла разобраться в том, о чём пытался в попытке что-то выговорить её ребёнок. Слепая доверчивость и доброта девочки сочеталась в ней, по рассказам Вали, с приступами ярости. Она могла внезапно накинуться на мать, на бабушку, на ребёнка, с которым играла во дворе. Ела руками. Могла вдруг завывать – будто детей в детдоме водили в лес обучать волчьим призывам. Оторопь брала от Валиных рассказов.

Беда, настигшая Валиного ребёнка, миновала моё дитя. Но моего мальчика украли. Прятали его. Прятались сами. И сколько мне понадобится времени, чтобы найти сына, я тогда не знала. Побывав в доме Вали, не посмела, не посмею и сейчас сравнить один вид ЗЛА с другим. *Вид* у него разный, *род* – один!

Однажды меня пронзила такой силы физическая боль, что, продлись она ещё мгновение, я бы не вынесла её. Ужалив, она отошла, оставив пожизненное знание о своей смертоносной мощи. Погружение в лагерное прошлое дохнуло на нас с Валею похожей страшной силой, давая понять, что, растянувшись во времени, беда не уймётся, а пойдёт только в рост.

Валя свою девочку от людей не прятала. Верила, что вызволит дочь из тьмы. И что-то ей впоследствии удалось. Девочка, однако, дотянула до тринадцати лет и умерла.

В ещё большую растерянность поверг следующий визит в Москве. В ТЭКе был удивительно приятный актёр, наш с Колюшкой друг – Володя Мурзин. Раньше он к театру отношения не имел. До ареста учился в Москве в школе разведчиков. Загодя до моего освобождения он стал просить: «Если часом окажетесь в Москве, навестите мою мать. Ни на одно моё письмо она не ответила и не отвечает». О, сколько

надежд возлагали друзья на тех, кого назначали послами в свои семьи, доверяя им поведать о себе!

Володина мать с порога встретила меня не только насторожённо, но и враждебно:

– Кто вы? Чего хотите? Что вам надо?

– Я друг вашего сына Володи. Мы с ним вместе работали в лагерном театре. Я давно освободилась, но только сейчас оказалась в Москве. Володя просил, чтобы я зашла к вам и рассказала о нём. У вас очень славный сын...

– Изменник Родины мой сын, вот кто он, – сразила меня с ходу старая крестьянка. – Осрамил меня перед всем миром. Перед соседями осрамил. Перед родственниками. Вон мотоцикл его тут висел в коридоре – попросила вынести в сарай, чтобы глаза мои не мозолил. Не хочу его знать.

Я пыталась сказать, что не всякому клейму стоит верить, что в лагере сидело и сидит много ни в чем не повинных людей.

– А почему это я должна вам верить? Сталину-то я уж всяко верю больше, чем вам. Разве он станет безвинных сажать? – настаивала на своём хозяйка дома.

Кто-то, видимо, внушил старой женщине: «Будь осторожна, к тебе специально могут подослать человека, чтобы выведать, чего сама про власть думаешь». Она вошла в раж. Продолжала хулить сына и восхвалять вождя. Недобрые, бездарные слёзы лились у неё по щекам...

Не сумев прорваться сквозь поток этой мути, так ничего толком и не рассказав о Володе, я ушла от неё обескураженная, с чувством вины перед своим товарищем, два с лишним года ожидавшим материнского письма.

Гнёт этой вины с души снял лет через двенадцать уже сам Володя, поделившись тем, как безнадежно и навсегда заблудилась в дебрях общественной лжи его не шибко грамотная мать, как напрочь и пожизненно осталась до смерти напуганной, осложняя им с женой жизнь все последующие годы.

Стоя однажды за письмами до востребования на Центральном телеграфе «Москва-9», я услышала громкий возглас, который ни по смыслу, ни по заряду радости относиться ко мне не мог:

– Ба-а! Председатель колхоза!

Старшему надзирателю, засадившему меня когда-то на колонне Межог в карцер за найденный в бараке топор, было сейчас сподручнее окликнуть меня так, а не по фамилии, как на поверке в зоне.

Председательницу колхоза я играла в ТЭКе в пьесе Фёдорова «Путти-дороги».

– Как живёте-можете? – широко улыбаясь, вопрошал недавний страж.

«Что значит эта безудержная радость?» – поразила я.

Не стеречь себе подобного, а законно, да ещё в Москве, узнать бывшую заключённую, без злобы быть признанным ею? Значит, всё зависит от того, как социальная жизнь расставляет людей относительно друг друга? Я-то ведь была всё та же. Мало кто, кстати, изъявил такое желание разузнать, как и что у меня сейчас. Где живу? Где и кем работаю?

Из всех московских семей моих знакомых по Северу самой неповреждённой событиями тех лет оказалась семья сестёр Миры Гальперн (по мужу Линкевич). Нас многое связывало с Мирой в лагере. Особенно память чтит один эпизод. Рассказывая о чём-то, Мира спросила:

– Помнишь «Болеро» Равеля?

– Нет.

– Шутишь?

– Не шучу. Не помню. Просто не знаю.

И она «рассказала» мне «Болеро».

Года через полтора, объезжая с ТЭКом северную часть лагеря, мы, миновав тайгу, заехали в тундру. Рано утром я вышла на крыльцо барака, в котором нас разместили на ночевку. Ссыпанная в кучи угольная крошка возле порога. Безлесье. Редкий, низкорослый кустарник. Зона, опутанная проволокой. Свинцовое небо... Чего недоставало для уныния и ощущения неприютности бытия? Но из чёрного конуса репродуктора, закреплённого на столбе возле зоны, лилась музыка. И я – дрогнула. Прежде чем назвать её ворожкой, всем своим существом я узнала: это и есть «Болеро» Равеля!

Так я и простояла, не шевелясь, на ветру, пока не «досмотрела», как неспешной, «религиозной» поступью двигался по пустыне караван великолепных верблюдов, не пропиталась красноватым закатом над сыпучими песками. Расслышала, как незаметно внутри музыки стала зарождаться зыбкая, тревожная параллель главной теме. Цель, к которой направлялся караван, становилась всё более призрачной. Где-то раздваивалась. Вовлекая в себя барханы, бескрайность, движения и чувства тех, кто вёл караван, всё это стало перетекать в единый круговорот действительного и вечного... Безудержно лились слёзы. И сколько бы я потом ни слушала «Болеро», оно оставалось – подарком Миры.

После освобождения Мира и её муж Алексей подверглись повторному аресту и получили пожизненную ссылку. В момент, когда я в 1952 году оказалась в Москве, они находились в ссылке в Сибири по-разному. Она – в Новосибирском крае, он – в Красноярском.

По рассказам Миры я знала, что её сёстры живут в Москве. По письмам Миры сёстры знали обо мне. Теперь мы познакомились.

В пространстве любой из комнат квартиры сестёр можно было затонуть. Старинная мебель, дорогая посуда придавали этой обители добротность и незыблемость.

Само знакомство с сёстрами Миры получилось уморительно милым. Муж средней сестры был дантист. На парадных дверях их квартиры о том возвещала до блеска начищенная медная пластина. Едва мы расположились для беседы, как в комнату вошёл сам врач, только что проводивший посетительницу.

– В чём дело, Рая? Что случилось? – не без возмущения обратился он к жене. – Тебе что, стал изменять такт? Почему ты так нелюбезно обошлась с моей пациенткой?

– Нелюбезно, видите ли... нелюбезно? – передразнила Рая мужа. – А я что, целоваться с ней должна?

На самом деле Раиса Израилевна выглядела смешавшейся и виноватой. Сдаваться, однако, не собиралась и, распаляя себя чувством правоты, искромётным юмором сдобрила финал:

– Ах, нелюбезно? Да она такая молодая, что вообще хотелось дать ей по морде.

Юмор и афористичность речи были присущи всей семье. Стоило старшей, Анне, услышать о чём-то неординарном, как она вскидывала вверх руки и с экспрессией восклицала:

– Х-ха! Пробило тринадцать!

– Знаете, у нас в детстве была няня, заодно и кухарка, – посвящала она меня в уютную историю семьи. – К вечеру она уставала до чёртиков. Помолится, бывало, на ночь, идёт к постельке, потирает одну руку о другую, смеётся и шепчет: «В гнёздышко! В гнёздышко своё сейчас заберусь».

Старший их брат был физик, трижды лауреат Сталинских премий, имел множество правительственных наград. Обаятелен. Обходителен. Роскошен.

А младшая сестра, Мира? Говорливая, образованная, напичканная стихами и байками, окончила московский институт иностранных языков, работала переводчицей. Вышла замуж за немца. Ей было

двадцать восемь лет, когда их с мужем арестовали и приговорили к десяти годам лагерей. Муж в заключении погиб.

С Алексеем она встретилась уже лет через пять в лагерном театре кукол, организованном Тамарой Цулукидзе. Надо было видеть, как в боязни, что их могут разлучить, вцепившись друг в друга, они проживали каждый Божий день. Страх перед насильственной разлукой достигал у них степени недуга.

Все десять лет сёстры посылали ей в лагерь посылки. Они любили и жалели младшую сестру.

– Знаешь, – рассказывала мне ещё в зоне Мира, – приехала ко мне сестра Аннушка на свидание и говорит: «Вот взмахну сейчас волшебной палочкой, всё вернётся на свои места, и ты будешь жить, как прежде». Я подумала и ответила: не хочу! Так я хоть что-то познала, а то продолжала бы жить с закрытыми глазами.

– А вы, Алёша? – спросила я, любопытствуя, присутствовавшего при этом разговоре Алексея.

– И я так же, – не задержался он с ответом. – Ну, продвигался бы я на воле дальше по партийной линии и стал бы идиотом. Вот и всё.

В этой семье, где в ходу были приправы из острот и лиризма, нашлось, однако, место горчайшей сокрущённости по поводу того, что лагерь изменил Миру до неузнаваемости.

– Ну, сами посудите! – с горечью и обидой рассказывала одна из сестёр. – Мира с Алексеем приехали сразу, как их освободили, вдвоём. Представляете, сколько собралось родственников, друзей? Уйма. Поужинали. Ещё и расходиться было рано, как Мира вдруг во всеуслышанье обращается к Алексею и спрашивает его при всех: «Алёша, ты сходил в туалет? Покакал на ночь? Я устала, иду спать». Можете себе такое представить? Мира! Наша интеллигентная Мира! Ну что это за стиль?

Уязвивший сестёр «прокол» Миры, право, можно было истолковать иначе. Могла же она тоже захотеть «дать по морде» беспечному, мало в чём изменившемуся за десять лет её отсутствия существованию родственников? Уж слишком разного разлива жизнь досталась ей и её родным в одно и то же историческое время.

В доме у сестёр Миры, кстати, как и в доме Александры Фёдоровны, ни меня, ни приехавшую на несколько дней в Москву с Украины Хеллу не расспрашивали о нашем или Мирином прошлом. Поначалу я такое целомудренное «нелюбопытство» отнесла к стародавней заповеди: «В доме повешенного не говорят о верёвке». Однако то было не совсем так. Верёвка, накинутая одним концом на арестованного чле-

на семью, а другим – на полезного, привлеченного властью, при грамотной манипуляции заставляла население быть дисциплинированным, требовала верноподданничества. Для пятидесятых годов актуальнее распросов и ответов был – молчок.

В беседе с братом Миры – крупным учёным, совершенно очаровательным человеком, что-то ещё уточнилось. Он как-то спросил у нас с Хеллой:

– Неужели *там* только и было, что холод и голод?

– Нет, конечно, – отозвались мы с ней хором, – хватало и острословия, и шуток.

Для убедительности мы рассказали несколько курьёзов, пару анекдотов. Украсили себя смехом. И пожалуй, то был единственный случай, когда из общения испарились насторожённость и напряжение. Наш умный собеседник восхищённо воскликнул:

– Да знаете ли вы, что на вас надо продавать билеты?

Я шепнула своей чешской подруге:

– Мы, кажется, легализовались в жанре буффонады. Пора шить колпаки...

Как же недостижимо далеки были все наши родственники от реального представления о лагерях, деформировавших не только «стиль», но и состав души!

Исстрадавшись от постоянного «врозь» в зоне, а затем и в ссылке, Мира с Алексеем, освободившись, и часа не обходились друг без друга ни в работе, ни на отдыхе...

Первым умер Алёша. Затем дочь Дина.

С приехавшей в Петербург Кирочкой Тверовской мы навестили Миру в Доме ветеранов сцены, где она нашла свой последний приют. У неё там была просторная, обставленная домашними вещами комната. Я сидела у окна, выходявшего в тенистый сад на Петровском острове. Кира – у постели Миры.

– Мне не нужно утро. Незачем просыпаться без Алёши, – вяло говорила Кире бывшая тараторка Мира.

Она вроде бы и не болела. Просто взяла и ушла, раз умер её Алексей.

У каждого был свой расклад. Каждому из нас предстояло отыскать своё место и свою позицию.

Осип Мандельштам оставил нам пронзительно точный рецепт:

Не говори никому,
Всё, что ты видел, забудь –
Птицу, старуху, тюрьму
Или ещё что-нибудь...

Лида по конкурсу в Большой театр не прошла. Я разделяла мнение тех, кто считал это несправедливым. Для старших детей наступили чёрные дни. Уныние и раздражительность в корне изменили климат дома. Старший брат Бориса и до этого не забывал несколько раз в день выпить рюмку водки в ларьке против дома. Теперь приём спиртного участился. Конфузливое «Э-эй, Том, наскреби-ка мелочишки, надо-ть» приобрело форму «дай». Я выгребала гривенники, оставшиеся от тех рублей, что, рисуя портреты начальников, Борис присылал, чтобы я продержалась. Пьяное благодушие Кости сменилось агрессивными наскоками, напоминавшими срывы Бориса. Фамильное сходство испугало.

Дальше – больше. Я оказалась втянутой в семейный конфликт.

– Не уходи. Ты даёшь ему деньги, – пригвоздила меня Александра Фёдоровна. – Он погибает, пропадает ни за грош. Помогите его вразумить. Всего-навсего я прошу, чтобы он согласился на лечение антабусом.

Константин от медицинского вмешательства отбивался. Моё присутствие при этих уговорах подливало масла в огонь. В адрес матери последовал тяжеловесный текст Кости:

– Раньше надо было обо мне думать, мать, раньше. Тогда, когда семилетний сын бежал за тобой и твоим ухажёром, кричал: «Мама, ма-ма!», а ты даже головы не повернула. Я кричал, а ты, как на щенка, не обращала на меня внимания...

– Опомнись! Что ты сочиняешь? – поражённо оправдывалась Александра Фёдоровна. – Такого никогда, слышишь, никогда не могло быть! Ни при каких обстоятельствах я не могла бы игнорировать моего мальчика.

Какая-то застрявшая обида буксовала и буксовала в глубинах психики старшего сына, не желая выбираться из детских заблуждений. Непобеждённая сорокалетним сознанием, обида выкидывала вневозрастные коленца. Неприятие спутывалось с сочувствием. Жаль было Костю. Ещё больше было жаль Александру Фёдоровну. Последующие же драмы прояснили всю непустячность искажений.

Лида сидела молча, с потемневшим лицом. Она с удивлявшей меня терпимостью сносила слабость мужа. Хотя в вопросе лечения её солидарность со свекровью была абсолютной.

– Вы думаете, я хочу вас мучить?.. Не хочу, не хочу, – сдался вдруг напившийся сын и муж. – Пусть, к дьяволу, ко всем чертям, вшивают эту проклятую ампулу.

Незамедлительно Александра Фёдоровна что-то продала и оплатила лечение сына.

Жертвенность, с которой она бросалась на помощь близким, была поразительна. Это коснулось даже меня. Едва выбор профессии наметился, как она тут же вознамерилась всерьёз готовить меня к ней:

– Природа наделила тебя волшебным голосом, но он у тебя не поставлен. Я договорилась с педагогом Вороновым, у которого училась сама. Будешь ходить к нему заниматься! Заниматься! – державно заявила она.

Педагог был превосходный. Два занятия, которые я посетила, окунули меня в неведомый мир секретов, подробностей: «Сомкните губы... Произнесите: м-м-м-м... Вслушайтесь в этот первородный звук... Повторите. Нет, не так... Резонировать должно нёбо, всё...» По сути, это были первые в моей жизни профессиональные уроки актёрского мастерства. Но когда я узнала, сколько Александра Фёдоровна за них платит, категорически отказалась от них: «Поскольку никакой уверенности в том, что я попаду в театр, не существует, то – нет! Нет и нет!»

Твёрдость отказа вызвала небольшую бурю, но одновременно послужила некоторым прорывом к сближению с Александрой Фёдоровной.

Один вопрос меня как-то особенно мучил. Ещё в 1947 году, в зоне, Борис принялся вдруг писать поэму о Сталине. Из своей колонны переслал черновик в наш ТЭК, чтобы мы с Колюшкой ознакомились с ним. Среди прочих откровений была в той поэме и такая строфа:

...Если ты ошибся – не упорствуй,
Ни слезы, ни бойких слов не трать.
Вытерпи урок, поправься просто!
Мысль о НЁМ не даст душе солгать...

Наше с Колей холодное: «“Мысль о НЁМ не даст душе солгать”? Зачем ты так?» – обидело Бориса. Он обвинил меня в высокомерии и отъединении от действительной жизни. Вступившаяся за Бориса Хелла сказала тогда: «Дурацкая поэма – не его идея. Он уступил мольбам матери».

Я Александру Фёдоровну в те времена не знала. Но про себя удивилась: «Просить сына сочинять поэму о вожде, который раскулачивал, сажал, уничтожал?»

И вот сейчас, когда эта самая Мать, не питающая ко мне горячей симпатии, всё же укурила меня в своём доме, а я, объявленная невес-

той, несмотря на то, что мне от этого было скверно, задержалась в нём, мой максимализм пришёл в смущение.

Да, нас определяла и определяет всё та же мера: «Нравственно? Безнравственно?» Слава Богу, спрос с Человека остаётся на той же неколебимой зарубке. Но когда сама власть обзывает честь – бесчестьем, а живую мысль – преступной, всё смещается. С правом судить тех, кто пытается в одиночку отыскать окольные пути для спасения близких, хочется повременить. Александре Фёдоровне во что бы то ни стало нужна была свобода сына.

Борис тогда к юбилею вождя поэму завершил. Мать попросилась на приём в Кремль. Её к вождю не допустили. Автора поэмы оставили досиживать срок. Драму призвания быть Матерью Бориса я поняла тогда – так.

Окончательно протрезвев в посуровевшей обстановке дома, я увидела себя глазами семьи: без видимых причин бросила работу и жильё в Микуни, незваной появилась в доме, потому, видите ли, что пожелала работать в театре?! Такая сумма характеристик у кого угодно могла отбить охоту к участию. Степень недоумения семьи была, видимо, так велика, что никто вообще не придал значения приписке: «Ей сейчас худо». А то, что Борис просил не прояснять истинных причин отъезда из Микуни, оставалось известным мне одной.

Микуньские друзья молчали. Я не находила себе места. Начала списываться с находившимися в ссылке друзьями, расспрашивая о возможностях работы и жилья в Сибири.

В отношениях между Лидой и Александрой Фёдоровной особой теплоты не просматривалось и раньше. После неудачи с конкурсом, когда старшие дети оказались в критической ситуации, от сдержанности Лиды мало что осталось.

В первую очередь это сказало на отношении ко мне. Невнятность моего положения в доме и раньше не вызывала в ней добрых чувств. А то, что Александра Фёдоровна, не прерывавшая общения с первой семьёй Кости, брала меня туда с собой, вызвало ещё и ревность.

– А вам известно, что Борис присылает матери письма своих корреспонденток и черновики своих ответов им? Письма к вам и ваши к нему тоже хранятся у неё, – объявила она мне вдруг.

Я этого знать не могла. Письма виделась мне в ту пору выражением безоглядного доверия, нестеснённости раздумий, бесстрашия

ошибочных мыслей и чувств. И вдруг то, что доверялось одному человеку, становится известным кому-то ещё? Однажды так уже было, когда Борис дал прочесть одно из моих писем Александру Осиповичу. Тогда я пережила это как драму. Теперь приняла сказанное Лидой едва ли не как повторное предательство.

Понадобилось несколько десятилетий для того, чтобы я научилась видеть в письмах – документ.

«При постоянных лагерных обысках потребность Бориса создать архив в доме матери неоспорима и разумна», – уняла я себя в конце концов. Но только я примирила непримиримое, как Лида озадачила меня следующим признанием:

– Я безумно влюблюсь в брата моего мужа, когда он освободится и приедет домой.

Раз, затем второй и третий, с явным желанием досадить мне, она игриво переспрашивала при этом:

– Вы, надеюсь, не станете мне в этом мешать?

Она не была легкомысленной дамочкой. Очень любила мужа. Ей, видимо, было слишком худо в те дни.

Единственное же, что мне следовало сразу понять, так это то, что любопытство сыграло с ней лукавую шутку, подвигнув ознакомиться с семейным архивом. Немудрёной догадке помогла точность её формулировки: не рисунки хранятся у матери художника, не стихи, а «черновики писем к приятельницам, письма к вам и ваши к нему». В той переписке и впрямь соблазны таились немалые.

Так стало понятно, что и Александра Фёдоровна, и Лида знали обо мне куда больше и детальнее, чем могли бы им дать мои ответы на вопросы, которых я так ждала.

Каким бы ни обещало быть наше с Борисом будущее, оно зависело не от отношения его родных ко мне, а от того, как мы с этим сами разберёмся. Мы никогда не находились вместе ни на одной из колонн. Виделись, когда с лагерным театром, обслуживающим зоны, я приезжала на Ракпас, где находились Александр Осипович, Хелла и он. Эпистолярная (что было необычайно важно) форма наших отношений хоть и являлась продолжением каких-то жизненных коллизий, была – изначальностью.

После освобождения я осталась на Севере. Мне надо было отвоевать сына, и я хотела быть возле Коли. Сына увезли неизвестно куда. Коля умер. Работа санитарки и медстатистика в амбулатории Микуни оказалась единственным завоеванием вольной жизни. Я страшилась её потерять.

Когда для оформления микуньского дома культуры понадобился художник, начальство железнодорожного узла запросило его у лагеря. Борис перевезли в микуньскую лагерную зону, и мы оказались в одной географической точке. Утром, когда его выпускали «на объект», а я шла на свою службу, у нас была возможность передать друг другу письма.

Меня не просто было продержать письмами после кражи сына и смерти Коли. Не признав за письмами Бориса их чрезвычайно важного значения, я сама не поняла бы нашей странной дружбы. Читая и перечитывая их, я в конце концов расслышала настоятельную интонацию, адресованную потаённой природе: «Пойми, ты обязана жить! Пойми, ты заядлый, проверенный радостник». Борис без усталости повторял и повторял: «Ты не только мне, ты многим людям нужна, чтобы жить!»

Повязанный по рукам и ногам, заключённый человек заселял листки писем из зоны пересыщенным раствором размышлений и чувств, исповедями и даже провидениями, которые даются умеющим с головой погрузиться в жизнь другого человека. Союзником участия Бориса была его незаурядная воля. С позиций тридцатилетнего возраста мы спорили о напастях века, толковали о достойном человеческом обществе, об устремлениях самого Человека. Я восставала, когда Борис прибегал к утопиям, но, вовлекаясь в них, грешила ими сама. «Месяц назад ты писала мне: “Я часто думаю, что мы живём в лаборатории жизни, где создается Человек, которого ждёт Время, от которого столько света”», – цитировал меня Борис и уточнял: «Зоркая, чуткая – да, да! И главное, что мы сами все тут являемся и реактивами, и катализаторами, и лаборантами, и производным продуктом! В лаборатории этой много дыма, душных паров и едких кислот. И Человек в нас рождается под их прожигаящим ливнем в клубах гнева и любви, обид и счастья. Сверху такое прекрасное и бесстрастное небо, а внизу, в жарких сложностях, среди грязи и цветов, слёз и песен, побоев и ласки, рождается Человек в вихре красоты, рядом с кучками отбросов и блестящих бумажек. Ты так верно чувствуешь это вкусное, властное великолепие. И всё в тебе создано, чтобы кружить в нём, озорно кричать “страшным голосом” от избытка и, рассекая упругое сопротивление, взмывать вверх и плыть навстречу ветру и солнцу, призывая к тому других...» Преувеличения и пафос свидетельствовали об искалеченной, но всё же молодости. Чем проблематичнее обстояло дело с сыном, отсутствием профессии, преследованиями ГБ,

тем сильнее была потребность отрываться от реальности, «взмывать вверх и плыть навстречу ветру и солнцу».

Чего только не было в этих отношениях! На Севере в концертах я читала «Девушку и смерть» Горького. Борис изготовил горельеф из гипса: голова Парня лежала на коленях у Девушки, будто сошедшей с полотен Рубенса. Я отказалась признать в *такой* горьковский образ. Приподняв двумя руками своё создание, Борис с силой расшиб его оземь в мелкие куски. Наша переписка решительным образом обрывалась. Я судила себя за жёсткость, за причинённую ему боль. Уйти от примирений не удавалось. Но поводы к «разночтениям» возникали снова и снова.

В настойчивом чувстве Бориса была непостижимая загадка. Несомненно и безусловно – была. Мне не доставало ни опыта, ни человеческой зрелости, чтобы разобраться в ней.

Мы были ровесниками, жили в одном Времени, но по-разному относились к самой природе вещей и понятий. Не Время Бориса, а он его по-своему пытался подчинить своим желаниям. Он назначал ему сроки. А я признавала во времени верховного одушевленного повелителя. Оно безжалостно говорило мне: «Не жди! Для таких-то и таких твоих надежд я никогда не настану!» Или напротив: «Терпи! Явлюсь!» Я его слышала. Свято верила нашему с ним диалогу. И оно не обманывало меня.

В попытке объяснить Борису, почему не откликаюсь на его чувство, я написала что-то вроде новеллы об отношениях со Временем. Сюжет был наивный. Она живет в лачуге, у моря. В дверь постучался пришелец спросить, не найдется ли у неё весла заменить сломанное. Они как бы «узнали» друг друга. Он стал звать её с собой к скале в море, у которой любил бывать, слушать, как об неё разбиваются волны, как кричат бакланы и чайки. Но её не оставляла боль утраты любимого человека, и она отказалась с ним плыть.

Я хотела разобраться в сути этой невнятицы, и ко мне неожиданно пришло воспоминание об одной из теософских книг Кржижановской, которую я брала в юности читать из домашней библиотеки любимой подруги Ниночки Изенберг. В том романе никак не могла разрешиться схожая ситуация: он любит её, а она относится к нему разве что с интересом и любопытством. Их встреча в следующем воплощении ничего не меняла. В третьем – также. И только в последующем, четвёртом воплощении в материальной природе обоих, как в некой знаковой системе, что-то смещалось, и помехи устранились

сами собой. Выпутавшись из тенёв памяти, мистический сюжет предложил себя в расшифровщики тайны.

И тут меня поразил уже сам Борис. В день моего рождения по дороге на работу он вручил мне какой-то прямоугольный, завёрнутый в ткань предмет, около метра в длину. Раскутав его дома, я поставила на стол написанную им картину. Более половины левой её стороны было отдано вскипающим, лучисто-зелёным морю и небу. В опровержение незатейливого сюжета моей новеллы, справа, вместе, плечом к плечу были обозначены не слишком чёткие поясные портреты мужчины и женщины. Мужчина держал в руках весло. Поразительно было то, что, при некотором сходстве персонажей с ним и со мной, в облик обоих Борисом были внесены чуткие поправки, в корне менявшие моё восприятие и его, и себя. Я неотрывно смотрела и не могла понять: как такое может быть? Борис не был тогда профессиональным художником. Рисунок его, краски не отличала безупречность. Картина вообще была не завершена. Что же за инстинкт помог ему отыскать в воображении черты, которые один хотел видеть в другом? Будто он моей интуицией угадал себя неожиданным для меня, а меня изобразил с той внутренней пластикой, с тем овалом лица, в которых было выражено что-то сугубо моё. И я ведь не делилась с ним содержанием романа Кржижановской! Его личное художественное чутье на обе лопатки опрокидывало мистику писательницы Кржижановской, а сам Борис предстал непознанным явлением.

Ещё до той картины он писал: «Это правда, что люди рождаются уже близкими. В этом нет выдумки. Они могут никогда не встретиться... Я ведь всегда знал, что ты есть. И что отыщу. Найти тебя значило стать собой. Целым. Страх? Он мог быть прежде. Не найти. Пройти мимо. Заплутать по пути к себе-тебе. Уже встретив, не суметь подать знак, не узнать в лицо и остаться неузнанным. Это было бы кошмаром бессмыслицы. Но я слишком хорошо знал, кто мы друг другу. Не в отношениях даже, а по сути...»

«Не в отношениях даже, а по сути»?! Он знал и про этот разлом, продвязычыё на развилке «отношений» и «суги». Тайна была и в этом.

Была она и в том, что картина меня странным образом утешала. При моих тридцати двух годах, прожитых так, как они были прожиты, я если о чём-то ещё и мечтала, так это о единомыслии и одиночувствии с другим человеком в некоем условном будущем.

Как бы вынутые из глубин запроволочного мира, эти странные отношения в родовом гнезде Бориса представились мне несколько ины-

ми, чем на Севере. Поубавилась и стала покрываться патиной безусловная вера в то, что Борис любит меня «без памяти». В одном письме отсюда, из Москвы, я переспросила его: если так сильно любит, как говорит, то – за что? Ответ оказался непривычно трезвым, неромантичным: «Спрашиваешь, за что люблю? Какую?.. Ну да, Томушка моя, за силу жизни в тебе, упрямую, яркую, неистребимую. Вот какую люблю. А с остальными Томками, что толкутся в ногах у этой со своими слабостями и неуверенностями или вьются поверх нас с хаосом избытка и раскалённых порывов? С ними кое-как мирюсь, то мучаясь, то смешливо щурясь, знаю, что они побочные, как лишние ветки у дикого дерева, которые пьют соки и хлещут прохожих, пока не усмирит их садовник-разум ножом да лыком. Тогда зацветёт, нальётся, раскинется моя главная Томка и настанет время плодоносить... Хотя и сам я грешил последнее время в сентиментальных излишествах, но если бы спросила, за что не люблю тебя, моя Зорька нежная, сказал бы: “За анархию, чёрт побери! Треба дисциплинки”. Оно хоть и манит пустить сердце враспояску, да роскошь эта не по здешнему житью. Ох! Прости меня, прости... Пробую балагурить, а не получается. Рвётся, рвётся вся душа к тебе: успокоить, всю боль твою выпить, разомкнуть душу твою. От всех и от всего закрыть, чтоб отдохнула птица моя. Если бы я мог быть так же спокоен за тебя сегодня, как спокоен за нас через полтора года...»

Чётко, образно, нелицеприятно «по сути» ответил друг. Да только что же это я, на самом деле, за эдакое-такое, что вызываю у ГБ и у любящего человека столь схожие желания урезонить меня и остричь?.. Заслышав на Севере лязг ножниц, я, как «дикая ветка», самочинно отломилась от ствола. Место отрыва и сейчас ещё нещадно саднило. Выходит, что-то надобно «усмирять» и «стричь» ещё и ещё?

Что и говорить, в письме хватало «неканонических» и пронизательных наблюдений. Про «анархию», про «треба дисциплинки», про «нож да лыко разума». Со многим можно было согласиться. А вот в чём он узрел «силу жизни», если каждый день и час сама я всюду чувствую себя так неуверенно? И подумалось, тогда ещё, попутно, что трезвость Бориса очень в новинку и вовсе неспроста.

Александра Фёдоровна устроилась работать библиотекарем в один из подмосковных пионерских лагерей. Просьба в любом качестве пристроить и меня осекалась, как и до того, о нелегальное проживание в Москве и паспортную рогатку.

– На несколько дней приедешь ко мне погостить, – отвоевала наше «вдвоём» мать Бориса. – Я сказала: ко мне приедет невестка...

Уж слишком всё было внутри натянуто при сборах к Александре Фёдоровне. Я не знала, как обойдусь со своими «честно–нечестно» при ответе на вопрос о её сыне, который нынче непременно будет задан. Не знала, отыщется ли лад, когда мы окажемся вдвоём.

Автобус, в котором я ехала к ней в Одинцово, остановили два милиционера. Проверка документов обещала мне высылку из столицы в двадцать четыре часа, ставила под удар Александру Фёдоровну. Я только делала вид, что храбро переносу нелегальщину, а тут кто-то даже спросил меня: «Дать валидол?» Милиционеры же всего-навсего указали водителю, где следует объезжать участок пути. Взрывали стоявшую у дороги облупленную, грязно-белого цвета церковь семнадцатого века. Не сокрушая упорства стен, динамит только образовывал в них выбоины.

– Темнота, – ворчал водитель, – небось, и не ведают, что в прошлые века, когда церковь ставили, в цемент яичный белок замешивали...

Колокола со звонницы давным-давно были скинуты и переплавлены в промышленное сырьё, а на весёлой поляне вокруг церкви ветер клонил долу живые лиловато-синие колокольчики на тонюсеньких ножках.

Пионерлагерь располагался на берегу небольшой речушки. Пригорки. Лесок. Утром звук горна, линейка, россыпь детей...

Во время «тихого часа» мы с Александрой Фёдоровной уходили побродить по лугам. Она была ласкова. Я напряжённо ждала трудного для себя вопроса. Она его задала:

– Скажи, Томочка, ты любишь моего сына?

– ...Мы понимаем друг друга, Александра Фёдоровна. С ним интересно. Он умный, верный.

– Я не такого ответа жду от тебя. Сама знаю, что мой сын талантлив и ярок. Я хочу знать, любишь ли ты его.

И я ответила: «Да, люблю». Ответила так потому, что полноправной половиной нежеланного Бориса, имевшего славу донжуана, был растерянный мальчик, которого я губила своим неприятием, а он этого не заслуживал; потому что, услышав, с какой готовностью он выдохнул в Микунь: «Езжай к Ма! Там всё рассудите», – я в первый раз поверила, что он и правда любит. И потому ещё, что, ничего не рассудив, Александра Фёдоровна была ко мне добра в ужасающий по сути момент моей жизни.

Мы сидели с ней на траве у кромки леса. Чем-то я ей всё-таки нравилась. Она провела рукой по моим волосам. Придирчиво оглядела и попросила:

– Попробуй, зачеши волосы гладко, назад.

Я причесалась, как ей хотелось.

– Ну, это же совсем другое дело! – обрадованно воскликнула она. – Посмотри, как тебе идёт такая причёска.

«Ничуть она мне не идёт», – думала я. Но как же это всё, однако, странно! Какое удивительное единодушие у нас троих! Каждому хочется что-то подкорректировать, что-то изменить в другом.

Меня тяготил ответ Александре Фёдоровне: да, люблю её сына. Я надеялась и чаяла, что со временем его любовь перейдёт в дружбу.

Мою трудовую книжку из Микуня по неяснённым причинам друзья так и не выручили. Но когда прислали полученную за меня зарплату, я тут же купила билет на поезд до Черновиц, куда – в ответ на своё письмо – получила настоящее приглашение от врача Анны Емельяновны Бородиной, с которой мы работали в микуньской поликлинике. У неё, не умучивая вконец семью Бориса, я могла переждать оставшееся до биржи время.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Ещё и посадка не закончилась, а на нижней полке купе в поезде Москва–Черновцы (ныне Черновцы), куда мы зашли с Костей и Лидой, уже спал пассажир. Когда он успел заснуть? В сетке над его местом лежала фуражка военного лётчика. На вешалке висел китель.

– Только не опаздывай к началу биржи, – напутствовал Костя. – Там каждый день дорогого стоит. Не более трёх недель! Ясненько?

Биржу я ждала, как манну небесную. Опаздывать на её открытие не собиралась, но о возвращении ранее, чем через три недели, сама не помышляла.

Мы уже прощались, когда спавший пассажир открыл глаза, сел, крутанул головой, скидывая с себя наваждение сна, и стал оправдываться, что накануне, перед многочасовым перелётом из Ташкента в Москву, поспать не довелось, потому, мол, его и «скосило».

– Присмотрите тут за нашей родственницей, товарищ полковник, – обратился к нему Костя.

– Не беспокойтесь. Всё будет в порядке, – с готовностью отозвался лётчик.

Вошли и заняли места двое других пассажиров.

Укладываясь спать, как то и положено, я пожелала всем спокойной ночи, на что ташкентский пассажир неожиданно ответил не слишком понятной двусмысленностью:

– А я вам желаю – беспокойной...

Его потуга сострить разжаловала полковника до «фон солдафона». Пожелание же его сбылось в полной мере.

Постоянно находясь на людях в доме Бориной Ма, я не давала волю чувствам. А тут все нерешённые проблемы, нажитые в Москве долги, с которыми я не видела возможности расплатиться, сгрудились и схватили за горло. Захлёбываясь слезами, я половину ночи провела в коридоре купейного вагона.

Анна Емельяновна, к которой я сейчас ехала, была человек добрый и замечательный, но за нашими отношениями, как и за отношениями с семьёй Александры Фёдоровны, съеденных вместе пудов соли не значилось.

Мы около полутора лет проработали с ней бок о бок в микуньской поликлинике. Когда мне надо было удалить зуб, я попросилась к ней на приём как к зубному врачу. Она ввела мне обезболивающее. Я потеряла сознание. Первое, что различила, когда оно вернулось, был её шёпот: «Тамарочка Владиславовна, Тамарочка Владиславовна...» – и белое, испуганное лицо. Она протирала мне виски нашатырным спиртом. Стыдно или не стыдно – её испуг за меня и определил наше сближение.

День был уже в разгаре, когда я поднялась после бессонной ночи. В купе – никого. Окно затенено. На столике стояли принесённые кем-то со станции цветы. Постели – аккуратно заправлены. Купе напоминало чистую горницу, прихотливо поставленную на колеса и мчавшуюся через пространство. Хотелось, чтобы так всё и длилось до места назначения.

Возвратившийся в купе военный, спросив о чём-то незначащем, стал чинить допрос:

– У вас что-то случилось? Почему такое отчаяние в глазах?

– Ровным счётом ничего. Тем более нет никакого отчаяния.

– Я вас серьёзно спрашиваю... И потом, хотел извиниться за вчерашнюю банальность...

Он представился:

– Меня зовут Василий Иванович. А вас?

Назвалась и я.

– Какое-то несчастье? – упорствовал он.

Его трудно было заподозрить в тонкости, потому на новый заход: «Что все-таки случилось?» – я ответила, как мне казалось, на уровне его вагонного любопытства:

– Муж бросил.

– Заметное обстоятельство, – согласился он. – Случается, и жёны мужей оставляют. Бывает, потом снова сходятся.

– Возможно.

Жара заставила открыть окна и двери. Поезд лихо катил. За окном – раздолье. По тропинке, параллельной железнодорожному полотну, с той особой сосредоточенностью, которая обещает честолюбивую натуру, отчаянно нажимая на педали, мальчик-велосипедист состязался с поездом. Окружающее миролюбие, то, что я никого не обременяю и нахожусь в пути, успокаивало. Хорошо было бы вписаться в эту обыденность, занять в ней собственное место, а я всё ещё гостя.

Следующий день тоже был жаркий. Ехали по Украине. Корпевшие над уборкой зерновых колхозники выпрямляли спины, чтобы поприветствовать незнакомцев, стоявших у окон поезда.

Двое из попутчиков ушли в вагон-ресторан. Раз, другой в открытую дверь заглянул пожилой генерал из соседнего купе. Театрально укорил ташкентского пассажира:

– Ишь, оккупант, захватчик! Какие такие байки тут рассказываете? Я, небось, знаю не меньше. Пригласите?

– Артистка? – спросил он меня, усевшись.

– Нет. Педагог.

– А что преподаёте?

– Литературу.

– О-о! Мой любимый предмет. А украинских поэтов любите? Побалуйте каким-нибудь отрывочком...

Узнав, что я никогда не видела Киева, генерал предложил домчать до Крещатика на машине, которая его будет встречать. За полчаса стоянки поезда, мол, «успеете не только на град глянуть, но и зайтись от восхищения». Василий Иванович с жаром поддержал затею. Киев мне, разумеется, увидеть хотелось. Вроде бы я и согласилась. Но когда на подъезде к украинской столице один и другой вышли из купе при всех своих регалиях, оповещавших об их капитальной принадлежности к верхам военного сословия, я с ощущением фиктивности ситуации сослалась на какое-то «не могу» и от экстравагантной поездки – отказалась. Мир этих людей был мне решительно незнаком.

С перрона киевского вокзала полковник вернулся с ворохом фруктов и снеди. Прибегнув к манёвру обхода, принялся рассказывать о рождении сына, которого ещё не видел, а только сейчас вот едет в Тирасполь к семье. Но спустя какое-то время предпринял новую атаку:

– Расскажите: что у вас стряслось на самом деле? Честно: ЧТО?

Какое-то из «лиц» соседа не совпадало с расхожим представлением о военном звании.

– Я *должна* рассказывать вам, что у меня случилось «на самом деле»?

– Разумеется, не должны. Я прошу об этом... Признаться, сам не знаю почему. Но как-то мне НАДО знать, что с вами приключилось, и всё тут.

Новая обойма вопросов попутчика была уже явным перебором. И в нарушение здравого смысла я с неожиданным вызовом спросила:

– Слышали что-нибудь про 58-ю статью? Так вот, я отсидела солидный срок по этой статье. До того находилась в ссылке. Идёт третий год, как освободилась. Откуда-то и куда-то еду. Работы нет. Дома нет. Вот и вся история.

На собеседника я не глядела. Я хорошо знала, что происходит, когда на подобный вопрос следует прямой, как шомпол, ответ про 58-ю статью. Лицо огорошенного собеседника цепенело, будто его лично оскорбили, и он тут же устранился от дальнейших разговоров вообще.

Интонация следующего вопроса спутника оказалась ни на что такое не похожей. Он с неправдоподобной бережностью спросил:

– ...Как же вы выдюжили такое?.. Как вынесли?.. Прорвались через это – как?

Сочувствие ли это было? Понимание ли?

– Не знаю, – ответила обезоруженно.

Он стал расспрашивать: где сидела? В политических лагерях? Или пришлось соприкасаться с уголовниками? На каких работах бывала? Есть ли семья? И особенно подробно – об отце:

– Отца – в тридцать седьмом? В каком месяце?

– Двадцать третьего ноября.

– А что знаете о его дальнейшей судьбе?

– Было одно письмо в тридцать восьмом году.

– Откуда?

– Из Магадана.

– ...А судьба матери? Сестёр? Но вы-то? Вы?..

Потом спросила я:

– А вы о себе расскажете?

Во время войны он летал на истребителе. Имел на счету не один сбитый самолёт. На третьем году войны немецким «мессершмиттом» был подбит сам. Самолёт рухнул в болото. С переломами, увечьями, он чудом остался жив. Очень хотел отстоять Жизнь. Отчаянно боролся за каждый час, за каждый метр, который удавалось проползти. Компаса не было. Выбравшись из трясины, близко услышал немецкую речь. Понял, что находится в окружении немцев. Те периодически прочёсывали лес. «Сливался» с буреломом, переживал. От боли и голода терял сознание. Ночами наугад полз и полз к линии фронта.

– Добрались?

– Добрался.

– А затем? Лазарет?

– Нет. Затем – СМЕРШ! Допросы. Проверки... Авиация – это уже потом, изрядное время спустя. Что-то вы со мной неладное творите, Тамара Владиславовна. О многом из поведанного я только двум близким людям рассказывал.

– Я тоже мало кому говорю о своём. Никто, правда, как вы, вопросами особенно и не донимает.

– А вы не сожалеете об этом. Так-то оно и лучше. Впрочем, как знать, может случиться, что мы с вами когда-нибудь подробнее поговорим о наших отцах...

«О наших отцах»? Я не ослышалась. Уточняющих вопросов задавать не стоило.

– Вернул я ваше доверие? – спросил он.

– Вернули.

Что-то уже заживало, зарубцовывалось в конце 1952 года, после войны, после проведённых в лагере лет, но не стало ещё зачерствевшей коркой хлеба. Клеточная память о грязи, о голоде, о заскорузлых, окровавленных бинтах, потерянности и тоске, которые человек извывал один на один с мёрзлой землей, под холодными небесами, – оставалась ещё живой. И хотя ташкентский попутчик принадлежал к малознакомому типу людей – внешне уверенный в себе, эдакий хрестоматийно мужественный витязь, – но и сам поезд, и «фон солдафон», и все его регалии при том разговоре как-то стали несущественны. Слов «выдюжили», «выполз из окружения», «один», «терял сознание», «допрос», «тьма» хватило, чтобы ощутить, что мы рекрутированы нравом одной страны, хорошо перемолоты её историческими бедами. Мы могли говорить на одном языке.

Тон лётчика стал деловым:

– Вас испугали наши с генералом звания? Я не ошибся? Моё значит одно: я сделаю всё возможное для вашего устройства на работу. В Куйбышеве у меня друг – секретарь обкома. Друг в Оше – председатель горисполкома. И тот, и другой сделают всё, о чём я попрошу. А просить буду – найти для вас хорошую работу. И чтобы квартиру подобрали «с настроением».

Я поверила орденосному Солдату. Ни своего могущества, ни желания помочь он, по-видимому, не преувеличивал. Только секретари обкомов, председатели горисполкомов – они из таких чуждых мне сфер. Ведь о последующем, главном в тот момент – о многомесячных преследованиях микуньского ГБ, о том, что сбежала с Севера, – я спутнику, естественно, не рассказала.

Вернулись двое других пассажиров. Похрапывали в подпитии.

Товарищ по сражениям за Жизнь в одиночку попросил дать ему адрес.

– У меня нет адреса, – ответила я.

Этого он не мог взять в толк, настаивал: «Какой-нибудь». На вырванном им блокнотном листке я написала адрес микуньской приятельницы, врача Риты Дубинкер-Кривченок, понимая, что в тех местах никогда не окажусь. И, к слову сказать, была немало удивлена, когда уже после многого, что произошло затем, получила через Риту письмо от Солдата. Он указывал адреса начальственных лиц городов Ош и Куйбышев, заверял в том, что работа гарантирована и единственное, что мне надо немедленно сделать, – это списаться с ними и оговорить род службы.

Поезд шёл уже по Молдавии, приближался к Тирасполю. Василий Иванович вытаскивал чемоданы. Глаза были отсутствующие:

– Я уже весь там. Представляете: впервые увижу сына!

Перед самым Тирасполем он присел напротив:

– Не приходилось, знаете ли, мне встречать таких женщин, как вы. Если честно, не подозревал, что такие существуют.

– А я там встречала похожих на вас. Знаете, как я их называла?

– Как?

– Мужчины-матери.

Через окно я видела, как по тираспольской платформе навстречу этому белозубому человеку мчались трое его детей. Он разом сгрёб их руками... Дети болтали ногами, что-то выкрикивали. С грудным ребёнком на руках, в весёлом цветастом платье певуче двигалась ему навстречу привлекательная жена. Он указал носильщику на чемоданы, и в обнимку, обращённые друг к другу, супруги двинулись по перрону к выходу с вокзала.

Совсем уже к ночи поезд остановился в степи. Ждали встречного. Усевшись на корточки у ступенек вагона, курил проводник. Спустились на землю некоторые пассажиры. Соскочила и я в тёплый-претёплый вечер, на южную молдавскую землю.

Всё было залито вязким, рыже-оранжевым светом августовской луны. Пьяняще пахли южные травы. Стрекотали цикады... Меня неожиданно заполнило откуда-то взявшееся целостное и глубокое ощущение Жизни. Поверилось, что всё у меня как-то отстроится и образуется.

Дорожным разговором с лётчиком я поделилась позже с моей чешской подругой, Хеллой Фришер. Внимательно выслушав, она суммировала одним словом:

– Интермедия!

Образно! Перемычка между актами пьесы? Что ж!

Лет уже через семнадцать, я, наверное, не слишком убедительно пересказала мужу этот эпизод. Поделилась тем, что хочу упомянуть о нём в воспоминаниях. Он пожал плечами: «Лишнее. Ни к чему».

Но без этих внутренних тоннелей не выстраивалась моя «связь времён». Не случись в 1944 году остановиться тому составу с фронтовиками, следовавшему на передовую, против нашего, арестантского, не услышь мы тогда сорвавшегося на истошный крик командирского голоса, защитившего нас, оголодавших заключённых, что-то непоправимо было бы в душе оборвано. И если бы в 1952 году, в поезде Москва–Черновицы ладный лётчик не дал понять, что сумел скрыть правду о судьбе своего отца, взятого в 37-м, разве можно было бы спрессовать пёстрое междурядье нашей жизни? Эти неказённые «оговорки» правды не всё позволяли переплывать в лживый миф.

У Анны Емельяновны было трое детей: годовалый мальчик и две девочки – трёх и шести лет. С Севера она уехала в надежде спасти семейную жизнь, вырвав мужа из компании выпивох. На тот период казалось, что замысел оправдал себя. В Черновицах он устроился на работу в бригаду монтажников, с которыми периодически уезжал на сезонные заработки.

Квартира из четырёх комнат, в которой жила Анна Емельяновна, принадлежала её старшей сестре, которая также находилась в тот момент в отъезде. Нечаянно мне выпала удача пожить в отдельной комнате.

Не успев при побеге с Севера съездить проститься с могилой Коли, в Черновицах я первым делом отправилась на кладбище. В предгорье Карпат оно располагалось на самом высоком из холмов. Чья-то фантазия так использовала ярусное расположение плоскогорий, что построенный на более низком уровне город только мерещился отсюда сквозь испарину жаркого дня. В иерархии обитания живых и ушедших вечное господствовало над бранным. Высота и отвес кладбищенского холма говорили о быстротечности жизни по сравнению со смертью и о смирении первой перед второй.

Почти на каждом из склепов старинного кладбища был закреплён фонарик для свечей. Даже в полдень в некоторых уже мерно горели свечи. Безвольно свисающие ветви плакучих ив выражали скорбь, упругие кроны тополей и каштанов – распрямление страдания. Над тяжеловесными плитами, над крышами склепов парили

ангелы из мрамора и гипса, сообщая этим пристанищам какую-то неокончателность.

Возле одной из свежих могил я увидела сначала лежащий на земле велосипед, а потом уже прикатившего на нём подростка. Видимо, это была могила его отца или матери. Не желая отрываться от того, кто его покинул, обхватив руками свежий могильный холм, лёжа лицом вниз, отрок крепко спал...

До посещения черновицкого кладбища я не представляла себе, что усыпальницы могут быть так причудливы и так не похожи друг на друга. Сравнение такого пантеона с северными свальными ямами, над которыми на деревянный колышек высотой в двадцать пять сантиметров набивался фанерный прямоугольник с номером погибшего в лагере человека, было невообразимо жестоким. Оно характеризовало страну, взявшую на себя право оскорблять и Жизнь, и Смерть, как нечеловеческую.

В солнечный, затаивший дыхание день на черновицком кладбище, переходя от одного надгробья к другому, я менее всего думала о смерти. Мысль о ней отступала перед чувством благодарения к тем, кто не умел святотатствовать.

Как и в любом новом городе, я устремилась в адресный стол, с надеждой узнать местонахождение сына. Во имя того же разыскивала и друзей по Северу: «Не слышали? Не встречали?» В Черновицах, как я предполагала, могли находиться братья Розенцвейги, с которыми мы были вместе в ТЭКе. Кто знает? В Румынию ведь их всё равно не пустили.

За ответом в адресный стол надо было прийти через час.

Пока же Анна Емельяновна повела меня по городу. Сувенирного облика университет; дома с причудливой конфигурацией крыш, покрытых красной и зелёной черепицей; выложенные серой и розовой плиткой тротуары... Затем мы вышли на берег реки Прут, несущейся к Дунаю. Стоя возле этой бурливой, оголтелой реки, я живо вспомнила историю братьев. До какой же степени надо было быть одержимыми мечтой попасть в Советский Союз, чтобы, соорудив самодельную капсулу, при таком сумасшедшем течении с риском для жизни переправляться из Румынии сюда? Как только они выбрались на берег, пограничники скомандовали им: «Руки вверх!» Вместо желанной свободы в Советском Союзе братья за переход границы получили по семь лет лагерей. Смирнее смирных проявили они себя по отношению к постигшей их участи. Срока им вполне хватило, чтобы поостыть и навсегда распрощаться с «факельными» идеями.

Адрес семейства, в котором подрастал мой сын, в Черновицах не значился. Братья Розенцвейги проживали на Сталинградской улице.

Их коммунальная квартира находилась в подвале. Я постучала в застеклённую дверь. В комнате приподнялась занавеска. Появилось заспанное лицо младшего брата, Захара. «Кого угодно могли ожидать в Черновицах, только не тебя!» – ахая, повторяли братья, не стесняясь слёз.

Комната, в которой они ютились, была вопиюще бедна. Здесь не было ничего, кроме кроватей, стола, табуреток и – на выбеленной добела стене – внушительных размеров портрета их отца с лентой из черного крепа. После побега сыновей на допросах в сигуранце Бухареста отца истязали, замучили до смерти.

Братья работали в оркестре местной филармонии: Миша – скрипачом, Захар – барабанщиком.

«А помнишь? А не забыла?» – лился наш разговор. Нет. Ни они, ни я ничего из нашего зимовья не позабыли.

– Помнишь, как я не успел вынести из вагона твои вещи? Поезд тронулся, и они уехали. Ты меня даже не попрекнула.

И, конечно, вопрос: «Как сын?» И моя поправка: «Не *как*, а *где*».

Надо было видеть, с каким пылом принялся меня утешать младший, Захар: «Ты непременно его найдёшь!»

Воодушевление Захара объяснялось необычайной, но реальной историей. Освободившись, оба брата наострились ехать в Черновицы:

– Попасть в Румынию надежд не было никаких. А из Черновиц невооружённым глазом можно видеть румынскую землю. Вот мы и смотрим каждый день на свою родину отсюда. Когда мы приехали, я всё ходил и ходил по черновицким улицам, – рассказывал Захар. – Представляешь, перехожу однажды проспект и вижу: идёт впереди женщина, ноги у неё точь-в-точь как у моей жены Салли. Я иду, глаз не могу отвести от этих ног. Она поворачивает с одной улицы на другую. Я, как загипнотизированный, иду за ней. Потом думаю: «А фигура? Фигура ведь у неё тоже как у моей Салли». Тут она внезапно останавливается. Я, знаешь, забегаю вперёд и вижу, что у неё и лицо моей Салли. Думаю: «Так ведь это и есть моя Салли». Она тоже на меня смотрит. Глядим друг на друга, а поверить тому, что видим, ну до того трудно, что и не решаемся... Видишь, как бывает? Так что не отчаивайся. Точно так и ты найдёшь сына. Вы ещё будете с ним счастливы...

Познакомиться со «счастливой» Салли, увидиться снова с братьями мне, однако, в тот раз не удалось.

Вместе с Анной Емельяновной и её ласковыми детьми мы ходили на рынок, в парк, по городу. Дней через семь после приезда все вместе зашли на почтамт. Александра Фёдоровна обещала телеграфировать, когда получит мою трудовую книжку.

Вместо ожидаемой телеграммы мне выдали от неё письмо: «...Из Микуни тебе просят передать, что твою трудовую книжку не отдали и не отдадут!.. Отделение микуньского ГБ объявило на тебя ВСЕСОЮЗНЫЙ РОЗЫСК!.. На всякий случай в письмах Н. Б. (Нора Борисовна) будет обращаться к тебе как к мужчине. Называть тебя будет Ростислав...»

Я читала этот сущий бред, этот абсурд, как гнусную, жуткую *правду*. Нацеленный, слепящий прожектор сыска шарил по стране, разыскивая меня, как преступника?! Мне эдаким образом мстили за то, что прозевали мой отъезд? Это гибельное чувство во всей полноте позже выразил Борис Пастернак:

Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу хода нет.

Пять суток я провела взаперти. Снова то обморочное бессилие. В сердце – ничего. В защиту – никого. Парализован мозг. И я опять подвергаю опасности готовых мне помочь людей. Анночка-миляночка и на этот раз шепчет добрые слова. Больше, чем они, помочь ничто не может.

Куда ещё бежать? Изменить имя, фамилию? Раствориться в чём-то совсем чужеродном, неведомом? Лишь бы как, лишь бы где, но существовать? Выжить? Нет! Однажды в Микуни этот вопрос был уже решён: лучше смерть! После микуньского ночного ареста мною распорядилась стихия. Сейчас она не напоминала о себе. И не ум, а инстинкт изготавливал «путевой лист» к поступку. Мне надо было изнутри преодолеть ещё какой-то очерченный вокруг меня круг, чтобы вырваться «наружу»: ехать в Москву – раз! Отправиться в алчущую пасть главка ГБ – два! И напрямую спросить: «Что вам, наконец, от меня нужно? Что?! Смерти – не боюсь! Не оставите в покое – покончу счёты с жизнью тут и сейчас!»

Невысокого полёта идея? Стратегически наивно? Неумно? Но по тому, как стала оседать и униматься смута, я поняла: верно! Только

так! Поездка в главк МГБ в Москву – последняя ставка. Альтернативы нет!

По дороге в Москву уверенность в правоте решения поддержали два крайне простых обобщения. Первое: затеявший подобную злобную месть гэбист психически нездоров! Второе: если шизофреники определяют жизнь других людей, желать такой жизни – глупо!

Чудовищно было думать, что я могу не увидеть сына, не узнаю, как он смеётся, как хмурится, каким растёт; не увижу сестру; никогда не буду счастлива.

Мысль, что я до сих пор не исполнила данного при освобождении из лагеря Александру Осиповичу обещания встретиться с его женой, Ольгой Петровной Улицкой, была внезапной и несурзадной. Поезд как раз подъезжал к станции Раздельная. До Одессы, где жила Ольга Петровна, рукой подать. Не осознавая, почему именно в этот момент долг перед Александром Осиповичем возымел почти физическое свойство толчка, я почти так же, как при побеге из Микунь, повинуюсь неожиданному бесстрашию, сошла с поезда на Москву и пересела на поезд одесской ветки. Не таясь, не прячась от розыска, руководствовалась только одним: «Да, случиться может всё! Вплоть до самоубийства. Если же обойдется, Бог весть, когда ещё окажусь здесь. Должна выполнить обещание!» Это не было попыткой оттяжки. Во всех критических ситуациях такие внутренние подсказки были для меня авторитетнее всех доводов разума. Внутренний голос предписывал: «Сойди! Пересядь!» И насколько же по-иному протекли бы последующие годы жизни, не подчинись я тогда этому странному императиву.

Сейчас мне придётся вернуться к тому, о чем уже было написано в книге «Жизнь – сапожок непарный»: к первой моей встрече с Ольгой Петровной.

На отчаянно дребезжащем трамвае я доехала по жаркой Одессе до улицы Павлова, где в доме 37 проживала жена Александра Осиповича. Какой силы сомнение всегда охватывало душу, когда я оказывалась у порога дома родственников северных друзей: а нужен ли им посланец оттуда? Их жизнь – другая, обставлена иными целями и интересами. Ни ты этих людей, ни они тебя не знают. Но Александр Осипович *просил*, чтобы именно я рассказала о нём жене!

Разыскав в прохладной подворотне обшарпанного дома нужную квартиру, я позвонила. На звонок долго никто не отзывался... Затем откуда-то сверху допотопным, скрежещущим механизмом отворили дверь. За нею никого не оказалось. Женский голос сверху спросил:

– Кто там?
– Мне нужна Ольга Петровна.
– Ольги Петровны в Одессе нет. Она сейчас в Кишинёве. Снимает там фильм.

– Простите.

Я повернулась, чтобы уйти. Голос поторопился задержать:

– Вы же не сказали, кто её спрашивал.

– Вы меня не знаете.

– Тем более.

По тяжёлой поступи поняла, что с лестницы спускается пожилая, но очень здоровая женщина.

– Я сестра Ольги Петровны. Меня зовут Елена Петровна, – назвала себя женщина с удивительно добрым лицом. – А вы кто?

– Моё имя вам ничего не скажет. Вы правда меня не знаете.

– И всё-таки. Как вас звать?

– Передайте, что её спрашивала Тамара Петкевич.

– Кто-кто? – всплеснула руками сестра Ольги Петровны. – Да как же так? Саша столько о вас писал! А вы что, могли бы так взять и уйти? Сейчас же поднимайтесь, Тамара Петкевич! Мы вас давно ждём!

Я подчинилась и этому повелительному тону. Поднялась на второй этаж. Елена Петровна продолжала командовать:

– Наденьте эти туфли. Теперь познакомьтесь с нашей мамой. Ей девяносто пять лет. Мы её зовем Зайка. Садитесь на диван. Сейчас накормлю, пойду налью вам ванну, а пока она будет наполняться, спущусь вниз и дам Олечке телеграмму. Почта в нашем доме. Я быстро. Ешьте ягоды, отдыхайте.

Я почувствовала одно-единственное: отворилась незамеченная ранее дверь – и я оказалась у согревающего огня. Как выбившийся из сил путник, я могла передохнуть.

Получив телеграмму, Ольга Петровна уже к вечеру примчалась в Одессу. На пороге появился излучающий свет человек. Это было первое, побеждающее всё остальное впечатление. Мне подумалось, что внешность её придумана лишь для того, чтобы хоть какой-то видимой строгостью притушить её сияние и теплоту. «Вот она какая – жена моего Учителя! Вот она какая!»

Из лагеря «особого режима» от Александра Осиповича письма не приходили. Получал он от неё посылки или нет, Ольга Петровна не знала.

И вот уж кто принялся расспрашивать о нём и о нас! Я отвечала. Рассказывала. Рядом сидел удивительно трепетный и отзывчивый

человек. По профессии кинорежиссёр, Ольга Петровна не отказалась от репрессированного мужа, как от неё того требовали, угрожая лишить профессии. Её ущемляли, притесняли, не разрешали снимать то, что она хотела. В конце концов она перевелась с Одесской киностудии на «Молдова-фильм», где к анкетным данным были более терпимы.

Сёстры уговаривали меня погостить в Одессе, походить на черноморский пляж. Но я путано объяснила, что тороплюсь в Москву, остаться не могу. О собственных обстоятельствах рассказывать было ни к чему.

Под предлогом, что ей ничего не стоит закомпостировать билет, Ольга Петровна настояла на том, чтобы я отдала его ей. Когда же мы приехали на вокзал, сёстры подвели меня к международному вагону.

– Это наш маленький подарок, – пояснила Ольга Петровна. – И поверьте, нам это нужнее, чем вам. Так что не смущайтесь.

– А тебе не кажется, – указывая на меня, обратилась Елена Петровна к Ольге, – что она наша младшенькая сестрица?

Двое суток в Одессе верёвочной лестницей были мне сброшены сверху Тем, Кто хотел оставить меня жить, Кто благословлял меня на жизнь.

Объявленным к поимке преступником я отъезжала от Одессы к месту своей «последней схватки» с властью в мягком купе международного вагона. Отъезжала с чувством обретения родного дома, став «младшенькой сестрицей» Ольги Петровны и Елены Петровны.

В Москве, на Кузнецком мосту, я заняла очередь в приёмной МГБ. Мне обязаны были наконец разъяснить, почему человек не имеет права отказаться от сотрудничества с органами безопасности и что именно приравнивает меня к особо опасным преступникам, на которых объявляется всесоюзный розыск. Разрубить все узлы должны были тут, сейчас и навсегда. К выбору Жизнь-Смерть меня придвинуло вплотную. К тому, чтобы не жить, я была готова.

По приёмной туда-сюда сновали те, кто здесь принимал, и те, кто хотел быть принятым. Проходивший через приёмную военный в большом чине неожиданно остановился возле меня:

– Что у вас? Заходите... Слушаю.

Растерявшаяся от неожиданной внеочерёдности, «втасив» себя в казённый кабинет, я сначала не могла вымолвить ни слова.

– Садитесь. Говорите.

В первой книге я описала, как заржавевшая, сжатая пружина выбила все затворы разом. Как я в угаре рассказала о больнице, до кото-

рой была доведена преследованиями РО МГБ в Микуни, о подписи и о своём отказе, об угрозах гэбистов снова меня засадить или заслать на лесопункт; о спекулятивном обещании разыскать украденного сына за согласие сотрудничать; об инсценированном ночном аресте, о всесоюзном розыске; о том, наконец, что я на свете одна и равным счётом никого не обездолю, бросившись под первый попавшийся транспорт, если меня не оставят в покое...

Меня не прерывали, налили стакан воды. И когда я унялась, сказали:

– А сейчас идите, посидите в приёмной. Вас вызовут.

Сидеть пришлось долго. Очень! Узнавали. Проверяли. Наконец пригласили в кабинет.

– Езжайте, куда хотите, за исключением неположенных, предусмотренных тридцать девятой статьёй городов. Устраивайтесь. Работайте спокойно. Больше вас никто беспокоить не станет. Если возникнет что-то конфликтное, вот наш адрес, вот моя фамилия. Пишите. Понадобится приехать – приезжайте, – вразумляющим тоном говорил высокий чин, на лице которого за всё это время не обозначилось ни одно из известных мне чувств. – Есть ещё вопросы? Просьбы?

– Нет!

– Тогда – всё.

Может, в фантастических глубинах души я и надеялась когда-нибудь услышать в учреждениях власти этот неслыханно нормальный текст. Только я слишком хорошо знала, что заикленность служаков ГБ на вербовке не дурной эпизод, а тактика властных структур и самоизъявление полуграмотных и амбициозных исполнителей. Поверить, что кошмару положен конец? «Мне повезло, – твердила я себе, – мне посчастливилось в недрах тьмы встретить умного человека. Повезло! Повезло, и всё тут!»

Я поверила этому человеку. Он был внутренне отлажен. Он высвободил душу.

Попутно пришло в голову: «А что если это не частный случай? Может, вообще что-то в государстве стронулось с места?» Превосходная мысль! Ничего лучше для того, чтобы тихонько брести к дому Александры Фёдоровны с узаконенным чувством свободы, придумать было нельзя.

Обстоятельства, связанные с побегом, теперь перестали быть секретом для семьи Бориса. Я рассказала Александре Фёдоровне о визите в главк ГБ. Она задала два-три вопроса и больше этой темы не касалась. Напряжение не спало. Напротив, возросло.

До открытия биржи оставалась неделя.

В окошечке «до востребования» на телеграфе «Москва-9» мне выдали телеграмму странного содержания: «Саша приехал всё хорошо... перевожу триста телеграфом крепко вас любим целуем Оля». Кто такая Оля? Какой Саша?.. Когда меня озарила догадка, что освобождён Александр Осипович, а Оля – это Ольга Петровна, я без раздумий ринулась на вокзал и на присланные деньги купила билет до Одессы: два дня туда, два обратно, три – там, и я успеваю к открытию биржи.

Увидеть Александра Осиповича на свободе? Это невозможно было вообразить!

Ни Александра Осиповича, ни Ольги Петровны в Одессе не оказалось. По рассказам Елены Петровны, чуть ли не на следующий день после моего отъезда в Москву Ольгу Петровну вызвали в отделение ГБ и спросили, согласна ли она взять на иждивение мужа, освобождённого по инвалидности, с условием его проживания на сто первом километре от Одессы.

Выбрав село на станции Весёлый Кут, Ольга Петровна сняла там для Александра Осиповича комнату. Туда я немедленно и отправилась.

Скромное станционное помещение, железнодорожное депо, элеватор. Дальше село, огороды, сады. Хата, в которой разместился «на постой» мой Учитель, стояла у просёлочной дороги.

– Пришествие Та-ма-а-а-рочки, – встретил меня не отсидевший восемнадцать лет мудрец, а растерявшийся в непривычной для него обстановке деревни ребёнок.

«Сашу не узнать. Ведь он когда-то был красив, как бог. Чувствует себя плохо», – сказала в Одессе не видевшая его два десятилетия Елена Петровна. Он сдал и за те два с лишним года, что не видела его я. Выглядел постаревшим, пересиливающим нездоровье. Воодушевление от свободы выражалось в незнакомой для него нерешительности и тихом свечении. Его теснили планы: писать, опубликовать математические труды, философские записки и вообще «творчески состояться»! Он должен был «зарабатывать на жизнь, дать наконец отдых Ольге Петровне», которая столько лет поддерживала его и деньгами, и посылками.

Даже если его острый, ироничный ум и оспаривал эти радужные заблуждения, он всё равно пребывал в их власти, не принимая в расчёт ни реальный возраст, ни утраченные силы. Это был его час, его Время, данное для того, чтобы насытить себя ощущением возвращённой свободы. Даже если она иллюзорна.

Мы и тогда, в Весёлом Куте, при первой встрече на воле, говорили о таинстве чисел, о Шопенгауэре, философии которого я не знала. Александр Осипович останавливался, спрашивал: «Понимаешь?» Я с чистой совестью отвечала: «Да», – безбоязненно добавляя вдруг что-то своё в развитие темы.

Не было надзирателей, не били отбой в кусок рельса у вахты. За дверь хаты хозяйка ругала за что-то детей; в окна вваливались волны горячего воздуха конца украинского лета. И, Господи, какому же раздолью предаётся мысль, когда нам чудится, что исторические беды имеют конец!

На следующий день, нагруженная продуктами и приобретённой для мужа посудой, в Весёлый Кут приехала Ольга Петровна. Когда-то в зоне Княж-Погоста Александр Осипович, вынув из тайника портрет жены, сказал мне: «Познакомься. Это моя жена Олюшка. Мой Зулус». В украинской деревенской хате мы нынче сидели втроем.

Поздно вечером, когда в селе уже спали, Ольга Петровна пошла проводить меня до дома, где я определилась на ночлег. Мы долго прохаживались по улочкам и никак не могли расстаться. Она вспоминала:

– Никогда не забуду того страшного собрания на Киевской киностудии, когда один за другим поднимались члены партячейки, те, кого мы считали своими товарищами, и уничтожали Сашу. Партком киностудии обвинял его в том, что картины, которые он создаёт, искажают советскую действительность, чужды пролетариату, не нужны зрителю. Никто не встал на защиту. Ни один. В лучшем случае отмалчивались.

Одновременно это был рассказ о начале их совместной жизни. Она, в ту пору молодая ассистентка Александра Осиповича, представив, как ему одиноко и худо после разгромного собрания, постучала в номер «патрона», после чего они уже не расставались.

– Жили мы тогда в гостинице, – продолжала Ольга Петровна. – Рядом в номере – Довженко с Юлией Солнцева. До этого мы каждый вечер проводили вместе. Спорили, сражались, хохотали, а тут – словно Мамай прошёлся по этой дружбе. Казалось, коридоры вымерли и все киношники мимо нашей комнаты проходят на цыпочках.

Публичное поношение, однако, было лишь предисловием. В том же тридцать четвёртом году Александра Осиповича выслали на станцию Медвежья Гора Кольского полуострова. Оля поехала за мужем в ссылку. Там умер их сын Петя. Там же Александр Осипович был арестован, осуждён и отправлен этапом в северные лагеря. Только-то и всего: до революции числился в партии эсеров; ставил фильмы, «чуж-

дые пролетариату». Разве не достаточно, чтобы за это лишить свободы и продержать человека восемнадцать лет в тюрьмах и лагерях?

В поведанных Ольгой Петровной событиях я узнавала знакомые черты судеб и моего поколения. Не таким уж отдалённым, как это казалось раньше, оказалось их и наше «историческое время», чтобы не стать общим.

При знакомстве в Одессе я восприняла жену Александра Осиповича как прекрасную ожившую легенду. Приняв на себя гражданскую ответственность за отсидевшего мужа, она сейчас откровенно выказывала осторожность и страх: «По-моему, Сашиним друзьям не следует часто сюда приезжать. Это может ему повредить. Ему придётся каждый месяц ездить в районное отделение милиции отмечаться, ведь он теперь имеет статус высланного». Я подумала о Хелле, о множестве других людей, которые будут стремиться увидеть Александра Осиповича. Но в первую очередь сама должна была осознать неуместность своего здесь появления. Я понимала, что ограничения придумывает не эта светлая, жертвенная женщина, столько лет ожидавшая мужа. Но приняв его на своё иждивение, под именное поручительство, она ни в коем случае не могла теперь лишиться работы. А следовательно, должна была соблюдать режим, подразумевающий надзор и за связями, и за мыслями супругов.

В ту лунную украинскую ночь, когда всё вокруг было исполнено неизъяснимой благодатью, уже на свободе пришлось отхлебнуть глоток всё того же горького зелья запретов.

– Вы не осуждаете меня? Вы меня понимаете, Тamarочка? – заметив мою подавленность, спрашивала Ольга Петровна.

Как я могла её не понять? Понимала! Складывая из обломков памяти картину их порушенной жизни, Ольга Петровна надеялась обрести в моём лице союзника:

– Давайте говорить друг другу «ты», как сёстры. Скажи мне: «Оля! Ты!»

Всем, что мне было известно про жизнь, я отозвалась на её искренность и растерянность, на её страхи, на их встречу с Александром Осиповичем через столько лет разлуки!

На следующий день я уезжала.

Радуюсь перспективе театра для меня, горячо поддержав мою устремлённость к нему, Александр Осипович едва ли не молил:

– Только не уезжай далеко. Изволь выбрать что-то поближе. Ты ведь знаешь, что я, как никто другой, буду тебе полезен.

Кто бы понял и знал, с каким святым чувством я мчалась сюда, как страшно мне было снова потерять Александра Осиповича и остаться теперь без них обоих?

– Ну что ж, – сказал брат Бориса, едва я появилась в Москве, – биржа открылась. Завтра, благословясь, пойдём. Ты причепурься и всё такое.

Одно слово «биржа» вызывало во мне дрожь и страх. Подкашивались ноги. Вдруг скажут: «Прочтите что-нибудь». Я испугаюсь, непременно испугаюсь и... не смогу. Одето ужасно. Туфли прохудились. Был бы у меня хотя бы какой-нибудь лёгкий, длинный шарфик болотного... нет, лучше золотистого цвета...

Не вспомню уже, во что я тогда обрядилась, отправляясь в свой первый поход на тот московский театральный «базарчик». Сама себя называла авантюристкой. Желание устроиться на работу в театр не было ничем поддержано. На трудовую книжку, в которой была запись: «Зачислена в филиал Сыктывкарского драмтеатра в качестве актрисы», сослаться не могла. Её так и не прислали из Микуни.

– Значит, так, – наставлял Константин. – Подойдут, станут спрашивать, в каком театре работала, отвечай: «В энском». Знаешь, есть такие, закрытые. О них вообще распространяться не принято.

«Господи! Лгать?»

Для проведения биржи Всероссийское театральное общество снимало в аренду сад «Эрмитаж».

По не слишком тенистым аллеям расхаживали актёры, режиссёры. Никакого труда не составляло догадаться, кто одни, кто другие. Режиссёров отличало эдакое нервение, уверенность в себе. Они здесь были покупатели и хозяева. Актёры вели себя по-разному. Взнузданных необходимостью преподнести себя как можно выгоднее, не ударить лицом в грязь можно было узнать по напряжению. Иные же вели себя сверхсамоуверенно. На биржевом плато действительно просматривалось решительно всё: полный ты, худой, высокого роста или небольшого, хорош или непривлекателен, со вкусом одет или без оно-го; походка, улыбка, реакции... Зрелище – будоражащее, сумбурное и в общем болезненное. Нарочито громкие возгласы то и дело оповещали присутствующих о встречах бывших коллег. Актёры бурно обнимались, слышались комплименты: «Замечательно выглядишь... похорошела... Ещё лучше стала, душенька...» – «Но и ты великолепен. Признавайся, до сих пор хороводишь?» После преувеличенно громких приветствий где-то в уголках сада разговаривали уже значитель-

Пыталась настроить себя: «Ну же, равнение на Удачу!» У последней, как известно, есть развилка: или вознесение, или падение в лужу.

На меня оглядывались. Ко мне подходили:

– Актриса? Где работали?

– В одном из эских театров.

Несколько настороженный, любопытствующий взгляд. Пауза.

– Что играли?

– Джесси в «Русском вопросе», в чеховских пьесах.

– В каких именно?

– В «Трёх сёстрах».

– Кого?

Александр Осипович всегда говорил: «Ах, какая бы из тебя вышла Маша...» И я лгала:

– Машу.

– Покажите вашу трудовую книжку.

– У меня её с собой нет.

– Фотографии в ролях?

– Фотографии? Фотографий не взяла.

– Репертуарный лист?

– Репертуарного листа тоже нет.

– Кто-то из знакомых актёров может порекомендовать?

– Да нет, наверное...

На том диалог и обрывался. Пожимали плечами. Отходили. Потом ещё украдкой оглядывались. И опять наплывало: «Я авантюристка».

– Больше туда не пойду, – объявила я семье Бориса после двух дней пережитого на бирже позора.

– Дело хозяйское, – ответили мне.

«Хозяйское», поистине.

В том, как Костя выговаривал мне позже, было и сочувствие:

– Чего ж ты, матушка, хочешь? Чтоб тебе наливное яблочко на блюдечке поднесли, да ещё и немедленно? Не с первого раза люди устраиваются. Ждать-пождать надо. Терпения набраться надобно.

От меня справедливо требовали подтвердить сведения о себе документами. Не имея на руках трудовой книжки, рекомендаций, я была беспомощна. Приняла решение: «Схожу ещё пять раз. Затем на театре ставлю крест. Нанимаюсь на любую стройку и сразу уезжаю».

До чего же я обрадовалась, когда, разговаривая на бирже с подошедшим ко мне актёром, узнала, что он находится здесь с точно такими же векселями.

– Андрей Николаевич Рыбаков, – представился он.

– И сколько вы отсидели?

– Десять. А вы?

– Семь.

Я осторожно обставляла наш разговор вопросами: «А у вас есть фотографии в ролях?.. А репертуарный лист у вас есть?..»

У него были и кое-какие снимки в ролях, и трудовая книжка.

– Ну а в разговоре с режиссёрами вы говорите, что сидели? – выпытывала я, сетуя на то, что мне советовали ссылаться на «энский театр».

– Что сидел – не говорю. Расскажу потом, когда им уже некуда будет деться. Вам тоже советую обходить эту тему. А что касается идеи энского театра, так она, знаете ли, совсем не плоха. Если вы не против, я ею тоже воспользуюсь. Все знают, что эти театры – в военных, засекреченных городах. В таких случаях и правда не очень спрашивают, что там да как.

Андрей Николаевич был элегантен, артистичен, с прекрасно поставленным голосом. Его то и дело приглашали на переговоры.

– У меня одно преимущество по сравнению с вами, Тамара Владиславовна, – подбадривал он меня. – Просто на нашего брата спрос значительно больше, чем на женщин. Но нам ли с вами унывать?

Я всё-таки унывала. Что было, то было. Ко мне вновь и вновь подходили, следовали те же вопросы, те же ответы, отбивавшие охоту продолжать со мной разговор.

Иногда я встречалась глазами с наблюдавшим за мной «королём». По неучастию и сосредоточенности, с какими он на меня посматривал, я поняла, что этот ушлый человек разгадывает загадку: «Что-то с ней не так. Но что?» У таких, как он, чутьё на идеологическое «не то» было развито отменно. А перед идеологическим неблагополучием все-таки «короли» пасовали так же, как и их «подданные».

Биржа так подавляла меня, что каждый из пяти дней я скидывала с облегчением. И трудно сказать, почему внезапно успокоилась, когда увидела направлявшегося ко мне человека с яркими чёрными глазами и умной улыбкой.

– Пологонкин Рувим Соломонович. Директор шадринского театра, – отрекомендовался он. – Не знаете, где Шадринск? Это на Урале. Расскажите о себе. Вы мне интересны. Где работали раньше?

Глаза у него были не только яркие, но и зоркие. Не только зоркие, но и добрые. А я устала бездарно выкручиваться.

– Знаете, я сидела в лагере по 58-й статье. Там меня взяли в театр, в лагерный театр. Никаких фотографий в ролях или репертуарного листа у меня нет. Знакомых, которые могли бы меня порекомендовать, тоже. Как видите, дела мои плохи.

Любопытный «купец» не ахнул, но чтобы потянуть время, справиться с собой, сказал:

– Хорошо. Покажите вашу трудовую книжку. Работали же вы где-то эти два с половиной года после освобождения?

– Работала, конечно. Работала в филиале Сыктывкарского драмтеатра как актриса. Только трудовой книжки у меня, увы, тоже нет.

Отошёл и этот доброжелательный человек.

– Нет, ни с кем не договорилась! – изничтоженная неудачами, сконфуженно отвечала я актёрам, с которыми успела познакомиться на бирже и которые интересовались моими «успехами».

– Давайте держаться вместе, – предложил мне Андрей Николаевич. – Тут ведь и швали всякой в достатке. Маклеры, между прочим, здесь тоже имеются.

– Маклеры – это те, которые за устройство берут деньги?

– Они самые.

«Всё! Точка! Для чего я сюда прихожу? На что надеюсь?»

Андрей Николаевич догнал меня уже у выхода:

– Поздравьте меня. Я устроился. Подписал договор. Город не ах, театр не ахти, третьего пояса, но – решился. В более крупном городе всё равно не пропишут.

– Что за город?

– Кызыл.

Искренне обрадовалась за него. Поздравила. Сказала, что тоже больше сюда не приду. Уеду. Буду искать другую работу.

– Протестую! Категорически. Я убеждён, поверьте мне, я чувствую: вы очень, очень хорошая актриса. Вы должны быть и будете в театре. Не сдавайтесь! Давайте договоримся следующим образом: ещё три попытки, ещё три дня!

– Ладно. Ещё однажды. Завтра тот самый мой пятый раз.

Когда в середине следующего дня я решительно покидала биржу, мне пресек дорогу юркий, энергичный человек:

– Договорились с кем-то?

– Нет.

– Всё устроим. Дайте поглядеть ваши документы.

Перечень моих «нет» его ничуть, казалось, не смутил:

– Не беда. Уладим. Решительно всё уладим. От вас требуется только одно – произнести: «Хочу, чтобы вы меня устроили».

Поняв, что это маклер, я в замешательстве сказала:

– Нет-нет! Не надо. Не беспокойтесь. У меня нет не только нужных документов, но и денег.

– Ну-у, – откинувшись всем корпусом назад и изобразив на лице укор, не то прошилел, не то прошептал он. – Такая женщина и... деньги?

Кратко. Нагло. Так, что в одно мгновение всё меркнет от мерзости мира.

Смятая унижением последних дней, этого я вынести уже не смогла.

В туалете, где подкрашивались и поправляли причёску утомившиеся актрисы, кто с ободряющей, а кто с участливо-кривой улыбкой, дотронувшись рукой до моего плеча, выговаривал: «Ну-ну! Что бы ни было, надо держаться!»

Ополоснув распухшее лицо, я должна была пройти через довольно людное место, чтобы выйти из сада «Эрмитаж». И тут меня остановил директор шадринского театра:

– Что вам сказал этот негодяй? – напористо спросил он. – Что?

Ни в чём заступничестве я уже не нуждалась. Торопилась уйти отсюда. Прошла мимо него...

– Подождите. Да подождите же! Я беру вас в театр. Идёмте, подпишем договор... Я говорю: подпишем договор, если вы не против.

Я не верила тому, что слышала.

– Но у меня же нет нужных документов...

– Нет, значит нет. Есть чистые глаза. Дайте мне ваш паспорт. Паспорт-то есть?

– Паспорт есть.

– Зарплата на первых порах будет небольшой. Потом повысим. Жилья тоже не обещаю. Пока поживёте в гостинице. Освободится место в общежитии – предоставим. Согласны?

– Согласна.

– Открытие сезона первого октября. Быть в Шадринске надо – соответственно. Подписывайте здесь... И здесь. Тут распишитесь за подъёмные... Пересчитайте! И всё-таки, что вам сказал тот подонок?

– Ничего.

– Я этого так не оставлю. Вы завтра придёте?

– Ни за что.

Мы попрощались. В сад «Эрмитаж» входил Рыбаков:

– Ну, я же говорил! Я же знал! Какая же вы молодчага! Пойдёмте, отпразднуем победу мороженым!

В память о тех днях на бирже остались его строчки:

Всё ярче мне день этот помнится!
На бирже, на конском базаре,
Вы зябли, великая скромница,
Ни с кем там не будучи в паре.

Вот так на чужбине встречаются!
А вечером, словно в тумане,
Москва перед нами качается,
Мы бродим одни, марсиане.

На глупую долю не сетуя,
Бездомны на целой планете,
Как вольно мы дышим, беседуя
О самом заветном на свете...

– Кто оказался прав? Видишь, что значит вооружиться терпением? – сказали «старшие дети» семьи Бориса. – Молодец! Поздравляем.

Александра Фёдоровна – потише, потеплее:

– Вот ты и устроилась на работу, Томочка!

Я крепко её обняла:

– Спасибо вам, Александра Фёдоровна. Как же я смогу вас отблагодарить за всё?

Иногда казалось, что Судьба двурушничает: законспирированно, тайно дает мне частные уроки азбуки, благодаря которой я могу считать с её матриц какие-то предвестья. А для достижения желаемого мне как бы определён способ: выстрадать то, что я хочу, безмерной тратой сердца и уймой физических сил. Финальный день биржи подтверждал, что эти условия – незыблемы. Моей собственной инициативы или заслуг в устройстве на работу не просматривалось.

И всё-таки невероятно! Исполнилось заветное! Не куда-нибудь устроена – в театр! Александр Осипович просил: «Изволь устроиться поближе». Урал? Ничего себе «поближе»! Оттуда труднее будет разыскивать сына. Но работа – есть. Получу какое-то жильё. Обрету «права» подавать документы в суд на возвращение мне сына. Сомнений в том, что отыщу его, не было.

У судьбы моей была ещё одна странная закономерность: удача, любое умиротворение влекли за собой «девятый вал», ударная сила которого норовила свести на нет даже скромные победы.

Тот же Центральный телеграф «Москва-9», окошко «до востребования». Выданная на этот раз телеграмма извещала: «Выезжаю Москву прошу встретить Дмитрий» (число, номер поезда и вагона).

«...Почему вдруг? Почему вообще?.. Тем более – сейчас? От взрывов ваших чувств мне больно, Дима. Вы же сказали в Микуни, что больше не придёте – никогда. И вы не приходили...»

Как пойманная сачком, я не в силах была подняться с места. Продолжала сидеть, разрисовывая полученную телеграмму ироничными рожицами. Во мне разгоралось давно подавленное волнение.

Я эту историю не понимала. Она была невинной и давней.

Зимним днём 1944 года по распоряжению политотдела СЖДЛ с разных концов лагеря нас, несколько человек заключённых, свезли на центральную колонну – в лагерный театр. Среди этих нескольких человек был пианист, окончивший Бакинскую консерваторию у профессора Шароева, – Дмитрий Фемистоклевич Караяниди. Знавшие его раньше земляки говорили: «Он не просто пианист, он пианист от Бога». Арестованному в 1937 году, ему досталось то самое беспощадное и непосильное, что выпадало на долю первопроходцев, которых завозили в девственную, нетронутую тайгу Коми АССР. Им приходилось самим прорубать просеки, самим отстраивать для себя зоны и бараки. Дмитрий выжил чудом. И не меньшим чудом надо считать то, что руки пианиста на общих работах остались неотмороженными. Всего за три года до его освобождения кто-то из начальства вычитал в формуляре, что он пианист, и на него выписали наряд в ТЭК. Первым моим впечатлением было: «Досталось человеку. Старше меня, а растерян, как и я. И как же обаятелен, как красив».

На большинстве колонн, которые мы обслуживали, о пианино и не слыхивали. Дмитрию Фемистоклевичу вручили аккордеон. Он переучился и стал на нём аккомпанировать солистам ТЭКа. Один из послевоенных этапов пополнил коллектив новичками, среди которых была прелестная певица Инна Курулянец и артист студии Ю. А. Завадского Николай Теслик. Вчетвером мы организовали так называемый «колхоз». Распределили, что кому носить на дальних переходах. Складывая в один котёл сухие пайки, мы в очередь с Инной готовили. Пережили вместе известие о смерти Диминой дочери Стеллы. Пережили ночь, когда в барак пришёл нарядчик, зачитал фамилию Инны в списке на этап в Мариинские лагеря – и Димину возлюбленную увезли. Дима был рядом, когда заболел мой любимый, Колюшка. Дима пришёл на кладбище ночью, когда я Колюшку хоронила.

Не припомню особенно глубоких дружеских излияний между нами. Нет, этот человек с сиянием в глазах был скрытен, замкнут и мало кого подпускал к себе на близкое расстояние.

Когда Дима отбыл срок и его освободили, он заторопился уехать домой. В Баку узнал, что у его бывшей жены новая семья. Вернулся на Север. Устроился работать в тот же ТЭК, только уже по вольному найму.

Прожив бок о бок несколько лет, деля всё, что в себя включал лагерный быт ТЭКа – разъезды в товарных вагонах, грязь, холод, репетиции и наши выступления, – кем мы в конце концов стали друг другу? Не только друзьями. Скорее родными людьми. Даже при том, что мы с Димой продолжали быть на «вы».

Когда я освободилась, мы жили в ста километрах друг от друга. Периодически виделись. Дима так и остался жить и работать в Княж-Погосте. Я постоянно ездила в Княж-Погост на могилу к Колюшке. Когда Александр Осипович и Борис находились ещё на колонне Ракпас, Димина комната в общежитии стала «почтовым ящиком» для передачи писем от них ко мне и к ним от меня. И всё между нами было так же надёжно и так же спокойно.

Откуда после семилетней, ничем не замутнённой дружбы нахлынуло смущение, охватившее обоих, когда я однажды зашла передать письма на Ракпас, не уследили ни он, ни я. Сидя в поезде, идущем в Микунь, я неотступно думала об охватившем меня чувстве. Такая прочная была между ним и мною дистанция – куда она вдруг делась? Час назад, когда он предложил мне выпить чашку чая, его голос стал неузнаваемо глухим. Давнего друга подменил смуглый, притягательный мужчина. Память о прошлых годах сковывала обоих. Мы, два одиноких человека, одновременно пришли в замешательство и «сбежали» друг от друга.

Месяца два не виделись вообще. Потом он приехал в Микунь устраиваться на работу по совместительству. Случайно встречаясь, мы могли иногда пройтись по дороге, разговаривая о чем-то стороннем. Туманило голову, когда он вскользь бросал: «Вы мне снится», «Вам идёт этот цвет»...

На открытии микуньского дома культуры я читала поэму «Говорит мать». Дима поджидал меня на сцене у кулис. Так же глухо, как у себя в тот вечер, процедил: «Сколько же в вас огня!» И всё стало ещё опаснее и непоправимее. Иногда между репетициями он в Доме культуры играл для себя «Первый концерт» Шопена или «Второй» Рах-

манинова. Если случилось зайти в это время в зал, садилась в дальний ряд... и пропадала... Казалось: он играет для меня.

Меня уже много месяцев калили в Микуни пыткой вербовки в МГБ. Борьба изнурила до предела. Он поддержал своей установкой: «Не бойтесь, даже если станут угрожать наганом». И незваным пришёл в тот вечер, когда я, едва не поддавшись угрозам ГБ, одержала над собой верх и преодолела бесчестье. Пришёл в тот миг, когда зуб на зуб не попадал от зяби одиночества, и я взывала: «Эй, жизнь, откликнись, подай знак, помоги!» Жарче всех желаний было безотлагательное желание услышать именно от него не единожды, а многократно повторённое: «Люблю! Люблю!» Произнесённое же вслух: «Я больше не приду! Никогда!» расшибло что-то едва пробудившееся.

Это сказал не ровесник. Это сказал человек на двенадцать лет старше и умудрённее меня.

После ночи, проведённой за решеткой в ГБ, приняв помощь Бориса, простившись с ним одним, я уехала с Севера навсегда.

Дмитрий так торопился выйти, что при взгляде с платформы в окно вагона казалось: стремительность опережает его реального.

Неловкость. Сдержанность. Наскок вопросов и переход на непривычное «ты».

- У кого ты живёшь?
- У матери Бориса – у Александры Фёдоровны...
- Мы сможем видеться?
- Посмотрим. Командировка? – спросила я.
- Нет. Отпуск. В театр сможем пойти?
- Пожалуй...
- Куда взять билеты?
- ...Во МХАТ.
- На что?
- На что удастся...

Он взял билеты на три спектакля кряду. Театр любил. Толк в нём – знал.

Комнату Дима снимал где-то далеко на окраине. Мы встречались перед спектаклями в сквере, между гостиницами «Москва» и «Метрополь». Объяснений – никаких. В театре среди приглушённого говора рассказывающейся публики взаимная натянутость спадала. Овладевало *то* волнение.

Всё происходящее на сцене в пьесах Чехова, Шеридана так или иначе касалось нас. В финале первого акта «Дяди Вани» Войницкий

просил Елену Андреевну не гнать его прочь, позволить говорить о любви. Она отвечала, что это для неё мучительно... Дядя Ваня неторопливо удалялся в дом. Елена Андреевна, которую играла Алла Тарасова, раскачиваясь на качелях, погружалась в стихию неуяснённых чувств, и только тогда начинали сдвигаться две половины занавеса с чайками на кайме. Не хотелось делать усилий, чтобы стряхнуть чары театра и того, что мы вместе смотрим во МХАТе спектакль.

В «Школе злословия» я наконец увидела Андровскую, на которую, по утверждению желавших сделать мне комплимент, была якобы очень похожа. В сцене с арфой она и Яншин с изыском жалили и уязвляли один другого. Следя за их словесной дуэлью, я с острым чувством неуверенности спрашивала себя: «Сумею ли так?» Что-то в душе ободряло: «Может, и да. Если рядом будет такой режиссёр, как Александр Осипович».

– Ты опять в театр? – спрашивала меня Александра Фёдоровна.

– Да.

– С кем?

– С северным другом. Он на несколько дней приехал в Москву.

На меня с такой нескрываемой жадностью смотрели глаза этого прежнего друга, что я всё позабыла, всё отодвинула, не хотела к себе подпускать никаких покаянных рассуждений.

И вдруг два неожиданных, чётких вопроса Димы:

– Сколько у тебя свободных дней до отъезда на Урал?

– Двенадцать.

– Поедем на юг?

«Так незаконно? Так запросто?» – подала во мне голос старорежимность.

– Едем, – ответила.

– Куда бы ты хотела?

– В Одессу!

Я прекрасней места не знала.

Держать ответ перед Александрой Фёдоровной было трудней, чем перед Борисом. Только на днях спрашивала её: «Как смогу отблагодарить вас за всё?» Неужели переступлю через это? Неужели Дима – это так серьёзно для меня?

Серьёзно. Переступила.

Дима стоял у вагона и глядел, как сомнамбулически я двигалась ему навстречу. Так, вероятно, смотрят, когда хотят присвоить.

Поезд вёз нас в какую-то бездну.

Стояли тёплые дни сентября. Бесчинствующий ветер трепал занавески на окнах купе.

Нас просвещали: «Одесса? Плутоватая Одесса. Жильё выбирайте не спеша. Если придётся иметь дело с маклером, торгуйтесь. Хозяевам дайте сначала только аванс...»

И вот знакомое светло-серое здание одесского вокзала, гул южного многоголосья, скандал в очереди на такси. В машине – внезапная тишина. Дима бросает водителю: «На Ланжерон».

И вот уже всё позади: вездесущий маклер, выцыганивший солидную сумму за комнату в доме на горе; многоопытная хозяйка, потребовавшая отдать ей паспорта, в которых 39-я статья и отсутствие штампа о браке уличают нас сразу во всех смертных грехах; предоплата тут же откуда-то возникшему милиционеру, ходившему у хозяйки в друзьях...

Море! Мы спустились к обрыву над ним, когда было совсем темно. Оно рокотало. Тяжеленное, разлётшееся на беспокойном дне. Родившийся в Греции, на берегах Средиземноморья, проживший много лет в Баку у Каспийского моря, Дима скорее всего воспринимал всё по-иному. А мне от юга, от близости моря, от того, что я, оказывается, совсем ещё не знала себя, казалось, что ни за какой далью не могли больше существовать никакие материки. Этот берег был на тот момент берегом всех морей и океанов.

Окна нашей комнаты выходили во внутренний дворик, выгороженный с трёх сторон стенами из самана, сплошь увитыми лозой. В землю был врыт стол, к нему приставлены два плетёных кресла. Над головой в солнечных лучах неспешно поспевал виноград.

В этой заповедной тишине из фантазий романов Эберса и Олдингтона хозяйка, предложившая нам полный пансион, ставила по утрам на стол тарелки с жареной скумбрией, мясистыми степными помидорами, баклажанами и сваренным кофе. О-о! Одно дело – стать свободными, другое – попробовать свободу и юг на вкус. Едва доверяя тому, что это была, мы, как к диковинкам, притрагивались к экзотическому завтраку. Обходились взглядом, улыбкой. Обходились без слов.

Поднимались рано. Спускались по каменистому склону Ланжерона к шумному сине-зелёному морю. Уплывали вместе. Но когда Дима, распластавшись на берегу, отдыхал, я снова и снова кидалась в волны. С берега кричали: «Уймись! Смотрите, что она вытворяет!» Но Дима усмехался. Ничуть за меня не страшился. Только цедил напоённые хмелем слова: «У тебя волосы, как червонное золо-

то», «Сегодня у тебя зелёные глаза»... И мне нравилось быть немудрёной и не женой, поскольку мнилось: словам «Мы ведь теперь навсегда вместе?» всё равно уже никуда не деться.

Дни грешных каникул быстро истаивали.

Ольги в Одессе не было. Она снимала фильм в Молдавии. Мы с Димой навестили Елену Петровну и девяностопятилетнюю Зайку. Дима очаровал обеих, что было ожидаемо и прекрасно.

На пару часов я решила съездить к Александру Осиповичу. Одна.

На вокзале, купив конверт и бумагу, в ожидании поезда, написала Борису, что нахожусь в Одессе и обстоятельно напишу ему обо всём чуть позже.

Под окнами хаты Александра Осиповича деревенские мальчишки с гиканьем играли в футбол. Он сидел возле стола и что-то писал. Глаза у него были потухшие. Что-то съедало Учителя. Ни библиотеки в селе, ни блестящих собеседников, какие были в зоне «особого режима», в Абези. Не было тут искусствоведа Пунина, философа Карсавина, поэта Смелякова. Чтобы иметь партнёра по шахматам, он обучал игре сына соседей Витю Врублевского.

Если нам в разговорах с Александром Осиповичем случалось касаться чего-то личного, это никогда не совершалось в ущерб деликатности. В этот раз я ехала к нему сказать, что «личное» в моей жизни – определилось.

Как-то, наплававшись в море, Дима на пляже уснул. Пересыпая песок с одной ладони в другую, я сидела возле него. Волна лениво облизывала кромку берега. Всю меня с головы до ног стало заполнять чувство такого великого покоя, какого я вообще не могла припомнить. Этот покой был значительнее и важнее неожиданно налетевшей страсти. Всё, казалось, сошлось: близкий человек, наше прошлое и сегодняшний день.

– Выходишь за Диму замуж? – спросил Александр Осипович.

– Да, – без тени сомнения в том, что отвечаю и за себя, и за Диму, ответила я.

– Что ж! В Диме нет ничего небезупречного, – раздумчиво заметил Александр Осипович.

Ни одобрения, ни оживления в голосе не появилось. Разве что примирение.

Значит, ехала и за тем.

– На Урал! Как же ты можешь так далеко от меня уезжать? – укорил Александр Осипович на прощанье.

Поезд по-сумасшедшему быстро мчал нас с Димой к Москве. По обе стороны железнодорожной колеи высвеченная ярким солнцем чащоба листвы буквально захлёбывалась в предсмертных золотисто-багряных вскриках. Ни до, ни после я никогда не видела такого бурного кипения красок осени. Чередование света и тени при бешеной скорости поезда било по глазам даже тогда, когда я прикрывала веки.

Я удивлялась тому, что во мне, такой напряжённой и неестественной в последние два с половиной года, после всего случившегося с сыном, после смерти Коли, вдруг дала о себе знать жизнь сердца. Приняла это за сущее чудо. И действительно не сомневалась: не в Одессе, так в поезде, не в поезде, так в Москве Дима скажет: «Уедем всё равно куда, только бы быть вместе». Уверенность в неминувости такого признания проистекала не из желания выйти замуж. Тысячу раз – нет! Я так безоговорочно, так свято верила, что природа и снизошедшее на берегу чувство покоя обмануть не могут.

Ни слова, ни полслова о будущем Дима не проронил и в Москве.

Мы скромнано простились. Он в тот же вечер уехал на Север. Мой поезд в Шадринск отходил на следующий день.

У Кости и Лиды в час отхода моего поезда была назначена встреча в одном из московских театров. Они не могли меня проводить. Лида при прощании сказала что-то, не слишком для меня в ту пору понятное. Что, мол, уже завтра ей будет лень добираться до искренней приязни ко мне, что мысль обо мне будет уже не гореть, а тлеть. Но сейчас она хочет сказать, что «чувством женской солидарности целиком на моей стороне».

Не поняв, что она имеет в виду (догадалась ли о чём?), я пожелала ей устроиться в хороший театр. Сердечно благодарила Костю. Ни в чём не повинившись перед Александрой Фёдоровной, была сама не своя при прощании с нею; путано сказала, что написала Боре письмо.

– А мне, Томочка, часто будешь писать? – спросила она. – Ты ещё не знаешь, тебе даже невдомёк, что театр – не рай. Тебе трудно придётся. Совсем одна – и так далеко.

И дожгла меня словами:

– Я не всегда была к тебе справедлива. Прости меня.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

От подъёмных денег, выданных директором шадринского театра, остались гроши, хватило только на плацкартное место, на средней полке комбинированного вагона. Нижние отводились «сидячим» пассажирам, которым требовалось проехать несколько перегонов пути. Таких было много. Одни непрерывно сменяли других. И если кто-то из обладателей плацкарты слезал с полки вниз выпить чаю, шансов где-то притулиться практически не было.

По дороге в Шадринск меня, как пустопорожнюю посудину, механически заполняли кадры вагонной жизни; такое бывало и в лагере на пересылках. Замершая душа запоминала чьи-то суждения, гнев, брань или комментарии... Что-то сразу достигало сознания, что-то всплывало в памяти позже.

На боковой полке лежала миловидная украинка. Возле её изголовья стоял высокий усатый детина (усы были почти вызовом – их в те годы не носили). Он неторопливо снимал обёртки с конфет «Раковые шейки», не спеша засовывал бумажки в карман и, любовно приговаривая: «Али я тебя не холю, али ешь овса не вволю», вкладывал красной девице в рот конфету за конфетой.

Подсевшая в вагон полоумная бабка была беззубая. Толстым, рыхлым языком непрерывно облизывала губы, крестилась, снимала платок, показывала наголо остриженную голову и громко кликушествовала: «Никто из вас не гарантирован от этого, никто не гарантирован... Я двоих детей в блокаду похоронила, один сын на Ладожском погиб. Всего шестерых имела. Съедутся, бывало, все, а у меня корова двенадцать литров молока давала, я всё им выпаивала. А теперь никто из деток меня принимать не хочет... Хворобой, вишь, стала. Поехала вот счас к сыночку, а он мне – от ворот поворот». И опять высовывала язык и крестилась. Разговор с ней никто не поддерживал. Тоску её выслушивали вполуха.

Узлы. Чемоданы. Махра. Обрывки разговоров: «А у нас что? Сом да налим ещё не перевелись. Шурят много. Поверишь, сандалию мне одна каналья прокусила»; «Зайдёшь в сельпо, на полках одни тазы да кастрюли. Жратвы – никакой. Хана!»

К ночи на одной из станций в купе подсел «дядько». Определив себе в собеседники соседа, тоже завел разговор о рыбалке, а потом, притушив бас, стал его вразумлять:

– Ты что ж, не слышал про эти подземные заводы? Да их тьма под коркой, которую мы с тобой топчем. Там такие, брат, ракеты собирают, что если их запустить, они и звезды посшибают... Мозгов-то в стране хватает. Они и дают рецепты, как тонны железа переплавить в эти снаряды... Такая вот, брат, под нами начинка имеется... А знаешь, сколько эти секретные заводы кадров глодают?.. То-то и есть...

При малом накале лампочек вечерами в вагоне всё становилось едва различимым. Лёжа на своей полке, я не могла, да и не пыталась разглядеть говорившего. Только слышала, как плотно в его голосе перевиты экзальтированная гордость за государство и страх перед ним.

Я не читала газет с поры тридцать седьмого года, когда страницы испещрялись разоблачениями «врагов народа» и требованиями граждан страны уничтожать этих «нелюдей». Однако умонастроения многолюдья, среди которого я перебивала в лагерные и послелагерные годы, насыщало истинным знанием того, что происходило с человеком и государством. Сейчас, в поезде на Урал, охота, хоть и приглушённым голосом, но поговорить на запретную тему вооружений показалась в новинку. Делиться такого рода открытиями по-прежнему было рискованно, поэтому лучше вот так, не поинтересовавшись именем соседа и своего не выдав, перекинуться словцом, а через пару часов сойти с поезда с надеждой никогда более не встретиться с собеседником: «Так и пронесёт Господь...»

Днём, глядя в окно, я дивилась лесным массивам, сплошняком покрывавшим уральские предгорья. Услышанное про «начинку» земли подрывало миролюбие картины и небылицей не казалось.

Ехала я Бог весть в какую даль. Хотела верить, что самоотдачей сумею восполнить свой непрофессионализм. Может, как-то что-то и получится?

История с Димой... Конечно, предположения набегали, занижая образ друга, которого знала так много лет. Если поездка на юг помещена им в разряд мимолётных романов, тогда я ни про жизнь, ни про человека ничего не понимаю. Может, его испугало, что у меня есть сын? Это тоже не всё объясняло. Объяснения лежали в иных пределах.

Одни сутки сменялись другими, серыми, скупыми. Назойливо барабанил о железную кровлю вагона дождь. Всё было так, как есть.

Без иллюзий. Без лжи и фальши. Но ведь и без былых кошмаров. Тем давалось обещание пусть безрадостного, но – выздоровления.

Из пассажиров моего купе дальше, чем я, ехало двое – отец с четырнадцатилетним сыном. Узнав, что я еду в Шадринск на работу, они стали просвещать меня: до революции там разводили и откармливали гусей для царского стола, потому до сих пор тамошних гусей называют «знаменитые шадринские».

Отец служил лесничим. Жили они вдвоём в лесу. Дружно управлялись с хозяйством. Казались смешливыми, задирали друг друга. Мальчик в школу не ходил: далеко было. Чему-то его обучал отец. Наслушавшись подробностей об их лесной жизни, о зверушках и птицах, я вообразила, что оба отрешены от всего городского и от людей. И вдруг на третий день пути, поутру, едва я проснулась, мальчик, глядя на меня чистейшими, невинными глазами, объявил:

– А знаете, блондинка, я вас сегодня во сне видел.

Опешив от обращения «блондинка», я поинтересовалась:

– Что же ты видел?

– Видел, что вас не отпускал от себя какой-то седой мужчина. И называл вас – Тамарой.

Ну сущая ведь мистика, право. Дрёму с меня как рукой сняло.

– А как вас на самом деле зовут? – спросил провидец.

– Прибавь к тому, что во сне увидел, Владиславовна. •

Одна ошибка затесалась в мальчишеское сновидение: седой мужчина – «отпустил». И всё-таки: что это? Как? Никому я в вагоне не представлялась. В разговоры ни с кем, кроме них, не вступала.

– Не нравится мне, – заметил тем временем подросток, – что настроение у вас какое-то нестоящее, не наше.

– Хорошее у меня настроение, *наше*. Дорогую цену имеет такое настроение, поверь.

– Ну, *меня-то* вы не проведете, – покровительственно усмехнулся подросток.

Раздобыв лист бумаги и карандаш, забравшись на третью полку, четырнадцатилетний лесничий что-то писал. Закончив, гордо протянул мне своё сочинение:

Бояться места нового не стоит.
Напрасно жизнь Вас новая страшит.
Напрасно Вас поездка беспокоит.
И сердце Вам неправду говорит.

Сибирь! Суровая природа.
И все четыре время года

Вы будете довольны ей,
И в тишине её ночей,
В морозном воздухе и звёздах
Найдёте столько чистоты,
И совершенств, и красоты,
Доселе будто невозможных,
Что Вы всем сердцем, всей душой
Не захотите в край иной.

Уж сколько раз бывало так: никого-то и ничего-ничегошеньки нет округ, хоть шаром покати. Обрывки, смута, тьма – и вдруг что-то возьмёт и блеснёт, или выкатит краешек солнца.

Мальчик то и дело чем-то удивлял. Скрасил тем дорогу в крошечную неизвестность.

Отец и сын взяли меня под свою опеку. Себе приносили по стакану чая – и мне. Себе на станциях покупали варёную картошку – и мне прихватывали. В Шадринск поезд прибывал ночью. Лесничий обещал, что они с сыном проведут меня до входа в здание вокзала. Спросил:

– А если не встретят?

– Как это не встретят? Телеграмма послана. Встретят непременно.

Платформу освещала пара фонарей. Встречающих у вагона не было. Отец с сыном донесли чемодан до станционного здания. Я не стала в него заходить пока не различила через запотевшее окно хвостового, комбинированного вагона в отошедшем поезде лица двух славных людей, встретившихся на том пути.

Я ещё надеялась на то, что меня кто-то окликнет. Но тщетно. Меня не встретили! Как же мне хотелось незамедлительно сесть в поезд, направлявшийся обратно! Только понятие «домой» было истинно пустым звуком. Замашки гордости – отменялись. В кармане гремело несколько пятак. Хватило бы только на автобус до театра.

До города, сказали, километров пять. Транспорт ночью не ходил. В зале ожидания всё было заплёвано, грязно. Отыскав у стены местечко, я села на свой чемодан. Прислонившись к стене, перебыла в зале ожидания ещё одну в своей жизни окаянную ночь.

Часов в восемь утра вышла на привокзальную площадь. Листья на кустах в сквере были уже побиты морозцем, припорошены снегом. Ехать к театру? Рано. Кто-нибудь из администрации придёт на работу часам к десяти, не раньше.

Самое трудное было – наскрести сил, чтобы как ни в чём не бывало явиться в театр и сказать: «Здравствуйте. Прибыла».

Остановка так и называлась: «Театр». Сойдя с автобуса, увидела симпатичное деревянное здание театра и подходившего к его дверям

директора, Рувима Соломоновича Пологонкина. Он всплеснул руками: «Как так? Почему не дали телеграмму?» Легче было поверить, что телеграмма и вправду не получена, чем выяснять, как и что.

Не заходя в театр, директор повёл меня в гостиницу. Одноместные и двухместные номера были заняты. Поместили в многоместный, на шесть коек, но пустой. Пообещали: «Сколько будет возможно, никого не подселим».

– Простите, что так неловко получилось... Завтра в десять часов утра – сбор труппы, – расшаркался директор.

Я закрыла дверь на ключ.

На столе красовался графин с водой, с шестью стаканами вокруг. Чтобы согреться, стащив с трёх кроватей одеяла клюквенного цвета, забралась под них. Ни на обед, ни на чай не было и рубля. В одно сбегались все, что только были на свете, обиды. Вместо того чтобы отогреться и поспать, я несколько часов кряду прорыдала.

День короткий. Быстро стемнело. Электричества я не зажигала. Сколько времени до завтрашнего дня, знать было ни к чему... В дверь номера постучали. Надо было встать, впустить постояльцев. А ведь обещали не подселять. Повернула ключ, открыла и... мало что поняла. Перед дверью в коридоре стояло человек восемь: впереди – женщины, чуть в стороне – приосанившиеся мужчины. Заходить в номер вроде бы никто не собирался.

– Вам кого? – спросила.

– Мы актёры театра. Хотим видеть Тамару Владиславовну Петкевич.

Голодной, опухшей от слёз, мне ничего не оставалось, как признать:

– Это я. Простите за вид.

– Не беда. Пришли пригласить вас пойти в кино. А хотите, завалимся куда-нибудь чайку попить.

Отказывалась. Ссылалась на головную боль, на усталость после дороги.

– Отговорки не принимаются. Сами всё это проходили. Знаем, что такое оказаться одной в незнакомом городе. Одевайтесь. Мы вас ждем.

Так из зябкой бесприютности я прямёхонько попала в плен дружелюбия актёрской братии шадринского театра. И сколько бы затем ни случалось недоразумений в этой труппе, ни одно из них не сумело побить памяти о том визите. Многие из товарищей по уральскому театру остались в друзьях на долгие, очень долгие годы.

Непосредственно моя театральная служба началась с неподвижной сложности. Первыми пьесами, принятыми в том сезоне к постановке, были «Хитроумная влюбленная» Лопе де Вега и пьеса болгарского драматурга Василёва «Земной рай». С замиранием сердца я подошла к группе актёров, столпившихся у доски, где был вывешен лист с распределением ролей. Фамилия моя значилась против роли Райны в пьесе «Земной рай». В какой-нибудь другой роли меня могла выручить молодость, живость, внешность. Роль старой матери требовала актёрского мастерства.

Стоявшие рядом актёры пожимали плечами: «Может, описка, ошибка? Спросите». Но для объяснений директор вызвал меня сам:

– Не обессудьте. Пробовали и так, и эдак. Иначе пьесы в параллель не расходятся. Обещаю: следующая роль – молодая героиня. Даю слово.

«Хитроумную влюбленную» должен был ставить главный режиссёр Николай Васильевич Зорин. Говорили, с ним работать интересно. Приезда второго режиссёра в театре ждали только к середине сезона, потому пьесу «Земной рай» поручили ставить, хотя и в звании заслуженного, но актёру – Александру Васильевичу Струженцову. Струженцов замечаний не делал, ничего не подсказывал. Надежда на режиссёрскую подмогу, на возникновение таинственного «языка», как это было с Александром Осиповичем, рухнула сразу.

На репетициях я видела, как у моих партнёров роли обретали очертания. А я, вникая в логику и смысл, ни на шаг не могла сдвинуться с места.

Оплачивать одноместный гостиничный номер, в который меня, в конце концов, переселили, театру было не по карману. В актёрском общежитии мест не было. Меня опять вызвал директор и предложил переехать в театр, в одну из грим-уборных. Где-то на третьем этаже жил главный режиссёр с семьёй. Мне отвели комнату в тупике коридора на втором, где располагался зрительный зал.

В старых декорациях нашли что-то вроде тахты, притащили пару стульев, тумбочку. Прибитая к стене во всю длину комнаты полка была мною превращена в стол-шкаф-кладовую. Как ни меняла я местами хлипкую мебель, никакими ухищрениями не смогла придать каморке уют.

Заканчивались репетиции. Актёры покидали театр. Совершая обход, пожарник гасил свет. Здание театра погружалось в темноту и неправдоподобную, безжизненную тишь, которую нарушали неизвестного происхождения звуки: «дзень», «бух», «скрип». Каждому из них

я пыталась отыскать объяснение, к каждому из них – привыкнуть. В лагере пугало многолюдье бараков, здесь – тьма опустевшего театра. Дверь я закрывала на два поворота ключа.

За окном не просматривалось ни одного жилого дома. Повизгивая плохо привинченными гайками, мотался на ветру жестяной колпак уличного фонаря. Казалось, я, не умеющая освоить ни свободы, ни роли, нахожусь одна на заброшенном острове, и если не потеряла разум в лагере, утрачу его в этой островной затерянности.

Уже в октябре зима серьёзно заявила о себе. Мое жилище оказалось крайне холодным. Кажется, со второй по счёту зарплаты купила электрическую плитку. Накаляясь докрасна, уложенная в незамысловатый керамический рельеф металлическая спираль начинала высвечивать в темноте убогую обстановку и только к утру немного согревала комнату.

Расхаживая ночами по комнате, я «боролась» с ролью старой матери, сын которой в конце Второй мировой войны переметнулся к фашистам. Узнав об этом, мать его проклинала. Как-то нечаянно я набрела на сходство собственного ощущения психологического тупика и безысходности со страданиями Райны.

В одну из ночей, уже после двенадцати, я решила дойти до сцены, чтобы проговорить роль там. Отворила дверь и... отпрянула. Недобрая, алчная тьма безлюдного здания театра, как живая, накрыла, навалилась на меня и оттеснила обратно так, словно я после детства не нажила никакой защиты. Но не с нуля же было начинать уральскую жизнь.

Сколько раз в подневольные годы нас перегоняли через черту *не могу*, вынуждая ликвидировать *не*, оставлять *могу* и *надо*. Только при этой насильственной ломке что-то могло происходить затем.

Подпольный, скрытый от глаз опыт оказался единственным шансом избавиться себя от стыда перед самой собой и трупной. Через клубы и валы тьмы я пробралась по коридору к сцене. Там горела контрольная лампочка ватт в шестьдесят. Налезая отовсюду, темнота ни на вершок не уступала себя. В ней будто доигрывались страсти злодеев и отрицательных персонажей пьес.

Как на распевке: «до-ре-ми...», я вызволила куда-то пропавший голос. Шёпотом стала задабривать враждебное пространство, начав не с роли, а с близкого до боли «Мцыри»:

Старик! Я слышал много раз,
Что ты меня от смерти спас —

Зачем?.. Угрюм и одиноко,
Грозой оторванный листок...

.....
Я никому не мог сказать
Священных слов: отец и мать.

.....
Тогда, пустых не тратя слёз,
В душе я клятву произнёс:
Хотя на миг, когда-нибудь
Мою пылающую грудь
Прижать с тоской к груди другой,
Хоть незнакомой, но родной.

В следующие несколько ночей, смелее доходя до сцены, я «вела диалоги с партнёрами» и – словами проклятия Райны – вершила суд над прошлым, скинувшим меня в слякоть профессиональной непригодности.

Казалось, какие-то створки я проломила. Пространство и тьма стали меня принимать. То было завоеванием ночных экспедиций. Только никакому единоличному усердию не дано восполнить школу и опыт. Пробы мои оставались дикими. Я впадала в отчаяние, но упорствовала, пока в одну из ночей мои вылазки не прекратил внятный скрип деревянного кресла на балконе зрительного зала. Звук, как спичкой, чиркнул в бездне тьмы, и вновь всё погрузилось в безмолвие... Сбежав со ступенек сцены, больше идти туда я не отваживалась.

Забегая в свободное время на репетиции «Хитроумной влюблённой», я видела, как жадно заглатывали актёры подсказки главрежа Зорина. В жизни он был крайне немногословен и даже желчен, казался старым и больным. На репетициях же являл полную себе противоположность: подкидывал исполнителям гривуазные ассоциации, какие-то куски роли проигрывал сам, смешно и точно.

На главную роль была назначена красивая жена директора театра. Приёмка спектакля «Хитроумная влюблённая» прошла на ура.

Когда же подспела пора сдачи нашего спектакля, я уже прекрасно понимала, что роль мною провалена. Мне давались какие-то эпизоды, но воедино она так и не сложилась. Не помню ни как я шла на сдачу, ни самого спектакля.

Приехавший из Кургана начальник Управления культуры, оглядывая актёров, присутствовавших на обсуждении, наклонился к одному из членов художественного совета и попросил вполголоса:

– Покажите мне актрису, которая играла Райну.

Тот поворотом головы указал на меня.

– А-а! Ну тогда понятно, – был ответ.

Кто-то из выступавших говорил, что мне «необходимо куда-то деть возмутительную молодость голоса и глаз». В переводе это также означало провал.

– Пока спектакль просто-напросто скучный, – сказал в своём выступлении директор. – Уж если говорить правду, только одно место и приговоздило. Это сцена, когда Райна проклинает своего сына.

«Попытка выручить меня?»

Заключал обсуждение главреж. Говорил, что спектакль нуждается в доработке, но в результате будет принят публикой, похвалил основную героиню, ещё кого-то. И вдруг я услышала нечто такое, чему невозможно было поверить:

– Самое внимательное место нашей работы – это исполнение роли Райны молодой актрисой Петкевич. Здесь мы безусловно имеем дело с трагедийным талантом...

У меня пресеклось дыхание. «Господи! Что это? Так не бывает! Так не может быть!»

«Почему он сказал “самое *внимательное* место нашей работы”? Разве так говорить – верно?» И в тот же момент я нашла разгадку неожиданной оценки: мне не пригрезился в ночи скрип деревянного кресла в зрительном зале! Никакой это был не пожарник. Это главный режиссёр, прикидывая в час бессонницы какую-то из мизансцен, сидел той ночью на балконе, поскольку жил в театре этажом выше. Произнесённые им только что слова – не что иное, как объяснение в уважении к актрисе, которая, подобно барону Мюнхгаузену, пыталась вытащить сама себя из бездны за волосы.

Ну разумеется, скреблась в душу надежда: «А вдруг в его словах содержится хоть толика правды? Заряжена же я каким-то колдовским током, до муки и до радости томящим меня?»

Директор своё слово сдержал. При следующем распределении в пьесе Островского «Невольницы» я получила роль молодой героини – Евлалии. Помощь была необходима мне в той степени, в какой безногому – костыли. Я мечтала о труде и ученичестве. Я, как никогда, нуждалась в Учителе.

Закрыв за собой дверь убогого жилища, я бросалась на колени и со всей силой страсти молила небо: «Помоги, Господи, найти сына! И оставь за мной творчество! Буду предана им! Избавь меня, Господи, от жажды счастья, зависящего от какого-то другого человека. Только сын и служение творчеству!»

Я сознавала, что ни на что из того, что когда-то меня держало, не смею заносить руку. Изыми судьба из моей жизни массив переписки, погружение в глубину её словесной энергии, я бы не устояла на ногах.

Всё главное я продолжала верить Александру Осиповичу. И он откликался на том единственном языке, который держал меня столько лет: «Ты никак не можешь примириться с тем, что у тебя отняли сына, – писал он. – Мечтаешь об отречении от жизни, от груза её, но ведь и от творческого в этом случае также. Попытка сделать это, *даже* попытка, неминуемо привела бы к аскетическому обеднению... Я говорю о творческом, органически неизбежном для тебя волнении в восприятии внешнего мира, о восприятии действительном, через всё твоё целомудрие, всю твою морально-творческую чистоту и способность к откровению...

...Помнишь, ты так же писала в связи с Колюшкой о себе, о том, что с его гибелью осталось только творческое и гражданское, а личное кончилось. Это я тогда почувствовал очень глубоко и понял. Разве могу я не понять того, что идёт от тебя? Но сама проблема личного и творческого всегда решается в сложном, своеобразно возникающем единстве...»

Александр Осипович не скупился на аргументы поддержки: «...Много лет назад был у меня большой друг, изумительный режиссёр Аркадий Зонов. Познакомился я с ним в 1921 году, а в 1923 году он умер... Однажды он рассказал мне о Вере Фёдоровне Комиссаржевской (Верочке). И вот сегодня, когда я читал твоё письмо (на конверте дата стёрлась, а ты, чудовище, никак не научишься дат ставить), я вспомнил то, что он говорил об этой поразительной Актрисе и не менее поразительном Человеке. Он говорил, как она всегда мучилась от раздвоенности, от желания целиком отдаться чистому, ты бы сказала – “абсолютному”, творчеству и невозможности уйти от жизни, от её поверхностности, от её греховности. Этот термин – её, в самом широком, но и не только в широком смысле. При встрече подробно расскажу тебе об этой нашей беседе. Вспомнилось мне всё это, когда читал о твоей мечте, о “чистых законах человеческого разума и сердца”, об ответственности перед самой собой, своим творческим я».

На иной лад он рассматривал тему творчества и профессионализма в последующих письмах:

«...Когда пишешь о проблемах в себе, об отсутствии образования, знаний, я... ошетиливаюсь. А подумала ли ты о том, какое минимальное значение имеет тут количественная сторона, что при твоей пора-

жающей, в буквальном смысле гениальной восприимчивости ты впитываешь в себя всё встречающееся на твоём пути в жизни, в искусстве, так, как только ты умеешь это... И неужели для того, чтобы создать Кручинину, Гедду Габлер (твой Ибсен, в котором ты слышишь “мысли сердца”), тебе нужны исторические или философские знания? При твоей-то фантастической интуиции! Помню я, что со мною было, когда ты в нескольких словах открыла мне всю Офелию. Не подумай, что я вообще против знаний и всякой “образованности”».

Как и прежде, мы касались вечных тем: «Через твоё великое одиночество, которое невозможно ни ненавидеть, ни жить без него...» Это было и об Александре Осиповиче, и обо мне. Но я сильно испугалась, когда однажды он назвал одиночество – одинокостью. Одиночество, казалось мне, – поправимо, одинокость – предназначение, не имеющее обратной силы.

Раз испугалась, значит, ещё хотела верить в счастье! Очень!

К тому же, едва я приехала в Шадринск, как, одно перегоняя другое, от Димы стали прибегать письма, прилетать телеграммы: «Люблю тебя... Люблю безумно... Жизнь без тебя не имеет смысла...»

Театры СССР, исключая правительственные, иначе говоря – государственные, делились в те годы на пояса. Театры столичных и областных городов с населением свыше миллиона имели статус театров первого пояса. Театры небольших областных городов, население которых составляло от двухсот пятидесяти до пятисот тысяч, относились ко второму поясу, а районные – к третьему. На покрытие разрыва между доходами и расходами театров всех поясов, в соответствии с их значением, бюджетом каждой республики предусматривалась дотационная сумма. Неудачные гастроли, хозяйственные просчёты театров иногда оплачивались из статьи так называемой аварийной дотации. Со всей мерой строгости с театров спрашивалось выполнение финансового плана. Систематическая недотяжка до предусмотренных норм грозила закрытием, то есть существование театров напрямую зависело от окупаемости.

Руководству шадринского театра, который имел статус третьего пояса, приходилось прибегать к разного рода ухищрениям, чтобы сводить концы с концами. В обиходе театра практиковались не только параллельные спектакли, но и так называемые «триллели»: в один и тот же день спектакли должны были идти «на стационаре», в каком-то из клубов Шадринска и в другом городе – «на выезде». Во время спектаклей заведующая труппой то и дело выбегала смотреть, есть в

зале зрители или их недобор. Были сборы – были суточные и зарплата. Оказывался зал полупустым – предстояло перебиваться без зарплаты, на суточных.

Для выездных спектаклей театр имел один грузовик. В лагере на каркас кузова натягивали брезентовую покрывку, в шадринском театре на платформе грузовика закреплялся фанерный ящик размером с кузов с брезентовым пологом вместо четвёртой стены. Забравшись в машину, актёры законопачивались утепляющим барахлом, отыскивали точку поустойчивее, и едва машина отправлялась в путь, замолкали, погружаясь каждый в своё. Шестьдесят-семьдесят километров при пятидесяти градусах мороза вытряхивали и вымораживали душу. Такой режим жизни театра третьего пояса определял непродуктивность репетиций, невысокий творческий уровень спектаклей, быт и жизненное самоощущение актёров.

Труппа, преимущественно набранная на бирже по принципу ампула, была удачной, хотя окончивших театральные институты или училища было не так уж и много. В основном это были актёры-практики, отнюдь не бездарные люди с трудными судьбами.

В самом начале сезона директор театра пригласил меня на беседу. Свелась она к полусовету-полупросьбе:

– Хотел предложить вам не рассказывать актёрам о том, что вы сидели по 58-й статье, лучше было бы не посвящать людей в обстоятельства вашего прошлого.

При освобождении из лагеря с нас брали подписку в том, что мы обязуемся «не разглашать» ни того, что мы сидели, ни сведений о лагере. Я игнорировала этот запрет на корню. Считала сверхкощунством обречь на жизнь вне общества для того, чтобы обеспечивать его «социалистическую» витрину, – и заставлять молчать о рабовладельческом подспуде.

Когда Борис просил ничего не рассказывать матери о микуньской вербовке, понимала это как бережность сына. Остерегали от того, чтобы не проговориться о лагерном прошлом на актёрской бирже? Следовала и этому совету до момента разговора с директором шадринского театра. Теперь он сам просил молчать о государственной кривде. В театре нужна была «тишь, благодать». Могла ли я не посчитаться с тем, о чём просил человек, на собственный страх и риск пригласивший меня в труппу?

К счастью, умолчание давалось без труда и никак не сказывалось на отношениях с товарищами. В труппе было три или четыре супружеские пары, остальные – одиночки, каждый со своей историей. По-

требность поделиться, рассказать о себе у последних была так велика, что только и надо было, что уметь не говорить, а слушать.

Какие-то актёры оставили свои семьи. Где-то без них подрастали дети. Кто-то оправдывал себя, кто-то винился.

Одна из самых экстравагантных актрис, по амплуа – «основная героиня», с явным желанием эпатировать сидевших в грим-уборной, рассказала однажды, как её отверг человек, в которого она отчаянно влюбилась.

– И что вы думаете я сделала? – задала она нам задачку. – Досконально изучила, когда он уходит, когда приходит с работы, забралась через окно в его квартиру, улеглась в его постель и стала ждать. Можете себе представить выражение его лица, когда он открыл ключом дверь? И не пытайтесь. Не представите. Зато роман у нас был потом – с ума сойти.

Эффект этим рассказом был произведен немалый. Я про себя поёжилась: «Как чуждо! Как незнакомо!» В обиходе Галя была внимательным и общительным человеком. Но «чуждость» заставила меня сторониться её до поры, пока нас на гастролях не поселили в один гостиничный номер. Она осталась без матери в пять лет. Отец быстро женился. Мачеха оказалась из худших, била её. Девочка не сдавалась, перечила ей. Отец не вмешивался. В одной из яростных схваток женщина столкнула падчерицу с подоконника третьего этажа. С сотрясением мозга, с многочисленными переломами Галя пролежала в гипсе более трёх лет. Так были разъяснены ветвистые, похожие на бечеву шрамы на её спине, на руках и ногах.

Стоило только чуть потянуть за кончик нити, как за странностями характеров и поведения коллег обнаруживалось что-то первобытное, часто – дикое и всегда – драматичное.

– Ты в прошлый раз себе купила юбку, теперь моя очередь себе что-то купить. Вчера в магазин привезли мужские рубашки...

Так ссорились наши молодые актёры, муж и жена. Драчливый муж без оглядки на приличия обвинял молоденькую супругу не только в том, что она исхитрилась нарушить очерёдность покупок, но и в том, что исподтишка опустошала их кошелёк. Очень неплохой актёр, он по горячности характера обижал и других, но тут же спохватывался и просил прощенья. Всегда заступался за тех, кого обижал не он. Чтобы помочь донести до машины тяжести, выхватывал чемоданы из рук женщин. Был в общем добрым малым. Когда он рассказал, что они с женой воспитывались в детском доме, и о том, как с ними там общались, отпала надобность искать объяснения их срывам.

А симпатичная мне актриса Ася Б. была замужем за актёром Малого театра. Могла безбедно жить в Москве возле него. Он любил жену и звал её в уют московской квартиры. Ася обещала: «Я приеду. Я вернусь, но дай поработать ещё один сезон. Пусть мой театр захудалый по сравнению с твоим великолепным Малым, но там мне нет места, а тут я – кто-то. Мне бы только вечером выходить на сцену. Это нужно мне, как воздух. Где – не самое главное». И муж, видимо, понимал её. Готовая помочь всем и во всём, Ася была самым тёплым человеком в труппе. Изобретала для меня имена:

– Томичек, Тамасик, дай я загримирую тебя по-другому... Как бы я теперь жила, если бы ты не открыла мне своего Роллана, если бы с Киплингом не познакомила...

В шадринских окрестностях ничего не напоминало о строительстве ГЭС, о высоковольтных линиях, волновавших воображение Бориса, когда он писал о бурлящей жизни «за уральским хребтом».

На гастролях в старинных городах Урала нас селили в сохранившихся с прежних времён гостиницах. На второй этаж вели деревянные лестницы с плешинами сошедшего лака на широких бортах перил. Похоже, ещё с прошлого века на дверях и окнах остались висеть бордовые плюшевые портьеры с кистями. В ресторанном зале задержалась старинная мебель, а в повадках официантов – расторопность и едва ли не угодливость.

В нашем репертуаре были пьесы Островского. Воспроизводимые на сцене драмы из купеческой жизни подчас казались сколком с никуда не канувших провинциальных нравов. Кто-то из зрителей угрюмо и всерьёз отстаивал после спектакля убеждение, что с женой-ослушницей, изменницей следует расправляться кулаками, не грех и убить.

В этих же негромких городах встречались несуетно интеллигентные, с просветлёнными лицами люди. Они были здесь на виду. Их чтили. И казалось, именно они обеспечивают прочность нашего бытия.

В пятидесятые годы все книжные магазины больших городов были запружены собраниями сочинений марксистско-ленинского толка и политическими брошюрами. Купить что-то из классической и переводной литературы было малореальным делом. Но в небольших сельпо попадалось то, что в столицах днём с огнем не сыщешь. Продавцы охотно допускали к полкам: «Идите, смотрите сами». И предвкушение порыться в книжных развалах было одним из самых заманчивых удовольствий переезда из одного городка в другой. Книги стоили дешево. Я накупала их для себя, для Александра Осиповича, для ссыльных друзей. Отправляла бандеролями на Север, в Сибирь и на Украи-

ну. «Сумасшедшая, беспутная, – откликнулся Учитель, – ведь я недавно испугался сообщению о бандероли. По самому оптимистичному расчету ты истратила 120 рублей. А почтовые расходы?.. И не успокаивай, не пиши, что ты всё это наворовала. Ну у кого может быть Гегель, Шопенгауэр, “Вопросы философии”? Что мне с тобой делать?» И приписывал: «Если представится случай, найди в третьей части “Былого и дум” статью “Роберт Оуэн”. Это я подсовываю тебе трамплин, а прыгать будем вместе». От ссыльных друзей из Красноярского края, из Печоры поступали письма-крики, письма-благодарности: «Зачем шлёте книги, когда нужны Вы сами?», «Особенно удружила Уилсоном “Брат мой, враг мой”, вот спасибо» и т. д.

Жизнь продолжала делиться на две реальности: эту, неуважаемую, буквальную, с неприкайнным оскорбительным бытом, напряжёнными выездами, и ту, желанную, но отлучённую, которая так упрямо снится десятилетиями, что считаешь её подлинной для своего пребывания на Земле.

Я с той же надеждой упрямо рассылала запросы о местонахождении сына в адресные бюро разных городов. Получала те же однотипные ответы: «не проживает», «не значится».

Для меня не имел разрешения беспорядок в чувстве вины перед Борисом и Александрой Фёдоровной. Аргумент в пользу прав на собственное сердце был неоспорим, но как следовало обойтись с отчаянием Бориса, находившегося в неволе, с долгом перед Александрой Фёдоровной, я – не знала. Что-то могла обещать только *правда*, сама по себе.

Борису я с Урала подробно написала, как жила в его доме, и объяснила поездку с Димой в Одессу. Когда речь шла о моём равнодушии, Борис умел до безобразия больно стегать обвинениями. На этот раз я ждала за пределами негодующей отповеди и решительного разрыва дружбы. Ждала чего угодно, но только не того ответа, который пришёл от него: «...В добром и честном письме ты убедительно раскрыла своё состояние. Всё в нём чувствую и улавливаю, как своё. Кроме одного: “неоднолетней цепочки причин, по которым так всё сложилось” (я имела в виду нашу с Димой давнюю дружбу). Этого я никак не могу связать, понять. А знаешь ведь, непонятное мне – нож острый. Этим, кстати, ты меня всегда мытарил. Вдруг замкнёшься на чём-то и точка. Назавтра – новый кончик. И не свяжешь, что-то важное упущено. Точки, обрывочки, не дружба, а чайнворд. Вот и путаница. Дружба – дело открытое, на добрую совесть, а с умолчаниями она до боли несовершенна. Эх, родная, недоверчивые твои режимы стоят сердцу столько бед!

Помнить о Диме мне трудно и ни к чему. Но я очень слышу тебя между строчек. И я скажу, изглубока и по-людски. И ты мне верь, сердцем верь. В таком не лгут. Я по-настоящему серьёзно рад, если человек, с которым, нуждаясь в тепле, ты поделила кусочек жизни, был лучше и живей, чем мне казалось. На Диму моя радость, естественно, не распространяется. А за тебя рад, если ты получила больше, чем потеряла... Мне дорога каждая частица тебя, и раз уж она досталась кому-то, то я хочу, чтобы ты, черт тебя возьми, получила от этого радость. И чтоб потом не о чем было хныкать... Когда, оглядываясь назад, ты пишешь, что это было хорошо, я верю тебе, понимаю это за тебя, через тебя... Искренне добавляешь: “я ещё мало говорю”. Малыш, дорогой! Ну тебя! Остальное расскажешь лет в семьдесят. А пока сердце любит и перешагивает через неточные слова, оно понимает, что хорошая душа не умеет бранить то, чему отдалась... Я резко отделяю случившееся от перспектив и далее твоей жизни в целом. Ты очень верно и мягко защитила кусочек своей жизни. Если бы ты стала осуждать недавнее, согревшее, это была бы не ты, и мне это было бы странно...»

Я, видимо, была однолинейнее Бориса. Удивилась. Да! Очень! Но и возмутилась! Не могла принять себя в образе жертвы минутной слабости, «побоявшейся голого мрака в себе». Не хотела блага прощения в обмен на инверсию мотивов. «Такие» они напрочь не имели ко мне отношения. Тем не менее поражённость его письмом превышала всё. За усилиями Бориса превозмочь себя я видела стремление не дать строению рухнуть, превратиться в руины. Я бы так не могла! Нет! Чувствуя, какую он превозмог боль, призналась ему, что числю себя в отстающих.

«Утром получил письмо твое, Зоренька. Гораздо более ровное, чем предыдущее. Ты что-то сильно преувеличиваешь, – ответил он незамедлительно. – Пойми главное, что если я в чём-то и “опередил” тебя, так только в итоговом ощущении *воли и разума* как хозяев жизни, ощущении, которое и для тебя не за горами и вот-вот откроет тебе неоглядные возможности и пути!.. Зоря моя! Слышишь ли, каким полным, радостным пульсом бьётся во мне эта дружба чувства и мысли, дарящая всё большую уверенность в нас, понимание тебя и самую верную, земную, надёжную любовь к тебе, моя птица. Люблю тебя. Верю в тебя».

Говорят, геологи *чувствуют* места полезных ископаемых. Так Борис обозначил тогда точки человеческих возможностей. Возможность метаморфоз таилась в «итоговом ощущении воли и разума»... Воля и

разум не за горами и для меня, считал он? Для меня, не изведавшей ещё разворота стихий? Хорошо бы! Но сама-то я знала: ох, за какими ещё горами, с какими ещё пропастями в тех горах!

Холода за уральским хребтом были страшнее стужи среднерусских зим. Морозы оглушали до звона в ушах, ещё летом заставляли думать о запасе дров, о том, чтобы не остаться к зиме без валенок, кожуха и ушанки. Кожух мне был не по карману. Выходя в своём тощем пальто, я спасалась быстротой пробежек до телеграфа, до столовой. И всё равно зуб на зуб не попадал. Выездные же спектакли зимой были беспощадным испытанием на актёрскую прочность.

Вот: дирекция совещалась, отправлять нас при разгулявшейся вьюге на выездной спектакль или отменить поездку. Нехватка денег в казне превысила тревогу за актёров. Сказали: выезжать!

До городка, в котором был запланирован спектакль, мы кое-как добрались. Зрителей, отважившихся прийти посмотреть его, набралось человек двенадцать. Денежная выручка была смехотворна. Пока шёл спектакль, вьюга набрала ещё большую силу. За три часа на крыльцо клуба намело столько снега, что входную дверь пришлось едва ли не сшибать с петель. Ночевать негде. Телефонная связь нарушена. Хозяева клуба советовали: «Езжайте по реке. Всё-таки берега – защита. Ветер не так рвать будет».

Мы обречённо залезли в грузовик. Обмотались костюмами, в которых играли. Рывками, буксуя, машина тронулась в обратный путь. Вёрст за восемь-десять до города мотор намертво заглох. Попытки оживить его ни к чему не приводили. Машину стало заносить снегом.

После споров и перепалок одна часть труппы заявила, что натянет на себя всё, что ещё есть, чтоб утеплиться, и останется пережить вьюгу в машине. Другие решили пробиваться к городу пешим ходом. Я оказалась в числе тех, кому ожидание в деревянной будке машины было не по нутру.

Ветер сбивал с ног, пригоршнями швырял в лицо колкий снег, слепил глаза. Сперва мы держались друг друга, но вскоре я стала задыхаться и отставать – в ту пору врачи находили у меня порок сердца. Когда удавалось протереть глаза, я ещё фиксировала чернеющие, маячившие вразброс знаки – фигурки людей. Каждый уже боролся за себя в одиночку. Шаг... ещё шаг. Падала, вставала. Стала терять веру в то, что выкарабкаюсь. Но когда неожиданно к вою ветра примешался посторонний, непонятный звук, а затем я различила забиваемый снегом мутный свет фар, – рванулась вперед что было сил. Слева, метрах в ста, бесноватую вьюгу таранил стрекотавший трактор с прице-

пом. Увязая в снегу, я устремилась навстречу двигавшемуся спасению. Трактор почти поравнялся с нами, до него было – рукой подать. Кто бы ни сидел за рулем – старый, молодой, одурманенный ли водкой прощелыга, – он не мог не видеть чернеющих на снегу фигур. Тем не менее, даже не приостановившись, он проехал мимо.

Мы снова сбились в кучку. Кто слал проклятия вслед протарахтевшему чудищу, кто стонал, кто-то просто сник.

Вера в способность совершать что-то сверх собственных возможностей захлебнулась. Сколь относительна моя молодость – это я поняла в тот раз сполна. Лишь потрясение от беспримерного равнодушия тракториста заставило наперекор немощи отжать ещё дозу сил.

Уже светало. Присмирела подуставшая вьюга. Впереди стал просматриваться город. Непостижимым образом мы дотащились до него.

Навстречу бежал директор, кто-то ещё. Запоздалое раскаяние администрации вызвало лишь отвращение и несказанную обиду.

Такой ярости оскорблённых безбожным к себе отношением людей, как на театральном собрании после того выездного спектакля, не вспомню. Всё, что актёры терпели, промерзая в грузовике, в неудобных гримуборных, при нерегулярной выплате зарплаты, – все свои бытовые и творческие неудачи они обрушили в тот раз на головы дирекции и профкома. Помещение, в котором происходило собрание, превратилось в поле гражданской казни: «Бездушные прохвосты! Скарედные крохоборы! Головоотяпы!» – надрывно кричали актёры. «Посмотри на себя, бездарь! Что заслуживаешь, то и имеешь! Езжай работать во МХАТ!» – огрызались представители администрации.

Я была уверена, что после свинцовых, нелицеприятных слов о примирении речь никогда не пойдёт. Но вспышки справедливой ярости сошли в конце концов на нет. До очередной схватки наступило могильное затишье. Наверное, мне было проще, чем другим. Актёры были убеждены, что защита должна существовать. Я происходила из жизни, в которой *не* защищали. Странно: ни дирекция театра, ни актёры за помощью в вышестоящие органы не обращались. Прежние просьбы повысить кому-то зарплату, выделить театру хотя бы плохонький, но автобус вместо грузовика райком и обком партии игнорировали, оставляли «под сукном».

Как раз в тот самый момент я получила письмо от Александра Осиповича. Бумаги у него, как всегда, было в обрез. На обратной стороне листа я прочла написанный его же рукой и перечёркнутый черновик заявления «В народный суд Велико-Михайловского района». Заявление было надиктовано проживавшим рядом с ним колхозником,

детей которого Александр Осипович «натаскивал» по математике и литературе. Текст был следующий:

ЗАЯВЛЕНИЕ

В октябре-ноябре 1952 года по договорённости с председателем колхоза «Первое мая» тов. Манервеевым В. И., а также его заместителем тов. Дьяченко В. я сделал для дома переселенцев девять дверных проёмов из расчёта по два пуда пшеницы за каждый проём, что в сумме составляет 18 пудов (300 кг). Работа мною была выполнена. Есть приёмочный акт. В акте указано, что причитающийся мне за неё хлеб в указанном количестве должен быть мне выдан. Но до настоящего времени, несмотря на моё неоднократное обращение, заработанный мною хлеб я не получил.

Прошу народный суд принять соответствующие меры, чтобы мне было выдано то, что причитается за мою добросовестно выполненную работу. У меня большая семья, состоящая из 12 детей. Жена моя – мать-героиня. Никаких доходов, кроме моего заработка, у моей семьи нет.

Врублевский

Слава Богу, хотя бы колхозник Врублевский с верой в защиту народного суда Велико-Михайловского района продолжал «неоднократно обращаться» к властям». Только какой справедливости он мог ожидать? Прежде из Весёлого Кута Велико-Михайловского района поезда вывозили в Сибирь раскулаченных крестьян. Теперь в Весёлый Кут ссылали таких, как Александр Осипович.

В разлинеенной стране с «плановым хозяйством» театры делились на пояса, население – на друзей и врагов. Права предназначались «друзьям», обязанности – вторым. Чувство, что сама жизнь людей – искусственна и непрофессиональна, повергало в тоску. Живём мы или толчёмся?

Сверхплотный график выездных спектаклей, постоянное недосыпание, невозможность успеть отогреться вели к очевидной мысли, что возлагать надежды на какой-то «творческий рост» смешно и наивно. Такой театр, как МХАТ, виделся отсюда висячими садами Семирамиды.

При всём при том на провинциальной сцене в безвестном Шадринске появлялись любопытные спектакли. Рождение их объяснялось природной одарённостью людей, потребностью предъявлять её.

Разряжаясь, освобождаясь от неуютя кочевья, мы иногда после спектакля засиживались в фойе театра и до колки хохотали над бродячими сюжетами театральных баек. Может, и в самом деле то были смешные истории, а может, и не слишком. Но театральные импрови-

зации в тесном актёрском кругу совсем по-особому, в полный рост высвечивали натуральную силу талантов рассказчиков и заводил.

– Приехал, знаете ли, к нам в труппу актёр. Голосистый, но тупой, как полено, – веселил нас самый старший из актёров, Молошников. – Ролей он не учил. Всегда просил суфлёра подкидывать ему текст. В труппе его не любили. Играл он у нас царя в пьесе, запомнил название, простите. Ну так вот, по ходу спектакля там вбегает вестник и вручает государю свиток с донесением. Поскольку текст в нём был от первого до последнего слова написан, мы решили подшутить над ним и подменили свиток чистой тканью, где не было ни словца. Он этот свиток вальжно так разворачивает, глядит, а там – пусто. Он, знаете ли, шельмец, не растерялся. Протягивает свиток рядом стоящему актёру и велит: «Читай, боярин». Мы все замерли. А тому парню тоже смекалки не занимать: возвращает с поклоном обратно, разводит руками и уж так виновато и горестно говорит: «Прости, государь-батюшка, грамоте не обучен». Ну и пришлось «царю» отсебятину нести...

Главреж театра Николай Васильевич Зорин с озорным блеском в глазах мимоходом бросил мне:

– В «Наследниках Рабурдена» Золя будете у меня играть Шарлотту.

Я немедленно схватила пьесу. Шарлотта – сметливая служанка, разгадавшая, что, прикидываясь умирающим, её хозяин Рабурден потешается над сбежавшимися к его постели наследниками, алчущими заполучить куш покрупнее. Перевод с ролей лирических героинь на такую, искромётную, – вежа. Справиться помогло не столько крепнущее сценическое мастерство, сколько приглашение в сценарий, который строчила сама жизнь. Главреж брал меня в свой спектакль, доверившись творческому любопытству. Мне страстно хотелось его оправдать.

В рецензиях писали о сыгранных мной ролях: «тонкие, акварельные краски», «преисполнено аромата» и т. п. В рецензии на спектакль «Наследники Рабурдена» появилось: «ярко», «броско», «неожиданно», «темпераментно». А неуверенность в себе не убывала.

В один из самых студёных январских дней от Димы пришло письмо, в котором он писал, что всё бросает и едет в Шадринск. За письмом – та же «московская» внезапность телеграммы: «Выезжаю. Встречай». Сердце обежал холодок. Я не очень хорошо представляла себе нашу встречу. Столько лет я считала, что знаю Диму, и, вероятно,

знала, но его микуньское «никогда не приду» и финал одесских каникул оставили ощущение: «Что-то нуждается в перепонимании».

Актёрам я тем не менее сказала:

- Через два дня приезжает мой муж.
- Почему же вы раньше не говорили, что замужем? – оживились все.
- Сама не знала, – отшутилась я.

И посыпались вопросы:

- А он красивый?
- Увидите.
- Актёр?
- Нет. Пианист.
- Хороший?
- Редкостный.

В день приезда Дмитрия как раз шёл спектакль «Наследники Рабурдена». Поезд приходил в Шадринск около восьми часов вечера.

- Доверите мне его встретить? – загорелась пылкая Галя.
- Рискну, – поддержала я её тон.
- Какой номер вагона? Во что ваш Дмитрий одет?

Я гримировалась, когда вбежал озабоченный помощник режиссёра:

– Заболела аккомпаниаторша. Говорят, ваш муж пианист? Он сумеет с ходу что-нибудь сымпровизировать?

- Но он же ещё не приехал.
- Если поезд не опоздает, ко второму акту должен быть здесь.
- Сумеет, конечно. Но я в это время буду на сцене. Сами просите его.
- А он не обидится? Так, с налёта?
- Будем надеяться.

В тот момент, когда Дима в сопровождении Гали появился за кулисами, я на сцене в гостиной Рабурдена разводила в камине огонь. Вскоре один из наследников должен был сесть за рояль. И вот реплика произнесена. Обычно за ней следовала вялая интродукция. А тут вдруг вместо невыразительного музыкального проигрыша – мощный взрывной аккорд, за ним – другой, сверкающая россыпь звуков, накат лавины. Аркан на горло. Почти испуг, потерянности в глазах партнёров. Неуместный концертный блеск смёл полспектакля.

И едва закончился акт, хор вопросов:

- Что это было?

Так и только так могло разместиться человеческое смятение Димы.

После спектакля находившиеся на сцене актёры обступили его:

- Сыграйте что-нибудь.

– Сразу? Сейчас?

– Именно!

Я разгримировывалась и слушала, как, поправ дорожную усталость, Дима музыкой выговаривал то единственно точное, что было надо: опасение, вину и призыв. Нет-нет, конечно, я знала его! Знала! Потому не торопилась. Ещё не поздоровавшись как следует, лишь издали взглянув и улыбнувшись друг другу, мы с Димой встретились в музыке – *так*.

Рядом с книгами, как самое ценное из имущества, было водружено «приданое» Димы – радиоприёмник ВЭФ. От одного его вида жильё поумнело. Обогревалась комната той же электроплиткой. На ней же с полнотой отдачи я готовила обеды. Другого быта мы не знали. Только помышляли о нём.

Ни в театре, ни в музыкальной школе города вакантных мест не нашлось. Дима устроился руководителем самостоятельного вокального коллектива на Металлический завод и по совместительству подыскал место руководителя хора в одной из средних школ.

Репетиции, ежедневные спектакли «на стационаре» и «на выезде», Димина работа в двух местах поглощали сутки за сутками, почти не оставляя нам свободного времени.

Диме нравилось всё, что я делала на сцене. А для меня мерилом таланта был он! Лучшими минутами той поры были те, когда после спектаклей, в опустевшем театре он садился за инструмент. Музыка бессонно проживала в пальцах его рук. Она была его сутью. Торжествовала она и тогда.

Как-то, давным-давно, моя несчастливая мама сказала: «Если бы мне пришлось второй раз выйти замуж, я вышла бы за пианиста». Ненасытимую тоску по музыке она, как видно, завещала нам с сестрой. У Валечки был красивый голос. Когда она пела, то вся преобразалась.

А мне музыку дарил Дима. И я его любила.

Не отдавая себе отчёта в том, что с нами учинила многолетняя отвычка от семейной жизни, мы не слишком уверенно строили наши отношения.

С выездных спектаклей я часто приезжала в три-четыре часа ночи. Сидя в грузовике, мечтала о кружке горячего чая, о вопросах: «Замёрзла? Устала?» Это, как мне казалось, должно было быть неизменной частью «вместе». Дима же к моменту моего возвращения досматривал второй или третий сон. Ему надо было рано вставать, идти на работу.

Я продолжала надеяться на проявления внимания. И про себя заклинала: «Люби меня, Дим! Люби! Не отходи от меня. Совсем я не храбрец. Увечно от неуверенности в себе, хотя об этом, кроме Александра Осиповича, никто не догадывается... Согрей!»

Начало марта 1953 года застало нас с Димой в том же здании театра, в том же эрзац-жилье. Неторопливо разгримировываясь после спектакля, я одновременно крутила колёсико приёмника, пытаюсь набрести на что-нибудь интересное. Дима читал. Звук был приглушён. Среди музыкальных и словесных нагромождений на одной из радиоволн я вдруг услышала какое-то несусветное словосложение: «...о состоянии здоровья Иосифа Виссарионовича Сталина». В дикторской нерешительности мне померещилась весть о конце вождя. Зло, которое казалось бессмертным, могло сгинуть?! Неужели? Как когда-то в Микунь, сорвавшись с места, я как безумная, в сарабане ли, в танкетке закружила вокруг Димы: «ОН болен! ЕГО не станет! ОН – прекратится!»

Бюллетень о состоянии здоровья «Председателя Совета Министров Союза ССР и секретаря Центрального Комитета КПСС товарища Иосифа Виссарионовича Сталина» передавался с достаточно большими интервалами. Третье марта. Четвертое марта. Стихли все шумы жизни. Пятого объявили: умер. Умер производитель ЗЛА, ЛЖИ, МУЧЕНИЯ!

Свобода! Кто о чём, а я о том, что откроют ворота всех лагерей, освободят всех, кто ещё жив! Вернут домой из пожизненных ссылок Тамару Цулукидзе, Александра Осиповича, Алексея и Миру Линкевичей, Льва Финка, Семёна Карина, Семёна Ерухимовича, освободят из лагеря Бориса, многих и многих друзей!

Объявили: «В театре состоится общегородской траурный митинг».

К театру стекалась уйма народа. С верой во что-то вроде формулы «народ безмолвствует» мы с Димой заняли места в одном из последних рядов. Но у сидевших рядом людей, у выходивших на трибуну ораторов в выражении лиц, в тональности выступлений была не растерянность даже, а паника. Горел! Кое-кому из пытавшихся выразить своё отношение к смерти вождя удавалось произнести три-четыре связанных фразы, после чего речь прерывалась всхлипываниями.

Уже на следующий день демонстрировались размноженные в прокате киноплёнки с заснятыми у репродукторов толпами граждан. По щекам мужчин и женщин катились слёзы. На таких же митингах,

как наш, ораторы срывающимися от горя голосами произносили схожие слова: «Несчастье, постигшее народы всего мира... Дадим же клятву продолжить дело Великого Кормчего...»

Испытавшие на себе всю меру презрения сталинского режима к Человеку, мы с Димой, глядя на происходящее, чувствовали себя свалившимися с луны. Мы много лет были слиты с «общим выражением лица» сбитых в колонны подневольных масс людей. У них были отняты семья и честь. Их обескровленные, суровые лица, сомкнутые губы говорили о полной израсходованности физических и нравственных сил. Наблюдая в марте 1953 года столь же «общее выражение» бесконечного горя по поводу смерти идеолога крепостного права, я отказывалась видеть в истерии подлинность и правду. Не могла понять, *кого и что* оплакивало многомиллионное население державы.

Но люди были безутешны. Картина столь искреннего выражения гражданских чувств неисчислимыми массами свидетельствовала о каком-то жутком всеобщем гипнозе. Проклюнувшаяся в душе вера, что с уходом Сталина всё встанет с головы на ноги, принуждала задуматься, где голова и ноги – у нас самих.

Я никак не могла понять чего-то самого исконного и простого. С теми, с кем я работала здесь, в Шадринске, меня повязало участие, сострадание к их судьбам. Жуткое детство Гали, пострадавшей от злобной мачехи; рассказанный Асей эпизод о надругательстве над ней возчика, который вёз её ночью от станции к городу, куда она нанялась в театр. Жить можно было, как я полагала, только сочувствуя другим! Это знание было выверенным, добытым в гуще бед. А как же у тех, кто оплакивает утрату генсека? Должна же у них пульсировать какая-то жилочка сочувствия к уже погибшим и гибнущим согражданам? Неужели в «общественном сознании» людей, доминирующем над личным, такие чувства имеют право превращаться в огрызки?

Я не однажды слышала впоследствии: «А-а, бросьте притворяться. Все тогда плакали». Неправда! Не все!

Ожидаемой политической амнистии не последовало. Никого из «политических», отправленных в пожизненную ссылку, не вернули. Свободу дали только осуждённым по уголовным статьям.

Жизнь продолжалась тем же курсом. Так же активно. Бойко.

Не прошло и двух недель после смерти вождя, как меня пригласили в администрацию театра. Ссылаясь на выписанный пожарниками на имя директора штраф за разрешение актёрам жить в здании театра, нас с Димой попросили переехать в «частный сектор». Я приняла это за чистую монету.

Домик, в который нам предложили переехать, стоял на окраине Шадринска. Одноэтажный, покосившийся, без всяких удобств. Крашенные полы, устланные тряпичными половиками в тусклую бежево-зелёную полоску. В левом углу комнаты икона Казанской Божьей Матери. Под нею успокаивающе тихо горит огонёк в гранатового цвета лампадке. Чистая скатерть на столе. Зеркало над комодом. Кровать в углу. Несмотря на март, белый целинный снег за окном. Хрипловатый скрип калитки оповещал о возвращении домочадцев. Со светлым лицом хозяйка, Анна Сергеевна, была добра и ненавязчива...

После спектаклей и с выездов я спешила к Диме, в эту несуетную обитель.

Разговоров о сыне мы с Димой не вели. Я продолжала искать его. Мука – никуда не девалась. Но здесь, в окраинной тишине, я приняла за счастливое озарение мысль о возможности иметь второго ребёнка. Дочь. Чтобы всё с самого начала: кормить, растить, но не за проволокой, а на свободе, в согласии. Я хорошо помнила, как сильно горевал Дима, узнав о смерти своей дочери Стеллы. Не сомневаясь в том, что обрадую его вестью, сказала:

– Я жду ребёнка.

Дима испуганно, без раздумий обрубил:

– Что ты! Сейчас? Не время!

Да разве я не понимала, что у нас нет своего жилья, нет необходимых вещей? Но дочь – это семья, тепло, смысл. Мы – двое работоспособных людей. Так почему же «не время»? Не было в моей жизни поры, когда рождение ребёнка было бы своевременным.

– Сейчас невозможно, – твёрдо повторил Дима. – Я был бы легкомысленным человеком, если бы сказал: «Да. Я рад».

Разъяснять, почему мне так необходим ребёнок, было излишне. Дима был одним из самых близких свидетелей того, как меня лишили сына. Я смотрела в его глаза. Ждала более убедительных доводов. Не понимала, где они увязли. Это привело к нашей первой тягостной размолвке.

Дима навещал меня в больнице. Предмета для разговора не находилось. Мы вышли с ним из одной катастрофы, и я не понимала, как, решившись на семейную жизнь, можно так по-разному вычитывать её смысл.

Наверное, то, что произошло через несколько дней после моей выписки из больницы, можно назвать безжалостным срыванием бинтов с незаживших ран. Наездом грузовика. Или – роком?

Дима уходил на работу рано. Возвращался поздно. Бледный, совершенно раздавленный, он вернулся в то утро ещё до моего ухода в театр.

– Что стряслось? Боже мой, что?

– Меня уволили!

Для таких, как мы, увольнение с работы без предупреждения было прамбулой ареста или других репрессивных мер.

– За что? – задала я трижды бессмысленный вопрос.

Заводское начальство гордилось тем, что обрело такого специалиста. Вокалисты на заводе объяснялись Диме в любви.

– Так за что всё-таки? За что?

– Вызвали в отдел кадров, сказали: «Вы уволены». Ничего не захотели объяснять. Я настаивал. Направили к секретарю парторганизации. Тот что-то мямлил, мямлил, в результате сказал: «По распоряжению секретаря горкома партии. Отсидевшим по политическим статьям работать на идеологическом фронте не положено».

Музыка – идеологический фронт? Распоряжение секретаря горкома партии ставило точку на иных попытках устроиться на работу по специальности. Я растерянно спросила:

– Что же мы будем делать?

– Завтра же уезжаю отсюда, – ответил Дима.

«Уезжаю»? Вместо «уедем»?!

– Куда?

– Обратно на Север. В Княж-Погост. Меня оттуда не отпускали. Там мне работа гарантирована.

Молча, про себя, я взмолилась: «Опомнись! Забери произнесённое назад! Не говори исключаящих меня из твоей жизни слов!»

И когда схлынула обдавшая холодом волна, отстранённо прокомментировала:

– Что ж, пожалуй! Кстати, вдруг ты забыл: я сидела по той же статье. Но это – только кстати.

Последующий диалог протекал в ритме беспорядочной суматохи:

– Уедем вместе, – спохватился он, – вместе поедем в Княж-Погост или в Микунь.

– То, что я оттуда бежала, что оттуда на меня был объявлен «все-союзный розыск», ты забыл тоже?

Да, Дима не должен был кому-то отдавать свой выигрыш – «выжил, освободился». А я не должна была его укорять за слова: «Завтра же уезжаю отсюда». Какая-то правда о нашем «вместе» была, однако, высказана.

В театр я шла с ожиданием увольнения.

Неохотно и лаконично Рувим Соломонович сказал:

– Работайте спокойно. Что касается вашего мужа, поверьте, пытался помочь, но сделать ничего не смог.

Посвящённый в этот «вопрос» член партбюро театра рассказал мне, как, прибегнув к доводу «производственной необходимости», директор просил в горкоме партии: «Оставить Петкевич доработать в театре до конца сезона, поскольку в случае её увольнения распланированный на параллельные спектакли репертуар повалится. Театр останется без гастролей».

К вящей досаде и унижению, от меня тогда скрыли, что это не вся правда. На самом деле директор поручился за меня своим партбилетом. Об этом и о том, что выселение из театра было также санкционировано горкомом партии, я узнала значительно позже. Мы, оказывается, в любое время могли «совершить диверсию» в театральном здании. В высокой инстанции говорилось об этом, как о деле государственной важности.

Нас с Димой обошёл повторный арест и обошла ссылка. Нам припасли задачу проверить себя «вольной» жизнью. Дима – муж. Но мы были не зарегистрированы. Обольщений, что он меня страстно любит, не было. Его чувство ко мне я именвала влюблённостью. Но тогда в тугой узел свилось всё по ещё более прихотливой логике: правда Димы по отношению к идее иметь ребёнка – с моим легкомыслием по этому поводу; его увольнение – с тем, что меня театр отстоял; то, что при первом наплыве страха он отрёкся от меня, – с тем, что возвращение на Север было для него действительно единственным реальным выходом.

Я знала, и он знал, как растекается по жилам человека безобразия страха и как неверно в нашем случае считать это постыдным. Памятуя его поддержку в моей истории с микуньским ГБ и видя, как сейчас запаниковал он сам, я пожалела его и нас с ним вместе. Оставшись тогда вдвоём в тишине ветхого дома, не гадая больше, что ещё собираются стряпать из нас партийные власти, мы простили друг другу всё выравшееся сгоряча. Отыскали один для другого нужные обоим слова. Встретились с ним ещё раз – на трезвой и более основательной глубине.

Я всё так же не умела расставаться с близкими, оставаться без них. Прежде в буквальном смысле слова билась головой о стену. Теперь вслух не стонала, ни о чём не спрашивала и ничего не просила. Дима фактически уезжал из Шадринска так, как недавно бежала из Микуня.

Перед произволом и беззаконием возраст и опыт утрачивают своё значение. Способы лишать достоинства в те годы не знали границ, не имели табу! «Не подпишешь, что ты шпион и сволочь, растопчем твою жену (или мужа), твоих детей, тебя самого». Естество человека пропарывалось до инстинкта: «Жить!» А затем глубже, до мольбы: «Помоги, о Боже, *не* жить!»

Выкупая у режима право уцелеть самим, его исполнители садистски добирались до вековых глубин природы, извлекали на поверхность женское и мужское начала, швыряли это на свою «наковальню» и расплющивали. *Все* оскорбляли в женщинах. Из мужчин выделяли *немужчин*. Без этого знания нас не представить.

В память вляпана одна из самых безобидных сцен. Приезжая после Колюшкиной смерти из Микуня в Княж-Погост, я носила передачи его друзьям. Ждала, когда их строем поведут с работы в зону. Придерживаясь края деревянного тротуара, шла в один из приездов вдоль канавы, заполненной пористым весенним снегом. Надо было поравняться с Жорой Бондаревским и Серёжей Аллилуевым, чтобы они изловчились и перехватили у меня сетку с провизией. Протягивая её, не рассчитав расстояния, я оступилась и по пояс провалилась в канаву. Строй уркаганов взорвался животным гоготом. Хохотали они, хохотал конвой (там это называлось «ржать»). Я барахталась в снегу, пытаясь выбраться из канавы. Лишённый возможности выйти из строя, Жора, подняв руки к небу, грохнулся на оба колена и взвыл от беспомощности: «Помогите же ей!» Со словами: «Ишь жалостливый какой!» конвоир огрел его прикладом по спине. Кто-то из идущих сзади рывком подхватил его под руки, чтобы не дать сбить с колен. Дикое «сообщество» протопало мимо.

После отъезда Димы, возвращаясь из дальних выездов домой, я ставала хозяйку Анну Сергеевну сидящей за вязанием. Она его тут же откладывала в сторону и торопила:

– Скорей, скорей снимай обувь. Вон, нагрела тебе горячей воды, ставь ноги в бадью. Пей быстрее чай с малиной. Не раздумывай.

Мне не хотелось уезжать от неё. Но когда в театральном общежитии освободилась комната, меня обязали туда переселиться. Театр в таких случаях прекращал оплачивать частное жильё.

За моим ничтожным имуществом из театра прислали заморённую клячу. Я водрузила на телегу свой досточтимый деревянный чемодан. Лошадка тронулась с места. Мы с хозяйкой шли следом. Похоже, ей давно хотелось сказать то, на что она тогда решилась:

– Ты на своего Дмитрия обиды не держи. Он у тебя медленный, не вдруг раскроется, но уж как тебя любит.

Откуда так много знала про мирскую жизнь монашка Нюра в Урдоме? Что углядела никогда ни о чём не спросившая ни про Диму, ни про меня отшельница Анна Сергеевна? Откуда вообще берётся пронзительное понимание житейской казуистики у женщин, не имевших ни мужа, ни детей?

Театральное общежитие было крайним домом на западе города. Радостью в нём стал вид из окна, обращённого на пашни, реку и дальний лес за нею. Ни одно строение не заслоняло этого простора.

С удалю смертных сражений загрохотали весенние громы. Слепили молнии. Обрушивались ливни. Природа расправлялась с задержавшейся зимой. Я – с собой.

После постановки «Невольниц» в Шадринск приехал новый режиссёр. Познакомившись с труппой, он предложил в репертуар пьесу Островского «Грех да беда на кого не живёт». Я получила роль Татьяны, жены купца Краснова, которого играл он сам.

Профессию режиссёра я изначально считала одной из самых мудрёных. Как может один человек вместить в себя знание истории, декораций, костюмов, жанровых особенностей пьесы? Как может проникать в головокружительные глубины человеческой психологии? Потому я была не на шутку смущена, когда во время «застольных» репетиций новый режиссёр всё чаще и чаще обращался не то ко мне, не то к труппе: «Давайте послушаем, что об этом думает Тамара Владиславовна».

Припоминая то, что в жизни поражало, удивляло, я пыталась фантазировать, додумывать, почему персонаж совершает тот или другой поступок. Интерес, который проявляли в труппе к моим кустарным экспромтам, превращал для меня репетиции в ежедневный экзамен на тему, сформулированную Александром Осиповичем: «Как подчинять безбрежность психологического и психического – творческому».

Меня стали шутливо называть подпольным режиссёром.

Как-то к одному из актёров, Игорю Шолохову, на несколько дней приехал друг – актёр тамбовского театра Танин. Игорь пригласил всех на чай. Гость из Тамбова перечислял названия пьес, которые были в репертуаре их театра, рассказывал о труппе, гастролях, о главном режиссёре Галицком, с которым «захватывающе интересно работать». Я жадно вслушивалась во всё, что касалось других театров, других городов, поскольку ждала конца сезона, чтобы тут же уехать из Шадринска.

В начале апреля директор театра попросил зайти к нему в кабинет до репетиции:

– Не хочу вас мучить, но вынужден просить подробнее рассказать, за что вы сидели. За что именно?

Как у человека, взявшего меня «на поруки» под свой партийный билет, у него было на это право.

В кабинете настойчиво звонил телефон. Не желая отвлекаться, Рувим Соломонович несколько раз снимал трубку и снова клал ее на рычаг. Телефон продолжал неистовствовать, вынудив его ответить. Что-то его крайне удивило:

– Подожди, подожди. С чем ты меня поздравляешь? Нет. Ещё не читал... Да брось ты. Быть не может...

Едва он закончил разговор, как телефон затрезвонил снова. Раздавался звонок за звонком. Директор принимал поздравления, поздравлял сам. Я поднялась, чтобы уйти, но он, энергично жестикулируя, указал: «Сидите, сидите. Не уходите». Прикрыв рукой трубку, прошептал:

– Сейчас, сейчас. Вы уже поняли, о чём идёт речь?

Разумеется, поняла: о «деле врачей». В телефонном диалоге Рувим Соломонович то и дело упоминал имя Тимашук, раскрывшей заговор «убийц в белых халатах». Радиопередачи, газетные статьи тогда с энтузиазмом изготавливали «гнев народа», который должен был «переполнить чашу его терпения», дабы требовать массовой расправы над евреями. Для приёма составов с рабочей силой в Биробиджане, по слухам, строили бараки – для евреев создавали резервацию. Значит, готовившийся над врачами процесс по каким-то обстоятельствам отменялся? Поистине то было событие сверхнормативной значимости!

Пытаясь разобраться, как и за что сидела я, хороший человек Рувим Соломонович ни сном не духом не ведал, насколько сам был близок к тому, чтобы угодить в запланированную власть «кампанию».

Случайно оказавшись среди шквала телефонных поздравлений директору театра, я про себя недоумевала: как же все задавлены, если до момента официального разоблачения такое множество людей в небольшом провинциальном городе Шадринске не разрешало вырваться наружу ни вскрику, ни отчаянию, ни слову «поперёк».

Мы замалчивали своё прошлое, «очередники» – своё настоящее. Одни «хоронились» от других. И большинство 5 марта 1953 года рыдало от боязни, что такая жизнь могла смениться на какую-то другую?

С Севера от Димы тем временем стали приходиться не свойственные ему оптимистичные письма. «Отсидевшие срок, – писал он, – могут теперь обращаться в Прокуратуру СССР с просьбой “помиловать” их». И будто бы «миловали». Акция эта ровным счётом ничего в жизнь не привносила. Не отменяла даже 39-ю статью, не разрешавшую жить там, где человек хотел. По соображениям властей, помилование должно было доставить отсидевшим «моральное облегчение». Дима настаивал: «Напиши. Сделай это для нашего будущего. Прошу. Так или иначе, такая бумага пригодится...»

Мне обращение к правительству с просьбой помиловать на душу не легло. Я вообще ни от кого и ничего не ждала, ни во что радужное – не верила.

Когда я написала Борису о том, что Дима приехал в Шадринск и я вышла замуж, он налетел на меня, как пережитый в Шадринске буря: «Что ты натворила? Приди в себя. Ты сошла с ума. Ты просто дура. Опомнись, богачка, юродствующая под нищую. Что это? Смирение? Усталость? Сжечь корабли? Издёвка над собой? Чем хуже, тем лучше? Цинизм? “Все равно?” Сейчас? При желанной работе, накануне устройства всего? Любимая, такая живая, светлая! Мне страшно за тебя. Как тебе сейчас темно, как мутно. Дима? Вяло доживающий по инерции свою скуку, свою пустую жизнь. И ты? Какое глупое предательство. За то, что вы сделали, вы накажете друг друга сами. Уже наказываете. С первой минуты. На что ты пошла, чтоб вырвать меня из себя? Не вырвешь никогда... Хочу, чтоб ты проснулась, чтоб поняла, куда забралась во сне... Итак, теперь слушай меня. С тобой меня всегда подводила моя бережность. Я до идиотизма был с тобой деликатен. Но ты принимала это за что-то другое. Я люблю тебя. Я люблю тебя, как жизнь, как свободу, как правду. Ты мне необходима. И ты будешь со мной – чистая, ясная, чего бы это ни стоило нам обоим. Ты тоже хочешь этого. Молчи. Я знаю. И ты сделаешь всё, что я скажу. Слышишь? Я один из всех живых знаю тебя, понимаю, люблю в тебе всё. Я один из всех живых отвечаю за тебя перед твоей мамой, перед твоей сестрой Валюшей, перед Колиной памятью, перед Ольгой Петровной Тарасовой, перед Александром Осиповичем. А больше всего – перед собой, своей жизнью, своим представлением о Боге в людях, правде и любви. Наконец, я просто хочу счастья. Моё счастье – ты. А если я что-то знаю, того и хочу. Меня не собьёшь и не остановишь. Мы будем вместе. Твои сжигания мостов ничего не изменили и не

изменят. Потому сегодня я требую, детка, как твой человек неизменный, как твоя вторая совесть и разум, я требую, Тамара: немедленно прекрати этот душевный распад. Сегодня же рви с Димой, извинись и выставь его за дверь. Ясно? Не отдам я твоего нутра. Оно моё. Моё... Раньше или позже ты вернёшься ко мне. И вероятно, я тебя всегда приму. Но лучше теперь, чем через год или пять. Не калечь себя. Немедленно уходи от него...» Письмо было нескончаемое. Не зная Диму, уничтожая его, он крушил и громил меня. Страдал сам? Да. Это было очевидно.

Микунь, где находился в зоне Борис, и Княж-Погост, куда Дима вернулся из Шадринска, отстояли друг от друга всего на сто километров. Как Борис истолковал возвращение Димы с Урала на Север, домыслить не трудно.

Наступил месяц май. Театр готовился к гастролям по Уралу и северному Казахстану. Я ждала этого с нетерпением. Неимоверная усталость от неудач с поиском сына, ошеломление от оплакивания вождя народом, свежие «наезды» власти, увольнение Димы и наша разлука истощили силы. Я была одержима единственным, фантазийным желанием: выпасть из собственной биографии, из того, что было атмосферой страны.

Я смирно сидела в кузове грузовика, отрешённо глядя на беготню отъезжающих-провожающих, ожидая одного-единственного: когда машина стронется с места. Из театра выбежал директор, подошёл к той стороне борта, где я сидела: «Хорошо, что успел. Вам принесли целую пачку писем. Вот». Скопившихся на перлюстрации писем было действительно много. Ото всех сразу: от Димы, от Александра Осиповича, от Бориса, от Александры Фёдоровны. Все письма я всегда вскрывала незамедлительно. В тот раз не прикоснулась ни к одному: «Позже! Потом!»

Чернели вспаханные поля. А где-то уже зелёным туманом смотрелись всходы озимых. Переваливаясь с боку на бок, машина увозила нас от города, застревая, буксуя в месиве весенней грязи. То и дело слышалась команда: «Выходи... А ну, взяли... Ещё раз...» А потом – вёрсты, вёрсты...

После «слепого» дождя через всё небо цветными вратами являла себя радуга. Казалось, мы въезжали в иное пространство: покой, величественная красота уральской природы. Лесными дорогами проезжали от одного становища к другому. На огромных участках леса на стволы деревьев были аккуратно набиты жестяные жбанчики, в

которые из подрезанной коры с сосен скупыми янтарными слезами стекала смола, а с берёз – сок. В промышленном покушении на девственный лес виделись умело хозяйничавшие руки человека (и чем отдалённее было место, тем искусней и опытней казался хозяин). Но смотреть на пораненные и плачущие стволы было неловко.

Поначалу мы играли в небольших городках, затем последовала череда селений, совхозов, и картины городской жизни стёрлись. О цивилизации напоминали телеграфные столбы и кое-где электричество. Тот, чьё сознание было повязано проблемами общественной жизни, начинал здесь тосковать. А я, с охватившей меня тогда мощью отрицания всего общественного и городского, повернулась навстречу неизречённой природе, шла к ней, как к живой, ожидавшей меня прародительнице, с надеждой отрешиться от нагромождений своей жизни. Никогда больше сезонными ветвями души я так не совпадала с наступившим летом, как с тем, уральским. Окуналась в тихие озёра, речушки, тонула в сумерках, вбирала в себя синеву гор, сухость бора и холодок низин с неисчислимыми оазисами незабудок.

В наших прогулках по безлюдным лесам более отчаянная, чем я, актриса Ася Б. срывала с себя одежду и нагая, перепрыгивая с пня на пень, потешно голосила: «Уа-уа!» Для меня, тяготевшей к тишине, Урал приберёт свою затаённую пропись. Углубившись одна в лес, я как-то оказалась у речки с высокими берегами из красного песчаника и с пещерами в них. Главное было найти в себе решимость, держась руками за ствол поваленного через речку дерева, повиснуть на нём и нащупать ногами твёрдое основание одной из пещер. Всё сошло как нельзя лучше. В нагретой полуденным солнцем пещере было удобно и сонно. Я не отводила глаз от сверкающей на солнце речной глади. Из стихии воды в стихию воздуха выпрыгивали, взлетали ввысь рыбки, одна, другая... седьмая, двадцатая... – то ли играя, то ли соревнуясь между собой, они разрешали любоваться своей прытью. И не было удержу тому, кто изящнее изогнётся, кто круче прочертит дугу. Неужели так грациозен и так наполнен радостью инстинкт живого?

До этого природа была фоном, а теперь, оттеснив к краю и спектакли, и отношения с труппой, предъявила себя во всём полномочье. Смысл проживаемых суток заключался в стремлении ощутить совместность с лесом, озером, в слежении за тем, как зарождается и меркнет свет дня, переходя в сумерки, в темень. Чем самозабвенней я приближалась к зыбкой черте превращения утра в день, дня – в ночь, тем больше изумлялась порядку всего сущего. Я проникалась мудростью иносказаний о Хозяйке Медной горы, о леших, о Мавке, о колдовском

озере Сариклен. Все они происходили из были. Что-то порой толкало в спину, нашёптывало в ухо: не сочтёшь духов душою гор и вод, не зайдётся сердце от почтения и страха, природа заграбастает тебя, сомнёт и превратит в ничто. Если не хочешь быть поглощённой её всевластием, улови границы, которыми человек отчерчен от неё, вцепись и держись за них.

Для чего мне явилась в то уральское лето картина незагубленного Божьего мира? Наверное, в подмогу машинальному дыханию и про запас.

Кое-что я записывала в блокнот:

«Когда-то этот год будет к чему-то приписан. Чувствую: он меня прячет в своей истине и мудрёности... Верю, что в этих лесах находят корень жизни женьшень и что он вправду похож на человечка».

«...Временное самоизъятие, самоизбавление... Существует только то, что вокруг. Всё без меня! Всё – не больно. Даже о сыне не думаю...»

«Решительно всё здесь идёт в счёт Жизни. Значение приобретает каждая деталь: вскрик птицы, цвет коры на стволах. Всё, всё – говорит. У всего есть свой словарь...»

«Два дня пробудем в татарском районном центре Альменево. Поселили в семью. Не имела представления о таком гостеприимстве. Хозяин дважды приходил за мной в Дом культуры: “Пора уж отдыхать. Идёмте. Хозяйка давно ужин на стол поставила...” Уступили свою постель. Сами улеглись на полу. Хотела пойти в магазин купить мыла, голову помыть. Хозяйка остановила: “Да что это вы? Дома пуд мыла, а вы в магазин пойдёте? Нет уж...” Согрели воды. Хозяин ушёл во двор, лёг в телегу с сеном, взял книгу. Пошёл дождь. Говорю хозяйке: “Ведь дождь пошёл. Надо, чтобы хозяин вернулся в дом”. Хозяйка спокойно: “Ни-ни. Разве что вас послушается”. Я вышла позвать его. Он: “Ничего, ничего. Я тут читаю”. Это под дождём-то. Как ни упрашивала – не вернулся. Утром с рыбалки принёс к завтраку полведра рыбы. Хозяйка нажарила две сковороды. “Нравится ли?” – спрашивали оба глазами. Я их благодарила улыбкой и словом. Здесь каждая женщина – женщина. Мужчина – мужчина. А каждая старуха – мудрец. Вскинет глаза на доли секунды – и ты уже у неё с приговором, как после праведного суда...

Во веки веков. Аминь!»

Руки Димы становились разговорчивыми, когда касались клавиш рояля, а не листов бумаги. Но какие-то чувства переупрямили его. Лейтмотивом его писем с Севера стало: «Жить без тебя не буду. Умру». «Чем дальше, тем труднее переносу разлуку с тобой. И тяжелее все-

го, страшнее всего то, что ревную тебя. Ревную ко всем на свете... Ты так далеко от меня, такая красивая, такая талантливая и хорошая, среди людей, которые говорят с тобой, любят тебя. Знаю, что ты безупречна ко мне и любишь, но от ревности теряю рассудок... Как только вернёшься с гастролей, сразу приеду за тобой. Устраиваться на работу в Москву поедем вместе...»

В конце августа заканчивался театральный сезон. Во что бы то ни стало я должна была вырваться из-под поручительства директорского партбилета, искать и найти другой театр.

Для труппы увольнение Димы рассекретило наше с ним прошлое. В отношении актёров ко мне многое изменилось. Кто-то насторожился, у кого-то, напротив, возрос интерес ко всему, что я делала и говорила. Как-то по дороге на выездной спектакль все сошли с машины перекурить, а мне, как «Дикой Баре» (шёл в то время такой чехословацкий фильм), которой «поле да воля» шли впрок, вздумалось лечь и, крутясь, скатиться вниз с довольно крутого откоса. Приминая колочки скошенных трав, с гиком и смехом за мной последовала половина труппы.

Актёры ехидно подсмеивались над режиссёром, сидевшим в кузове и державшим наготове руки, чтоб отвести от меня ветви деревьев на лесных, не изъезженных дорогах. Он заходил в грим-уборную, прислонился к косяку двери, смотрел; говорил парикмахерше, надевавшей мне парик: «Как я завидую вам, Лиля, вы прикасаетесь к её волосам». Я сердилась: «Прекратите, что это вы, право», а он в ответ благостно растягивал междометие: «О-о-о!» – и всё тут. Мне посвящали стихи. И самая старшая из актрис, Начинкина, не без лукавства подливала масла в огонь: «Как вы думаете, что я слышу от мужа, когда он просыпается? Он говорит: “Пойду посмотрю на Тamarочку. Никогда не видел, чтоб женщина по утрам была так хороша”».

Я не всё считала мишурой и комплиментами. Сопутствовавший мне с юности климат влюблённости научил отличать мужчин-охотников от мужчин-рыцарей. И я владела искусством переводить излишний пыл в почтение. Усмирила и здесь одного, другого. Но мужское внимание требовало расплаты.

Как-то, заранее отправившись на вечерний спектакль, я решила дожидаться коллег и прилегла у дороги в траву. Подошедшие актрисы уселись в кружок по другую сторону дороги. Не понадобилось много времени, чтобы понять: красивая жена директора театра говорила обо мне. «Она опасна, она отбивает у нас мужей...» Навет стеганул, как плёт-

кой. «Опасна... отбивает»? Это обо мне? Я поднялась. Не оглядываясь, пошла вперед. Неужели мне одной было ясно, как беспардонна такая ложь? Я не представляла, как смогу отыграть спектакль, не знала, как дальше общаться с теми, кого считала товарищами.

Судили и рядили не впервой. Боль и обида бывали нестерпимы. В такие минуты рвёшься «катапультировать»: «Сумею! Одна! Без всех!» И получалось. На высоте в самом деле было чисто. Только – студёно! Автономия не спасает, если, кроме тебя, в ней никого больше нет. Из холодины бесчувствия к температуре людской среды я возвращалась также сама. Заново училась строить отношения в повседневной жизни.

Борис освобождался в конце августа 1953 года. Несмотря на то, что я от него ничего не скрыла, он писал: «На следующий же день после освобождения беру билет и еду в Шадринск». Моих безоговорочных доводов: «Я замужем. Пожалуйста, не приезжай! Раз тебе что-то неясно, объяснимся в Москве», – он как будто не слышал. В своём последнем наступлении, перечёркивая себя, он не просил, а кричал: «...Не смей ничего решать! Даже думать ни о чём таком не смей! Пойми. Нельзя никак! Пишешь: “Всё было неверно”? Да, да! ВСЁ неверное было от меня, от казарм, от войны, от тюремщины. Всё верное – твоё, свободное. Твоя правда, твоя сила. Ты была здорова, а я нет. Твоё было нормальным, а моё – временно воспалённым. Там, где ты, я буду так же здоров. Обещаю. Это замечательно, замечательно, что ты вырвалась из всего здешнего, из всего “моего”. Мы равно нужны, равно хотим и хотели всегда одного. И мешал этому я. Не от того, Зоренька, что я такой тяжёлый, преувеличенный. Нет же, верь... Я очень поддался удушью колючей проволоки. Я весь затёк в своей старой сношенной шкуре. Задыхался я и тебя душил... Знаю, солнышко моё, как замучил, задавил собой... Рвался к жизни, и ты была весь мой выход. Ведь всё, что от целой жизни хотел, требовал от тебя одной... высасывал у тебя силушки, как типичный вурдалак, хлестал мою родную словами, когда ты своею силой, собой, из себя перекрывала эту разницу условий и самочувствия...

Как ты мне всё прощала – не знаю. Лучше, чем ты, твоё – невозможно, родная! Не-воз-можно! Никто бы не выдержал всего, чем навалился на тебя я. И я это знаю, помню и не забуду. А ты – забудь, забудь, солнышко, все мои дикие, безобразные сцены, все истерики, какие тебе устраивал, попреки больные, отравленные слова, слёзы, ревность ко всему, что не я. Как мне страшно, что ты это помнишь, что ты этого боишься для будущей жизни. Ты отчаялась и от боли

всё захотела перевернуть, ты устала, птица, устала... Мука! Я это всегда понимал. А изменить не мог... Тут разума мало. Вот и неврастения, палачество (моё, не твоё)... Встреча необходима, как сама жизнь. Пойми! Услышь! Прошу! Молю!..»

Поистине, то была мука. Каждой своей клеткой я знала, что ощущает человек, когда при связанных руках и ногах душа рвётся в клочья, а другой этому не вмешает. Были, были безнадежность и смертное отчаяние. Переписка с Борисом помогла мне устоять. Такое не способно стать одним воспоминанием. В чём-то это было даже глубже, чем любовь. Но *не было ею*. Смыслу, содержанию такой дружбы, как и любви, изменять также не положено!

Шёл в те годы фильм о кризисных для Америки 20-х годах – «Судьба солдата в Америке». В финале герой спрашивал женщину, с которой прошёл «медные трубы»: «Кто ты мне?» Она задумывалась и отвечала: «Этого я так и не поняла за всю жизнь». Подобный ответ был во многом применим и к нам. Во всяком случае я не знала, кем мы приходимся друг другу.

Понимала тогда одно: избегать встречи с Борисом после его освобождения не имею права и не стану. Мне предстояло, глядя в глаза ему и Александре Фёдоровне, сказать живым словом, что свою дорогу я вижу без них. Борис между тем в каждом письме опять просил: «Настоятельно прошу: *ничего не пиши Ма. Я всё скажу ей сам*».

Гастроли близились к концу. Несколько спектаклей мы играли в санатории «Озеро Горькое». Озеро имело такую концентрацию соли, что его сравнивали с заливом Кара-Бугаз, где, как я помнила ещё со школьной скамьи, соль составляла 16,4 %. Больные с костными заболеваниями рассказывали, как их привозили сюда на колясках, на костылях, а отсюда они уходили – «видите, вот: на собственных ногах». Главный врач, доктор Сабо, и его коллеги содержали эту здравницу в таком порядке и чистоте, что её можно было считать образцовой.

Утрами в разогретой солнцем лодке я отплывала к дальнему берегу озера – послушаться пчелиного жужжания и заоктавного посвиста птиц. Это воскрешало детство, нашу с мамой уединённую жизнь в полуразрушенном белорусском имении. Оторвавшееся начало жизни здесь причаливало к настоящему дню, и я стала верить, что уеду отсюда тоже «на собственных ногах».

Я прощалась с Уралом. Он рассказал о мятежах и о страстях Земли, о мечущейся внутри неё магме, которая при землетрясениях нагромоздила хребты и отроги, образовала солёные и пресные озёра.

Вряд ли природа 60-й параллели была озабочена законами красоты при тех извращениях. Но что-то божье умерило её буйство, утвердило в особой гармонии.

Какой-то отрезок пути нам предстояло проехать поездом. Плацкартный вагон был полупустым. Я улеглась на вторую полку в купе, где никого не было. Глядела в окно, а в соседнем купе один из самых одарённых актёров, Володя Бородин, что-то рассказывал. Несколько услышанных фраз остановили моё внимание, привели в замешательство. Он живописал, какой необычной и оригинальной была квартира актрисы театра имени Моссовета Веры Марецкой, сколько там было птиц, хомяков, клеток с разной живностью... Точно такое описание квартиры Марецкой я уже слышала! И прежде чем я осознала, от кого, у меня заболело сердце.

Всё это мне рассказывал тот единственный человек, который не мучил, не предавал, а любил, и которого я любила, как это бывает только однажды. Мне это рассказывал Колюшка.

Спустившись с полки, попросила Володю Бородина поговорить со мной в пустом купе:

– Вам что-то говорит имя Николай Данилович Теслик?

– Николай – мой товарищ... Мы с ним вместе учились в студии Завадского. Почему вы о нём спрашиваете? – осторожно спросил он. – Вы что-то знаете о нём?

– Что-то знаю...

– С ним, говорят, приключилось страшное?.. То, что и с вами? – догадался он сразу обо всём.

– Нет. Страшнее. Страшнее, большее, чем может себе представить человек.

Он стал расспрашивать о нём.

– Коля умер в лагере. Ему при жизни досталась мука, и умирал он в страшных мучениях, – остановила я его.

Мне бы самой спрашивать и спрашивать Володю Бородина: «Что вас сдружило? Что помните о нём? Как? Кто? Когда?» Но я не могла. Ни о чём не могла спросить. Все унижения и невзгоды неволи были пережиты нами на едином с ним дыхании и заботе.

То моё прошлое ни с чем и ни с кем не смыкалось. Ни с этим поездом, ни с будущим... Даже во мне самой – оставалось неприкасаемым.

Последний гастрольный спектакль игрался в одном из больших уральских сёл. На прощанье нам истопили баню. Для смягчения жёсткой воды насыпали в шайки золу. Пока мы помылись, чесали эту

золу с волос, наступила ночь. Где-то поблизости выводил рулады баянист. И чего уж он только не вытворял: и в каскад сбрасывал мелодию, и в россыпь, и гудел, и нежно выстилал звуки. Будоражил, дразнил, созывал. Накинув на себя пальто, я вышла на крыльцо. На завалинке сидела уже половина труппы. Играл паренёк лет пятнадцати. Отчаянный. Талантливый. Мы спрашивали его, поедет ли куда-нибудь учиться. Собирался.

Уже занималась заря. Над огородами слоился белый туман. С реки задувало свежим ветерком, но никто не уходил. Что это за дивное свойство у музыки – превращать душу в заново рожденную?

Выехали мы в мае, когда на полях только-только начинали зеленеть всходы. Возвращались, когда зерновые были сжаты, сено убрано в стога. Выкапывали уже и картофель.

Дима приехал за мной в Шадринск радостно настроенным, полным надежд. Мы навестили нашу хозяйку Анну Сергеевну. Две недели, оставшиеся до конца сезона, беззаботно и счастливо прожили в театральном общежитии.

Лёгким шагом я шла – в дирекцию театра с заявлением об уходе. Рувим Соломонович попросил нас прийти вдвоём. Предложил мне и Диме остаться на следующий сезон.

– Под чей партийный билет на этот раз? – не удержалась я. – Самого секретаря горкома?

– Его уже сняли, – сообщил он. – Теперь другой. Говорят, не дурак. Это уже кое-что.

В каком-то смущении нас провожала вся труппа. Говорились сердечные слова. Были слёзы. Чего-то в самом деле было жаль.

Неожиданно на вокзал приехал начальник управления культуры из Кургана – Кауров. Тот, который любопытствовал: «Покажите мне актрису, которая играла Райну».

– Приглашаю вас с мужем на работу в Курганский театр. Соглашайтесь – не пожалеете. Повышу оклад. У вас будут роли. Для мужа есть работа в музыкальном училище, – соблазнял он нас. – Что-нибудь сообразим с жильём.

За приглашение «классом выше» поблагодарили, но тоже отказались.

Решение уехать отсюда было неколебимым. Мне надо было искать сына.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Едва Шадринск остался позади и мы с Димой начали прикидывать ближайшее будущее, как выяснилась несводимость наших взглядов на него. Во всяком случае, на два главных для меня вопроса – обескураживающая.

Только психологическим казусом можно было счесть неодобрение Димой того, что я и в дальнейшем намерена работать в театре. Довод приводился самый удручающий: «Актёры – народ легкомысленный». «Да Дима ли это? Что с ним? – недоумевала я. – Ни единым словом не обмолвиться об этом раньше – и вдруг? В Москву на биржу, как он писал и как говорил в Шадринске, поедем вместе, чтобы я устраивалась в театр. Как понимать этот сбой?»

Вторым не имеющим решения вопросом была встреча с Борисом. Едва я заикнулась о том, что считаю необходимым объясниться с ним и с Александрой Фёдоровной, как Дима восстал:

– Прошу не делать этого. Никакой надобности встречаться с ними нет.

Я была убеждена, что он скажет: «Они тебя выручили. Разумеется, объяснись. Сними с души тяжесть, станет легче». Он ведь знал, в какой критический момент Александра Фёдоровна укрыла меня. Самолюбие? Ревность? Не без этого. Но есть же что-то безусловное? Принять точку зрения Димы значило перестать быть собой.

В Москве Дима повёз меня куда-то на окраину, к хозяйке, у которой снимал комнату в свой первый приезд.

Наверное, надо было очень хотеть пробиться через его предубеждения, раз я в этом преуспела.

К вечеру следующего дня, Бог весть с каким стеснённым сердцем, я позвонила Борису.

– Куда бежать встречать? – нетерпеливо вскричал он.

– Я приеду сама.

Сиял он, лучилась размягчённая и счастливая Александра Фёдоровна. Всё дышало простодушием радости ОСВОБОЖДЕНИЯ сына. Более неподходящего момента для объяснений нельзя было придумать. Моя потребность быть прощённой граничила с кощунством.

– Ты отдаёшь себе отчёт, малыш, что происходит? Отдаёшь? Мы оба на свободе! Я – вольный человек! Смотри на меня. Как я тебе? А? – весело громыхал Борис.

Посвящённый во все обстоятельства моей жизни, он казался ничем не омрачённым. Заглядывал в глаза, проламывался в моё закрытое сердце:

– Ты что? Я же – вот. Разве не видишь? Ну, где ты? Где? Очутись рядом. Да пойми же: я благодаря тебе, ради тебя выжил! Дошёл до тебя – единственной!

Слишком это оказались разные вещи: объяснения в письмах – и необходимость приноровиться к тому, как ведёт себя в своём собственном доме человек в счастливые дни освобождения.

Борис маневрировал, сменяя одну тему другой. Не закончив рассказывать, как получил документы об освобождении и, выйдя из зоны, даже не оглянувшись, переключился на разговор о том, что с ним было, когда он узнал о всесоюзном розыске, объявленном на меня. Подробно рассказал, как, заставив себя хладнокровно проанализировать ситуацию, пришёл к выводу, что финт гэбистов с их «челюстным инстинктом» и мёртвой хваткой был шантажом. Они, дескать, рассчитывали психологически «раскрошить» меня. Во время праздничного чаепития продолжил рассказ о том, как заезжал в Микунь проститься со скульптурами, с картинами, которые создавал там для Дома культуры. Один вираж был круче другого. И только когда он увидел, что моё смятение граничит уже с обмороком, едва Александра Фёдоровна вышла из комнаты, пошёл ва-банк:

– Слушай, ты о Диме? Да? Ты что, в самом деле не понимаешь, что это ошибка? Твоя ошибка. Я тебе писал об этом. Ты просто отупела от того, что натворила. Очнись, я тебе говорю. Никогда тебя не упрекну. Ни единым словом. Прими мою клятву: клянись!!!

– Дима – мой муж. Я его люблю.

– Нет! Нет! И – нет! Ты сошла с ума! Такое случается. Постепенно ты обретёшь разум.

– Я пришла сюда не для того, чтобы ты разговаривал со мной, как с больной...

Заметив во мне крепнущее сопротивление, он тут же перевел разговор на то, в каких городах можно жить, в каких – нет.

Прошло уже часа два разговоров вокруг да около, когда Александра Фёдоровна, на лице которой только что царил безмятежность, вернулась почти испуганная:

– Тебя к телефону мужской голос, – обратилась она ко мне. – Помоему, пьяный.

Звонить сюда мог только Дима, и то непонятно как. У хозяйки, где мы остановились, телефона не было. Телефонного номера Бориса он не спрашивал. Самым же невероятным было представить Диму пьяным. Так же невероятно, как и себя.

Звонил Дима. И он был – пьян:

– Ты скоро придёшь? Я не могу больше ждать, Тамарочка. Пойми: не могу...

– Пожалуйста, Дим, не торопи меня. Тебе не о чем беспокоиться! Прошу, дай мне время.

Борис разъяснений – не спросил. Давал понять: я – палач не только его любви, но и его Ма.

Как и в первый раз, когда он не разрешил объяснить Александре Фёдоровне, почему мне пришлось уехать с Севера, так и теперь всё осложняло его требование: «Ничего не смей говорить Ма. Я расскажу ей всё сам». Их согласованное «Ну наконец-то!» при моём появлении яснее ясного говорило, что Борис своего обещания не исполнил, ничего Александре Фёдоровне не рассказал.

Взяв самого себя за шиворот, следующий крутой разворот сделал опять же он:

– Мама, сядь. Есть разговор.

Раз «мама, сядь», значит, всё сейчас ей и скажет. ...Нет! Что-то другое. Перетасовывая одно прагматическое соображение с другим, он обратился к обеим:

– Давайте-ка обсудим, други мои, сообща, на что мне нацеливаться, чем, по вашему просвещённому мнению, следует заняться? Писать? Рисовать? Стать учителем? А может, и того проще: тапёром куда наняться?

Александра Фёдоровна необычайно живо подхватила тему:

– Если хотите знать, что думаю я, то прежде всего Борюнька должен закончить художественное училище. А затем? Затем – иллюстрировать книги. У него это получится превосходнейшим образом. Как ты считаешь, Томочка?

Жизнь преимущественно проживалась в обстоятельствах абсурда. И сейчас, принимая участие в том, из чего себя изъяла, я выглядела пародией на самой себя. Ум заходил за разум. Мелькнуло даже: «А может, они в сговоре?» Но, глядя на счастливую Александру Фёдоровну, я всё равно не могла бы решиться встать и сказать ей: «Я при-

шла, чтобы объясниться. Ваш сын не разрешает сказать, что я вышла замуж». Казалось, что в первые дни счастья убью её этим.

Я ожидала милости Бориса! Этого, реального, свободного Бориса. Эта милость задержалась в пути, но вот-вот, сейчас... – верила и переживала я.

Пробило двенадцать ночи. Последние секунды, чтоб перехватить инициативу, сбросить гибельную одуру вины...

– Первое, что мы сделаем: поедем на юг на теплоходе «Россия». А до этого пойдём в Третьяковку. Я буду блистать знаниями, а ты будешь в меня влюбляться, – лихо продолжал свой эксперимент Борис.

Я понимала: это страдание в той его фазе, когда оно уже оборотень: разгул и наглость. И тогда наконец смогла возмутиться. Поднялась и твёрдо заявила:

– Хватит! Я уйду! Возникнет надобность поговорить, сделаем это когда-нибудь.

Бравату его как рукой сняло. Он измученно, но чётко сказал:

– Ты уже разгромила и меня, и всё вокруг. Ты это уже сделала. Так погоди немного. Совсем немного, раз этого не отменить.

– Че-го ты ещё хо-чешь?

– Выслушай меня до конца.

– Что ещё не сказано? И – зачем?

– Затем, чтобы помочь мне устоять на ногах... Ма я об этом рассказать не смогу. Ни сейчас, ни потом. Она не вынесет. А ты – должна выслушать! Должна! Понимаешь? Пока ты не выслушаешь меня, я ещё не на свободе... Вынь меня оттуда. Дай руку! Помоги! Ты помнишь зону Сольвычегодска? Знаешь, что последние шесть месяцев я провёл в этой страшной зоне? Не знаешь только, что я там пережил. Я берёг тебя, не писал. Но раз всё так, слушай. Это чистой воды случай, Томушка, что я сейчас в Москве, что могу тебе всё рассказать. Прошу, сядь.

Стрелки на часах показывали далеко за полночь. Я хотела быть не здесь, а возле Димы. Но это беспощадное, приварившее к месту слово Бориса: «Должна»... Откуда он знает про это *должна*? Каким образом отыскивает эти глубинные точки? Его просьба выслушать не возымела бы надо мной силы, если бы я сама не несла в себе этого порабощающего *должна!*

Во всех подробностях Борис стал рассказывать о спровоцированной охраной кровавой бойне между русскими и узбекскими уголовниками. О том, как они добивали друг друга кусками водопроводных труб, свезённых к кухне; как русские подожгли барак с узбеками, из

которого стали вываливаться живые факелы; как в безумии предсмертного метания люди догорали в зоне, а с вышек косили из пулемётов тех, кто кидался к заградительной проволоке; как окровавленного Бориса пожалел какой-то уркач, втащил в чужой барак со словами: «Ты ж одной ногой на воле, падло, спрячься». И как утром именно его вызвал к себе командир охраны и приказал пойти в уцелевший от пожара отсек барака и переписать оставшихся в живых узбеков. Идти надо было к тем, кто стоял наизготове: резать первого же русского.

– Там находились вконец озверевшие люди... Я распинался перед ними, Том, что-то доказывал. До сих пор не понимаю, как они дали мне выйти оттуда...

Бориса бил озноб. Меня тоже. Как бы хорошо я ни понимала непрерывность для ввергнутого в жуть человека рассказать об этом другому, мне было ясно, как точно Борис рассчитал время для страшной исповеди. С безупречностью точного прибора я отмечала в те мгновения, что теряю и Диму, к которому так стремилась, и Бориса, который по-гэбистски «крошил» ненавистную ему часть моей жизни. Страшная история о бунте уголовников прикрывала нашу с Борисом схватку. Всем, что было дано Богом и генетически завещано, мы бились за жизненно необходимое для каждого. Не пресекая этот хлещущий отчаянием и недобрый умыслом поток, я проигрывала битву. Пресечь означало для меня тогда предать всё, чем мы были связаны не только с Борисом, но и с Димой, с Александром Осиповичем, с Хеллой, с Колюшкой.

Подспудно мозг ещё кидался из стороны в сторону, пытаюсь сообразить, где находится район, в котором мы с Димой поселились. Я помнила номер трамвая, на котором приехала, название остановки и дом напротив нее. Транспорт, понятно, уже не ходил. Было около трёх часов ночи. Я окаменело дослушивала нечеловеческую историю.

– Всё рассказанное тобой – ужас, жуть... Сейчас, Бога ради, оставь меня, иди к Ма, – попросила я пощады.

В половине шестого утра, перед тем, как пойти к первому трамваю, я лишь на минуту вышла из комнаты. Вернувшись, увидела на столе исписанный почерком Бориса лист бумаги. Я могла бы присягнуть, что до той минуты его там не было. «...Ты просишь, чтобы я сразу приехал к тебе, дорогой мой человек? Так и намерен сделать. Только несколько дней побуду с Ма. Спасибо тебе за всё. Откликаюсь на твою любовь и нежность. Всё у нас с тобой сложится самым прекрасным образом. Уверен в этом. Ни в чём не сомневайся. Жди меня...» Нетрудно было догадаться, что это обращено к дочери Норы

Борисовны – Вере. Она приезжала в Микунь к матери, освободившейся из лагеря, и Борис писал её портрет.

Ход? Такой нечистый? У-у, как жгуче он стеганул по душе. Сорвав с вешалки пальто, я со всех ног бросилась к входной двери... Дорогу мне преградила Александра Фёдоровна:

– Что происходит, Томочка? Пожалей меня. Объясни. Борюнька не в себе... Ему без тебя нет жизни. И ты сама не своя. Мне страшно за вас обоих.

Я выбежала за дверь. Она за мной. И уже там, на лестнице, из меня, более всего желавшей оберечь приютившую меня Ма, вырвалось самое из всего беспощадное, хоть и не полное, но выявляющее что-то близкое к сути:

– Я не смогла полюбить Борю, Александра Фёдоровна. Не смогла. Мы с ним связаны. Он друг, но я деревенею, когда он прикасается ко мне. Ничего не могу с собой поделать. Он не разрешал вам говорить, но я вышла замуж. Простите меня – вы. Я перед вами виновата больше, чем перед ним. Простите, если только сможете...

...На секунду я задержалась, ожидая упреков, гнева... И, готовая бежать вниз, как вкопанная остановилась, услышав нечто неподвижное:

– Боже мой! Так же, как у меня с его отцом? Днём душа в душу, а подходил вечер – я стыла.

– Александра Фёдоровна, простите меня...

– Простить? Не знаю. Не сейчас, – спохватилась она. – Ты делаешь моего сына несчастным. Не пиши мне. Если сумею, напишу тебе сама... Только не убегай *так*. Попрошайся с Борюнькой. Он плачет...

Перескакивая через две-три ступени, я убежала сломя голову... Убежала по безлюдному горбу переулка, в противоположную от трамвайной остановки сторону, чтобы сбить с пути Бориса, если он бросится вслед. Не могла его видеть. Ведь его оперативному житейскому «не ты, так она» в этом неврастеническом хаосе место было запланировано загодя.

Я слышала, как, все-таки нагоняя меня, Борис кричал: «Стой! Стой!» И не приведи Господь ему тогда нагнать меня, как не дай Бог мне остановиться!..

Я забежала в какой-то двор. Из него – в следующий. Сообразила: проходной. И, выбившись из сил, заскочив внутрь частично разобранный поленницы, упала на землю...

...Гул его бега... Заминка... Затем долгое тупое *ничто*... Тишь... Конец безобразию...

По незнакомым улицам я в конце концов выбралась к трамвайной остановке.

На звонок Дима тут же открыл дверь. У него вырвалось испуганное:

– Что с тобой? На тебе лица нет.

И я поверила этому возгласу: он понял, во что мне обошлась эта половина суток.

Для того чтобы сердце водворилось на положенное место, мне надо было на пару секунд прилечь, но я уже собирала остатки сил, чтобы скорее снять с Димы муку и боль, которые ему причинила. Я знала, какие ему нужны и какие сейчас скажу слова. Только ещё один, второй вдох...

Надо было много лет знать Диму, многое с ним пройти, чтобы содрогнуться в следующее мгновение, когда он не заплакал, нет, а – зарыдал. Сквозь эти мужские рыдания, которым я никогда прежде не была свидетелем, прорывался один вопрос:

– Что я теперь буду делать?

Я опоздала на доли секунды! Не успела! Он простался со мной. И все-таки я просила простить меня за то, что заставила его страдать, за то, что, попав в водоворот чужой боли, передержала все сроки его терпения; что, не сориентировавшись, в каком конце Москвы мы сняли комнату, не знала, как добраться ночью до дома, а телефона здесь нет... Просила его успокоиться... Безуспешно. Не сумела даже заставить его слышать, что говорю. Ни нежность, ни предельная открытость до него не доходили. Пыталась что-то ещё удержать, вернуть:

– Ты – родной! Мы вместе. Вдвоём. Я только тебя и люблю.

Не соскользнула только к униженному: «Чиста перед тобой!»

Диму выбрало моё измученное сердце. Он – близкий человек. Он должен был чувствовать всё это сам. Обязан был верить мне.

Что-то во мне, уже опустошённой, посторонние усмехнулись, когда он неожиданно выговорил:

– Ты раздета. У тебя нет обуви... Как ты будешь без меня?

«О-о! Что-то обо мне? Не померещилось ли? Замечены стоптанные туфли? Но при чем же тут, Боже, они?»

Отныне я не имела представления о том, что произойдет через час, к вечеру, завтра. Ждала, что в любую минуту он может собраться и уехать. Но ни о чём больше не заговаривала.

Дима справился с собой. С какого-то момента обрёл внешнее равновесие. Но что-то в нём наглухо защёлкнулось. Во многом уже – навсегда.

Я сокрушила его. Он – меня.

– Во сколько пойдём на биржу? – спросил он на следующее утро.

На бирже, в атмосфере той же деловитой оборотистости, я чувствовала себя нынче увереннее, не в пример прошлогоднему посещению. Все нужные документы – трудовая книжка, репертуарный лист, фотографии в ролях – были на руках. К концу третьего дня я имела уже несколько предложений в театры, правда, без обещания жилья. Уповать на него в те годы могли актёры, имевшие звания «народных», «заслуженных», или в городах, где власти благоволили к театру.

Я не смогла бы объяснить, почему мне хотелось попасть в Приволжье. Но когда главреж Русского драматического театра города Чебоксары Е. А. Токмаков вместе с приглашённой туда на работу ленинградским режиссёром Н. Н. Гороховской подошли ко мне, мы с Димой остановили свой выбор на этом городе. Театр имел ранг второго пояса. В городе была филармония, где для Димы могла найтись работа.

Чтобы исключить все недоразумения, мы сразу поставили обоих режиссёров в известность о наших «обстоятельствах» и были немало удивлены их спокойной реакцией. Однако, побывав «на поруках» у шадринского директора, я осмотрительно заявила, что окончательно мы согласимся только тогда, когда личное на то согласие даст директор. На следующий же день нас заверили, что в телефонном разговоре на приглашение дано добро. Я подписала договор.

Случилось и наше с Димой примирение. Без объяснений. Без слов.

Выйдя замуж, моя сестра Валечка жила теперь в Москве. Адрес я знала по переписке. Не без труда разыскала ее жильё возле Окружной дороги, недалеко от Измайловского парка. Дом находился на территории лесопильного завода, где работал свёкор сестры. Семья была большая: родители Валечкиного мужа Аркадия, три его брата, их жены, дети.

Михаил Михайлович, Валин свёкор, был потомственным рабочим, из тех, которые имели примерно такое разумение: государству положено спрашивать с человека рабочее усердие, а его святое дело это доверие оправдывать.

Свекровь сестры, Мария Александровна, была учительницей начальной школы. Такая же труженица, как и муж, она следила за успеваемостью всех своих внуков и внучек, строго спрашивала с них выполнение домашних заданий, смотрела, чтобы они были вовремя накормлены.

Квартира состояла из большой комнаты, где семья обедала, где Мария Александровна проверяла стопы ученических тетрадей, и пары каморок-спален для двух братьев с семьями (третий жил отдельно). Дощатый дом зимой промерзал настолько, что на стене, возле кровати родившегося у Вали сына Серёжечки, образовывалась наледь и проступал снег.

Бедность являлась логическим продолжением честности и скромности этой семьи. Даже меня, проведшую годы за проволокой, сразила заводская душевая, в которую повела меня сестра. На полу там булькало озерцо грязной воды, через которое была перекинута скользкая доска. Проржавевшие изнутри стояки сотрясались, когда воде с урчанием и напором удавалось пробиться к головкам душевых установок. Сестра невесело ориентировала меня:

– Ой, не становись на эту доску, поскользнёшься. И ты, и я ноги переломаем.

После ленинградской блокады, мытарств по детским домам и заводским общежитиям сестра обрела в этой семье уют и какой-то род защиты. Нежность, ласковое слово здесь были не в ходу. Но несмотря на строгий нрав дома любовь к Аркадию и его к ней согревала её душу. Свекровь она называла мамой, свёкра – отцом, но постоянная напряжённость сестры выдавала боязнь в чём-то оплошать.

При моих попытках завести разговор о нашем прошлом, о нашем доме Валечка мгновенно закрывалась. Арест отца, мой арест, война, блокада, голод, смерть мамы и сестры стёрли воспоминания о её промелькнувшем детстве. И сама она отгораживалась от бывшей жизни:

– Ой, Тамуся, ничего не помню. Ничего не знаю... Не хочу ничего вспоминать.

Я сидела возле сестры, смотрела, как она играет с годовалым малышом Серёжечкой, как он улыбкой во всю ширь беззубого ротика поощряет её усердие доставить ему удовольствие, и еле сдерживала слёзы.

– Ты так и не нашла сына? – спросила сестра.

– Не нашла, Валечка. Пишу во все города, всем знакомым, какие только есть. Безрезультатно.

– Мне тогда так не понравился твой Филипп. Как ты могла? Ты же у меня такая умная...

Я помнила нашу семью – семьёй, помнила детские огорчения и шалости сестёр. А в Валиной памяти смерть мамы и младшей, Реночки, оставалась как катастрофа. Я поняла и приняла её: «Ничего не помню. Ничего не знаю. Ничего не хочу вспоминать».

– А сейчас что? – поинтересовалась сестра.
– Сейчас? Сейчас я вышла замуж, – успокоила я её.
– Что он за человек?
– Он очень хороший человек.
– Как его звать?
– Дмитрий Фемистоклевич.
– И отчества такого не выговорить. Давно ты с ним познакомилась?
– Давно. Десять лет назад. Вместе прошли лагерь. Хочу тебя познакомить с ним. Он сейчас в Москве.
– К себе я вас пригласить не могу.
– Понимаю. Но ты можешь приехать к нам. Мы сняли комнату.
– Некогда мне. Потом как-нибудь, – отвела разговор сестра. – И театр этот твой...

Сестре, отвоёвывавшей жизнь после детдома на строительстве газопровода, было трудно признать службу в театре чем-то серьёзным. Как на ветру, из стороны в сторону металась между нами любовь и привязанность, но и в 1954 году я со своей лагерной биографией оставалась для сестры осложняющим моментом. И это многое определяло.

Едва мы приехали в Чебоксары, как тут же главреж признался, что ничего о наших анкетных данных директору по телефону не сообщил. Это было равносильно удару. Чебоксары – столичный город Чувашии. Вот директор и скажет: «Только таких нам здесь и не доставало...» А переезд в другое место мы и денежно не осилили бы. Я была в смятении.

К директору вызвали сразу.

За столом скромного кабинета сидел в белой рубашке апаш на удивление приветливый, с добрым лицом человек лет сорока. Тут же поднялся навстречу:

– Ну, дайте, дайте на вас посмотреть. Уж столько о вас восторгов слышал, сгорал от нетерпения.

Скованная страхом, я заторопилась:

– Вам главного обо мне не сказали. Я... сидела по 58-й статье!

И чуваш-директор без паузы, словно ответно – ракеткой по мячу, отбил опасное признание вопросом:

– А тех, кто сажал вас, ещё не засудили?

В 1954–1955 годах для официального лица такой текст – нонсенс! Недавние события в головах людей эдаким образом ещё не укладывались. Потому вспыхнувшее в то мгновение благодарное чувство к

директору, Николаю Алексеевичу Элле, я верно несу через всю мою жизнь.

Приказ о зачислении в труппу был тут же подписан. Окрылённая, я неслась по коридору к Диме:

– Остаёмся!!! Остаёмся!!!

...Удачно всё сложилось и у Димы. После Баку он и не мечтал уже работать с профессиональными музыкантами и певцами, а здесь это свершилось само собой. Впервые после освобождения он был принят на работу концертмейстером в республиканскую филармонию. Как всегда и везде, его тут быстро оценили, полюбили, вознесли, называли: «наше чудо».

Посмотрев спектакль русской труппы прошлого сезона – «Вей, ветерок» Яна Райниса, – я поняла, что попала в театр «благородных кровей». Поэтичная, слаженная постановка, декорации, музыкальное оформление, актёрский состав (особенно Тамара Павлова и Анна Григорова) пленили.

Непререкаемым авторитетом в театре был главный режиссёр, Евгений Алексеевич Токмаков. Думаю, ему было лет шестьдесят пять. Выпестованный школой МХАТа, он на равных с художественными требованиями предъявлял к труппе и этический счёт.

Похоже, он намеренно пригласил очередным режиссёром ленинградку Нину Николаевну Гороховскую. Её творческий почерк никак не совпадал с его мхатовским академизмом. Но он с любопытством следил за её репетициями, а она безбоязненно вступала с ним в спор и властно требовала от «своих» актёров выполнения установленного ею рисунка ролей и выверенных на репетициях мизансцен.

Был в театре и третий режиссёр, Михаил Иванович Дагмаров, «пустительский» метод работы которого входил в полное противоречие с установками обоих. Где-то к десятой–двенадцатой репетиции он мог сказать: «Повалайте-ка дурака сами. Порепетируйте без меня, чтобы изгнать академический холодок из этой комедии». Брошенные им, мы пробовали домыслить что-то по отдельности, похулиганить. Затем он появлялся, кое-что менял в наших импровизациях, и спектакль получался на диво живым. «Доверяйте себе так, как я доверяю Вам, дорогая сороконожка. И не задумывайтесь, на какую из своих сорока ног ступать прежде», – написал он мне на одной из премьерных программ.

Основательность Русского драмтеатра была так неоспоримо привлекательна, что актёры стремились задержаться здесь на длительный срок. И действительно оставались на десятилетия, а часто и на

всю жизнь. Слаженный актёрский коллектив мог смело говорить о сложившихся традициях.

На театральных собраниях здесь отношений с дирекцией не выясняли, а спокойно и заинтересованно обсуждали насущные проблемы, репертуар, план гастролей. Болезненно-остервенелый дух собраний, на которых, отстаивая уважение к себе, актёры в уральском Шадринске рвали душу, был тут вообще непредставим.

Стоит сказать, что здание театра для русской и чувашской трупп было одно. Как раз в тот год из Москвы в Чебоксары вернулся курс чувашских актёров, окончивших ГИТИС. Эта могучая ветвь молодых, театрально образованных людей и составила костяк труппы. Существовали мы дружно, миролюбиво. С интересом смотрели спектакли друг друга и по репертуару национальной труппы оказались осведомлёнными и в истории чувашского народа, и в его фольклоре.

В русской труппе было пруд пруди молодых героинь, хороших актрис – и, удивительное дело, для всех находились роли, все оказывались занятыми в спектаклях.

Первой ролью, которую я получила по приезду в Чебоксары, была сверхположительная инженерю Галя в пьесе Минко «Не называя фамилий» – смелой по тем временам сатирической комедии. Постановщик – Нина Николаевна Гороховская. Выйдя на сцену в этой роли, я не предполагала, что зал может смолкнуть в желании понять, что собой представляет новое появившееся в театре лицо. Какие-то секунды я без текста отыгрывала ситуацию, когда человек приходит в чужой дом, а там никого нет. И едва произнесла первую застенчивую реплику, как зал дружно заплодировал. Так, с ходу и ни за что, я была принята зрителями города на Волге. Ответно полюбила русскую и чувашскую труппы драмтеатра, город и чебоксарцев.

Нашего прошлого здесь никто не просил замалчивать. Но оно само расправлялось со мной без всяких правил. Тоска по сыну приняла в Чебоксарах маниакальную форму. Схожую с той, которая измучивала меня во время ленинградской блокады при разрыве связи с мамой и сестрами. Тогда мне всюду виделась одна Валечка (даже в обличье мальчиков) и никогда – мама или Реночка. Здесь мне повсюду и во всех виделся сын.

Я выходила на берег широкой, раздольной Волги, по которой в одну сторону тащились баржи, гружённые дровами, налитые нефтью, а в другую везли астраханские арбузы, прочую снедь. Пахло водой, рыбой, кожей, Историей. Всё на реке было голосистым, протяжным, ошалевшим и отлаженным. Там легко дышалось. Это влекло.

К пристани причаливали пассажирские пароходы. Меня лихорадило. В каждой семье с ребёнком, сходявшей на пристань, мне мерещился сын: «Это они. Возвращаются из отпуска. С ними Юра». Не ведая, что предприму, я ускоряла шаг, подбегала. Люди оказывались – незнакомыми.

Ночами гудки плывущих по реке пароходов озвучивали оторванность и тоску по сыну. Позже, когда нас переселили на частную квартиру, возвращаясь с выездных спектаклей далеко за полночь, я упрямо направлялась не к дому, а к вахте театра – узнать, нет ли для меня письма из адресного бюро какого-нибудь города с вестью о семье, скрывшейся с моим сыном.

Набрести на их следы не удавалось. Безуспешность поисков сводила с ума. Наличие этой чёрной дыры пожирало смысл событий, чувств, слов и даже творческих устремлений. Любая мысль о будущем упиралась в тупик: «Тогда, когда найду сына». Подлинная жизнь должна была начаться только с той минуты.

Может, было бы чуть полегче, если бы у нас было собственное жильё вместо меняющихся комнатух в здании театра и череды частных углов. Меня терзала душевная потерянная, подрывало и отчуждение Димы.

Возвращение в профессию, восторженное признание и успех вернули Диме его прежнюю самодостаточность. Я радовалась и гордилась им. Но недоумевала: как можно меня не любить, если я предана ему и всё вижу совместным? В каком-то испуге, неумно и бестолково, я пыталась вернуть хоть что-то из нашего прежнего. Уходя на спектакль, оставляла ему записки вроде: «...Знаешь, Дим, впервые в жизни я столкнулась с трудностью постижения души другого человека. Прежде мне это без труда давалось. Откуда взялась такая напряжённость между нами, двумя людьми, которым не в чем упрекнуть друг друга, когда речь идет о человеческой порядочности, долге?.. Тебе не кажется, что ты слишком экономен и скуп, расходуя себя? Профессиональный навык беречь силы для концертов и работы? Работа, своевременный отдых, сон – это всё? Так закопать себя в режим, так беречь себя, так не хотеть больше узнавать ни себя, ни жизнь! И это – после нашего “взаперти”!.. Возьми мои силы. Возьми их и – трать, Дим. Мне некуда их деть. Распоряжайся ими. Только – бери, ради Бога. Нам их с лихвой достанет на двоих». Но ничего не менялось.

Не так давно, рассматривая любительские фотографии чебоксарской поры, я с удивлением обнаружила, что мы с Димой на них всегда рядом. Выглядим улыбчивыми и беззаботными в компании актёров.

Возможно ли, чтобы внешне это смотрелось так, если память хранит страдание и недоумение?

У Димы был отпуск. Он поехал со мной на гастроли в Кинешму. Мы плыли вместе по Волге на комфортабельном пароходе. После одной из стоянок ко мне подошёл наш молодой актёр Володя Кадочников:

– Знаете, что я сейчас проделал? Шаг в шаг шёл по берегу за Дмитрием Фемистоклеви́чем, выучивая походку вашего сиятельно-обаятельного супруга. За первый урок поставил себе четверку с минусом. На большее не потянул.

Девяностопятилетняя одесситка Зайка огорчалась, когда я приезжала одна:

– Что ж ты без своего Димочки? Таких сияющих глаз никому больше не отпущено.

Таким его видели окружающие. Таким его знала и я. Только такой «мой» куда-то подевался.

Было свежо. Пассажиры прятались по каютам. На палубе, на носу парохода я стояла одна. Смотрела, как учащались повороты Волги, как она в некоторых местах сужалась. Едва стало темнеть, на береговых склонах появились бакенщики с фонарями. Чередой, один за другим, зажглись бакены. Всей мерой безнадёжности я знала, что Дима не обеспокоится ни моим отсутствием, ни тем, чтобы принести мне что-то накинуть на себя. Проявлениями житейского внимания он не баловал, оно как-то исключалось из отношений. «Чего же я всё-таки в Диме не поняла и недопонимаю сейчас? Что-то, наверное, не дослушала в его рассказах о себе». Он нередко вспоминал своё детство, проведенное в Греции, затем под Майкопом, куда семья переехала в начале тридцатых. Его рассказы о матери и братьях были теплы. О земле, на которой отец выращивал табак, он говорил: «У нас была плантация». Определение куска земли словом «плантация» чем-то трогало... Он, видимо, никому не верит из-за того, что жена в Баку, не дождавшись его освобождения, вышла замуж? Или я своим московским «ослушанием» нанесла непоправимый удар по его эллинским представлениям о роли жены в семье?

Записок я Диме больше не писала. А когда, не сдержавшись, заметила: «Ты будто не знаешь, что такое забота, ласковое слово», ответ его поразил: «Мне кажется, я всё время о тебе забочусь и всё время говорю тебе нежные слова».

В Нижнем Новгороде пароход имел длительную остановку. Нина Николаевна Гороховская с мужем (во многих спектаклях он был моим партнёром) пригласили нас с Димой пообедать. Из широких окон ре-

сторана была видна Волга, поймы, дали. И, глядя на этот простор, муж Гороховской тихо произнес:

– Вот мы и урвали кусочек жизни.

– А вы? Разделяете это чувство? – нагнулась ко мне Нина Николаевна. – Давно хочу вас спросить: такое впечатление, будто вы извиняетесь за то, что живёте, – верно?

Ответом на осторожные и чуткие высказывания окружающих всегда была боль. Мы сами ещё уточняли, что с нами произошло и что происходит.

Как-то в одной из наших бесед с Ольгой на моё восклицание: «Какое счастье, что Александр Осипович вернулся!» – она, передержав паузу, кратко и горько резюмировала: «Слишком поздно». По тому, каким замкнутым становилось иногда Олино лицо, как тщательно скрывал страдание Александр Осипович, я и без разъяснений видела, насколько поздно.

Если бы те, кто выдирал из человеческих жизней первородно присвоенное им время, были в состоянии уразуметь, что творили с целостностью существования отдельного человека и с целостностью Бытия! Людям нашей судьбы достались трудные, странные драмы, не вписывающиеся в общий реестр. От нас требовался талант ювелира в состыковке осколков. На такой труд уходят десятилетия, а мы были повышенно смертны. Жаждали удвоенного, утроенного к себе внимания сегодня и сейчас. Как говорил один человек: «Тут и Шуберту нечего вам сказать».

На десятилетия отринутые от семейного уклада, мы чувствовали себя одинокими. Так и получалось, что «одинокие» жались друг к другу. Хелла неделями гостила у Александра Осиповича в Весёлом Куте. Наведывались к нему и другие друзья. Ездил я. Оля давно уже поняла, что мы – серьёзная часть жизни её мужа. С этим трудно было мириться. Она терпела, разрывалась между работой, обязательствами перед матерью, больной сестрой и Александром Осиповичем.

После одной из поездок в Весёлый Кут я не сразу уведомила Александра Осиповича, что благополучно добралась до дому. Мера его тревоги по этому поводу и то, что он разрешил себе нестеснённо тем поделиться, многое открывала про всех нас: «Ну как это могло случиться, – упрекал он меня в письме, – что ты меня почти погубила? Я стал выяснять, не было ли несчастных случаев на линии... прочее домыслил. Никогда в жизни я так не мучился. А много разного, как знаешь, было. Пишу это, чтобы ты поняла, что ты такое для меня, и чтобы впредь не была такой жестокосердной. Сегодня принесли твою от-

крытку. Я только взглянул на дату отправления, не читая, отложил её на стол, разревался. Это со мной первый раз в жизни. Никак себе не представлял, что могу так. А потом прочитал твои святые, солнечные строки. Вот она, твоя открытка, которой ты меня воскресила. Расскажу когда-нибудь об этой страшной неделе. Господи, как ты мне дорога... Когда-нибудь и сын твой поймёт (можно это “и”?), какой у тебя друг...»

Как преотлично я сознавала, что мера его тревоги по всем Божьим законам предназначалась не мне, а Оле. Она переадресовывалась мне из-за непомерности отчаяния, которым он мог испугать жену. Для нас же только такой градус проникновения в жизнь другого мог что-то выразить и что-то утолить. На путях к самым близким людям мы оказывались беспомощными, увязая в грехах самолюбия. Оно одно помогало нам сохранять хоть какое-то подобие внешней формы. Мне ведь тоже легче было доверить своё взвинченное и больное Александру Осиповичу, чем взять и спросить у Димы: «Ты больше меня не любишь? Да?»

В том же Весёлом Куте я поняла и большее: внутри выработанного нами языка существовала строго выверенная мера.

Во время одного из визитов к Александру Осиповичу, когда уже вечерело, в его унылую комнату хозяйка внесла зажжённую керосиновую лампу, поставила на стол тарелки с ужином и ушла. Гидя напротив меня, вместо того чтобы приступить к еде, Александр Осипович протянул через стол руку и коснулся моей щеки. Слишком щемящим и непривычным был жест старого Учителя. Я как-то панически испугалась его. Испуг тут же сменился стыдом, и теперь разрыдалась я. Так случается, когда, ещё не поняв, что произошло, знаешь, что к этому привело. Это была ещё неизвестная мне стадия кромешной одиночества Александра Осиповича.

Улавливая все оттенки реакции, проникшись моим смятением, Александр Осипович написал мне вслед: «Ты знаешь, как чужд мне всякий ригоризм (он всегда вымучен и ограничителен), и когда я отвечал тебе на одно из писем о завоёванном праве на безупречность, под самой этой безупречностью я подразумевал то, что существует на стыке морального и творческого, где – предел и беспредельность. Это наше с тобой чудо, наша Вечность и наше бессмертие, наше всё покоряющее “вместе”. Потому и умирать не страшно, и потому же не хочется умирать...»

Кто наделяет людей такого рода зрением, когда можешь провидеть и знать друг в друге едва постижимую глубину духовных мотивов?

В чебоксарском театре я оказалась плотно связанной в репертуар. Получала самые разнообразные роли: Елены в «Женитьбе Белугина» Островского и Соловьёва, доньи Инесы в «Живом портрете» испанского драматурга Морето, Ружены в «Ста миллионах» Балабана и Собко, Аси в «Опасном спутнике» Салынского, советской разведчицы Садовниковой в «Двойной игре» Бахтерева и Разумовского и т. д.

На городских щитах, в витринах магазинов и аптек наряду с другими актёрскими портретами вывешивались и мои фотографии в ролях. Для актёров это было рядовым фактом, а я всё ещё внутренне оглядывалась: «Неужто за это никого не накажут? Кому-то ведь за меня непременно попадёт». Авторы газетных рецензий не скупилась на эпитеты и похвалу. О спектакле «Двойная игра» писали: «Артистка Т. Петкевич играет настолько естественно, что никому из зрителей вначале и в голову не приходит, что под личиной истерической, напуганной немки скрывается разведчица, умный, наблюдательный, по-настоящему храбрый человек». Некоторые роли отмечались в рецензиях как удаchi театрального сезона. Доставало и поклонников.

В конце первого сезона работы в Чебоксарах мы, кажется, даже не обсуждали с Димой, оставаться там на следующий год или нет. Работа устраивала обоих. Проблемой оставалось жильё. Мы устали от частных углов. Но такими же бесприютными в театре были и другие семейные пары.

Из Чебоксар уезжал режиссёр М. И. Дагмаров. Его пригласили в Якутск на должность главрежа. Твёрдо обещая «выбить» нам квартиру и высокие оклады, он уговаривал нас с Димой уехать с ним. Но слишком уж далеко отстояла Якутия, и слишком суров был её климат. Присылая нам фотографии берегов реки Лены, по которой они с женой плыли на пароходе, Дагмаров продолжал соблазнять нас красотами природы и спрашивал: «Может, всё-таки надумаете?..»

Покорившись судьбе пребывать в меблированных комнатах, мы в очередной раз отправились смотреть «угол», который для нас подыскала администрация театра. На стене комнаты висел портрет милой, с очень добрым лицом, женщины. «Кто это?» – спросила я у хозяина. Шестидесятилетний человек засмушался, как юноша, и извиняющимся тоном стал объяснять: «Это моя мать. На ней, знаете, была шляпа, фотограф предложил шляпу снять, поэтому у неё здесь причёска не совсем в порядке. А так она была очень красивая». Выслушав такой комментарий к портрету матери, мы сказали, что оставляем этот адрес за собой.

Спасение по-прежнему виделось в творчестве. Иногда увлекала драматургия, иногда удачно выписанная роль, неизменной выручкой бывали чьи-то актёрские удачи и общий уровень профессионально грамотных спектаклей. Редко, однако, кто из режиссёров загорался настолько, чтобы постановка решала какую-то высокохудожественную задачу. Одержимости, сумасшедшинки – не хватало. Подножкой оставалась и необходимость играть в параллельных и «триллельных» спектаклях. Во всяком случае, мне так и не пришлось пережить сценического волшебства, которое случилось на Севере в работе с Александром Осиповичем. Александр Осипович оставался для меня единственным, непревзойдённым режиссёром, открывшим мне театр и то, что я – актриса.

Теперь жизнь будто говорила: «Иди, пошатайся по окрестностям, погляди на всё, что творю я и что творят со мной». И я заслонялась от ощущения неполноты существования книгами, тем, что улавливало боковое зрение в отношениях с актёрами, тем, что происходило в обыденной жизни.

Одна из актрис сетовала на то, что, рано проснувшись, её двенадцатилетняя дочь высунулась по пояс в форточку и, не увидев знамён в честь дня рождения Сталина, бросилась на кровать с исступлённым криком: «Всех ненавижу, никого не люблю!» Актёры Западины рассказывали историю про своего десятилетнего сынишку. Он ничего не делал без их разрешения и как-то раз спросил, можно ли ему купить пенал на деньги, полученные в школе за сбор железного лома. Родители дружно закивали: «Конечно, сынок! Пенал – нужная для учёбы вещь». Зимой, когда похолодало, решили вытащить буржуйку. Долго искали. Спросили у сына:

– Мишутка! Не помнишь, куда мы задевали буржуйку?

Русоголовый Миша с укоризной посмотрел на несмышлёных родителей:

– Ну а на какие же деньги я пенал купил?

Все знали, что «Клубничка», дочка Иры Николаевской и Бори Савича, конфеты любит заедать солёными огурцами, спит только выпростав из-под одеяла ножки; намерена быть врачом, но петь и танцевать собирается тоже.

Было интересно наблюдать, как подрастали актёрские дети. В обстоятельствах дома родители были для них своими, а преображённые костюмами, париками и невообразимыми текстами ролей – мало знакомыми. Эти дети сызмальства принимали жизнь, как игру, а игру – как жизнь.

Интриг, нравственных перекосов чебоксарский театр почти не знал. Только однажды я пережила шок. На главную роль в самой кассовой пьесе сезона были назначены две ненавидевшие друг друга актрисы. За одной из них ухаживал известный в городе высокий военный чин. Другая также не прочь была выйти за него замуж. Я стояла в кулисах, ожидая своего выхода на сцену, когда соперница из второго состава с оглядкой прокралась к месту, где костюмерша вывесила платье для исполнительницы главной роли (та доигрывала сцену и должна была, быстро выбежав, переодеться). Молниеносно, чик-чик-чик, дублёрша бритвой срезала с этого платья все до единой пуговицы. Происходившее на моих глазах было так невероятно, что я не сразу поверила в злой умысел. Увидев, в какой растерянности я наблюдаю за тем, что она вытворяет, актриса убежала. Но едва спектакль закончился, вызвала меня из грим-уборной и стала просить прощения.

– Почему вы просите прощения у меня? – с удивлением спросила я.

– Не перед ней же я буду извиняться! А у вас – прошу, – вывернулась она.

Жарким летом 1955 года, гастролируя по Украине, мы переезжали с места на место на грузовиках с откинутым парусиновым верхом. Я впервые видела такие значительные промышленные города, как Краматорск, Артёмовск, Славянск. Круглосуточный рабочий день размечался здесь мерным звуком вагонеток, сбрасывающих неостывшие массы угольных пород. Ночи освещались огненными терриконами. Люди посменно трудились в шахтах, на сталелитейных заводах. Ритм и картины налаженной индустриальной жизни страны производили необычайной силы впечатление.

Наш «рукопашный» лагерный труд на лесоповалах, на строительстве железных дорог увиделся мне здесь ловко вшитыми потайными карманами в «присутственный» пиджак государства. Спрятанный за этими мощными производствами, «тот» труд был неведом стране. Нас как бы и вовсе не было, а реальная картина – вот, налицо. Всё было просчитано.

Моё шадринское изумление горю людей, прощавшихся с вождем в марте 1953 года, я сочла в то «гастрольное» лето наивным и близоруким.

Привести в какое-то соответствие внутреннюю жизнь с жизнью внешней мне неожиданно помогла американская фотовыставка «Род человеческий». Я попала на неё в Москве, во время отпуска,

осенью 1955 года. На выставку стекалась уйма москвичей и приезжих. Потребовалось несколько часов, чтобы отстоять «хвост».

То, что с конца очереди казалось чем-то невнятно-однообразным, стало возможно рассмотреть по мере приближения к фотостенду, размещённому непосредственно у входа. Это «что-то» было сфотографированным сверху несметным поголовьем «рода человеческого». Перед тем как войти на выставку, надо было смириться с ужасающим чувством похожести людей друг на друга и попробовать найти в этом что-то утешительное.

Концепция выставки уясняла отношения человека с бытием. Государственные и общественные формы не были предметом её интереса. Главным импульсом её организации служило удивление перед самим феноменом Человека.

Первые же фотографии устанавливали миропорядок: ниспосланная людям точка отсчёта – природа! Зачин жизни – любовь. На краю хлебного поля лежит велосипед, дальше, на примятых колосьях, – юноша и девушка. Появление человека на свет. Фотографии детей – белого, чёрного, желтокожего... Их смеющиеся, плачущие, доверчивые, огорчённые лица. Приковывало к месту лицо ребёнка лет четырёх, глаза которого были наполнены не просто страхом, а как минимум – вселенским ужасом. Словно этому незрелому человеческому существу через трещину в мироздании показали нечто более страшное, чем Смерть. Что-то невыразимо страшное, знакомое и тебе.

Впечатление от тиража рода человеческого, надо сказать, оспаривалось индивидуальными чертами лиц людей разных национальностей, разностью пола, возраста и тем, как человек обходится с местом обитания и с самим собой. Люди возделывают землю, выпекают хлеб, добывают руду и золото. Переполненные юнцами школы, аудитории институтов. В костёлах, мечетях, православных церквях – обращённые к Господу лица молящихся людей. После трудового дня люди из кружек пьют пиво, из бокалов – вино. Беседуют, читают газеты, веселятся на праздниках, свадьбах. Пляшут на улицах. Танцуют на балах. В сумерках на тротуаре большого города нищий скрипач выпиливает мелодию (точь-в-точь как в Петрограде в двадцатые годы). Желая увидеть другие страны, люди по трапу поднимаются в самолёт. Жизни! Всюду жизнь! Феномен: люди – творцы.

В конце выставки – человек на смертном одре. Похороны. Рождение, смерть – пределы существования. Но между ними – Время Жизни, наполненное уймой стремлений, потребностей, долгов и обязательств.

Если бы на осмотр выставки не ушла бóльшая половина дня, я бы возвратилась и прошла её ещё и ещё раз. Войдя на неё ещё «человеком в футляре», я вышла заряженная любопытством к земному шару и ко всему роду человеческому.

От обаявшей меня при московской встрече ярости по отношению к Борису не осталось и следа. Он был прав: так много происходило «от уродств тюремщины». Он защищал себя. Потребности видеть его не было, но, размышляя о ролях, о прочитанных книгах, я обращалась к нему мыслью. Тосковала.

Как Александра Фёдоровна обещала: «Напишу сама, когда смогу», – так она и сделала. Поправка по сравнению с прежними её письмами была одна: «ты» она заменила на «Вы». В остальном письмо было дружественным. Она писала, что Борис много путешествовал, пытаясь прийти в себя, что женился, работает и поступил учиться в художественную школу... Имя жены не называлось, но, разумеется, это была «она».

После посещения выставки я позвонила Александре Фёдоровне.

– Откуда вы звоните, Томочка?

Узнав, что я в Москве, она сказала, что отменит поездку к друзьям на дачу и будет ждать меня, хотя уже одета и собиралась выходить из дома.

Пополневшая, успокоенная, Александра Фёдоровна приняла меня сердечнее, чем можно было себе представить. Всмотривалась:

– Что играете? Кто режиссёр? Какие планы?.. А почему потухшие глаза?

Я также расспрашивала её о самочувствии, о том, как она живёт. Спросила:

– Боря счастлив?

– Он спокоен.

Натяжки в ответе не было. Такое определение было, как видно, сформулировано ею не сейчас.

На стене висел Борин автопортрет. Раньше я его не видела. Глаза тоже потухшие. Я, видимо, рассматривала его дольше, чем следовало. Александра Фёдоровна забеспокоилась, заторопилась упрочить сказанное:

– Они очень мирно живут. Она принимает участие во всех его делах и начинаниях. Он отдыхает.

Отвечая на вопрос, где они живут, в каком городе, Александра Фёдоровна заметно передержала паузу:

– В Ярославле.

Заминка означала: совсем не в Ярославле.

Испугавшись, как бы я не захотела напомнить Борису о себе, она стала строже, напряжённее.

– А вы, Томочка, счастливы?

– Да, Александра Фёдоровна. Муж – очень хороший человек.

Можно сказать, что и я отдыхаю.

– Попью чайку?

– Спасибо.

С места, где я сидела, было трудно рассмотреть висевшую на другой стене небольшую акварель. Я поднялась, подошла к ней. Всё тот же сюжет: море, скала, чайки, только без тех двоих с веслом, приписанных когда-то Борисом к моей схеме. Просто означено место, которое поочерёдно, порознь навещают те двое. Акварель оказалась оставленной в старом дупле запиской для меня.

– Это не Бороина работа, – занервничала и заторопилась Александра Фёдоровна. – Это Костя набросал.

Получалось, что она не знала историю сюжета.

– Никогда не надо считаться с мужчинами, – сказала вдруг Александра Фёдоровна. – Надо поступать так, чтобы было хорошо самой.

Я не поняла смысла бросового замечания. Оно было и не из её, и не из моего обихода. Содержало, видно, упрёк. Главной заботой Александры Фёдоровны было – заслонить сына! Глазами, тоном она уговаривала меня: «Не появляйся в его наладившейся жизни. Не нарушай её». И мне отчаянно хотелось успокоить Борину Ма, сказать, что я даже не помышляю об этом и видеть хотела не Бориса, а её.

Мы то разговаривали, то замолкали. Прошлого не касались.

Попрощавшись, я уже спустилась на три марша по лестнице, когда она, стоя на площадке, сложила ладони рупором и, перегнувшись через перила, сказала вдогонку:

– Как нам могло быть хорошо, Томочка...

Я взбежала к ней вверх по ступеням, обняла эту Мать, Женщину, приютившую меня в лютую пору.

– Я люблю вас, Александра Фёдоровна.

– И я тебя люблю, – щедро возвратила она мне отнятое «ты».

И это никого, кроме нас, не касалось.

В Чебоксарах меня ожидал конверт с вызовом в местное отделение МГБ. Мне понадобилось много времени, чтобы принять в себя написанное там: «Явиться к 16 часам».

Бесстрашный, уверенный в себе майор обрисовал «сложности жизни» и завершил:

- Вы должны нам помочь.
- Я вам ничего не должна.
- Здесь вам не театр, – повысил он тут же голос.

Было заверение, данное мне в Москве: «Больше вас никто не потревожит». Была собственная решимость. Я сказала, что есть адрес и фамилия, к кому я буду обращаться. Вызвала раздражение. «Пройдите в комнату восемнадцать», – приказал майор сквозь зубы.

У ведомства были те же повадки, тот же аппетит и тот же арсенал приёмов низведения человека к нулю. В комнате восемнадцать мне намазали на пальцы чёрную мастику, сняли отпечатки – и только после этого подписали пропуск на выход.

От соприкосновения с этим государственным учреждением, от сознания, что ничего человеческого у режима не проклюнулось и ждать этого глупо, как и на Севере, всё снова заволокло мраком.

Потерявшими краски выглядели Волга, жизнь и театр, когда я вышла оттуда.

Дима не был настроен вникать в отработанную тему и в то, насколько меня выбил из колеи этот вызов. В ответ на его неучастие меня погрела депрессия. Такое случалось надолго.

На проходной в театре сказали:

– Вам письмо!

Вдруг о сыне? О сыне, которого по всем законам и меркам я давным-давно должна была найти?..

Нет. Письмо было от Ольги. Она хлопотала о нашем с Димой переезде в Кишинёв. Этим письмом извещала, что дирекция Русского драмтеатра высылает мне приглашение на переговоры

Жаль было мира и доброты города Чебоксары. Жаль было уезжать от Волги. Привольная река страстотерпницей несла повинность: доставлять, перемещать, соединять.

Здесь была серьёзная и славная труппа, хорошие актёры: изысканный Александр Александрович Дуняк, Козоровицкий, Марина Каширская, Анна Григорова. Дивная семья главного художника Е. Е. Бургулова. Была поглощённость работой. Однако ощущения, что я вросла здесь в почву, так и не возникло.

Меня задаривали здесь цветами, записками: «Муза далёкая и близкая, успеха Вам. Ваш чуваш». Я получала письма: «В гриновской “Бегущей по волнам” Вас зовут Биче Сэниэль. Но глубиннее и в сущности своей Вы ближе к Фрэзи Грант. Фрэзи – волнующий и прекрас-

ный призрак; напоминание нам о том, что стоит *над*. Вы для меня и то, и другое». Такие письма приводили к временному равновесию. Но пора быть иждивенкой «прекрасных слов» – отошла.

Главным доводом в пользу того, чтобы жить рядом с Олей, неподалёку от Александра Осиповича, было ощущение их как самых близких людей. Мне до умопомрачения хотелось тепла. Впрочем, принимать решение было ещё рано. Пока меня приглашали только на переговоры.

Ничто не подсказало мне тогда, что сын мой также живёт у Волги, находится совсем недалеко.

Дима из Чебоксар уезжать не хотел. Боялся, что не найдет в Кишинёве равноценную работу. Здесь он был в фаворе. Я отправилась в Кишинёв «на разведку».

Ехать в Молдавию надо было через Москву. Рекламные полотнища возвещали о гастролях в столице Тамбовского театра. Главный режиссёр, как было написано, – В. А. Галицкий. Тот самый, которого два года назад возносил до небес приезжавший в Шадринск актёр Танин. Я, однако, в тот единственный вечер, что оставался до поезда на Кишинёв, взяла билет в театр имени Вахтангова. В те годы там работал удивительный администратор, никогда не отказывавший в пропуске актёрам с периферии.

•

ГЛАВА ПЯТАЯ

Город городу, веси весям и театр театру рознь. Кишинёв середины пятидесятых годов как столица Молдавии не поражал ни размахом градостроительства, ни разнообразием архитектурных стилей. Зелёный, тихий, примечательный большим количеством особняков, домов в два этажа с нивелирующими их со стороны улицы оградами. То, что за этими оградами нельзя было рассмотреть ни садов, ни двориков, говорило о многом. Пяти- и шестизэтажными зданиями государственных учреждений отмечены были только главная улица, центр и вразброс – нижняя часть города. Тем не менее, по сравнению с Шадринском и Чебоксарами кишинёвские интерьеры кафе, парикмахерских с обшитыми деревом стенами, искусно продуманными подсветками, красивыми бра отличались особым уютом.

В России акациями называли невысокие кусты с жестковатыми стручками и жёлтыми цветочками. А в Молдавии ими именовали величественные деревья с тяжёлыми гроздьями белых соцветий. В Ленинграде голуби, присев на оконные карнизы непрошеными гостями, застенчиво ворковали между собой, а здесь они на паритетных началах с транспортом вмешивали в звуки города своё распевное и сытое «гу-гу-ци, гу-гу-ци».

Центральная площадь, где памятник Ленину соседствовал тогда с памятником Стефану Великому, вечерами заполнялась хорошо одетыми людьми в чесучовых костюмах и габардиновых пальто. Жители города совершали променады парами и целыми семьями. Чопорности взаимных приветствий надлежало демонстрировать достоинство клана, личности. О том, что забывать про границы достоинства нельзя, говорило раздражение, с каким молдаванин, вне зависимости от словесия, оглядывал на улице и в транспорте тех, кто его задел, толкнул – и не извинился. Правда, наводнившие к концу 1955 года Кишинёв приезжие из других республик заметно подорвали несколько надутый нрав коренного населения.

Разместившийся в центре города рынок с толковой планировкой демонстрировал торговый бум. Столпотворение телег, на которых из деревень привозились овечьи сыры, мясо, фрукты, бочки с вином, оре-

хи, фаршированные баклажаны и перцы, сообщало Кишинёву домашнее простодушие и свидетельствовало о незыблемой устойчивости традиций. А особенности национальной одежды – каракулевые шапки на крестьянах, расшитые цветными узорами жилеты на женщинах – придавали рынку ярмарочную живость.

Встреча с директором Русского драматического театра К. М. Дружининым и главным режиссёром Е. В. Венгре прошла результативно. Недолго посоветовавшись, они сказали:

– Вы нам нужны. Приглашаем вас в труппу. Сезон открывается через неделю спектаклем Чехова «Дядя Ваня». Вам придется заменить актрису, игравшую роль Сони. Что касается жилья, пока поселим вас с мужем в театре, а первая освободившаяся комната в театральном общежитии будет ваша.

С иллюзией свободного выбора я склонялась к тому, чтобы в Чебоксары не возвращаться. Такая же свобода предоставлялась и Диме. Мы с ним не были зарегистрированы. Решать должно было таинственное и горьковатое «любит – не любит». Звонить Диме я шла с отягощённым этими раздумьями сердцем. Сдержанно отозвавшись о городе, сказала, что в Кишинёве есть музыкальное училище, консерватория и филармония. Попросила его написать от моего имени заявление об уходе из театра и забрать мою трудовую книжку.

– Значит, я увольняюсь? Постараюсь оформить всё как можно быстрее, – сказал он.

На следующий день, однако, срочной телеграммой вызвал меня на переговорный пункт:

– Тебя ни в какую не отпускают. Министр культуры твёрдо обещает нам комнату и тебе – звание «заслуженной», только, мол, пусть останется. Давай обдумаем всё ещё и ещё раз.

Обещание комнаты было существенным, но обидно запоздалым. Звание «заслуженной» – незаслуженным. Карьерные притязания надо мной не довели. Я ответила: «Нет. Уже всё».

Оля подселила меня в гостиничный номер, который для неё снимала студия «Молдова-фильм». Общий быт и полная открытость друг другу сблизили нас ещё больше.

Через две недели Дима приехал в Кишинёв. Недели через полторы был уже устроен на работу и в консерваторию – концертмейстером на факультет вокала, и в музыкальное училище.

Оттаявший, воодушевленный тем, что оказался угоден и там, и тут, признался, что город его очаровал. Да и я чувствовала себя здесь



1955 год. Кишинёв



Борис Маевский.
1951 год



С. А. Ф. Маевской

Борис Маевский
после
освобождения



Актер Андрей Рыбаков



Евлалия.
«Невольницы»

Ружена. «Сто миллионов»



Садовникова. «Двойная игра»



Ксения.
«Сонет
Петрарки»



Мария
Ульянова.
«Семья»



Ксения.
«Друзья остаются друзьями»



Елена.
«Женитьба Белугина»



Участники спектакля
«Сто миллионов». Чебоксары



Участники спектакля
«Дети солнца». Кишинёв



С Дмитрием Фемистоклевичем Караяниди



Зоя. «Свадебное путешествие»



Вера – Т. Петкевич,
Марфинька – Н. Каменева. «Обрыв»



После спектакля «Грач – птица весенняя»



Елена. «Дети солнца»



С А.В. Снегиным.
«Дети солнца»



Сестра Валечка



Племянники Сергей и Андрей



Мои внуки
Алексей и Андрей



С О.П. Тарасовой



Хелла Фришер



К. Е. Тверовская
с внучкой Женей



Сын



1958 год



1959 год



Дмитрий
Фемистоклевич



О. П. Улицкая



С Н. В. Гернет в Одессе



1960 год

куда раскрепощённое, чем где бы то ни было раньше. В общем, южанину Диме и северянке мне Кишинёв пришёлся по душе.

Русский драматический театр размещался в перестроенной под него бывшей синагоге. Под «квартиру» нам отвели две крохотные комнатки в сумрачном и холодном подвале со стенами в полметра толщиной. Что-то я драпировала, маскировала, расставляла принесённые с рынка цветы в желании победить мрак подземелья. Но здесь ведь стоило подняться на три ступени вверх, толкнуть дверь – и ты оказывался на юге.

Ввод в уже готовый спектакль был не лучшим началом для работы в новом театре. Занятые в «Дяде Ване» актёры говорили:

– Конечно же, вы не Соня, а Елена Андреевна.

И роль Сони действительно ускользала от меня. Мне был не совсем понятен секрет упорядоченных натур. Какой ценой ей удаётся без ропота покоряться безрадостности, смириться с безответной любовью к доктору? Что-то важное заключалось в её исступлённом обращении к отцу: «Надо быть милосердным, папа...» Из чистого любопытства – не к пьесе, а к постановщику спектакля – я спросила:

– Соня так самозабвенно верит в Бога? Или жертвенно сочиняет для дяди Вани иную реальность, когда говорит в финале: «...и там за гробом... Бог сжалится над нами, и мы с тобою, дядя, милый дядя, увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную... и отдохнём... Мы отдохнём!»?

– Ну конечно, это от религиозности, – ответил постановщик. – Не забывайте, она ведь каждое воскресенье ходит в церковь.

Я представила себе ход размышлений Александра Осиповича, если бы «Дядю Ваню» ставил он...

После отыгранного спектакля в грим-уборную зашли и директор, и главреж:

– Поздравляем! Мы не ошиблись. Спасибо.

И поверилось: шаг за шагом я тоже дойду до «жизни светлой... изящной»...

В кишинёвской труппе не было шадринского простодушия отношений между актёрами, как не было и творческого миролюбия чебоксарского театра. Здесь вообще всё было по-другому.

Несколько немолодых актёров утвердили себя здесь в роли старейшин и существовали «в отрыве». Своей удивительной органикой меня пленили двое «заслуженных»: Н. П. Донская и Ю. А. Соколов. На моё восторженное «браво» последний отреагировал достаточно странно:

– А вы не идеализируйте меня. Я не совсем тот, за какого вы меня принимаете.

Сложный подтекст от меня ускользнул, но забыть сказанного не могла.

Театр в городе любили. Зрители заполняли зал до отказа.

В одном из первых моих кишинёвских спектаклей, в мелодраме одесского драматурга Мазина «Люська», двенадцатилетнюю героиню играла прелестная актриса Нелли Каменева. Нелли была умна, хороша собой: худенькая, стройная, с дивными каштановыми кудрями. Спектакль имел в городе шумный успех. Я играла роль матери Люськи. В рецензиях была щедро и тепло отмечена, и довольно долго в городе меня так и приветствовали: «А! Люсечкина мама! Здравствуйте! Здравствуйте! Милости просим!»

Исполняя роли героинь или характерные роли, я с вождением ждала спектаклей: одни любила целиком, в других – отдельные сцены. В «Обрыве» Гончарова, где играла Веру, была влюблена не только в каждый поворот своей роли, но и в декорации, в то, как был освещён овраг во втором действии. С замиранием сердца ждала сцену объяснения с Бабушкой, которую превосходно играла народная артистка МАССР Н. Н. Масальская. Влюблялась в тексты чужих ролей. В «Детях солнца» Горького, умствуя в рассуждениях об искусстве в роли Елены, неотрывно следила за проницательной, шервной Лизой, которую играла та же глубокая Нелли Каменева; ждала, когда выбежит Матрёна – талантливая и темпераментная Адочка Плотникова, которую только что пригласили в театр. Спектакли были отрадой и смыслом существования.

Было что-то домашнее в нашей женской грим-уборной на пять человек. Кто-то хвастался купленной блузкой или колечком. Мне нравилась Женечка Ретнёва, игравшая Юдифь в «Уриэле Акосте» и роли других молодых героинь. В паузах между выходами на сцену она всегда что-то вязала или вышивала по канве, лишь бы не участвовать в разговорах, граничащих с пересудами.

Обещанную дирекцией комнату в театральном общежитии мы получили через восемь месяцев после приезда. Двухметровая, с балконом, обращённым в зелёный двор, она находилась на втором этаже деревянного дома. После пятнадцати лет мытарств по лагерным баракам, частным углам и театральным гримуборным – своя комната? Событие умопомрачительное! Закрыв за собой дверь комнаты, мы с Димой уселись друг против друга на чемоданы, пытаюсь поверить в то, что отныне иметь своё жильё – нормально и для нас.

Мы делали замер простенка, чтобы заказать стеллаж для книг, которые я покупала и выписывала для сына. Прикидывали, что приобретём в первую очередь. Однажды я сбилась с дыхания, услышав от мужа непривычное:

– Не смей поднимать таз с бельём. Поставь. Я сам вынесу его во двор.

И мы вместе развешивали постиранное бельё.

– Что купить на рынке? – спрашивал Дима и приносил с базара заказанное.

Дверь нашей комнаты выходила в шумный и дымный коридор, представлявший собой общую кухню с множеством разделочных столов, керосинок и кастрюль. Здесь кто-то кого-то всегда учил готовить: то румынскую мусаку с мясом, то икру из манной каши с селёдкой, или обучал искусству закатывать в банки овощи и компоты.

Пёстрое южное общежитие внесло уйму поправок в жизненное самочувствие. Втянувшись в общие повседневные заботы, мы освободились от изнуряющей необходимости оберегать окружающих от нашего прошлого.

Однажды я рассказала жившей через две комнаты от нас Нелли Каменной какую-то историю из нашего с Димой прошлого и упомянула, что у меня есть сын. Для неё тема лагеря была закрытой книгой. Запомнилось изумление в её широко открытых глазах, мятеж роскошных кудрей, которые она то и дело откидывала со лба, сосредоточенно внимая неизвестному. Кстати, испытанную пятью десятилетиями нашу привязанность друг к другу ничто не смогло поломать.

На всё обозримое будущее там же завязались дружбы с незабываемой Гретой Кругловой и сверкающей Беллой Рабичевой. Актёрский быт романтическим образом связал нас в том общежитии с людьми разных возрастов и нравов.

Собственное жилище, охота, с которой я обихаживала наш дом, словно волшебным ключиком отомкнули находившиеся под штукатуркой наши с Димой лазы друг к другу. Не надо было больше проламываться к нему в душу с призывом о совместных духовных исканиях. В его потребности покоя я опознавала равную усталость от жизни на юру.

Он спрашивал с надеждой на то, что я отвечу «Нет»:

– У тебя есть завтра спектакль?

– Нет.

– Тогда пойдём в филармонию. Приезжает молодой пианист Башкиров. В программе Шопен... Приезжает пианист Скаврнский. В программе Скрябин...

Здание филармонии находилось в двадцати шагах от дверей нашего общежития. По мере возможности мы не пропускали ни выступлений гастролёров, ни концертов местного симфонического оркестра. Музыка вернулась в нашу жизнь: Малер, Респики, Шостакович, Прокофьев, Онеггер. «Песню земли», «Пиниями Рима»...

Конечно же, мы с Димой мечтали о покупке пианино, хотя в те годы это было практически неосуществимо. В магазин пианино заходили редко и не больше двух-трёх. И всё-таки мы «с полочки» упорно откладывали рубли.

Как-то, минут за сорок до закрытия магазина, к нам прибежал один из актёров – сказать, что сам видел: у магазина разгружали пианино. За деньгами в сберкассу бежать было поздно. Я нерешительно постучала в дверь к Грете и к жене одного из старых актёров, Еве Котловской. Грета и Ева оповестили общежитие. Добровольцы выгребли всё, что было в домашних запасниках, и минут за пятнадцать к нам на стол «с миру по нитке» легло пять тысяч рублей. Мы успели добежать до магазина, и пианино было куплено.

Стопки денежных купюр, с такой охотой положенные на наш стол, так и остались одним из самых волнующих эпизодов эпохи того общежития.

Во время отпуска мы плыли по Чёрному морю в каюте второго класса теплохода «Украина», державшего курс на Ялту. Дима разбудил меня рано-ранёшенько:

– Подъезжаем. Смотри!

Вскочив, я прильнула к иллюминатору. Солнечные лучи уже легонько шалили на глади моря, а сама Ялта, которую я так хотела когда-нибудь увидеть, заслонённая с тыла горами, как вымысел, пребывала ещё в синеватой тени. Реальная, она превосходила себя на видовой открытке в старом родительском альбоме.

Утро, море, теплоход и обольстительная Димина улыбка...

Каждый день мы поднимались около шести часов утра, шли по холодку до Ливадии или до Золотого пляжа. Подтягивали к кромке моря лежаки и превращались в жрецов солнца. Если раньше я даже не подбиралась к смыслу таких понятий, как «упоение», то там упоение связала с жарким ялтинским днём и с кремового цвета стволом незащищённого корой земляничного дерева, о которое я опиралась спиной, сидя в тени. Слушая шум волн, мы отрешались от всего остального.

Проходящаясь вечерами по набережной Ялты, можно было слиться с праздной толпой, отстоять очередь в прилегающей к ней улочке, на которую подвозили цистерны с молоком по двадцать копеек за

стакан. И это незамысловатое, бездумное времяпрепровождение – лечило.

Всё иностранное, как и раньше, существовало со штампом «шпионское». Но когда мы узнали, что в Ялту приходит теплоход с туристами из Греции, пошли на пристань.

Воодушевлённая прорывом в советскую реальность, греческая группа, нещадно коверкая слова «Рашчвитайли яблоки и круйши...», дирижуя с палубы, призывала встречающих присоединиться к разученной заранее «Катюше». Но стоявшие на пристани отдыхающие молчали, как дикари, не решаясь подхватить свою же песню.

– Подойди, спроси, вдруг кто-то есть из Салоников. Вдруг что-то узнаешь про маму, про братьев, – подталкивала я Диму.

Греки из Салоников на пароходе нашлись. Их бурная радость по поводу встречи в Ялте с греком, владеющим языком, не имела предела. Диму обступило несколько человек, засыпавших его вопросами о здешней жизни, рассказами о том, что в Греции к власти пришли «чёрные полковники». И, наконец, кто-то даже вспомнил фамилию братьев Димы.

Когда я услышала, как ладно и без запинки Дима говорит на родном языке, меня охватила тоска. Что это, в сущности, значит: муж – чужестранец? Я вела отсчёт нашей жизни от прожитых рядом лет на Севере, а беседа с соотечественниками по-гречески отсылала к неизвестным мне древним корням и совсем иной жизни Димы.

Потом мы медленно брели по молу в море, чтобы побыть там при заходе солнца в зыби оранжево-табачного света.

Имя Евгения Владимировича Венгре высоко котирировалось среди известных провинциальных режиссёров тех лет. Это был до предела увлечённый театром человек. Славился как постановщик «крупных полотен». Его отличала необычайная внимательность к актёрам. Если кто-нибудь заболел, он тут же находил специалиста, которого знал и которому доверял сам. В Евгении Владимировиче трубный голос сочетался с детскостью, а неприспособленность к жизни – с зоркостью.

В театральной стенгазете главреж ассоциировал каждого актёра с названием пьесы: такой-то – «Отелло» Шекспира, следующий – «Горячее сердце»... «Светит, да не греет»... «Не в свои сани не садись» Островского... «Горе от ума» Грибоедова... «Плоды просвещения» Толстого... Я была объявлена им «Оптимистической трагедией» Вишневского.

Перед тем как принять в репертуар очередную пьесу, Евгений Владимирович Венгре стал иногда обращаться ко мне: «Найдёте время прочесть? Поговорим?.. А как вам кажется?» Это добавляло моему отношению к театру новый смысл. А свелось это к неожиданному предложению:

– О лучшем ассистенте я и мечтать не мог. А?

После ни к чему не обязывающих бесед по поводу пьес, трёх-четырёх поставленных им спектаклей главреж стал указывать моё имя в афише как ассистента режиссёра. Малоаметный крен актёрской судьбы никак не сказывался на отношениях с актёрами-ровесниками, зато непонятным образом раздражал маститых.

В 1956 году главной прокуратурой СССР пересматривались дела людей, отсидевших срок по политическим статьям. В ответ на наши с Димой заявления мы на удивление быстро получили справки о реабилитации «за отсутствием состава преступления».

В Кишинёве, как и в Чебоксарах, я письма получала на адрес театра. На конверте со справкой о реабилитации красовался штампель Генеральной прокуратуры, и просматривавший почту одновременно со мной главреж спросил:

– Что это за казённое письмо вы получили?

Я поделилась с ним новостью.

Не знаю, чем его проучила судьба, но он с необычайной горячностью стал меня убеждать:

– Безотлагательно, сию же минуту поставьте в известность секретаря парторганизации о том, что вас реабилитировали. Сходите к нему сейчас же. Покажите эту справку. А ещё лучше, сами зачитайте ему текст.

– Это так нужно, Евгений Владимирович? – озадаченно пыталась я уточнить то, что, оказывается, происходило за моей спиной.

– Вы же разумный человек. Неужели не понимаете? Вы и мне развяжете руки.

На пост секретаря парторганизации был тогда избран крепкий, уверенный в себе, имевший звание народного актёр Н. По ампула – социальный герой. До макушки оснащённый доверием партийных властей города, он вёл себя в театре, как хозяин. Его безапелляционные высказывания по поводу сыгранных актёрами ролей, тех или иных актёрских проступков были идентичны резолюциям: «Обжалованию не подлежит». Следует сказать, что его недружелюбие по

отношению ко мне было изначальным и подчёркнутым. Я это недружелюбие рассеянно игнорировала, а как партнёры мы, по счастью, в спектаклях не встречались.

– С чем пожаловали? – спросил он.

– Хотела показать вам эту справку...

Быстро пробежав глазами по тексту, он, как игральную карту, метнул справку на стол и вдобавок отпихнул её рукой в мою сторону:

– Торопятся они с реабилитацией врагов народа! То-ро-пятся!

Я готова была поставить его в тупик вопросом: «Кто *они*?» – он ведь явно имел в виду некую часть «своей» Партии. Сдержалась. Парторг же рвался к полноте самовыражения:

– Я как не доверял *им* (то есть «врагам»), так и не буду доверять!

В кабинете парткома, кроме нас двоих, не было никого. При столь ограниченной аудитории ему незачем было так рьяно демонстрировать чистоту убеждений. Но ненависть к «врагам» советской власти была столь кровной и классово-идеологической, что всё в нём клокотало:

– Такие, как вы, зависели и всегда будете зависеть от *нас*, – упирал он на значимый для него подтекст распорядителя жизни.

«Я больше не разрешу перешагивать через демаркационную линию биологической злобе этих людей. Не разрешу им касаться моей жизни!» – твердила я себе по дороге домой. Но парторгу удалось вернуть меня в идеологическую реальность. Удалось!

Когда по приезде в Кишинёв я жила с Олей в одном гостиничном номере, уточнилось моё представление о том, как жёстко обходится жизнь с этой поразительной женщиной. Она ездила по республике, знакомилась с людьми, вникала в их интересы, проблемы, в их правду. Сама писала сценарии. Как режиссёр снимала по ним документальные фильмы. Поездки к Александру Осиповичу в Весёлый Кут, к старой матери и сестре в Одессу разрывали её на части. На её заработок существовали три семьи.

При такой степени её занятости нам не всегда удавалось поговорить о важном.

Возвратившись как-то в номер в неурочный час, я застала там её соседку по гостинице, она рылась в Олиных бумагах. Объяснения её были неубедительны. Хватало и увиденного.

Я спросила у Оли:

– Где служит твоя соседка?

– В органах государственной безопасности. Кажется, в звании лейтенанта. А что?

- Олечка, она рылась в твоих бумагах.
- Менее всего я ожидала, что Оля может вспылить, но она вспылела:
- Тебе показалось.
- Отнюдь. Я застала её за этим занятием.
- Мы симпатизируем друг другу. Она часто ко мне заходит. Что-то оставила, наверное. Вот и всё.
- Я так не думаю, – стала я растерянно защищаться.
- У тебя большое воображение, Томик. Мне жаль тебя. Ты, видно, уже не можешь иначе трактовать самые простые вещи. Давай прекратим этот разговор.

Что меня так обескуражило? То, что Оля посрамила моё мировоззрение? Её наивность? Несовпадение нашего опыта? Я мучилась. Долго. Пока не поняла, что Оля таким образом выгораживает не соседку, а шаткость своих взглядов, разрешающих примирять непримиримое.

Под предлогом медицинских обследований Оля периодически вызволяла мужа из Весёлого Кута. Неприятности из-за того, что ссыльный Александр Осипович задерживался в больницах Кишинёва дольше положенного срока, отводились от Оли попечительством лейтенанта Н. (в первой книге она названа условным именем Нелли).

Когда Оле наконец выдали ордер на девятиметровую комнату в двухкомнатной квартире, в ветхом флигеле в нижней части города, то ордер на большую комнату в этой же квартире получила Н. Её соседство, разумеется, предписывалось ведомством ГБ. Мы были поднадзорными этой молодой, внешне привлекательной женщины.

Я ведь тоже когда-то в юности схожим образом закрыла для себя этот вопрос, решив: «Раз это неизбежно, какая разница, сколькими стукачами мы обставлены?» Прикрепление нас всех к Н. обещало хотя бы профессионализм.

Через год после того, как мы с Димой получили справки о реабилитации, реабилитировали и Александра Осиповича. Теперь Оля на законных основаниях перевезла мужа из Весёлого Кута в Кишинёв. О месяцах их жизни в Кишинёве на улице Стефана Великого написано в «Сапожке».

Произошло нечто такое, о чём никто из нас не смел и мечтать: мы с Александром Осиповичем жили в одном городе. До Александра Осиповича надо было пройти два небольших кишинёвских квартала и позвонить в дверь. Многолетняя переписка, визиты в Весёлый Кут были заменены теперь общением без регламента. Можно было бы

даже добиться для него постановки в театре. Но всё было «слишком поздно», как сказала однажды Оля.

Совсем поздно! Александр Осипович был тяжело и необратимо болен. Надежд на выздоровление не было никаких.

Переехав из Чебоксар в Кишинёв, я часто ездила к нему в Весёлый Кут. Видела, как он становился безучастным ко всем и ко всему. Он смертельно устал. От его надежд, сил, былой общительности ничего не осталось.

Десять лет назад, на Севере в одной из бесед он сказал:

– Как только почувствую себя неполноценным, сам уйду из жизни.

В периоды отчаяния я тоже не раз приближалась к броску «в никуда». Но то, что это можно совершить не при смятённом сознании, а подконтрольно, не готова была понять в ту пору. Сомнения в том, что такая готовность реальна и не единична, рассеял один старый доктор с глухой отдалённой колонны, которую наш лагерный театр посещал в лучшем случае раз в году. У людей, находившихся в таких заброшенных углах, потребность в доверительной беседе была настолько остра, что игнорировалось всё, включая любой возрастной отрыв. От старого доктора Золотницкого я услышала и навсегда запомнила скупую и чёткую установку: «С распадом личности не смирюсь. Уйду из жизни – сам».

При следующем посещении той колонны мы узнали, как скрупулёзно врач Золотницкий подготовился к самоуничтожению: написал на волю прощальные письма; сделал полную опись лекарств, хранившихся в медпункте в ящичках «А» и «Б»; оставил записку: никто из окружающих в его уходе не виновен. Сам «сочинил» себе яд и – принял его.

Меня потрясла тогда готовность человека трезво оценить своё состояние, обратиться к собственной воле и поставить на жизни точку. С той поры я постоянно опасалась, что Александр Осипович может прибегнуть к тому же.

Его домучивали ссылкой, одиночеством, непризнанием, воровством его трудов при обысках в Весёлом Куте, как ранее – в лагере. Но дух его, интеллект оставались полноценными. Он всё на свете расчислил, по высокому счёту назвал вещи своими именами – и смолк. Никого ни о чём не просил. Не упрекал.

Предпоследний в его жизни новый, 1957-й год мы встречали вчетвером: Александр Осипович с Олей, Дима и я. Последний он встречал уже в больнице.

Я описывала, как он переводил стон от боли в какой-нибудь простенький напев, когда Оля или я подходили к больничной палате, как оберегал нас с ней от горечи, которую познал и вымерил до дна.

Его воля, его добрая воля выразила себя не в самоубийстве. Иначе. Страдая физически, с потухающим сознанием, он совершал над собой усилие, вызволявшее его из тьмы, чтобы выразить Оле слова любви и благодарности за её преданность и полноту отдачи. Я истинную правду говорю, что не видела ничего более высокого и переворачивающего сердце, чем единство Александра Осиповича с Ольгой во всепрощении друг друга перед его смертью.

Не касаясь их мученических отношений после насильственной семнадцатилетней разлуки, могу сказать, что желание чувствовать её рядом с собой при конце победило в нём горечь периодов отчуждения. В вопросе «Где мой Зулус?», когда он осознал, что у его постели была не она, слышалась такая потребность выговорить ей недонесённую нежность, что это потрясло.

Для него, человека, не чуждого сарказма и насмешливости, перед смертью самым важным было поблагодарить всех, кто принимал его духовную опеку. Осознав, что я нахожусь одна возле его постели, он спросил: «А где...?» По тому, как он не назвал имя, не трудно было понять, что он имел в виду Хеллу. Я ответила: «Здесь! Мы все здесь около вас!»

Его словами: «А знаешь, кто ты? Ты – Сестра Милосердия», его заветом: «Тамарочка! Одиночество – нежелательна. Но она не страшна!», – я пропитана навсегда. Благодаря Александру Осиповичу я так хорошо знаю, что в смежном с ненавистью мире любовью и преданностью можно спасти друг друга.

Его портрет висит над моим письменным столом не один десяток лет. Я никогда не называла Учителя иначе, как «Александр Осипович». Но несколько лет назад, в одну из бесприютных минут, глянув на портрет, непроизвольно обратилась к нему по имени: «Вот, видите, Сашенька, как сбылась одиночество, которую вы мне предрекали, но ведь она не страшна?» Обратилась к нему так, потому что и сейчас ощущаю его благословенное присутствие в своей жизни. С космической быстротой нет-нет да и пронесётся мимо что-то вроде скорописи о смысле существования. Только никак не успеть понять, в чём это выражено: в оттенке цвета, света, в междометии или в чём-то похожем на вздох...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Место и дата главного события послелагерных лет («Вот найду сына, тогда...») – Кишинёв, 1957 год.

На Русский драмтеатр пришла открытка от жены писателя Бруно Ясенского – Анны Абрамовны Берзинь, в которой она извещала нас с Димой: «Случайно узнала: Бахаревы живут в...» – и она называла город, в котором рос мой сын.

Все эти годы я на разные лады представляла себе, как сын найдётся, как я схвачу его, прижму к сердцу и увезу... Обнаруженный через столько лет адрес сына делал это наконец реальным. Полупридуманый мир, которым я обходилась, тут же смыло. Во всех своих очертаниях всплыл тот, враждебный, который скрывал украденного сына. В нём надо было уметь искромётно соображать, как-то дышать и принимать те или иные действия.

Минутами казалось, что со всеми предстоящими сложностями я справлюсь сама и в два счёта. Но когда память высвечивала ухищрения Филиппа Яковлевича и Веры Петровны, на меня напал морок. Я нуждалась в помощи. Таила надежду, что Дима скажет: «Не волнуйся. Поедем вместе. Отвоюем». Но я знала, что не услышу таких слов, Дима их избежит. Спроси я его: «Примешь моего ребёнка?», он без воодушевления, но ответил бы: «Конечно». Не сомневалась я только в этом.

Дима молчал. Мой сын – мой вопрос.

Я бросилась к Оле. Она схватилась за голову:

– Не представляю, во что это может вылиться. Мне страшно за тебя. Безумно страшно.

Я перечисляла все «за»: реабилитирована; как у матери у меня все права; есть работа, жильё; главное же, со мною – правда. Как на союзника, я уповала и на память сына. Ему было четыре года, когда я видела его в последний раз. Неизвестность пугала до смерти. Да! Что там припасено годами отрыва от него?

Услышав наши с Олей дебаты, в дверь постучала Н. В быту Оля и её соседка существовали мирно и даже дружно. Наспех пересказанную Олей историю Н. ёмко и деловито прокомментировала:

– Первое, что надо сделать, – это найти подтверждение тому, что Бахаревы действительно проживают в названном городе.

– Я не могу больше ждать! Не стану больше списываться и узнавать!

– Тебе этого никто не предлагает. Дай мне их имена-отчества, годы рождения. Больше от тебя ничего не требуется.

На следующий день Н. принесла уточнённый адрес Бахаревых и сведения о том, что Филипп работает главным врачом одной из городских больниц. Узнала даже, что Вера Петровна тогда-то и тогда-то выписывалась, уезжала из города, а затем возвратилась и прописалась вновь.

Оперативные возможности ГБ ввергли в ужас. Неправдоподобно! То, на что ушло столько лет, госбезопасность выяснила за сутки? Ужас усугублялся памятью об обещании гэбиста в Микуни: «За согласие сотрудничать разыщем сына». Значит, это не было пустым звуком? Лучше было не мыслить, не чувствовать, не понимать.

Со мной случилось что-то страшное и далее, когда то, что я чаяла услышать от Димы, произнесла лейтенант Н.: «Я возьму отпуск и поеду с тобой». Я отказывалась, отбивалась. Кричала:

– Нет-нет! Не надо! С какой стати? Ни в коем случае! Зачем?

Тогда Оля перешла на просительный тон:

– Ты не отдаёшь себе отчёта в том, что тебя ждёт. Ты одна не справишься, погибнешь. Пойми, Н. – юрист. Она тебе поможет. Я оплачиваю ей дорогу.

Любая растерянность, Олины уговоры, стартовая готовность Н. превратили всё в абракадабру и, как в адском фокусе, произвели на свет стороннюю, но единственную «разумность».

Документы и характеристики были собраны. Мне оформляли отпуск в театре. Н. выехала сразу. Встретилась с Бахаревым. В прилетавших от неё телеграммах было ободрение: Филипп-де всё понимает и готов пойти на уступки. «Бывалая Н. не разобралась, с кем имеет дело», – отмечала я про себя.

В аэропорту она и Филипп встречали меня вместе.

На то, чтобы я увиделась с сыном, Филипп дал согласие при условии, что он представит меня Юре как тётю, и я не должна буду заговаривать с ним о прошлом. Для свидания Филипп выбрал комнату в мрачном подвальном помещении больницы («Подальше от любопытных», – сказал он).

Нескончаемое количество раз я пыталась представить сына одиннадцатилетним. Увидев ни о чём не догадывающегося большого маль-

чика, вспомнила Олино: «Слишком поздно». Подросток, одетый в коричневую вельветовую курточку с короткими, не по росту, рукавами, не понимал, зачем его пригласили в этот подвал. Был напряжён.

– Познакомься, Юра, это тётя Тамара, – услышала я голос Филиппа.

«Да. Я – тётя. Пока. Иначе нельзя».

В фантазмагорической ситуации для меня существовала одна надежда: память сына. Одержимая желанием вызволить, пробудить её в нём, я расспрашивала его о школе, о спорте... Отыскивала, нащупывала связующий нас нерв. Каждым своим вопросом просила мальчика: «Вспомни меня, сын. Я твоя мама. Вспомни мой голос, интонацию»...

Сын отвечал вежливо, принуждённо. Внимание его было чем-то отвлечено. Память оставалась непо потревоженной. Познакомившись с «тётей», ответив на вопросы, он попросил у отца разрешения уйти домой делать уроки. «Робок он или организован? Послушен или подчинён? Почему в нём нет детской живости? Всё это надо понять, не предвзято, спокойно».

Наблюдая мои сосредоточенные попытки пробиться к памяти сына, Филипп испугался. После первого же краткого свидания пресёк последующие: «Эти встречи будут травмировать ребёнка. Они ему вредны». Больше Филипп ничего не хотел слышать. Ни одного из моих доводов не принимал.

– В этом случае мне не остаётся ничего другого, как обратиться в суд.

– Обращайтесь. Я никаких судов не боюсь.

Судья назначила собеседование. Рассказ о прошлом слушали трое заседателей и она. Когда я рассказывала о бегстве Бахаревых с Юрой, судья, прервав меня, обратилась к Филиппу:

– Скажите, Бахарев, эта женщина говорит правду?

Ожидая лжи, я удивилась ответу:

– Да.

Результатом собеседования было единодушное решение: свидания не препятствовать.

– Завтра в три часа дня приходите к нам, – сказал Бахарев.

Дальше события развивались настолько стремительно, что помнятся сейчас одним мгновением катастрофы. Едва мы с Н. вошли в квартиру Бахаревых, где Юрик за обеденным столом делал уроки, как Филипп, указав на меня, отчеканил:

– Юра! Это твоя мать!

Мало что поняв, сын испуганно вскинул глаза, тихо выдохнул: «Почему?» и, не ожидая ответа, вышел из комнаты. Всей силой удар пришёлся по нему. Мои уговоры, попытки вывести сына из состояния шока оставались безрезультатными.

– Не беспокойтесь. С этим я справлюсь сам. Сейчас ему нужны только покой и лекарство, – выговаривал Бахарев.

И лишь тут я поняла, что с его стороны это был совсем не срыв, а продуманный, дальновидный ход. В одно мгновение я стала для Юры обозначением несчастья. Не обретя сына, я потеряла его вторично.

Последующие свидания с сыном Бахарев обусловил непременно присутствием Веры Петровны. Суд, как он заявил, тут ему не указ. Вера Петровна следовала отныне за нами всюду по пятам. Подконтрольные встречи ничего, кроме сумбура и смуты, в сознание сына внести не могли. Он был всё так же напряжён, молчалив и осторожен.

– Каким образом сын записан в школе как Бахарев, если в представленном вами свидетельстве о рождении он Петкевич? – спросила меня судья.

Вопрос о фамилии привёл к умопомрачительным открытиям.

– Вам предстоит сейчас узнать нечто сенсационное, – сказала судья, пригласив меня на предварительный разговор. – Соберитесь с силами. Оказывается, вовсе не вы настоящая мать Юры, а Вера Петровна. И она веером разложила на столе три фальшивых свидетельства о рождении Юры. В графе «мать» в каждом «документе» было вписано имя Веры Петровны Бахарева. Местом рождением значился не Межог, а другой город. Вместо действительной даты рождения ребёнка – 12 декабря 1945 года – в трёх поддельных метриках были разные числа, месяцы и даже годы.

Самих себя перед отъездом с Севера «родители» моего сына также обеспечили «чистыми» документами. Уголовное прошлое Веры Петровны оказалось скрытым. Ничто не выдавало и того, что Бахарев находился в заключении. Филипп, приехав в выбранный им город незапятнанным гражданином, вступил в КПСС. Вскоре был выдвинут и выбран в депутаты райсовета.

Мошенничество с фальшивыми метриками, моё появление грозили, казалось, свести жизненные «завоевания» Бахарева к нулю. Но никаких признаков неуверенности ни она, ни он не являли.

– Это не всё, – продолжила судья. – Главное заключается в том, что вы опоздали ровно на год. По закону ребёнок с одиннадцати лет сам решает, с кем из родителей хочет остаться. Вы, наверное, понимаете, что на суде Юра скажет: с ними.

– Вы мне отказываете в суде?

– Нет. За вас многое. Но суд обязан будет считаться с тем, что выберет сам ребёнок.

– А как же то, что ребёнка воспитывают люди, у которых всё основано на подлоге?

– За подлог с них взыщут. Но это другой вопрос.

Воспользовавшись секундами, когда мы с сыном остались вдвоём, я успела ему однажды сказать: «Юрочка, я тебя очень люблю. Я по тебе очень скучаю, мой мальчик. Очень. Вот поедем с тобой в город, где я живу...» – «Зачем?» – прервал меня сразу сын. «Сюда будешь приезжать, когда тебе только захочется». – «Нет», – сказал он своё слово. «Нет, нет» – на всё.

Единственный раз его лицо засияло, когда, уже поняв, как сын любит женщину, укравшую его у меня, я в растерянности преподнесла ей при нём коробку с духами. Для него это означало мир между взрослыми.

Я сочла бы сумасшедшим человека, предрёкшего мне, что, отыскав Юру, я добровольно откажусь от суда. Но представить, как по ходу суда сын будет узнавать недетскую правду о семье, о родителях, как должен будет отвечать в присутствии чужих людей на мучительные для него вопросы?.. Подвергнуть его этой процедуре значило окончательно отвлечь от себя. У него уже была своя воля. Я не смела её ломать. И от суда отказалась.

«Зачем вы приволокли с собой эту особу?» – спросил однажды Филипп, указав на Н. Они возненавидели друг друга. Не выдержав поражения в схватке, Н. уехала в Кишинёв. Я двинуться в обратный путь не имела сил.

Бесполезно было перебирать свои ошибки – и всё же я перебирала. После моих слов: «Что вы натворили?» – Филипп попробовал изобразить раскаяние. Я его оттолкнула. Не приняла совета Н. говорить на всё «да». «Он будет спрашивать, согласишься ли ты на брак. Отвечай согласием», – настаивала она. А что после того?

Я не предвидела, что у Бахаревых могут быть фальшивые свидетельства о рождении сына, не предугадала ни одного из тактических ходов и манёвров Филиппа. Ни с чем – не справилась.

Уже как просительница принудила себя к разговору с Филиппом, чтобы добиться согласия отдавать мне Юру на каникулы. В ответ он произнес то же твердокаменное: «Не дам его травмировать!» И никаких уступок.

Я всё ещё не верила, что *это* может быть точкой.

Отправилась знакомиться с учительницей Юры – узнать, к каким предметам у него есть тяга, чем он увлекается. Подготовленная его «родителями», враждебно настроенная учительница начётническим тоном вынесла свой приговор: «Если бы вы были настоящей матерью, то оставили бы Юру в покое и уехали отсюда».

Главное – мне не удалось смягчить и расправить настороженное, испуганное выражение лица сына, сведённую напряжением души. Не посмевшая ни разу привлечь его к себе, обнять, я была разгромлена во всём.

Ни с кем и ни с чем больше не связанная, невменяемая, я лежала в номере гостиницы. Всё распалось. Время исчезло. Меня каким-то образом не стало. Из ощущений сохранилось одно: вместо меня есть что-то безличное, доэволюционное, неуклюже поворачивающееся, не умеющее мыслить. Затем проснулся слух к чему-то, что не больно, но упорно било извне в это бесчувственно-живое. Способности отзываться не появлялось. Неясно сколько времени спустя возникло ощущение бешено взвихренной скорости вокруг этого бесчувствия. Что-то отчаянно спешило. Кто-то изо всех сил подгрёбал в ладье или челне. Торопливый, чёткий оклик: «Петкевич!» И распавшиеся на материю и сознание части соединились в «я». «Петкевич» – это я.

От скорости той непонятой силы и зависело, жизнь или смерть предстоит этому «я». Поистине: «Казни меня, но дай мне имя!» Если это была и не клиническая смерть, то, во всяком случае, клиническое ОТСУТСТВИЕ. Из всего испытанного в жизни – самое жуткое: побывать только живым веществом – предварением самой себя.

И всё-таки то было родом смерти.

Дома, в Кишинёве, было тихо. Очень.

Я благодарила жизнь за эту тишину.

Чтобы не оставаться с ощущением полупредательства близкого человека, надо было признать за Димой право на самого себя, право на то, чтобы не всё разделять со мной. Не вызвавшись поехать вместе, он был честен перед собой, перед нами обоими. Тем более что в действительности его присутствие никоим образом не помогло бы мне обрести сына.

А главное, мы с Димой хорошо знали, что с самым трудным в своей Судьбе человек должен справляться сам.

К отказу от суда вёл меня одинокий поводырь, имя которому – чутьё. Филипп с Верой Петровной приняли это за слабость, активизировали свои действия. Как будто не понимая того, что отказ проис-

текал из бережности по отношению к сыну, Филипп стал наставлять меня в письмах: «Неужели Вы не понимаете, как пагубна душевная раздвоенность для ребёнка? Вы своими любящими пальцами хотите раздрать его душу, лишить его счастливого детства, душевного покоя, беззаботности. Мы получили новую прекрасную квартиру. Один зал составляет двадцать шесть метров. Огромные с колоннами балконы, с великолепным видом на весь город и Волгу. У Юры светлая, уютная комната. Ему очень нравится квартира... Мне непонятно, чем ослеплён, чем затуманен Ваш разум, если Вы теряете возможность оценки сложившейся ситуации». Филипп писал так, словно не в них с Верой Петровной выбродил замысел кражи ребёнка, не ими «сложена» нечеловеческая ситуация, а мною.

Где-то в своих корнях ситуация была так уродлива, что выправить её не могло даже вмешательство прокурора, выступившего, как ни парадоксально, в роли моего адвоката. Установив, что метрики сына фальшивы, главный прокурор города возбудил дело о признании их недействительными. Состоялся суд, было вынесено решение:

«Актовую запись РайЗАГСа г. Вельска (за номером таким-то) и свидетельство о рождении (за номером...) признать недействительными, так как действительные документы выданы Межогским с/советом... на имя Петкевича Юрия Филипповича, рожденного 12/XII–1945 г.».

Дело было возбуждено не мной, а прокурором. Однако любой факт, нарушавший спокойное течение жизни семьи, Бахаревы стали связывать с моим именем, чтобы в таком контексте доводить до сознания сына. Меня «воспитывали» оба. На этот раз писала Вера Петровна: «Несколько дней назад принесли извещение от прокурора, чтобы явиться к нему для разбора вопроса метрик. Юра увидел это извещение и сказал: “Это Т. В. написала прокурору”. И нахмурил лицо». Филипп продолжал резюмировать: «Неужели у Вас недостаточно воли, терпения для его счастья? Неужели Вы не можете заставить себя подождать, когда Юра станет взрослым, и тогда говорить с ним как с сыном-другом, как с человеком, способным рассуждать и принимать решения?.. Ваше имя вызывает у него нервозность и раздражение. На предложение Вам писать он отвечает: “Не буду”».

«Родителями» было сделано всё, чтобы Юра не отвечал мне ни на письма, ни на бандероли и посылки, чтобы он сам отсекал доступ к себе. Получалось, что я, по сердцу, должна была оставить его в покое, и, по сердцу же, не могла с этим согласиться.

Бахарев игнорировал подлинные метрики сына. Предпринятые им в обход решения суда шаги убедительно свидетельствуют о правовых пороках страны. Закадычной ли дружбе, солидной ли взятке оказалось по плечу превратить решение городского суда в ничего не значащую бумажку – не знаю. Во всяком случае, заявление Бахарева адресовано отнюдь не органам правопорядка, а «Зав. Кировского района т. Красиной З. С.».

Подлинник заявления Бахарева прислал мне совершенно незнакомый человек, сделавший следующую приписку: «Слышал о Вашей истории с сыном. Считаю своим человеческим долгом вручить это заявление в Ваши руки. Когда Ваш сын захочет во всем разобраться, этот документ поможет ему».

Тяжело было держать в руках тот «документ». Предшествующие рождению сына события названы в нём Бахаревым «случайной связью». Мой приезд в город, в котором они жили, описан так: «гражданка Петкевич» уговаривала его «уехать с ней и ребёнком в Кишинёв», но он, Бахарев, «наотрез отказался». Завершались эти измышления так же «простенько»:

«Прошу вас произвести юридическое усыновление, указав отцом меня, а мать – Веру Петровну Бахареву. Желательно, чтобы дата рождения осталась, как указано здесь» (то есть в фальшивых метриках).

На заявлении красуется резолюция:

«Подготовить этот вопрос на решение Исполкома. ПОГОВОРИТЬ СО МНОЙ!» Подпись: «Красина З. С.».

Всего-навсего: «Поговорить со мной».

С зав. Кировского района Красиной З. С. – «поговорили». На заседании исполкома и решение суда, и подлинное свидетельство о рождении сына были аннулированы, а фальшивые метрики росчерком пера – узаконены. То есть год, месяц и число рождения сына оставили вымышленными, а Веру Петровну Бахареву исполком «утвердил» матерью.

Сколь многое в жизни так и осталось бы для меня скрытым и неизвестным, если бы я не ознакомилась во время допросов с доносами на меня моих подруг и если бы не это присланное мне незнакомым человеком заявление Бахарева!

«Филипп жестоко вас искоренял в сыне», – говорили мне позже его друзья.

История с моим отказом от суда, с иском прокурора и тем, как в районо «узаконили» подделку, задела молодую и честную судью Полину Ивановну Фёдорову. Между нами завязалась переписка, перешедшая затем в прочную многолетнюю дружбу. Полина Ивановна узнавала, как учится сын, какие получает оценки, описывала, как он выглядит.

Проходили месяцы. Год. Два. Я не выдерживала. Ездилa в город, где жил сын. Смотрела на него издалека. Отец взял с Юры слово, что тот никогда и ни в чём ему не солжёт. Чтобы не лгать, Юра не принимал от меня ничего: ни писем, ни фотографий, ни книг.

Встретившись случайно с Верой Петровной, я пересилила себя:

– Расскажите о Юре. Что он любит, что нет? Чем увлекается?

– Нелюдим, – характеризовала она его. – Ни с кем не дружит. Когда приходит какой-нибудь товарищ за книгой или узнать расписание уроков, даже в комнату не пригласит. Спит на балконе. Делает по утрам гимнастику. Гантели у него там, гири какие-то. По дому ни в чём не помогает... Нервный! – добавила она.

– Нервный?

– Наследственное. От отца.

И опять мне была протранслирована установка Филиппа, так знакомо дублировавшая типовой государственный приговор об изоляции и поражении в правах: «Пока Юра не окончит школу и не поступит в институт, Филипп Яковлевич всё равно ни за что не разрешит вам с ним видеться».

Нас было двое таких, отпето одиноких, без земли под ногами: Хелла и я. Мало того, что историческая почва не стала нам опорой, мы были подорваны изнутри. «Это в мире бывает переход к последующему, а в себе – нет, нет и нет, до умопомрачения. Я, как прикованная к себе, хожу все “по кругу”, – писала мне Хелла. – Безудержная тоска по Александру Осиповичу и по родине (по Чехословакии, в которой остался её сын). Тоска разрастается до гигантских размеров. И это тоска не только по родным местам, но по всему и всем, кого и что я там оставила, о ком 36-й год ничего не знаю и не узнаю. Тоска по всему... Ты ведь так же. Я это знаю...» Так же. Да. И «по кругу» так же. И «до гигантских размеров» так же. Даже дальше: до бесприютности.

Хелла спасалась разъездами: «Ближайшие три месяца пробуду в Сибири. Еду к Вите Врублевскому. Если помнишь, это тот мальчик из Весёлого Кута, с которым Александр Осипович занимался математикой», «Еду в Арцыз. Аннушка пригласила», «Еду на Украину. Никифорович с женой зовут...» «Еду», ещё и ещё раз «еду».

Точно так же металась и я после того, как державший меня стержень («Вот найду сына – тогда...») оказался перебитым. У меня откуда-то взялась бездна внутреннего времени. Не утоляли ни обширная переписка с друзьями, ни загруженность в театре, ни домашние дела. Я впряглась в профсоюзную деятельность. Недостаточно! Мало! Послала в Ленинград заявление с просьбой зачислить меня на заочные курсы английского языка. Для профформы отсылала в срок контрольные работы.

Хотя бы единожды в год должна была съездить в Ленинград. Рвалась туда не только ради музеев, театров, но и для того, чтобы подняться в семь часов утра, выйти в утреннюю питерскую тьму, смешаться с торопившимися на работу людьми, проехать в трамвае несколько остановок. Будто мой дом всё ещё здесь, и пусть мифическим образом, но я имею отношение к жизни родного города.

Настойчиво звала приехать погостить у нас с Димой сестру Валечку с Аркадием. Следующим летом пригласила подругу юности Нину Изенберг с мамой. Потом вторую подругу юности, Ли. Они приезжали. Гостили. Радовались за меня: наконец-то у меня есть дом, прекрасный муж, то есть всё, мол, у тебя теперь «наладилось». Мне стало как-то привычнее ощущать мир собою, но без себя.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Планируя, как на предстоящей декаде молдавского искусства в Москве интересней и ярче представить Русский драматический театр, Министерство культуры Молдавии пришло к мысли пригласить на постановку какого-нибудь известного режиссёра. Фамилий называлось много. Мне, несведущей в театральной конъюнктуре, их имена ничего не говорили. Но однажды, сбегая по лестнице со второго этажа, где шла репетиция, я едва не налетела на картинно барственного, в элегантно светло-сером костюме высокого незнакомца с гривой седых волос. Происходивший из решительно незнакомого мне среза общества, приглашённый режиссёр посторонился.

К декаде решено было ставить пьесу молдавского драматурга Ю. Ф. Эдлиса «Мой белый город».

Прошла читка. Коллектив пьесу одобрил. Меня тут же вызвал главреж Венгре:

– Постановщик декадной пьесы, Владимир Александрович Галицкий, просит дать ему кого-нибудь в ассистенты. Я ему порекомендовал вас. Согласитесь?

Своё «ассистентство» у Евгения Владимировича Венгре я не считала серьёзным занятием. Это были хоть и предметные (по пьесе, по спектаклю), но приватные беседы, больше похожие на добровольный контракт между интересом главрежа к моим размышлениям о жизни – и моей благодарностью за этот интерес. Что касалось подготовок к репетициям, они были необременительны. Но что значит «ассистент» в переводе на профессиональный язык, мне, по сути, было неизвестно. С бухты-барахты согласиться стать им у незнакомо-го режиссёра? Я не раздумывая отказалась.

Однако дня через два, когда, отправляясь на выездной спектакль, мы уже рассаживались в автобусе, из театра вышел один из актёров и сказал, что приехавший режиссёр просит меня подняться к нему в кабинет.

– Я чем-то вас испугал? – театрально полюбопытствовал он. – Евгений Владимирович отзывается о вас как об умном и толковом мощнике, а вы отвергли предложение работать со мной. Почему? Как

видите, сам нижайше прошу сменить гнев на милость, и давайте попробуем. Приступим к работе завтра же? А?

«Чем-то испугал?» Пожалуй. Чем? Не знаю. В известном смысле отказ от ассистентской работы был рассогласованием с собой. Я давно жила в напряжённом ожидании, с застывшей внутренней мольбой: «Ну хоть кто-то – приспособьте меня к какому-то оглушительному действию, которое поглотило бы меня с головой! Используйте мои силы!» Казалось, самое-самое важное, что я знаю про жизнь, о чём догадываюсь, так и останется ни к чему не приложенным, никому не нужным.

В автобус я вернулась с ещё большим чувством испуга и досады на себя за то, что на вежливо изъясленную повелительность режиссёра – «приступим завтра же» – неожиданно согласилась, ответив: «Хорошо».

Моё доверие и привязанность к Оле оговорок не имели. Я её преданно любила. Жили мы недалеко друг от друга. Виделись часто.

– Можешь меня поздравить. Я – ассистент режиссёра, – сообщила я ей на следующий же день.

– Какая же это новость?

– Новость в том, что не у Венгре, а у приглашённого режиссёра.

– Приглашённого откуда?

– Не знаю.

– Как его фамилия?

– Галицкий.

– Галицкий? А как его звать?

– Владимир Александрович.

– Неужели Вовка Галицкий? Неужели Вовка?

У сдержанной Оли «Вовка» по отношению к этому человеку прозвучало какой-то неловкостью, неточностью. А когда она добавила: «Боже мой, если это босяк Вовка, которого я знала по Одессе, то это мой друг юности», – я уже не сомневалась в том, что к «другу юности» приехавший режиссёр никакого отношения не имеет.

Оля тем временем уже рассказывала о худощавом друге, с которым они вместе готовились к экзаменам, «по самую макушку» увязали в одесской «Синей блузе» и «Живой газете», о том, какие «Вовка» придумывал остроумные репризы и сочинял куплеты и как был сначала влюблён в неё, а потом в какую-то Клару. Я ещё раз попыталась совместить Олины рассказы с впечатлением от приезжего «светила», но ничего не сходилось.

– Вряд ли это друг твоей юности. Наверное, однофамилец. В-первых, вот уж кого не назовешь худощавым. Во-вторых, невозможно его представить загорелым, задиристым синеглазником. И что совсем не вяжется с этим барином, так это – «босьяк».

Тем не менее выяснилось, что наш новый режиссёр – одессит и Олин друг юности.

Я, кстати, странным образом не вспомнила тогда ни того, что о режиссёре Галицком слышала в Шадринске от артиста Танина, ни того, что, проезжая через Москву, видела развешенные повсюду афиши, извещавшие о гастроях Тамбовского театра под его руководством.

Герои пьесы «Мой белый город» разрабатывали проект своих грёз, подразумевая будущее Кишинёва.

– Достать статью председателя Госплана Кучеренко о перспективах строительства в газете «Правда» за октябрь, – диктовал мне режиссёр. – Связаться с Союзом архитекторов. Нащупать там двух-трёх современно мыслящих специалистов. Устроить их встречу-беседу с группой по проблемам архитектуры, предварительно вручив им экземпляр пьесы. Организовать экскурсию участников спектакля в Архитектурную мастерскую кишинёвского Госстроя. Да, ещё мне нужен композитор. Разведайте. Художник у меня есть свой.

Творческие союзы в городе существовали как замкнутые системы. Кроме театра, я вообще нигде не бывала. Пойти в Союз архитекторов, в Союз композиторов для меня было равно переходу госграницы между Молдавией и Румынией.

Архитекторы, увлечённые идеями американцев строить зелёные и экологически чистые города вдали от деловых центров, нашлись. Но сторонниками этого направления были далеко не все. Предпочитающих кучное градостроительство было несравнимо больше, и возглавляла Союз архитекторов именно эта каста. Таким образом, сначала состоялось моё знакомство с внутриведомственной междуособицей, а затем уже – с неоднозначным отношением членов Союза архитекторов к пьесе Эдлisa «Мой белый город».

Приступая к работе, новый режиссёр «выбил» в министерстве культуры деньги на занятия по сценическому движению и по речи. Для этих уроков мне как ассистенту следовало найти педагогов.

Радикальные нововведения, вызволявшие актёров из задумчивого закисания, прежде всего пришлось по сердцу занятой в спектакле молодёжи. В период застойной работы оговаривалось сквозное действие, определялись главные события пьесы в целом и для каждого пер-

сонажа отдельно. Разворошённые актёры перестали обращать внимание на «от» и «до» репетиций, подпали под чары режиссёра. Актрисы одна за другой в него влюблялись.

Вскоре стали поговаривать о том, что постановщик может задержаться в театре и стать главрежем. Сам он ожидал приезда жены. Много, видимо, зависело от того, понравится ей город или нет. По профессии она актриса, будет, мол, работать в театре.

Жизнь моя неожиданно-негаданно оказалась загруженной до предела. Ассистентские обязанности приходилось выполнять за счёт личного времени, поскольку присутствие моё на репетициях было оговорено как непереносимое, а вечерами я была занята в спектаклях.

Режиссёр отсмотрел их все. Мне было сказано:

– Вы интересны и умны в «Детях солнца» Горького. Очень хороши в «Безымянной звезде», но лучшей ролью станет та, которую вы сыграете в моём спектакле!

Значит, он и в самом деле настроен остаться здесь?

– Сидите рядом. Ваше место тут, – обращаясь ко мне как к ассистенту, капризно требовал он, указывая на стул возле себя.

Я и так на всех репетициях неотлучно находилась рядом. Знала, когда он обедал и что чаще всего не успевал даже перекусить. С молодой, красивой актрисой Галей Ястребой мы старались наладить и это.

Мне многое позволялось:

– Говорите! Говорите обо всём, что я упустил, что не заметил, в чём не прав.

Но когда однажды я решилась на суждение вразрез его толкованию, резко оборвал:

– Это для меня слишком заумно.

Форма недовольства была невежливой и недружелюбной. Приняв это к сведению, я замолчала.

– Только не это! – попенял он на следующий день. – Почему вы такая отсутствующая? Не замолкайте.

– Увольте. Вы всё прекрасно знаете сами.

– Ах, вот как? Поднят бунт!? Это не пройдёт! Властной рукой самодержавия он будет подавлен! – стал он искать форму примирения. – А вообще, если у вас найдётся несколько минут после репетиции, у меня к вам есть один вопрос.

– Что вас интересует? – спросила я перед уходом домой.

– Расскажите мне обо мне...

– О вас? Но я решительно ничего о вас не знаю.

– Знаете, знаете! Ещё как знаете! Я вас побаиваюсь. Вы как эолова арфа. Я только подумаю о чем-то, а вы уже это формулируете.

– Ну, если знаю, тогда получайте. Недальновидный. Недипломатичный. Талантливый. До безобразия уверенный в себе человек.

– Талантливый? Это в точку! – играючи подхватил он. – В остальном вы меня разочаровали. Не годится.

– Что ж! Так тому и быты!

Для каких-то интервью с отрывками из спектаклей нас несколько раз приглашали на телевидение. После записи на ТВ мы возвращались в театр пешком. Он доверительно рассказывал о своей семье: о жене, о матери, о детях и даже внуках.

– Расскажите теперь о себе, – попросил однажды.

– Что именно?

– Расскажите о сыне.

– Вы, я вижу, всё уже вывели у Оли?

– Я обо всём хочу знать от вас.

– Мне ничего не хочется вам рассказывать.

– Тогда интерес к вам на время отложим и вернёмся к тому, в чём вы уличили меня. Я – недалёковидный, недипломатичный, но талантливый...

«А-а! Правильно, что его заело именно это: недалёковидный, недипломатичный».

Казалось, Галицкий был целиком ориентирован на занятую в спектакле молодёжь и талантливых корифеев. Но в труппе были мастифы, переквалифицировавшиеся в партийных и месткомовских деятелей актёры. Он их игнорировал. Ни советчиков, ни союзников в них не искал. А они, собственники на советский манер, безвыездно проработав здесь не один десяток лет, считали театр своей вотчиной. Независимость «гастрольного» режиссёра их раздражала.

В открытую эта несовместимость проявила себя на обсуждении макета декораций к спектаклю «Мой белый город». Сцена была разграфлена художником на четыре квадрата-квартиры, в которых одновременно на двух этажах протекала жизнь четырёх семей. Исполнителям макет нравился. Они его сочли современным, а «хозяйева» из худсовета воинственно отвергли, назвав претенциозным и вычурным.

Возникавшая вокруг репетиций напряжённость становилась всё более грозовой. Но до мысли, что это может как-то сказаться на судь-

бе спектакля, дело не доходило. Замысел утопически-прекрасного Белого города был для Кишинёва актуален и свеж.

Владимир Александрович Галицкий был членом партии. В вопросах субординации партийной и творческой этики обязан был разбираться. Я знать не знала, что происходило на партийных собраниях театра, но раз от разу он приходил с них на репетиции все более озадаченным, если не сказать удручённым. Однажды смутил брошенным:

– Вы мой единственный здесь приход.

В выходные дни он созванивался с Олей и бывал у нее. Спрашивал иногда: «А вы к Ольге не заглянете?» Буквально на секунду как-то заглянула. Едва ли не на манер Александра Осиповича он тут же начертил стишок:

С пылу, с жару
Вбежала Тамара,
Сказала: «Я забыла тетрадку».
«Ах, как это гадко!» –
Воскликнул Володя
И выразил это в оде.

«Какое самомнение! Он в моём визите усмотрел намеренность?»

Побывав свидетелем встреч Владимира Александровича с Олей, я и Олю увидела непривычной, и его более естественным. Старше меня на полтора десятка лет, они оба принадлежали другому историческому времени. Часто перебрасывались между собой не словами, а строчками из Багрицкого, Гудзенко, Сельвинского... Героиней их лирических чувств, конечно же, была Одесса. В их воспоминаниях смекалистое остроумное нутро города, его вольный портовый дух и самобытность ничему и никогда себя не уступали. Однако побывав под властью зелёных, пережив приход австро-немецких войск и французскую интервенцию, в то время когда Красная Армия уживалась с гайдамаками, Одесса «уступила» себя советской власти – чтобы избавиться от «пестроты». Позже Владимир Александрович напишет: «Дети войны и разрухи, мы рвались к самовыявлению. Революция распахнула перед нами эти двери». Оба они с Олей – как участники «Живой газеты», «Синей блузы» – творчески и нравственно крепили эту власть молодостью, задорными куплетами, спортивными экзерсисами и художественной напористостью в пропаганде идей.

Вскоре новый режиссёр был утверждён главрежем. Его нарасхват зазывали к себе в гости актёры театра. Когда выяснилось, что у него

в феврале день рождения, многие из нас были приглашены к народному артисту В. А. Стрельбицкому, пожелавшему отметить этот праздник в своём доме. Освоившись, Галицкий представил себя всем как патриарха, окружённого семьями дочерей и внуками. Был в ударе. Неподражаемо артистично исполнял экзотические куплеты одесского беспризорника Ютки-Перекопца. Хриловатым голосом пел его песни:

Посмотрите на мене, тѣти,
На мене, молодца.
Я родился у мамы
Без посредства отца...

Рассказывал байки о том же Ютке, являвшемся во время съёмок «Броненосца “Потёмкина”» к гостинице «Лондонская» с ящиком для чистки сапог и выбивавшем щёткой приветствие, когда Эйзенштейн ставил ногу на ящик: «Эйзен едет уф Китай снимать картину “Сам пью чай”», и т. д. и т. д.

Успех Владимир Александрович имел – оглушительный.

Не согласившись с одним из распоряжений режиссёра, я однажды вспылила.

– У вас характер дикой горной козы, – припечатал он.

Я честно примерила этот образ к себе. Стало смутно. В этом, кажется, была какая-то правда. Только слишком давняя. Внешне взрывной характер не давал о себе знать – ни в наших отношениях с Димой, ни в отношениях с актёрами. Почему-то ещё больше рассердившись, я заявила:

– Не смейте со мной так разговаривать!

– Хорошо! – безмятежно и насмешливо согласился он. – А стихами определять вас разрешается? Вот такими, скажем:

Доброе сердце, светлый ум,
Тамара Петкевич – уникам...

Шуточки-прибауточки: «Ах, у неё был чудный голосок, что так прекрасен в женщине!» Они были красочны, неожиданны. Веселили душу.

Приближалась генеральная репетиция. Оговаривая вечером ту или иную сцену, я поражалась тому, как, импровизируя, Владимир Александрович мог наутро изменить ранее найденное на что-то более выразительное и оживляющее. Тяга режиссёра к подлинности оказалась снадобьем, которого в театре жаждало множество актёров. Галицкий подводил актёра к прорыву в глубину. Открывал, казалось,

что-то и в себе самом. Находки становились общими, работалось вдохновенно. Отрепетировав свою сцену, актёры рассаживались в зрительном зале, чтобы задержаться в атмосфере взаимоудивления, которая создаётся вокруг талантливых людей.

Пока директивы ЦК доходили из центра до столиц союзных республик, заряд их воспитательных намерений частично выветривался. Так, в 1959 году в Молдавии на первых порах не все поняли масштаб кампании «по борьбе с космополитизмом». Республику решили «привести в чувство». Все творческие работники были созваны на совещание в Молдавский оперный театр.

Поначалу аудитория довольно вяло слушала вводную часть доклада второго секретаря ЦК Молдавии «О необходимости идеологической чистоты и партийности в советском искусстве». Но когда докладчик стал поимённо называть писателей, которые «живут с оглядкой на Запад, являются разносчиками вредных и неугодных советским людям идей», зал поутих, внимание перешло в другой режим. А когда, уже манипулируя настроением зала, второй секретарь поднёс микрофон вплотную ко рту и буквально прошипел в него: «А мы таких ретивых – остановим! А мы им бесчинствовать и калечить сознание наших людей – не дадим! Не раз-ре-шим!» – стало уже совсем тихо и очень не по себе.

Передо мной в зрительном зале сидел один из писателей, только что причисленный докладчиком к стану «калечащих». Затылок писателя становился всё пунцовее и напряжённее. Было похоже, что внутренний оползень погробал в нём не только мысли о карьере, о шансе творить, но и ресурсы духа. Казалось, у него вот-вот случится инфаркт, инсульт...

Государство не утрачивало умения пугать человека непосредственно «в нервы и в кровь». Расхожий, беспроегршный метод века. Если ты не застолбил личных отношений с властью и обществом как союзник, не оформил их надлежащим образом партбилетом, защиты не жди, а нападение гарантировано. Предводителей подобных собраний увлекала и тешила односторонность «коррид». Большинство из присутствующих такое переносилось, как физическое испытание. Мною, в частности, как – мор.

После совещания все расходились подавленные. Режиссёр обратился ко мне:

– Зайдём куда-нибудь выпить кофе, помолчать.

За чашкой кофе спросил:

– Вам не кажется, что мы с вами, как два зверька, забились в логово и слушаем мир, прижавшись щека к щеке? Какой же он грозный...

Мир – грозный. Вестимо. Но он-то откуда знает это?

Многочисленность комиссии, прибывшей в театр на сдачу декадного спектакля «Мой белый город», недвусмысленно говорила о полезности взбучек, подобных устроенной на совещании в оперном театре. Видно было, что члены комиссии готовы «нести ответственность за идейное содержание спектакля». У-у, сколько запретов и разгромов пережил за эти годы театр!

Спектакль «Мой белый город» был прекрасно организован, смотрелся с интересом. Наскрести претензий к режиссуре не удавалось. И тогда (не без участия Союза архитекторов) подготовленная для разгрома комиссия дружно обрушилась на пьесу. Пьесу обвинили в «прорумынских настроениях». Откуда? Причём тут это? Разве что чутьё к свободному дыханию вообще? Оно у подобных комиссий было безшибочным.

Спектакль был разрешён к показу на публике не более пяти раз. Везти его на декаду молдавского искусства в Москву запретили.

Фактически правительство республики вынесло приговор молодому драматургу Эдлису. Здесь не шутили. Талантливый автор вскорее покинул Молдавию. Уехал в Москву. До того Молдавию покинул один из самых пленительных и оригинальных драматургов – Ион Друцэ. А ведь будь тогда услышаны его сигналы SOS, жизнь бы так не перекосилась, кое-что можно было бы ещё подправить.

Чтобы запрет спектакля не стал причиной отмены поездки театра в Москву, высшие инстанции решили поменять лошадей на переправе. Срочно искали новую пьесу.

– Сбежим куда-нибудь от всех? За город? Хоть на пару часов? А? – предложил режиссёр.

Шатаясь по промёрзлым, ещё не оттаявшим весенним холмам среди виноградников, мы говорили о чём попало, обо всём на свете. Он подробнее рассказал о себе. Женат не единожды. Две дочери от разных жён. У старшей дочери уже два сына. Обожает своих внуков. Жива старая мать, которую он любит и чтит. Кто жена? Бывшая балерина. После замужества переквалифицировалась в драматическую актрису. «Не умеет быть нежной, – посетовал он. – Не любит книг. Говорит, что в доме от них дышать нечем. И все у неё подлецы, негодяи. После её откровений вокруг какая-то пустыня и трудно что-то начинать...»

У дороги стояла харчевня. Шофёры с аппетитом уплетали шашлыки и мититеи. С любопытством поглядели на чужаков. Понимаяще ухмыльнулись, потеснились, когда мы искали, куда бы поставить тарелки.

– Приезжие?

– Так точно.

– Вкусно? – заговорщицки подмигнули.

– Отменно, – ответили мы.

– То-то! Правильная, значит, братва, – одобрила нас компания. – Только без молдавского вина не тот коленкор. Да и красный перец будет к месту.

Расставшись с шофёрской компанией, мы ещё парили в свободном полёте.

– Самое главное для меня – Искусство, Театр, ставить спектакли, – доверительно делился самоустройством Владимир Александрович. – Любовь – это воровство у Искусства.

И галантно добавил:

– Я ставил спектакль – для вас.

После судорожных поисков Министерство культуры Молдавии предложило Владимиру Александровичу к постановке пьесу другого местного драматурга, Дариенко, – «Когда зреет виноград».

– Вы, надеюсь, не бросите меня на съедение хищникам? – обратился он ко мне.

Надо было бросить. Не бросила.

«Сработать» пьесу требовалось быстро. Отменили все спектакли. Репетировали днём и вечером.

Ему особенно удавались массовые сцены. Для эпизода колхозного собрания он создал экстравагантную партитуру с таким схлёстом идейных и человеческих интересов, что всё засверкало.

Как-то режиссёр диктовал мне поручения к следующей репетиции. Я торопилась домой. Записав всё в блокнот, попрощалась, пошла к дверям и вдруг услышала... в непредусмотренном регистре в спину мне тихо и раздельно произносилось:

– Куда же ты уходишь? Куда же так бежишь, моя реченька?

Мне?.. Я?.. Так вкрадчиво, так рассчитанно бесшумно... Разрушая все способы защиты, взломали потайную дверь... На то заветное, что оставалось непризорным, неприютным в сердце, петлю накинули.

Не «ты» пригвоздило. «Реченька» распяла!

Не на колени встать, не «люблю» сказать, а всего-навсего «реченьку» изобрести? И, как о риф, распорол «реченьку» на два ру-

кава. У каждого из них своя неизбежность, разный рельеф. Глубина – схожая.

Первой спохватилась Оля.

– Вам надо кончать всё, что касается ваших личных отношений. Он так смотрит на тебя, Томик. Ты ему нужна. Но он боится и одного, и другого, и третьего. И страх, ты обязана это понять, страх сильнее его, – была она тревогу.

Страх перед «одним, другим, третьим»? Отнести это ко мне было, кажется, правомернее, чем к нему.

Неумышленно, произвольно он уже успел нанести мне не один удар. Иные его слова и поступки, кроме недоумения, отрицания, ничего не вызывали.

Уже приезжала его жена. Пробыла около месяца. Он умудрился обратиться ко мне с несусветной просьбой: «Прочтите письмо нашего знакомого к ней и скажите, как вам кажется: есть у него роман с моей женой или нет?» Я, помертвев, отвела его руку с письмом: «О чём вы? Что с вами?» Затем он отнял сказку прогулки по холмам: «Не гулять нам надо было, а в райкоме отстаивать свою правоту».

Иногда казалось, что он намеренно представляет себя как физическую карту Земли: «Вот, мол, мои заоблачные пики, на которые другим не взойти. А это, простите, низины, но так уж устроен мир, и так устроен я. Прошу любить и принимать меня таким, каков я есть». Самым же невероятным было то, что, оглядываясь на только что им поломанное, я не ощущала повреждений в целом.

– Уедем куда-нибудь! – сказал он как-то. И тут же поправил себя: – Ведь если я уйду из семьи, мне дети никогда этого не простят. Они хотят брать пример с отца. А если не поступок, тогда что у нас остаётся? Тайные встречи?

Он был бесцеремонно прямодушен. Всё выговаривал вслух. Эгоцентризм? Непосредственность ребёнка? Да. Это была встреча с очень чистым и неискушённым человеком. Повсечасно задавая себе один и тот же вопрос: «Почему всё так серьёзно?», я находила лишь один ответ: это несчастье тоски – по несбывшемуся, по единому языку, по единому делу.

И всё-таки я считала себя сильнее случившегося, считала, что справлюсь с непредугаданным и непонятным пленом, потому что никакой это не было любовной историей, тем более – любовным уга-ром. А чем было? Наверное, магией и властью таланта.

Внешне в нашем с Димой доме всё пока оставалось спокойно. Как-то, вернувшись после спектакля, застала сиротскую картину. Дима

сам пришивал оторвавшуюся от рубашки пуговицу. И вдруг всё увиделось в реальном свете: «Я причиняю Диме боль? Не хочу, но причиняю. Я в роли виноватой?!»

В те же дни на почтамте столкнулась с учеником Димы по консерватории:

– Можно я вас провожу? – попросил он.

– Проводите, Сенечка.

От его следующей фразы показалось: лишусь сознания.

– Тамара Владимировна! Вы ведь не обидите Дмитрия Фемистоклевича? Верно?

Значит, я уже нахожусь в фазе скандала? Меня просит опомниться студент мужа? Все всё знают? А сам Дмитрий Фемистоклевич? Почему он молчит?

Он только заметил:

– У тебя такое выражение лица, будто случилось что-то ужасное. Что?

«Разве со мной что-то случилось? – подумала я тогда. – Нет. Мне плохо. Мне смутно и больно, но случилось? Нет. Не со мной».

Потом меня встряхнула приехавшая ко мне подруга юности Ли:

– Тамара, ты сошла с ума. Тебя несёт амок. Опомнись. Остановись.

До меня издали дошло одно из слов этой правды: «несёт». Но я уже ничего не могла с собой поделать.

Русский драматический театр находился под неусыпным партийным контролем, что было тогда в порядке вещей. Мне передали, что в горкоме партии рассуждали: «Правомерно ли *выдвижение* Петкевич в ассистенты режиссёра?»

«Выдвижение в ассистенты? Разумеется, неправомерно! – прокомментировала я про себя. – Это же прямой выход к платформе идеологической диверсии... Но если бы вы только знали, насколько мне безразличны ваши штампы».

Безразличны-то безразличны, но при моём опыте я обязана была ощущать за ними опасность. И я ощущала её. Остро ощущала. Только относилась её к неминуемой разлуке с тем, кто дал мне почувствовать, что я тоже не без таланта, что мои силы могут на что-то согнуться, а мне это нужно, а мне необходимо это, как воздух.

Шла репетиция. Мы сидели в зрительном зале в одном ряду, разделённые проходом. Я следила за происходящим на сцене, но, почувствовав, что он неотрывно смотрит на меня, повернулась и... замерла. Взгляд был полон ничем не прикрытого страдания и муки, муки, в чём-то даже превышающей мою. Так мог смотреть человек, всерьёз охваченный любовью.

– Мне показалось, что ты с мукой смотрел на меня, когда мы вчера сидели в партере? – сказала я ему на следующий день.

– О, нет! Тебе не показалось. Я хотел, чтобы ты поняла, как мне больно и страшно при мысли о нашей разлуке, – ничего уже не пряча, ответил он.

Оля пересказала их разговор накануне:

– Он говорил, что ты удивительный человек, читаешь его, как открытую книгу. Умеешь выгнать из него всё лучшее, а жена – всё неудачное, во что и тычет его носом. Говорил, что оставить семью не может, что это будет скандал. Когда я сказала, что и Тамара на это не пойдёт, он вспыхнул и спросил: «А почему бы ей не пойти?» Я ответила: «Потому что она, как и ты, не захочет ничего строить на несчастье своего мужа и твоей жены».

Секретарём парторганизации театра на новый срок была избрана мой молодой друг, умница Нелли Каменева. Непосредственно перед сдачей нового декадного спектакля она повела плечами, как при порыве ветра, заметив своим красивым низким голосом: «Не по себе что-то». Оброненная фраза обрела смысл, когда я увидела, сколько разного люда опять прибыло в составе комиссии.

Спектакль на сей раз был благополучно принят. Спокойная процедура приёмки подходила уже к концу, как вдруг с места поднялся бывший парторг – тот самый, который сказал: «Торопятся они с реабилитацией врагов!» При полном сборе городского начальства из райкома, обкома, ЦК партии он возжаждал дать выход снедавшему его бешенству:

– Говорите, Русский театр едет в столицу на декаду? А русский ли?.. Мне лично не-при-ят-но, что в Русском драмтеатре, где я работаю, главный режиссёр – еврЭй, режиссёр-постановщик – еврЭй, секретарь парторганизации – еврЭйка, главный администратор и просто администратор – тоже еврЭи...

Желчь, исходившая из оскорблённого еврейским засильем народного артиста, хлестала через край. Он, видимо, по очереди ненавидел когда-то «кулаков», потом «врагов народа», затем «космополитов», теперь – евреев!

Не успев подыскать формы тому, что бросилось в голову, я, задохнувшись, вскочила:

– Так изменились установки партии? В сорок третьем году за антисемитизм судили. В пятьдесят третьем дело о «врачах-убийцах» признали сфабрикованным. А сейчас публично, при всех, людям швыряют в лицо «еврЭй», и это возможно? В чём их обвиняют? В чём?

Здесь сидел труженик – главный администратор Ларский, днём и ночью пекшийся о том, чтобы в театре были сборы; Нелли Каменева, не соглашавшаяся с трафаретами решений по жгучим вопросам жизни театра и едва ли не на каждом собрании просившая записать в протокол её «особое мнение». Здесь присутствовал Евгений Владимирович Венгре, который пригласил меня в театр. И тут сидел человек, на лице которого я не хотела видеть боли, которого хотела защитить, не могла не защитить...

– Вам никто не давал слова, – кричал с председательского места директор. – Объявляется перерыв! Перерыв!

– Как вы посмели... в присутствии начальства? – подскочил он ко мне. – Кто вам дал право говорить за всех нас?.. Да мы... Да нас... Да мы – океан! – захлёбывался «опозоренный» мною перед городским начальством директор театра.

И, не владея собой, не узнавая себя, я бросила ему:

– Это вы – океан?! Вы – лужа!

Горячее для взрыва накапливалось слишком долго. Взрыв вмиг разнёс всё в щепу. Не осознав случившегося до конца, я почувствовала: всё кончено, всё.

Группа человек в восемь во главе с заслуженным артистом С. М. Некрасовым и Н. И. Каменевой отправилась на следующий день в ЦК партии просить «оставить режиссёра Галицкого в театре, чтобы сохранить достигнутый при нём творческий уровень».

Увы, Галицкий сразу после собрания подал заявление об уходе.

Во многое посвящённая Галочка Ястреба принесла мне утром письмо от готовящегося к отъезду Владимира Александровича.

Пьеса Торнтон Уайлдера «Наш городок», в которой адресат был означен схожим образом, ещё не была тогда переведена на русский язык:

«Вселенная.

Галактика.

Солнечная система.

Планета Земля.

Моей возлюбленной.

...Впервые в жизни я думаю о женщине, грежу о женщине, вспоминая не лицо её, не её тайны... Я мечтаю о тебе целиком, о твоём дыхании и словах, о чём-то бережном и тёплом... Вчера я закрыл глаза рукой, они у меня просто устали от света, а открыв их, поймал твой взгляд, полный тревоги. Так смотрит мать на своего ребёнка. Так смотрит Жизнь. Этот взгляд храню, берегу и сейчас. Боже! Где я был все

эти годы, что делал, чем занимался? Я не пережил ни одной минуты счастья. Всё это были грубые суррогаты, и я ими довольствовался... Ты одним взмахом руки высекла во мне человека. Сейчас я не знаю, как защитить найденное, как оберечь полученное. Это никому нельзя объяснить. Это можно понять или не понять. Слова “любимая”, “родная” ничего не значили. Я их произносил, оскверняя имя Божье. Я и сейчас бываю жалок, труслив и груб. Это от растерянности. Я не знаю ещё, как обращаться с твоей вселюбовью, всепреданностью, всеотдачей. Роняю и порчу. И снова хватаю руками и прижимаю к своей груди, чтобы не отняли.

В пятьдесят три года начать совершенствоваться как человек? Так поздно? И какая нехватка ресурсов! Где они? Куда я их расшвырял? Звук твоего голоса прекрасен, касание твоих рук нежно, но всё это ничего не значит по сравнению с твоей непостижимой способностью угадывать мои мысли, поправлять мои поступки, подхватывать всё то, что ещё осталось во мне большого...

Спасибо тебе. Я твой неоплатный должник. Благодаря тебе я многое узнал и перечувствовал. Все, что ты мне дала, так ново, так прекрасно, что я готов на коленях просить у тебя прощенья за каждый неверный, неумный, трусливый шаг. Пойми, я вошёл в страну, в которой никогда не был. Я не знал, как себя вести. Прости меня заранее за всё, что я причиню тебе по неведению или необходимости. Знаю только одно: без тебя – не могу.

Я люблю тебя. Пожалей и пойми. Ты, только ты одна способна на это. Ты выше всех. Ты всеобъемлюща и мудра. Откуда в твоей головке, покрытой волосами цвета спелых колосьев, всё это? Откуда? Как создаются эти земные сосуды-хранилища человеческих богатств? Мне стыдно за всё благополучие, которое мне выпало в жизни. Я хотел бы уравниваться с тобой в страданиях. Ты сильна и уничтожила всё позорное благоразумие моего существования.

Тяжело! Страшно. Не могу больше писать... В.»

Когда-то Оля после разгромного собрания на Киевской киностудии постучала в номер Александра Осиповича, чтобы ему не было так страшно и одиноко. После антисемитского собрания я поехала проводить Владимира Александровича до Одессы.

Господи! Неужели в жизни двух смертных людей были те несколько часов пути по автодороге из Кишинёва в Одессу? Заливавший всё вокруг лунный свет превратил её в околоземную орбиту.

Ничего, кроме молчания вдвоём, не помню.

Огромные окна гостиницы «Лондонская», в которой мы сняли два номера, выходили на набережную, на море и порт. Всю ночь в порту скрежетали и лязгали железные уключины ленивых кранов, переносивших в ковшах груз.

Человеконенавистнический текст на собрании, тут же поданное заявление об уходе не просто выбили Владимира Александровича из колеи. Я и представить себе не могла его таким растерянным и уязвлённым.

Усевшись на широченный подоконник, мы пытались понять: во что ещё можно верить, кроме себя?

Днём сидели на пустынном пляже у холодного майского моря. Он умело, со сноровкой одесского подростка швырял в воду камушки. Они трассировали параллельно морской глади, касались её вдали и тонули.

– Откуда ты такая взялась? – спрашивал он. – Что нам теперь делать? Этот жанр – не для нас! А какой – для нас? Скажи. Если бы четыре месяца назад мне кто-нибудь поведал, что я в свои пятьдесят три года так полюблю, я бы смеялся... Ты – жизнь. Ты – дар. Ты – радость.

Я напомнила ему: «Главное в жизни – Искусство, Театр. Любовь – воровство у Искусства».

Расставались мы – навсегда.

Он уезжал к огромной семье: матери, жене, дочерям, зятьям, внукам; к толще прожитых лет.

В аэропорту перед отлётом сказал: «Буду писать». То же пообещала и я.

Ярко-голубая даль поглотила взлетевший самолет.

Обратная дорога в Кишинёв тоже стала далью.

В театре уже был вывешен приказ об увольнении. Чтобы это не выглядело выпадом против меня одной, под «сокращение штата» подвели ещё четверых. Даже Беллу Рабичеву – яркого таланта актрису. Нас, неправовверных, не просто уволили, а буквально выставили за порог театра.

Рухнула наша неправдоподобно спокойная с Димой жизнь. Когда-то я больно расшиблась о его погружение в одного себя. Слава Богу, хватило умения понять: такова его натура. Сначала были с ним друзьями. Оставшись одинокими, нечаянно были поддеты страстью. А позже стали друг для друга братом и сестрой.

Я отлично понимала, что дом, которым мы жили эти семь лет, был бесценен. Мы многое преодолели во имя того, чтобы в нём лечиться

миром после зла и ненависти лагерных структур, после проведённых на Севере лет. Мы никогда с Димой не ссорились. У нас была музыка. Была тишина. И что-то из большого постепенно заживало.

Я отчаянно, безудержно заплакала, когда он сел рядом и, не называя имени, спросил:

– Ты полюбила?

У меня было одно право – сказать:

– Димочка, родной мой! Прости меня! Я всё порушила. Прости!

Уже сейчас, разбирая архив, споткнулась о два письма, написанные Владимиру Александровичу Олей и, как это ни покажется странным, её соседкой, лейтенантом Н. Обе просили его об одном и даже схожими словами: «Друг! Пожалуйста, прекрати писать Тамаре. Поставь точку. Она на краю. Она умрёт. Не допусти этого».

Я правда была «на краю».

Мне предложили работу в радиокомитете Кишинёва редактором на телевидении.

Скандалным выступлением на антисемитском собрании, историей с Володей, увольнением я поставила Диму в двусмысленное положение. Расчесть всё случившееся я тоже должна была сама. И не здесь.

Реабилитация разрешала вернуться в Ленинград. Я собралась.

Отправилась в театр. Забирая в канцелярии театра трудовую книжку после пяти проработанных здесь лет, расписываясь за неё, слышала взрывы дружного смеха в актёрском фойе. Там кого-то разыгрывали.

Так же, как и в Шадринске, после увольнения Димы, наше прощанье с ним оказалось невыносимо тяжким.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Списаться со своей ленинградской подругой – прозаиком и драматургом Ниной Владимировной Гернет, испросить для меня позволения пожить у неё до получения площади по реабилитации было инициативой Оли. Её напутствие: «Поезжай к Нине. Нинка человек замечательный!» – дублировавшее сказанное в Микуни Борисом: «Езжай к Ма. Узнаешь её, полюбишь», – холодком прошлось по сердцу: доколе?

В лагере перемещения с одного места на другое от человека не зависели. Но на свободе? Проистекало ли это по собственной воле, по воле характера? Или я следовала скрытой, но неумолимой указке судьбы?

Мы с Ниной Владимировной познакомились в предшествующие мои визиты в Ленинград и в Одессу. От встречи к встрече её реноме «замечательного человека» только прибавляло в весе. Нина Гернет была из плеяды тех крупных натур, которые не уступают своих нравственных основ никаким веяниям времени.

Олю, Нину и Володю связывала всё та же одесская молодость и участие в «Синей блузе». Когда пора задиристых куплетов и физкультурных пирамид себя изжила и сменилась опасностью пострадать за «связь с врагами народа» (недавними товарищами, оказавшимися в ссылках и лагерях), не затронутая репрессиями Нина Гернет не поддалась страху. Она не оборвала переписки не только с Олей, но и с арестованным Александром Осиповичем. Более того, по его просьбе она присылала в зону для кукольного театра Тамары Цулукидзе пьесы, которые писала для детей, и посылки с лоскутами и мишурой для пошивки кукол.

В коммунальной квартире на Петроградской стороне ей принадлежали две комнаты.

– Занимайте комнату сына, – сказала она мне. – Он с женой и детьми живёт в другом месте.

Вряд ли я хорошо продумала, на что могу рассчитывать, возвращаясь жить в родной город спустя двадцать лет.

Перейдя Тучков мост, пешком доходила до дома на 1-й линии Васильевского острова, в котором наша семья жила до войны, заходила

в нашу парадную, прислонялась к стене, ожидая таинства совмещения себя с прошлым. Такового не случилось. Брела к зданию школы на углу 4-й линии и Среднего проспекта, где училась, но, кроме ощущения минувшего времени, ничего не возникало. По отдельности я с каждым из срезов своей жизни была связана намертво, а в одно они не сводились. Надеялась на сказку, в которой порубленное окроплялось живой водой и срасталось: а вдруг?

Известно, что о чиновничьи рогатки, вкоренённые в жизнь страны, разбивалось немало судеб. Чтобы устроиться на работу, необходима была прописка, а чтобы прописаться, надо было иметь работу. В моём случае эта сцепка осложнялась ещё и тем, что, уезжая из Кишинёва, я оттуда не выписалась. Как реабилитированные, мы с Димой вот-вот должны были получить отдельную квартиру. Выписаться значило обречь Диму на жизнь в общежитии, чего я допустить не могла.

По прошествии трёх месяцев после моего отъезда Дима телеграфировал, что очередь подошла. Я отправилась в Кишинёв, прописалась в новую квартиру, помогла Диме наладить быт и только после этого отдала там паспорт на выписку.

Готовность Нины Владимировны Гернет временно прописать меня на свою площадь дала возможность заняться теперь своим обустройством в Ленинграде. Однако я возвратилась, когда пик кампании по постановке реабилитированных на очередь прошёл. Потребовалась уйма дополнительных справок и документов. Сложности умножались. Всё бы, вероятно, на том и застопорилось, если бы не загадочные повадки жизни.

Это было года два назад, в Кишинёве. Я готовила обед в кухнекоридоре театрального общежития, когда открылась входная дверь и вошедший, лет за пятьдесят мужчина, спросил: «Не подскажите ли, где можно найти Тамару Владиславовну Петкевич?»

Это был друг ленинградской художницы Елизаветы Георгиевны, обучавшей меня в юности росписи батиком. Друзья называли его Дод. Когда-то в её доме, указав на меня глазами, он сказал ей по-английски: «Я очарован ею». Затем, помнится, без приглашения, пришёл к нам в дом. Попросил угостить чаем. Пока я ходила на кухню, без церемоний вытащил из ящика ученического стола мой дневник. Успел прочитать несколько страниц. Я была рассержена, оскорблена. Он снисходительно и несерьёзно извинился. Потом отбыл в длительную служебную командировку в Мурманск. От него приходили «умные» письма. Это он учил меня смеяться над самой собой; остерегал от

«пленительного болотца привычек и вещей», которые затягивают человека так, что воля его слабеет и ему становится всё труднее проваться к самому себе – такому, каким его замыслил Бог.

Через восемнадцать лет мы не сразу узнали друг друга. Растерявшись от неожиданного визита, я стала расспрашивать, каким образом он очутился в Молдавии.

– Всегда узнавал о вас у Елизаветы Георгиевны. И о постигшей вас катастрофе тоже знал от неё. А сейчас от переводчицы Марии Адольфовны Колпакчи услышал, что вы живёте в Кишинёве. Вот и приехал узнать, счастливы вы или нет. Если нет, то буду просить вас выйти за меня замуж.

– Счастлива, – ответила я. – Даже очень. А вы?

– А я, как видите, за вами приехал.

– Как Елизавета Георгиевна?

– Елизавета Георгиевна умерла.

– Когда?

– Полгода назад. Очень мужественно уходила из жизни.

Пришёл с работы Дима. Они познакомились. В общей сложности Дод просидел у нас много часов. При прощании сказал:

– Пожалуй, вы сказали правду, что счастливы. Я когда-то грезил вами. Но уж слишком вы были юны. Коли так, то знайте, что у вас имеется давний, очень настоящий друг. Будете в Ленинграде, непременно дайте о себе знать.

К календарным праздникам Дод присылал поздравительные открытки. Через недолгое время оповестил, что женился, жена славный человек, работает в редакции одного из ленинградских журналов.

Теперь, в Ленинграде, когда главный из вопросов – получение жилплощади – повис в воздухе, именно он вызвался помочь:

– Мой однокашник – серьёзный начальник. Уверен, он сделает всё, что нужно.

Вот уж что было не по душе, так это «серьёзное начальство». Отказывалась. Не хотела принимать такой выручки. Но точка, на которой всё застряло, в самом деле оказалась мёртвой.

В назначенный день и час однокашник Дода принял нас в своём огромном кабинете, окружённый несколькими телефонными аппаратами:

– Петро, тут во что бы то ни стало надо помочь одному человеку. Такой, понимаешь ли, случай, – рокотал он в телефонную трубку председателю того райисполкома, где я была поставлена на учёт. – Ну, опоздала чуть-чуть. Не делай из этого проблемы. Каким-то бо-

ком мы с тобой тоже в ответе за эти дела. Поставь её на очередь. Заделано? Договорились? И перезвони мне. А с твоей просьбой – ажур. Ясно? Тогда – лады!

И мне, уверенно и вельможю:

– Всё устроится лучшим образом, землячка! Ни-ко-му больше не дадим в обиду такую красоту. Ждите. И не сомневайтесь!

В разговорах между заключёнными жизнь государства часто ассоциировалась с образом «парохода», поплывшего не в ту сторону, куда предполагалось. И меня удивляло, когда вину не пароход, а себя – за то, что сели на него, не разобравшись. Вот пароход и плыл: и не по лоцманской карте, и не по звёздам. И закон заменялся по ходу круговой порукой.

До того, как Оля попросила Нину Гернет помочь мне, Александр Осипович – незадолго до смерти – порекомендовал ей Хеллу Фришер.

Вместе с писательницей Энной Михайловной Аленник они усадили Хеллу за стол и сказали: «Пиши! Обо всём, что прошла. О своей Чехии, о том, как бредила идеями коммунизма и красной Москвой. Пиши о разгроме Коминтерна и как выбрасывалась с баржи в Выгегду, когда везли этапом в Коми АССР. И о том, как тебя спасли такие же арестанты, пиши тоже».

Хелла взялась за перо. Стала часто наезжать из Москвы в Ленинград. Подолгу гостила у Энны Аленник. Прекрасные, умные женщины – литературовед Тамара Юрьевна Хмельницкая и переводчик Эльга Львовна Линецкая – одобрили наброски иностранки.

Потом Нина Гернет привлекла Хеллу к переводам пьес для театра кукол. С чешского языка на русский и наоборот. Брала Хеллу с собой на «кукольные» фестивали.

Приодетая своими новыми друзьями, молодыми москвичками, весившая не более сорока килограммов Хелла преобразилась. Вспомнила природную смешливость и что была «европейской женщиной». Я поинила, как уволокивала её с сумрачного вокзала Микуни, откуда она будто бы уезжала в Прагу, помнила отчаяние её ежевечерних рыданий в нашей с ней микуньской комнате и теперь на вопрос: «Как вы находите Хеллу?», запинаясь, отвечала: «Чудо!»

Я понимала: возрождение Хеллы – всплеск. Но для неё оно было реальностью, явью! Мы бываем прозорливы в дружбе, постигаем глубину трагического мироощущения друзей, но умудряемся при этом не догадываться о блеске их натуры.

Однажды, когда я навещала Хеллу в московской больнице, она попросила нагнуться к ней поближе: «Знаешь, психиатр сказал, что отси-

девшим в тюрьмах и лагерях всё равно надо кончать с собой, даже если удалось выжить». Исходивший из озабоченности «здоровьем нации» циник-врач, возможно, был прав. Допускаю. Но для собственного спасения и здоровья ему следовало бы это посоветовать режиму.

В ожидании жилья, с плачевными результатами поиска работы, я плохо справлялась с образовавшейся брешью в судьбе. Держалась благодаря деликатности Нины Владимировны, благодаря её умному и ясному дому.

Богатством жизни Нины Владимировны была её нерасторжимость с сыном Эриком, инженером-физиком по вакуумной электронике, отношения с преданной невесткой и двумя одарёнными внуками. Старший сочинял рассказ о царской семье. Младший обладал уникальной способностью умножать в уме четырёхзначное, пятизначное число на любое другое и тут же выдавать результат. Бывали случаи, когда мы оставались с ним вдвоём. Как-то я злоупотребила его даром: «А сколько будет, если умножить столько-то на столько?» Шестилетний человек подошёл ко мне вплотную, посмотрел с любопытством в глаза и озадаченно спросил: «А ты что, сама считать не умеешь?» Цветными карандашами он нарисовал однажды что-то невообразимо яркое и сумбурное. Я похвалила, но оплошала с вопросом:

– А что ты рисовал?

– Неужели не понимаешь?! Красоту!

И, наконец, я была полностью им дисквалифицирована как компаньонка, когда одно из яиц, которые я отваривала для него в кастрюле, оказалось тухлым, лопнуло и заполнило кухню смрадом. Он затопал на меня ногами: «Ты не умеешь варить яйца!» И всё это ратовало как знак домашнего, семейного уюта.

За окном в моём родном городе тихонько падал снег. В книжных шкафах уютно теснились книги. Я составляла их каталог.

Автор сказок, киносценариев для детей, пьесы «Волшебная лампа Аладдина», которая много лет шла в театре Образцова, Нина Владимировна Гернет с 1932 по 1937 год работала заведующей редакцией детского журнала «Чиж». Не знаю, было ли это истинным её призванием или эмиграцией творческого духа в воспитание детей искусством, но созвездием таких имён, как Маршак, Хармс, Бианки, Конашевич, Шварц, и многими другими была в те годы создана блестящая детская литература.

Люди этого круга общались между собой на совершенно особом языке, включающем в себя озорство ума, тягу к игре, единомыслие

и доверие друг к другу. Неподражаемый стиль отношений запечатлён в дарственных надписях на книгах. При желании в них можно вычитать судьбы и сюжеты времени.

...И жизнь его нельзя сравнить с малиной.
Что сделано – то сделано *дежа*.
Но лезть из кожи вон? Хотя бы из ослиной? –
Ей-богу, лучше выпускать «Чиж»!

Под посвящением – «Достопочтенной Нине Владимировне от двух переводчиков сразу» – фамилии: А. В. Фёдоров, Л. В. Успенский.

Вручая Н. Гернет свою книгу «Слово о словах», Лев Васильевич Успенский написал:

«Дорогой Нине Владимировне Первой от СЛОВО-извергающего автора:

...Но подойдут иные времена,
Я поднесу не «Слово» – ИМЕНА.
Тогда не будут больше строки голыми.
Я их искусно оснащу глаголами...

А вот исповедь Евгения Львовича Шварца:

Я прожил жизнь свою неправо, Уклончиво, едва дыша, И вот – позорно моложава Моя лукавая душа.	А я всё боли избегаю, Да лгу себе, что я в раю. Я всё на дудочке играю Да тихо песенки пою.
Ровесники окаменели, И как не каменеть, когда Живого места нет на теле, Надежд на отдых нет следа.	Упрекам внемлю и не внемлю. Всё так. Но твёрдо знаю я: Недаром послана на землю Ты, лёгкая душа моя.

С исповедью сосуществует его же смешливая записка:

Здесь живёт Гернет, у которой ничего спиртного нет.
Был виноград, да и тот кем-то сожрат.
Наверное, ел её хахаль,
На голове у него кепка, папаха ль,
Всё равно ему в доме творчества – не место...
Писательница – всё равно что Христова невеста...

*(Записано в посёлке Комарово
у сказительницы – Акулины Бодлер)*

Из комнаты, в которой писали в соавторстве свои книги Нина Владимировна и Григорий Борисович Ягдфельд, периодически раздавались взрывы смеха. Им славно и слаженно работалось. И дружба их была добротной и доброй.

В доме Нины Владимировны бывал прекрасный актёр – Фёдор Михайлович Никитин. Приходили актёры из Театра сказки и директор этого театра – Георгий Натанович Тураев. Приезжал сын Бориса Пастернака Евгений Борисович. Дружила она и с актрисой Театра комедии Елизаветой Уваровой.

Зимой Нина Владимировна ездила на несколько дней в писательский Дом творчества в Комарово. Как околдованные, стояли там под снегом высокие сосны; всё было белым-бело, в сугробах. На край форточки присаживались синицы.

Приезжая к ней в Комарово, я познакомилась с Ольгой Фёдоровной Берггольц. Мы гуляли с нею по молчаливым дорогам. Нетрудно догадаться, что темой разговоров было одиночество. А ещё вели речь о том, как «На собрание целый день сидела – то голосовала, то лгала. Как я от тоски не посидела? Как я от стыда не померла?..» О том, как «праведники наши надоели, как я наших грешников люблю!»

Когда она бывала нездорова, возле её постели в тарелке появлялась клюква, и она устало говорила: «Я сегодня неконтактна».

Друзья Нины Владимировны пытались мне помочь в поисках работы. Григорий Борисович Ягдфельд попросил главного режиссёра Театра комедии Н. П. Акимова принять меня для беседы.

Хелла и Энна Михайловна Аленник обрывали телефон:

– Как ты причесалась? Что надела? Мы подобрали тебе тут кое-что к твоему серому платью... Забегу... Примерь... Это украсит.

– Держитесь уверенно. Не тушуйтесь! – советовали другие.

– Перед тем как идти, выпейте крепкого кофе, – подкидывал совет ещё кто-то.

Николай Павлович Акимов принял меня более с человеческим любопытством, чем с профессиональным интересом:

– Сколько же вам было, когда вас арестовали?.. И сердце не дрогнуло посадить такую молоденькую, продержат там столько лет! А расскажите, что, собственно, мог представлять собой лагерный театр?

Слушал он увлечённо. В заключение предложил подыскать партнёра и показаться худсовету в каком-нибудь отрывке.

Звонили режиссёр ТЮЗа З. Я. Корогодский, режиссёр А. М. Поламишев, ставивший в Театре имени Ленсовета тот самый «Мой белый город» Ю. Эдлеса, который был запрещён в Кишинёве. Позвонил актёр БДТ Григорий Гай. Ссылались все на два имени: «Получил письмо от Владимира Александровича Галицкого с просьбой помочь вам устроиться в театр. Рекомендует вас как прекрасную актрису»; другие называли имя бывшего главрежа кишинёвского театра Евге-

ния Владимировича Венгре, который «так вас описал, что хочется просто увидеть». В общем и целом, всё свелось к одному: «Найти партнёра и показаться худсовету».

В тот очередной смутный период жизни я была особенно натянута и напряжена. Чувствовала себя недостовойной, зачехлённой в брезент. Для показа была негодна. Да и не тешила себя иллюзией, что в тридцать девять лет мною как актрисой заинтересуется какой-либо из ленинградских театров. Из-за состояния привычной неуверенности мысль о показе отодвигалась всё дальше и дальше, пока не превратилась в дым. Постепенно отстоялся вполне справедливый подход к вопросу работы: можно устроиться работать реквизитором, костюмершей. А почему бы и не администратором?

Школьный друг Давид собрал у себя дома одноклассников, оставшихся в живых после войны. Желая устроить сюрприз, меня в затею не посвятил, а не виделись мы двадцать три года. Поначалу я своих одноклассников не узнала, приняв их за семейных друзей Давида и Лизы.

Вместо общепринятого госта за встречу соученик Боря Магаршак, подняв бокал, обратился ко мне: «Если можешь, прости нас, Тамара, за то, что после ареста твоего папы мы подняли на собрании руки за твоё исключение из комсомола». Двадцать три года школьные друзья несли это в себе как вину?

Одноклассники сочувствовали тому, что я не имею жилья и работы. Верный друг Давид предложил устроить меня фармацевтом в аптеку. Однако Григорий Гай уговорил писать вместе с ним сценарии для радио и телевидения. Работа была «разовая», но я решила попробовать.

Подмечая оттенки моего настроения, пожилая соседка по квартире бойко резюмировала:

– Не залюбил вас *наш* город, не за-лю-бил...

Ежедневно встречаясь с нею на кухне, я внимательно слушала её рассказы о блокадных месяцах, пережитых ею в Ленинграде; о том, как при налётах на город один из немецких лётчиков, снижаясь над окопом, который они рыли, подавал предупреждающий знак рукой: «Разбегайтесь. Сейчас начнём бомбить». Думая о гибели сестры и мамы, рывшей, как и она, окопы в блокадном городе, об аресте отца, о собственной «одиссее», можно было согласиться с тем, что *её* город «не залюбил» нашу семью.

Старую женщину отличала необычайная вёрткость и энергичность. Умозаключения её причиняли боль, а боль заставляла полемизировать. Скрепя сердце я вызывала к жизни призраки *моего* города.

Приезжая после освобождения в Ленинград, исхаживая любимые уголки и улицы, я непременно доходила до площади Искусств. Однажды, зайдя за угол улицы Бродского, лицом к лицу столкнулась с оркестрантами, выходящими на перекур из здания Филармонии. Кто-то говорил: «Здравствуйте», кто-то просто приветливо кивал головой. Почти всех знала в лицо и я. Не персонально, нет. «Петроградцы-ленинградцы» узнавали друг друга по жадному интересу в глазах: «Уцелел? Славно. Значит, МЫ ещё живы!»

«Ленинград и МОЙ город! Я возвратилась в СВОЙ город», – итожила я этот небезобидный спор.

В дверь позвонили. На пороге квартиры Нины Гернет стоял молодой высокий мужчина с привлекательным, располагавшим к себе лицом.

- Вам кого? – спросила я.
- Мне бы хотелось увидеть Тамару Владиславовну Петкевич.
- Проходите. Слушаю вас.
- Я, собственно, пришёл узнать, не могу ли я вам чем-либо помочь?
- Простите?
- Хочу хоть чем-нибудь быть вам полезным.
- Но... почему?
- Ну, потому хотя бы, что мой отец погиб *там*, – пояснил он.
- Ваш отец был арестован в тридцать седьмом?
- Точно так. А о вас мне рассказали ваши друзья.
- Кто именно?
- Лёля Данскер и её муж.

Лёля Данскер?! Лёля и Вова – брат и сестра. Это ещё Петроград, набережная реки Карповки, дом 30, где мы жили до 1930 года. Друг детства Вова после моего выхода из лагеря испугался клейма 58-й статьи. А Лёля с мужем хотят помочь?! Какой устойчивостью веет от этого слова – «помочь»!

Десять-пятнадцать минут назад я и не ведала о существовании Бориса Борисовича Вахтина, китаиста, сына писательницы Веры Пановой. Его привели к порогу дома Нины Гернет сходство судеб отцов и человеческая отзывчивость. Человек давал понять, что несёт личную ответственность за катаклизмы истории страны. Личностью Бориса Вахтина для меня помечено начало 1960-х годов.

- Он звонил своим друзьям. Одного просил:
 - Подыщи работу в музее...
- Другого:
 - Изобрети какую-то вакансию. Очень надо.

Друзья отвечали необязательным: «Подумаю. Перезвони через пару недель».

Один из его приятелей обнадёжил больше других. Велел позвонить дней через пять, около десяти вечера. Находясь в этот момент в доме Бориса Борисовича и его прелестной жены Тришки, я набрала номер его телефона. Автоматической связи тогда ещё не было. Разговор прервала телефонистка междугородней станции: «Абонент! Вас вызывает Колывановка».

– Почему повесили трубку? – спросил Борис Борисович.

– Вашего друга вызвала Колывановка, – объяснила я.

– Из-за своей любви, проживающей в той Колывановке, он и сидит допоздна на работе. Скольких же людей такие «Колывановки» лишают разума!

Мало кого посвящая в личные проблемы, я была из числа тех, которых «Колывановки» лишают разума.

После моего переезда в Ленинград какими-то правдами и неправдами Владимир Александрович вырвался в конце лета из дома, снял комнату за городом, в Сестрорецке, где мы и провели вместе около двух нечаянных, счастливых недель. Десятки верст мы промеряли пешком по берегу Финского залива в сторону Комарова и Зеленогорска. Ходили по тропе, теснившейся между лесом и шоссе, в Тарховку, где Нина Гернет снимала со своей семьёй дачу. До темноты сидели там на берегу тёплого, с коричневым торфяным дном озера и в Сестрорецк возвращались уже по вечерней росе. Тут и там в уютных дачных домах зажигался электрический свет. По направлению к Ленинграду и встречно, в сторону Финляндии, мимо нас с громыханьем проносились электрички.

В остальном мы мало что замечали. Не подумали даже, следует ли испугаться великолепного, сильного лося, который вышел на лесную поляну, когда мы в один из дней собирали в Разливе малину. Какие-то секунды втроем ошеломленно смотрели друг на друга, затем лось повернулся и царственно удалился в чащу.

Из наших разговоров исключалась только тема будущего. Чтобы ещё прочнее её забаррикадировать, Володя принял предложение одного из тех закрытых «энских» театров, которыми в 1952 году меня учили на театральной бирже зашифровывать лагерный. Его пригласили туда в качестве главного режиссёра. Отныне в словосочетании «закрытый театр» я вычитывала его буквальный смысл: выезд из засекреченного города и театра невозможен. Видеться – не будем. Режим решал все вопросы.

Увы, Володя эти ограничения к себе не относил. Я никогда не спрашивала, какая степень изобретательности требовалась от него, чтобы периодически на три-четыре дня наведываться в Ленинград.

Письма мы друг другу писали ежедневно. Он просил прочитывать пьесы, которые ставил или собирался ставить, делился замыслами. Я во всех деталях описывала спектакли, которые бесцётно насматривала в театрах Ленинграда.

По тому, как возникали паузы, а потом набегало по три письма в день, нетрудно было представить механизм переключений двойной Володиной жизни.

В моём внутреннем «доме» тем временем успешно доразваливалось всё, что уцелело после кишинёвского цунами, выдворившего меня из театра. Продувало и выло. Из стен вываливались целые блоки. Ленинградское настоящее являло собой гору балок, цемента и кирпичей... Под ними – я.

С поиском постоянной работы всё оставалось на нуле. Я дошла до отчаяния. И когда школьный друг Давид ещё раз спросил, не устроить ли меня на работу в аптеку, я ответила: «Спасибо. Да».

Кто-то тронул меня за локоть, когда я стояла в Русском музее у древних икон.

Это была режиссёр Нина Николаевна Гороховская! Шесть лет назад на театральной бирже в Москве она уговорила нас с Димой поехать на работу в город Чебоксары. Теперь, как оказалось, мы обе жили в Ленинграде.

– Посидим в каком-нибудь кафе, поговорим, – предложила она. – Где работаете?

– Зарботки только разовые, – объясняла я. – С Гришей Гаем пишем инсценировки для радио и телевидения. Иногда приглашают на «Ленфильм» или на телевидение – сняться в каком-нибудь эпизоде. Всё.

– А театр?

– Театр? Театр мне больше не грозит.

– Сколько вам уже?

– Сорок один.

– Отдаете себе отчёт в том, что для актрисы такой возраст – не главное из достоинств?

– Разумеется, отдаю! Всё понимаю! Уже сдалась. Устраиваюсь на работу в аптеку.

В чебоксарском театре Нина Николаевна не однажды занимала меня в своих спектаклях, а мне нравилось с ней работать, хотя она бывала резка, чересчур категорична и славилась неуживчивым характером.

– Значит, вам нужна работа? Что ж, кое-куда мы с вамиходим, кое с кем я вас познакомлю. Может, что-то и получится. А где работает Дмитрий Фемистоклевич?

– Мы с ним расстались.

– Причина в вас, да? Дмитрий Фемистоклевич вам удивительно подходил. Знаете, о чем я подумала, когда впервые увидела вас на бирже в Москве: сумеете вы продержаться, когда обнаружите хрупкость вашей жизни, или нет? Сумеете ли пройти через это и не потерять его?

– Не сумела!

– А жаль! Правда жаль, что не сумели! ...Владимира Александровича Галицкого? Да, конечно, я его знаю. Интересный, талантливый. Не простой, кстати, человек, не из легких... Как я? Мы с мужем тоже разошлись.

В спектаклях чебоксарского театра мы с Кириллом не однажды играли в паре. Её муж был славный человек, лет на пять моложе Нины Николаевны. Они вместе пережили ленинградскую блокаду. Гороховская рассказывала, как делила пайки хлеба, чтобы хоть грамм пятьдесят добавить мужу.

Он ушёл от неё, сказав, что хочет иметь детей.

– Знаете, мне Кирилл всегда говорил: «Во мне два человека. Один такой маленький-маленький, но очень хороший. Умный, благородный. Он – твой. Ты подожди. Он вырастет, вот увидишь. А другой – большой. Этот – невеста, безалаберный и плохой. Он давит на того, маленького. Но ты все-таки жди: маленький непременно подрастёт». Ребёнок у него уже родился, – добавила она. – Девочка...

Даже при том, что родился ребёнок, Нина Николаевна отказывалась дать мужу развод, хотя он очень просил. Совсем оттолкнула его этим. Допустить, что «маленький человек» дорос, но не возле неё и не для неё, было ей, видимо, невмогуту. А может, её не покидала надежда на то, что Кирилл ещё вернётся.

Пережив после разлуки с мужем нервный стресс, она стала катастрофически терять зрение. В больших черных очках сидела за столиком кафе – воинственная, непримиримая и беспомощная.

– Вернёмся всё-таки к нашей теме: вы и театр. Как и я, вы насквозь театральный человек, Тамара.

Она вспоминала сыгранные мною в Чебоксарах роли. Говорила много лестного о них, о том, что её всегда поражало моё художественное чутьё, вкус и взлёты. Мы перебирали все возможные и невозможные варианты. А завершила она свои размышления экстрарабракадаброй:

– Я знаю, что вам надо делать! Честное слово, знаю! Вы должны поступить в институт, Тамара!

– В какой институт? Господь с вами!

– В театральный! В наш ЛГИТМиК.

Ну, пусть не насмешка. Тогда что? Та же беспробудная, что и у всех, глухота к пройденному мною?

– Зачем вы так? Почему? – отстранилась я от неё. – Мы только что споткнулись о мой возраст. Куда мне его деть в этом случае?

– Никуда ничего не надо девать! Я же не актёрский факультет имею в виду. Вам надо поступать на театроведческий.

– Какая разница: актёрский, режиссёрский, театроведческий? Сама по себе студенческая скамья, когда уже за сорок? Бок о бок с выпускниками школы? Сдача экзаменов? Абсурд!

– Нет. Не абсурд. Настаиваю, прошу: прислушайтесь к тому, что я вам говорю. Поступайте в институт! Выпускники школ тут ни при чём. Поступать надо на заочное отделение!

Я понимала, что право на категоричность она черпает из опыта непрекращающейся борьбы за себя, за свою независимость. Подобный опыт всегда отдаёт каторжной неумолимостью. Но!

Через несколько дней мы с Ниной Николаевной прошествовали к её приятельнице, С. Л. Слиозберг, работавшей в Доме художественной самодеятельности заведующей театральным отделом. В тот же день я была принята на работу в качестве методиста этого отдела.

Почти одновременно мне позвонили из райисполкома, чтобы я пришла за двумя смотровыми ордерами на комнаты. Одна была решительно непригодна для жилья. Ордер на другую комнату в доме без лифта, в коммунальной квартире без телефона, без ванны, – я взяла. Комната находилась в центре города, всего в двух кварталах от места обрётённой работы. И во дворе там прямо перед окном росли высокие тополя.

За спиной у меня теперь маячила пустая комната с раскладушкой и одним стулом. В сумерках, не зажигая электричества, я подвигала стул к окну. Мне надо было остаться наедине с собой.

«Кто ты теперь? – причитала мать подруги, Нины Изенберг, в первый мой после освобождения приезд в Ленинград. – Не жена. Не мать. Оба института не дали закончить. Думать о тебе – и то страх берёт».

Жизнь совершила виток в десять лет. Одно к одному – я оказалась с теми же «не». Материнство, замужество, театр были утрачены безвозвратно.

В те самые секунды, когда Нина Николаевна Гороховская излагала озарившую её идею поступления в ЛГИТМиК на театроведческий факультет, я уже *знала*, что она, жёсткий и несчастливый друг, определила единственно нужное для меня свершение, и я – подчинюсь. Диплом – это честность профессионального самоощущения, с которым я смогу доживать жизнь. Причастна к такому решению оказывалась тут и вера в меня Александра Осиповича. Да и сколько ещё людей без видимых причин верило в какое-то моё будущее!

И, наконец, самое из всего важное. Я плотно пригоняла себя к тому неочевидному, что для меня существовало как ощущение судьбы, и выверяла его толкованием мысли Шопенгауэра: «Наш мозг – не самое мудрое, что у нас есть. В значительные минуты жизни, когда человек решается на важный шаг, его действия направляются не столько ясным сознанием (что нужно делать?), сколько внутренним импульсом, который исходит из глубочайших основ его естества. Быть может, этот внутренний импульс или инстинкт есть бессознательное следствие какого-то пророческого сна, который забыт нами при пробуждении... Человек инстинктивно чувствует, где его спасение, без этого он пропал...» Даже если внутренний импульс, исходивший из «пророческих снов», заводил меня в беду, доверие к нему не ослабевало. И мне не раз казалось в таких случаях, что кто-то крестит меня вслед: «Иди! Пройди это испытание. Оно выведет тебя».

Страшно было смотреть на набранные в библиотеке стопы книг, стоявшие на полу у раскладушки. Отказываясь верить в то, что всё осилю и смогу сдать экзамены, я взяла в руки первый учебник.

Замахиваясь на третью попытку окончить институт, думала теперь об одном: «Только бы приняли!» Ведь на заявление с просьбой зачислить меня на Высшие курсы режиссуры Отделом культуры Ленинграда была наложена резолюция: «Отказать! Из-за возрастного несоответствия».

На первый экзамен в институт осенью 1962 года меня сопровождала та же Гороховская.

– Нина! – обратилась она к коллеге-педагогу, – это Тамара Владимировна, о которой я вам говорила.

– А-а, да-да! – отозвалась Нина Александровна Рабинянц, глянув на меня так, будто мой возраст ничему не помеха.

– Садитесь... вот сюда. Выбирайте из трёх названных пьес ту, которую вам интересно проанализировать, и пишите.

Я успела восхититься точёными чертами лица экзаменатора, её ослепительной, приветливой улыбкой, сотворившей чудо: перед страшным испытанием мой «зажим» куда-то подевался.

Первый экзамен был сдан. Второй и третий – тоже. Я была принята в ЛГИТМиК. Я – студентка первого курса заочного отделения театроведческого факультета!

У меня не было сомнения в том, что в связи с отъездом из Кишинёва невыплаченная мною страховка аннулирована. Но, не сказав мне ни слова, Дима выплатил её до копейки. От него принесли телеграмму: «Приезжай получить свою страховку. Жду. Дима».

Я уже несколько раз ездила в Кишинёв. Жила у Оли. Перестирывала, наводила порядок в холостяцкой квартире Димы.

В тот приезд во время уборки кто-то позвонил в дверь. На пороге стояла Димина ученица, дочь одной из кишинёвских актрис.

– Дмитрия Фемистоклевича нет дома, – сказала я.

– Мне это известно лучше, чем вам, – вызывающе ответила она.

Прошла мимо меня в комнату, скинула туфли, уселась на тахту. Поджав под себя ноги, расправила солнышком свою красную юбку и взяла в руки книгу. Я заторопилась завершить уборку.

У Димы хватало здесь и свях, и невест, что красноречиво подтверждалось присутствием «ученицы». Благодарной моей нежности к Диме это не должно было касаться.

В Ленинграде ко мне зашла посмотреть полученную по реабилитации комнату Ирина Владимировна Рыбакова, жена актёра Рыбакова, встреченного в 1952 году в Москве, на театральной бирже. Андрей Николаевич с женой и сыном Юликом тоже вернулись в Ленинград. Комната Ирине Владимировне понравилась, но ради увеличения площади она предложила разобрать голландскую печь, за что мы с этой редкой по доброте женщиной, вооружившись молотками и ведрами, взялись на следующий же день.

На полученную страховку я купила мебель, кое-какую посуду, настольную лампу. Комната моя обрела смысл убежища.

О моём существовании семье Володи стало известно после того, как его младшая дочь Мария нечаянно обнаружила у отца мою телеграмму.

– Папа, от кого это? – спросила она.

Володя доверился ей, как другу, и всё рассказал. Познакомил нас с нею в один из моих приездов в Москву, в 1960 году. Сочтя меня его временной слабостью, младшая дочь снисходительно отнеслась к проступку отца. Была достаточно мила со мной. Но когда поняла, что увлечение не кратковременно, заняла непримиримую позицию.

В Ленинград наведлся её муж – провести со мной «переговоры». Сначала потребовал, чтобы я дала ему слово «оставить отца в покое, иначе жена и обе дочери проклянут и вас, и его». В финале смягчился: «Иногда он мог бы приезжать, но с условием, что это не скажется на бюджете семьи». Ошарашив предположением, что в мой адрес могла отчисляться какая-то сумма, уехал.

Вскоре от жены Володи и его восьмидесятипятилетней матери я получила несколько писем с угрозами «выселить меня из Ленинграда», «осрамить на работе» и т. д. Меня в самом деле вызвали повесткой в горисполком для выяснения, каким образом «проходимка» получила в Ленинграде комнату и прописку. На службе директор пригласил в кабинет. Протянул письмо, посланное от имени всех родственников Володи. Сказал: «Вы уж сами распорядитесь этим письмом, как найдёте нужным».

Важнее было то, что «аморальное поведение» Володи разбиралось на всех партийных уровнях, от заседаний партячейки театра до райкома партии. В те годы это было апробированным способом борьбы за семью.

После серии общественных «проработок» и домашних скандалов, в канун Нового года Володя неожиданно позвонил из Москвы. Каждое произносимое им слово достигало чего-то гораздо более глубокого, чем сердце.

– Ты меня ждёшь? Завтра буду. Сказал семье, что не могу больше изворачиваться и лгать.

– Не поговорив со мной?

– Мне казалось, я могу и должен сделать это сам... Сейчас мне трудно слышать критику того, что уже свершилось.

Всё связанное с ним знаменовало жизнь. Законно–незаконно, праведно–неправедно, но эти отношения удваивали смысл существования. После отъезда Володи из Кишинёва прошло уже более двух лет. За отречением следовали возвраты, за самообвинениями – самооправдания, снова отказы... Но какой бы мукой ни оборачивались эти «тайные» отношения, они не мыслились и не предполагались никакими другими.

От неожиданности его решения, от ответственности за него всё пришло в смятение.

Володя приехал.

На встречу Нового года мы были приглашены к знакомым. Володя никого и ничего не видел, не слышал. Ни о какой радости речь не шла.

В собственных страданиях задыхаешься от боли. Когда понимаешь, что из-за тебя страдает кто-то другой, заболевает всё вокруг.

Володя советовался, с кем начать переговоры, в какой театр идти.

Дня через два, ночью, у него случился приступ аритмии. Выбежав на улицу, я по телефону-автомату вызвала неотложку. Приступ сняли. Врач уехал. Володя не находил себе места.

– Что ещё сделать? Скажи. Что нужно? Чего ты хочешь? – металась я.

И... он мне ответил:

– ХОЧУ ДОМОЙ!

Каким-то образом я смогла помочь выбраться на твердь тому, кто впал в такое отчаяние.

– Успокойся. Соберись. Переступить через это, как видишь, не можем ни ты, ни я. Уезжай. Провожу тебя.

С той же мерой искренности он что-то вдруг бросил на другую чашу весов:

– Никуда я не уеду! Нет! Слишком далеко всё зашло. Ты уже от меня не спасёшься. Не гони меня. Послушай, что я скажу. Я к тебе пришёл с трудом. Но я не уйду, потому что друг без друга мы быть не можем.

Несколько минут назад я думала так же. «Друг без друга», в самом деле, значило существовать без кислорода. Но «хочу домой» изменило саму формулу так называемого кислорода. Всё, что могло произойти окончательного, уже произошло.

Я проводила Володю.

Истинный смысл слов «Хочу домой!» продолжал глубоко ввинчиваться в мозг, во всё существо.

Выйдя как-то из дома своей подруги Нины Изенберг, я осознала себя недозволительно долго стоящей на Подъяческой улице возле окна чьей-то квартиры на первом этаже. Прямо в окно был выставлен подсвеченный электрическими лампочками аквариум. Между папоротниковой вязью ярко-зеленых растений, не запутываясь в них своими распушёнными волнообразными хвостами и плавниками, двигались прихотливого вида рыбки. По-разному: одни – охотничьими, нервными рывками, другие – плавно изгибаясь в праздности и неге. Внимание приковывала не форма, не окраска рыб, а неуёмность и непрерывность их движений. Будто эту способность двигаться выкрали у меня. Вот она, эта активность, в микромасштабе, за окном, за толстым стеклом аквариума, а я, утратившая её, существую в параличе статики, в каком-то диком, глухом тупике. Смотрю, вбираю в

себя подвижность этих существ, но начинить себя ею – не даётся. Столько прожить, столько понять – и не уметь помочь себе по существу ни в истории с сыном, ни в истории с Володей!

В памяти назойливо вертелось: «союз ума и воли», «союз ума и воли».

Своей «личной правдой» я когда-то расправилась с любовью Бориса. Лишила его иллюзий так же, как сейчас осталась без них сама. Борис выдюжил, вырвался из колдовского круга. Уверял когда-то, что спайка ума и воли не за горами и для меня.

После ужасной встречи в Москве прошло восемь лет безмолвия. Ни одного звонка. Ни одного письма. Он всё выверил, всё правильно оценил и – отринул больное.

Мне безудержно захотелось увидеть реального победителя, напроочившего мне недолговечность брака с Димой и творческое будущее.

Говорят: «Правда – это рассказанная не во всех подробностях история». Бессовестная «подробность» – явившееся желание увидеть Бориса.

Разузнав номер его телефона, я позвонила.

– Томка! Ты? Откуда звонишь? Как существуешь на свете? – будто не было этих восьми лет, ничуть не удивившись звонку, бодро выговаривал Борис в трубку. – Слушай, я через три дня еду в Москву. Сможешь там оказаться? Было бы здорово!

– На выходные? Смогу.

– Тогда выдавай ориентиры. Прибуду раньше, чтобы встретить тебя.

После проведённой в поезде бессонной ночи я чувствовала себя не смыкающейся ни с Москвой, ни с прошлым, ни с чудовищно эгоистичной затеей встречи.

Серое, дождливое утро зимы 1963 года. На часах 8.52.

Борис подбегал к вагону в модном по тем временам меховом пальто, поразительно моложавый, будто ему лет двадцать шесть–двадцать восемь. Мимолетный поцелуй руки. Выхватил из рук баул. Направились к такси:

– Говори адрес.

– К Хелле.

– Неужто она живёт в Москве?

– Давно.

– Это новость. У неё квартира?

– Да нет. Комната в коммуналке.

– Знаешь, ни о ком ничегошеньки не знаю. Всех растерял. Она что, дома? Увижу её?

– Если захочешь, увидишь. Завтра она приедет из Ленинграда.

– Как старик? Жив, здоров?

– Александр Осипович умер.

– Ой, слушай, это больно.

– Более чем. А как Ма?

– А как Я?

– А как ты?

– Вот с этого и начинала бы. Я – преотлично! А ты?

– По-моему, тоже неплохо.

– ...Ну, ты тут распаковывайся, а я слетаю в магазин. Чай сумеем попить? Вот и хорошо. Бывай. Пока.

Хозяйничаем. Чай выпит. Посуда убрана. Борис острит. Как хорошо всё: без побоищ!

– Тебе надо отдохнуть или сразу поедем на выставку?

– Что за выставка?

– «Советская Украина». Там одна из моих работ.

– Ты что-то закончил?

– Художественное училище.

– Где работаешь?

– В редакции сатирического журнала...

– Доволен? Есть планы?

– Из планов – решили с женой перебраться в Москву.

– Где Костя с Лидой?

– Выбрали себе отменную среднеазиатскую республику. Работают в театре.

– Костя пьёт?

– Держался. Долго. Потом... всякое. А вообще-то у меня брат – молодчага.

– Так всё-таки: как Ма?

– С Ма не всё в порядке. Она слепнет. Просила передать тебе привет.

– Спасибо. Я люблю твою Ма.

– У вас с нею прямо-таки душещипательный роман.

– Со зрением всё так серьёзно?

– Как ты сказала про старика? «Более чем»? Так вот и здесь.

– Как нынче считаешь: всё разложилось верно?

– В смысле – у нас с тобой? Хм! Ещё как верно! Слишком уж мы с тобой разные. И отношения были сплошной литературщиной. А по-скольку взаперти, так и сплошь надуманными.

«Тон – бравада. Тайная работа времени всё утопила в глуби. На поверхности – ни всплеска. Значит, всё проходит? Слава Богу. Прекрасно... Но близко к себе не подпускает».

Он галантно бросил:

– Знаешь, такая, как сейчас, ты мне гораздо ближе.

– Не представляешь, как я рада твоему ответу, Боря.

– Ты о чём?

– Что всё сложилось, как нужно. Что ты окончил художественное училище. Что жизнь нас помирила... Я готова, пошли на твою «Советскую Украину».

И вдруг – как плотину прорвало. Давним, прерывисто-озлобленным тоном:

– А ты хотя бы отдаешь себе отчет в том, что со мною сделала?

– Д-да.

– Так объясни, раз захотела этой встречи, как смогла это сделать? Возьми и объясни!

– Не при такой ожесточенности, – попыталась я отстраниться от атаки.

– Твоего имени никогда про себя не произношу. Если хочешь, расскажи всё, чтобы я мог защитить тебя в себе самом. Есть две Тамары. Одна – которую я любил. Другая – которая обманула. В одно имя это не вмещается.

– Я тоже не всё могла и не всё могу вместить в одно твое имя, – стала я стеной.

– Я был плох для тебя? Да! Так! Но ты помнишь, в какой момент обманула меня? В каком квадрате земли оставила? За проволокой!

– Да, да! Господи! Помню. За все эти годы не справилась с чувством вины. Но ведь по сути-то я ни в чем перед тобой не ви-но-ва-та.

– Вот и спаси прошлое искренним рассказом, чтобы я мог считать так же.

– Если хочешь не разбоя, а искренности, смахни со стола свою недоброту. Всю, до крошки. Помоги пониманием.

Я привезла с собой старую тетрадь, сохранявшую записи мучительного времени после нашей встречи в Москве. Там было написано: перед Борисом я считаю себя виноватой только в том, что в бесконтрольности писем, в разгуле «сочиняемых чувств», эгоистически пытаюсь выбраться к жизни, порой именовала поддерживавшие меня чувства словом «люблю». Не отдавая себе отчёта в том, что это могло быть ясно мне, но не ему. Напоминала себе и Борису, что никогда не обещала выйти за него замуж. Писала в тетради, что своей

виной считаю согласие поехать к его Ма и то, что не ушла ночевать на вокзал, как только поняла: меня оставили ради него, а не из участия ко мне. Пыталась объяснить напряжённость моего положения в семье, подмявшей тогда всё, чем я была. Обвиняла Бориса за запрет рассказать Ма о подлинных обстоятельствах побега, приведший к недоумению его родных, когда они узнали о «всесоюзном розыске». Признавалась, что не всё понимала про особенности отношений в его семье. Писала о своей благодарности и привязанности к его родным.

По жгучести его упреков, по жадности вызнать истину было понятно, что Александра Фёдоровна не выдала вырвавшихся у меня при прощании слов «деревеню, когда он прикасается ко мне». Мать пощадила своего сына.

Не существовало канона правды, по которому человек смел такое открыть другому в слове. Потому и сейчас я не смогла сказать Борису, что он нежеланен. Умолчала я и о некоторых человеческих «неясностях» в нём. Так и получилось, что, не признавая лжи, опять скрыла многое, оставив Бориса в неведении о чём-то существенном.

По непонятной казуистике мой ровесник застрял в моей душе юнцом и не взрослел. Искушённый, бывалый, с чистым сердцем, этот юнец, сидя в вокзальном ресторане перед отходом моего поезда, заказал по бокалу вина и, не подозревая об утаённом, принялся благодарить меня:

– Спасибо, что сделала всё по большому счёту. Спал сегодня урывками. Просыпался. Думал: не забыть ей это сказать, и это, и то. Так вот: ни с кем мне так хорошо и умно никогда не будет, как могло быть с тобой. Выпьем за всё светлое, что у нас было в прошлом! За то, чтобы и врозь быть вместе!

Поезд уже отходил от платформы. С обезоруживающей печалью Борис договаривал:

– То, что мы расстались, это несчастье, Том. Мне теперь жить будет труднее, но это лучше, чем быть мёртвым.

Я отъезжала из Москвы ещё более смятой, чем до встречи. Есть, есть такие расщелины, из которых ни в каком союзе с умом или волей не выбраться. И не мне одной.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В учебных планах театрального института ещё доживала век та особая почтительность к полновесному образованию, которая была присуща Ленинграду и Москве. Именно поэтому для заочников театроведческого факультета по большинству предметов ежевечерне проводились самые что ни на есть очные занятия. Во всяком случае для тех, кто проживал в Ленинграде.

Со студентами группы, в которую я была зачислена (они были лет на двадцать младше меня), сложились дружеские и необычайно тёплые отношения. С преподавателями поначалу возникали курьёзы. Сидевшую за партой великовозрастную особу кое-кто из учителей принимал за чиновницу из министерства образования, явившуюся с ревизией.

Профилирующий предмет – «Теорию драмы» – на курсе вёл умный, элегантный, влюблённый в своё дело профессор Борис Осипович Костелянец. Он с глубоким вниманием выслушивал соображения первокурсников по анализу пьес. Главным его устремлением было сбить студентов со стереотипа суждений, вытащить на свет Божий пусть неслаженный, но самобытный взгляд на жизнь. Запомнилось, с каким энтузиазмом при разборе «Маскарада» Лермонтова он поддерживал мысль одарённой студентки Аллы Чукардиной о связи натуры Арбенина с силами зла.

Выручая моё возрастное несоответствие, он деликатно пёкся и о моём авторитете в группе:

– Стоит прислушаться к точке зрения Тамары Владимировны. Она считает: если в пьесе Леонида Леонова «Нашествие» родители поверили не сыну, а молве о том, что он изменник родины, то неизвестно, сын их предал или они его. Вот и попробуем рассмотреть ситуацию при такой исходной позиции...

Я пролистывала уйму учебников и статей по истории театра, зачитывалась «Метаморфозами» Овидия, справлялась с домашними заданиями и через год благополучно перешла на второй курс.

На втором году обучения профессора Костелянца сменила Анна Владимировна Тамарченко. Её появление многое озаменовало в моей

судьбе. Чтó являлось предметом разговора – литература, театр или жизнь, – было не так уж важно. Каждая беседа с ней оставляла глубокий след.

Моей любимой книгой в юности был исторический роман Ольги Форш «Одеты камнем». Разум и чувства героя романа Михаила Бейдемана, сидевшего в одиночке Алексеевского рavelина Петропавловской крепости, достигали в своём развитии высочайшего уровня духовного бескорыстия. Но, так и не увидев свободы, он сходил с ума и погибал в каменном каземате. «Неужели всё добытое изнурительной работой духа остаётся в таких случаях безвестным для мира? Неужели так никто никогда и не узнает об откровениях, явившихся человеку в его пути? Он уносит это с собой – и всё?» Эти вопросы измучивали меня. Узнав, что Анна Владимировна написала книгу о творчестве Ольги Форш, я подступилась к ней.

– То есть вас интересует, сохраняется ли каким-то образом духовный опыт проходящей и неповторимой индивидуальности или исчезает с физической смертью человека?

– Да, да, да! Именно так!

– По Форш, эти завоевания не исчезают. Так или иначе, они сохраняются в общем балансе духовной культуры человечества. Становятся хотя бы навозом истории, обогащающим почву для будущих взлётов творческого духа. Как подтверждение необратимости моральных завоеваний личности у Форш выступает Правда Истории.

Не так уж буквально Правда Истории подтверждала такое воззрение, но при всей своей шаткости оно хоть как-то объясняло судьбу духовных завоеваний человека. Я связывала это с памятью об интеллекте и творческом багаже бесславно угасших людей, встреченных в лагерях, и состоянии духа, которое выражалось Александром Осиповичем: «Потому и умирать не страшно. Потому же и не хочется умирать».

После одной из лекций Анна Владимировна Тмарченко предложила мне посетить занятия группы старшекурсников:

– Моя любимая студентка будет читать свою работу. Хочу, чтобы вы её послушали. Сможете?

Конечно же, я сказала: «Смогу!»

По каким-то причинам намеченный тогда доклад был заменён. Вместо него свою работу читала прелестная худенькая студентка – Леночка Симонович-Фролова. Только что по экранам страны прошёл фильм «Гамлет» (режиссёр Григорий Козинцев, в главной роли Иннокентий Смоктуновский). Анализ фильма у этой студентки был

обстоятелен, с умными и тонкими наблюдениями, в частности по поводу вопроса «Быть или не быть?». Студентка считала: после встречи с Призраком отца выбор «быть» доставался Гамлету с меньшими мучениями, чем мысль о возможности «не быть». Обсуждение доклада в этой группе проходило значительно жёстче, более взыскательно, чем в той, где занималась я. Как позже выяснилось, у многих студентов этой группы за плечами уже было одно высшее образование.

На вопрос Анны Владимировны: «Ну как?» – я ответила:

– Умные, оригинальные, даже артистичные студенты. И ваша ученица понравилась.

Преподавательница пояснила:

– Лена очень одарённый человек. Но доклад моей любимицы Али Яровой перенесён на следующее занятие. Придётся?

И, не дожидаясь моего ответа, продолжила:

– Смысл моих приглашений простой. Я хочу уговорить вас экстерном сдать экзамены за второй курс и перейти в эту группу!

Идея преподавательницы была логическим продолжением стратегии Нины Николаевны Гороховской: выправить мою судьбу. Меня торопили.

К кому же ещё мы обращаем сердце, как не к озабоченным вопросами нашей жизни людям? Я сразу и безоговорочно полюбила мою новую преподавательницу.

Отныне каждую свободную минуту я тратила на подготовку к экзаменам. Сдала их и со второго курса была переведена на третий, в группу «6-А».

Не в пример предыдущей группе, моё появление здесь в качестве сокурсницы было воспринято как вторжение в уже сложившийся круг. Да и очень уж я смахивала на представителя ретроградного поколения. Одна из студенток вообще встретила меня недвусмысленным хохотком: «В таком возрасте следует сидеть дома». Пока я нащупывала, как обойтись с бравадой молодого окружения, любимица Анны Владимировны Аля Яровая, накинувшись на ровесницу «аки тигрица», утащила её в угол аудитории, что-то нашептала, после чего та принесла извинения.

Группа состояла из ярких, красивых, разных по характеру и вкусам молодых людей. Каждый студент на занятиях представлял таким, каким был, в особицу. Когда вдохновенная Аля Яровая проанализировала спектакль белградского драмтеатра «Откровение» (в нём шла речь об одном из эпизодов Второй мировой войны), её толкование запало в душу как авторское. Не догадываясь, что согнаны фашистами в

церковь для сожжения, местные жители в инсценировке романа Чосича «Раздел» пребывали ещё в суетном раже, считая наиважнейшим для себя отстоять друг перед другом свою идеологию. И только осознав, что *все* обречены на уничтожение, что даже своды церкви их уже не защитят, они в последнем порыве живых обращали друг к другу протянутые руки и сходились с флангов, образуя единую «подкову». Только этот скульптурно вылепленный порыв к единению, в трактовке Яровой, и оставался шансом человечества в схватке со злом.

Красивую, начитанную Лару Агееву я поначалу отнесла к стану дерзких, когда она назвала плагиатом одну из рекомендованных для прочтения театроведческих статей. Но она тут же сняла с себя обвинение точными ссылками на первоисточник позаимствованного, на имена подлинных авторов и даже на номера страниц книг, с которых это было списано. На всю жизнь она преподала мне урок исследовательской тщательности и профессионального бесстрашия.

Преимущественным интересом Михаила Пятницкого была пантомима в драматическом театре. На примере спектаклей Таирова «Принцесса Брамбила», «Косматая обезьяна», «Негр», «Под вязами», «Оптимистическая трагедия» он не только доказывал правомочность жанровых совмещений, но и настаивал на том, что пластически убедительное решение сцен особым образом воздействует на сознание зрителя.

Евгений Биневич, никого ещё тогда не посвящая в свой интерес к творчеству Евгения Шварца, как курсовую работу представил «Гамлета-64» (о Шекспире у Козинцева и Рецетера), а позднее принёс на обсуждение пьесу «Возлюби ближнего своего». В те годы он работал слесарем на разных предприятиях, чтобы прокормить семью.

По учебной программе нам положено было изучать структуру театра, историю театра, а время своим ходом вносило существенные изменения в роль и значение театра как явления современной жизни.

Театр фактически стал одним из первых институтов, приподнявших «железный занавес» над культурным пространством СССР. К началу шестидесятых годов на гастролях в нашей стране уже перебывало множество зарубежных трупп. Мы насмотрели уйму спектаклей французских, венгерских драматических театров; в румынском театре марионеток «Цендерикэ» видели «Маленького принца» Экзюпери. Когда чудо-руки французского мима Марселя Марсо смятенно ощупывали бездонное пространство и наткнулись на осязаемые им ограничительные плоскости клетки (в его знаменитой

«Клетке»), он проявлял, как негатив, то неочевидное, что уже было в практике жизненного самоощущения человека.

Во время гастролей греческого театра мы поражённо внимали форсированной подаче текста трагедийной актрисой Аспасией Папатанасиу в «Электре» Софокла. До этого древнегреческая драматургия была для нас мемориальной и только. А тут на такой её персонаж, как хор, возлагалась главная философская задача. Три десятка женщин, одетых в туники одного цвета, вдохновенно-выразительной пластикой комментировали происходившие в душе героини борения. Ещё только предчувствуя решимость героини совершить опасное действие, хор замирал. Исторгал стон и падал ниц, когда ужас предчувствий сбывался. Прогигающаяся, волнообразная линия движений хора прорисовывала эмоциональную и судьбоносную зависимость одного человека от другого, многих людей – от поступка одного и от состояния мира в целом.

И ещё одно. Наша цензура умудрилась в пятидесятые годы насадить в театре «бесконфликтную драматургию». Поставка этого негодного топлива искусственно перекрывала доступ к распознаванию зрителем собственных глубин. И когда уже не зарубежный, а московский театр имени Маяковского привез в Ленинград на гастроли «Медею» Еврипида (Медею играла Евгения Козырева), думаю, впопору было ужаснуться и тому, что Медея-мать убивала в отмщение мужу своих детей, и – нравственной растерянности зрителей. Канал нашего восприятия был сужен до того, что за безумием ревности Медеи-женщины мы не умели расслышать её зловещего обвинения общественной формации: когда человек начинает предпочитать любви золото – это путь к гибели.

Мы оказались явно не готовы к соколиному обзору человеческих поступков и страстей. Это было предупреждением, что надо наживать более полновесное мировоззрение.

Наш педагог Анна Владимировна Тамарченко окончила Ленинградский университет. Имела не театральное, а филологическое образование. Её педагогический темперамент, общественные взгляды и определившийся в университете интерес к целостным системам эстетических ценностей оказались необычайно уместными и полезными для того, чтобы именно в тот отрезок времени учить студентов мыслить, проникая в почву и подпочву истории. Если она обнаруживала в студентах такую склонность, то тут же ухватывала её и подводила к самым головокружительным умозаключениям, ассоциациям. А даль-

ше – от границ театрального мышления вела к идее жизненной. Не случайно многие её ученики утверждают: «Она помогла мне сформироваться!» Или ещё определеннее: «Она создала меня!»

Курсу вообще необычайно повезло с преподавателями. Желание получить второе высшее образование говорило о жажде упрочить позиции разума. Наши педагоги, воспитанные корифеями старой петербургской школы, отбросив тактику недоговорённостей, щедро делились с нами в 60-е годы и блистательным знанием своего предмета, и полнотой личного опыта.

В Москве, в министерстве культуры Володе предложили должность главного режиссёра Русского драматического театра города Вильнюса. Он принял театр. И приехал за мной:

– Я окончательно ушёл из дома. Без тебя жизни быть не может. Бросай всё! Будешь зачислена в штат как актриса. Будешь играть, будешь мне ассистировать. В ближайшее время обещаю дать квартиру.

Оставаясь на привязи у этих отношений, каким-то словам и обещаниям Володи после его «Хочу домой!» я, увы, ещё верила. Но бросить теперь институт, работу, Ленинград – не могла, не решилась. Возвратиться работать в театр актрисой – также.

Оставался вариант приезжать друг к другу. Так и установилось: то он приезжал на выходные дни в Ленинград, то я в Вильнюс. Нечего и говорить о том, насколько сложной оказалась для нас форма жизни – на перекладных.

Я уже писала об ощущении «вдвоём», когда острота интереса ко всему, что происходило вокруг и в нас самих, умножалась стократно. Это относилось даже к переданному по радио в апреле 1961 года сообщению: «Человек в Космосе!», заставшему Володю в Ленинграде. Реальность может быть тождественной фантастике?! Невероятно! Кажется, мы на пороге того, чтобы приблизиться к разгадке вселенской логики. Она должна была многое переакцентировать, что-то уяснить и облегчить существование. В тот момент утратило значение даже то, что Володе полёт в космос виделся победой общественного строя, а я этот строй не мыслила без недр «шарашек» с запертым в них творящим мозгом учёных.

Кажется, никто никого не оповещал о времени демонстрации. На спех начертав плакаты: «Здорово, Человек! Здорово! У-у-ух!», «Гагарин! Мы тебя любим!», «Гагарин, ты – наш Человек!», в пальто нараспашку, размахивая цветными шарфами и шапками, стихийно пе-

рекрыв дорогу транспорту, стар и млад направились по Невскому к Дворцовой площади.

Отдав дань восторгу, мы, однако, слышали другое: Человек, увидевший Землю с немислимой высоты, сказал, что оттуда она видится голубой, очень красивой. Он будто советовал роду человеческому, не убавляя жажды познаний, помнить, что бесконечность нам ещё чужда, и умнее любить – тёплую и обжитую нами планету.

Годом раньше, 2 июня 1960-го, в Москве, выходя с Киевского вокзала (я приехала тогда из Кишинёва, а Володя меня встречал), мы обратили внимание на приклеенный к стене листок из ученической тетради с извещением, что похороны Бориса Пастернака состоятся в Перedelкине, сегодня, в 15 часов. Мы не успевали.

У поэта есть такие строки:

Не знаю, решена ль
Загадка зги загробной,
Но жизнь, как тишина
Осенняя, – подробна.

То, что Пастернаку, посмевавшему в «Докторе Живаго» поведать миру о своем понимании российской революции, не разрешили лично получить Нобелевскую премию, – одна из тех подробностей. Другая, из тьмы прочих, – газетная публикация с душераздирающей просьбой Бориса Леонидовича разрешить ему остаться дома, в России, поскольку ему грозили высылкой из страны. Не некрологи во всех газетах, а листок-самоделка на вокзальной стене, оповещавший о смерти поэта, итожил эти подробности.

Уезжая теперь на выходные дни в Вильнюс, я прихватывала самиздатовские «объёмы». Передавая из рук в руки сфотографированные глянцево-страницы, мы с Володей без сна, за двое суток прочитывали «Доктора Живаго», «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург и другие свёрстанные в книги листы о Правде.

Мне пришлось по душе милая, уютная столица Литвы.

Будучи одной из республик СССР, Литва отличалась от других прибалтийских соседей. Говорят, что Наполеон досадовал на то, что не может на ладони унести в Париж собор Святой Анны. А премьер-министр Польши Пилсудский завещал захоронить в этом городе своё сердце.

В современном Вильнюсе башня Гедиминаса, старинные дома и улочки, похожие на развязанные шнурки, уживались в согласии с библиотеками и театрами, построенными из бетона и стекла. На завтрак в маленьких кафе подавались блинчики с вареньем, сырники, вкусный кофе. Вечерами на длинные деревянные столы закусоч-

ных металлы тарелки из нержавеющей стали со шпешакками в синеватом огне подождённого спирта. В чистоте, цветах и опрятности город содержало, казалось, какое-то одно лицо. Имя рачительному хозяину было – литовцы.

Уже месяца через три Володя получил ордер на прекрасную квартиру. Располагалась она в центре города, на тихой улочке с бульваром, идущей параллельно главному проспекту. Мы купили на выставке мебельный гарнитур, светильники, посуду. Когда я бывала в Вильнюсе, мы принимали актёров, знакомых Володи по работе в прежних театрах и здешнем. Одни нас возили на машине набирать в бутылки родниковую воду, другие – показывать Тракай, предместья города и ближние озёра. Мы подружились с семьёй литовского драматурга, пьесу которого Володя принял к постановке. Чтобы ближе ознакомить постановщика его пьесы с бытом и проблемами рыбацких артелей, о которых шла речь в пьесе, драматург повёз нас в Ниду, на Куршскую косу, показать эти хозяйства, одежду, сети, копильни для угрей. Всю ночь в Ниде бушевало море. На мысу подывал наутофон, а на маяке нёс службу прожектор, силившийся пробить мглу тумана. Отсюда, непосредственно из рыбацкого посёлка, проблемы виделись острее и совсем по-другому, чем из города. Правда оказывалась более скорбной. Без лжи и с болью здесь рассказывали о том, что ни один сейнер или мотобот ни одной из стран, кроме нашей, не выходит в Балтийское море до наступления путины. «Сами подумайте, – говорил драматург, – по рации вдогонку нашим рыбакам шлют с других судов оскорбления, кричат: “Бандиты, разорители!”, а для нас это – тьфу... До выхода в море рыбакам обещают за тонну улова сотни рублей, а едва начинается промысел, как начальство по той же рации оповещает, что цены снижены наполовину. Хорошо. Рыба рыбой, но чего можно ждать от людей, которых, с одной стороны, поносят дурным словом, а с другой – обманывают?» «Мы неграмотно поворачиваем реки вспять, неграмотно осушаем болота, ещё более неграмотно ведём по жизни человека. Сами спихиваем его с прямого пути и вынуждаем на карачках выбирать, если он того ещё хочет», – добавляли другие.

В театре у Володи всё складывалось более или менее удачно. Одним из первых в стране он поставил пьесу Бертольта Брехта «Господин Пунтила и его слуга Матти». Непривычная для русской сцены драматургия требовала новых подходов. В театроведческих статьях обсуждали специфику художественного метода Брехта. Спорили, как вернее переводить на русский язык ключевое понятие – «отчужде-

ние» или «очуждение». Знатоком драматургии Брехта в Ленинграде слыл известный филолог Ефим Григорьевич Эткинд. Я попросила Ефима Григорьевича быть консультантом постановки вильнюсского Русского театра. Он согласился. Спектакль имел успех, вызвал интерес у критиков. Из Москвы его приехал посмотреть Константин Лазаревич Рудницкий, заявивший о себе в те годы первыми книгами о Мейерхольде. Посмотрев спектакль Володи, высоко его оценил.

На закрытых просмотрах в обкомах и горкомах партии тогда показывали картину Феллини «Восемь с половиной». Для простых смертных увидеть этот фильм было неосуществимой мечтой. Придя в Вильнюсе к нам в дом, Константин Лазаревич кадр за кадром пересказал весь фильм, не раз прибегая к термину «поток сознания» как характеристике нового киноязыка.

Мы с Володей насматривали спектакли литовских театров. Ездили в Паневежис к режиссёру Мильгинису, в труппе которого играли такие будущие знаменитости, как Банионис, Будрайтис и другие.

В Вильнюсе я встретила доктора Владаса Шимкунаса, лечившего в лагере Александра Осиповича. Встретила балерину Л., с которой мы находились вместе на Севере в ТЭКе. Там мы были соседками по нарам. С известной регулярностью за ней ночами приходил в барак один из надзирателей. Она послушно одевалась и уходила в темь вслед за ним. Для неё не могло остаться секретом, что я, просыпаясь, оказывалась невольной свидетельницей её сборов и тоски.

Работа, институт, поездки Ленинград–Вильнюс определяли внешнюю сторону нашей жизни. Внутренние проблемы оставались неприкасаемыми. Переписываясь, общаясь по телефону, Володя держал связь со своими детьми и внуками. Я к этой стороне его жизни доступа не имела.

Но подошла пора и для того.

На моей службе перед сдачей институтских экзаменов мне полагался месячный отпуск. Я находилась в Вильнюсе, когда Володя получил телеграмму от матери: «Приезжаю, встречай». Именованная ею «интересанткой» и «проходимкой», не ожидая ничего хорошего от её визита, я воздержалась от того, чтобы ехать вместе с Володей на вокзал.

Володя не предупредил, что его мать миниатюрна и так мала ростом, что едва достигает его плеча. Когда я на звонок открыла дверь, трогательная пара – Пат и Паташон – оставалась стоять на лестничной площадке. Меня рассматривали. В итоге Мария Семёновна с менее всего ожидаемой игривой интонацией повелела:

- Ну-у-у!.. Встречайте гостью.
- Милости просим, – ответила я ей в тон.

И встреча с грозной мамой неожиданно-негаданно оказалась лёгкой, расположив нас друг к другу сразу и без лишних слов.

С оставшимися в живых четырьмя детьми Марии Семёновне после смерти мужа пришлось справляться одной. В двадцатые годы, выйдя замуж за немца, из Одессы в Германию уехала её старшая дочь Рая. Остальные дети и голодали, и болели, и не доучились как надо. Потом все разъехались по разным городам, завели свои семьи. Постоянно Мария Семёновна жила с семьей Володи, только лето проводила у младшего сына или у дочери в Риге. Володя был её гордостью, он у неё один «вышел в люди».

Она плохо слышала, но была очень общительна. Умела приметить в окружающих какие-то забавные чёрточки и посмеяться над ними. Главным же в ней было то, что она была труженица, которая без отдыха везла на себе хозяйство то у одних, то у других детей.

В Вильнюсе её восхищало решительно всё: сам город, магазины, скверы и более всего наша светлая, просторная квартира. Готовясь в Вильнюсе к экзаменам, я брала Марию Семёновну с собой в публичную библиотеку. Ей нравилось, что я набирала для неё кипу журналов мод и видовых альбомов. Она их просматривала от корки до корки. Дома делилась впечатлениями. Заодно просвещала рассказами о шляпках, о пряжках, которые носили в Одессе до и после революции. Увлечённо говорила о театрах, в которых они с мужем служили, о сыгранных ролях и спетых романсах. О том, какие в Одессе были кафешантаны, – тоже. А о непосильной трудовой жизни кричали глубокие морщины и узловатые суставы натруженных рук.

С Володей мать разговаривала повелительно, чеканно. А он с ней – ласково, с благоговением, истаявая от благодарности за её приезд и за то, что она «признала» меня.

Большая Володина семья представляла собой непростое образование. От первого брака родилась дочь Майя, от второго – Мария. Майя окончила в Ленинграде Институт связи, стала инженером-связистом. Окончившая в Москве ГИТИС Мария – актриса. Обе дочери были замужем. Старшая имела двоих сыновей.

Первая жена Володи, Клара Михайловна, после развода всячески поддерживала в Майе любовь к отцу. В 1932 году она была арестована и осуждена на семь лет за «троцкизм». Из лагерей вернулась замкнутым и совершенно больным человеком. Все до остатка силы от-

давала своей старой матери Берте Моисеевне, дочери Майе, зятю Николаю и двум внукам – Вове и Андрею.

Отношения между двумя Володиными семьями могли быть драматичными, но он сам и его мать оставались на высоте. Теперь, когда появилась я, обе семьи «пришли в движение». С Klarой Михайловной у нас впоследствии сложились добрые отношения. Мы бывали у неё в Одессе, она приезжала к нам в Ленинград. Вторая жена Володи после их разрыва клятвенно обещала: мстить, мстить и мстить!

За приездом Володиной мамы последовало знакомство со старшим зятем Володи, заслуженным артистом РСФСР Николаем Николаевичем Рубцовым. Затем, оправившись после перенесенной операции, из Тамбова в Ленинград приехала навестить отца Майя. На перроне, оказавшись чуть впереди Володи, я по фотографии узнала её. Подошла. Угадав, кто я, она торопливым вопросом: «А где папа?» отстранилась от меня. Я тут же отошла в сторону и больше о себе не напоминала. Старшая дочь Володи была смущена, растерялась. Зато вот уж с кем мы подружились сразу, так это с её четырнадцатилетним сыном Вовочкой, приехавшим в Ленинград на математическую олимпиаду. Чуть позже, когда Майя стала привозить в Ленинград на консультацию к офтальмологу младшего сына Андрюшу, я познакомилась и с ним.

В Ленинграде дед водил внуков по музеям, соборам, по городу. Я между работой и институтом готовила на своей коммунальной кухне обеды и ужины. И при этом испытывала запоздалое чувство счастья. Наверное, потому, что это была реальная семья, а не мечты о ней, доверчивые детские глаза, а не тоска о них. Все они любили Володю. Он любил их. И со всей этой громадой Володя пришёл в мою жизнь.

Он потом часто смеялся:

– Тебе надо было иметь пятерых, а то и семерых детей.

Увы! В свидетельстве о рождении моего единственного сына матерью была вписана другая женщина.

Володина семья, две его жены, его дети, его внуки... И – моё прошлое, мой ребёнок... Какая могла быть между ними связь?

Окончив десятилетку, мой сын поступил в технический вуз (на студенческую скамью мы с ним сели чуть ли не в один и тот же год). Настал момент, который Филипп определил возможным для моей встречи со взрослым «сыном-другом, способным принимать решения». Я на встречу с «сыном-другом» не надеялась. Но на встречу со

взрослым сыном, который сам уже что-то понимает про жизнь, полагалась. Во всяком случае, ехала с глубокой верой в то, что мы поговорим и нам удастся расправить хоть что-то из необратимо покаленного.

Дождаясь электрички, на которой Юра приезжал в институт, я стояла на насыпи и отыскивала его глазами в огромной толпе сошедших с поезда и направлявшихся к выходу в город людей. Увидев его, успела добежать и вскочить за ним в троллейбус.

Перевела дыхание. Уняла сердце. Подошла к стоявшему на задней площадке сыну:

– Здравствуй, Юра! Скажи: где и когда мы сможем с тобой встретиться? Нам надо поговорить.

Он повернул голову. Узнал. В глазах его появилось выражение острого, ничем не прикрытого раздражения:

– ОТВЯЖИТЕСЬ ОТ МЕНЯ НАКОНЕЦ! – полоснул он. И едва троллейбус остановился, выскочил из него...

Всего одно мгновение встречи. И – окончательная гибель всего вообще.

...Где-то сошла и я.

Это даже не было страданием. Была булыжная мостовая, пространство с неумолкавшим эхом: «Отвяжитесь от меня, наконец».

Всё!

Доташившись до гостиницы, я закрылась в номере на ключ.

По документам – посторонняя. По сути? Незнакомая. Лишняя. Что-то знала о сыне по переписке с судьёй. Когда Юру взяли в армию, Полина Ивановна сообщила адрес части, в которой он служил в Средней Азии. Я писала ему туда, пыталась прояснить прошлое; переслала ему письмо отца, полное клятвенных обещаний сразу после моего освобождения привезти его ко мне. Отправляла посылки. Он ни разу и ни на что не ответил.

В этой же гостинице в свой первый приезд я пережила некую форму смерти. Меня вызволила из неё обезличенная бешеная спешка чего-то, кого-то; кем-то громко произнесённая моя фамилия, стук...

Сейчас тоже стучали в дверь. Я никого не могла и не хотела видеть. Но за дверью стоял настойчивый человек.

– Корреспондент газеты «Известия», – назвалса мужской голос.

– Что вы хотите?

– Поговорить. Пожалуйста, откройте.

Его интерес разогрела рассказами о нас с сыном та же подвижница-судья, все эти годы искавшая возможность помочь хоть чем-то.

Прошедший фронт пожилой газетчик повидал всякого. И было очевидно, что история с сыном кажется ему надуманной, искусственной и побеседовать он пришёл только из уважения к судье. Ко мне было эдакое снисхождение: что это за мать, если в течение стольких лет не смогла не то что завоевать сердце сына, но даже добиться разговора с ним?

Мне незачем было опровергать предубеждение журналиста. Для меня разговор с этим человеком тоже был данью благодарности судье. Не более. Помочь мне не мог *никто*.

Когда при прощании гость покровительственно заверил: «Завтра же ваш сын будет сидеть на этом самом стуле. Ждите», – я сочла его на полжизни младше себя.

На следующий день он явился обескураженный, озадаченный. Развёл руками:

– Ни с чем подобным в жизни не встречался. Представить такого не мог. Отправился к нему в институт. Дождался конца лекции. Подошёл. Сказал: «Я пришёл поговорить с вами о вашей матери». Он отшил: «О ней? Не буду! Не хочу!» Повернулся спиной и пошёл. Я вдогонку: «Вы хотя бы знаете, как много ваша мать перестрадала? Знаете, что она сидела?» Он буркнул: «Ничего не знаю и знать о ней не хочу». И как я ни просил задержаться, ушёл не оглянувшись.

Старый вояка заболел нашей с сыном историей. Стал собирать материал о Бахарева. Собрал много. Судья Полина Ивановна и он считали, что если Бахарева мог незаконно аннулировать решение суда, состоявшегося по инициативе прокурора города, то всё уничижительное, что было корреспондентом собрано, должно быть опубликовано. Но воспротивилась – я. Взятки? Подлоги? Да, иногда о них в печати речь велась. «Целомудренно» так, завуалированно. В газетах они освещались как факты частные, случайные. До темы репрессий тридцать седьмого года, до нравственных оценок политики геноцида газеты тогда – не дотрагивались. Собранного материала хватило бы на то, чтобы бросить тень на фигуру отца, но никак не повредило бы «благополучный мир», в котором всё это происходило. Комариный укус? И что?

Фронтвик-газетчик отчаянно спорил. Но я не уступала. В конце концов он внял моим доводам: «Разделяю Ваши взгляды, – написал мне уже в Ленинград, – хотя, признаюсь, уж очень хотелось обнажить лицо этого человека. Он сейчас притих, считает, что вышел из всего победителем, и это до некоторой степени правда, как и то, что не без

Вашей помощи. Ах, как надо было проучить его, но, увы, подчиняясь Вашему светлому уму, вынужден этого не делать». Он был прав: Бахарев вышел в победители не без моей помощи. Я щадила Юру – и не сумела выручить себя.

Моего решения отказаться от суда в 1958 году не приняли многие из дальновидных и умных друзей. Обвинили меня в слабости и уступчивости: «Вы обязаны были провести сына через суд. Он бы услышал всё, понял бы всё и был бы ваш». Володя относился к тем немногим, кто поддерживал меня. Ещё в Кишинёве, у Оли, сказал: «Вы поступили единственно верно, отказавшись от суда. Так, как у Брехта в “Кавказском меловом круге”, где настоящей матерью признали ту, которая отказалась силой перетягивать ребёнка на свою сторону». Вопрос, верным ли было моё решение, не утратил силы и через годы. Не отрицая правоты тех, кто видел выход в суде, я склонялась к тому, чтобы правой считать себя. Если для взрослых ад лагерей существовал только до некоего порога «нормальности», а всё, что за ним, отвергалось, то как же мог осознать этот ад одиннадцатилетний подросток?

И вот теперь я опять отказалась от разоблачительной публикации, которая по мнению многих могла помочь? Помочь чему, когда так страшно вспоминать непреклонно-колючий взгляд сына и беспощадную интонацию его выкрика: «Отвяжитесь от меня наконец!»?..

Сын предъявил мне свою ненависть! Но я всё ещё не решалась именовать это — так.

Чтобы выбраться из дикого московского барака на Окружной дороге, где жила сестра, мужская половина семьи субботу и воскресенье отработывала определённое количество часов на строительстве дома, за переезд в который был внесён пай. В конце концов им досталась приличная четырёхкомнатная, но всё-таки тесная для десяти человек квартира.

Валечка встречала меня радушно, но хватало её ненадолго. Трёхсменная работа в заводской лаборатории не давала сестре возможности не только отдохнуть, но и отоспаться. Я смотрела, как она закладывала в огромную кастрюлю мясо и кости, варила студень, борщ, стирала и убегала на работу.

– Ну, расскажи, что у тебя? – спрашивала она, когда выдавалась свободная минута.

Мы усаживались друг против друга за кухонный стол, но только наспех успевали что-то поведать о себе. Попытка найти более корот-

кую дорогу к её душе всё откладывалась и откладывалась до лучших времён.

Летом 1958 года Валечка с Аркадием гостили у нас с Дмитрием Фемистоклеви́чем в Кишинёве. Дима очень нравился сестре. Узнав, что я ушла от него, она меня резко осудила. И когда я заикнулась о том, что хочу познакомить её с Владимиром Александровичем, она со всей своей прямолинейностью отрезала:

– Надоели мне твои мужья, вот что я тебе скажу.

Как в нокауте, прервалось дыхание. Такой виделась моя жизнь сестре?

Ответ Вали на вопрос: «Хочешь, я тебе что-то объясню про прошлое?» – был мне известен: «Оставь ты это своё прошлое. Я ничего не помню и помнить не хочу». Я понимала её. Следовало понять и это.

У них с добрым и верным Аркадием подрастали двое сыновей. Дети были для меня главной притягательной силой. Их бесхитростность, нетребовательность и чистота переворачивали мне сердце.

На прежней квартире малыш Серёжечка звал меня выйти во двор, чтобы похвастаться, как его любит собака по кличке Джек. Сейчас, подросший, едва пришёл из школы и увидел, что я приехала «в гости», кинулся к своей сокровищнице, вынул маленький перочинный ножик, чтобы похвастаться им:

– Смотрите, тётя Тамара, что мне дедушка подарил.

– У-у, сколько тут секретов, в этом ножичке, – поддержала я гордость владельца.

И без заминки, загоревшись тут же, племянник воскликнул:

– Он вам правда нравится? Да? Хотите, я вам его подарю? Мне нисколько не жалко.

Сколько раз приходилось выходить из комнаты, чтобы при них сдерживать себя, не плакать!

Вихрем ворвался в квартиру и бросился к матери младший, светлоголовый Андрюша:

– Мама, дай мне скорее двадцать копеек! Я покупал тетрадку, мне не хватило денег... Продавщица всё равно тетрадку продала, но сказала, чтобы я двадцать копеек донёс. Скорей... скорей, мама, а то она подумает, что я забыл!

В другой раз, когда мы уже приезжали с Володи́ей, Андрюша, забежав в комнату, принялся что-то лихорадочно искать.

– Ты что ищешь, Андрюшенька?

– Я не могу вам сказать, тётя Тамара. Вы простите, но это наши мужские с дядей Володи́ей дела... Я папину бритву ищу.

Я просила сестру разрешить детям приезжать к нам.

– Повзрослеют, тогда будут ездить.

– Но Серёжечку ведь уже можно отпускать?

– Ещё нет.

Сестра не подозревала, с какой полнотой её ответы дублировали доводы отца Юры: «Повзрослеет, тогда...» И не знала, что получается, когда дети взрослеют на расстоянии.

Сама сестра ко мне в Ленинград не приезжала. Боялась очутиться в городе, в котором хлебнула столько беды и страха. Отважилась приехать как-то на мой день рождения, собравший школьных, северных и институтских друзей. Произносились тосты. Кто блистал умом, кто остроумием. Северные друзья рассказывали, как, получая в ТЭЖе на четверых членов «колхоза» сухой паёк, я замачивала на ночь макароны, пекла из полученного к утру теста оладьи, которые все тут же съедались, и как за это пиршество члены «колхоза» расплачивались тремя днями голода. Все смеялись. Поведывались и другие уморительно-смешные и драматичные истории. Едва я закрыла дверь за последним гостем, как услышала рыдания сестры. Нестерпимые, разрывающие душу. Сестра не подпустила к себе: «Уйди!.. Оставь!.. Не тронь!»

От всех своих бед она оборонялась резкостью и гордостью, не позволяя подойти близко. Война, блокада помешали ей доучиться. У нее была толковая «инженерная» голова и красивый голос. Отсутствие образования не разрешило ей стать тем, кем она должна была быть по всем Божьим законам. Такой круг друзей, как у меня, должен был быть и у неё. Я была счастлива, когда позже между Володей и моей сестрой установилось редкостное взаимопонимание, и я видела, как приятно ей было перекинуться с ним шуткой, сколько радости ей доставляло его уважение!

Московский журналист Сергей Доренко, задумавший телевизионный цикл «Характеры», в одной из передач снимал меня. Приглашённая на передачу Валя рассказала, как в больнице блокадного Ленинграда её и нашу младшую сестру Реночку, наголо обритых, врач, подходя к койке, спрашивал: «Как себя чувствуешь, мальчик?» Всё помнила моя Валечка. Клетками помнила. Неизбывно. Всеми силами души хотела откреститься от страданий прошлого. Но не умела. Не знала как.

Примерно через год после моей последней встречи с Борисом в Москве он внезапно приехал в Ленинград.

Мы с институтской группой как раз собирались идти в Дом актёра отмечать день рождения одной из сокурсниц: «Какой счастливый случай, что Борис познакомится с моими друзьями-студентами!»

Когда в ресторане к нам, разместившимися за двумя соединёнными в один столами, подошёл официант, Аля Яровая с кокетливым задором распорядилась:

– Дайте нам пару салатов и много-много вилок!

Компанейский Борис сидел как каменный, не произнося ни слова. Через несколько минут мрачно сказал:

– Уйдём!

На улице тут же сорвался на скандал:

– Я, кажется, к тебе приехал, а не в твой институт... Ты что, ни черта не понимаешь? Что-нибудь, кроме себя, видишь? Уродка Господи! Какой я идиот! Кстати, где тут обувной магазин? Мне надо жене сапоги купить. Надо было это сделать в Москве и не переться в эту чёртову Пальмиру... Ты мне скажи: есть у тебя сердце или нет?

Швырнув о землю фотоаппарат, отказался его поднять. То был повтор прежних сцен в ещё более худшем варианте.

Я дала себе клятву теперь уже навсегда поставить точку и на переписке, и на телефонных звонках. Должны же быть, в конце концов, какие-то границы, какие-то пределы этим срывам-взрывам, сумасшедшим выбросам.

В скором времени от него из Москвы пришло письмо. Я хотела отослать его обратно непрочитанным. Смутила увесистость письма. Он писал, что его ненаглядная Ма, дорогая и мне Александра Фёдоровна, окончательно ослепла. Не пожелав быть обузой Борису и его жене, в одну из ночей приняла яд: «Я видел, видел, как она гладила рукой пакетики с порошком, но верил её словам, что это снотворное. Верил. Нет больше на свете моей Ма, – писал Борис. – Я приезжал, чтобы рассказать тебе это. Только ты могла бы мне помочь. Ну хоть как-то, ну хотя бы чуть-чуть...»

Это было не всё: «И о Косте. Он тоже не смог притерпеться к своей инвалидности. Болезнь отняла у него привычную внешнюю жизнь, а внутренняя была истощена вином. Потому он тоже принял люминал. Удрал за заветную дверь... И снова обступили меня, живого, тяжкие вины перед ушедшими: полынная горечь всех простительных подлостей, так легко объясняемых нехваткой времени и сил. Вины за всё, чего я не сделал, чтобы спасти его более богатую душу, чем моя». Он не мог найти себе места. Метался. Крушил всё.

Виновной в его боли была опять же я.

При нашей с ним встрече в Москве Борис с Хеллой не увиделись. Но он написал ей письмо. Хелла поделилась тогда своим впечатлением: «Письмо Бориса меня очень “задумало”. В его манерной развязности кроется столько неизречённого. Ему просто плохо, пусто, и это во всём: лично, на работе, впереди. Почему-то теперь он мне кажется куда более детским, наивным...»

Вторым зданием ЛГИТМиКа, в котором проходили занятия театроведческого факультета, был бывший Zubовский особняк на Исаакиевской площади, 5. Лекции для общего потока читались на втором этаже, в малахитовом зале. Из окна, у которого я занимала место, хорошо был виден горельеф на западном фронте Исаакиевского собора. Там был изображен святой Исая, благословляющий на царство императора Феодосия и его жену Флаксиллу. Земному ритуалу благословения сопутствовала высеченная в камне человеческая мука в образе коленопреклонённого мужчины и распластанной на земле, пытающейся опереться на локоть женщины... До моего сознания, задетого за живое неотъемлемостью от жизни страдания, доносился голос профессора Головашенко, который описывал костюм Алисы Коонен, игравшей роль мадам Бовари в спектакле Таирова: «На ней было платье тёмно-красного цвета со множеством воланов. К краям каждого из них тёмно-красный цвет густел, переходил в коричневатый, уподобляя воланы лепесткам роз, тронутых временем...» Вспыхивала мысль о художнике, придумавшем этот образ увядания, о том, зачем понадобилось уничтожить театр Таирова... И вдруг решительно *всё* стало сходиться, смыкаться воедино: гибель вымышленной мадам Бовари в романе Флобера, судьба реального режиссёра Таирова, больные и убийственные слова, выговоренные мне близкими людьми; их участливые слова, возносящие до небес; неправдоподобие того, что, пробыв столько лет в грязи и удушье лагерей, я сейчас сижу в малахитовом зале особняка бывшего петербургского вельможи на лекции по истории театра, бок о бок с молодыми людьми другого поколения... Не за что было схватиться, некуда было деться. Я уже не слышала профессорского голоса, не испытывала чувства боли. Но все утраты и все обретения стали уравниваться. Чудовищная согласованность всего... Будто стружки уплотнились снова в доски, доски в стволы, а последние ожили – до деревца на ветру. Всё оказалось пронизанным ощущением Бога... и ещё пришло удивление тому, что кто-то догадался, как Богу нужен Сын и Святой дух, чтобы существовать для человека.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Володя нетерпеливо ждал оформления пенсии и переезда в Ленинград.

После длительных поисков прекрасную вильнюсскую квартиру нам удалось обменять на тридцатиметровую комнату в Ленинграде, в огромной коммунальной квартире старинного дома позади Преображенского собора. Три венецианских окна этой комнаты выходили в тихий Манежный переулок. Удивительная, надо сказать, была квартира. На семь её комнат и восемнадцать жильцов приходился один звонок без указания, кому и сколько раз звонить. Около двух лет прожив там бок о бок с её обитателями, не припомню ни одного бытового недоразумения, о которое бы мы споткнулись. Устать среди тех петербуржцев можно было только от количества приветствий («Доброе утро!», «Добрый вечер!») и вопросов о самочувствии. Я не однажды слышала там категорическое: «И не думайте, не пушу. Уже час ночи, переночуете у меня», – когда к нам приезжал кто-то из близких и, справившись на кухне с готовкой, я собиралась уйти в свою комнату на улице Ломоносова.

Впоследствии две наши комнаты в «коммуналках» нам посчастливилось обменять на отдельную двухкомнатную квартиру на пятом этаже без лифта. В этой квартире на Лиговском проспекте мы прожили несколько лет.

С устройством на работу в Ленинграде у Володи проблем не возникло. Его пригласили на «Ленфильм» на должность главного режиссёра студии киноактёра. Ответственности здесь было неизмеримо меньше, чем в театре. Но от проблем иная специфика не избавляла. Стоило распределить роли и приступить к репетициям, как то одного, то нескольких актёров отзывали на плановые съёмки фильмов. Вместо убивших приходилось вводить других исполнителей. Репетиционное время растягивалось на неопределённый срок. В итоге Володе за год удавалось выпустить один полноценный спектакль на студии и один-два на телевидении.

Цепкая память Володи отзывалась на любой повод пересказать кому-то мизансцены и целиком спектакли, увиденные им в детстве

и юности: в одесской антрепризе Соболяшкова-Самарина, в Харькове, Киеве, а позже – во МХАТе, в театрах Мейерхольда, Таирова. Так же хорошо он помнил имена актёров, занятых в спектаклях. Теперь он всех оповещал: «Тамара написала на листе бумаги: “Приехали мы всей семьёй в Одессу...”», положила этот лист передо мной и вложила в ладонь ручку. С того дня я и принялся за свою книгу “Театр моей юности”».

Если же в целом говорить о его творческой судьбе в Ленинграде, то самым увлекательным и весомым для него оказался переход на преподавательскую работу. Зная о его пристрастии к студийному воспитанию актёров, я уговорила его оставить «Ленфильм» и перейти в Институт культуры. Яркие и одарённые студенты режиссёрского курса и творчески, и по-человечески стали достоянием его жизни.

Я полюбила Володину мать, которая жила с нами. Было по-домашнему уютным нетерпение, с которым она ожидала моего возвращения с рынка, то, как она с заинтересованностью придирчивого эксперта, вынимая из сумки провизию, квалифицировала каждую покупку: «Ах, какое ты прекрасное купила мясо!», «Где тебе только удалось отыскать селёдку с такой толстой спинкой?» Или укоряла: «Ну а это зачем? Что же ты у нас за транжира такая?»

Торопливо почистив картофель, нарезав овощи, чтобы снять с неё часть нагрузки, я убегала на работу. С работы – в институт. Мария Семёновна, которую я стала называть мамой, справлялась с приготовлением обеда.

Чаще других к нам приезжала из Тамбова старшая дочь Володи Маечка, с которой нас связало куда более сердечное чувство, чем просто человеческое приятие. Она стала другом, очень дорогим и очень любимым.

Приход нового директора в ЛДХС – Ленинградский дом художественной самодеятельности, где я работала, перевернул в этом учреждении буквально всё. Из вялого, рутинного и непрестижного придатка к Дворцу профсоюзов, курирующего жизнь любительских коллективов, ЛДХС превратился в кипучий городской методический центр, который взял под контроль подбор кадров, организацию семинаров, учёбы для руководителей коллективов и творческую жизнь.

Такие энтузиасты, как замечательный директор Марк Михайлович Гитман, как заведующие отделами культуры отраслевых профсоюзов и обаятельная, мудрая Людмила Парфёновна Шахнова (тогда директор областного Дома народного творчества), рассмотрели в своём деле потаённый смысл. Валялась-валялась пронзительно толковая идея

творческого просвещения, с ней обходились как с бросовой, никто в неё серьёзно не вникал, а стоило её нужным образом ограничить, как в городе буквально на глазах начало происходить нечто невиданное.

Если раньше театральными коллективами руководили оставшиеся по разным причинам без работы актёры, не имеющие режиссёрского опыта, то теперь на работу оформляли профессиональных режиссёров и студентов, проучившихся в творческих вузах не менее трёх лет. На афишах стали появляться фамилии известных режиссёров: И. С. Ольшвангера, А. Б. Винера, О. Я. Ремеза, В. А. Ремизова, З. Я. Корогодского, В. С. Голикова, В. В. Петрова, Н. И. Лифшица, супругов В. С. и М. Л. Андрушкевич, Ю. А. Смирнова-Несвицкого, Ю. С. Соболева, актёра Ф. М. Никитина и других.

Стремление профессиональных театров в 60–80-е годы утвердиться в собственном почерке прикрыло двери перед выпускниками театрального института. Чтобы не остаться без работы, большая часть молодых режиссёров уехала из Ленинграда на периферию. Кто-то из оставшихся в городе устраивался на телевидение, на радио. Но находились и такие, кто поначалу только для заработка, а затем с полной творческой отдачей возглавил любительские театральные «кружки». За именами как известных, так и молодых режиссёров – Г. Яновской, Т. Жаковской, Л. Шварца, Л. Погосьян, М. Левшина, И. Паниной, М. Мендельсона, Н. Никитиной, А. Бирули, В. Сулова и многих других утвердились созданные ими театры: «Скворечник», «Перекрыток», «Суббота», «Четыре окошка», «Синий мост», «Театр дождей», решительно непохожие один на другой по духу, по стилю, по способу существования.

Афиши дворцов, домов культуры и клубов запестрели свежими и неожиданными названиями спектаклей. Это подтолкнуло к организации смотров и фестивалей. Появилось постановление о присвоении лучшим коллективам звания «народных театров». К концу семидесятых, в восьмидесятые в городе их насчитывалось уже двадцать пять. В театральной афише города появилась рубрика «Репертуар народных театров».

Структура народных театров предусматривала создание при них студий. Актёры-любители получили возможность долговременного обучения сценической грамоте. Да и только ли в сценических секретах было дело? Главное таилось в характере контактов. Он в корне изменил суть самого явления художественной самодеятельности. Союзничество профессиональных режиссёров с людьми «второй профессии», как называли тех, кто с производства устремлялся на занятия в театральные, вокальные, хореографические коллективы, оказы-

валось настолько сильным человеческим сцеплением, что из творческих студий они превращались в центры духовного и культурного воспитания. Актёры-любители чтили своих педагогов-режиссёров, как богов, спустившихся к ним с Олимпа. А сами доставляли «богам» такую сермяжную правду о реальном быте и производственных отношениях, что это корректировало режиссёрские решения современных пьес.

В ЛДХС (улица Рубинштейна, 13), с его добротной библиотекой, театральным, оркестровым, изо, вокальным, хореографическим отделами, всё бурлило. Белый зал, зрительный зал, отвоёванная на втором этаже квартира были запружены армией оркестрантов, вокалистов, режиссёров...

Для проведения семинаров с молодыми театральными режиссёрами и педагогами чтецких коллективов приглашались крупные мастера: А. И. Кацман, Г. Е. Хазанов, О. В. Беюл, Е. А. Смирнова, другие.

Умные, талантливые спектакли народных театров нередко приобретали масштаб городского события. Поставленная в университете режиссёром В. С. Голиковым инсценировка по ошельмованной книге В. Дудинцева «Не хлебом единым» имела сенсационный успех.

В театре «Перекрёсток» можно было увидеть изысканные, совершенно особые, высокохудожественные постановки В. М. Фильштинского: «Птица по имени Карл» по сказке Г.-Х. Андерсена «Гадкий утенок», «Дядя Ваня» А. Чехова, «О Высоцком» и другие (оформлял их художник Ф. М. Фильштинский). Из разных районов города зрители съезжались на спектакли народного театра ЛИИЖТа, которым руководил В. А. Малыщицкий («Сотников» по повести В. Быкова, «И дольше века длится день» Ч. Айтматова, «Сто братьев Бестужевых» Б. Голлера), на спектакли народного театра при Выборгском доме культуры («Егор Булычёв» М. Горького, «Деревья умирают стоя» А. Касоны, «Ретро» А. Галина, «Волки и овцы» А. Островского). Когда шел спектакль Б. А. Ротенштейна «Подследственный из Галилеи», поставленный по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита», возле клуба имени Десятилетия Октября собирались толпы горожан, желающих на него попасть. На декаде горьковских спектаклей народный театр Дома культуры имени Горького за постановку «Зыковы» (режиссёр Ю. С. Соболев) получил самую высокую награду. С московских и зарубежных фестивалей народные театры Ленинграда привозили дипломы первой степени.

Многое из того, что появлялось в студенческих народных театрах, как и во множестве студенческих театральных коллективов, было для тех лет смелым и вольнодумным. В некоторых вузах, особенно в

закрытых НИИ, создавались хлесткие, не без яда капустники, в которых высмеивались месткомы, профкомы, пощипывалась даже власть, значившаяся в ранге неприкасаемой.

Моя должность именовалась «зав. репертуарным отделом». Кроме пьес, инсценировок, заявленных коллективами в репертуарных планах, мне надлежало прочитывать уйму пьес, издаваемых Москвой, чтобы самой рекомендовать к постановке наиболее интересные. Приватные беседы с режиссёрами по поводу замыслов спектаклей были не обязательны, но случались часто, что придавало моей работе особое содержание и особый смысл.

Без протокольного «разрешено» спектакли, эстрадные представления, капустники к показу на публике не допускались. Частенько эти приёмы превращались в бои. Вместе с методистами и зав. театральным отделом я должна была «принимать» спектакли. Некоторые парторганизации в ленинградских вузах практиковали запреты постановок ещё на генеральных репетициях. Спасая их от перестраховщиков, театральный отдел ЛДХС взял за правило приглашать в жюри наиболее уважаемых и бесстрашных педагогов ЛГИТМиКа – Л. И. Гительмана, В. А. Сахновского, Е. С. Калмановского, режиссёра-педагога А. И. Кацмана, историка Я. А. Гордина, в разные годы окончивших наш институт критиков Елену Алексееву, Марину Дмитриевскую, Евгения Соколинского, Ольгу Скорочкину и других.

Неожиданно моими служебными приёмами спектаклей увлёкся Володя. Его режиссёрский опыт был крайне уместен. В коллективах его выступления любили. И когда мы с ним возвращались после таких обсуждений спектаклей, спящий уже в эти часы город казался нам чаном, в котором происходит мощное живительное брожение, над которым колдуют знакомые нам поимённо яркие, талантливые люди – во имя того, чтобы «из жизни бедной и случайной» творить «трепет без конца».

Вообще первые годы мы сгоряча просуществовали с Володей на одном дыхании. Лёгким на подъём, нам до всего было дело, всё нас кровно касалось. Счастливыми бывали и отпуска.

- Куда едем?
- Всё равно.
- Нет. Так нельзя.
- Спросите у Александра Александровича, – советовали мне на работе. – Он весь Союз изъездил.
- Александр Александрович! Куда поехать в отпуск?
- А вы туда поедете?

- Непременно.
- Тогда – в Яремчу.
- Где это?
- В Карпатах.

На каком-то участке поезд из Львова на Мукачево настолько медленно тащился в гору, что многие пассажиры спрыгивали со ступенек вагона и шли вровень с ним. А горы к перевалу становились всё выше и круче.

К Яремче мы подъехали часам к шести вечера. Тишина. Несказанного вкуса воздух. Ещё заглотить его, ещё...

– Не желаете поселиться у нас? – отделился от небольшой группы местных жителей сухопарый человек. – В горах! Своё молоко, творог, сметана. Дорого не возьмём.

Идти пришлось далече. Дошли и свалились в сон. Да такой, что только надрывное «ку-ка-ре-ку» поутру из него вызволило. Светящаяся от чистоты хата. Рушники висят. Студёная вода в рукомойнике. Завтрак уже на столе. И, Господи, до чего же вкусно дышится в горах!

– А выкупаться здесь есть где?

– До реки Прут версты три. Вниз вон по той дороге дойдёте до водопада, там всё и увидите.

Шаг лёгкий. Хрустальный покой в округе, благодать такая, что и переговариваться не хочется.

Чуть в стороне от водопада – три «пряничных» домика. Крыша, навесы над крыльцом и верандами, отделанные кружевной резьбой.

– Что это за домики?

– Гостиница.

– Кто в ней живёт?

– Пока никто. Сегодня будут заселять один из корпусов.

Неподалёку четвёртый дом, обжитой, увешанный разноцветными фонариками. Из трубы дым вьётся.

– А там что?

– Там до шести вечера столовая, после семи – ресторан «Гуцульщина».

Подожли к водопаду. Много купающихся. Солнце горячее. Вода холоднющая.

Вот досада: не хочется огорчать хозяев, но здесь всё так компактно, всё под рукой. На обратном пути опять подошли к пахнущей струганым деревом гостинице.

– Можно снять номер?

– Будете первыми.

И сняли. Хозяевам заплатили неустойку. Перенесли вещи. Вечером собрались в «Гуцульщину» поужинать. Только спустились со ступенек, как тут же остановил вскрик: «Тамара Владимировна!» Окликнула главреж кишинёвского телевидения.

– Вот так встреча! Какими судьбами? Где разместились?

– Новосёлы. Сегодня открылась вот эта гостиница.

– А шествуете куда?

– Ужинать в «Гуцульщину».

– Ну уж нет. Ужинать к нам. Знакомьтесь: мой муж. И вообще мы вас заберём отсюда. Жить будете там, где мы. Мы уже здесь десять лет снимаем комнату у хозяйки.

– Не получится. – Одно заселение у нас было вчера, второе – сегодня. Хватит.

– Пошли, пошли. Сами всё увидите, сами всё и решите.

Дом на самом берегу реки Прут. Комнаты хозяйка сдаёт с полным пансионом.

– Не отпустим! И не мечтайте! Вы только посмотрите: с постели – прямо в речной поток. Нас не бойтесь. Мы не навязчивы, – уговаривала нас уже вся их компания. – Утром и днем каждый сам по себе. Вечером, при желании, – общие прогулки. Всем гуртом сейчас перенесём ваши вещи. Идёт?

По Черновицам я помнила реку Прут полноводной, бурливой, а здесь она неслась с гор, как угорелая. Ложбины были загромождены гигантскими валунами, высовывающимися из вскипающей пены. Укладываясь на них загорать, мы запросто умещались на плоскости в полный рост. А стоило съехать с их скользкой спины и усесться у основания камня, как бешеный поток всей своей мощью обрушивался на голову, на плечи, не то массируя, не то избивая.

Колхозы на Западной Украине даже не опробовались. Местные жители при встречах кланялись в пояс: «Здраву, пан», «Здраву, пани». Малину из лесу носили вёдрами. Говорили, медведи встречаются. А белые грибы в горах умудрялись расти в траве.

В мирные, тишайшие вечера, вооружившись палками, мы группой человек в десять отправлялись по «австрийской дороге» высоко в горы. Поистине, вертикаль – иная география. С хребта на подёрнутые дымкой долины открывался такой вид, что сердце разрасталось во все стороны. Снизу, с пастбищ, глухо доносился звон колокольчиков, подвязанных к шеям пасущихся коров. При взгляде с горы вниз поговорка «Пан или пропал» обретала смысл с привкусом смерти.

А чтобы хоть на шаг приблизиться к пониманию, что такое «кара небесная», надо было пережить в Карпатах грозу. От нещадной мощи и меткости ударов грома укрыться – негде. Гнев небес разламывал голову на ломти, испытывал натуру на стойкость. Потoki озлившегося дождя расквашивали почву. Молнии с громом назидали: «Какая же ты песчинка! Ах, какая же ты малость!» И отринутому небесами человеку не к чему было ни прижаться, ни прислониться.

Обильную еду хозяйка разносила постояльцам по комнатам. На день хватало одного обеда.

Наш дом стоял под горой, а на горе виднелись только крыши каких-то построек за забором. Как-то мы вдвоём собрались пойти в соседний санаторий посмотреть фильм. Обходя усадьбу, увидели, что от тех построек с горы скатывается набитый чем-то мешок, за ним – другой и третий. Поутру спросили у соседей, что находится на горе. Оказалось: Дом отдыха, в котором работала наша хозяйка. Ларчик открывался просто: для многочисленных постояльцев хозяйка наша набивала мешки казённым хлебом, картофелем, прочим провиантом. И доставка стоила недорого: пинок ногой по мешку. Поистине, высокое и низкое соседствовали друг с другом без раздора.

Задумали съездить на ярмарку в Косов. На пути у каждого колодца – деревянные изображения Матери Божьей. На ярмарке продавали и скот, и гончарные изделия, и отороченные мехом, расшитые узорами жилеты, обувь. Всё во власти торга. Пестро, прижми-мисто, с интересом.

– А в этом году куда едем?

– По Волге. По шлюзам.

«Сдайте вы билеты на ваши шлюзы! Прошу, умоляю: едем к нам на озеро Селигер», – уговаривал нас мой товарищ по Северу, по ТЭКу. Тот самый Володя Мурзин, до сердца матери которого я не смогла достучаться в Москве. «У родственников жены там дом, банька на берегу. Комната в доме или сеновал – сами выберете. Сад, огород, всё своё. Яблок хоть завались. Тamarочка будет нам жарить их в кляре, а мы с вами, Владимир Александрович, будем рыбачить всласть. Хотите, на колени стану? Прошу: едем!»

Уже совсем стемнело, когда мы сели на небольшой пароходик в городе Осташкове и тот неторопливо стал пролагать себе путь по озеру Селигер меж бесчисленных островков: «с блюдечка», «с поднос», а то и с размахом на полкилометра. К ночи на островах запылали костры. Где-то, кучно облелив огонь, туристы брэнчали на гитарах и пели. Где-то по причудливо метавшимся теням угадывались диковатые языческие пляски, изгоняющие всяческую порчу...

К гористому острову, который надо было пересечь пешком, мы причалили часам к четырем утра. Не зажигая фонарики, молча прошли гуськом через лес к другому склону острова, где нас должна была поджидать лодка. Пробивался рассвет. Над озером висел слоистый туман. Кто-то с лодки подавал руку. Туман разобрал нас «поштучно». Только по звуку «шлёп-всхлип» угадывалось размеренное погружение вёсел в воду. Пристав к берегу, огородами дошли до хаты, где нас ждал шумящий самовар. Без лишних слов нас напоили чаем, проводили спать в выгороженную на чердаке комнатушку с набитыми пахучим сеном матрацами.

Хозяин – председатель колхоза. Хозяйка – почтальон. Приветливы, добры. А через три-четыре дня отношения заладились со всей деревней разом. В Ленинграде, отстояв очередь, я только что посмотрела на кинофестивале несколько английских фильмов. После переказа одного из них хата по вечерам стала заполняться «под завязку». Мужики рассаживались на пол:

– Приступай, Владимировна! Слушаем!

Сидели не шелохнувшись. Кто бы мог вообразить такую ярую жадность у деревенской аудитории? «Политический детектив? Давай, а как же!», «Про любовь? Семейную мелодраму?.. Гоже, Владимировна, гоже. Приступай! Да уж чтобы со всеми там деталями».

Однако ж, Бог мой, какой неприглядной стороной вывернулась сегодняшняя жизнь деревни по сравнению с той, впечатавшейся в душу порой детства в Попадине, под Невелем. Той, ещё до раскулачивания. Хозяйка тогда выгоняла коров в половине пятого утра. Семья поднималась в пять. Завтракали и шли в поле. Работали там до заката солнца. Косили, шевелили сено, жали, вязали в снопы рожь, пшеницу, а надёрганный лён с голубыми цветочками – в небольшие снопики. Молотилка работала. Вейлка шумела. У каждого было своё место. А теперь колхозники шли к управлению за нарядами на работу не спеша, часам к девяти. Как вкопанные стояли у дороги комбайны, выведенные из строя поломками. Полomalась машина – и стоп на весь сезон:

– Запасными частями не комплектуют. Вот и весь сказ.

В хате с вывеской «Управление колхоза», стуча деревянными кругляшками на счётах, бухгалтер сочинял липовые трудодни. А уже с двенадцати оттуда доносился стук костяшек домино.

Рыбачили по-разному. Приезжие – с удочкой. А местные с ночи на колышки привязывали сети, а утречком компанией тащили добычу к берегу.

Я брала лодку, садилась на вёсла, отыскивала глухой затон, где подходы к берегу были в полоне у белых лилий и жёлтых кувшинок, и, как когда-то на Урале, забывалась в тишине.

Дней через двенадцать после приезда в деревню что-то стало смущать. Северный друг выглядел озабоченным. Кто-то с кем-то шептался. Я без обиняков спросила: «Что случилось?»

Ответ был неожиданный:

– Спокойнее было б, если б вы уехали с Владимиром Александровичем. Успенье на носу. Боязно за вас. Напиваются тут вусмерть. Деревня на деревню с ножами может пойти. Неровён час...

– Да что вы, что вы? Вот эти-то люди, которые так пересказы фильмов слушали? – успокаивали мы хозяев.

Поверить во «власть тьмы» над неглупыми мужиками, прошедшими фронты и знаменитые «пол-Европы»? С их-то разумением? С их-то высказываниями о жизни? Нет. Хозяйские страхи казались несерьёзными. Подумалось даже, что причина – в каком-то нашем просчёте.

– Уж мы-то сами так рады вам! Это наш Вова, не подумавши, пригласил вас под праздник. В другую бы пору и тревог никаких. Уезжайте. Не в стариках дело – больно у нас парни заводные имеются.

Опасения оказались не напрасными, последствия праздника – фатальными. После нашего отъезда в пьяной драке насмерть зарубили топором младшего сына хозяина.

Занемогший отец наезжал позже к врачам в Ленинград. Заходил, делился размышлениями:

– Мучается человек своей ненадобностью. Особенно молодёжь. Тоска изгрызает. Многие уж побросали деревню. А тем, что остались, куда деваться?

И всё это творится на одном белом свете? В один и тот же век?

Мария, младшая дочь Володи, разошлась с первым мужем. Вышла замуж вторично.

Однажды Володя бросил мимоходом: «Хочу устроить их здесь в какой-нибудь театр».

Позже Володина мама тихонько спросила меня:

– А ты хорошо подумала?

– О чём?

– О том, что Машина мать тоже может сюда переехать.

Со мной Володя не оговаривал этой темы. Но ни при каких обстоятельствах я не могла бы воспротивиться тому, чтобы дочь с отцом жили рядом.

В скором времени Маша с мужем переехали в Ленинград. Были устроены в один из ленинградских театров. Со временем получили комнату в центре города.

Покончив с тактикой заявлений и разбирательств в инстанциях, оставленная Володей жена пришла к безотказно мудрому решению – помириться с ним. Узнав, что он обосновался в Вильнюсе, а я там бываю только наездами, она обменяла свою жилплощадь на Вильнюс и переехала туда. Теперь свою вильнюсскую комнату она, как и предполагала свекровь, поменяла на комнату в Ленинграде.

Эксцессов никаких не возникало. Маша с мужем бывали у нас. Их жизнь, их театральные дела обсуждались совместно. Маша ожидала ребёнка. Да ещё – первого. Вокруг неё образовалась атмосфера бережности и участия, в которую была включена и я.

Володя с мамой летом отдыхали под Ленинградом, мать Маши – на юге. Я в ожидании отпуска находилась в городе и была погружена в страхи и тревожения за дочь мужа. Когда её везли в операционную, муж Маши успел поднести ей телефонную трубку, чтобы я напутствовала её добрыми пожеланиями. 9 июня 1970 года у Маши родился сын.

Нетрудно представить, как рождение ребёнка сплотило прежнюю семью.

На регистрацию новорождённого во Дворец малютки готовилась идти вся семья: мать Маши, мать Машиного мужа, Володя и Мария Семёновна.

Я оставалась в квартире одна.

Ситуация напомнила пережитое в доме Бахаревых, когда по моей просьбе одиннадцатилетний сын показывал фотографии, где они вместе с отцом что-то стругали, шли через поле к реке купаться, стояли возле телёнка. Полноправная хозяйка, Вера Петровна хлопаньем дверей демонстрировала отношение к сложившейся ситуации. А я, как в дурном сне, продолжала сидеть, не понимая, куда мне деться.

Исключённость из всего. Чёткое ощущение «заветной двери», за которую людей уводит отчаяние. Всё это было осознано ещё и ещё раз.

Открыв на звонок дверь, я увидела стоявшую на лестничной площадке Машу с младенцем на руках, мужа Маши с бутылкой шампанского, а за ними – молчаливых Володю с мамой. Казалось, всем в этот момент открылась неодолимость правды.

– Прямо из Дворца спешим к вам, Тамара Владимировна, отпраздновать событие, – возвестил зять Володи. – Наш сын Александр, наш Сашенька, получил сегодня медаль «Рождённому в Ленинграде»... Неужели вы думаете, что на таком празднике мы обойдёмся без вас?

Попытка детей принять двойную ситуацию в семье, простить взрослым их каинство? Да. Что-то в тот день Володины дети спасли.

Семья была неотторжимой частью Володиной жизни, его сознания. Он нес за нее ответственность. Но было ещё что-то самое главное: Володя с его непосредственностью, конечно же, рассказывал мне о том, как любил вторую жену. Смешон и наивен был предьявляемый ей счёт по поводу склонности всё чернить. Этим ли доводам было тягаться с любовью? Володино «хочу домой» являлось прямым продолжением той любви. О том, что чувство это было живо, говорила и его тревога, которую он то и дело выказывал: «Ей нужен отдых», «Она себя неважно чувствует», «Она замучена домашней работой»... Каждодневные, по часу, телефонные разговоры с бывшей женой обо всём происходящем в семье дочери, Володины визиты к ним отныне были вписаны в режим жизни величиной постоянной.

Володя сумел рвануться и уйти из семьи настолько, насколько в нём жила потребность «в голос» прожить гражданские чувства, смятые репрессивными временами, когда не удавалось защитить арестованную жену или друга.

Когда же всерьёз заходила речь о его возвращении в семью, следовало его изумлённое: «Ты *хочешь*, чтобы я умер?»

– Чего ты *хочешь*? – спрашивала меня навевывавшаяся в Ленинград Хелла.

«Чего же я *хочу*, – спрашивала я себя, – если мы начали нашу жизнь с Володей в пору, когда её итожат?»

Глубоко внутри нас существует палата мер и весов. Там есть неподкупное знание об искушениях, о цене наших оступок и о свойствах вины.

Выслушав мою речь об одинокости, Хелла напомнила:

– Рай – это что? Рай – это то, что не ад.

О, да! Память об аде была режущей, живой. Но дело-то было в другом: я – любила.

Кумиром Володиной юности была актриса Е. А. Полевицкая, покоровившая его когда-то исполнением роли Маргариты Готье в «Даме с камелиями» Дюма-сына. Узнав, что она живёт в Москве, он загорелся идеей навестить её, уточнить для книги одну из мизансцен и расспросить об антрепризах.

В Москве мы разыскали номер её телефона, созвонились, и она пригласила нас к себе.

Володино поклонение доставило ей минуты счастья, воодушевило. Вернуло в прошлое. Она рассказывала нам, как по-разному игра-

ла Маргариту Готье в России и в Германии. Тут же проиграла сцену, когда после объяснения с отцом Армана Дюваля, отчаявшись, в бессилии, волоча за собой стул, доходила до постели. С наивным лукавством поведала, как на просьбу антрепренёра посвятить в тайны своего мастерства молодую актрису, получившую её роль, постаралась этого избежать. Она и сейчас брала в плен женственностью, артистичностью и совершеннейшим непониманием того, как изменились времена.

На её письменном столе стояла фотография актрисы Людмилы Чурсиной, которой она восхищалась: «необычайно одарённая», «необычайно талантливая».

Отправившись после посещения Полевицкой на выставку венгерской промышленности, обойдя часть павильонов, мы с Володей присели на скамью отдохнуть. Обменивались впечатлениями – и вдруг он занервничал:

– Посмотри наискосок, вправо. Видишь, там сидят двое пожилых людей? Это мой двоюродный брат, писатель Лев Славин, с женой. Я боготворил Лёву в детстве. В последние годы у нас разладились отношения.

– Из-за чего?

– Так. Семейная история.

– Всё так серьёзно? Ты сам не свой. Решился же поехать к Полевицкой? Подойди и к брату.

– Пойдём вместе.

– Не думаю, что это будет тебе на пользу.

Решение как бы случайно пройти мимо них оправдало себя. Володя познакомил нас.

– Каким образом ты в Москве? – спросили его.

– Мы только что от Полевицкой. Помнишь, как в Одессе... – и разговор между ними сразу обрёл непринужденность.

– Ты пишешь воспоминания? – заинтересовался Лев Славин. – А где работаешь?

– В Ленинграде.

– Да что ты! На следующей неделе мы едем в Ленинград. Приглашают на «Ленфильм». Есть такой режиссёр Полока. Собирается ставить фильм по моей пьесе «Интервенция».

С того самого приезда Славиных в Ленинград, с визита к нам и началась наша многолетняя благословенная дружба, во многом сказавшаяся затем не только на моей судьбе, но и на судьбах старшей Володиной дочери Маечки и двух её сыновей – Вовы и Андрюши.

Славины остановились в гостинице «Европейская». Обедать приходили к нам. Билеты в театр брали на четверых.

В Филармонии на вечере Ираклия Андроникова, в антракте, повели к нему за кулисы – знакомить. Ту необычайно темпераментную, экстатическую беседу дважды прерывала капельдинерша:

– Простите, Ираклий Луарсабович, вам из публики просили передать вот это прижизненное издание «Руслана и Людмилы».

Во второй раз:

– Извините, Ираклий Луарсабович, одна дама просила вручить вам дневник деда, служившего с Лермонтовым.

В один только тот антракт людьми, лично даже не представившимися этому неповторимому рассказчику, через руки капельдинерши были жертвенно переданы не имеющие цены раритеты. Это не могло не взволновать. Андроников унимал нас:

– Это не редкость, совсем нет. С такими людьми Ленинград ещё остается Петербургом.

В ту белую ночь, за рассказами Ираклия Луарсабовича, остановившегося в той же «Европейской», мы засиделись в номере Славиных до пяти утра. О чём только он смачно и вкусно не поведывал! Амплитуда была – от рассказов про рукописи на чердаках, в домах потомков декабристов, до австрийской теории, по которой Земля «сдёрнула» с Луны водный покров, «в оплату» за что обобранная планета по сей день руководит приливами и отливами земных морей и океанов. Наполненный-переполненный, этот художник казался неистощимым.

– Никаких «Наумовна» и «Владиславовна». Я для вас – Софа, вы – Тамара, – постановила жена Славина при второй же встрече.

Московская квартира Славиных было невообразимо запущена. Обои, не переклеивавшиеся годами, отстав от стен, провисали пузырями. Уйма негодных к употреблению вещей загромождала коридор. Но, Боже мой, насколько же всё это не имело значения для тех, кто здесь бывал и кого здесь привечали! Каким умным и добрым был этот дом!

Будучи военным корреспондентом, по окончании Второй мировой войны Лев Исаевич присутствовал в Берлине при подписании акта о капитуляции Германии. Рассказывал и о Халхин-Голе, о Монголии, о Японии. Поэты читали у Славиных стихи, прозаики – рассказы, отрывки из повестей. Здесь отчаянно спорили, отстаивая свои позиции и взгляды, недюжинные умы и таланты: Юрий Домбровский, Арсений Тарковский, Валентин Катаев, другие. От иных бесед и споров в их доме оставалось ощущение высокородного звука, как

при скрещении клинков из дамасской стали. Те споры отличали мировоззренческая определённая и гражданская страстность. Так бывало, когда Юрий Домбровский пересказывал схватки со следователем, доводившие обе стороны до ярости (об этом можно теперь прочесть в «Факультете ненужных вещей»).

Однажды, в перерыве между спорами, жена Арсения Тарковского спросила меня:

– Скажите, столько пережив, вы сейчас «горите на мелочах»?

Поняв, что она имеет в виду, я живо откликнулась:

– О-о-о! Не только горю, ещё и – выгораю!

– Как же так?

Всю последующую жизнь за меня в этом доме «стояли горой». Однажды заступились с таким жаром, что навсегда отобрали сердце. Неуважительно отозвавшемуся обо мне брату Володи было отказано от дома: «Навечно! Навсегда!»

Володя с Софой обращались друг к другу на «вы». Их диалоги бывали забавны, носили оттенок поддразнивания, игры. Возникали самые неожиданные тексты:

– Вы, Вова, сколько раз ещё намерены жениться? – спрашивала Софа, пряча улыбку. – Ну, если это в последний раз, то почему бы вам не расписаться с Тamarой? Разводиться. Извольте всё оформить, как подобает. Неприлично не думать о ней.

Я, честно, не понимала, почему Софа так печётся о формальной стороне брака. Узнав много лет спустя, что её с Львом Исаевичем пятьдесят лет связывал незарегистрированный брак, удивилась тем более. И только теперь, когда всё стало былым, расцениваю её слова как тревогу за меня, гораздо более глубокую, чем представляла себе тогда.

О крылатых годах учёбы в ЛГИТМиКе я не только говорю, но и вспоминаю с придыханием. Всё вложенное в нас нашими педагогами – поило и насыщало, уплотняло до точек опоры.

Деканат театроведческого факультета находил резон в смене педагогов по критике. Разные педагоги – различные подходы к драматургии, к спектаклям. Каждый новый педагог в ком-то из нас должен был разглядеть и развить доселе ещё не выявленное.

Так на четвертом курсе мы попали в руки к неистовому и неуёмному Владимиру Александровичу Сахновскому-Панкееву. Никак не стану именовать отношения, сложившиеся у курса с этим педагогом. Ни одно из определений не будет точным. Он нещадно гонял своих студентов на экзаменах по предмету «Театр народов СССР». Зато во всём,

что происходило на занятиях по критике, был решительно непредсказуем. То мог без меры восхититься сказанным, то, наоборот, так художественно выстраивал публичную порку за всякое «не то», что атакованному студенту оставалось либо присоединиться к веселью аудитории, либо заключить себя в ситуацию обиды. Таким был наш молодой педагог-мистификатор. У отношений с ним была и «прибавочная стоимость». Не было ему равных в просветительской щедрости.

Власть приспустила «железный занавес» уже внутри страны, когда в конце шестидесятых в Советский Союз хлынули выдающиеся зарубежные фильмы. Их показывали только на закрытых просмотрах для партийной элиты и в некоторых творческих союзах. Будучи членом и Всероссийского театрального общества, и Союза кинематографистов, Владимир Александрович Сахновский был вхож на просмотры в оба союза.

Многие из «шестидесятников» вспоминают добрым словом кухни своих квартир, как мини-клубы с несложным застольем и жаркими спорами. Стены наших кухонь тоже знали это. Но заветным клубом для «б-а» была аудитория в Зубовском особняке.

Занятия заканчивались в девять вечера. До двенадцати охрана из института не выгоняла. Мы припасали сухари, кипятили чай. Наш педагог снимал пиджак, вешал его на спинку стула и являлся в своей третьей ипостаси: просветителя-пересказчика польских, шведских, итальянских и американских фильмов. Его размашистая память схватывала идею фильма, сюжетные повороты, бесчисленные подробности, сценарные находки. Идя по столбовой дороге прямо к конечной цели развития общества, где каждый будет улажен по потребностям, мы слишком мало знали о нравах людей других стран, о проблемах и сложностях их реальной жизни. Чего бы мы ни навидались сами, наше представление о мире было более узким и куцым, чем интуитивное постижение его. В жажде прорваться к всеобщему опыту человечества, не отрывающему частную жизнь от социальной, мы заслушивались темпераментными пересказами нашего эмоционального, живо мыслящего педагога.

По возвращении из поездок в Польшу он приглашал нас к себе домой, чтобы подробно рассказать о реформаторских экспериментах польского режиссёра Ежи Гротовского. Мы алкали нового, ахали, когда он открывал нам его, и обожали Сахновского-Панкеева. За чашкой чая он, счастливый, хвастался безоговорочным доверием своей падчерицы: «Лара сегодня сказала: “Знаешь, с тобой я полетела бы в космос!”» Жена его, Тамара Ивановна, угощала всегда чем-то вкусным. В свои сорок лет собиралась родить ему ребёнка. И выбирались мы

из их дома только к трём-четырёх часам ночи с ощущением достаточности жизни.

На занятия нашего «6-А» приходили студентки с других курсов: Ирина Баскина, Неля Вексель, Марина Тимченко. Со временем мы стали считать их своими однокурсницами. Ирина Баскина через французское консульство добывала для просмотров фильмы. Приглашала нас то в Музыкальное училище имени Римского-Корсакова, то в Академию художеств. Накупив килограммы сушек, Ирина раскладывала кульки на широких подоконниках актового зала академии, чтобы проголодавшиеся после занятий студенты, наперегонки мчавшиеся смотреть фильмы, могли хоть что-то закинуть в рот.

Мне кажется, ни в одно из послереволюционных десятилетий, породивших понятие «коллектив», это слово не приближалось так к своему истинному смыслу, как в те годы, когда люди объединялись в согласии со своими интересами, вкусами и доброй волей.

Жила я тоже «экстерном». Суток – не хватало. Справлялась с домом, работой, учёбой, но уставала без меры. Подкосили и две тяжёлые операции. Однако надо было опять и опять спешить.

Одна экзистенциальная метафора: «Жизнь – искра, летящая из тьмы во тьму» – торопила. Другая: «Осколки разбитого образа Христа застряли в каждом частном человеке» – удерживала на плаву.

Я, как всегда, бежала бегом на занятия, когда меня пригвоздил к месту окрик преподавательницы истории русского театра – Екатерины Александровны Табатчиковой, достаточно скупой обычно на проявления чувств:

– Тамара Владимировна! Остановитесь! Мне надо с вами поговорить... Я вас прошу, слышите, прошу опаздывать на мои занятия. На сколько угодно. Лишь бы мне не видеть, как вы несётесь в институт и из института домой. Пощадите свое сердце. Ему трудно справляться с такой, как вы.

Остановившись, я потрясённо слушала её. Не могла сойти с места. Участие не от самого близкого человека в семье, а от педагога?!

И вот мы уже заканчиваем институт. Предстояло сдать экзамены за пятый курс.

На экзамене у оборотительной Александры Александровны Пурцеладзе, преподавательницы русской литературы, знавшей наизусть несметное количество стихов из поэтического наследия России, мне достался билет с вопросом об «Анне Карениной». Приготовившись отвечать, я подседа к столу экзаменатора. Александра Александровна, наклонившись ко мне, зашептала:

– Дайте мне, ради Бога, вашу зачётку, Тамара Владимировна. Не могу я вас спрашивать об Анне Карениной, ну право же – не могу.

Преподаватель «марксизма-ленинизма», немолодой молчаливый человек, при встрече в институтском коридоре остановился: «Дайте мне посмотреть вашу зачётку». Ни слова больше не сказав, прижал зачётку рукой к стене и поставил против своего предмета отметку «5».

Все остальные экзамены я сдавала, как положено. Честное-пречестное слово! Но когда получила аристократически-высокую по своей простоте и достоинству записку от одного педагога: «Не знаю, сумели ли я Вас чему-нибудь научить. Вы же меня научили умной человечности», – сочла, что по предмету «человечность» экзамен у своих учителей приняла я. И, право, жизнь была преудивительным вымыслом.

Оставалось сдать государственный экзамен и защитить диплом.

Тема диплома была подсказана той же Екатериной Александровной Табатчиковой:

– Мне нравится ваша работа об Александре Рафаиловиче Кугеле. Пишите о нём.

Диплом мой назывался «Три актёрских портрета критика А. Р. Кугеля» и был посвящен тому, что отмечал критик в таких разных выразительницах времени, как П. А. Стрепетова, М. Г. Савина и В. Ф. Комиссаржевская. Руководителем диплома согласился быть Борис Осипович Костелянец, у которого я занималась на первом курсе. Когда среди скрупулёзных замечаний на полях диплома против некоторых абзацев я читала написанное им: «Талантливо!» – силы приумножались.

Оппонентом был критик, театровед, крупный специалист по оперетте Моисей Осипович Янковский. Какой россыпью сверкали в его доме остроты москвича Симона Дрейдена и самого хозяина! Сколько сарказма изливалось ими на собственные головы за грехи «дани времени» в иных опубликованных ими книгах и статьях!

«Слушай, милка! – говорил оппонент. – Полное безобразие! Идей в дипломе – на две кандидатские! Давай отстрижём половину и отложим на одну из них?»

Волновалась я на защите страшно. Но руководитель и оппонент не покупились на похвалы.

Документ о высшем образовании я получала в здании бывшего ТЮЗа на Моховой, 35 – в сорок семь лет. На дипломе красовалось: «С отличием».

Если мне чего-то и хотелось в тот день «смешного и глупого», так это присутствия на процедуре вручения хотя бы одного ребёнка из нашей огромной семьи. Сын исключался. Племянники жили в Москве.

Между мной и мужем сидел его старший внук, мой друг Вовочка, так часто оказывавшийся рядом в важные моменты и его, и моей жизни.

И разве не было это странное событие освещено незримым присутствием Александра Осиповича, дорогой моей Олечки и многих-многих других друзей?

Бессменная староста курса, Любаша Смирнова, ежедневно обзванивавшая весь свой «б-А», помнившая дни рождения не только наши, но и каждого из членов наших семей, на выпускном вечере объявила: «Девятнадцатое марта – будет нашим Лицейским днём, днём ежегодного сбора курса!»

Впрочем, никто из нас о расставании и не помышлял.

Замечание М. О. Янковского о том, что в дипломе хватает наборок для диссертации, было поддержано другими педагогами.

С сокурсницей Леночкой Симонович-Фроловой мы сдали экзамены по философии и иностранному языку и обе были зачислены в кандидатскую группу ЛГИТМиКа.

Однако август 1969 года внёс в мои намерения коррективы.

Мы с Володей получили путёвки в дом творчества театральных деятелей, расположенный на Волге, в Плесе. В то лето с утра до ночи лили дожди. По какому-то неумолимо точному графику дождь прерывался к пяти часам утра и шадил до девяти. Мы приноровились вставать с рассветом и уходили в лес за грибами. Володя учился отличать подберёзовики от подосиновиков, подосиновики от боровиков и поганок. Необычайно увлёкся этим занятием. Год был грибной. На территории дома творчества было возведено что-то похожее на навес, под которым постоянно топилась плита, и грибники имели возможность сушить, мариновать или солить там свои трофеи.

Может, из-за этих многокилометровых походов в лес меня однажды и прихватила такая сильная боль, что «скорая» отвезла меня в местную больницу. Нависла угроза очередной операции.

Больница представляла собой одну палату мест на двадцать. Разделительной чертой между мужской и женской половиной был длинный обеденный стол. Большая часть коек пустовала. В палате было холодно и бесприютно. Меня сотрясал озноб. Холод вынудил попросить второе одеяло. Медсестра отказала:

– Не стану же я рушить заправленные постели. Могут поступить новые больные.

Врачей и медсестёр этой больницы отличало какое-то чудовищное бесчувствие. Они сидели тут же, в палате, за обеденным столом и

играли в карты. Отвратительная серость, бессердечность и дубовость персонала сверхскоростным образом сомкнулись с воспоминаниями о годах заключения и пережитыми кошмарами. Живо вспомнилась ночь этапа из первого, джангиджирского лагеря в тюрьму города Фрунзе. Ночь была звёздная, возможно, прекрасная. Этап – тихий. Конвой – молчаливый. Даже собаки не лаяли. Верёвочные тапочки от соприкосновения с песком быстро стёрлись. Начали стираться и подошвы ног. Нас подгоняли. Каждый перемогал боль как мог и... ковылял дальше. Где-то на стыке изнеможения и отчаяния меня охватила удушающей силы протест, перетёкший вдруг в чёткую, жаркую клятву: «Когда-нибудь я расскажу обо всём этом! Кому? Не знаю. Не мужу, не свекрови. Они меня предали. Но я РАССКАЖУ ВСЁ! Может, кому-то одному, кто захочет выслушать. А если нет, то – ВСЕМ!»

Изрядно перемерзнув в жалкой больнице, я была сама не своя. Положившись на то, что стихшая боль не вернётся, разыскала свою одежду и, никому ничего не сказав, ушла из больницы пешком.

В домике, где мы жили, никого не оказалось. Володя, должно быть, сидел у друзей. Я вынула из чемодана тетрадь и в безумном захлёбе стала записывать то, что без приложения воли исходило из памяти и накрывало лавиной.

Затея с диссертацией была выброшена из головы. Вернувшись из отпуска, я вошла в привычный режим. С десяти утра до шести вечера находилась на службе. Вечером заботы о доме не давали возможности сесть за письменный стол. Но не продолжать начатого я уже не могла. Проспав часа четыре, вскакивала. Писала по ночам.

Прошлое, как что-то живое и властное, повернуло меня к себе. Заставило слышать себя и говорить с ним.

Мне «выдавались» силы. Принимая их через какое-то тайное окно, я исписывала одну тетрадь за другой.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Наши отношения с преподавательницей ЛГИТМиКа Анной Владимировной Тамарченко, уговорившей меня в своё время перейти на старший курс, не прерывались и после окончания института. Им отдано много лет и огромная часть сердца.

Друзьями этой семьи были авторы интересных и умных книг, вышедших тогда в издательствах Ленинграда: Г. М. Фридендер, Б. О. Костелянец, Б. Ф. Егоров, Я. С. Билинкис, Е. Г. Эткинд... Это была плотная среда университетских однокашников, связанных между собой многолетней дружбой и филологией. Людей этого круга поочередно испытывали чистками по анкетным данным, кампаниями по борьбе с «врагами народа», с обладателями «пятого пункта», с инакомыслящими, с космополитами. При последнем «мероприятии» семья Тамарченко серьёзно пострадала.

Лишённые средств к существованию, Анна Владимировна и Григорий Евсеевич несколько лет проработали в университетах Ижевска, Черновиц, Свердловска. Возвратиться в Ленинград им помогли упомянутые друзья. По рекомендации Б. О. Костелянца Анна Владимировна была устроена на преподавательскую работу в театральный институт, благодаря чему мы и встретились.

В 1972 году Анна Владимировна и её муж Григорий Евсеевич готовились к защите докторских диссертаций в Педагогическом институте имени Герцена (за ректором его в Ленинграде прочно закрепилась репутация «порядочного человека», чему в те годы придавалось особое значение).

Анна Владимировна, расширив книгу, писала диссертацию об Ольге Форш, Григорий Евсеевич – о Чернышевском.

Первой защищалась Анна Владимировна. Присутствовавшая на защите часть «б-А» болела за свою учительницу. Запомнилось всё в деталях. Единодушные при голосовании за присвоение ей звания «доктора искусствоведения»; вызвавшая дружный смех аудитории оговорка Анны Владимировны, когда, обратившись к своему оппоненту по имени-отчеству: «Благодарю Фёдора Михайловича», она машинально добавила: «Достоевского». Даже её василькового цвета платъе

с воротником «стоечкой», двумя выточками спереди и двумя – сзади, специально сшитое в ателье к защите. Банкет. Но главное: гордость за неё.

У супругов Тмарарченко были две взрослые дочери: Ната – программист и Века (Вера) – искусствовед. В их доме всегда «гудела» молодёжь: ученики родителей, друзья дочерей. Времени для бесед наедине с теми, кто жаждал встреч с Анной Владимировной, у неё практически не оставалось. Когда дом, в котором они жили, поставили на капитальный ремонт и их переселили в маневренный фонд, график жизни видоизменился, но для кутежей интеллекта и духа она всё-таки вырывала время. У неё можно было послушать пластинки с философичными, необычайно свежо звучащими песнями Новеллы Матвеевой, взять почитать ходившие тогда по рукам в машинописи книги, в том числе – роман Хемингуэя «По ком звонит колокол». Ищущий ум Анны Владимировны, её способность с головой погружаться в предмет разговора даже случайное путешествие с нею «в жизнь» превращали в часы счастья.

В беседах с нею мы докапывались до таких особенностей и странностей человека, когда сознание оказывается в состоянии всё разъять и понять, а чувств это никак не затрагивает. Или когда чувства отстаивают свою правоту, а сознание до истуканства топчется на месте.

– Заметьте, – говорила при этом Анна Владимировна, – что бы люди ни вытворяли, они как правило не желают оказываться вне общепринятых нравственных понятий.

В разговоре о пьесе Чехова «Три сестры» мы опять и опять возвращались к вопросу о необходимости говорить «Нет!» в ситуациях «Наташиной наглости», дабы не наводнять мир пошлостью и подлостью. А мысль Анны Владимировны о том, что духовная красота сестёр, не нашедшая общественно-нравственного выражения, лишала их возможности выбраться из исторического водоворота, и сейчас, по-моему, остаётся ключом ко многим человеческим драмам.

Когда мои воспоминания были наполовину написаны, Анна Владимировна захотела познакомиться с ними. Прочитав, как маниакально я продолжала ожидать приезда свекрови в первую лагерную зону, несмотря на то, что во время следствия она приносила передачи только своему сыну, Анна Владимировна озадаченно комментировала: «Не понимаю, как можно было после всего, что она выкаблучивала, ждать от неё помощи? Только потому, что, кроме неё, не от кого было ждать?» Как бы убого ни выглядело упорство моей веры в то, что свекровь приедет ко мне на свидание с буханкой хлеба, именно так всё и было. Мне в полном смысле слова «до смерти» надо было

тогда верить в то, что на земле есть милость или хотя бы жалость... От Эрика я ничего не ждала, узнав, что он меня предал сразу. А светская дама Барбара Ионовна, превратившаяся после ареста своего мужа и ссылки в третирующую, до безумия ревнующую меня к сыну свекровь, была обездоленной, но страстной. Не скоро, только через несколько лет, но я дождалась от этой «страстной» припозднившегося письма: «Не дай мне умереть, Тамара, не повидав тебя, не испросив прощения за то, что бросила тебя после ареста, за то, что сожгла фотографии твоей семьи». Дождалась и горчайшего её порыва встать на колени, когда мы увиделись. Такое выучивало постигать натуру Человека.

Я сверяла нормальные, бескомпромиссные оценки и реакции Анны Владимировны с тем, что реально переживала в среднеазиатских лагерях, где нам по пять дней не выдавали хлеба, и начинала объективно понимать, за какой чертой низведения оказывались люди, когда их гнали к пещерности. Это сказывалось даже на рецепторах человека. В школе на уроках биологии нам показывали «боковую линию» рыб, выполнявшую функцию нервной системы. В морях и реках рыбы улавливали ею направление течения. Атрофировавшаяся от шока при арестах нервная система человека успевала переключить себя на ту атавистическую «боковую линию», обеспечивающую способность распознавать, на тебя ли уже нацелены силы уничтожения или ещё повреждают.

Полумер Анна Владимировна не признавала. Судила обо всём без скидок. Принадлежала к тем, кто считал, что я должна была провести сына через суд. Умом я принимала её правоту (да, было бы разбужено его сознание, его активность), но – не приведи Господь – если бы снова пришлось решать ту же проблему, поступила бы, скорей всего, как и в первый раз.

– Вы понимаете, что кроется за действиями Филиппа? – спрашивала она.

Ответь я: «Он предпочёл жить без совести, но с сыном», – это было бы близко к сути. Но диагноз Анны Владимировны имел в виду другой аспект:

– Сын был его единственным шансом обессмертить себя.

Такую заносчивую подоснову страстей я в людях ещё не углядывала. Ситуацию это вроде бы не меняло, но Филиппа это проявляло иначе.

В один из приездов Анны Владимировны к нам домой из снятой с полки папки выпала наша с Колюшкой фотография, которую я никогда никому не показывала. Анна Владимировна долго, с присталь-

ным вниманием рассматривала её. Возвращая снимок, с незнакомой теплотой в голосе сказала:

– Как много я сейчас поняла про вас! Пишите, Тамара Владимировна. Пишите, руководствуясь одним-единственным: ТАК БЫЛО НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ!

Сузившиеся до «овчинки» небеса после встреч с нею – расправились.

От телеграммы за подписью директора НИИ, в котором после окончания политехнического института работал мой сын – «Приезжайте, поможем встрече», – исходила незнакомая энергия обещания.

Более шестнадцати лет судья Полина Ивановна подвижнически билась над поиском путей и лазеек для нашего сближения с сыном. Покинув судейство, по чистой случайности она устроилась в качестве юриста именно в тот НИИ, где Юра работал программистом. Порыв директора помочь, понятно, был делом её рук и сердца.

Смириться с мыслью: «кроме ненависти, в сыне нет ничего» – я всё равно не могла.

Взяв недельный отпуск, хоть и с малой верой в возможность встречи, я приехала в далёкий город ранним декабрьским утром. До начала рабочего дня оставалось два часа. Было по-зимнему темно. Посидев на вокзале, я направилась по указанному адресу пешком.

– Здравствуйте, здравствуйте, – протянул руку директор. – Давайте знакомиться: Иван Ильич. Садитесь. Отогрейтесь. Сейчас придёт начальник отдела кадров. Решили, что разговаривать с вашим сыном пойдём с ним вместе. Уверен, что достучимся до него. Сам отец. У меня – двое. Не отчаивайтесь. Всё будет хорошо. Номер в гостинице для вас заказан.

«Кто знает, может, именно этот основательный и тёплый человек прорвётся в его душу?» – забрезжила во мне надежда..

Но вошедший в военном кителе кадровик эту иллюзию охладил. Его приветствием был кивок головой и безапелляционное распоряжение:

– Сидите здесь, в кабинете! Никуда не уходите! Через несколько минут мы его сюда пришлём!

Где-то в недрах научно-исследовательского института происходило объяснение начальственных мужчин с сыном. Его уговаривали встретиться с матерью. Могло ли быть что-то чудовищнее? Как и в случае с корреспондентом «Известий», в глубине души я точно знала, что сын на пороге этого кабинета не появится. Сколько бы я ни билась над загадкой, чем именно «родители» Юры так отвратили его от меня,

исчерпывающей разгадки не находила. Даже самая злонамеренная и отъявленная клевета, к которой они могли прибегнуть, не могла произвести на свет такой силы неприятия. Предположение Анны Владимировны о страсти отцов обессмертить себя в сыновьях убеждало лишь до каких-то границ. Ведь даже любопытство в сыне было убито на корню. Если же всё сводилось к неким свойствам характера сына, это было хуже прочего. Но в этом надо было убедиться.

Директор института и кадровик вернулись часа через два.

– Наотрез отказался от встречи с вами, – растерянно пожимал плечами директор. – Что-то ему, знаете ли, такое внушили. Но кое-чего мы всё-таки добились, в чём-то его поломали... Езжайте в гостиницу, отдохните. Ждите там. Обещал приехать к вам туда в обеденный перерыв.

– И вот что, – дополнил начальник отдела кадров. – Учтите: у него есть к вам претензии. Первая – что вы действуете через официальных лиц, вторая – что хотите поссорить его с родителями.

После слов сына: «Отвяжитесь от меня» эти претензии были почти выносимы.

Я ходила по коридору, кружила по вестибюлю гостиницы. Заставить себя быть бесстрашной? Решиться на какой-то отчаянный шаг?

Продуманно и намного опоздав, Юра в обеденный перерыв приехал. Видно, страшась того, что я брошусь к нему с непредсказуемыми эмоциями, почти вжался в стену, проходя мимо меня в номер. Смотрел вверх и куда-то в сторону.

– Садись в кресло, Юра, там удобнее, – вполне спокойно сказала я. – Ты разве не считаешь противоестественным, что мы с тобою, взрослым, ни разу не поговорили? Давай поговорим сейчас?

– Имейте в виду, я люблю своих родителей, – заторопился он предупредить, как о чём-то самом для него важном.

– Это слышать отраднее и легче, чем если бы ты сказал: «Живу с родителями, но не люблю их». И давай сразу уточним вот ещё что: на свете есть только один человек, который знает, как не разрешал к себе приблизиться, не отвечал ни на одно письмо. Этот человек – ты, Юра. Поэтому разговор об «официальных лицах» будем считать недостаточно справедливым. Согласен? Что касается моего стремления поссорить тебя с родителями, то хочу надеяться: ты разберёшься сам, ссорила ли я тебя с ними или они помогли тебе чувствовать себя в ссоре со мной. А теперь прошу: расскажи как можно больше о себе. О своей специальности. Чем увлекаешься? Захочешь о чём-то спросить меня – отвечу на любой твой вопрос.

В конце концов Юра поверил в то, что «сцен» не будет, и его напряжение стало спадать. Он стал чаще поглядывать на «чудовище» и отвечать предметнее и проще. Специальность? Инженер по электронным машинам. Что любит? Французскую литературу XIX века, современную эстрадную музыку. Почему не женат? Не встретил ещё девушку, которую бы смог полюбить.

Я хорошо понимала, как много зависит от первых мгновений. Страх отпугнуть сына организовал меня, хотя вряд ли это было моим достижением. Как всегда в чрезвычайных ситуациях, я была лишь послушна тому, что меня вело. В какие-то секунды казалось, что враждебность сына может вообще улетучиться, сойти на нет.

После двухчасового разговора он стал поглядывать на часы.

– Ты завтра придёшь, Юра?

– Не знаю.

– Прошу: приди! Я буду ждать тебя! С тобой – интересно. Придёшь?

– Когда?

– Когда удобно тебе.

– В шесть часов вечера.

– Прекрасно... Скажи мне только одно: тебе не стало тяжелее от встречи?

– ...С одной стороны стало легче, с другой – тяжелее.

Трудно было желать лучшего, чем искренность и честность его ответа. Я про себя взмолилась: «Сохрани ниспосланное Тобой самообладание, Господи! Продержи! Дай мне силы!»

На следующий день Юра тоже опоздал. Почти на час.

– Я приехал на машине.

– Твоя собственная?

– Да.

– Хорошо водишь машину?

– Я лихач.

– Это по мне. Мне нравится, когда лихо! Прокати меня до Волги, Юра.

– Нет.

«Боится, что его кто-то увидит?»

Я сделала более скромный заход:

– Поужинаем вместе? Приглашаю тебя я, а поведёшь, куда найдёшь для себя удобным, ты.

– Нет.

– Хорошо. Посидим здесь?

– Немного.

– Ладно. Сейчас закажу чай.

Спрашивала о том, перспективна ли его специальность или ему хочется заниматься ещё чем-то; думал ли он о туристических поездках за рубеж, есть ли у него вообще желание поехать по миру. На этот раз он отвечал на всё односложнее, скупее.

– Когда ты приедешь в Ленинград?

– Я в Ленинград не приеду.

– Почему, Юра?

– ...Так.

– Ты проводишь меня завтра?

– ...Нет.

– А у тебя, Юра, есть какие-нибудь вопросы ко мне?

– Нет.

– Совсем никаких?

– Никаких.

И на сей раз я не разрешила себе при нём тягостного вздоха.

Села в кресло, с которого только что поднялся взрослый, малознакомый человек – мой сын. Набегали резкие уличные шумы. С центральной площади доносилась барабанная дробь: пионеры, отстоявшие караул у вечного огня, сдавали вахту следующей четвёрке. «Эта его манера мимолётно улыбнуться уголком рта... Она выверена. Он к ней прибегает, когда хочет понравиться? Это ведь хорошо... Лишнему слову предпочитает молчание. Но как же всё-таки страшно жить на свете! Я ему совсем не нужна. Если бы двадцатисемилетний человек, не пытаясь совместить меня с понятием “мать”, перестал меня сторониться! Хотя бы это».

Совсем уже к вечеру наведался директор института. Вручил билет на поезд:

– Ну как?.. И только-то? И поужинать не повёз? Чему ж вы тогда, объясните, радуетесь?

Кому-то когда-то я уже раскрывала суть подобного состояния:

– Я не радуюсь. Я – отхожу.

Хороший человек замолчал. Но вдруг снова вспылал:

– Как это не обещал приехать проводить? Да я...

– Нет, нет. Ничего не надо. Пока достаточно и того, что мы ПОГОВОРИЛИ.

Я доискивалась причины сдержанности Юры при второй встрече. Привыкнув подчиняться воле отца, он, видимо, чувствовал себя виноватым за свидание со мной. Говорила же Вера Петровна, что с него было взято честное слово: ничего не утаивать. Логика предпо-

ложения вела в тот же капкан: мне необходима была подмога. Помочь, увы, могла только поддержка отца. Я решилась. Намерена была по телефону сказать: «Избавьте Юру от страха перед вами. Поддержите меня хотя бы сейчас. Подскажите ему идею поездки ко мне в Ленинград. Пусть это исходит от вас».

Узнав меня по голосу, Филипп не дал произнести и полслова:

– Вы в курсе? Вы знаете? Вам сказали, что я перенёс обширный инфаркт?

– Нет.

И беззастенчиво жалобным тоном:

– Вас это не волнует?

– Я хотела поговорить о сыне...

– Но я же вам говорю, что очень болен...

У вагона на платформе я встала лицом к вокзальной двери: «А вдруг?» Но Юра не появился.

Провожали меня Полина Ивановна, директор института и собкор «Известий».

Судья и директор НИИ уповали: «Только бы он женился на хорошей женщине, тогда всё образуется». Старый газетчик вздыхал: «Сказали бы: “Пройдёшь пешком пятьдесят вёрст при нынешнем морозе – сын повернётся к матери”, пошёл бы, как юноша».

В январе 1973 года из Тамбова в Ленинград на двухмесячные курсы повышения квалификации приехала старшая дочь Володи – Маечка. В Тамбове она занимала должность старшего инженера междугородной телефонной станции. Готовился приказ о её назначении начальником МТС.

Приезды немногословной, сердечной умницы, поступки которой всегда находились в согласии с совестью, приносили в дом мир и тепло. Повидаться с сестрой прибежала младшая дочь Маша с сыном. Едва мы сели ужинать, как раздался телефонный звонок:

– Можно Тамару Владимировну?

– Слушаю, – сердце уже беспорядочно колотилось. – Ты, Юрик? Откуда звонишь?

– Я в Ленинграде. Приехал на курсы усовершенствования.

– Тоже? Сейчас же приезжай к нам.

– Нет. Я остановился в гостинице.

– Почему?

– Должен быть вместе со всеми. Нас десять человек.

– Хорошо. Но приехать-то можешь? Ждём тебя к ужину.

– Не стоит.

- Пожалуйста, приезжай!
- Ты, наверное, не одна? – обронил он неожиданное «ты».
- Познакомлю тебя со всей семьёй. Доезжай до метро «Площадь Восстания»... Выхожу тебя встречать.

Только выбежав на улицу, я спохватилась, что не уточнила, у какого из двух выходов буду его ждать. Увидела его, шагающего навстречу по противоположной стороне проспекта. Модное клетчатое пальто – нараспашку. Шаг лёгкий, даже весёлый. В походке – свобода, вызов. О нём – таком – не догадывалась, не знала. «Вот что таится под застёгнутым сюртуком: любит жизнь. Жадно любит. Авантюрно, потцовски чувствует её».

Володя и обе его дочери встретили Юру так радушно и доброжелательно, будто знали его с давних пор и приезжает он уже Бог весть в который раз.

Майя и Маша подкладывали ему что-то на тарелку, смеялись над тем, что у Майи и у Юры день в день совпали занятия на курсах усовершенствования. По комнате бегал трёхлетний сын Маши – Сашенька. От волнения у меня всё смещалось. Заметила, что пару раз назвала сынишку Маши Юриком, но поправлять себя опаздывала. Следила, как сын рассматривал висевшие на стене портреты моих родителей – своих бабушки и дедушки, как перевёл взгляд на мою фотографию. «Подумать только: сын впервые в доме?..» По существу отдавать себе отчёт в происходящем было всё так же жутко и страшно. Внутри всё нарастало и нарастало какое-то кружение жизни: вспять, вперед и в «сейчас». «А – смысл?»

Когда сын собрался уходить, ещё раз попросила:

- Останься. Вот тебе отдельная комната, Юра. Располагайся в ней.
- Нет. Я уже сказал, что остановился в гостинице.
- Хорошо. Давай тогда решим: куда тебе пойти? В театр? В музей? Сейчас идёт любопытный документальный фильм – «Воспоминание о будущем».

Его заинтересовало название:

- Фильм хочу посмотреть. Но не один. Вместе со всеми.
- Хорошо. Возьму билеты на всех.

Кинотеатр, в котором шёл этот фильм, находился на Петроградской стороне. Приехав после киносеанса, Юра первым делом спросил:

- А что это за странный дом на площади, недалеко от кинотеатра?

Его интересовал действительно странный дом, который мне с детства казался таинственным и загадочным настолько, что фотографии его были под рукой:

– На площади Льва Толстого? Этот?

– Да.

Сыну нравился город, Невский проспект. Из соборов больше всех – Казанский.

Купив два билета в Мариинский театр на «Лебединое озеро», спросила:

– Сходим с тобой?

– Нет, я хочу пойти с кем-нибудь другим.

«Наверное, с приехавшей на курсы девушкой, которая ему нравится».

– Хорошо.

А когда он согласился пойти со мной в БДТ на «Хануму», сидя рядом с ним, я, столь не падкая на смех, всё время ловила себя на том, что безудержно смеюсь происходящему на сцене. Хочу остановиться, но не могу.

Когда Юра загодя приходил к обеду или к ужину, то, прерывая беседы с мужем или с Маечкой, заглядывал ко мне на кухню. Ему нравилось, как я готовлю, нравилось, что наливаю ему в стакан апельсиновый сок и прошу: «Выпей, выпей».

Лицо его несколько раз озарялось таким внутренним светом, что я зажмуривалась: «Его ещё узнавать и узнавать». А когда он однажды тихо произнёс: «Мне тяжело», – всё на свете исчезло. Всё, кроме этих слов, перестало существовать. Не знаю, как я сдержалась и не застонала от муки. Повязанная всё тем же страхом отпугнуть, не рванулась Юре навстречу, не обняла.

Едва Юра ушёл в гостиницу, Володя с недоумением спросил:

– Что с тобой происходит? Я никогда не видел тебя такой ординарной и неинтересной.

Он был прав! Тысячу раз прав! Но только плоскость ординарности помогала мне устоять в те дни. Куда лучше было бы предстать перед сыном в образе значительной, независимой личности. Он ведь потому и решился приехать, что я такой привиделась ему при нашем свидании в его городе. А здесь я была в роли хозяйки, которой надо было лучшим образом справиться с обедом, с домашними обязанностями и всё успеть. Я ждала его телефонных звонков. Расстраивалась, когда он забывал об обещании прийти.

Муж приглашал его вместе походить по городу, рассказывал о том, что происходило в стране в тридцатые годы, о судьбе моей семьи. Юра слушал молча, темы этой не поддерживал. Она его тяготила. Ответ собору «Известий» – «Не знаю и знать не хочу» – оставался в силе.

Дни мчались. Юра должен был скоро уезжать. Я ждала его вопросов. Он не задал ни одного. Полагая, что разбужу в нём хоть какой-то интерес к прошлому, я вынула однажды кипу ответов из адресных бюро, письма, бумаги. Хотела показать его настоящие метрики. Юра ни к чему не притронулся.

До его визита к нам я была уверена, что, побывав в нашем доме, увидев, как и чем мы живём, познакомившись с нашей библиотекой, с нашими друзьями, он найдёт это содержательным и потянется к нам. Увы!

Уезжая, проводить себя он не разрешил.

- Ты скажешь родителям, что был у меня? – спросила я.
- Ещё не знаю.
- Когда тебя можно ждать? Когда приедешь к нам?
- Я больше не приеду.

Это было в лагере, в зоне Межог в 1945 году, за месяц до родов, когда меня уже перестали гонять на работу. После шумного многоголосья ушедших за зону работяг, кроме дневальной и меня, в бараке никого не оставалось. Опустевший барак начинал источать всё потоплявшую тишину. Я смотрела в окно на густо падавший снег, смётывала распашонку, и ко мне приходило великолепное ощущение здоровья, радости и сознание неуязвимости. Нас уже было двое в мире. И ради нашего будущего с ребёнком я чувствовала в себе упругие, реальные силы перенести и перебороть решительно всё.

Моему малышу исполнился год, когда вышел приказ ГУЛАГа: по окончании срока кормления отправлять детей из лагеря в детдома Коми АССР. Мне не верилось в то, что подобное может грозить и мне. Спрятаться? Схватить сына на руки и бежать? Руки и ноги были повязаны. Металась. Ни изобрести выход, ни вымолить нам с ним пощады – не смогла... Чтобы спасти от детдома, согласилась отдать его отцу.

И если то чувство уверенности в себе, в нас, когда-то ещё и заявляло о себе, его тут же подрубала непреклонность обстоятельств, а затем непреклонность самого Юры с его «Не знаю и знать ничего не хочу».

Несколько писем я Юре после его отъезда из Ленинграда написала. Ни на одно из них ответа не пришло.

На сей раз я лишилась сна. Меня вне очереди поместили в неврологическую клинику, забитую пьющими, травмированными жизнью в коммунальных квартирах и другими напастями ленинградцами.

В курс лечения входила трёхразовая выдача успокаивающих таблеток, врачебные пасторские собеседования и трудотерапия (что-то

клеили, что-то шили). Доктора призывали терпеливо сносить неприятности и несчастья. Внушалось, что Добро непременно одолеет Зло.

Когда во время одной из бесед сорокалетний мужчина встал, вынул из кармана купюру в сто рублей и, потрясая ею, обратился к присутствующим: «Товарищи! Может, кому деньги нужны больше, чем мне, так я обойдусь. Возьмите!» – мне показалось, что я сейчас заскулю и беспрепятственно сойду с ума. Если мука и боль действуют совместно, они взывают к тебе, как к последней инстанции: «Ты и только ты – сделай с нами, что сумеешь! Больше мы никому и ничему не подвластны!». Возложив этот труд на себя, в результате – не обманываешься. Приходим мы, правда, не всегда и не совсем в себя, скорее во что-то или в кого-то другого...

Рукопись лежала незавершённой. Мне «послышалось», что она призывает меня. Я настояла на выписке.

Попробуй не верить в судьбу, если именно в те пять минут, когда Оля вышла в магазин за хлебом, рухнули крыша и стены флигеля, в котором она жила в Кишинёве. Груда камней погребла под собой мебель, документы, книги, посуду.

Только после обвала дряхлого флигелька Оле наконец выдали ордер на отдельную однокомнатную квартиру в тихом, зелёном квартале Кишинёва. Квартира со всеми удобствами располагалась на третьем этаже. Балкон, на котором умещались кресло и столик, был сплошь увит виноградной лозой.

Указав на второе спальное место в комнате, Оля сказала:

– Это место для Ёлки и для тебя. Надеюсь, незачем говорить, что это и твой дом.

Тяжелобольную Елену Петровну привозили сюда из Одессы, и она проводила у Оли по несколько месяцев. И я – стремилась в этот спасительный угол. Ни с кем на свете, кроме Оли, я не делилась проблемами с Юрой и сложностями, доставшимися нам с Володей. И то, и другое она предвидела с самого начала. О первом и о втором – предупреждала!

Перед сном Оля прочитывала несколько страниц книги, гасила свет. Удивляясь миру, созданному ею вокруг себя, я тоже засыпала в её доме без снотворных.

Она жила уединённо. На студии «Молдова-фильм» была окружена почтением как мастер. Продолжала снимать документальные ленты. О ней много говорили фотографы: она с кинооператором сто-

ит на высоком берегу Днестра, любуется открывшейся панорамой; она – за монтажным столом, режет и склеивает отснятый материал; сфотографированная со спины, Оля что-то обдумывает для следующего фильма. Её влекла природа, жизнь трудящегося люда, идеалы и дети.

Другим пластом Олиной жизни были друзья её молодости. Их судьбы были во многом схожи. А примечателен был способ их существования. Елена Благинина (жена репрессированного поэта Оболдуева), Нина Гернет сочиняли светлые, радостные сказки и стихи для детей. Олина подруга Муся Поступальская воспитывала дочь арестованного друга Б. Шустова, с которым мы, кстати, сидели в одном лагере. Когда МГБ затребовало для реабилитации Александра Осиповича характеристику, друг Оли Исидор Винокуров обратился за этой характеристикой не к кому-нибудь, а к А. П. Довженко, воздержавшемуся от слов защиты на разгромном киевском собрании, после которого Александр Осипович был сослан и затем арестован. Шаг был «строительным» и безукоризненно точным. Исидор рассказывал позже, как благодарил его А. П. Довженко за возможность хотя бы сейчас, хоть таким образом снять с души часть вины за молчание в тридцатые годы. Ведь сожаление о непоступке разъедает душу не меньше, чем сожаление об ином свершённом.

То, что много лет связывало нас с Олей, имело свою глубину.

Оля, дорогая, дорогая моя Оля! Оставаясь самым близким и сердечным другом, она знала, что я взялась писать воспоминания.

Отсняв в одной из поездок в Москву нужный ей для фильма материал, она позвонила мне в Ленинград:

– Томик! Ты не могла бы приехать на пару дней в Москву?

– По-моему, могла бы!

«Едем в центр, – сказала она мне, когда мы встретились. – Прошу об одном: не сопротивляйся! Мы сейчас купим тебе портативную пишущую машинку».

От сокурсников я уже слышала о чудо-машинках: «Эрика», «Континенталь». Цены на них были таковы, что мысль о приобретении даже не возникала. А тут?! Смущение, препирательство. Замирание сердца, когда, выбирая между машинкой белого цвета и белой с красным, купили первую. Югославская «Unis» была в руках!.. Уже и – на письменном столе! Печатать я научилась быстро. Толстые, неудобоваримые тетради, пятьдесят на тридцать, были заменены стопами аккуратно сложенных листов.

Первым рукопись прочел Володя. Читал её вслух. Откладывал, ходил взад-вперёд по комнате: «Не могу. Должен прийти в себя». Закончив читать, непривычным для него, тихим голосом сказал:

– Ты сама не понимаешь, что написала.

И вот, скалывая теперь скрепками перепечатанные на подаренной Олей машинке листы рукописи, которую собиралась отвезти ей, я осознала, какую боль ей причинят откровения о годах заключения её мужа. Она называла Александра Осиповича: «Жизнь моя! Судьба моя», а в «те годы» нашлось место его преклонению перед талантом Тамары Цулукидзе и Хеллы, его дружбе со многими другими, как и его дружески-учительской опеке надо мною. Без его творческой и духовной поддержки мы не выдержали бы той жизни, задохнулись бы там. Но ожидавшая его два десятилетия жена не смогла бы смежить это разумение с холодом своего одиночества, потерей работы на одесской киностудии и каторжным трудом, чтобы содержать родных в Одессе, себя в Молдавии и в течение восемнадцати лет посылать посылки мужу. Я дала Оле первые семь глав. Повествование включало только первую встречу с Александром Осиповичем в зоне. Прочитав, Оля откликнулась горячим порывом сочувствия. Но есть ли продолжение, собираюсь ли я писать дальше – не спросила. Этими незадаанными вопросами, невыговоренными ответами наши отношения сохраняли себя под строгим грифом «Бережность!».

В Кишинёв я ездила иногда раз, иногда два раза в год.

В аэропорту встречал Дима. Стоило отыскать его глазами, как меня охватывало чувство того неразгаданного вселенского покоя, который был изведен при нашей первой поездке в Одессу, на берегу Ланжерона.

Всегда подтянутый, с присущей ему неповторимой усмешечкой, появившейся сначала в глазах, а потом на губах, он спрашивал:

– Ну, как ты?

– Хорошо. А ты?

– Всё в порядке.

Увидев друг друга, мы обычно понимали главное: встрече рады. Усаживались в рейсовый автобус, перебрасывались малозначащими вопросами, без которых можно было обойтись, и оба, смело могу это сказать, напивались тем покоем. Ради этого чувства, ради того, чтобы побыть с Олей, навестить могилу Александра Осиповича, я и приезжала сюда.

– Куда едем?

– К Оле, – отвечала я.

Стол у Оли обычно был уже накрыт. Балконная дверь распахнута настежь. Азарт в голосах играющих во дворе детей, звон посуды из соседних квартир и южные ароматы возвращали к оборванному на полуслове южному бытию.

Лет через шесть после нашего расставания с Димой Оля вдруг написала мне: «Может, я ошибаюсь, но у меня такое чувство, что в Диме по отношению к тебе что-то перегорело, боль унялась». Наверняка уже «перегорело», и боль, вне всякого сомнения, «унялась», но именно это раньше не обсуждалось.

Приехав вскоре к нам в Ленинград, не приспособленная к легковесным вопросам Оля обратилась ко мне:

– А что если я выйду замуж за Диму?

За доли секунды, как будто и не в реальности даже, а в какой-то сноске жизни я прожила миллион состояний: поразились, задохнулись, «умерла», опомнилась и стихла от смеси ужаса и восхищения перед жизнью. Мы обе растерялись. Оля тут же сказала: «Я пошутила, Томик», но переход установленных границ был уже совершён. Мы обе глянули за грань, где упорядоченных чувств – не узнать. Они там простоволосые, увечные, вертятся-крутятся без траекторий, скорбят в безумии, а наместником у них – свирепая мощь тоски, которая их мытарит.

Получив от Оли в 1978 году телеграмму: «больна», мы выехали в Кишинёв вместе с Володей. Узнав диагноз и то, чем он чреват, я взяла двухнедельный отпуск, который провела после Олиной операции в палате с нею. Предстояла ещё одна операция. Я уехала на десять дней домой, чтобы оформить продление отпуска. Успела получить от Оли письмо: «Сердце моё, Томик! Друг моих здешних ночей и бесед! Смотрю на пустую койку рядом и всё мне кажется, что ты здесь, со мною... Спасибо тебе за всё, за всё. А главное за твою неизменную любовь, вернее которой ничего нет, неугасаемый мой огонёк...» Олечке было семьдесят пять лет. Она умерла 26 декабря 1978 года, не дождавись второй операции.

Мы несколько раз приезжали в Кишинёв вместе с Володей. О соседних поездках расскажу чуть позже. Но единоличным моим посещениям Кишинёва Володя не противился. Провожал, встречал. Его регламентировали постоянные свидания с семьёй. А я, не стремясь к независимости, разрешала себе поездки в Молдавию. Останавлива-

лась у Нелли Каменевой или у Беллы Рабичевой, тоже уволенной из театра после антисемитского собрания.

Любившие друг друга со школьных времён Белла и Лео прожили всю свою жизнь в любви и в согласии. Однажды Белла с отчаянной решимостью усадила меня на стул. Села против меня. Взыскующе спросила:

– Можете вы мне вразумительно объяснить, зачем сюда приезжаете?

«Ведь Дмитрий Фемистоклевич давно бы уже женился, если бы вы его не будоражили своими приездами», – означала её напористость. Возможно, я и попыталась бы ей что-то объяснить, если бы не так толково и по-житейски веско был поставлен вопрос; если бы не знала, что на любую мотивировку реакцией темпераментной Беллы будет восклицание: «Ай, не морочьте мне голову!»

Наши отношения с Димой занимали многих. Их не понимали. Но труднее всего определить их было нам самим. Они происходили не только от огня, который нас однажды обжёг. Они коренились в том, какие свидетельства друг о друге хранились в нашей памяти.

Переписка с Димой была нерегулярной, но не прерывалась. Если не вычитывать тоски, которая иногда пробивалась в письма («Когда приедешь?», «Когда тебя можно ждать?»), эта переписка носила больше практический характер. Все последующие годы Дима просил купить ему то рубашку, то домашние тапочки, какие-то предметы обихода, а то и цивильный костюм. Разумеется, он мог всё это делать сам. Но то было способом общения, при котором связующая ниточка оставалась более осязаемой.

Должны были пройти десятилетия, чтобы мы сами поняли, чем были семь лет нашей совместной жизни. Такие десятилетия – проходили, а что-то дообъяснить и досказать друг другу так и не удавалось.

Дима менялся. Если раньше он избегал рассуждений о политике, то теперь высказывался, экономно, зрело. В течение тех семи лет, когда мы оба приходили в себя от «прово́лки», я как-то не придавала значения тому, какое впечатление он производил на женщин. Ему и раньше посвящали стихи, звонили по телефону, говорили, что рисуют его по памяти. Теперь он стал форменным сердцеедом. Похоже, ему это пришлось по вкусу. Даже Хелла писала мне: «Сижу и придумываю Диму». Нарушая закрытость своей личной жизни, он показал однажды фотографию: на берегу моря в купальных костюмах – он и смеющаяся женщина. Красивая.

Я спросила его: «Почему не женишься?» Он ответил: «Вопрос – не по мне». И добавил что-то про корысть и эгоизм.

В один из моих приездов мы условились встретиться в парке. Сидели на скамье. Все кусты были в цвету, гугукали голуби. Подошла собака с ошейником, уселась напротив, уставилась на меня. Протянув к ней руку, я попросила: «Дай, Джим, на счастье лапу мне, такую лапу не видал я сроду...» Пришёл хозяин, увёл своё сокровище...

– Дочитай до конца, – выдал из себя Дима.

Почему же теперь? Почему раньше его это так мало волновало? Почему отнекивался, когда я просила что-то сыграть для меня на пианино в последние годы?

Нынче приглашал:

– У меня концерт. Пойдешь?

Все букеты передаривал мне. Обедать или ужинать приглашал в лучший ресторан.

Было в этих беглых этюдах что-то бесконечно грустное.

Чего я хотела, давая Диме прочесть рукопись? Объяснить что-то? Воззвать к пониманию?

– Получается, я совсем ничего не знал о твоём детстве, юности... Ты не рассказывала ни о предательствах, ни о первых годах до ТЭКа, – посетовал он.

– Мне всегда и всё хотелось тебе рассказать, Дим. Тебе это было не нужно, неинтересно.

– Почему неинтересно?

– Наверно потому, что ты после северных лет утверждал себя в профессии. Всё остальное для тебя было второстепенно.

– А тебе что надо было?

– Мне? Семью! Сына! Тебя! Дочь!

– ...Я у тебя получился какой-то, – перевёл он разговор, – нерешительный, неуверенный... Разве я такой?

– Нет, конечно. Я не о таком писала. Чего-то, значит, так и не поняла в тебе.

После этой «переброски» вопросами-ответами я почти всё о Диме исключила из рукописи.

Прошло двадцать с лишним лет, когда в одном из писем Дима поделился новостью: «Списался с Грецией. Мама и братьев в живых нет. А сестра и племянник зовут в гости. Оформляю визу. Если разрешат, поеду. Придумай, что им повезти в подарок. Деньги вышлю».

Подарки для Греции помогла купить Маечка, гостившая тогда в Латвии: бусы, кулон, браслет, запонки из янтаря, ещё что-то. Я хоте-

ла попрощаться с Димой, отвезти подарки сама. Не отпускали дела. Но в первый же образовавшийся зазор купила билет на самолёт, не успев оповестить его, что лечу.

Самолёт шёл на посадку часов в семь вечера. Мотор стих. Шурша обутыми в резину колесами, из сумерек подкатил трап. Автобус не подали. К аэровокзалу надо было идти пешком. Я была один на один с югом, теплыню и до одури пахнувшими сеном и цветами табака.

Дима открыл дверь:

– О-о!

Перед моим приходом лежал, читал.

– Прости. Не предупредила.

– Чудачка, – отозвался он.

На табуретке стоял чемодан с открытой крышкой. Вещи были уложены. Дима был отчуждён, выглядел подавленным. До отлёта оставалось три дня.

– Можно, я распахну окно?

Краткий ответ:

– Делай, что хочешь.

«Греция? Родина? Через столько лет к родным?» Дима читал газету. Я помыла посуду. И вдруг, в продолжение каких-то своих раздумий, впервые за все эти годы Дима чётко и жёстко произнес:

– Не думай, что у меня всегда мирно на сердце. Я иногда ненавижу тебя.

Настой такого «ненавижу» мог бы раньше сойти за «люблю». Был бы приемлемее братского существования последних лет нашей жизни.

Потребность донести до меня эту правду была выношенной. Поняв, как ему худо, я смолчала. «Ненавижу» – слово беспросветное. Утешение было одно: «Бог мой, как мы честны и чисты друг перед другом! И как доподлинно оба знаем это!»

Я улетала на следующий день. Он приехал проводить.

В аэропорту спросила:

– Может, останешься там?

– Видно будет. Но вряд ли. Там уже всё чужое.

– Увидимся ли?.. Прости за боль, которую причинила тебе, дорогой Дим! Прости!

Мы уже готовились к взлёту, когда на Кишинёв обрушилась страшной силы гроза. Светопреставление. Около получаса мы пережидали буйство природы в нестерпимой духоте салона.

Тропическая вакханалия прекратилась так же внезапно, как и началась. Но рейс выбился из расписания. Нам разрешили выйти из самолёта. Отходить от него не велели.

Небо в один миг очистилось, выкатило солнце. Лужи на асфальте лётного поля, мокрая трава серебрились до рези в глазах. Всё вокруг было прозрачным и освежённым.

Застигнутые грозой провожающие, выйдя из здания аэропорта, безбоязненно направились по лётному полю к тем, кого провожали. Мы с Димой обходили лужи, выбирая, куда ступить, неторопливо кружили вокруг самолёта. Я слушала его рассказ о юности, о грозе и девушке, которую он «любил когда-то». Мы могли больше не увидеться. И, переступив через извечные умолчания, установленные для себя запреты, я спросила человека, с которым прошла тьму бед, за которым была замужем:

– Скажи мне, Дим, а меня ты когда-нибудь любил?

– Я и сейчас тебя люблю, – ответил он стремительно, без паузы, видимо, в благодарность за облегчение задачи – перекрыть своё «ненавижу».

Вновь объявили посадку. Самолёт помчал к взлётной полосе. Приостановился. И, включив все свои мощности, сорвался в разгон к высоте.

Решительно не представляя, что после смерти Колюшки сердце ещё оживёт, я приняла за сущее чудо, когда какая-то его створка открылась выверенному жизнью другу. «Вам ничего не оставалось, как полюбить этого обаятельного грека», – сказал тогда наш северный знакомый. Как же я заклинала Диму про себя в Шадринске на Урале, в Чебоксарах на Волге: «Люби меня, Дим! Согрей! Люби меня отчаянно!» Димино «ненавижу-люблю» лишь кое-что проясняло про жизнь.

Он вернулся из Греции. Встреча с родными и родиной изрядно выбила его из колеи. Привезённые им подарки сопровождало перечеркивающее всякую благостность наших дружеских отношений письмо: он-де долго не понимал моего ухода от него. Потом понял: я хотела упрочить своё положение в театре. Владимир Александрович был тем человеком, который помог мне этого достичь.

Несложно было понять, что такой довод появился для объяснения родственникам, почему у него нет семьи. Но отвечать на это письмо желания тогда не возникло: «И это всё, что он понял?»

И только лет через пять Дима договорил всё до конца: «Как же ты, дорогая Тамарочка, не поняла, что я живу с сознанием своей вины

перед тобой, перед собой. Я во всём виноват. Я! Один я! Тобою было сделано всё, больше, чем всё, чтобы наша жизнь была прекрасной. Я – безумец... Прости меня ТЫ. Прости, если сможешь».

Он никогда больше не женился. Остался одиноким.

О прожитых вместе годах что-то в письмах Димы прорывалось и после: «Какой хорошей была наша жизнь! Если бы можно было её вернуть!» «Очень страдаю, Томчик. Не перестаю думать о тебе как о самом близком и самом родном мне человеке на этом свете».

Мы так и остались родными людьми. Чувство моей вины тоже осталось. И Димино «ненавижу» – никуда нельзя было деть.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

На протяжении всей моей жизни существующий режим утверждал себя в голой силе, и неприятие диктатур стало одной из главных составляющих моего мировоззрения. Даже периоды послабления режима не приносили веры в способность власти строить жизнь общества во имя человека.

XX столетие так и останется в Истории веком неистовства политических страстей, гражданских войн и гражданского противостояния.

Мы с Борисом были ровесники. В сороковые годы находились в равных условиях несвободы. Но даже там, в застенке, он в письмах изобличал меня в изъянах самосознания: «Ты не доросла до такой любви к миру, как любовь матери к ребёнку. Ты говоришь миру не “Давай я сделаю, что тебе нужно”, а “Я сделаю то, что мне нравится и хочется. Надеюсь, что это понравится и тебе”». Под «миром» Борис подразумевал, естественно, государство.

Так вот, что касалось моей любви к миру, не отождествлённому с властью, то здесь недомера не существовало. Относительно же стремления делать или не делать то, что нужно этой власти, то её «великие инициативы» (вымогать в неволе все физические и душевные силы человека, десятилетиями недодавать хлеба и заставлять забыть о свободном дыхании) разрешали не признавать за ней прав на порабощение. Не имея вкуса к политическим дискуссиям, я как-то терялась перед умением Бориса подменять органику чем-то лозунговым. И не путала идеологию с гражданскими чувствами. Они существовали для меня раздельно.

Борис был одержим желанием участвовать в официальной Истории страны. Его бунтующие творческие силы жаждали применения.

Когда в 1969 году от Бориса пришло письмо: «Готовлю в Москве выставку. Нет на свете Ма. Нет братишки. А ты? Может, приедешь, перемахнёшь через всё? Ты ведь это умеешь! Представь, чем это было бы для меня...» – я решила съездить в Москву. Мне было интересно увидеть работы ровесника. Он не однажды поражал своими талантами. Ещё важнее было оказаться там в память Александры Фёдоровны.

В Москве мы отправились на выставку вдвоём с племянником Серёжечкой. Открывал её народный артист СССР А. А. Попов, с которым до ареста Борис служил в Центральном театре Красной Армии. Признание за Борисом многих талантов звучало во всех выступлениях деятелей искусства, особенно в отзывах известных художников Кукрыниксов. Решительно все говорили о его многогранной одаренности: художник, актёр, музыкант, поэт...

Племяннику понравился раздел карикатур Бориса. Сатирические картинки на темы коммунальной кучности и неразберихи, очередей в продуктовые и промтоварные магазины в гораздо большей степени обвиняли объективную действительность, чем маленьких смешных человечков. Злующие карикатуры на зарубежных политиков, похожих на вооружённых до зубов земноводных и пресмыкающихся, были исполнены в стандартах сатирического журнала «Крокодил».

«Богом» Бориса в живописи был великий портретист Валентин Серов. Я долго стояла у портрета Бабеля, нашего с ним любимого Романа Роллана, Бернарда Шоу, у портретов других писателей XIX–XX веков. Особенно удался, как мне казалось, Блок. Его добела высветленные очи смотрели из какого-то смежного пространства напрямую в другое безвременье. Очень понравились оживлённо беседующие Пушкин с Баратынским, Пушкин с няней. Вообще весь пушкинский цикл был живым и тёплым. Зарисовки западных городов и памятников души не затрагивали. А старинные русские города Псков, Новгород и среднеазиатские Бухара, Самарканд заставляли душу откликаться. Ну и настранствовался же по разным землям мой товарищ по судьбе!

Сам Борис смотрелся со стороны преуспевающим москвичом, любимцем знаменитостей, довольным жизнью человеком.

– Ну-у-у спасибоще, Томка! Приехала! – заметив нас в залах, подошёл он. – Это сын? Юрий? Знакомы!

– Это мой племянник Серёжа.

– Сын Валечки, стало быть?

– Точно так.

– Здорово, Сергей. Я – Боб! Ну, как выставка?

– Мне нравится, – серьёзно ответил Серёжа.

– Ты состоялся, Боб! По справедливости состоялся, – поздравила я. – В разной технике, в разной манере. По объёму – с ума сойти! Несметное количество энергии. Работа, работа и работа... Блок очень понравился, Бабель, Роллан, пушкинский цикл...

– Я так и знал! Так и думал!.. Верушка! – подозвал он жену. – Смотри, кто приехал! Где у нас там банкетные билеты? Выдай Томке. – И повернулся ко мне: – Надеюсь, не сорвёшь мне праздник?

Знакомить нас с Верушкой было не надо. Мы знали друг друга по Северу с той поры, как она приезжала к освободившейся из лагеря матери. К той самой Норе Борисовне, которая предупредила письмом Александру Фёдоровну об объявленном на меня всесоюзном розыске. И потом именно Верушке было адресовано письмо Бориса, таинственным образом оказавшееся на столе в его московской квартире.

Жена Бориса вынула из сумочки пригласительный билет, объяснила, как доехать до Дома журналистов.

– Обязательно приходите. Боря огорчится, если вас не будет.

Банкетный зал был переполнен. На столах редкое по тем временам угощение. Тесное общение друзей и коллег между собой. Сбивчивый гул. Славные тосты. Кто-то из знаменитостей очень проникновенно говорил о жене Бориса.

– Скажешь что-нибудь? – обратился Борис ко мне.

– О маме!

В каталоге выставки, в разделе «Основные биографические сведения» о годах, когда Борис сидел в лагере, было написано: «1945–1954 гг. Работает режиссёром художественной самодеятельности, скульптором по архитектурной лепнине, учителем рисования в средней школе». Лагерь, стало быть, – средняя школа? И где же это всё происходило? В Москве? В курортной Ялте? О ком ложь? О человеке? О государстве? О времени?

Это замыкало рот. Если бы я рассказала, как отважная Александра Фёдоровна приехала в Коми АССР, без всяких рекомендаций явилась к заместителю начальника лагеря Н. В. Баженову и за свидание с заключённым сыном предложила безвозмездно выступить на нескольких колоннах со своей чтецкой программой, я тут же подорвала бы репутацию Бориса. Тем более нельзя было рассказать о жарком свидании матери с сыном, состоявшемся прямо за кулисами на колонне, где находился Борис.

Я говорила «вообще»: о концертах прекрасной чтицы, о неизгладимом впечатлении, которое производила эта величественная женщина, о том, как она любила Бориса, обоих сыновей.

После застолья меня окружило несколько гостей:

– Хорошо говорили. Такая у него была мать?.. Ну и заодно признайтесь: был у вас с нашим героем роман?

Подоспевший Борис ответил за меня:

– Сумасшедший был роман! Уж поверьте.

В те несколько минут, которые выдались, чтобы перекинуться вопросом-ответом, Борис успел рассказать, что является членом союзного жюри художников, что побывал во всех странах социалистического лагеря. Посчастливилось даже в Италии побывать. И в раже своей гражданской непогрешимости не преминул пройтись уничижительным словом по безыдейным коллегам:

– Можешь себе представить, тут один из «новоявленных» изобразил колонну демонстрантов в виде толпы скелетов, запутавшихся в полотнищах красных знамён.

Я была мирно настроена, но, не сдержавшись, спросила:

– И что ты? Что жюри?

– Как что? Ясное дело, зарубили.

«Боже мой! Он так мыслит! И так живёт?»

– Отчего же?.. Картина ведь, как я понимаю, не о «контре»?

– А как же её прикажешь понимать?

– Ну-у, как фазу фанатизма? Ты ведь любишь жизнь, Борь? А здесь речь, видно, идёт о том, как идейные завихрения сжирают человеческую плоть и суть? Вот скелеты и гремят костями под флагом...

– Ну, знаешь ли...

– И что же они, эти художники?

Но диалог уже прорвался в пространство конфликта:

– Хочешь знать, что? Звонят по телефону. Угрожают. И не в шутку, а всерьёз. Устраивает?

– Ладно, хватит! У тебя нынче праздник.

– А тебе страсть как хочется его испортить?

– Нет, Боря, нет! Зачем? Давай лучше послушаем Высоцкого.

– А ты что, любишь Высоцкого?

– Люблю.

– Ты любишь Высоцкого? Что с тобой стало? Где твоя тонкость?

От приговора «новоявленным», от оценки любви к Высоцкому опустили руки. Как же замысловато обработала нас жизнь! Какое отношение имеет такой член жюри к портретам Блока, Роллана, к письмам прошлых лет с глубокими и чуткими провидениями? Но ведь имеет же!

Мы оба опомнились. Попытались что-то исправить:

– Счастье есть, Боб?

– Бывало.

– Поделись.

Он только на секунду задумался.

– ...В Риме. Когда увидел Лаокоона. Вышел вечером, пройтись. Луна светила во все лопатки. И вдруг – ОНО, невероятной силищи создание. Мощь! Знаешь, сотрясло всего! Стоял и ревел. Счастье!

– Спасибо, Борь!

В чём-то ровесник выручил себя. Скульптура могучего Лаокоона... Гигантские змеи удушают не только отца, но и его сыновей. Не житейская схватка, а в масштабе вселенской непостижимости.

Я шла по Цветному бульвару. Вспоминала, как после ухода Ма и брата Борис писал: «Будь я один, удрал бы вдогонку за мамой. Но жена вложила в нас слишком много. Оставлять её бессовестно. Попробую жить». И всё это – в нём одном?

Внутри жизни общества тем временем стали задираться физики. Им отвечали лирики. Читающие люди запутывались в подсчёте выигрышей и проигрышей одних и других. Но так или иначе эти схватки будоражили, помогали рождению более живых подходов к жизни, к науке, искусству, приводили к более трезвым взглядам.

Необычайно высоко вознёсся авторитет театра. Воспитанию языка взаимопонимания с БДТ (Большим драматическим театром) нам помогли институтские годы. Такие спектакли, как «Три сестры», «Варвары», «Три мешка сорной пшеницы», «Мещане» перекраивали сознание и далее. БДТ утвердил себя в качестве кафедры честного слова. У ленинградцев появился умный, воздействующий на развитие души собеседник.

Театр первым вышел на прямой и всесторонний диалог со зрителем. Высокий, бескомпромиссный уровень спектаклей был актом уважения к возможностям ума и достоинству человека.

Проморгав передозировку свободы, власть вернулась к практике запретов. Масса придинок была предъявлена к режиссёрскому прочтению «Римской комедии» Зорина. Спектакль был снят с репертуара.

«Горе от ума» Георгий Александрович Товстоногов предварил эпиграфом из Пушкина: «Догадал меня чёрт родиться в России с умом и талантом». Строки эти были выписаны на полотне размером полтора на два метра, размещённом в левом углу сцены. Под угрозой того, что спектакль запретят, эпиграф заставили снять.

И всё-таки от правды человеческих чувств, от общественной правды театр отвернуть было уже невозможно. Курс на подлинность, вы-

ношенный в утробе советского общества, был взят театром категорически. А болея за судьбу любимого театра («разрешат – не разрешат»), зрители становились гражданами.

Дерзанием, азартом энергии нас завоевывали и покоряли москвичи. Спектакли Ю. П. Любимова по пьесам Брехта, Чернышевского, Вознесенского напрямую доходили до ума-совести зрителей. Как говорила тогда молодёжь: «Таганка наполнила юность смыслом». Начав с переосмысления такой пьесы, как «Платон Кречет» Корнейчука, перепрочитывая драматургию Мольера, Тургенева, творил художественные чудеса А. В. Эфрос.

Всероссийское театральное общество (ВТО), тесно связанное с театрами Ленинграда, с театральным институтом, организовывало бесплатные просмотры премьер, на которые приглашались актёры, режиссёры, художники и театроведы. Какое-то количество билетов выделялось даже для участников художественной самодеятельности. В Ленинграде неукоснительно соблюдалась традиция ВТО приглашать на эти просмотры актёров-пенсионеров, проживавших в Доме ветеранов сцены. Народный артист СССР, режиссёр Театра комедии Н. П. Акимов, например, как для самых почётных гостей, оставлял для них первый ряд партера и, выходя перед спектаклем на сцену, обращался к ним с особым приветственным словом. Атмосфера на просмотрах бывала, как правило, домашней, благодарной и приподнятой.

При том же ВТО (переименованном теперь в Союз театральных деятелей – СТД) проводились заседания секции критиков, на которых обсуждались опубликованные в газетах и журналах рецензии на спектакли. Там же проходили встречи (волнующие встречи) с московскими гостями: режиссёрами А. В. Эфросом, П. Н. Фоменко, Питером Бруком, театроведами Н. А. Крымовой, И. Н. Соловьёвой и многими другими. На них было трудно попасть. Это были не лекции, не семинары, а доверительные беседы талантливых режиссёров и критиков с разбуженной, готовой к осмыслению всех нюансов профессии аудиторией.

Дом актёра регулярно приглашал на капустники, где блистали остроумием А. Белинский, С. Юрский, чета М. Б. и Ю. Г. Аптекманов, З. Шарко, В. Ковель, В. Татосов, В. Дорош. Позже капустнический век продлевал изобретательный и талантливый Вадим Жук.

Одним словом, Союз театральных деятелей создал совершенно особый климат умного уюта городской театральной жизни.

Мы – «6-А» – оставались верны театру, любимому институту, нашим педагогам, своему «Лицейскому дню» 19 марта и друг другу.

Все браки сокурсников – Лары Агеевой, Али Яровой, Лены Фроловой, Михаила Пятницкого, Евгения Биневича, Марины Тимченко, Лёвушки Резника, Нели Вексель, Бори Смирнова – были заключены по любви. Как довод в пользу исключительности этих союзов в пяти семьях сокурсников подрастали редкостные по красоте и таланту дети.

Встречались мы все последующие годы уже семьями. И бесконечно многим в сохранении связей обязаны нашей бессменной старосте, жертвенной Любаше Смирновой. В течение многих и многих лет она в буквальном смысле слова ежедневно обзванивала всех нас, держала в курсе всего, что происходило у каждого. Благодаря нашей старосте мы не потерялись ни во времени, ни в тяготах повседневности.

Мы с Володей оставались вписанными в этот светлый и довольно замкнутый круг – однокашниками. Если возрастной отрыв на чём-то и сказывался, то разве что на оттенке отношения к молодым друзьям:

О своём я уже не заплачу,
Но не видеть бы мне на земле
Золотое клеймо неудачи
На ещё безмятежном челе.

Сила этого заклинания А. А. Ахматовой не уберегла, однако, ни мятежного, ни «безмятежного чела».

Я была слишком глубоко погружена в работу, в семейные сюжеты, раз не уследила, как одновременно обострились и ужесточились процессы политической жизни общества.

С одной стороны, ничуть не стесняясь, о себе дал знать новый виток антисемитизма. Пятый пункт лимитировал поступление в вуз, обрекал на службу не по специальности. Сын Нели Вексель Алик приходил из школы в слезах: дразнили «жидом».

С другой стороны, как нечто совершенно фантастическое воспринимались случаи угонов самолетов. Выход смельчаков на Красную площадь с протестом против ввода советских войск в Чехословакию был не только политической акцией, но и выражением стыда, возмущением совести в ответ на безграмотность и безнравственность власти. Судебные процессы над Даниэлем и Синявским, над правозащитниками Ларисой Богораз, Натаном Щаранским, Людмилой Алексеевой, Анатолием Марченко, Владимиром Буковским, Александром Гинзбургом поражали бесстрашием подсудимых.

И когда 15 апреля 1969 года арестовали Анатолия Бергера, мужа моей сокурсницы Лены Фроловой, это стало слишком близким попаданием «снаряда».

Лена вышла замуж за Толю вторым браком, уже занимаясь на театроведческом факультете. Анатолий Бергер окончил Библиотечный институт. Безусловной образованностью был обязан собственной страсти к изучению истории, литературы и философии. Писал стихи:

Коли слово поперёк —
Умолкай в земле,
Властью был отвергнут Бог,
Идол жил в Кремле...

Эпиграфом к стихотворению, посвящённому Марине Цветаевой, Анатолий Бергер взял её собственные строки:

*Покамест день не встал
С его страстями стравленными,
Из сырости и шпал
Россию восстанавливаю.*

Сквозь грохот городской,
В глухое небо вплавленный,
Цветаевской строкой
Россию восстанавливаю.

Колокола гудят
На всю Москву престольную,
И нет пути назад,
И нет пути окольного,

А только напрямик
В нужду, в беду, изгнанницей,
И в тот последний миг,
Когда петля затянется.

И в творчества разлёт,
Полёт над всеми высями,
И в гордый, горький пот
За тем столом, за письменным,

В крутую правоту,
В изгойство, в одиночество,
В свою свободу — ту,
Другому не захочется,

В заклятый непокой,
Сквозь жизни гул растравленный
Слезой и строкой
Марину восстанавливаю.

Стихи цельного, не больно разговорчивого молодого человека с превосходно вылепленными чертами лица не публиковались. Если их и читали, то дома узкому кругу друзей.

Поэзия Бергера была бескомпромиссна, адресна. В ней совмещались поэт и гражданин. Написанные ничем не прикрытой болью и жадной «восстанавливать» – судьбу ли Марины Цветаевой, судьбу ли России, – стихи Бергера на следствии были названы пасквилями. Ему инкриминировались «злобные выпады в адрес советского народа и призывы к свержению советской власти». Процесс над ним длился несколько месяцев. По статье 70, часть 1 УК РСФСР суд приговорил его к четырём годам лагерей и двум годам ссылки.

Только что я была для сокурсников персонажем далёкого «архипелага ГУЛАГ»; теперь туда отправляли мыслящих людей следующего поколения.

Нельзя было не заметить новшеств в технологии и методике следствия. По ходу допросов делу норовили придать групповой характер. Чтобы оно не выглядело чисто политическим, для дискредитации к политическим примешивали тех, кого судили по уголовным статьям.

За время «оттепели», однако, поразительным образом быстро в молодых людях успело «восстановиться» казалось бы с корнем выкорчеванное чувство личного достоинства. И сам Анатолий Бергер, и подвергшаяся допросам в Большом доме Лена безбоязненно отстаивали право поэта писать о том, что согласуется с его личным видением и личной совестью.

Кардинально изменилось и поведение окружающих. Узнав об аресте Толи, одна из наших сокурсниц в краткий зазор между первым и повторным обыском успела перенять из рук его родителей незамеченные гэбистами папки со стихами. Укрыв их под полой пальто, неискушённая, не авантюрная, восторжествовав над страхом за себя и за семью, она сумела эти папки унести и спрятать. Это был – поступок и принципиальный симптом уже происшедших и происходящих перемен.

Часть курса ходила теперь на вокзал провожать на свидания в мордовские лагеря в одночасье постаревших родителей Толи Бергера и исхудавшую до «больше некуда» Лену.

После того как Толя отбыл четыре лагерных года, Лена Фролова уехала к мужу в ссылку в Сибирь и пробыла там до окончания уготованного ему срока.

В сороковые годы слух о намерениях ООН как-то отреагировать на репрессии в СССР только «прошелестел». Совершенно невероят-

ным по смыслу прогремело и оглушило теперь заявление некоторых стран о готовности принять к себе неугодных СССР евреев. Даже таким, как мы, уложить в голове провозглашённое намерение было трудно. Мы просто не знали такого аспекта внешней политики других стран и не ведали, что ещё вкладывается в слово «свобода», кроме «не за колючей проволокой».

Приглашение евреям эмигрировать так задело самолюбие власти и общества, что советское государство просто не понимало, с какого конца его осваивать. Для «крепостных» граждан СССР образовался выход? Как можно было смириться с покушением на эту государственную собственность?

Люди между тем на глазах смелели, вслух заявляли, что не хотят больше быть челядью репрессивной власти, не хотят покорно ждать отправки в Сибирь. Требуя выпустить их из страны, объявляли голодовки. Сладить с этим, как прежде, силой значило на глазах у всего земного шара объявить «крестовый поход» против тех, кто предлагал свободу, и тех, кто её желал. Сложившаяся ситуация сотрясала основы сознания всех слоёв общества.

Власть измышляла всевозможные барьеры. Каждый отъезжающий пропускался через «гражданскую казнь» на общих собраниях. Коллективы, в которых работали заявившие о желании эмигрировать, клеймили их «изменниками» и «предателями». Если таковыми оказывались члены КПСС, их исключали из партии, отбирали у них полученные на фронте ордена. Более того, они же должны были баснословными суммами оплачивать процедуру лишения их гражданства. Тех, кто работал в так называемых «ящиках», в закрытых НИИ, увольняли, но, как имевших доступ к производственным тайнам, не выпускали по восемь-десять лет из страны. Они вынуждены были наниматься на работу грузчиками, спасателями на водные станции и т. д.

Решение семьи Нели Вексель эмигрировать в Израиль застало «б-а» врасплох. С оригинальной во всех своих проявлениях Нелей всегда было интересно. Смелыми и удивительными были многие её поступки, сопровождавшиеся то каскадами заразительного смеха, то серьёзной аргументацией зрелого человека. Режиссура привлекала её больше театроведения. Она посещала курсы прославленного педагога по режиссуре А. И. Кацмана, которые он вёл при Доме художественной самодеятельности, где я работала. Мне удалось подыскать Неле режиссёрскую работу в одном из театральных коллекти-

вов, после чего мы виделись уже и по службе. Затем Неля попросила меня спрятать рукопись её друга об истории еврейского народа, познакомив предварительно и с рукописью, и с её автором. До их отъезда я сохраняла отданные мне тетради в тайнике.

Отъезд Нелиной семьи заставил прочувствовать разницу между растерянностью предыдущего поколения и волей – этого. Люди решались обрубать родственные и дружеские связи, готовы были уехать в какую-то незнакомую даль, к говорящему на другом языке народу. Неизвестно, какой их ожидал род деятельности, какое жильё, какая поддержка от государства. Нужно было совершенно по-иному осознать себя в мире.

Документы были поданы. Разрешение на выезд получено. Семья распродала мебель, раздавала вещи.

В конце концов – назначенная «отвальная». Бумажные тарелки, пластиковые стаканы, вилки на специально оставленном для прощального ужина столе. Да! Полная растерянность! Кем-то произнесённое: «Тише». И пронзительный тост Нели о том, что наши институтские годы, наши преподаватели, наш курс, все мы – это «соль земли»; что их семья отдаёт себе в этом отчёт, но шанс растить сына в условиях СВОБОДЫ и сама СВОБОДА – важнее всего на свете. О намерении знакомить страну, в которую они уезжают, с русской культурой Неля говорила как о своей миссии. Зная силу общественного темперамента, с которым она вмешивалась в гущу многих событий, я верила её словам. Верила, что это не пустой звук и не прикрытое. И всё-таки? И всё-таки, не понимая до конца, при чём мы присутствуем, пыталась себя вопросом: а я могла бы решиться уехать или нет? Мозг это решал или сердце – не знаю. Но я призналась себе в «нет» и в том, что воспринимаю Нелин отъезд как драму.

На следующий день, позвонив в шесть утра, Неля попросила разрешения заехать к нам по дороге в аэропорт, чтобы ещё раз увидеться, обняться и вручить на память «мамин воротник из меха скунса».

Уже через сутки после приземления в Израиле от неё принесли телеграмму: «Долетели благополучно, Израиль встретил радушием».

Года через три собралась уезжать – во Францию – вторая сокурсница, Ирина Баскина, знакомившая нас с французскими фильмами и с картинами опальных художников. Просветитель по натуре, Ирина, имевшая в городе огромное количество друзей, сформулировала идею отъезда несколько иначе, чем Неля. Она была преисполнена уверенности, что оттуда сможет более эффективно помогать гонимым худож-

никам, сумеет организовывать там выставки для них, продажи картин и вообще привлечёт внимание европейцев к российским талантам.

Прощаться с друзьями Ирина задумала в два этапа. Первый – с каждым в отдельности, второй – общий сбор.

Во время нашего разговора вдвоём она сказала:

– Я стеснялась говорить с вами об этом раньше, но, уезжая, прошу: начните писать о том, что прошли и пережили! Начала же Бел Кауфман писать свой роман «Вверх по лестнице, ведущей вниз» в восемьдесят лет, а вам ещё жить и жить до её восьмидесяти. Это во-первых. Во-вторых, хочу передать вам полномочия собкора журнала «Театр». Согласитесь принять их на себя. Вот тетрадь с именами всех завлитов, у которых будете брать информацию, и телефоны театров. И третье: хочу, чтоб мы вместе сходили в Филармонию на Шостаковича.

Сидели мы на хорах. В антракте Ирина подступилась к главной просьбе:

– Скажите «нет», если это покажется вам дерзким. Могли бы вы разрешить мне посылать письма и бандероли на ваше имя?

Мы были с нею не так близки, чтобы я призналась, что воспоминания уже написаны. Но на главную её просьбу ничего, кроме «да», ответить не могла.

После общего сбора у Ирины (она жила на Васильевском острове) мы, человек пять из «6-А», шли пешком по Университетской набережной. Город выглядел ледяным и колючим. Единственно тёплым лоскутком казался желтеющий купол Исаакиевского собора на другом берегу Невы.

Редкая по беззащитности и доброте сердца, Инна Аграева в желании поинтересоваться: «Ну, как вы?» – вместо «вы» прибегла к другому местоимению: «Ну, как МЫ, а?» Лена с Толей только что возвратились из Сибири. Не желая себе сибирского направления, две другие сокурсницы предпочли зарубежье. Получалось: МЫ – редели.

Ну а затем произошло то, чего я боялась для себя как *несчастья*.

С тех пор, как обе дочери Анны Владимировны и Григория Евсеевича с мужьями и детьми эмигрировали в Америку, прошёл год.

– Анка по три раза в день просит меня спускаться к почтовому ящику, смотреть, нет ли писем, – рассказывал Григорий Евсеевич.

Письма приходили. И когда дочери известили о том, что послали родителям вызов, сомнений в их отъезде уже не оставалось. Именно тогда Анна Владимировна, имея в виду дату переезда в Петербург своих предков в XVIII веке, произнесла душераздирающее: «Я две-

сти лет живу здесь, в Петербурге. Двести лет смотрю из этого окна на канал Грибоедова. Я не могу отсюда уехать...»

Для определения состояния, в котором она пребывала, решая, быть с детьми и внуками на другом конце света или остаться без них на родине, с родным языком, со своими интересами и друзьями, годилась одна формула: «Ни с тобой, ни без тебя я жить не могу».

Совершенно очевидно, что другого решения, чем уехать вслед за детьми, для неё не существовало.

Анна Владимировна и Григорий Евсеевич попросили меня прийти к ним для разговора:

– К вам, Тамара Владимировна, просьба, для нас необычайно важная, для вас – неожиданная. Хотим просить вас завершить подготовку к защите диссертации нашей аспирантки из Болгарии и – провести саму защиту. Нам уже не успеть и не справиться с этим. Не отказывайте. Есть ещё просьбы. О них – потом. Эта – самая-самая...

Уговорить меня взяться за незнакомое, пугающее дело они смогли лишь потому, что я не знала другого способа спастись от отчаяния, как уйти с головой в работу.

Иллюзию моей уместности в этой «другой» жизни Анна Владимировна сумела превратить в реальность. По её наитию и благодаря её участию в моей судьбе я обрела «Б-А». Её оценки моих курсовых работ: «Талантливо!» – хоть как-то унимали неизлечимую неуверенность в себе. Общение с нею было для меня необходимостью. Но сейчас страдала она, и мне было больно за неё.

В день процедуры исключения Анны Владимировны из «рядов КПСС» я обещала приехать к Дому писателей и встретить её после собрания. Когда она, так чётко и ясно судившая об истории, о жизни человеческого духа, вышла оттуда, с лица её ещё никак не могло сойти выражение потерянности и недоумения. В глазах стоял вопрос: «За что вы меня так колесуете?» Глядя на нее, я ощущала себя едва ли не её матерью. Мы проходили одну троллейбусную остановку за другой, не решаясь сесть в транспорт.

Упаковывать книги их огромной библиотеки, отсылать бандеролями на американский адрес дочерей, бегать в Публичную библиотеку оценивать картины отца Анны Владимировны помогали друзья дочерей и наш Евгений Биневиц, по-моему вообще не отказавший им ни в одной просьбе.

Григорий Евсеевич постоянно кипятил чай, готовил на всех бутерброды и винегрет...

В финале – тот же прощальный стол с закусками, вино и беспре-
рывный, не имеющий конца поток людей, приходивших, уходивших.
Потрясённые лица. Невыносимая тяжесть. Тупик.

Ужас разлук в 70-х – начале 80-х годов гнезвился в том, что люди
расставались навсегда, прощались навечно.

Последние наставления и просьбы Григория Евсеевича: «Вот вам
ключи, Тамара Владимировна. Книжный шкаф отдайте нашему дру-
гу Е. У него огромная библиотека, даже больше, чем у нас. Вот вам
список мебели, которую надо сдать в комиссионку. Всё остальное
пусть разбирают, что кому нужно. После того, как всё будет законче-
но, ключи от квартиры сдайте в жилконтору».

Из-за поломки автобуса я в аэропорт опоздала. Анну Владими-
ровну, Григория Евсеевича и их племянника Осю отправили на посад-
ку раньше предполагаемого времени. Попытки разглядеть их через
стекло с какого-нибудь возвышения ни к чему не приводили. А я всё
пыталась и тщилась.

Кто-то мне рассказал позже, как смешно я выглядела на отснятой
КГБ плёнке: ветер сорвал с меня шляпу, она катилась по лётному
полю, а я, со сбившейся прической, силилась забраться ещё выше,
чтобы увидеть дорогих мне людей.

Я сидела одна в их опустевшей квартире в ожидании грузовика
из комиссионки, чтобы «сдать мебель». Память отматывала годы
вспять. В конце тридцать седьмого, накануне отъезда в ссылку Бар-
бары Ионовны и Эрика, из их дома в Свечном переулке в несколько
заходов мы с Эриком относили вещи в комиссионки. В начале трид-
цать восьмого мы с мамой систематически сдавали в комиссионку
наборы тарелок, ложек, люстру, ковёр. Собственно, всё, что было ос-
тавлено неизвестной нам семьёй, впопыхах бежавшей в двадцатом
году за границу из квартиры 19 дома 30 на Карповке.

Да! ТАК БЫЛО НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ! Ещё и ещё раз – было! Всё
проходило через сердце, память, удваивая, утраивая это «было!».
После периода разрешённой эмиграции оставалось совсем немного
времени до насильственного выдворения инакомыслящих из страны.
И такого рода выдворение тоже имело место, тоже – «было». По при-
казу Ленина знаменитый пароход уже вывозил однажды за границу
интеллект и душу России.

Затаив дыхание, мы с Володей следили: долетит А. И. Солженицын
до места или с ним произойдет худшее? Так же было затем с Е. Г. Эткин-
дом. В открытом письме своему зятю, одобрявшему эмиграцию, он пи-

сал, что не уезжать отсюда следует, а здесь, на месте, в СССР, менять порядки, чтобы свободно жить и дышать на своей земле.

Перед отправкой к месту назначения (если это был не Израиль) эмигрантов задерживали в Италии. В письмах оттуда Анна Владимировна рассказывала, как от неё на собеседовании добивались ответа на вопрос, что привело её в ряды КПСС. Она делилась впечатлениями от музеев, визитов к семье Вячеслава Иванова, от личной встречи с Папой Римским на симпозиуме, посвященном Вячеславу Иванову. Писала о том, как они с Григорием Евсеевичем набрали в горах на маленькую православную часовню и отдохнули в ней душой. Умудрилась прислать нам из благословенной страны репродукции картин итальянских мастеров, альбомы, а кому-то – сапоги, свитер, блузуку...

К «6-А» беда подкралась и с другого края.

Тяжело заболел наш педагог Владимир Александрович Сахновский-Панкеев, которому было всего пятьдесят два года. Пережив тяжелейшую операцию и боясь, что всякое может случиться, он, перепрямив слабость, вернулся к работе в институте. Надо было впрок обеспечить семью. Он постоянно мёрз. В деканате держали кипятик, чтобы в перерывах между лекциями он мог согреться.

Еще в институтские времена сокурсники потребовали, чтобы я разделила свой день рождения на два: 29 марта – для моих близких и для северных друзей, а 30 марта принадлежало только курсу. С одобрения сокурсников иногда приглашался кто-то из педагогов и драматург Александр Моисеевич Володин.

30 марта 1979 года, когда курс был в полном сборе, в дверь позвонили. На площадке с букетом цветов стоял исхудавший, белый, как лист бумага, наш педагог. Невозможно было представить, откуда он взял силы подняться на наш ужасающий пятый, без лифта этаж. Спросил он только одно:

– Никто не будет возражать, если я останусь сидеть в пальто?

Через месяц и два дня его не стало.

Прощались с ним в зале бывшего ТЮЗа, на Моховой, 35. Речи. Слёзы. Приехавшая из Осетии выпускница сказала на панихиде:

– Потух наш очаг.

Не было случая в последующие годы, чтобы хоть кто-то из нас не съездил в день его памяти на кладбище в Комарово.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Если не учитывать двух лет метаний, наша с Володей общая жизнь – это тридцать шесть лет. Рождение такого однородного слитка времени в моей жизни – нонсенс.

Прошлое у нас было несводимо разное. У него, члена КПСС, в советское время была ничем не омрачённая творческая пора с достижениями, признанием, получением правительственных наград и званий и двадцатью пятью годами брака по любви. Он не был обойдён ни одной из привилегий судьбы, я – выбита отовсюду. Откуда взялась общность воззрений на жизнь, было – непостижимо.

Друг Кира Теверовская высказала однажды своё понимание нашего брака: «Мне кажется, что когда вы встретились с Владимиром Александровичем, то потянулись к нему, как к здоровью, поскольку все вокруг были надломленными». Возможно, догадка в чём-то справедлива. Володя был жизнелюб. Утро он начинал, читая стихи или напевая какой-то мотив. Любую погоду объявлял прекрасной. И не знаю, были ли так вкусны завтраки и обеды, которые я подавала на стол, но похвала им воздавалась в превосходных степенях. Человек кипучего нрава, Володя с наслаждением осваивал жизнь со всех сторон. Любил своих детей и внуков. Дружил с оставленными жёнами.

После издания книги «Театр моей юности» он уселся писать вторую часть воспоминаний – о театре военных лет. Делал наброски к третьей: о тамбовском театре, который в течение десяти лет возглавлял как главреж. Работал над чтецкими программами известного ленинградского актёра Сергея Новожилова по рассказам Андрея Платонова («Железная старуха», «В прекрасном и яростном мире», «Луговые мастера») и над литературными композициями с дочерью Машей. Вёл обширную переписку с друзьями. Рецензировал книгу по геральдике одного одесского знакомого. Из партийных нагрузок выбрал себе функции заседателя в народном суде. Намерен был просвещать судью романами Достоевского, дабы за каждым происшествием и конфликтом научить его видеть человеческую судьбу. Понадобилось вытащить из неприятностей заблудившуюся девчущку, подлежавшую выселению из Ленинграда за фиктивный брак, – сделал и это.

И всё-таки ничто не приносило ему столько удовлетворения, сколько педагогическая работа на режиссёрском курсе в Ленинград-

ском институте культуры. Курс состоял из одарённых и дружных между собой молодых людей – ленинградцев и приезжих из самых отдалённых точек Союза. Володя и его коллеги учили их быть режиссёрами и исполнителями, осветителями и декораторами. Жадно осваивая теорию и практику, студенты уже на втором курсе удивляли яркостью постановочных находок в отрывках из «Макбета» Шекспира, «Преступления и наказания» Достоевского, «Глубокой разведки» Крона, других работ.

Отдав в молодости дань моде – увлечению футуристами, «жёлтыми кофтами», стрижками наголо, – Володя вступал в бурные споры с ректором и с партбюро института, сражаясь за студентов, когда за джинсы и длинные волосы кого-то из них собирались отчислять из института. Обладал редким достоинством бескорыстно влюбляться в талантливых молодых людей. Не чаял души в студенте Саше Пурере, ставшем впоследствии известным драматургом Галиным. Псевдоним «Галин», кстати, Саша, как пчела из цветка, извлёк из имени своей жены и соратницы, умницы Галочки Краузе. Первыми, кому в свою бытность в Ленинграде Саша читал пьесы, были, по его словам, мы. Нас покорило его острое внимание к внешнему убожеству жизни и к скрытым возможностям человека, неизвестным подчас ему самому. Володя называл сыном студента Лёню Добрынского, радовавшего его актерским дарованием и отношением к нему, своему Учителю. Увлечён был Игорем Михайловым, Геной Шагаевым, Виталием Шаратовым, Володей Садовниковым, Флором Кеслером. С огромным уважением относился к старосте курса, честнейшему Виталию Щеглову, ставшему позже доцентом на кафедрах этнопедагогики и этнопсихологии в РГПУ имени Герцена. Восхищался талантом чародейства в добром, безоглядно щедром и обаятельном студенте Гиви Волчке, инициаторе и организаторе празднований знаменательных дат курса. Гиви так приучил всех к сюрпризам, что никто и не пытался его превзойти в инициативе и фантазии. Как физическая благодать, здоровье исходило от таких студентов, как Саша Коктомов и Саша Конев (ныне директор департамента культуры и искусства Ханты-Мансийского округа). Одна другой талантливее и краше были девочки курса: Таня Чебыкина, Верочка Морозова, азартная Нина Синицкая, верная Светочка Гладкова, Мара Залаяскалнс, Люда Стурова, Люба Пивоварова, Тамара Киселёва, Зина Михайленко, Валя Чудинова, Тамара Авдеенко, Шура Челпанова, Майя Приедая, другие. Каждая из них стоит – песни. Атмосфера на курсе была творческой, ничем не замутнённой.

Разумеется, Володя был первым гостем на днях рождения и свадьбах своих учеников.

В его и моё прошлое было включено так много людей и событий, что перегруженность ими легко могла перевесить наш поздний рывок друг к другу. Однако мы с этим на диво славно справились, не позволив разорваться ни одной из дружеских связей прошлых лет. Из какой бы поры наших жизней ни происходили друзья, они становились общими. Таня, жена самого близкого Володиного друга юности Виктора Довбищенко, приезжала к нам в Ленинград, а мы ездили к ней в Киев. С синеблузником Саней Секачёвым у меня заладилась своя переписка. Володю интриговали судьбы моих северных друзей. С Тамарой Чулукидзе и с её мужем Алесем Осиповичем Пальчевским отношения вообще сложились самые сердечные. Нас посещали актёры – друзья Володи по прежней работе в театрах Днепропетровска, Калинина, общие – по кишинёвскому театру. Визиты его друга, блистательного актёра В. В. Кенигсона, приезжавшего в Ленинград на гастроли с Малым театром, наводняли дом умопомрачительными розыгрышами и каламбурами, рассказами о ролях и зарубежных поездках. Из Грузии приезжал замечательный режиссёр М. И. Туманишвили. Дружба прочно связывала нас с семьями А. Л. Мадиевского и И. А. Гриншпуна.

Мне бесконечно дороги письма юных друзей о нашем доме. Младший внук Володи Саша написал недавно: «С детства слова “Лиговка и Пушкинская, дедушка и тётя Тамара” означали что-то загадочное, не будничное, праздничное. Ваше тепло, ваши жизненные и духовные уроки сделали объёмнее мой внутренний мир...» Дочь Лары Агеевой Поленька писала в годы учебы за рубежом: «Ваш дом, семья, друзья всегда были для меня олицетворением покоя, красоты, тишины. Вы и ваш дом были миром, где царили книги, музыка и театр, где, казалось, не были знакомы с житейскими проблемами и буднями...»

Житейские проблемы, разумеется, существовали, но справляться с ними было привычно. Мучительно было невыведенное до конца на поверхность то, что заветная глубина Володи была давно распределена между двумя его семьями.

В процессе Володиной работы над книгой «Театр моей юности» мы с жаром обсуждали ситуации, оценки. Случались бурные споры, кончавшиеся обычно согласием. Я была предана его работе. Когда он закончил её, я с непривычным для себя легкомыслием спросила: «А кому ты её посвятишь?» Была наивная убежденность, что он рассмеётся и скажет: «Ну кому же еще? Конечно, тебе». Володя невозмутимо ответил: «Никому!» Позже «компенсировал» это широким росчерком пера на подаренном мне экземпляре: «Это твоя книга, моя родная,

любимая! Всё, что в ней есть духовного, рождено тобой, твоим влиянием. Ты, как обильный дождь, оросила мою душу, заставила её помолодеть, давать новые всходы. А за все срывы – прости. Твой В.» Вот где-то здесь и определялось моё место.

И срывы тоже случались. Если мне хватало самообладания оставаться при них внешне спокойной, Володя пугался: «Ты становишься всё сильнее. Скоро вообще не будешь во мне нуждаться». Но по какому-то неуяснённом закону мы друг в друге нуждались. Только к *полному единству* Володин расклад привязанностей – не вёл.

«Избавляйся от проблемы, а не от чувства вины», – говорят японцы. Сумев сохранить угодный для него климат, разместившись между двумя мирами, Володя для себя проблему решил. Я? Я оказывалась в роли бессильного зрителя, когда после свиданий с бывшей женой он возвращался настроенным на совершенно иные ориентиры.

По делам службы я как-то ехала в трамвае. За окном увидела Володю. Он шествовал вдоль Лебяжьей канавки в Институт культуры. От неожиданности, от образовавшейся дистанции я со стороны увидела, как он, пленённый красотой Летнего сада, линейной безукоризненностью Марсова поля, идёт, упиваясь прелестью этой данной ему жизнью минуты, тем, что он сам представитель и значим. Я же и в транспорте что-то напряжённо решала, куда-то мчалась внутри себя.

Покой, неторопливая поступь мужа, как в откровении, явили, насколько он самодостаточнее и независимее меня. И я расписалась в уважении к его самобытной натуре.

В предисловии к не так давно изданной книге Володи «Записки периферийного главрежа» режиссёр Александр Николаевич Смирнов делится впечатлением о нас: «Позже мы встречались с Галицким в Ленинграде, в незабываемом Комарове, которое оба любили, в Тамбове, когда он приезжал к дочке и зятю... Помню, в Ленинграде после большого перерыва я увидел Галицкого в сопровождении удивительно красивой золотоволосой дамы. Он представил меня своей жене Тамаре Владиславовне. Мы остановились на Невском проспекте (запомнился угол с вывеской “Галстуки”). И толпа, заполнявшая в эти часы Невский, замедляла своё движение, заглядываясь на эту удивительно гармоничную пару».

Лестно. Но Володя принадлежал в первую очередь – себе. А я оставалась один на один с пучиной жизни. От чувства одиночества жизнь меня категорическим образом – не избавляла.

Для меня, не имевшей понятия, что такое дома отдыха, а тем более здравницы, санаторий «Актёр», построенный в Сочи Союзом театраль-

ных деятелей на паях с химиками, превосходил все представления о комфорте. Шестнадцатизэтажное здание у моря. Номера с балконами, столовая, водолечебница, библиотека, уютный кинозал. Вблизи – бассейн и корт. Высокий лесистый склон горы заслоняет эту часть побережья от шума транспортной магистрали, соединяющей Сочи с Адлером.

В первый раз в санаторий «Актёр» я приехала одна, без Володи. Приехала настолько обессиленной, что никакой отдых, казалось, не одолеет накрывшей меня с головой усталости. Попросила дежурную:

– Пожалуйста, поселите меня в одноместный номер.

Скользнув по мне глазами, она уткнулась в план здания, сняла с доски ключ и протянула его мне:

– На пятнадцатом этаже.

Мне почему-то захотелось, чтобы на вопрос, как её зовут, она произнесла: «Анна».

– Анна Фёдоровна, – ответила она.

Было поздно. В санатории давно отужинали. Не распаковав вещи, я открыла дверь номера, вышла на балкон, облокотилась на перила. Бездна тьмы, мигающие звёзды над морем. Его шум, его запах. Острое, непривычное ощущение высоты. Кружилась голова. Ни помыслов, ни желаний. Какое-то полное смыкание с этим невероятно живым «всем». Душа без усилий выскользнула из материи, веса, распласталась и отчалила в безбрежное пространство. Без шалости, без резовости стала планировать над морем вверх, вниз, в одну-другую сторону, высвобождая себя из пут...

Меня удивлял избавлявший от бытовых забот санаторный режим, врачебный присмотр. В парах водолечебницы, куда я спускалась на процедуры, открылось, что подводный массаж может расправить, а сухой – дать ощущение себя в пространстве. Всё было внове, поскольку – в самый первый раз.

Я уплывала далеко в море. Несколько дней спустя стала одолевать пятикилометровую пешеходную тропу, тянувшуюся вдоль берега. По обе стороны заасфальтированной дорожки цвели магнолии, кусты флёрдоранжа, белые соцветья которого Райский в «Обрыве» Гончарова преподносил Вере. Когда-то я любила эту роль. Сейчас сыграла бы её значительно глубже, тоньше...

Из санатория я писала письма домой, друзьям. Прилетали ответы. Володя просил, чтобы я спокойно отдыхала, не волновалась о нём, поскольку (следовало имя-отчество бывшей жены) приезжает и готовит ему обеды.

Я досадовала на себя за то, что принимаю жизнь всерьёз и только всерьёз, а она не устаёт учить меня иронизировать, подсмеиваться над собою.

После двадцати четырех дней в санатории, загоревшая, просоленная морем и натренированная ходьбой, я уверовала в то, что отпуск надо проводить только здесь. В течение одиннадцати лет Володя, с его вельможной победительностью, доставал через Москву путёвки – и мы ездили в санаторий «Актёр». Мужу здесь также нравилось решительно всё.

Особенно счастливыми бывали отпуска, когда к нам присоединялась Володина дочь Маечка. В этом случае доплачивалась нужная сумма за номер «люкс», и мы размещались к полному удовольствию каждого: мы с Маечкой – в одной комнате, глава семьи – в другой.

Неизбалованные благами цивилизованного отдыха, мы с Маечкой были отменными партнёрами. Не стесняясь друг друга, ахали, любуясь красотой долины, по которой нас возили на автобусах к ваннам Мацесты. Переглядывались перед тем, как с благоговением погрузиться в таинственную зеленоватую воду, пробивавшуюся к нам в XX век из каких-то древних известковых пластов палеозойской или мезозойской эры. Удивлялись тому, что эта колдовская вода лечила и оживляла. И не испытывали неловкости, путая взрослые радости с невзрослыми, когда, уплыв в море в одно воскресное утро, увидели эскадрилью яхт с алыми парусами под предводительством не переводившихся на свете чудаков.

Пристрастившись к сауне, мы выходили из сухой горячей камеры и бухались в бассейн с обжигающе холодной морской водой. Майя, начальник междугородного телефонного узла в Тамбове, загорелась идеей построить такую же сауну для своих сотрудников, и это тоже входило в наш общий «восторг».

Дочь укоряла отца, когда он проявлял невнимательность по отношению ко мне: «Папа, неужели ты не понимаешь, что причиняешь боль Тамаре Владимировне?» или «Папа, ты неправ!» Для отца Майя была нравственным авторитетом, а понимание, кем стала для меня Володина старшая дочь, пришло в том же санатории.

В 1976 году путёвки были взяты на сентябрь, выдавшийся необычайно жарким. И туда, в идиллическую атмосферу отдыха, от судьбы пришла телеграмма: «Умер Филипп Яковлевич». Приди это известие в суетные ритмы города, я приняла бы его с большей мерой защищённости. Но здесь это известие своей лагерной стужей прошлого навывлет пробило жаркий, сияющий день.

Филипп вызволил меня из произвола грязной лесоповальной зоны в момент, когда нарядчику, поклявшемуся меня «сгноить», оставалось только спихнуть с края ямы то, что от меня осталось. Настойчивостью и усилиями Филиппа я была доставлена в лазарет. Ему я была обязана тем, что стала операционной сестрой в хирургическом корпусе. Только сойдя с ума можно было увязать это с его последующими поступками, касавшимися сына.

Меня бил озноб. Дотащившись до номера, я протянула телеграмму мужу и его дочери. Пробежав по телеграмме глазами, Маечка с такой молниеносной быстротой кинулась ко мне, с какой метнулась бы мать выхватить ребёнка из волны, уносящей его в море:

– Милая моя, дорогая моя, не надо так, пожалуйста, не надо...

Муж покружил, покружил вокруг нас и вышел из номера.

Ни от кого на свете я уже не ждала такой силы порыва. Не вслух, а тихо, про себя, где-то на срыве, в глубине назвала тогда Майю: «Доченька!»

Какая непрогнозируемая, в сущности, произошла история с взаимоотношениями в семье Володи! Его старенькая мать, его дочери и даже внук Вова чаще оказывались большей для меня защитой, чем он. Так Володина семья стала моею.

Маечка высказала тогда надежду на то, что Филипп перед смертью что-то прояснил для души сына, завещал дорогу ко мне. Нет! Я в это не верила. Представляла только, как тяжело сын принял смерть отца, каким участием окружил ту, которую почитал матерью.

В летние месяцы путёвки в санаторий «Актёр» предоставлялись как правило артистам, режиссёрам и другим работникам театра. Осенью же, когда открывались театральные сезоны, здесь только случайно можно было застать красавицу, актрису БДТ Нину Ольхину в немислимом дымчатом платье или увидеть Инну Чурикову и Глеба Панфилова, быстрым шагом выходявших из столовой, лишь бы никто не вторгся в их совместность. В осенние месяцы сюда съезжались известные театроведы, театральные художники, сценаристы, работники радио и телевидения, мастера художественного слова и т. д.

В свободное от процедур время, преимущественно вечерами, на скамьях у санатория деятели театра рассказывали о репетициях талантливых и гениальных режиссёров, на которых им удалось побывать. Мы заслушивались воспоминаниями Вениамина Захаровича Радомысленского, работавшего вместе со Станиславским: «Как-то Константин Сергеевич тяжело заболел. Собираясь навеститься к нему, я

запасся новостью, которой хотел его порадовать: “Ну вот, видите, Константин Сергеевич, – говорю, – уже принято решение переименовать Леонтьевский переулок Москвы в переулок вашего имени. Будем теперь ходить по переулку Станиславского”. Константин Сергеевич как-то засмутился: “Конечно, приятно, – отвечает. – Не слишком удобно, однако. Крайне даже неудобно: Леонтьев ведь, как-никак, мне дядей приходится”». В сумерках, вечерами, когда ещё не зажигались фонари, в этом кругу всё начинало искриться от остроумия слов, от изящества речи. Я вслушивалась, забывалась и думала: «Какое же это всё счастье».

На протяжении тех лет, что мы ездили в «Актёр», наше пребывание там несколько раз совпадало с отдыхом Константина Лазаревича Рудницкого и его жены Татьяны Израилевны Бачелис. Когда-то, ещё в Вильнюсе, Константин Лазаревич пересказал нам кадр за кадром фильм Феллини «Восемь с половиной». После книг о Мейерхольде он раскапывал в архивах материалы о забытых режиссёрах. Тогда, в частности, писал о режиссёре Терентьеве. Хотя знакомство с Рудницким и нельзя было считать близкой дружбой, оно было давним и не лишённым сердечности. Приезжая в Ленинград, он навещал нас. Когда целью приезда бывали премьеры в БДТ, ходили на них вместе. В кабинете Товстоногова, куда нас сопровождала Дина Морисовна Шварц, Георгий Александрович рассказывал гостям о смелом выступлении Володи на одном из давних съездов театральных деятелей, на котором присутствовал В. М. Молотов. Высказанная Володей идея, что отвечать за художественную жизнь театра должен не директор – лицо, назначенное сверху, а режиссёр – художественный руководитель, в те годы расценивалась как дерзкая, хотя думало так большинство.

Однажды, дня за три до нашего отъезда из санатория «Актёр», на море разразился шторм баллов в шесть-семь. В креслах под тентом на террасе, располагавшейся высоко над морем, сидели, укутавшись во что попало, человек пять-шесть. Сидели вразброс, оберегая своё tête-à-tête со стихией. Каждый в драматургии шторма видел что-то своё. Море с рёвом громоздило валы в бурую песчаную стену. Тяжёлые массы воды гнало к берегу. Они не выдерживали вертикали, обрушивались к своему подножью, шипели и бесновались. Вновь набирали высоту и вновь накидывались на сушу, как на злейшего врага.

Наверное, бунтарский дух морской стихии пробудил во мне шальную мысль, когда я увидела зашедшего на террасу Константина Лазаревича: «А что если отважиться и показать ему рукопись? Просто так. Она ведь смиренно лежит и пылится. Что он скажет? Отзыв человека такого уровня...»

В обществе отношение к репрессиям так и оставалось несформированным. Кто-то из знакомых, прочитавших рукопись, реагировал на соседство политических с уголовниками. Кто-то не мог поверить, что я выдерживала работы на лесоповале. Для кого-то стало открытием, что в лагере мог быть театр. Одна из молодых знакомых сказала: «То, что с вами случилось, не означает, что всё так и есть. Я сама должна во всём убедиться».

Близко к сердцу приняли описанное мною сокурсницы Аля Яровая, Любаша Смирнова да Нелли Каменева, приезжавшая в Ленинград на гастроли. Они поимённо запомнили многих, о ком я писала, самым неприметным эпизодам придали то значение, какое они имели для меня. Аля в тот год проводила отпуск в Зеленогорске. Говорить о рукописи мы с нею ушли в лес. Её восприятие не было похожим ни на чьё другое. Возволнованность состоявшегося разговора оставила неизгладимый след в душе.

Шёл уже 1987 год. Собираясь в Москву в командировку, на случай если рискну позвонить Рудницкому, я захватила рукопись с собой. Поколебавшись, позвонила. Рудницкий пригласил приехать в Институт литературы и искусства, в котором работал. После только что закончившегося заседания в кабинете было сильно накурено. Константин Лазаревич выглядел утомлённым, но услышав, с чем я к нему явилась, стал укорять:

– Как это раздумывали? Как это не решились дать мне прочесть? В Ленинград он позвонил буквально дней через пять.

– Как вы могли до сих пор молчать? Ждите письма. Уже отослал. Время для меня остановилось.

Первый же вопрос в том письме, до буковки повторявший Маечкин, объяснил его интерес к теме: «Прочитав Вашу рукопись, я неотступно думаю об одном: почему, возвратившись домой после восьми лет лагерей на Колыме, моя бедная мать ничего не рассказывала о том, что там хлебнула? Боялась? Берегла меня? А сам-то я как мог не заставить её рассказать о пережитом?»

В самом деле, почему уцелевшие матери не рассказывали дочерям и сыновьям о том, что там извели? Полагаю: молчание Маечкиной матери, Клары Михайловны, как и матери Константина Лазаревича, было последним их материнским подвигом. Они давали детям шанс оставаться в согласии с режимом страны, пока сам он так «стыдливо» замалчивал свою бессовестность.

Константин Лазаревич подступил ко мне с безоговорочным требованием – доработать рукопись, чтобы она могла стать КНИГОЙ:

«...И не говорите мне, что у Вас не хватит на это сил. Книга, которую я от Вас жду, – Ваша миссия, Ваш долг. Может, Вы и родились на свет, и выстрадали всё для того, чтобы она была. Если бы я не чувствовал в Вас настоящего литературного дара, я бы к Вам не приставал. Но талант обязывает. И я уверен, что Бог даст Вам на это время и силы...» В конце письма следовала приписка: «Ждите. Скоро приеду в Ленинград».

Я была так потрясена серьёзностью его подхода к рукописи, оценкой её, рядом его конкретных деловых советов, что мне показалось: он переложил на себя часть моей ноши. Особенно когда он сказал по приезду в Ленинград:

– Единственно, что мне ещё необходимо предпринять, – это поговорить со Светланой Дружининой, которую я прочу вам в редакции. После встречи с ней определим остальное. В основном же вы, Тамара Владиславовна, своё дело сделали. *Теперь доверьте рукопись мне! Её издание – моя забота.*

Сколько я себя помню, в детстве, в юности, находясь за лагерной проволокой и выйдя на свободу, я всё время ОЖИДАЛА какой-то сверхмерной ВЕСТИ, какого-то невероятного СОБЫТИЯ, которое непременно должно было произойти в моей жизни. Ждала постоянно. Во все часы суток. По-моему, даже во сне. Слова Рудницкого о том, что издание рукописи – его забота, и были той ВЕСТЬЮ, тем СОБЫТИЕМ!

Светлана Владимировна Дружинина редактировала книгу мужа «Театр моей юности». Работать с ним приходила к нам домой. У меня была возможность слышать её советы и поправки. Если Володя какие-то из них не принимал, я про себя сердилась на него, настолько неоспоримыми они мне казались.

После разговора с Рудницким Светлана Дружинина сказала, что за редактуру берётся, для работы будет приходиться к нам по таким-то дням. И добавила:

– И не смейте предлагать мне оплаты. Я с вас ничего не возьму.

Вспыхнувшая по поводу рукописи переписка с Рудницким оказалась настолько бурной, что, переворачивая воспоминания пласт за пластом, переключила на более объективное видение собственной жизни.

Прежде всего, Константин Лазаревич призвал меня к максимальной откровенности. «Я аплодирую Вам как смелой писательнице, когда Вы пишете о том, как Вас избивал отец (мой отец выволакивал меня во двор и сёк ремнём на глазах у всех дворовых мальчишек)... *Ничего не стесняться – вот главный закон*».

Нелёгкий, надо сказать, закон. С одной стороны, он упрочивал совет Анны Владимировны Тамарченко – писать, руководствуясь одним: «Так было на этой земле»; с другой – ставил перед дилеммой: смогу я или не смогу «ничего не стесняться»?

Рудницкий, например, считал, что у меня был роман с Александром Осиповичем, но из желания сохранить его образ «целостным» я об этом умолчала, писал, что я вообще в некотором роде его «увеликанила». Я досадовала. Такое восприятие Александра Осиповича с моей «подачи» уличало меня в несостоятельности. Этого я признать за собой – не постеснялась. Никакого романа у нас с ним не было. А «увеликанивание»? Боже мой! Только побывавшему в сермяжной лагерной реальности человеку, существовавшему там с ощущением, что ему никогда оттуда не вырваться, могла быть понятна правота моей оценки. Александр Осипович обладал даром отыскивать людей в их собственной тьме, узнавал близких ему по духу – не по воплощению даже, а только по замыслу.

Неожиданно Константин Лазаревич встал на защиту Филиппа: «Давайте попробуем взглянуть на факты и понять, о чём они говорят. Бабник? Возможно, – писал он. – Но ведь когда он Вас спасал, Вы, больная, замученная, вся в цинге, вряд ли выглядели “лакомым кусочком”? Думаю, в этом его поступке, великодушном и смелом, сказались доброта, и широта натуры. Да и в дальнейших его действиях то и дело проглядывают смелость до дерзости, истинная любовь к Вам и талант!»

В следующем письме Рудницкий продолжал: «Но вернусь к Филиппу, к талантливому и смелому Филиппу. Думаю, что при всей своей яркой талантливости он был не так уж умён. Вот этот недостаток и обрёл его на положение подкаблучника. Жена, которая им управляла – это Вы прекрасно показали, – была гораздо умнее и дальновиднее, предусмотрительнее, расчётливее, чем он... Когда ей не удавалось обуздать его страсти, она временно отступала и лавировала, чтобы потом крепче ухватить его за горло... И конечно же, весь бесчеловечный план отлучения от Вас Филиппа и похищения Юрика – творение её конструктивного, цепкого и хищного разума. Все её ссылки на то, что Филипп что-то запретил, так-то повелел – ложь. Он повелел так, как она подсказывала». Прибегнув к дипломатическому выражению, Константин Лазаревич заключал: «В итоге он у Вас всё-таки получается подлецом, и вот с этим мне согласиться трудно просто потому, что тогда некая тень неизбежно ложится и на Вас... Уверен, что женское чутьё не могло Вас обмануть».

Сама я никогда не забывала, из какого душегубства была вырвана Филиппом. Там ведь лишали жизни не только по приговору: «расстрел», а уничтожали просто по прихоти. Филипп не понравился Александру Осиповичу при встрече. Но надо было слышать его интонацию, когда он сказал: «Знаете, я очень благодарен этому человеку. Он вас фактически спас. Этого никуда не денешь». Но ведь потом, пускаясь в бега с сыном в намерении отыскать спокойное пристанище для себя и Веры Петровны, он, на манер карателей, отнял у меня ребёнка. Это куда было деть?!

Из-за несводимости «да» и «нет» со мной и случилась та дикая истерика при известии о его смерти. Простить бесчеловечность? Такую? Недопустимо.

Те немногие, кто читал рукопись, из деликатности ли, из боязни ли причинить мне боль, не решались в разговоре со мной пробовать хоть в чём-то оправдать Филиппа. Константин Лазаревич решился. Я послушно последовала за ним в гущу мглы, изведанную мною больше отчаянием, чем разумом. Последовала потому, что, кроме него, меня никто и никогда туда с такой отвагой не сопровождал. А одной посещать ту страну слишком страшно.

Бывает такая мера зла, что лучше увидеть его во весь безбожный рост. Только тогда проступает подлинный масштаб исторической правды. Я не боялась того, что «некая тень» ляжет и на меня. В залежавшуюся боль Константин Лазаревич вселил дыхание, вызволил её из состояния «воспоминаний». Она протекла через мозг живой жизнью, и правда стала только более объёмной.

«Неотрывно читая рукопись, – писал Рудницкий, приступая к другой теме, – я не мог не удивляться тому, что после всего чудовищного, жуткого, что мне страница за страницей открывалось, Вы тем не менее теперь такая же, какой я уже давно Вас знаю – нежная, ясная, не утратившая ни солнечности, ни порыва к счастью, ни очаровательного легкомыслия».

Господи! «Легкомыслие»? Да в чём же оно? В попытках понять, как удалось пройти страшные дороги, я и сама билась, искала определение. Заморожена была? Мертва была? Ангелу-хранителю обязана? Замечательным людям? Так неужели причиной тому легкомыслие?

Не опровергая Константина Лазаревича, я выразила в ответном письме сомнение в точности его формулировки. И тогда он по-мужски, со всей широтой души кинулся мне на выручку: «Смею всё же сказать по праву Вашего сверстника (я тоже 1920 года рождения), что молодость брала своё во всех превратностях моей судьбы и что

когда я читал Вашу жизнь, то во многих поступках и даже побуждениях, как ни странно это Вам покажется, узнавал себя. Вас задело то, что я сказал о Вашей неистребимой жизненной силе и спасительном легкомыслии? Вы чувствовали себя всегда “в тисках боли”? Конечно. Я Вам верю. Верю абсолютно! Но ведь сквозь весь этот ужас не однажды пробилась подлинная любовь? И она ведь приносила Вам счастье? И в письмах к Вам того же Гавронского так явственно звучит восхищение Вашей духовной силой, весёлостью Вашего духа, его ясностью и светоносностью. Значит, была, была! Да и сейчас есть. Если бы в Вас не было этих энергетических ресурсов, Вы не выдержали бы всего, что Вам пришлось снести. А Ваша магнетическая притягательность чуть ли не для всех мужчин, которые встречали Вас в самых ужасных обстоятельствах? Неужто Вы воображаете, что она может быть объяснена только тем, что Вы были и остаётесь красивой? Во всех любовных письмах к Вам слышится надежда на Вашу силу, да, да, на спасительную для мужчин – и горемычных, и относительно удачливых – волю к жизни. Вы могли её не осознавать. Но она была. Она Вас вела и спасала...»

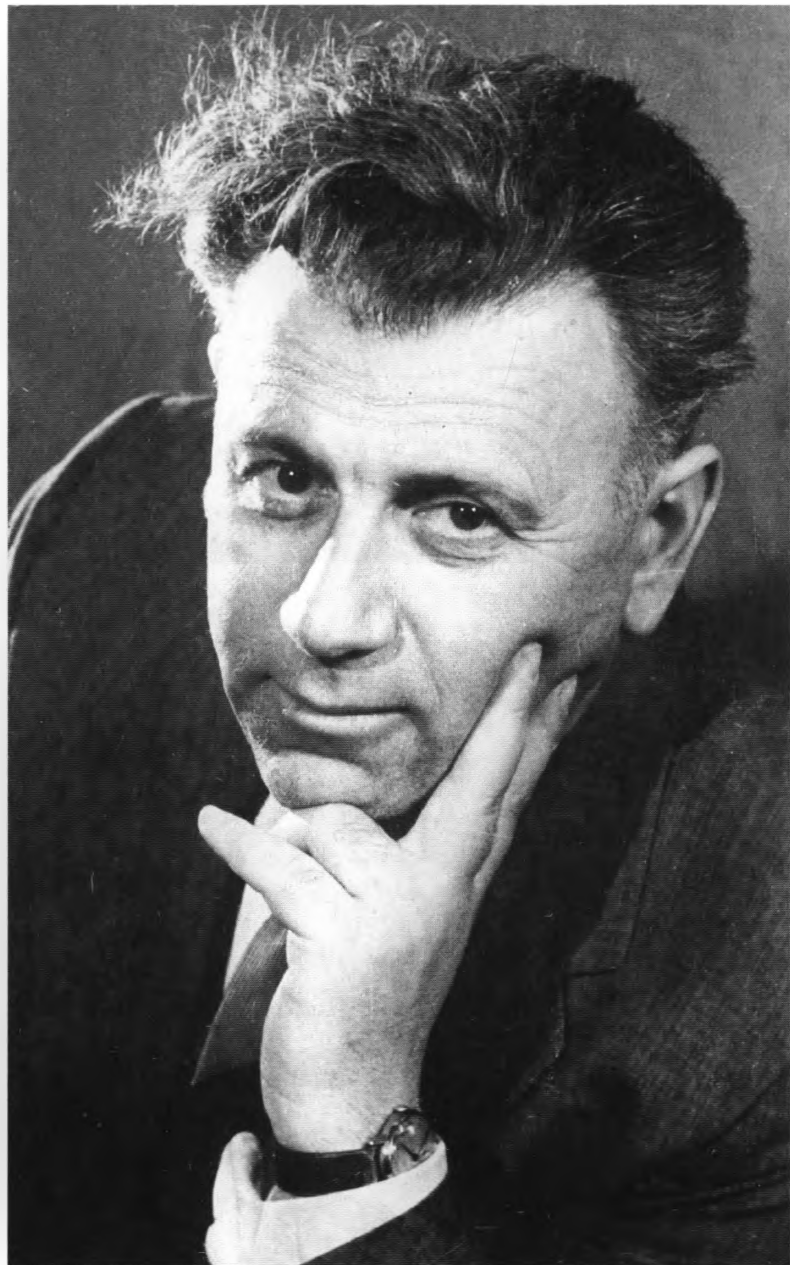
Как охотно я делюсь рассказом о шири и размахе доброй воли моего сверстника Константина Лазаревича, пропутешествовавшего со мной в прошлое. Вспоминаю о его заразительном и активном погружении в мою судьбу, о его желании и решимости хлопотать об издании книги!

...Примерно через полгода, когда работа со Светланой Владимировной Дружининой была ещё не завершена, нам позвонили московские друзья:

– Вчера скоропостижно скончался Константин Лазаревич Рудницкий.

И для Володи, и для меня этот день стал чёрным.

Но в память о Константине Лазаревиче Рудницком здравствует моя неизречённая, нескончаемая благодарность за чувство счастья от встречи с ним, подтвердившей, как много может один человек дать другому.



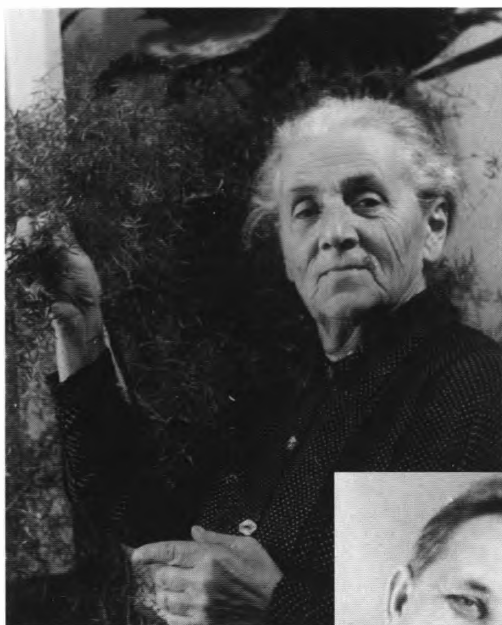
Владимир Александрович Галицкий



С Владимиром Александровичем



С семьей Галицкого: мы, Майя, Светлана, Юля



Мария Семёновна Галицкая



Майя с мужем
Николаем Николаевичем Рубцовым



Мария Галицкая

Со старшим внуком
Владимира Александровича
Владимиром



Внук Андрей с женой Светланой



Младший внук Александр Галицкий



Комарово. С Владимиром Александровичем и Яковом Киперманом



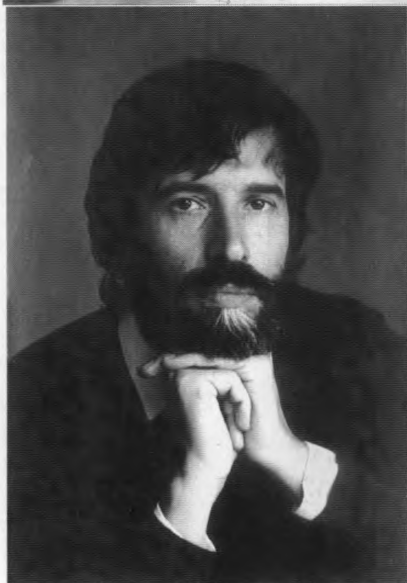
Владимир Александрович
с сестрой Раисой



Староста курса Любовь Смирнова



Валентина Яровая



Виктор Разинков



Лариса Агеева



Елена Фролова

Михаил Пятницкий





Евгений Биневич



Лев Резник



Инна Аграева



Борис Лошеньков



Борис Смирнов



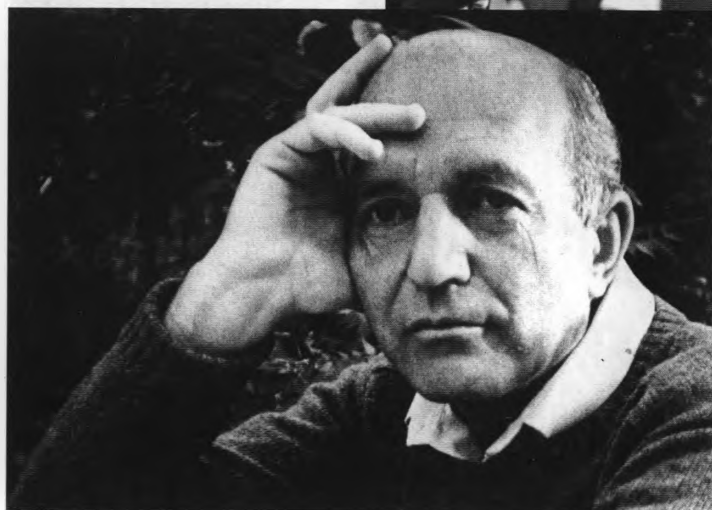
Нонна Семёнова



Нелли Вексель



Ирина Баскина



Поэт
Анатолий Бергер



А. В. Тамарченко

ЛГИТМиК, 6-А с педагогами
А. В. Тамарченко,
А. Г. Раковицкой
и В. А. Сахновским-Панкеевым



В. А. Сахновский-Панкеев





А. В. Тамарченко с Папой Римским Иоанном Павлом II



С А. В. и Г. Е. Тамарченко у Мелиссы Смит. США.



С Эндрю Шарпом.
Музей А. А. Ахматовой



Иерусалим.
С Кирой Теверовской,
её мужем Юрием
и писательницей
Светланой Шенбрунн



С внуками Алексеем и Андреем



С внуками у Э. Б. Томашевской



Вечер в Музее А. А. Ахматовой ведёт Ольга Рубинчик



Встреча с читателями в Библиотечно-культурном центре Кировского района



«Дети Севера» с педагогом Илзой Брауэр. Республика Коми



Школьники и педагоги. Ухта

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

С учётом того, что мой выход на пенсию был не за горами, директор ЛДХС поднял мне зарплату до предельной в штатном расписании суммы. Я стала единственным сотрудником, чей оклад составлял не сто, а сто пять рублей. Превысить *эту* сумму значило нарушить закон. Пенсия тогда исчислялась в шестьдесят процентов от зарплаты. Нас ожидала реальная нищета.

После окончания института у меня были интересные приглашения на работу. Усилия институтских учителей оставить меня на педагогической работе подвели к тому, что проректор по научной части А. З. Юфит поручил мне посетить несколько заседаний проходившего тогда в Ленинграде симпозиума «Проблемы художественного восприятия» и выступить с обзором докладов на худсовете, после чего обещал зачислить в штат. За сообщение меня похвалили, но на том всё и кончилось. Один из дотошных искателей правды выяснил, что я была «не рекомендована» курирующим институт сотрудником ГБ.

Года через два меня пригласили на переговоры во Всероссийское театральное общество. Там подыскивали референта. Ответственный секретарь, извиняясь за то, что «оклад не Бог вещь какой, но это только пока», была, казалось, искренне обрадована моим согласием: «Это мне – лучший подарок к Новому году!» Финал был точно таким же. Был и третий раз. Один из закрытых НИИ, в котором я по долгу службы «принимала» остроумные капустники, имел совершенно изумительный конференц-зал. В нём проводились защиты диссертаций, встречи с учёными, концерты и т. д. По ходатайству сотрудника института Б. Г. Михалёвкина мне предложили должность директора этого зала – не просто с высокой, а, можно сказать, с весьма внушительной зарплатой. На следующий же день после заполнения анкеты первый отдел НИИ отказал впрямую: «Не подходит по анкетным данным».

Где мы с мужем только не подрабатывали по совместительству все эти годы! Вели коллективы художественного слова в клубах, на комбинатах. Но хотя я была достаточно изобретательна в сведении концов с концами, представить, как мы будем жить на маячившую мизерную пенсию, не могла. Впала в неприкрытое отчаяние.

Предложение занять должность художественного руководителя Дома культуры имени Шелгунова во Всероссийском обществе слепых обещало зарплату в 160 рублей, с надбавкой «за сложность». Кроме известных толкачей жизни («Надо!», «Должна!»), в этом случае необходима была добрая воля. Если на прежнем месте работы мои функции были только творческими (подбор репертуара, приёмка спектаклей), то в должности художественного руководителя я должна была взвалить на себя огромное хозяйство. Надо было научиться составлять смету, расписание занятий для восемнадцати коллективов художественной самодеятельности, подбирать педагогов, распределять аудитории, заказывать костюмы, обеспечивать выезды на фестивали и гастроли в другие города. Плюс многое другое.

Но прежде перечисленного я должна была выверить себя психологически: сумею ли я приноровиться к особенностям мировосприятия и поведения незнакомого мира незрячих людей?

На мучительные раздумья ушёл месяц.

Я приняла предложение. И приступила к работе.

Имитирующий пение дрозда звук, записанный на плёнку, ориентировал потерявшего зрение человека, где именно на улице Шамшева расположен вход в Дом культуры.

Сцена, уютный зрительный зал, помещения для занятий коллективов, библиотека в ДК были, похоже, спроектированы человеком с вдумчивым и внимательным сердцем, настолько всё было удобно.

ВОС, Всероссийское общество слепых, называли «государством в государстве». Структура общества, его финансирование разрешало ДК справляться со многими проблемами. При опросах члены ВОС отвечали, что чувствуют себя под защитой государства.

Слепота или слабовидение доставались людям по наследству; проявлялись иногда через одно или несколько поколений; бывали следствием ранений и ожогов во времена Первой и Второй мировых войн – и всё-таки причиной причин был алкоголизм родителей.

Случалось, что некоторые матери отказывались от незрячих детей прямо в роддоме. Но в большинстве своём родители пеклись о детях пожизненно. Сопровождали их в школу, когда они были маленькими, а повзрослевших отводили и встречали из Дома культуры с занятиями спортом, шахматами или в коллективах самодеятельности.

Довелось увидеть женщин, вышедших замуж за незрячих мужчин. Эти женщины брали на себя всю меру заботы о них и на перегрузки не жаловались. Многие же справлялись со сложностями быта в одиночку.

Опасение, что жалость к обделённым зрением людям будет мне помехой в работе, прошло неожиданно быстро.

«Здравствуйте!» – говорила я, входя в аудитории на занятия, и если в голосе не доставало приветливости, кто-нибудь тут же чутко поворачивал голову в мою сторону или подходил с вопросом: «У вас что-то случилось?» То, что мы вычитываем на человеческих лицах глазами, незрячим компенсирует обострённый слух.

Отчёт в том, что я попала в одну из самых таинственных мастерских Природы, я отдала себе при посещении УПП (учебно-производственного предприятия) Всероссийского общества слепых. На таких производствах лишённые зрения люди собирали мельчайшие детали в электрические схемы для световой аппаратуры, клемм, плат для гальваники, реле и пакетных переключений. В каких-то УПП с отдельными операциями они управлялись индивидуально на рабочих местах. Но работа незрячих людей на конвейере представляла собой ошеломляющую картину. Отлаженный труд на транспортёре зеркально отражал невидимый мир такой внутренней сосредоточенности чувств, расчётов, что это завораживало воображение.

Чувствительность подушечек пальцев у слепых так велика, что, проводя ими по наколотым грифелем точкам, изображающим ту или иную букву, они считывают с обратной стороны плотной бумаги тексты художественных произведений, пособий или аннотаций. Пользуясь этим шрифтом (метод Брайля), незрячие люди пишут письма, стихи и доклады.

Поразительные возможности воли лишённого зрения человека для меня особым образом персонифицировались в личности председателя ленинградского ВОС Леонида Алексеевича Матвеева, закончившего исторический факультет ЛГУ. К незрячести у него приплюсовывалось отсутствие предплечий обеих рук. Правое плечо было медиками расщеплено ровно настолько, чтобы этим «раздвоением» он, как щипцами, мог держать ручку и ставить подпись на документах общества. Поскольку кисти рук у него отсутствовали, он, ко всему, читал по Брайлю не кончиками пальцев, а губами. Говорят, это редчайший случай на земном шаре. Встречи по службе с этим поразительным человеком оставили чувство беспримерного уважения к его ёмкому и чёткому уму, к установленной им мере спроса с себя.

На должность директора Дома культуры в течение всех предыдущих лет приглашали зрячего человека. Эту практику сломал подтянутый, спортивный, но незрячий Трофим Пантелеевич Балан. Как

он справлялся с контролем над платежами, расчётами, внешними связями, понять было трудно, но всё у него получалось. И наши с ним отношения строились на понимании и абсолютном доверии.

Не только сердце, но и выучка жизни помогли мне освоить климат и язык ещё одного «другого мира». С течением времени я перестала удивляться тому, что кто-то из слепых считал ощущения зрячих менее тонкими, чем у них. Философская сентенция «Я знаю, что ничего не знаю» утверждала себя здесь постоянно.

Среди членов ВОС была масса творческих, особенно музыкально одарённых людей. Я гордилась пианистом Олегом Романовичем Альбрантом, солистами и солистками, чтецами и чтницами.

Мне на редкость повезло со штатом педагогов. Со зрячими, как и с незрячими – равно. Эстрадным оркестром руководил незрячий, талантливый «до мозга костей» Владимир Николаевич Салогов. Скульптурной лепке и рисунку обучал замечательный педагог и подвижник, зрячий Юрий Алексеевич Нашивочников.

Грешно было не создать при ДК литературное объединение уже только потому, что существовал такой поэт, как Олег Николаевич Пилюгин, потому, что Галочка Матюшкина писала хорошие стихи. Вёл это объединение Борис Константинович Рясенцев.

Превосходный камерный хор создал выпускник Ленинградской консерватории Валерий Алексеевич Максимов, задержавшийся в ДК на несколько десятилетий.

Осваивать такое сложное для незрячих измерение, как пространство, учила в театральном коллективе Валентина Васильевна Ваха, режиссёр высочайшей квалификации. В Доме культуры слепых имелся даже коллектив бального танца!

Смета ДК позволяла сшить в ателье новые костюмы эстраднему оркестру, хору, купить бархат на платья солисткам вокального коллектива и чтницам. Я подбирала тот цвет ткани, который шёл каждой из них. Наблюдая, как перед выходом на сцену женственные и одарённые певицы Нелли Паперная, Тамара Томашевич, чтницы Нина Балан, Люда Омелаева и другие, проводя ладонью по бархатистой поверхности концертных туалетов, ладно облегающих их фигуры, не могли согнать с лица выражения удовольствия, я, заглатывая подкатывавший к горлу ком, ловила себя на чувстве счастья.

Мне нравилась атмосфера, царившая на сцене, когда рассказывался эстрадный оркестр, занимал своё место хор... Взяв под руку незрячих солистов, я выводила их на сцену, прилаживала по росту микрофон и оставляла наедине с публикой.

Характеры? Как всюду, они и здесь были разные: от совершенно наивных и доверчивых натур до людей едкого ума и отъявленных гордецов. Многие были нервны, нередко срывались на грубость. Я тяжело переносила подобные инциденты, терялась. Но отчаяться не успевала, поскольку только что нагрубивший уже поджидал где-нибудь в коридоре, чтобы сказать: «Простите меня». Это было свойственно, к примеру, необычайно даровитому, рано ушедшему из жизни тещу Лёничке Иванову. Огорчение и радость отражались на лицах незрячих людей с такой полнотой, что не верить в искренность их порывов было грешно.

Здесь завязалась многолетняя дружба с прелестной Ниной Балан, занимавшейся у Володи в коллективе художественного слова. Удивительного таланта, тонкой и глубокой души человек, она улавливала любой сложности подсказки в работе над стихами Марины Цветаевой, Ольги Берггольц, Новеллы Матвеевой. Она любила слово. И читала – вдохновенно. Мы с мужем привязались к ней и с почтением относились к её маме, труженице Екатерине Григорьевне.

Мне показалось нелишним пригласить прочесть в ДК цикл лекций психолога Софью Марковну Любинскую. Войдя однажды в зал, где она беседовала с аудиторией, я увидела, как насторожённо они приняли её замечание:

– Вы неправильно поступаете, когда говорите «Не надо! Я сам!» тем, кто предлагает перевести вас через дорогу.

Ей возражали. Отстаивали право на гордость. Она переубеждала:

– Вы должны понять, что в жизни есть нечто более важное, чем ваше самолюбие. Отказываясь от помощи, вы бьёте по рукам саму жизнь, пресекаете канал участия к человеку. Поймите, в эти минуты вы мешаете жизни стать добрее, чем она есть.

Кто-то в результате задумывался и замолкал. Удовлетворённая таким ходом дебатов, я тихо закрывала за собой дверь аудитории.

В моей работе был смысл!

Впервые в жизни я оказалась в роли социально-сильного человека, который хотел и мог защитить тех, кто нуждался в этом. Наверное, потому я и погрузилась с головой в свои рабочие обязанности.

На принципиальную двусмысленность я наткнулась, когда попыталась перейти «внутригосударственную» границу в определении Всероссийского общества слепых как «государства в государстве». Загоревшись желанием открыть городу творческие достижения людей ВОС, я обратилась с предложением записать их концерты на радио и на ТВ. Отдав должное высокому исполнительскому уровню,

на радио записали выступление эстрадного оркестра, хора и солистов. Мотивируя тем, что «показ незрячих людей на экране нанесёт зрителям травму», на ТВ – *отказали*. Редкостная по порочности практика избавлять общество от его натуральной Правды. Пряталась правдивая статистика, прятались суммы долгов мировой казне, нравственные и физические недостатки... Прятали своих инвалидов. Поистине мы сами внутри общества затрудиляли процесс «становиться разумнее и добрее».

Два года, понадобившиеся для начисления пенсии, пронесли быстро. Пенсионная сумма составила 86 руб. 85 коп. Разрешённую приказом надбавку за работу по совместительству собес не засчитал.

Через два месяца после оформления пенсии я вернулась в ДК на ту же должность художественного руководителя, где и проработала до 1982 года.

В 1979 году в должности директора Дома культуры дорабатывал до пенсии Максим Иванович Ш. Его кабинет находился этажом ниже моего. Однажды вечером, когда занятия в коллективах шли своим чередом, зазвонил местный телефон:

– Тамара Владимировна, срочно спуститесь ко мне! Есть разговор.

Директор стоял, опершись рукой на свой письменный стол. Был необычайно бледен. С губ у меня уже готово было слететь: «Что с вами?», как один из двоих незнакомцев, находившихся в кабинете, оборвал меня:

– Вы – Тамара Владимировна Петкевич?

– Да.

– Вам придётся с нами проехать.

Убийственно знакомое словцо – «проехать». Арест? Вызов?

– Могу я подняться надеть пальто?

– Можете.

Войдя к себе в кабинет, прислонилась к стене. Внутри что-то привычно сжалось. Нет, это был не страх. Это был фантомный спазм. «Позвонить домой? Нет». И звонить – не стала!

Машина стояла у подъезда. Как при аресте в Средней Азии, меня посадили между двумя сотрудниками ГБ. Везли молча. Мозг перебирал одно событие за другим: «Что? Когда? Какой эпизод?» Стрелка компаса остановилась: «Что-то касающееся нашей институтской группы».

Из Штатов от Анны Владимировны приходили замечательно интересные и политически корректные письма с характеристиками трёх поколений эмиграции и отчётами о семейных событиях. Когда слу-

чались оказии, она присылала сумки с одеждой, предназначавшейся для «Б-А».

Неля Вексель с семьей перебралась из Израиля в Швецию. Ставила спектакли, разъезжая по белу свету. То из одной страны, то из другой писала или звонила мне по телефону.

Первое, что стала присылать уехавшая во Францию Ирина Баскина, – это программки театральных фестивалей в Авиньоне, проспекты художественных выставок и десятки надписанных для каждого из сокурсников пакетиков с полезными пустячками. Для мужчин – зажигалки, одноразовые бритвы, блокноты, ручки. Для женщин – шапочки для дождливой погоды, флакончики духов, перчатки, мыло и другие мелочи.

Это??? А может, что-то касающееся наших «лицейских» дней? Лара Агеева и Володя Лавров рассказывали на этих сборах о поездках в Пушкинские Горы, о встречах с Гейченко, с которым они дружили, о поэзии Дудина. Аля Яровая делилась тем, как её студенты на постановочном факультете трактуют прозу Распутина. Инна Аграева говорила об экскурсиях на Валаам, которые «возила», о музее Ф. И. Шаляпина, в котором работала экскурсоводом. Неугомонная староста Любаша Смирнова объявляла: «Тихо! Решаем вопрос, что будем Ленке посылать ко дню рождения в сибирскую ссылку. Валенки или роскошную ночную рубашку?» «Рубашку!» – кричали мы. Всё было предельно невинно. Может, их интересует что-то связанное с Леной и Толей Бергером? Но срок Толиной ссылки уже закончился. Они возвратились. Так что же? Что?

Память, оказывается, занозой сохраняла дёрганое, невропатическое поведение одного из сокурсников на моём дне рождения. Что-то рассказывая, он был неестественно возбуждён и несколько раз грязно ругнулся, чего никто себе в нашем доме не позволял. Я тогда подумала: «Что с ним? Совершил какую-то подлость?» Даже в разговоре с двумя сокурсницами заметила: «Так странно себя ведут, предавая». Обе горячо парировали: «Что вы, что вы! Такого быть не может!» Памятуя, как Оля в Кишинёве отреагировала на мои слова о приставленной к нам соседке: «У тебя большое воображение», – я подавила в себе это неприятное ощущение.

Вот уж что для меня оказалось решительно новым, так это то, что в учреждении ГБ не стали томить неизвестностью. Изложили всё сразу, без плетения паутины:

– Нам доставили адресованный вам пакет с запрещёнными книгами. Ознакомьтесь с их описью.

– Пакет от кого?

– От Ирины Баскиной. Из Франции. Читайте, читайте. Здесь перечислены названия всех этих книг.

– Кто же их вам принёс, если пакет адресован мне?

– Его передали нам товарищи (была названа фамилия сокурсника и его жены).

Я пробежала глазами достаточно длинный перечень авторов: Пильняк, Булгаков, Зиновьев, Платонов, Орвелл, несколько экземпляров Библии, несколько совершенно незнакомых имён...

– Прочла.

– Для чего вам Баскина прислала эти книги? Именно вам, Петкевич? Среди кого вы собирались их распространять?

«Именно вам»... Как же я могла забыть про вызов в Большой дом мужа одной из сокурсниц? Его расспрашивали о каждом из нас. Я и Анатолий Бергер фигурировали в их расспросах как «резиденты».

Толкучка вопросов-ответов и возврат к главному:

– Среди кого вы собирались распространять книги?

– Я не просила присылать мне книг. Потому не собиралась их нигде распространять.

– Хотите сказать, что Баскина пишет вам и присылает подарки и книги без вашего разрешения?

– Почему же? С моего разрешения. Я дала согласие на переписку. Даже просила писать мне.

– Зачем?

– По-моему, это нормально. Я по себе знаю, каково остаться одинокой, без друзей. Да ещё в другой стране.

– Вы так уверены, что она там одна?

– Я этого не знаю. И я сказала не «одна», а – одинока.

– Почему она выбрала именно вас?

– Потому, наверное, что хотела обезопасить тех, кто ещё не побывал у вас. С меня ведь иной спрос, не так ли? Я ведь вами помечена как «политически неблагонадёжная» на пожизненный срок.

Удивилась паузе. Неужели вняли смыслу ответа? Разговор ведь в сущности дурацкий.

Двадцать восемь лет назад, пытаясь завербовать меня, тридцатилетнюю, со мной «работал» шестидесятипятилетний начальник ГБ. Нынче всё наоборот. Тридцатилетние сотрудники рассматривали меня, пенсионного возраста особу, стараясь понять, заматерелая перед ними антисоветчица или не слишком.

– Мир давно читал книги, которая прислала Баскина! И вы скорей всего знаете о них не понаслышке. И что? Они, похоже, не повлияли

на ваше мировоззрение? А про себя могу точно сказать: во мне свершило ломку пережитое в лагерях без этих нечитанных книг.

Меня пробовали уязвить вопросом: «Разве не унизительно для вас получать посылки от тех, кто эмигрировал?» Едва устроившись на работу после освобождения из лагеря, я тратила свою ничтожную зарплату на продуктовые передачи для оставшихся в зоне друзей. Мне на свободе дышалось легче, чем им. Всё, что уехавшие в эмиграцию присылали для «б-А», воспринималось мною точно так же. У допрашивающих меня молодых людей была иная психология, другой способ существования. И мы опять друг друга не разумели.

Внешне я держалась спокойно. Но когда после первого круга допроса меня оставили в кабинете одну, сработал рефлекс: «Задыхаться!», как это было при аресте во Фрунзе, при вызовах в микуньское ГБ. Следователи, видимо, пошли курить. Мне стало казаться, что всюду впяны «глазки» и за мною наблюдает техника. Задыхаясь в полном смысле слова, я поднялась и тоже вышла в коридор. Он был пуст. Дверь была полуотворена только в соседний кабинет. Подошла к ней. В набитой аппаратурой комнате негромко перематывались бобины. Велась, значит, запись допроса.

Выбежавший оттуда следователь резким тоном объявил:

– Мы ещё не закончили. Ещё не всё. Пройдите в кабинет...

И, неожиданно смягчившись:

– Или вы покурить хотите?

– Я не курю.

Двое допрашивающих зачитывали по списку фамилии «б-А»...

– Вам все известны? Что можете о них сказать?

– Умные, одарённые!

– Не слишком ли?

– Педагоги считали: уровень – выше среднего, – проигнорировала я схиство.

– Интересные, значит, предстоят знакомства. Посмотрим. Вызывать будем всех.

Я заволновалась, представив, каким испытанием вызов обернётся для одной из сокурсниц. Сказала:

– Не вызывайте, пожалуйста, N.

– Почему это?

– Не всем по силам такие вызовы. Этому человеку вызов будет перенести непросто.

Почти пообещали. (В учреждение не вызвали. Но на следующий же день поехали к N. на службу и допрос учинили там.)

В какие-то минуты этот допрос мне казался игрой, чем-то нарочным. Книжки? Нельзя читать разумные книжки? Нельзя без цензуры что-то дарить друг другу? Нельзя принимать подарки? Следствие тем не менее объявили незаконченным. Сказали, что будут выяснять всё до конца; что книжки возврату не подлежат; если не хотим более серьёзных последствий, переписку с Баскиной следует прекратить.

По очереди допросили весь курс. Интересовались, кто с кем больше дружил, что один думает о другом. Тот же хорошо зарекомендовавший себя приём: выдернуть нить, чтобы нанизанные на неё бусины сами раскатились в разные стороны.

В итоге нас квалифицировали как «интеллектуальную диверсионную группу, которая изнутри разлагает искусство». Так было сказано на допросе старосте курса.

В состряпанном на нас фельетоне мы были названы «антипатриотами, продавшимися Западу за колготки». Похоже, самим гэбистам стало уже не с руки штамповать изношенные политические клички, если в какой-то из инстанций выход фельетона притормозили и в печати он не появился.

Одна из сокурсниц спросила предателя: «Как ты мог сдать посылку с книжками в органы? Зачем? Ведь она не тебе была адресована» (в тот момент, когда её принесли, меня не было дома, и посылку передали другому из указанных Ириной для подстраховки адресатов).⁶ Оправдание звучало так:

– Мы её не в ГБ, а в парторганизацию снесли, это во-первых. А во-вторых, не сдай мы этой посылки, нас не выпустили бы в поездку за границу.

Резонно! Великовозрастного Павлика Морозова и его жену могли не выпустить.

– А ты не боялся, что Тамаре Владимировне станет плохо с сердцем или того хуже?

– Чего волнуешься? Обошлось же, – бодро парировал он.

Без каких бы то ни было обсуждений «б-А» пресёк отношения с тем, кто сдал книжки в парторганизацию. Вольным или невольным, это отречение стало вкладом в «восстановление» норм. Пусть не общественной жизни, а только среды. Пусть очень узкой среды, но сумевшей впрок напитаться радостью институтских шестидесятых.

История с запрещёнными книжками, практика обысков вернули меня к мысли о валявшейся рукописи. Одно совершенно стороннее впечатление заставило задуматься, как с нею быть.

Перед отъездом в США Анна Владимировна и Григорий Евсеевич уговорили меня посещать вместе с ними в Доме писателей занятия аутотренингом, поскольку меня мучила бессонница. Занятия мне не помогли. Но проводившая эти сеансы врач Л. предложила прийти к нам домой, чтобы наговорить на магнитофон «успокаивающий» текст – для прослушивания его перед сном. Подключая магнитофон, мы, однако, что-то упустили, и на ленте не записалось ни слова. Оплошность обернулась упрочением добрых отношений.

Однажды, захворав, доктор Л. попросила её навестить. Знала я о ней немного: разведена с мужем; есть взрослый сын, который живёт отдельно. Всё.

Услышав, как кто-то несколько раз прошел по коридору мимо её комнаты, я поинтересовалась, не коммунальная ли это квартира.

– Как вам сказать? – ответила она. – Во второй комнате живёт сосед. Мой бывший муж.

«Сосед. Мой бывший муж»?

В комнате над тахтой висел портрет Л., написанный маслом. В жизни она была энергичной, активно доброй, а на портрете была изображена беспомощной и потерянной. Я поглядывала то на неё, то на портрет. Спросила, кто его писал.

– Имя художника вам ничего не скажет. Важно вот что: когда я увидела себя его глазами, мне стало жаль такую «себя» и захотелось «её» защитить.

Связи с рукописью тут как бы и не было. Но мне стало жаль её и «захотелось её защитить».

Уверенности, что в запасе есть завтра, не было никогда. Думая о публикации, Константин Лазаревич Рудницкий полагался на то, что «оттепель» – преддверие весны, которая непременно наступит, а тут случилось сплошное лихолетье. Лежать рукописи предстояло, видимо, годы.

Кто мог бы её «защитить», сохранить – я представляла плохо. Ясно было, что оставлять её следует молодым. Чаще и настойчивее всего я думала о племянниках. В книге Яана Кросса «Императорский безумец», которую я в тот момент читала, «безумец» тоже возлагал надежды на племянника.

Сестра давно уже разрешила своим детям приезжать к нам в Ленинград. Наведываясь, оба мальчика становились роднее и ближе. Их и повзрослевших отличала та же доброта и открытость. В свой первый приезд старший, Серёжа, явился с небольшим чемоданчиком, заполненным не его вещами, а подарками для нас. Он прирабатывал

тогда на одной из московских парфюмерных фабрик, где зарплату выдавали натурой. Вот он и привёз тюбики с кремом для лица, для рук, крем для бритья. Ему рано захотелось стать независимым. Он ушёл из дома. Сестра страдала, не знала как быть, что делать. Приехав в Москву, я попросила его показать, где он живёт. Серёжа отвёз меня в страшненькую, с обшарпанными стенами дворницкую в доме на окраине Москвы, где он мирно уживался с философствующим пьянчугой, собиравшим в округе пустые бутылки. Серёжа показал трактор, на котором убирал дворовые территории. Гордость за самостоятельную жизнь была в тот момент для племянника превыше всяких неудобств.

Во время следующего моего визита в Москву, желая порадовать жильём попримичнее, Серёжа сам пригласил к себе. Мы поднялись на второй этаж. Он повернул в замке ключ, ожидая, как приятно я буду удивлена порядком в его новой обители, но пол оказался усыпанным осколками разбитого окна, в комнате всё было перевернуто. Перед нашим приходом в квартире побывали воры. В добычу им, правда, достался лишь кубик Рубика – больше взять было нечего.

Серёжа и впоследствии не гнушался никакой работы. Своими руками умел безукоризненно выложить паркетный пол в доме, всё починить и поправить. Узнав о нашем с Володей переезде в другую квартиру, примчался с другом в Ленинград. Помог нам перевезти и расставить мебель, прибил карнизы, наладил проводку и прочее.

Младший, Андрюша, приезжая в Ленинград, провожал меня на работу в ДК имени Шелгунова. Вечером встречал. Наговориться времени не хватало. Продолжали разговор и в транспорте, и в свободной аудитории у меня на службе. А слушать было что.

Срисованные с жизни его зоркостью картинки, надо сказать, – пугали. Пугали схожестью с лагерной расстановкой сил, ещё хуже: с повадками уголовного мира в ситуациях обыденности.

Я говорила, что боюсь за их будущее, за то, *как* они будут справляться с опасностями жизни. Серёжа успокаивал: «Не бойтесь за нас». Андрюша игриво утешал: «А я хорошо бегаю, тётя Тамара».

Неразлучные, соперничавшие между собой в детстве как спортсмены-бегуны (а младший занимался ещё и греблей), братья окончили в Москве один и тот же институт – «Плехановку». Серёжа вернулся с военной службы сдержанным, в чём-то даже закрытым человеком.

На проводы в армию младшего, Андрюши, я ездила в Москву. Он познакомил с девушкой, которая собиралась его ждать. Держался

браво. От закамуфлированной под шутку тоски, прозвучавшей во время застолья: «Ну скажите же обо мне хоть что-нибудь! Я хороший», – щемило сердце.

Его отправили служить на Дальний Восток, в артиллерийскую часть. Он писал, что рота дружная. В доказательство прислал фотографии улыбочивой команды. Однажды мы с Володей получили извещение на посылку – не очень понятно откуда. Туго набитый ветками лимонника ящик сопровождала записка: «Пожалуйста, заваривайте и пейте с Владимиром Александровичем этот лимонник каждый день. Очень полезная штука. Здорово поддерживает. Андрей».

Мысленно я не однажды совершала путешествие к племянникам в армию. Была такая грёза. Когда же в реальности, ничего никому не сказав, Серёжа во время своего отпуска отправился через всю страну на Дальний Восток в часть к Андрюше, меня охватило чувство гордости за них. Серёжа вызволил брата в увольнительную. И что уж там перечувствовали братья, отправившись вдвоём во Владивосток пообедать и наестся мороженым, знают они одни. Хлебнувшему нелёгкой армейской службы Серёже необходимо было убедиться в том, что младший брат может обойтись без его защиты.

Лучшей человеческой рекомендации моим племянникам, кажется, и быть не могло.

Оба женились. Жёны и дети у них прекрасные. Оба строят жизнь без советов и без подсказок. Разумно. Родителей и даже меня окружили такой заботой, что хочется понять: какое свойство того скудного быта детства могло заложить в них такой талант внимания?

Мне было кому оставить рукопись. Самим племянникам я этого помысла не открывала.

В большой семье Володи также формировались судьбы его дочерей и внуков. Динамично, прихотливо, порой драматично. А в 1976 году семью потрясло неординарное событие.

Я возвращалась из командировки. Встречающий меня Володя стоял на платформе потерянный и отрешённый.

– Скорей идём домой. Ты не представляешь, что случилось! – то-ропил он меня. – Похоже, что Рая жива!

Старшая сестра Рая, которая пятьдесят четыре года назад, выйдя в Одессе замуж за немца, уехала в Германию? Жива та, которую вся семья считала погибшей в печах Освенцима? Та, чей портрет помещён младшим братом Володи на беломраморной плите семейной могилы в Риге?

– Каким образом ты это узнал?

– Один знакомый сказал.

– Какой знакомый?

– Не могу вспомнить. Кто-то приехал из Москвы, позвонил и сказал.

– Что сказал? Повтори всё от первого до последнего слова!

Директор ленинградского Театра сказки Георгий Натанович Тураев, ожидая в Москве приёма в министерстве культуры, увидел на столе секретарши бланк Красного Креста, фамилию «Галицкий», резолюцию «Не значится» и адрес отправителя: «Германия»! Вернувшись в Ленинград, позвонил Володе: «У вас есть кто-нибудь в Германии? Вас кто-то разыскивает через Красный Крест».

Разузнав номер телефона московского Красного Креста, мы выяснили имя запрашивающего лица: Раиса Александровна Галицкая-Штиглиц. Наткнувшись в одном из старых советских журналов «Театр» на статью Володи, Рая послала запрос о брате в Министерство культуры СССР. Без чести и совести чиновничье лицо наложило на запрос резолюцию, что режиссёр с пятидесятилетним стажем работы в списках Министерства культуры не значится!

Телефонный разговор брата с сестрой был душераздирающим: «Сестрёнка! Раечка! Звонит Вова. Неужели я слышу тебя? Невероятно!.. Как же ты уцелела?.. Нет, Раечка, нет, наша мама умерла. Умерла, не дождавшись этого чуда... Не так уж и давно. Шесть лет назад... Приеду, конечно. Что ты, сестричка, нет, завтра никак не смогу выехать... Нужен вызов, нужна виза... Это дело месяцев... Ну, это у вас. У нас иначе... Я? Да. Женат... Ты её сразу полюбишь. У меня? Две дочери, трое внуков... А что с Вильгельмом? Конечно, конечно, мы всё расскажем друг другу... Скажи только, как твой сын? Он с тобой? А где?..»

Вызов Рая прислала без промедления. Проверки, оформление потребовали времени. Володя был возмущён, оскорблён:

– Меня надо проверять? Неужели до сих пор непонятно, что я чист перед властью?

«А женитьбу на мне, – хотелось спросить, – сбрасываешь со счёта?»

Рая русский язык не забыла. За время волокиты с документами мы не однажды говорили с ней по телефону. Успели обменяться письмами по поводу предстоящей встречи, и обе сокрушались, что нет в живых мамы.

Прогостив у сестры в Берлине сорок дней, Володя вернулся оттуда переполненным впечатлениями от музеев, театров, одетым Раей на европейский лад, с подарками для всех членов семьи.

Старшая сестра занимала в Берлине маленькую однокомнатную квартиру. Ради брата ей во многом пришлось себя стеснить. Мой баблень-муж был требователен к пище, к вниманию. Помогать по дому был неохоч, и я понимала, что бытовые сложности не могли не возникнуть, к чему и отнесла некоторую заминку в ответе на свой первый вопрос: «Вам было тепло друг с другом?»

Но всё это отступало перед тем, что Рая рассказала брату о своей драматичной жизни.

Несмотря на то, что в ней было трудно опознать еврейку, её муж Вильгельм, учув тенденции власти по отношению к евреям, решил загодя отречься от жены. Забрав сына, переехал в другой город, запретив Рае и разыскивать, и писать ему или ребёнку.

Оставленная мужем, Рая попросила зачислить её как певицу в труппу цыганского ансамбля и выехала с ними на гастроли в Голландию. Очень скоро Германия завоевала приютившую Раю страну. В Голландии ли, в Германии, откройся каким-то образом, что она еврейка, её ожидало гетто. Опереться было не на кого. Тысячу раз перебрал возможные варианты, Рая приняла решение вернуться в Берлин. С маниакальной настойчивостью ходила в берлинскую магистратуру, высматривая наиболее отзывчивого чиновника. Остановила свой выбор на одном и открылась ему: «Моя судьба в ваших руках. Можете сдать меня в гестапо, можете спасти».

Немецкий чиновник пожалел Раю. Выдал ей вид на жительство, благодаря которому она получила работу. Спаситель потребовал благодарности. Она стала его любовницей.

Самым же невероятным было то, что при нацистах Рая проработала на военном заводе в Берлине все самые страшные годы. После окончания войны чиновник переквалифицировался в воротилу чёрного рынка. Определив процент, который ежемесячно взыскивал с неё, предоставил Рае работу в небольшой ювелирной лавчонке. Ну а потом ради богатой и жизнерадостной Раиной подруги спаситель Раю – оставил, документально закрепив за ней лавочку, которую она сумела сделать процветающей.

Муж Раи умер. Сын к матери любви не питал и к ней не вернулся.

Могла ли история Володиной сестры не перевернуть душу? Желание было одно: окружить её теплом и заботой.

Через год после того, как Володя побывал у сестры, Рая известила нас, что собирается приехать с подругой в Ленинград по туристической путевке. Всего на четыре дня. Жить они обязаны будут в гостинице.

Мы сообщили Маечке о предстоящем визите тёти. Она взяла отпуск и приехала в Ленинград. Все были одержимы желанием дать Рае почувствовать, что у неё есть семья.

Я купила им билеты на балет в Малый оперный театр. Договорилась, что нам приватно покажут заветные комнаты Юсуповского дворца. Сочиняла экзотические блюда. Пекла пирожки и торты.

Рая выглядела опустошённым жизнью человеком. Взволнованность семьи приняла за экзальтированность. На следующий день был день рождения Маши. Все были приглашены к ней. Едва мы вышли из лифта, как тут же, на лестничной площадке, мать Маши со слезами кинулась обнимать Раю: «Раечка! Дорогая! Как мы вас искали! Как вас ждала мама!..» В одно мгновение всё как-то вывернулось, перекопилось. Всё последующее пробивалось через этот разнобой. К концу праздничного обеда Рая вполне утвердилась в сухости и недоброжелательности по отношению ко мне.

При прощании сестра мужа произвела надо мною судилище. Громогласно объявила: я не умею экономить деньги, не умею жить, неизвестно для чего столько всего наготовила *напоказ*, потратилась на подарки, которые она в категорической форме запретила ей преподносить.

В ситуации, когда брат и сестра обрели друг друга после полувековой разлуки? Когда одному – под восемьдесят, а другой* – за восемьдесят лет? Я только просила Володю не заступаться за меня.

Мы с Маечкой прибегли к попытке разобраться: дама, с которой Рая приехала в Ленинград, и была той самой «богатой и жизнерадостной», ради которой Раин спаситель её оставил. Возможно, встреча Раи с бывшей женой Володи освежила её собственную драму, и я увиделась ей в образе хоть и не «богатой», но бесхозяйственной и чересчур «жизнерадостной».

Перед приездом Раи я готовилась рассказать ей о маме, о Володе что-то существенное и живое, чему была свидетелем, как мне казалось, только я.

Хороший отец и дед, Володя был истинно замечательным сыном. Не припомню, чтобы он когда-нибудь хоть на полтона повысил голос на мать или выказал ей за что-то неудовольствие. Если у меня была вечерняя работа, а его приглашали в театр, он отказывался, чтобы не оставить её без присмотра. Вечерами Мария Семёновна укутывалась в мохеровый палантин и садилась перед телевизором в кресло, предназначенное для неё одной. Когда у нас бывали гости, она надевала чёрный костюм, который ей шёл, и принимала положенные

ей почести. Дружила с самой ветреной из моих молодых знакомых. Играя в карты, обе над чем-то хохотали.

«Не хочу мороженого, – заявляла она мне лукаво. – Своди меня лучше в кафе и купи кружку пива».

«Что, пришли встречать свою недостойную старую даму?» – спрашивала она нас с довольной усмешкой, когда, отдыхая в Доме творчества в Комарове, мы с Володей поджидали её у выхода из кинозала.

В прошлые годы перед фильмами показывали киножурналы о строительстве ГЭС, о других стройках. При виде монтажников, крепивших провода на высоковольтных столбах, родившаяся в девятнадцатом веке одесситка, хватая меня за руку, восклицала: «Ты только посмотри, как это грандиозно! Как красиво!»

Она плакала, рассказывая о пропавшей в Германии Рае. Не уставала вспоминать: «Знаешь, мы всей семьёй пошли провожать их с Вильгельмом. Рая оставила нам всё, что у неё было, даже серебряные ложки и вилки. А когда мы вернулись с вокзала, кроме нашей облезлой мебели, не нашли ничего. Квартиру обчистили воры».

Похожей беседы не получилось. Вместо неё произошло какое-то обрушение, которому я не захотела тогда искать глубоких обоснований.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Заслуженная артистка Болгарии, эффектная и яркая Р., защиту диссертации которой Григорий Евсеевич и Анна Владимировна поручили мне довести до конца, позвонила из Софии сказать, что хочет выслать нам с Володией приглашение:

– Надоест София, отдохнёте на даче. У нас их две. Одна в горах, другая на берегу моря. Повозим вас всюду.

Объяснялся этот звонок, конечно, тем, что Григорий Евсеевич оговорил это с Р. как условие: в случае удачной защиты она пригласит нас в Болгарию. Защита прошла успешно.

Мысль о поездке за рубеж меня, конечно, посещала. После вызова в ГБ по поводу запрещённых книг – была отодвинута. Но с эдакой гусарской лихостью: «А, была не была!» – я всё-таки заполнила анкету, добросовестно вписав в неё всё, чем была «награждена» властью.

У Володи после поездки в Берлин никаких осложнений не возникло. Но когда без особой волокиты визу дали и мне, я приняла это скорее за подвох, чем за здоровое логическое «наконец-то».

Послевоенное превращение нескольких европейских стран в «социалистический лагерь» произошло в годы, когда я ещё находилась за колючей проволокой. Хотелось понять, в чём коренится устойчивость этого «лагеря», хотя в тот момент меня это мало заботило. Я была поглощена сборами за *границу*. Р. часто звонила из Софии. Муж её скоро должен был выписаться из больницы. Она весело перечисляла, куда они ещё придумали нас свозить, что показать; просила привезти постельное бельё, что-то из посуды, но главное – мотор для лодки.

Когда поезд подходил к Софии, я стояла у окна, высматривая Р. на платформе. Показалось: вот она! Нет, обозналась. И всё же? Ещё раз взглянув на понурую женскую фигуру, я не могла не запаниковать. Невозможно было совместить эту постаревшую женщину с молодой, полыхавшей энергией Р., которую я видела около года назад в Ленинграде и которая ещё позавчера звенящим голосом сулила нам по телефону моря и горы. Увы, это была она.

Всего за три часа до прибытия нашего поезда врачи объявили ей результат обследования её мужа. Опухоль, из-за которой его положили в больницу, оказалась злокачественной. Р. находилась в состоянии невменяемости.

Мы хотели тут же уехать. Р. воспротивилась: «Всё улажено. До выписки мужа из больницы будете жить у меня, а потом вас возьмёт к себе мой брат».

Несчастье пригласившей нас семьи сказывалось на всём. Задержаться в Софии было возможно лишь полностью погрузившись в обстоятельства случившегося, как в собственные.

Хозяин дома, известный кинорежиссёр, был любимым мужем и отцом, любимцем друзей и коллег. Секретарь ЦК болгарской компартии Живков заявил о готовности оплатить его операцию в любой валюте и в любой стране, которую изберёт Р. После многочисленных консультаций с друзьями, в том числе с находившимися в тот момент в Софии советскими журналистами, она решила оперировать мужа в Москве. Не все из её болгарских друзей настолько хорошо знали русский язык, чтобы вести переговоры с московским профессором. Попросили меня. Профессор диктовал по телефону, результаты каких анализов ему необходимо знать, чтобы уяснить характер болезни. Поразмыслив над полученной информацией, без особого энтузиазма всё-таки согласился: «Привозите. Возьмусь».

Дверь в их красивую, оригинальную квартиру, с кожаными панно, старинными картинами и домоткаными коврами, большую часть суток оставалась незапертой. Один за другим приходили друзья с выражением сочувствия, с разного рода советами. Варили кофе, курили. Расходились к трём-четырёх часам ночи.

Шёл уже пятый час утра. В чаду прокуренной кухни мы с Р. обсуждали оброненную московским светилом фразу о том, что результат одного из анализов его серьёзно настораживает. И тут Р. сказала:

– Раз уж мы остались вдвоём, я поделюсь с тобой чем-то очень страшным. Слушай. Знакомые попросили меня приютить девушку из деревни – на время сдачи экзаменов в институт. Я согласилась. И вот её приехала навестить мать. Обыкновенная крестьянка, без всякого образования. Она привезла дочери провизию, поставила корзину на этот самый стол, за которым мы с тобой сидим. Собралась уже уходить. А вот здесь, на краю стола, лежал киножурнал, открытый на странице со статьёй мужа и его фотографией. Она скользнула по ней глазами, взяла журнал в руки, всмотрелась в портрет и говорит: «Этот

человек скоро умрёт... Умрёт даже без операции». Меня как обухом по голове ударило. Я даже не призналась ей, что это мой муж. Из суеверия никому не сказала про жуткое пророчество. Отмахнулась. Подумала: «Старуха вздор несёт!»

Мотивируя это тем, что хочу прочесть статью, я попросила Р. дать мне тот журнал. На фотографии в глазах её мужа в самом деле присутствовала какая-то нездешность. Самое удивительное заключалось в том, что при личном знакомстве, когда мы с Володей навещали его в больнице, такого ощущения не возникало. Он был бледен, слаб, но включён в жизнь. А фотография ведь была сделана задолго до нашего приезда. Предсказание крестьянки не выходило из головы, заслонив собой всё заграничное.

Однажды Р. всё-таки усадила нас в машину и отвезла на дачу в горах – как она сказала, «хотя бы только посмотреть». Именно это и осталось в памяти чисто болгарским впечатлением – начиная от крестьянского убранства дома до того, как соседи начали сносить Р. крынки с молоком, простоквашу, пироги с брынзой.

Муж Р. был выписан из больницы. Нас перевезли к себе в дом брат Р., красавец, знаменитый киноактёр, и его жена Мария. Мы удивлялись чистоте подъездов, тому, что электричество в них зажигается только на короткое время, чтобы успеть подняться на нужный этаж, двум туалетам, двум ванным комнатам в квартире. Побродили по городу, по музеям Софии. Посидели за вынесенными на улицу столиками кафе. Попробовали швепс.

В столичных театрах посмотрели два превосходных спектакля: «Дантон» по пьесе Ромена Роллана и «Последний срок» Валентина Распутина. В болгарском спектакле «Последний срок», после отъезда не дождавшихся смерти матери детей, в одиночестве умирала старуха Анна. В хате гас свет. С тихим космическим посвистом вихрь начинал ввинчивать дом в воронку. Поднимаясь к колосникам, он стремительно уменьшался в размере и исчезал где-то в вышине, вместе со своей неповторимой атмосферой, запахами и подробностями.

Успели посмотреть в Софии без купюр фильм Коппола «Апокалипсис», беспощадно обнажавший прямую зависимость кошмара режима от уродливого сознания тех, кто его устанавливает. Фильм шёл на болгарском языке, но его образный ряд был так выразителен, что не оставлял иллюзий по поводу будущего человечества, погрязшего в войнах и бойнях.

И всё-таки, не желая стеснять гостеприимных хозяев, пробыв в Болгарии всего восемь дней, мы поменяли билеты и уехали домой.

Р. отвезла мужа в Москву.

«Я не выходила из больницы на Каширском шоссе, – писала она. – Повторённые там анализы говорили о том, что операция уже бессмысленна. 9 сентября мы с Костей вернулись в Болгарию, и 13 сентября он скончался. Успел всё-таки увидеть дочь и родину. После первого шока, свидетелями которого вы были, мы овладели собой. Мой храбрый муж до последнего дыхания работал: переводил для театра “Двух-характерную пьесу” Т. Уильямса. Он диктовал, а я писала».

Муж Р. действительно умер непрооперированным. Каким образом «обыкновенная крестьянка» вычитала это в зафиксированном фотоаппаратом лице, до сих пор представляется мне загадкой.

Так получилось, что с самого детства слово «эмигранты» было связано с разором и чувством неясной печали. Не только из книг, но в сороковые годы и от солдат, получавших в военные и послевоенные годы лагерные сроки за то, что побывали в плену, мы узнавали о мешочках с горстью русской земли, хранимых русскими эмигрантами первой волны. На фронтовиков, воевавших за эту самую землю, мешочки с землёй родины производили неизгладимое впечатление. Под политической и патриотической подоплёкой эмиграции обнаруживалось более масштабное значение человеческой связи с землёй (как с понятием уже объективным).

Увеличиваясь в численности, эмиграция семидесятых годов не только разрывала связь человека с родной землёй, но последовательно разрушала его эмоциональную и мыслительную природу. С клеймом «отказников» девять лет промыкалась без работы семья моего школьного товарища Бори Магаршака, физика по профессии. Более десяти лет не выпускали из страны семью старого и больного брата Григория Евсеевича Тамарченко к уехавшему сыну и внукам.

Но особенно глубоко меня продолжало мучить всё связанное с отъездом Анны Владимировны. Она часто писала из Штатов. Письмо, которое я приведу сейчас, лишь условно адресовано мне, и тем обнажённее обнаруживает себя страдание, которым оно диктовалось:

«Вы мне поможете тем, что мысленно я буду обращаться именно к Вам... Это бесконечное письмо, и я начинаю его с объяснения в любви – ко всем друзьям сразу:

Дорогие мои и любимые!

Лучше было бы мне сказать: “Мои единственно дорогие и любимые!” Но по-русски это звучит странно, когда обращаешься ко множеству людей, да ещё таких разных по возрасту и жизненному опыту,

образованию и кругу интересов, людей, чаще всего даже не знакомых между собой, объединённых только моей любовью, тем, как я тоскую без вас на другой стороне планеты, как мне катастрофически недостаёт вас всех. Ведь это “только” – для меня всё, что я нажила за целую, уже достаточно долгую жизнь.

Собственные дети и внуки, за которыми я и потащила в такую даль, – не в счёт. Прав был Л. Н. Толстой, когда утверждал – в мыслях князя Андрея, – что отец, сестра, ребёнок – это не другие, а прямое продолжение нашего собственного “Я”. И верно, это самый плотный состав того “пучка связей”, из которого сделана отдельная личность.

За полные три года со времени нашего расставания я, как и прежде, люблю только вас, больше никого не нажила. Хотя хороших и доброжелательных людей встретила и в Италии, и здесь... Дружбы в нашем смысле слова, в смысле общности судеб, душевной близости и сердечной привязанности, когда “друг” значит не меньше, чем “брат”, а утрата друга переживается столь же остро, как потеря возлюбленного, – такой дружбы здесь, по-видимому, попросту не знают...

Разумеется, ни Америка, ни американцы не повинны в этой неспособности к новым привязанностям. Виновато с детства присущее мне постоянство человеческих привязанностей, неумение разлюбить, отвыкнуть, выбросить из души хотя бы тех, кому моя преданность в дружбе вовсе не нужна... Так нет же, “место” не освобождается, а только становится болевой точкой. В результате:

Я не домой иду,
Я никого не жду,
Я никого уже не в силах полюбить!

...Даже и природой здешней я могу уже любоваться (особенно осенью, когда краски очень уж пышные и яркие), но полюбить? Вся моя любовь к чему-нибудь тоже осталась около вас. Я могу зареветь, увидев берёзовый перелесок, потому что он похож на наш, хотя и вставлен в другую раму; могу кинуться обнимать в ботаническом саду дуб той породы, что и в царскосельских аллеях, с прямым стройным стволом, расходящимся на три лишь у самой вершины... Здесь растут десятки пород дуба, ничуть не похожих на наш, пушкинский дуб. Только по желудям и можно догадаться, кто они такие. Как их любить, почти не дающих тени?..»

Присылая нам книги, посылки с одеждой для друзей и для кого-то из «Б-А», Анна Владимировна, несмотря на собственную боль, с преж-

ней силой откликнулась на происходящее со всеми нами, в частности со мной: «Ваше письмо от 14 апреля меня просто перевернуло... Я слышу Вашу растерянность и подавленность – из собственного сердца, при всей разнице биографий (я ведь гораздо благополучнее и беднее историческим опытом, проехавшимся прямо по вашему позвоночнику)».

Даже сама по себе её душевная и духовная напряжённость не разрешала увязать в бессмыслии бездействия, помогала выбраться из кризиса. «Исходную точку неустроенности и растерянности» Анна Владимировна считала у нас общей. «Мы сошли с рельсов, – писала она. – Мы не приучены к свободе, даже самой жалкой... Я не имею рецепта ни для себя, ни тем более для Вас. Правда бесконечно индивидуальна, и отказываться от собственной внутренней биографии никто не может и не должен... Я придерживаюсь: 1. Открытого ума, готовности к любому: рациональному, мистическому или практическому – опыту и знанию... 2. Стремления найти свой индивидуальный путь к смыслу своего и общего существования, что для меня до сих пор неотделимо от мысли о перспективах истории для всех и для России в особенности. В этом смысле я вовсе не отрекаюсь от того, что Вы называете навыками моего «марксистского мышления»... 3. Что касается исторических перспектив, то (если не произойдет светопреставление по Апокалипсису в его термоядерном варианте) я больше всего жду какого-то скачка в истории, а главное – *в человеческой природе*. В сторону расширения способностей восприятия и межчеловеческих связей (это в парапсихологии называется “сверхчувственным восприятием” чужих мыслей и состояний), но также и “внушений свыше” как особой формы познания или постижения вещей, плохо поддающихся рациональному и систематическому познанию».

Меня захватывала устойчивая направленность поиска смысла существования. «Скачки» в истории свершались и неминуемо должны были быть следующие. Идея «скачка» в человеческой природе, внутри этой природы была фактически – упованием. Один человек как-то сказал (речь шла о Дарвине), что ещё никто и никогда не был свидетелем момента превращения одного вида в другой, что при этом присутствует только Бог.

Поддержку своим исканиям Анна Владимировна находила в проповедях владыки Антония Блума, митрополита Суражского. Её привлекала в них любовь к этому миру, к земному человеку, зверю, природе и то, что они утверждают задачу человека в его историческом существовании как «одухотворение материи» – не только собственной телесности, но и материи природы и общества...

Меня покорила в Анне Владимировне её искренность и отсутствие какой бы то ни было формы лукавства, когда она говорила о готовности к рациональному, мистическому и практическому опыту. Трогала её фотография с Папой Римским, где она застенчиво смотрит ему в глаза (после конференции, посвящённой Вячеславу Иванову, которая проходила в Италии).

А до этого она ведь писала: «Поверить во Всевышнего – так, в одночасье – тоже всем нам нелегко. Я как тот евангельский фарисей: “Веруешь ли?” – “Верую, Господи, помоги моему неверию!”»

Я не могла существовать без людей, умеющих любить безмерно, приверженцев того, что любовь выше справедливости. Встреча с Александром Осиповичем и Анной Владимировной, обладающими *личным* талантом любви, давала ощущение, что строительство фундамента для жизни человечества не завершено.

В семидесятые годы мы прощались с уезжавшими в эмиграцию навсегда. Когда же советским эмигрантам разрешили навещать Россию, люди моего поколения приняли это за долгожданный «скачок» в сознании государства.

В свой первый приезд, в 1986 году, Анна Владимировна добиралась с группой туристов из США до Финляндии на самолёте, а оттуда до Питера – на поезде. Поезд из Хельсинки встречали десятки её друзей. Надо было видеть картину этого несмелого подобрения власти и опережающей его радости!

Тем же вечером на сборе «6-А», подняв бокал с вином, Анна Владимировна сказала:

– Мы с Гришенькой не смогли бы пережить того, что нам выпало в эти годы, если бы не письма... – и она назвала два наших с Женей Биневичем имени.

Володя в те дни уехал по путёвке отдыхать в санаторий. Анна Владимировна жила у нас. Чтобы только повидаться с нею, приехали друзья из Эстонии, с Украины, из Свердловска. Паломничество к ней было нескончаемым. Студенты всех её бывших курсов шли и шли, чтобы побыть и поговорить с нею хотя бы час. Таким редким талантом – налаживать другому мысль и душу – была наделена эта женщина. Свидания с сестрой, родственниками занимали всё её время. Оказавшись в своей стихии, она забывала про сон, про еду. Она была счастлива.

Следующий приезд Анны Владимировны пришёлся на 1988 год. Они с Григорием Евсеевичем, получив уже американское граждан-

ство, приехали вдвоём. Тут же, при встрече на вокзале, сказали, что привезли мне приглашение в Бостон и деньги на дорогу.

В шутку ли, всерьёз ли, давным-давно кто-то спросил: до каких событий я хотела бы дожить? Нимало не задумываясь, я тогда ответила: «До того, как откроют границы и долетят до Марса».

О намерении пригласить меня к себе в Штаты оба писали и раньше. Но реальная поездка в Америку? Могло ли быть что-то более фантастичное?

Наверное, и дальше я пребывала бы в столь же феерическом настроении, если бы не одно обстоятельство.

Кому, как не мне, было известно, что пути эпистолярного сближения двух людей короче, но круче? Я однажды буквально сбила с ног Анну Владимировну и Григория Евсеевича сценой ревности, когда не получила ответа на отправленные им кряду четыре или пять писем. Моя преподавательница великодушно призналась тогда, что сама «ревновать научилась раньше, чем любить».

Теперь «право собственности» на меня предъявила Анна Владимировна.

До эмиграции из Союза она прочла только часть моей рукописи. К моменту приезда супругов Тмарченко в Россию в 1988 году рукопись тихонько лежала под сукном. Ничего мне так не хотелось, как дать прочесть написанное Анне Владимировне. Но днём она была постоянно окружена людьми, а к вечеру оставалась без сил. Всю свою любовь к ней я вложила в то, чтобы оберечь её силы. Не посмела и заикнуться о рукописи.

Кто-то из общих друзей сказал Анне Владимировне, что рукопись читал. И буквально за час до отъезда в Москву я с ужасом выслушала её упреки: скрыла от неё, что рукопись завершена, даже не удосужилась показать законченное; больше она никогда не остановится у меня...

Куда в тот момент делось двадцатипятилетнее взаимопонимание? Недоразумение было воспринято мною как катастрофа.

На мысли о поездке в Штаты была поставлена точка.

Григория Евсеевича задерживали дела в Ленинграде. Проводив Анну Владимировну, он, свидетель отбушевавшей сцены, пытался успокоить меня доводами об их особом отношении ко мне. Заявил, что не отдаст нашу многолетнюю верную дружбу в жертву вспыльчивости и ревности. Но привести меня в чувство было не просто.

Снял всё раздавшийся на следующий вечер телефонный звонок Анны Владимировны: «Вы сумеете когда-нибудь простить меня?»

Наверное, это была единственная форма, которой было дано рассеять наваждение.

– Уже простила, – ответила я.

В план поездки, однако, была внесена существенная поправка. Ехать без рукописи я теперь ни в коем случае не могла.

Мы с Володей отправились в аэропорт узнать, у кого надо брать разрешение на её провоз. Чиновник пограничной службы с обезоруживающей «недогадливостью» ответил:

– В чем, собственно, проблема? Если рукопись залитована (то есть имеет штамп цензуры: «Разрешено»), никто вам препятствовать не станет.

На дворе был 1988 год. Официально получить разрешение цензуры на рукопись, в которой шла речь о репрессиях, нечего было и думать.

Виза на поездку тем временем была уже оформлена, билет на рейс авиакомпании «Пан-Американ» взят. Я пришла к безоговорочному решению: везти рукопись на собственный страх и риск. Володя подкинул отвлекающий манёвр:

– Озаглавь воспоминания: «Театр северных широт».

Крупным шрифтом напечатав это название на титульном листе, я подобрала десяток фотографий в ролях и приложила их к толстой рукописи.

Самолет вылетал около часа ночи. Проводить меня вызвался муж сокурсницы, Александр Яровой. Когда мы с ним добрались до аэропорта, пассажиры только съезжались. В зале аэропорта было ещё полутемно. Никаких других рейсов в расписании не значилось.

Я возомнила себя крайне изобретательной, решив встать в очередь на регистрацию последней: «Пока до меня дойдёт, таможенник устанет, пропустит без досмотра». Но нервничала я, разумеется, страшно.

Очередь спокойно и довольно быстро продвигалась. Ни к кому не придирались. Но когда я положила перед таможенным служащим паспорт и визу, он тут же поднял трубку местного телефона и как-то уж очень «между прочим» произнес несколько бессвязных междометий:

– Угу. Да, да. Ага.

Опыт расшифровщика перевёл эту абракадабру: «Ожидаемая персона подошла». Уж слишком много людей было посвящено в проблему провоза, чтобы на меня не донесли.

Железным голосом мне было сказано: «Откройте чемодан. Выньте. Покажите. Что это?» Мгновенно все подарки, которые я везла, были вытряхнуты из чемодана не куда-нибудь, а прямо на пол у до-

смотрового стола. Рукопись явилась пред ясны очи таможенника во всём своём объёме. По телефону было вызвано погранначальство: «Везёт печатный материал, чтобы опубликовать его за рубежом».

И вот я уже смотрю из психологического «отчуждения», из трезвого отсека сознания, как майор пограничной службы кладёт поверх моей рукописи заграничный паспорт, билет, забирает всё и куда-то удаляется...

Мой провожатый Саша Яровой, слышавший всё из-за перегородки, без церемоний забежал за таможенную стойку и молниеносно принялся укладывать всё вышвырнутое на пол обратно в чемодан. На окрики и потоки угроз ответил:

– Помогу женщине и тогда уйду.

Дверь за пассажирами, пропущенными в зал, закрылась. Таможенник, закончив регистрацию, притушил свет и... ушёл. Сесть было не на что. Понимая, что никакой Америки мне не видать, я думала о том, что общественный транспорт уже не ходит, а дождётся ли меня Саша, непонятно. Предоставленная самой себе, я прислонилась к кабине, в которой, видимо, обыскивали без всяких экивоков, всерьёз.

«Сколько времени я так стою? Двадцать минут... Полчаса... Самолёт, конечно, улетел...»

Когда в возвращении майора пограничной службы уже и смысла никакого не было, он появился с рукописью в руках. Приблизился не торопясь:

– Ваше?

– Моё.

С любопытством посмотрел на меня:

– Везёте, чтобы там опубликовать?

– Нет. И не думала о публикации.

– Тогда зачем?

– Еду к друзьям. Хотела, чтобы они прочли. Нуждаюсь в их совете.

– Чем вы это можете доказать?

– Доказать?.. Ничем... Смотрю вот вам в глаза. Вы – профессионал. Всё!

– Как же это у вас так получилось, – спросил он вдруг каким-то неслужебным голосом, – и лагерь, и театр, и прочее?

«Надо же, сколько он успел просмотреть!»

– Как бы всё ни получилось, ничего уже не переиначить, не изменить, – ответила я.

– Пожалуй, – согласился он, протягивая мне рукопись, паспорт, билет и кивком головы указывая на дверь, где пассажиры, видимо, все-таки ещё ожидали вылета.

«Кто он? Еретик или естественный человек?» – захлебнулась я.

Замешкавшись в переключении с отупляющей безнадежности на надежду, я, войдя в зал, где сидели пассажиры, словно извиняясь, обратилась к ним:

– Вот, вас так легко пропустили, а меня...

– Мы не возим с собой запрещённых вещей, – припечатала меня дама, с которой, заполняя декларацию, мы успели перекинуться парой любезных слов.

Этот тон... Это тяжёлое молчание остальных... Урок публичной морали. Что это напоминает? А-а, да... «Пышку» Ги де Мопассана. Я оскорбила их гражданские чувства! Впрочем, это не всё. Ещё что-то, необычайно важное... Да-да, в Средней Азии... Четверо конвоиров с автоматами ведут меня по центральной улице города Фрунзе на суд. У дороги играют мальчишки лет двенадцати. Бросили игру. Замерли. Один отрывочно-гневно выкрикивает: «Расстреляйте её, мерзавку!». Другой просительно, вслед ему: «Отпустите её, дядьки!» А вдруг этот майор-пограничник и есть тот подросший мальчик, что выкрикнул: «Отпустите её, дядьки!»?

Перед выходом на лётное поле мы проходили последний кордон. По обе стороны живого коридора стояли военные в фуражках с синими и зелёными околышами. Среди них – пограничник, собственной властью допустивший меня к полёту на другой континент.

Все силы души я вложила в молитву: «Ни при какой беде, Господи, не оставь без своей милости человека, поступившего не по правилу, а по чутью! Помоги ему в исполнении того, что ему больше всего надо!»

В пузатом салоне самолёта компании «Пан-Американ» два прохода между креслами; каждое снабжено подушкой и одеялом; на большом экране демонстрировались фильмы. Стюардессы то и дело подкатывали тележки с едой, с минеральной водой или спрашивали: «Кофе? Вино? Чай?»

В те же дни из Ленинграда в Нью-Йорк и Бостон вылетали две мои молодые приятельницы: Ирена Милевская – к старшей дочери Анны Владимировны Нате и её мужу Фиме – и Танечка Золотницкая – к тёте и на встречу с Михаилом Барышниковым и Иосифом Бродским. Никто не мешал нам сговориться и лететь одним рейсом. Но ни одна из нас этого другой не предложила, что ещё больше сблизило нас впоследствии.

Про себя могу сказать, что мне страстно хотелось при перелёте через океан провести все тринадцать часов один на один с «мировым» пространством. Истоки такой потребности с достаточной полнотой выражены Николаем Бердяевым и Иваном Буниным. Бердяев писал:

«Я всегда был ничьим человеком...» «Мне более свойственно орфическое понимание происхождения души, чувство ниспадания её из высшего мира в низший... я никогда не ощущал, что родился от родителей». Почти то же у Бунина: «Я родился там-то и тогда-то...» Но, Боже, как это сухо, ничтожно и неверно! Я ведь чувствую совсем не то! Это стыдно, неловко сказать, но это так: я родился во вселенной, в бесконечности времени и пространства...»

В кои-то веки!.. И придётся ли ещё когда-то вкусить такой свободы? Побывать никем, ничем, нигде – и самой собою!

В нью-йоркском аэропорту служащие авиалиний – белые и негритянки – так быстро развели огромную очередь к контрольным пунктам на десять-двенадцать ручьёв, что я и оглянуться не успела, как миновала контроль. Встречала меня старшая дочь Тamarченко, Наташа, с прилетевшей к ней за два дня до меня подругой Иреной Милевской. Первой подбежала Ирена и вместо приветствия прямо ко рту поднесла мне ломтик киви – о существовании такого фрукта я до той секунды не ведала.

Самолёт на Бостон отлетал через тридцать минут. Подруги едва ли не бегом проводили меня к другому выходу на пересадку.

Из окна ещё не взлетевшего самолета я наблюдала за негром, отъезжавшим от него после разгрузки багажа на пустом фургончике. Вцепившись руками в руль, вжавшись ногами в педали, запрокинув голову, он издавал однообразный звук похожий на «уа-уа». Скорее всего это выражало удовольствие от того, что, оставаясь частью природы, он, впаянный в несложную, но – технику, лихо катил по асфальту лётного поля цивилизованного нью-йоркского аэропорта. Для меня это утробное «уа-уа» – первое непосредственное впечатление от заокеанской страны.

Узнав, что я из СССР, соседка-югославка на английском языке стала засыпать меня вопросами о нашей жизни. Не приладившись ещё к языку, я сумела ответить на два-три её вопроса. Зато, услышав русскую речь, которой я прореживала английскую, со мной заговорила вторая соседка, эмигрантка из СССР.

– Откуда вы? – спросила она.

– Из Ленинграда. А вы?

– Я из Москвы. Уже пять лет живу в Штатах, а так и не пойму, почему здесь существую и что делаю...

И до самого Бостона она говорила о тоске, одиночестве и кошмарных снах, которые её замучили.

В бостонском аэропорту меня встречали Анна Владимировна и Григорий Евсеевич. Получив багаж, нас нагнала югославка, чтобы вы-

разить моим друзьям удовольствие по поводу «такой интересной и содержательной беседы» со мной.

Когда мы вошли в дом, там звонил телефон.

– Приехала твоя Тамара Владимировна, приехала. Даю ей трубку, – ответил Григорий Евсеевич.

Звонил его старший брат Мирон Евсеевич. Двенадцать невысказанных лет они с женой ждали, когда их выпустят к сыну и внукам в Штаты. Бывая в Риге, мы с Володей навещали их и подружились. Мирон Евсеевич за годы «отказа» перенёс инсульт, нажил болезнь Паркинсона.

– Как вы? – кричала я в телефонную трубку.

– Пусть вас скорее привезут к нам! Ждем с нетерпением! Вам уже успели рассказать, как меня здесь встречали с носилками у трапа самолёта? Мы объясним вам, как влюбились в эту страну и как ей благодарны!

Так, под слова о тоске эмигрантки из Москвы («не пойму, почему здесь существую») и объяснение во влюблённости в эту страну Мирона Евсеевича я переступила порог Америки.

– ...Вы провезли рукопись?! – голоса друзей зашкаливали от эмоций. – Каким чудом? *Они* вам разрешили её провезти? Невысказанно! Объясните. Это чрезвычайно важное обстоятельство.

– Да, нет же, нет, совсем не *они*. Не они, а *один человек* взял – и пропустил!

– Подождите, подождите. Расскажите всё подробно. Всё! И с самого начала.

Точно так же, тридцать шесть лет назад, выйдя из Комитета ГБ в Москве, я пыталась свой рассудок и сердце: *они* или *один человек* пообещал там, что меня больше не будут преследовать и мучить?

Потребность услышать что-то обнадеживающее о жизни в СССР была у Анны Владимировны так велика, что тут же, в телефонном разговоре с поэтом Коржавиным и семьёй Шварцманов, «один человек» укрупнился до безоговорочного аргумента Анны Владимировны в пользу продолжающихся в Союзе перемен к лучшему.

– Но ведь нашёлся же этот *один человек*, решился же пропустить Тамару Владимировну с рукописью! Значит, процессов внутри общества уже НЕ ОСТАНОВИТЬ!

И это стало лучшей вестью и лучшим подарком из всех возможных, что я могла привезти друзьям.

За ужином мы в тот вечер отдохновенно сидели втроем. Разлив по бокалам шампанское, Григорий Евсеевич произнёс тост:

– За «ты» после стольких лет верности! Я для вас – Гриша и «ты». Анна Владимировна – Анка и «ты». А ты для нас – Томочка. Согласна? Так пьём!

И я была – богачкой. И я была – счастливой. И, Господи Боже, какой же свободной!

В предместье Бостона, на втором этаже двухэтажного дома друзья занимали шесть комнат. Целиком перевезённая огромная библиотека, скромная мебель напоминали ленинградский интерьер. Только кухня-веранда не походила на питерскую. В окна веранды ломились упругие ветви осины и липы, и по их стволам резво взбегали озабоченные поиском пропитания белки.

Из-за огромного окна с натянутыми на рамы сетками в отведённой мне комнате была бездна воздуха. Прямо на полу возле широкой тахты я воздвигла башню из *запрещённых* книг, которые поочерёдно поглощала ночами.

Звук сирен полицейских машин сёк прудутренный сон. Объезжая с определёнными интервалами город, полиция возвещала обитателям, что охраняет их.

Анка заявила, что хочет читать рукопись в тишине. На семейном совете решили забросить нас с ней дней на восемь в штат Нью-Гемпшир, на дачу старших детей. В машине, которую вел Фима, с кассет лились песни Окуджавы и Вероники Долиной, царил русская речь, и только американские флаги, водружённые на домах небольших городков, опровергали иллюзию России. Фима предложил уклониться в сторону от дороги, чтобы показать нам «нечто удивительное». Он повёл нас в лес, к длинному, плоскому камню, сантиметров на пятнадцать покрытому водой. На его зернистой тёмно-серой поверхности проступали очертания креста, не уступавшего по величине тому, что нёс на себе к Голгофе Иисус. Крест не был ни высечен, ни нарисован, а как бы по своей воле исходил из таинственной плоти камня...

До отказа загрузив холодильник, провожающие уехали. В притихшем доме мы с Анкой остались вдвоём. Она на первом этаже, я – на втором. Что-то об обитателях этого дома рассказывали со стен картины, написанные сыном Наты и Фимы – Андреем. От яркого, многоцветного мира Человек на них был отделён каймой собственного золотистого свечения.

За понятием «частной собственности» для таких, как я, в те годы не значилось ровным счётом ничего, кроме штампа «капиталистический образ жизни». И вот вдруг – двухэтажный дом, покрытый густой зелёной травой луг, смыкающийся с лесом. Гектар леса, огороженный с обеих сторон забором. Выход к реке. Уединённость.

Заходя утром в лес, я срезала белые грибы в одном месте, подосиновики и подберезовики – в другом. Там же срезала их и назавтра, убеждаясь в том, что никто на этом участке леса ни на них, ни на ягоды не покушается. На страже частной собственности стоял закон. Вторжение в её пределы было наказуемо.

Какие-то странные отношения у меня завязались с рекой, огибавшей этот кусок земли. Вокруг – ни души. Вода обжигающе студёная. Несмотря на то, что я любила купаться в холодной, в эту реку сразу войти было знобко, долго примерялась. Понять, отчего после того, как наплаваюсь, ни за что не хотелось выходить, было мудрено. Что в этой воде было такого, почему она колдовским образом удерживала в себе? Поделилась недоумением с Анкой. Она мгновенно его рассеяла:

– Что ж тут загадочного? Река берёт начало в близлежащих горах. Ты купаешься в воде, ещё не побывавшей в цивилизации. Вот и всё.

Именно! Колдовство – в первозданности. И как радостна простота истин!

Анка читала рукопись не отрываясь. Я с замиранием сердца ждала суда над ней. Выйдя к завтраку на четвёртый день, она сказала:

– Ты написала бестселлер.

Первым из чувств был испуг. Мне отзыв представлялся в другом словесном выражении. Я не поняла: «бестселлер» – это что? Определение с оттенком неодобрения? Или напротив? Но, погружая в свою всеохватную логику, друг-педагог уже говорила о чем-то никем не замеченном и не угаданном. Потом как-то уж совсем доверительно добавила:

– Ты ведь знаешь, мне не слишком свойственно плакать, но я плакала, Томочка.

С приехавшим за нами Гришей мы ещё долго судили-рядили: сможет ли это быть напечатано? Кем? Где? И сколько должно пройти времени?

Америка открывала себя медленно, исподволь.

– Утром поедem завтракать «к губернатору», – интриговал нас Гриша.

Так говорили здесь о таверне в горах, которую содержал местный житель, закончивший срок губернаторства.

Приехали мы туда рано. Таверна была ещё закрыта. В домике рядом с ней рокотала соковыжимальная машина. На дверях висела табличка: «Открыто». В помещении на полках стояла батарея трёхлитровых бутылей с яблочным соком. Можно было положить плату на поднос с безнадзорно лежащими на нём долларами, взять бутылку и

уйти. Стародавний уклад, доверительность и наивность не могли не тронуть.

Обслужить нас вышла вся семья от мала до велика. Две девочки лет шести-семи быстро разложили салфетки на скатерти в крупную клетку, а затем выставили на прилавок всё, что смастерили взрослые на продажу – от безделушек из дерева до вязаных носков и кофт. Просмотрев меню, мы дружно заказали кофе, блинчики с кленовым сиропом, что-то ещё.

Одна за другой подъезжали машины с желающими перекусить. Тепло таверны. Говорок. Уют. Кристально чистый, вкусный воздух, напомнивший Яремчу в Карпатах, где мы с Володей провели счастливые дни.

Поселившись около детей в Бостоне, Григорий Евсеевич начал планомерно осуществлять выношенную им мечту о «взаимонасыщении» культур. Он хотел открыть в Бостоне Русский институт для молодых американцев. Нашёл спонсоров. Подыскал помещение. Набрал штат.

Мало кто верил, что институт сможет функционировать. Но для супругов Тамарченко существование в культуре было способом жить и дышать. Григорий Евсеевич пригласил в институт интересных искусствоведов. Несмотря на недостаточное владение английским языком, Анна Владимировна успешно преподавала там русскую литературу. За организованным под крылом Бостонского университета детищем Григория Евсеевича – «Russian Studies Institute» – вскоре утвердилась репутация уважаемого и посещаемого учебного заведения.

Анка и Гриша давали мой адрес, когда кто-то из их студентов ехал в Ленинград. Со знакомой восторженной интонацией американские студенты рассказывали об уроках Анны Владимировны, открывавших им Достоевского, Толстого и Россию. Так мы сдружились с необычайно милой Мелиссой Смит, хорошо говорившей по-русски. Впоследствии она перевела пьесы многих наших драматургов-женщин.

После нескольких приездов в Ленинград Мелисса попросила однажды:

– Разрешите мне прийти к вам с моими родителями. На этот раз мы приехали вместе, и мне очень хочется, чтобы они побывали в русской семье.

Родители её оказались жизнерадостными, их визит – обоюдно приятным и лёгким.

Теперь, в Бостоне, вместе с Анкой и Гришей я была приглашена в американскую семью на помолвку Мелиссы.

Когда мы подъехали к трёхэтажному дому «на выселках», у леса, там стояло уже машин тридцать. Гостей соответственно было втрое или даже вчетверо больше. Был ослепительно солнечный и тёплый день. Несколько корейков разносили гостям вино, где бы кто из приглашённых ни расположился: в гостиной, на веранде, на поляне или на пологой горке. Для желающих закусить поплотнее на втором этаже был накрыт стол.

Приглашены были коллеги по университету, в котором оба преподавали, родственники Мелиссы и её жениха. Чужая речь. Добродушная тональность бесед. Смех. От оживлённых, беспечных гостей, от Анки и Гриши меня увела в свою мастерскую мать Мелиссы – Джоан, чтобы показать свои работы: превосходные портреты, пейзажи. Тут же вынула из шкатулки кольцо с бирюзой, предназначенное мне в подарок.

В Ленинграде, дегустируя то одно, то другое блюдо, Джоан всё время восклицала: «Оу-оу! Новый вкус!» Американская помолвка Мелиссы, открытость их окружения, подаренное кольцо стали «новым вкусом» другой страны для меня.

Супруги Шварцманы, друзья Анки и Гриши, водили по территории Гарвардского университета. Обход зданий, отдых на траве в университетском саду, обед в шумной студенческой столовой оставили ощущение незатруднённости и лёгкости существования людей. Я с интересом слушала преподавательницу Гарварда Галину Александровну Шабельскую, посвящавшую меня в местные неписанные законы: не полагалось вслух оглашать оценки студенческих работ, не принято было интересоваться, какой политической ориентации придерживается тот или другой студент, и т. д. С женственной и добрейшей Галиной Александровной мы к тому же побывали во всех бостонских музеях.

Вскоре после моего приезда мы навестили Гришиного старшего брата с женой. Их небольшая квартира размещалась в одном из шести коттеджей, построенных для эмигрантов пенсионного возраста в небольшом лесу. Жена Мирона Евсеевича, Сарра, первым делом показала установленные в квартире кнопки: «Видите? Одна – для вызова врача, другая – для вызова мастера, если надо что-то починить».

На столе красовались приготовленные хлебосольной хозяйкой яства. Освещение в столовой было каким-то перламутровым. Поблескивало семейное столовое серебро. Голос Мирона Евсеевича был тих, глух, голова и руки дрожали, когда он, восседая во главе стола, произносил свой торжественный тост в честь Америки, которая их пригостила, обеспечила пособием: «Здесь есть закон! И он – работает!»

Надрывно-горькое, надо сказать, это было свидание. Старые люди вытерпели всё, дождалась встречи с сыном и внуками. Благодарствовали и гордились. Но ценой их счастья была инвалидность. Покачнувшееся здоровье Мирона Евсеевича поправить было уже нельзя.

Их сын Ося повез нас показать свой дом: отдельные комнаты для каждого из детей, оборудованный для спортивных игр и занятий цокольный этаж. Опять же – застолье и бесконечные расспросы о России.

При прощании молодые хозяева дома протянули мне крупную долларовую купюру:

– Мы хотели вам что-нибудь купить в подарок, но подумали: можем не угадать. Пожалуйста, купите себе что-нибудь от нас сами.

Я решительно отказалась. Гриша с Анкой возмутились: «Так нельзя, пойми. Ты не можешь этого не принять. Они дарят от всей души». Как за необычайно интересным зрелищем, за «сражением» наблюдали два внука Мирона и Сарры, семи и пяти лет. Едва меня свергли с пьедестала гордости, дети куда-то побежали. Разбив заветные копилки, с горящими глазами и с горстями центов примчались обратно:

– Мы тоже, мы тоже... От нас тоже возьмите!

Прогулки по Бостону с внучкой Анки и Гриши, неотразимо красивой девятнадцатилетней Анулей, открыли двери в мастерские молодых художников. Какую психологическую ломку, связанную с переездом в другую страну в двенадцать-тринадцать лет, пережила эта девочка, я поняла после её рассказа, как с такими же растерявшимися подростками она сбежала однажды из дома и отправилась за приключениями в Вашингтон. Там они были задержаны полицией и доставлены в участок. По американским законам, если родители отвечали, что поставлены детьми в известность о поездке, их отпустили, в противном случае – задерживали. Ануля вся превратилась в слух, когда полицейский, набрав номер телефона её матери, спросил, знает ли она, где находится дочь. Последовал отважный ответ Веки: «Да, знаю. Я в курсе». То, что мать защитила её перед законом, не предала, послужило для сознания девочки серьёзным нравственным основанием. «Для Анули мать – ближайшая подруга и конфиденгент», – подытожила позже Анна Владимировна.

Каждый штат в США как административная единица имеет право на свои узаконенные капризы. В одном штате пристегиваться ремнём в машине обязательно, в другом – нет. В одном дорожки освещаются лампами дневного света, в другом – фонарями минувшего века. Где-то налогами не облагается вино, а где-то – рыба. Зато всюду на шоссе, стояло машине съехать на обочину, вслед идущие тут же притормаживали: «Можем ли мы быть чем-то вам полезны?» «Вам не надо помочь?»

Минутами казалось, что я взята под опеку не только членами семьи от мала до велика, но и страной.

Гриша хорошо водил свою старенькую «тойоту», на которой мы переезжали из Бостона в Нью-Гемпшир, на Кейп-Код, с Кейп-Кода снова в Бостон и т. д. Безупречное покрытие многокилометровых трасс. Никаких рекламных щитов, только дорожные указатели и знаки. Оптимальная скорость.

Анка сидела рядом с Гришей на переднем сиденье. Я же снова была в «нигде». Земля будто другая, небо – то же, что и дома.

Голос Анки:

– Ты что там притихла? Дремлешь?

– Что ты, что ты! Нет.

Гриша:

– Может, чего-нибудь хочешь?

– Хочу!

Оба:

– Чего?

– Увидеть, как НЛО приземляется. Только не близко. Эдак, пожалуй, метров за двести-триста от нас.

– И только?

– Угу... Больше ничего...

Меня восхищал бросок, совершённый Анной Владимировной в определении своего стиля в причёске, в одежде. О платьях, подобных тому, в котором она защищала докторскую диссертацию в Ленинграде, не могло уже быть и речи. Она носила брюки, яркие блузоны, широкополые шляпы. Всё это ей очень шло, было к лицу. К моему приезду она нам обеим купила шорты, купальные костюмы и халаты: «Тебе – синего цвета, а мне – бежевого. Тебе вот это, мне – то...»

На Тресковом мысе (Кейп-Коде), где находилась дача младших детей, я, как чего-то чрезвычайного, ожидала купания в Атлантическом океане. Представляла себе географическую карту – и всё мне казалось головокружительным, невероятным.

На берегу океана частная собственность предстала с неприглядной стороны. Берег был так плотно застроен домами, что мы долго искали к нему подхода.

Уплывать в океан вдвоём с Анкой – тоже было чем-то непредвиденным. Века сидела на берегу со своей четырёхлетней дочуркой Машей. Озябшая, укутанная в махровую простыню, девочка прижалась к матери. Обе они молчали. Выглядели единым целым. Меня поразили глаза ребёнка. Выйдя из воды, я буквально споткнулась об этот

взгляд, растерялась перед его загадкой. Перед девочкой шумел океан; мы были малой деталью, вписанной в перспективу мира. В тот момент она видела неизмеримо больше и иначе, чем мы. И мир обещал ей что-то своё, недоступное нашему жизнеисчислению.

Прогуливаясь перед сном на Кейп-Коде, мы с Анкой запоем говорили о недооценённых стихах Н. А. Некрасова. Она рассуждала о невесёлой судьбе России, об эмиграции, о тоске, с которой так и не справилась; жадно расспрашивала о театрах Ленинграда, о том, как живут, что делают «студенты 6-А».

Года за два до моего визита сюда в связи с сокращением «компьютерного кольца» вокруг Бостона с работы уволили обоих зятьёв Анки и Гриши. Семьи обеих дочерей вынуждены были переехать в штат Нью-Джерси. Примириться с отъездом детей из Бостона родителям было непросто. Но оставить созданный Гришенькой институт они тоже не могли.

По делам своего института Грише надо было съездить в Вашингтон. Я, в смущении от затрат на меня, выслушала разработанный на семейном совете план:

– Анка едет к детям в штат Нью-Джерси, под Нью-Йорк. Мы с тобой летим на два дня в Вашингтон, затем заезжаем за ней и вместе возвращаемся в Бостон.

В вашингтонской поездке меня поражало решительно всё, начиная с мобильных телефонов, которыми американцы пользовались уже тогда в 1988 году: могли позвонить прямо из салона самолёта, предупредив родных о задержке рейса из-за грозы. Показать мне достопримечательности Вашингтонского университета любезно вызвался знакомый Гриши, профессор М. Когда мы подошли к лифту, огромную кабину заполнили студенты самых разных национальностей, резко отличавшиеся друг от друга цветом кожи, кроем и расцветкой одежды. Зрелище было скорее фестивальное, чем повседневно-студенческое. Я обратилась к спутнику:

– Одарённость этих студентов так же «разновидна», как их внешний облик?

– Можно сказать, да! – ответил он. – У египтян превалируют способности к математике, европейцев больше влекут к себе гуманитарные науки...

В зале компьютерных каталогов профессор М. спросил:

– Чьи труды вас интересуют?

Я ответила:

– Ваши.

Он нажал несколько клавиш, и на экране высветился длинный список названий его книг, брошюр и статей.

– Ещё?

– Анны и Григория Тамарченко.

Через минуту появились столбцы с перечнем их работ. А я вспомнила деревянные каталожные ящички в ленинградской Публичной библиотеке, в которых такое множество раз отыскивала нужную информацию.

Стены деканата факультета славистики были увешаны портретами русских писателей, репродукциями с картин И. Левитана, П. Васильева, и чистая русская речь дарила отдохновение.

Университет был окружен садом – раем для студентов, листоющих здесь учебники и конспекты и одновременно – загорающих.

После обхода университета меня препоручили русской студентке Кате, с которой мы выстояли длинную очередь, чтобы попасть на экскурсию в Белый дом, а затем в Капитолий и в музей. Впечатлений от всего увиденного за два дня, начиная с гостиницы, от вечера в ресторане было непомерно много. И все-таки я не могла не поразиться, когда при отлёте из Вашингтона в аэропорту Кеннеди нас усадили в автобус на четвёртом этаже, лифт плавно опустил его на лётное поле и нас отвезли к трапу самолёта.

В Нью-Джерси семьи Наты и Веки жили недалеко друг от друга.

Ната с Фимой и гостившей у них Иреной Милевской заехали за мной на машине, чтобы повезти на берег Гудзона посмотреть на вечерний Нью-Йорк со стороны Нью-Джерси.

Развернувшаяся отсюда необычная в своей графике панорама с разновеликими прямоугольниками небоскрёбов, с «боингами», по шесть-семь одновременно идущими на посадку и взлетающими с разных аэродромов, – ошеломляла. Ряды зажжённых окон в домах Нью-Йорка казались фразами каких-то веземных текстов. Не уверена, что испытанное мною тогда было восхищением. Но материализованная продуктивность гиганта – Нью-Йорка – провоцировала воображение заглянуть куда-то дальше завтрашнего дня. Этот город казался предисловием к какому-то замысловатому и пугающему будущему.

Назавтра Века повезла меня посмотреть дневной Нью-Йорк и офис на Манхэттене, в котором работали мужья обеих дочерей. Их фирма отмечала тридцатилетие. Среди пальм в нижнем фойе одной из башен-близнецов на десятке составленных в ряд столов был размещён многометровый пирог, стояли разного цвета напитки.

Пройдя вперёд по набережной Гудзона, можно было рассмотреть «в лицо» статую Свободы. Спокойная и завершенная фигура женщины, на голове которой сверкали в венце то ли лучи, то ли острия мечей, призывала человека: «Перед тем как ступить сюда, отдай себе отчёт, спасительна или обременительна для тебя свобода!»

– Оставьте нам Тамару Владимировну ещё на несколько дней, – обратилась Века к родителям, когда мы собрались уезжать в Бостон.

Я и не подозревала, какую уйму знаний о сегодняшней Америке почерпну за три дня, проведённые в этой семье.

Насмотревшись в своей жизни на несметное количество разрушенных войной и политическими репрессиями судеб, я хорошо знала стоимость целостности семьи. И я не могла не удивляться государственной установке США – не рвать души эмигрантов разлучением родителей с детьми и внуками. В самом понятии «воссоединение», в обеспечении неработоспособных стариков пособием крылся секрет, почему люди хотели стать гражданами этой страны.

Вернувшись после рабочего дня домой, муж Веки не сразу выходил из комнаты. Какое-то время ни жена, ни дети не обращались к нему ни с расспросами, ни с разговорами. Расход интеллекта и сил на службу здесь не возмещался часами отдыха. Его компенсировала оплата труда. Оплата, которой хватало на жизнь всей семьи. Особенно высоко оплачивался талант. Но это было фактом внешним, я не о нём.

Если от тридцатилетних-сорокалетних эмигрантов Америка требовала физических и творческих затрат, то домочадцы должны были предьявить искусство семейной жизни.

Чтобы создать тот ясный мир внутрисемейных отношений, которому я в этой семье беспрерывно дивилась, надо было чутко координировать его с жёсткой реальностью новой страны. Обеим дочерям Анки и Гриши дано было понять что-то самое глубокое про суть и смысл жизни в целом.

Я вбирала в себя предельно серьёзное и выверенное отношение членов семьи друг к другу, к любому обещанию, к каждому произнесённому слову. Особенно если слово было обращено к детям. В семье умели разговаривать глазами, молчанием, наклоном головы. Мера эмоций тактично регулировалась.

Я долго не могла определить впечатление, которое у меня осталось от пребывания у Наты и Фимы в Нью-Джерси. Притягательная сила их сада и дома была так велика, что по моей просьбе Века в совершеннейшие сумерки отвезла меня туда ещё раз. Наиболее подходящим словом было бы – благоуханная чистота. Ничуть не удивившись такому определению, Ната сказала:

– Чего же вы хотите? Дом и сад до нас «чистили» прежние хозяева. Мы – продолжили.

Так истощающе просто был назван духовный труд и одних, и других владельцев дома.

Века, наделённая в свою очередь даром ладить с энергией космоса, умела реально пополнить ею резервы человека.

В опыте этих семей как нечто неотъемлемое присутствовала оглядка на внешнюю форму поведения.

Память честно возвратила меня к суждениям молодого Бориса о «ноже-разуме» для усмирения «лишних веток дикого дерева, хлещущих прохожих», о «треба дисциплинки»; к его прогнозу: «Откристаллизуешься когда-нибудь, басурманка».

Может, это и есть шанс человечества? Может, американская загрузка жизнью и внимание власти к охране семьи приближает появление «нового человека» русской мечты Чернышевского? И выведение чувств разумом вовсе не скучный акт самостеснения? Вспомнились даже совсем нелюбимые, но заставляющие помнить о себе строки Шелли:

Привычка к рабству мысли их тиранит;
Дыханьем осквернив небесный свод,
Их род бесчисленный в забвенье канет,
А человеком станет только тот,
Кто властелином над собою станет,
Своим престолом разум стать принудит,
И свергнет страхов и мечтаний гнёт,
И лишь самим собой всегда пребудет.

В Бостон, получив приглашение читать лекции в Гарвардском университете, приехал Ефим Григорьевич Эткинд.

Прошло уже много лет после его выдворения из страны. Перед отъездом он назначил нам с Володией встречу за городом, в Репине. Прощались там. Он просил не беспокоиться о нём, поскольку уже тогда имел приглашения в пять университетов мира.

Он был действительно востребован, да ещё и нарасхват. Но главные годы были прожиты им в России.

Мы сидели в гостиной бостонского дома Тамарченко, кто в креслах, кто на диване. Только пленительная Ануля стояла на коленях у журнального столика и, положив головку на согнутую в локте руку, жадно слушала, о чём говорил гость. За окнами подвывал ветер, да такой, что будто и впрямь «ведьму замуж выдают». Гриша развёл в камине огонь. Настроем своим мы, кажется, походили на картину Су-

рикова «Меншиков в Берёзове», разве что в шубы не кутались. Как же раскиданы мы были по свету! Какая была в том скорбь!

Находившиеся в гостинной люди были ценностью, неотъемлемой частью культуры России. Реальная их вина для власти заключалась в призывах расшевелить застывшую на «нехорошей» ноте жизнь, бороться за перемену государственного строя – дома и самим. Сколько было таких, кто вступал в члены КПСС, чтобы изнутри вносить в программу действий «разумное, доброе»!

Сорок дней приглашения подходили к концу.

Как мало бы я поняла про Анну Владимировну и Григория Евсевича, если бы сочла их приглашение только следствием дружеского отношения ко мне! Своим желанием дать мне увидеть мир, защитить своей опекой они гасили нравственные долги власти, у которой были проблемы с совестью.

Вручая перед прощаньем ответные письма для «б-А», Анка вдруг спросила:

– Ты знаешь, что нам написал Миша Пятницкий в письме, которое ты привезла?

– Нет, разумеется.

– Он благодарит нас за то, что мы пригласили в гости их Тамару Владимировну... Нет-нет, Россия выберется! Россия не погибнет!

Анка и Гриша проводили меня до бостонского аэропорта. В Нью-Йорке меня должны были встретить и посадить на самолет обе их дочери.

Ната и Века встретили. В запасе у нас было часа три. У сестёр родилась идея съездить в Бруклин и пообедать там в кавказском ресторане. Сдав вещи в багаж, я оставила при себе две сумки: одну – с рукописью и какими-то мелочами, другую – с подарками.

Первое, что мы услышали, доехав до Бруклина, был истошный женский крик, раздававшийся из открытого окна дома, возле которого Века припарковывала машину: «Ох, Юзька, как же я на тебя сейчас насыду, как же я тебя сейчас выпорю, маленький мерзавец!»

В затенённом зале ресторана во время обеда одна из сестёр спросила вдруг:

– Хочется домой?

«А разве я не дома?» – удивилась и растерялась я. Мне было так тепло в этой семье!

Да. Я отовсюду возвратилась бы к тому, что называла домом. Меня оттуда было уже не выломать, не вырубить. Мне было уже шестьдесят восемь лет. И надо было ещё долюбить дорогое и дорогих людей-там, у себя.

Из Бруклина в нью-йоркский аэропорт мы вернулись ко времени. Века вынула из багажника одну сумку, дала мне её в руки, повернулась, чтобы взять вторую... Второй, с рукописью, в багажнике не оказалось. Обшарили всё. Результат нулевой... Мистика.

Как и при вылете из Ленинграда, когда майор унёс эту горемычную рукопись на просмотр, всё мигом стало ирреальным и таким же зыбким... И сейчас я наблюдала со стороны, как взволнованные сёстры обыскивали машину ещё и ещё раз; не обращая на меня внимания, о чём-то переговаривались между собой. И хотя всё это имело прямое отношение ко мне, сама я ничего не предпринимала. Полагалась на Веку и Натю. Только на них.

Увидела, что неожиданно сёстры быстрым шагом направились в сторону какого-то ангара. Скрылись в нём. Вышли не одни, а в сопровождении высокого негра. Негр нёс в руках мою сумку. Зрелище было каким-то придуманным, как во сне. При поспешном отъезде в Бруклин, забросив в машину только одну сумку, другую мы оставили стоять на земле. В столь небольшом городишке, как Нью-Йорк, уборщик-негр сумку подобрал и спрятал «до востребования». Просчитав все реальные и все бредовые варианты, сёстры вычислили этот единственный – и разыскали уборщика территории.

Я поднималась по трапу. Сердце сжималось. В Америке тремя поколениями любимой мною семьи на меня был излит поток щедрот и доброты. Я уже сейчас тосковала о прожитых днях.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

«Говорят, очень приятная, достойная девушка. По профессии – программист, как и ваш сын», – сообщила мне о жене Юры верный друг-судья, узнав о его женитьбе случайно и много времени спустя после самого события.

Свекровью для Юриной жены Ани была Вера Петровна. Потому последовавший через два года телефонный звонок Аниных родителей был неожиданностью:

– Хотели бы познакомиться с вами... Находимся сейчас в Ленинграде.

Им, видимо, хотелось уяснить обстоятельства, при которых у зятя образовалось две матери, а я жаждала составить представление о родителях той, которая, как надеялась судья, «могла бы всё изменить».

Родители невестки окончили ленинградский Горный институт. Это были деликатные, спокойные люди. Чего-то они вообще не коснулись, что-то им после разговора стало понятно. И наверное, наша встреча осталась бы добрым светским знакомством, если бы не новость, которую они приберегли для финала:

– А вы знаете, Тамара Владиславовна, что у вас есть внук?

...Я и не предполагала, что боль может стать острее той, что и так снесла. «Внук?» *Мой внук!* И он недоступен? Над внуком склоняется всё та же Вера Петровна?

Мне было двадцать четыре года, когда меня с лесоповала привезли в лагерный лазарет Урдомы. У вахты меня обжёг взгляд вышедшей из зоны Веры Петровны. Я не знала, кто она такая, но тут же окрестила: «Надзирательница!» Тем обостренным чутьём, которым лагерь обучал определять, кто и что находится справа, слева или за спиной, я с той самой секунды ощущала её – опасностью. Работая в лазарете под её началом, никогда не успевала угадать её непредсказуемых действий. У неё было не одно, не три, а четыре дна.

И через десятилетия не улёгся ужас, пережитый в амбулатории Вельска, когда она, имевшая собственного сына, встала передо мной на колени и стала просить: «Отдайте мне ребёнка! У вас ещё будут дети, а у меня – нет». Юра был ей нужен, чтобы удержать Филиппа.

Какой было пыткой, когда наш ТЭК привезли для обслуживания зон лагеря в Вельск, где жили Бахаревы. Едва мы приехали туда, мне сказали, что Юрочка болен. «Находиться рядом и не увидеть заболевшего сына? Во что бы то ни стало – навестить!» Филипп не возражал. Я упростила командира вохры выпустить меня из зоны. Подкашивались ноги, когда я стучала в дверь их дома.

У Юры была высокая температура. Он не капризничал, лежал молча. Став на колени у изголовья постели, я взяла в руки его ладони, прикрыла ими глаза и уткнулась в наше «наедине» с ним хотя бы таким образом. Вера Петровна тут же встала с другой стороны кровати. «Ну как ты, сынок? Тебе лучше?» – обращалась она поминутно к нему. Филипп менторски ронял: «Ничего страшного нет. День-два – и ребёнок будет бегать». Этот дикий, бредовый расклад сил сопровождался громыханием вёдер, которым мать Веры Петровны выражала возмущение присутствием в их доме заключённой.

Теперь я была свободна. Это ничего не изменило. О моём внуке заботилась Вера Петровна.

Вскоре после визита родителей невестки из Севастополя приходили знакомиться её дядя и тётя. Нам с мужем понравились обе пары, с их добротным и основательным подходом к жизни. Когда же я получила вежливое письмо от самой невестки, отозвалась на него всей душой. Мы стали переписываться.

Процесс «разоблачения культа личности» со времён Хрущёва глубины не набирал. Но прорываться в печать каким-то материалам на эту тему в конце 80-х годов уже не возбранялось. Многие определяла личность редакторов газет и тележурналистов. В Ленинграде появилась телепередача «Пятое колесо». Имя Бэллы Курковой стало знакомым. Бывшие репрессированные, у которых брали интервью, рассказывали только о каких-то фактах, но не о том, из чего они происходили. В канун моего семидесятилетия корреспонденты наведывались и ко мне. В «Ленинградской правде», в других газетах появились статьи: «Крепостная актриса», «Жизнь и Судьба», «Жила-была девочка».

В начале марта 1990 года режиссёр Лариса Викторовна Погосьян посвятила меня в свои планы: она возглавила группу энтузиастов, которые задумали отметить мою круглую дату. Володя загорелся идеей пригласить на юбилей Юру. Мне эта мысль не казалась удачной. Но должной твёрдости я не проявила, и Володя набрал номер его телефона:

– Мне кажется, ты должен приехать на семидесятилетие матери. Как полагаешь?

Из Москвы приехали Валечка с Аркадием, племянники с жёнами, Маечка с сыном Вовой. Много друзей – из самого разного «далёка».

Ко всеобщему удивлению, приехал и сын.

Юбилей отмечался во Дворце искусств, при большом стечении народа. Я была прикована к тому, что делает и где находится Юра. Как сквозь туман увидела, что сын поднялся с места и стал пробираться к выходу, когда появились теле- и видеокамеры. «Нельзя же его задерживать. Не нужно! Что ж, пусть уходит...»

Позже мне рассказали, как его, сбегавшего по лестнице, остановила режиссёр телевидения Надежда Виноградова, взмолившись: «Помилуйте, не уходите! Зачем же наносить матери такой удар? Хватит уже с неё». Юра вернулся. Уступил и на этот раз.

Потребность объяснить ему обстоятельства прошлого никогда не находила в нём отклика. Но рассказать ведь хотелось не только о мрачной реальности, но и о светлом чувстве, с которым я ожидала его рождения. Ведь то время было уже нашим общим.

Переждала. Попробовала вновь. Увидев, каким отчуждённым стало его лицо, привычно замолчала. С малой верой в его отклик обратилась к нему при прощании:

– Сын, привези своего первенца! Дай увидеть внука! Как-никак, мне семьдесят...

Вскоре мне позвонила мать невестки:

– Знаете, что сегодня сказал по телефону наш с вами внук? С крайним ребячьим удивлением: «Бабушка Нина, у меня, оказывается, есть ещё одна бабушка! Её зовут бабушка Тамара. Она живёт в Ленинграде, и мы с папой собираемся к ней в гости».

Значит, Юра решил сказать обо мне малышу?

Незадолго до этого, когда Аня с ребёнком отдыхала у севастопольских родственников, моя сокурсница Аля Яровая собралась сопровождать свою дочь в археологическую экспедицию в Крым. Я попросила у севастопольцев разрешения дать их адрес сокурснице.

– Мальчик прелестный. Невестка, знаете, из «тургеневских женщин», – делилась впечатлениями Аля после знакомства с ними.

В ожидании, что вот сейчас из подходившего к перрону поезда выйдет пятилетний Алёша и скажет: «Здравствуй, бабушка», – сердце колотилось не там, где нужно, не так, как следовало.

Сын с внуком не появились. Я зашла в вагон. Увидев, как нарочито медленно сын зашнуровывает малышу ботинки, поняла, что он сожалеет о решении привезти его сюда.

Любопытствующий малыш сиял. А сорокапятилетний сын и его семидесятилетняя мать, как два беспомощных погодка, трепыхались в тенётах, так дальновидно и продуманно накинутых на них умельцами бороться за себя! На какие-то минуты мы, малознакомые и кровно родные, ещё задержались в купе. И даже оробевший перед происходящим поезд не посмел двинуться в парк.

Все десять дней, что сын и внук гостили у нас, как и в первый приезд Юры, я находилась во власти счастья. Что-то рассказывала маленькому Алёше, не отходила от плиты, чтобы баловать детей и мужа, самозабвенно включившегося в наш общий союз. Стоило ребёнку раскапризничаться или по какому-то поводу призвать меня на помощь криком: «Бабушка!», мир теплел весь и сразу.

Из писем судьи я знала, что сын любит дачу, доставшуюся ему от отца, много сил и времени отдаёт работе на земле. Руки у него были грубоватые, трудовые. Я спросила, кем он себя более всего ощущает: программистом, инженером? Он славно усмехнулся и ответил: «Фермером». Мне его признание пришлось по душе. Что может быть естественней любви к земле? И я приняла это за ключ, которым можно будет что-то отпереть в Юре.

В тот приезд случилось и вовсе непредвиденное. Мне *не* показалось (я хорошо знаю: *не* показалось), что при прощании на вокзале сын едва слышно вымолвил: «Я сам. Не тронь чемодан, *мама*». Взрослый сын попробовал отнести это слово ко мне? Когда он находился здесь, всё время говорил: «Что ты всё о нас и для нас? Подумай о себе». Уехав, замолчал снова.

Какое-то время спустя невестка написала, что ждёт второго ребёнка.

Ровное и ласковое отношение Юры к Алёше, ожидание ещё одного ребёнка... Значит, семья состоялась? Не это ли было главным?

В память о юбилее осталась публикация: «Такого юбилея – с охапками гвоздик и роз, с искренними, добрыми поздравлениями, признаниями в любви, с прекрасным юбиляром, которая строгим туалетом, красотой и достоинством напоминала об актрисах прошлого века, – мне видеть не доводилось... Театральные деятели со всей страны и из-за рубежа поздравляли с семидесятилетием Тамару Владимировну Петкевич...»

Скорее всего, эта юбилейная картинка и послужила для Юры толчком к тому, чтобы привезти внука, попробовать сделать шаг мне навстречу. Я условилась сама с собой, что буду сколько угодно ждать его прихода ко мне, лишь бы это свершилось по *его* личной, *его* доброй воле.

Меня ещё продолжала тревожить беззащитность сына, которая померещилась в первый его приезд. И сейчас ещё меня спрашивают, как я могла при всём этом жить. Этот вопрос задавала себе и я. Постоянно. Ежедневно искала на него ответ.

Наверное, мне природой было доверено и поручено ощущать здоровую основу жизни. Она изыскивала способы предъявить себя таковой, но я равным образом признавала правду и за жизнью, отражённой в офортах Гойи, и в том, как её видел Брейгель.

Высшая воля разместила меня на причудливом перекрёстке между теми, кто родился ещё в конце XIX – в начале XX веков, и более поздними поколениями.

Клятвенные заверения Филиппа вернуть мне сына, если я отдам Юру ему, чтобы он не оказался в детском доме, происходили на глазах Ольги Петровны Тарасовой. Родившаяся в 1885 году, дворянка, профессиональная революционерка, по убеждению перешедшая «в стан погибающих за великое дело любви», Ольга Петровна имела двух дочерей. При царском режиме она просидела девять месяцев в Петропавловской крепости, при советской власти – десять лет в тюрьмах и лагерях. Несмотря на это, в уныние она не впадала. В 1985 году я была приглашена в Москву на её столетие (всего она прожила сто шесть лет). Долгой жизнью Ольга Петровна была обязана таланту любви. Сам воздух вокруг неё всегда был насыщен ею. И столетие своё она встречала окружённая любовью дочерей и внуков. За это же жильцы московского точечного дома сносили ей с верхних этажей пироги, варенье и салаты в день столетия.

Это с ней мы превратили в молитву вычитанное в узбекской поэме «Семург» заклинание:

Нету солнца – в себя смотри.
Хватит солнца в душе твоей –
Не ослепнешь среди теней!

Родственники и друзья, съехавшиеся на праздник «последней эсерки», как её назвала одна московская газета, произносили растерянно-восторженные тосты: «Сто лет?! Прекрасно! Восхитительно! Такая живость чувств! Откуда берутся силы?»

За Ольгой Петровной Тарасовой стояла богатейшая родословная. История и человек в XIX веке ещё уважительно шли рука об руку. Происходившие из позапрошлого века люди, такие, как она и Александр Осипович, завещали нам, живым, свою умудрённость любовью.

Силы же самых близких моих друзей-женщин, родившихся в начале XX века – Тамары Цулукидзе, Хеллы Фришер, Ольги Улицкой, – были уже подорваны расстрелами мужей или многолетним ожиданием их из лагерей. У всех до одной были отняты дети. Сын Хеллы остался в Чехословакии, и она его никогда больше не увидела, поскольку после освобождения из лагеря ей не дали уехать на родину. Сын Оли и Александра Осиповича умер в раннем детстве, в ссылке на Кольском полуострове. Сын Тамары Цулукидзе погиб, едва она вышла из лагеря. Эти прекрасные женщины гонок с историей XX века уже не выигрывали.

Разве суровость Олиной реакции, когда нашёлся мой сын, не говорила о том, насколько была подорвана её вера в возможность разрешения ситуации с Юрой «по-человечески»? «Сын тебя не знает, он тебя не помнит, – убеждала она. – Ты не справишься с этим одна».

После Олиной смерти я получила письмо от журналистки из Молдавии. У неё в руках случайно оказалась записная книжка Ольги Петровны Улицкой. Журналистка слышала о том, что мы были с нею близки, искала встречи со мной, поскольку собиралась писать о фильмах Оли и о ней самой.

Имя журналистки было тоже Ольга: Ольга Александровна Тиховская. Мы встретились. Начав собирать в архивах Одессы и подмосковных Белых Столбах материалы об Ольге Петровне, пылкая молодая Оля попутно разыскала рецензии на фильмы Александра Осиповича. Нашла не только кадры из его кинолент, но и резолюции о запретах его картин. Она увлеклась его творчеством. Заторопилась – и успела взять интервью у актрис, снимавшихся в его картинах. Все материалы фотографировала, дубликаты присылала мне.

Бывает так, что знакомство и дружба вскрывают вдруг звенья глубокой и таинственной внутренней связи между людьми. Старшая Оля, Улицкая, и младшая, Тиховская, не были знакомы друг с другом при жизни. Однако...

В записях старшей младшая Оля вычитала, как четырёхлетний Петя, сын Ольги Петровны и Александра Осиповича, перед смертью повернул голову к матери, долго смотрел на неё и произнёс ставшие последними слова: «Бедная моя!» Оля Тиховская рассказала о паническом страхе, испытанном ею, когда её заболевшая пятилетняя дочь, заметив на лице матери тревогу, озабоченно, по-взрослому сказала почти то же: «Бедная моя Оля!»

Какими перепутьями мы связаны, что наследуем и в чём повторяем друг друга судьбами и поисками? И как нас держат похожие исто-

рии любви, истории вражды и наши исповеди друг другу! Мы не всегда понимаем, чем спасаемся, преодолевая невозможное.

Мы с Борисом не оборвали нашей переписки.

Временами она затихала, становилась формальной, но и при этом сохраняла смысл и инерцию прежней поры. В этой переписке мы тоже пытались затронуть недостижимые глубины. Так и получилось, что длилась она более пятидесяти лет.

Борис рассказывал о своих выставках здесь и за рубежом. Горько упрекал: «Глухим недоумением остается засекреченность от меня твоей поездки в Штаты и другие страны. Ты всегда находила силы, чтоб специально съездить к друзьям, по-разному дорогим и интересным тебе. В любую даль: в Одессу, Тбилиси, Кишинёв, ещё Бог знает куда. Только не ко мне. Пока был здоров, пытался сам бывать в Питере. Правда, всегда – неудачно».

Эволюционировали его поздравления ко дню рождения. От: «Ну, не могу я от души пожелать тебе счастья с кем-то, так что по-честному: пусть тебе всегда будет тоскливо без меня, как мне без тебя». До: «Ты самый мой близкий и родной человек на земле. Что было горького – всё отгоревало, облетело напрочь. Пока стучит твоё сердце на свете – и я не один». Жалуясь на то, что стал лениться, просил: «Крикну мне что-нибудь сердитое, чтоб мне стало стыдно. Я совсем перестал в себя верить. Шибко ты мне надобен, бродяга Том».

Но подняв недавно пачки лагерных писем Бориса, я как-то по-новому была ошеломлена анализом заключённых в них усилий, которые предпринимались нами, молодыми, желавшими во что бы то ни стало противостоять силам, которые деформировали и калечили нас.

Это даже не столько письма, сколько очерки об опыте умищиваний, о подкопах под капканы, в которых мы то и дело оказывались. Мы виделись Борису обгоняющими друг друга в стремлении ввысь, «выше и выше... ещё и ещё дальше от грешной, изумительной и обыкновенной земли (где жить не дают) – туда, где это уже только Дух и Красота (где и нас не всегда застанешь, но и мы не всегда согреваемся)». «Как же не буянить здесь дикарству и разрушительным силам, – писал он, – которые хотят просто жить!!! Ломая всё к чёрту, но чтоб во всей распространённой правде чувств! Трижды возвышенная, благородная абракадабра рождается от честного голого крика: “Жить! Жить!” Хоть гибнуть, хоть вкривь, в страх, но всем естественном, любя, не любя, вместе, врозь, с миром, без него, но – до дна истинно... и тут же разом исчезает, начинает бушевать лава души со всеми полагаю-

щимися молниями, потасовками демонов и роков над головой и глазами, открытыми в горную тишину... И снова надо карабкаться вверх, вверх, “работая” над чувствами, переводя их в неподсудное, во всё большее духовное общение и совершенство. В общем, занеслись мы с тобой до такого, что никому живому не под силу. Требуя день за днём всё больше и больше друг от друга, увидели, что, убегая от преследований, мы на такую высоту забрались, где мужчине и женщине пробыть жизнь нельзя... Чувства, годами переводимые в разум, направили нас к бесполому выращиванию человеческих ценностей друг в друге... Близость, запрещённая “дядями”, нашла себе форму, недостижимую для них, но она же кого хочешь опустошит и утомит...»

И правда: из какой же мглы, из какой безвестной бездны прорывались мы в ту искусственную высь! И как же летели в тартарары те достижения духа при нашей встрече в Москве, после освобождения Бориса!

Приводя здесь это письмо, я отдаю себе отчёт в том, что оно не может быть понято здравым, нормальным сознанием. Но так наша молодость отвоёвывала себя у психозов века.

Борис страстно хотел познакомиться с Владимиром Александровичем. Они с женой приглашали нас в гости, когда мы бывали в Москве. Но Володя и слышать о том не хотел. На вопрос «Почему?» отвечал: «Ну, это особый случай». А потом внезапно взял и – уступил: «Поедем. Хочь его увидеть!»

Борис увёл Володю в мастерскую, под которую была оборудована одна из комнат их четырёхкомнатной квартиры. Показал ему свой офортный станок, литографии, картины. Одна стена мастерской была увешана фотографиями и афишами концертных выступлений Александры Фёдоровны. Мужчины долго и увлечённо беседовали о театре, о книгах. Образовалась атмосфера дружелюбия и обоюдного признания. Услышав, что Борис рассказывает Володе о своём боге – художнике Серове, а Володя читает ему отрывки из своего любимого «Графа Нулина», я поняла: они понравились друг другу.

- Ну, давайте выпьем за вашу старую дружбу, – предложил Володя.
- И за новую тоже, – поторопился Борис.
- Ну, новая пока ещё неизвестно, родится или нет, и неизвестно, какой будет, – отвёл этот тост мой муж.
- Тогда пьём за старую, – примирительно согласился хозяин.
- Давайте выпьем за таланты Бориса, – вмешалась я.
- Том, а ты что, до сих пор не поняла, что все мои таланты – мнимость? – наклонился он ко мне.

Я знала его разным: жаждущим вписаться в бегущую строку сегодняшней жизни, бурным, мечущимся, злым, сомневающимся, но всегда – жадным до знаний и талантливым.

– Ты не знаешь моей боли, – досказывал он себя, – она заключается в том, что я уже не успею сделать своего главного..

При прощании Борис подытожил впечатление от знакомства с мужем, шепнув: «Слушай, он же прелестный мужик, твой Владимир Александрович!»

Володя обошёлся без оценок. Смолчал. А я утвердилась в своём представлении о жене Бориса: любящая, жестковатая, умная, готовая ради Бориса превозмочь своё недружелюбие ко мне.

Через год или полтора Борис написал, что хочет приехать в Ленинград, сделать в Царском Селе зарисовки Камероновой галереи и павильона «Грот». Володя отважился на жест: «Если хочешь, пусть остановится у нас. Отдай ему свою комнату».

Появившись в Питере, Борис поблагодарил за приглашение, сказал, что должен поселиться у брата своей жены, но если мы разрешим, то дня на два задержится у нас. И тут же потребовал: «Рукопись! Дай прочесть рукопись!»

Он читал её двое суток напролёт. Постучав в дверь, чтобы позвать Бориса к ужину, я застала его вжавшимся в кресло. Он плакал: «Я прочёл. Я не знал, малышок... Совсем не так представлял твою жизнь, Томушка».

Отведя мне роль «господствующей» и «обожаемо-обожаемой», они с мужем долго рассуждали при мне о написанном.

Повесть Бориса «После победы» я тоже читала в рукописном варианте. Опубликовал он её в 1996 году в журнале «Казань».

Выяснилось, что, как и он обо мне, я тоже многого не знала о нём. Во всяком случае, о его довоенных и фронтовых перипетиях. В лагере мы были так вмурованы в вопрос жизни и смерти, что всё биографическое отодвигали на дальний план.

Борис провоевал четыре года. Арестован был сразу после Дня Победы. Книгочех, собравшего на разбомблённых складах в Польше и на западной Украине «странную» библиотеку, осудили на восемь лет. Оперативники вынули из его вещмешка «Ницше, Розанова, альбомы репродукций мюнхенской Пинакотеки, эмигрантское издание стихов Гумилёва, томик Фрейда». В Моравской Острове он подобрал «гениальные рисунки шизофреников», а в одном из дворов выхватил из огня нацистские журналы. Самой же страшной уликой была «книжица с ярким красно-черным рисунком на обложке: Сталин по

пояс в кровавом болоте, в маршальском мундире с закатанными рукавами. А за ним призраки Чингисхана и Ивана Грозного».

Началось для него всё, как пишет Борис, с вопроса: «Откуда берётся патологическая, воспалённая жестокость расправ бандеровцев с коммунистами?» и с виселицы, на которой были повешены пятеро бандеровцев: трое студентов, один гимназист и один старик – церковный староста. Борис был назначен в ночной караул, охранять повешенных: «Шёл сырой снег, к ночи заметелило, город спал или притворялся спящим, трупы крутило ветром... Я ждал пули, сам постреливал, согласно инструкции... и у меня было время подумать, что привело на виселицу этих пятерых».

Зная страсть Бориса к докапыванию до мотивов и причин явлений и фактов, я понимала потребность двадцатичетырёхлетнего солдата впитаться в крамольные журналы и книги, из которых так хотелось выудить правду о безумии мировых войн.

За трудную работу жить в XX веке в тот приезд Бориса, в самом конце 80-х, нам был подарен момент простоты. Когда-то первая моя попытка свести Бориса с «6-А» закончилась драматично. По упрямому побуждению я и на этот раз повела его на постановочный факультет любимого театрального института, где работала Аля Яровая. Несмотря на занятость, на присутствие в деканате нескольких студентов, Аля поняла чрезвычайность нашего появления и приняла Бориса с тем языческим жаром, который был ей так присущ. Глазами она выспросила у Бориса всё, что её интересовало. Подаренные ей кем-то чайные розы перекочевали к нам. Борис был потрясён проявленной Алей сопричастностью нашему прошлому, лично её не задевшему. Мы шли с ним к троллейбусной остановке. Угол Моховой и улицы Белинского венчал крошечный скверик со скамьёй.

– Сядем, – попросил выбитый из колеи Борис.

Со всей силы ударил по скамье кулаком:

– Не скажешь, во имя чего я затоптал себя? И как затоптал! Всё подмял, чтобы прочно стоять на ногах. Ты ведь знаешь, что я всегда был за то, чтобы тратиться как можно больше. Только ведь за это воздаётся. И вот, жил, как кастрированный. Даже хуже: самооскопленный! А ты? Ты – копилка чужих судеб, чувствилище эпохи. Написала дикую по воздействию книгу. Завидую тебе. Прошу, побереги себя! Тебе как-то надо собрать силы – для тебя же, для всех нас. Роденька ты моя, спасибо тебе за всё, от чего ожила душа.

Может, и в самом деле я одна понимала, что происходило и что произошло с моим ровесником, получившим от власти наказание,

затем – почести, звание заслуженного, а в тот момент представшим таким, каким себя явила природа при рождении? Исповедь? Да, это была она! И, Господи, мне довелось её выслушать!

По инициативе нашего с Володей друга, народной артистки МССР Нелли Каменевой мы были приглашены в Молдавию на празднование пятидесятилетия Русского драматического театра.

Новое руководство Министерства культуры Молдавии благоволило к Володе. К тому же там теперь работала его ученица – Светлана Гладкова, окончившая в Ленинграде режиссёрский курс. Володю приглашали в Молдавию то прочесть цикл лекций по режиссуре, то на конкурс – в жюри Союза писателей. Он соглашался на эти поездки ради заработка, но более всего – из-за тоски по театру, из интереса к актёрам, что составляло смысл и его, и могого существования.

Немало значило и то, что у Володи установились собственные отношения с Дмитрием Фемистоклевичем. Когда вышла его книга «Театр моей юности», Володя захотел послать её Диме. Делая надпись, споткнулся: «Не знаю, что написать ему. Не могу же я желать ему счастья, если сам отнял это счастье».

До ареста Дима какое-то время работал в бакинском Театре русской драмы заведующим музыкальной частью. Дружил с главрежем Савченко. Театр знал и понимал. Книга ему очень понравилась. Он поблагодарил Володю. Письмо закончил так: «Берегите Тamarочку, Владимир Александрович!»

Бывая в Кишинёве одна, встречаясь с друзьями, я даже близко не подходила к кварталу, где располагался театр, из которого меня выдворили. Володя уговаривал предать давние события забвению, доказывал, что они никакого отношения к новой труппе не имеют.

Зал, сцена, фойе театра – всё оказалось перестроенным, обновлённым.

Совершая экскурс в историю театра, ведущая вечер Нелли Каменева перечисляла имена режиссёров, в нём служивших. Володю назвала в числе самых ярких. Говорила и обо мне.

Бывшего парторга, который когда-то провозгласил: «...такие, как вы, всегда будут зависеть от нас», – уже не было в живых. Инициатор моего увольнения, прежний директор, приравнявший себя к «океану», присутствовал. Сидел в числе почётных гостей. Вперив в меня тупой взгляд, не отводил глаз. Ему не удалось найти ответ на гвоздивший его вопрос: «Что за времена? Ведь я же её угробил! Так что же я упустил, если они оба находятся здесь на равных правах со мной?»

Я старалась не мучить себя вопросом, сожалею ли о том, что этот злобный «идеолог» пресёк мою актёрскую биографию. Мне было ещё чуть-чуть больно. И – только. Окончание института уточнило мою любовь к театру, сделало её зрелой. Увольнение вернуло мне родной город. В нём был блистательный БДТ, крупнейшие театральные критики и театроведы. Союзником моей любви к театру стал мозг. Фактически это тоже обернулось спасением. Особенно тогда, когда жизнь подводила к рубежу: «Не дай мне Бог сойти с ума». Театр и жизнь были слиты.

Во время одной из поездок в Кишинёв, когда Союз писателей Молдавии пригласил Володю в жюри на конкурс по прозе, он проголосовал за присвоение второй премии одному рассказу. По условиям конкурса имена авторов значились под девизами. Когда фамилию молдавского писателя раскодировали, они с Володей познакомились, и между ними завязались хорошие отношения. С. настойчиво приглашал приехать погостить у его родственников в деревне. Володя, снимавший когда-то у А. П. Довженко фильм о коллективизации на Украине, мечтал побывать в молдавском селе, славившемся крепким хозяйством. Особенно после двух наших поездок на озеро Селигер, где колхозное хозяйство чахло и деревня спивалась.

Собираясь в Кишинёв, мы заехали в село, стоявшее на самом берегу Днестра, к новому Володиному знакомому. Сам писатель находился в поездке по Сибири. Уезжая, поручил встретить нас семье своей сестры. И только дней через пять во двор въехала повидавшая виды хозяйская «Волга». Из путешествия прибыл прочный, красивый человек, находившийся под оглушительным впечатлением от увиденного на востоке страны. Вечером, сидя за столом, уставленным молдавскими винами, мамалыгой, соленьями из погребов и прочей экзотикой, С. всё говорил и говорил о могучих реках Сибири, о промыслах, лесах, людях. Искренне восторгался. Хорошо смеялся. И был трогательно благодарен, что среди общего шума я одна его внимательно слушала.

Молдавское село было действительно зажиточное, дом – гостеприимный. Но нам ещё предстояли встречи в Кишинёве, и мы там задержались. По дороге в Кишинёв С. стал просить уделить ему один день, чтобы послушать его новую военную повесть. Читал её сам. Мы слушали с интересом. Он не ждал, а просто-таки требовал советов. К крупным мастерам автора, может, и нельзя было причислить, но к талантливым самородкам – несомненно. Позже мы предлагали его повесть в издательства. Огорчались и досадовали на отказы.

Редко, кстати, приходилось видеть более бедную квартиру, чем та, в которой он жил в Кишинёве: железная кровать, полка с книгами, телевизор первого выпуска. В кухне на двух столах сушился липовый цвет: ранение задело лёгкие фронтовика. Разуверившись во врачебной помощи, он лечился, как советовали знахари. Показал нам фотографии двух своих дочерей. А почему он одинок, мы спросить не решились.

Я задерживалась в Кишинёве. Володе надо было уезжать в Ленинград. С. вызвался отвезти его к поезду. Когда мы возвращались с вокзала, увлечённо рассказывал о своих «лучших днях в году». Так он называл сбор полка: совместные поездки с однополчанами на места сражений, с ночёвками, рыбалкой, варкой ухи на костре. Неожиданно прервав рассказ, повернулся ко мне: «Я всё про себя талдычу, а вы о себе – ни слова. Расскажите хоть что-нибудь». Я беспечно отшутилась: не совершу, мол, подобной глупости, поскольку он меня в этом случае высадит посреди дороги. Он тут же съехал на обочину, остановил машину и стал просить, чтобы рассказала: «Ну хоть что-то – из самого-самого главного!»

– Самое главное, – попробовала я сформулировать экономно, но ёмко, – заключается в том, что ваше прошлое связано с бедой войны, а моё – с лагерем: 58-я статья и всё, что за сим следует.

На том, собственно, разговор и прервался. С. без комментариев завёл машину и молча довёз меня до правительственной гостиницы, в которую нас с Володей поселила его ученица Светочка Гладкова. При прощании сказал, что утром, как договаривались, заедет за мной, чтобы отвезти на рынок – купить орехи и ещё что-нибудь южное.

Его реакцию на мою откровенность нельзя было назвать банальной. Приехав за мной на следующее утро, С. вышел из машины в форме подполковника ГБ.

В первые секунды я его попросту не узнала. Узнав, удивилась. Он помог тем, что тут же взял инициативу разговора на себя:

– Давайте выберем здесь, в парке, место потенистее, немного посидим, ладно? Изрядно перемучившись, решил быть с вами предельно открытым.

И он рассказал, как спустя некоторое время после войны министерство внутренних дел «мобилизовало» его на должность начальника одного из лагерей.

– Убеждённый в том, что зоны набиты врагами народа, я вёл себя непримиримо и жёстко. А как же? Мы били фашистов, проливали

кровь, столько своих теряли, и каких своих, а *эти* в то самое время шкодили здесь, клеветали на советскую власть, мусорили, подрывали и прочее.

С. не скрыл, что люто презирал заключённых. И что крепко стоял на этом, пока этапом не привели в лагерь одного из его бывших однополчан. Он с ним ходил в атаку, бывал в таких переделках, после которых точно знаешь, храбр вояка или трусоват.

– Я помнил его как годного по всем меркам солдата, а тут – срок в десять лет! Пошёл во второй отдел, взял его формуляр, прочёл, что он такой-разэтакий. Был в плену, оказывается. И в общем «изменник Родины». Голова кругом пошла. Концы с концами не сводились. А если подтасовка? Так во имя чего? Кому нужно «дела» фабриковать? Или я, отвоёвав, ничего в жизни и людях не смыслю? Стал листать другие «дела». Одно схоже с другим. Все как под копирку.

И целостное сознание солдата-победителя дало трещину. Начистоту ни с кем не поговоришь, о разъяснениях высокого начальства и думать нечего.

– Маялся, маялся. Понял, что не могу больше нести службу. Попросил перевести на любую другую. Это квалифицировали как нарушение военной дисциплины, партийное отступничество. Карьере был положен конец. Последовала отставка. Очутился нигде и ни при чём.

Что уж тут скажешь?

– Не сожалейте о «нигде и ни при чём», – попробовала я привести всё к общему знаменателю. – Фронт прошли. Долг выполнили. Живым остались. Премии за рассказ получили. Допишите повесть, которую читали нам. Она будет очень интересной. И вообще, когда с совестью всё в порядке, дела обстоят не так уж плохо.

Вот тут-то и вскрылась суть его сегодняшней драмы:

– Не так уж и плохо, говорят? А если хуже не бывает? Они же мне всё перекрыли! Ни в журналах, ни в газетах не разрешают меня печатать. Премии я получил только потому, что рассказ был под девизом, а не под фамилией. Они следят за мной. Понимаете? Следят! – старался он донести до меня степень безысходности своего положения.

– Что вы, право, – прикинулась я непонимающей. – Так уж всё время и следят? И сейчас следят?

– Эх, вы! – ответил он. – Всюду. Всегда. И сейчас.

– Ну, в таком случае пусть себе и «несут службу».

И сразу вспомнила: 1950 год... После освобождения, зная, что в дальнем северном лагере погибает Платон Романович Зубрицкий, я

при первой командировке в Москву решила просить помощи у его близкого друга Ильи. Платон познакомил меня с ним ещё в юности, когда они оба приезжали в Ленинград. Позвонила ему:

– Может, помните? Такая-то. Платон... Ленинград... Хотела бы повидать вас...

– Конечно, помню. Да-да...

После длительного обдумывания он назначил встречу на Центральном телеграфе:

– К вам подойдёт моя жена. Обрисую ей вас. Надеюсь, вы не слишком изменились?

– Достаточно, чтобы не узнать...

«Дело в том, – растолковывала мне его супруга, – что после войны Илью мобилизовали на работу в органы. Он – капитан МГБ. Какая-либо связь с Платоном грозит ему неприятностями. Встреча с вами, простите, – тоже. Мы знаем, что вы сидели». На мой мгновенный отказ от встречи она заторопилась защитить мужа: «Нет-нет, пожалуйста, не горячитесь. Мой муж порядочный человек. Илья как был, так и остается другом Платона. Он очень хочет всё о нём узнать. Очень! Мы с вами вместе доедем до выхода из метро на Арбате, а дальше он просил вас, не подходя к нему, следовать за ним на некотором расстоянии».

Илья чурался улиц, телефонных будок. Каждый встречный мог быть шпиком, телефонная будка – пунктом связи с его же учреждением. Он вёл меня по одному ему известному лабиринту дворов и задворков Арбата. Отставая шагов на пятнадцать, я шла следом и кляла себя за то, что уступила этому иезуитскому плану встречи. Мне, только что сбросившей вериги лагерной поднадзорности, этот капитан МГБ увиделся до неприличия перепуганным служакой.

Лишь войдя в квартиру он протянул мне руку.

– Ну, здравствуйте. Проходите. Рассказывайте обо всём.

От того, что я заставила его предстать предо мной в таком неглиже, рассказ «обо всём» отменялся. Я попросила дать адреса московских друзей Платона и ушла.

И сейчас, сидя с молдавским писателем в парке, среди зелени и цветов, я поняла, что бедой для психики одного и другого была их осведомлённость о технологии тотального сыска *изнутри*. У меня было преимущество: без этих знаний я была свободнее их.

Провожая в Ленинград теперь уже не Володю, а меня, С. стал уговаривать:

– Вы просто обязаны написать о себе и обо всём *там*.

Не без горького лукавства я предложила ему:

– Давайте сделаем это вместе! В форме переписки между бывшей заключённой и бывшим начальником лагеря.

Он даже не улыбнулся в ответ.

С. был серьёзно болен. Приехал в ленинградскую пульмонологическую клинику лечиться голодом. По воскресеньям бывал у нас. Когда подошёл срок «выходить из голодовки», я готовила ему сыворотку, потом куриный бульон. Он был деликатен и тих. Только однажды сорвался так, что ещё раз подтвердил умение века добираться до корней наших нервов, когда там и глотать уже нечего.

Наезжая в Кишинёв, я неизменно справлялась о его здоровье. Он предлагал услуги: купить по его инвалидной книжке железнодорожный билет без очереди или доехать до вокзала на его одряхлевшей «Волге».

И всё же он поборол недуг страха.

Мы виделись, как потом оказалось, в последний раз. Республики уже «самоопределялись». Негодуя на тех, кто ратовал за это для Молдавии, он пришёл в тот же парк и на ту же скамью с докладными записками, которые собирался отправить в Верховный Совет:

– Я изложил здесь всё по пунктам. Нельзя Молдавии отделяться от России. Глупцы! Они видят брата в нишей Румынии.

Он не побоялся изложить свои доводы письменно, но из осторожности нёс свои бумаги в коробке из-под обуви.

Это был хороший, очень честный человек, воин, защищавший родину.

Когда он умер, опубликовать некролог, по-видимому, не разрешили.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

От Нели Вексель, сокурсницы, эмигрировавшей одной из первых, письма приходили из стран, в которых она находила работу как режиссёр или отдыхала. На конвертах стояли штампы Венгрии, Греции, Израиля, Швеции. В Швеции она поставила интереснейший спектакль по пьесе Чехова «Три сестры». Видеозапись дала нам возможность его оценить.

Ленинград она навестила лет через восемь после отъезда. Жила у нас. А затем от неё прилетело лёгкое, как пёрышко, письмо из Барселоны, где она проводила мастер-класс для актёров: «Всё время думаю здесь о Вас. Не знаю, как и чем, но каким-то образом Вы связаны с этой землёй. Хочу Вас здесь видеть. Высылаю приглашение».

Вскоре к этому приглашению подверсталось ещё одно. Старший внук Володи – Вова, ставший к тому времени довольно известным математиком и выезжавший на симпозиумы в разные страны, попросил нас принять у себя четверых его друзей из Франции. Жильём они были обеспечены, обедать приходили к нам. Мы подыскивали им для экскурсий владеющих французским языком гидов, доставали билеты в театры. Уезжая, от имени всех четверых французенка Клер пригласила меня приехать в Париж и остановиться у неё.

В сентябре 1990 года я купила билет в Барселону – не на самолёт, а на поезд. Это давало мне возможность увидеть Германию и пару дней побыть в Париже. При этом возникло одно мучительное для меня обстоятельство: Володя надеялся, что я остановлюсь в Берлине, чтобы развязать дурной узел несложившихся отношений с его сестрой Раей.

Имея в виду безденежье, руководство к парижской части вояжа мне пункт за пунктом разработала редактор моей рукописи Светлана Дружинина. Исключалось многое: посещение Лувра, театров, кладбища Сент-Женевьев, речной трамвай по Сене, чашка кофе в центре города. Получалось: я могла насладиться Парижем только частично – походить по нему, посмотреть витражи в церкви Сент-Шапель, посетить музей Клюни.

В Париже у Клер была более чем скромная квартирка, тем не менее француженка приняла радушно. Уступила свою спальню. Утром, перед её уходом на работу, мы по-английски оговаривали мои маршруты. Из дома выходили вместе. Клер шла к метро, а я садилась в автобус и ехала в центр.

Прежде всего мне хотелось увидеть собор Парижской Богоматери.

Высокие, узкие готические своды. Ряды пламенеющих свечей в красных пластмассовых стаканчиках с порога отсекали внешний мир. Чтобы освоиться, я дошла до апсиды, села на одно из «мест для молчания». Стала спокойно рассматривать библейские сюжеты на разноцветных витражах. Звучал орган, и мало-помалу внутренняя активность собора полностью подчинила меня себе, беспрепятственно вскрыла все заштукатуренные швы прикрывавших меня заплат. Кажется, нигде и никогда я так откровенно и беззастенчиво не плакала, как в этом «зачитанном» соборе. Плакала обо всём и обо всех, что было исповедью и молитвой одновременно.

С места подняться смогла часа через два. Вышла из храма. Было тепло. По земле расхаживали раскормленные голуби. Тут и там щёлкали фотоаппаратами туристы. Особенно много было японцев. Куда-то я было направилась, но остановилась. Собор не отпускал меня. Я вернулась на те же «места для молчания», чтобы просто успокоиться.

Может, для душевной разгрузки мне и была назначена эта точка земли: Франция–Париж–Нотр-Дам.

На ходу перекусывая батоном, я за два дня набродилась по Парижу, по набережным Сены, разглядывала на книжных лотках старые книги, открытки, иконки. Но противостоять желанию проехать на пароходике по реке всё-таки не смогла. С открытой палубы нагляделась на вереницу парижских домов с мансардами, с чугунными плетениями узоров на балконных решётках.

А по Елисейским Полям, по ночному Парижу, с приключениями и угощением в кафе, меня водила вся компания французских друзей Вовочки.

С Ириной Баскиной мы встретились, когда я уже возвращалась из Испании. Тогда я и побывала в её маленькой парижской квартире, количеством книг и картин напоминавшей ленинградскую. Ирина преподавала в университете историю цивилизации, писала рецензии на спектакли, пеклась о художниках, организовывала им вернисажи и заботилась о своём шикарном коте по имени Террорист.

До Ирины дошли только слухи о том, что наш сокурсник отнёс её посылку с книгами в парторганизацию, что в ГБ вызывали весь курс, интересовались её «деятельностью».

Спрашивать, что принёс Ирине отъезд из СССР, было излишне. Одного ощущения, что она живёт в свободном мире, для её независимой натуры было, видимо, достаточно. Хотя отдачи это требовало полной и сверх того.

Милая журналистка Элен Шатлен (нас познакомила Ирина) свозила меня на своей машине на Монмартр и поводила по Центру Помпиду.

Как и все, я прониклась неизъяснимой прелестью Парижа. Влюбилась в него.

Через Францию до испанской границы меня мчал скоростной поезд. Городки с черепичными крышами домов, утопавшие в садах, смотрелись через окно вагона необычайно нарядно. Сегодняшняя Франция не посрамляла ту, что была так хорошо известна по книгам, гравюрам и фильмам.

Ближе к Испании пейзаж стал меняться. Скалы в прибрежной полосе Средиземного моря выглядели диче и угрюмее. Дома были скромнее.

В Монпелье предстояла пересадка на Барселону. Расположившись прямо на полу, «цыгане шумною толпой» ели, пили, кормили грудью детей. Более сдержанно, чем в России, но знакомо попрошайничали.

Когда поезд подошёл к Барселоне, стрелки на часах показывали двенадцать ночи. Только что закончившая работу красивая, элегантно одетая Неля выглядела уверенной в себе, но усталой. Нам с ней, оказывается, надо было совершить ещё одну пересадку, уже на пригородный поезд, так как квартиру для нас она сняла в ближнем городке Эль-Масноу. К месту назначения мы прибыли в половине второго.

Городок раскинулся по берегу Средиземного моря. Возле морской кромки сияло огнями открытое для ночных посетителей кафе. За выносными столиками сидел только один полуночник.

– Что-нибудь хотите? – спросила Неля.

– Разве что стакан воды.

Я была взволнована переездом, тишиной ночи. Хотелось просто сидеть, осознавать реальность плещущих о берег волн Средиземного моря, благословив каприз сокурсницы, пригласившей меня в экзотическую Испанию.

– Нам надо ещё немного подняться в гору, – поторопила Неля.

Мы проходили мимо особнячков и садов за высокими заборами. Городок был в самом деле небольшой. Но едва мы открыли парадную дверь четырёхэтажного дома, где Неля сняла квартиру, как тут же в холле зажёгся по-столичному яркий электрический свет, осветивший ковёр, две кадки с раскидистыми цветущими олеандрами и показательную чистоту подъезда. Бесшумный лифт поднял нас на третий этаж.

Неля заняла маленькую комнатушку, а меня провела в уютную хозяйскую спальню, где после двенадцатичасового пути я тут же провалилась в сон. Проснувшись в темноте, никак не могла взять в толк, где нахожусь. Уж слишком приближены были ко мне свисающие с неба звезды. Раз так, значит, я лежу на земле? Но разве возможно, чтобы земля была такой удобной и мягкой?

Утром Неля объяснила, что хозяйка квартиры, испанка Мэрчи, нанимала художника нарисовать флуоресцентными красками на потолке спальни созвездие, под которым она родилась. Одно это лучше всего остального помогло понять, что я нахожусь в незнакомой для меня действительности.

Трёхкомнатная квартира с мраморными полами, с удобной и добротной мебелью. Сияющей белизны ванная комната с бездной цветных замысловатых флаконов с лосьонами, кремами, благовонными маслами. Современна оборудованная кухня.

Достопримечательностью квартиры был, конечно, балкон с видом на море. Впрочем, какой там балкон! – терраса с уймой вазонов и ящиков, в которых были рассажены всевозможных оттенков и форм цветы. В этот сад на третьем этаже был даже выведен шланг для полива. Собираясь пить кофе или завтракать, мы выносили столик на эту террасу. А кресла ожидали нас там круглосуточно.

Даже подумать было страшно, во что обошлось Неле это райское жильё!

Показывая Эль-Масноу, Неля завела меня к хозяйке, у которой снимала комнату в прежние приезды в Испанию. «Это мой друг из Советского Союза», – отрекомендовала она меня восьмидесятилетней женщине маленького роста. Темпераментная испанка в удивлении всплеснула руками, воскликнула: «Оу-оу! Комуниста!» и помчалась в подвал за трёхлитровой бутылкой вина. Запомнилось, однако, не вино, а небольшое патио. Пространство внутреннего дворика без крыши позволяло приобщаться к мирозданию, ощущать его под боком – ночью и днём, с солнцем и луной и со всеми временами года.

Палило солнце. Манило море. Установив на берегу палатку, перед тем как уйти плавать Неля присела возле меня на песок. Многозначительно помолчала и, будто вручая потаённый ключ к двухнедельному отдыху, выдала мне задание:

– Прошу вас, сидите и просто смотрите на всё, что вокруг... Я плаваю долго. Вернусь минут через сорок...

Неля пригласила меня сюда, чтобы подарить и разделить со мной покой, в котором нуждалась, который находила здесь. Это был невообразимо щедрый и мудрый подарок.

Она и впрямь уплыла далеко. А я, полежав в забытьи, стала оглядывать пляж и людей. Невдалеке расположился дед с внуком лет пяти. Ребёнок шалил. Попустительствуя, дед молча, улыбкой и жестами, подыгрывал ему. Девушки загорали без лифчиков. Парень уносил на руках возлюбленную в море. Брызгались и ныряли дети. Кто-то, лёжа под зонтиком, читал. Простором и свежестью пахло Средиземное море. Мир? Мирность? Да. В естественном поведении людей проглядывала не только беспечность отдыхающих, но и невозмутимость уверенных в себе и в своей жизни людей.

Неля писала мне, что ей кажется, будто я каким-то образом связана с этой землёй. Видимой связи с Испанией не было. Но Гражданская война 1936–1939 годов, гордые установки республиканцев: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», «No pasapan!» – крепко запали в память советской школьницы. Воевавшие в Испании представлялись нам героями. Увы, к власти тогда пришёл диктатор Франко. Теперь же, через пятьдесят четыре года, Испанией снова правил монарх. Любили его, однако, не как наследника династии Бурбонов, а за личное мужество и отвагу.

Историю этой страны регулировали достоинство и мудрость нации. Я помнила кадры кинохроники: испанские матери в чёрных одеждах пересчитывали погибших сыновей и горем своим, статуарностью требовали прекращения бойни. Спокойствие общества, говорят, зависит от справедливости. Её здесь – хотели.

Ко мне по-английски обратилась подошедшая женщина. Неля предупредила, что на пляж придут её друзья: француженка Элизабет с мужем, перуанцем Эмилио. Оба были высокого роста, худощавые, красивые, на вид чуть старше пятидесяти. До появления Нели мы кое-как изъяснялись на английском, восполняя нехватку слов улыбкой. Когда вернулась Неля, они принялись болтать по-французски.

После ухода друзей Неля объявила:

– Мы с вами завтра приглашены к ним на ужин!

Подошёл час сиесты. Все, кто находился на пляже, разошлись по домам.

Когда я отправилась купаться, пляж был почти пуст.

Отплыв от берега на приличное расстояние, я услышала сзади чьё-то сбивчивое, учащенное дыхание. Казалось, лихач-мальчишка задался целью во что бы то ни стало меня перегнать. Я обернулась. Меня торопила настичь огромная собака. Это было так неожиданно, что, не успев осмыслить увиденное, я обратилась к собаке:

– Зачем ты так далеко заплыла? Смотри, как запыхалась.

Собака чуть сбавила темп, но продолжала плыть.

– Чего ты от меня хочешь?

Удерживая дистанцию, собака упорно плыла за мной.

Уже не на шутку взволновавшись, я ещё раз спросила её:

– Ну, в чём дело? Мне что, надо вернуться?

В ту же секунду собака развернулась и поплыла к берегу. Мне ничего не оставалось, как послушно последовать за нею.

Опередив меня, собака выскочила на берег, отряхнулась и побежала куда-то вправо.

Стоявшая у воды Неля с неопишуемой тревогой стала допрашивать меня:

– Что это было, Тамара Владимировна?

– Не знаю. Не поняла. Собака хотела меня от чего-то предостеречь.

– Но от чего?

«От чего?» Увы, собака этого не объяснила...

– Вы не можете идти в этом платье на ужин к Элизабет, – придиричливо осматривала и браковала мои «туалеты» Неля, прожившая двенадцать лет в Европе. – И эта причёска – совсем не ваша. Мы с Элизабет отведём вас к мастеру, и вам сделают модную стрижку. Стрижка будет вам к лицу.

– Помилуйте, я не хочу делать стрижку! – стала я отбиваться.

Но две дамы в полном согласии друг с другом уже вели меня на заклание моде в какую-то суперпарикмахерскую, располагавшуюся на набережной рядом с дорогими магазинами.

После одного эпизода я вообще никогда к парикмахерским не приближалась. В первый после лагеря приезд в Ленинград, проходя по Невскому мимо одного из этих заведений, я через окно загляделась на его уют. Под абажуром настольной лампы, в её оранжевом кругу за маникюрным столиком священнодействовала мастерица, задушевно воркуя с клиенткой. Мир, в котором за тобой могут ухаживать,

делать причёску, маникюр, и раньше не был мной обжит. Но вот он, этот мир. Он всплыл, он наяву и рядом. Забыв, что мои руки много лет были орудием производства на земле и на лесоповале, я не устояла и зашла в парикмахерскую.

«Окуните руку в ванночку. Дайте этот палец, дайте тот», – чеканила маникюрша. Но мои негибкие, непослушные пальцы не отзывались ни на одну из её команд. Я не справлялась с их очередностью. Мастерница поглядывала на меня, как на тупицу в шапке не по Сеньке. Совершая над собой героическое усилие, чтобы не расплакаться, я пережила тогда полную меру унижения и стыда. С тех пор я затаила обиду на все парикмахерские мира.

В той средиземноморской обители красоты мастерница-испанка, прищурив глаза, оглядывала меня с разных позиций. И определившись в решении, резюмировала:

– Стрижка мадам не пойдёт.

– Тогда сделайте причёску, которая, по-вашему, будет ей к лицу, – не отступились мои революционно настроенные спутницы.

Неле так хотелось преобразить меня в современную светскую даму, что, невзирая на мольбы о пощаде, она настояла на том, чтобы я примерила её длинную, до пола, юбку в яркую желто-зеленую и красно-синюю полосу и такую же яркую блузу. Экстравагантность туалета вызвала к небу, но, Бог ты мой, испанские земли были так далёко от дома! В альковах здесь флуоресцентными красками рисовали на потолках созвездия. Я приняла Нелины условия, её азарт. Отправилась на приём в сумасшедше-ярком одеянии с той же мерой вызывающей обречённости, с какой носила когда-то лагерную робу в разноцветных заплатках.

Моя молодая подруга озорно хохотала, переводя с испанского, когда обо мне говорили: «Сеньора очень красива!» Когда субъекту семьдесят с лишним и комплименты припозднились лет на сорок пять, ничего не остаётся как включиться в отважную и жестокую игру-жизнь.

В доме Элизабет всё было из стародавних времён: портреты предков и пейзажи Рейсдала в дорогих рамах, мебель красного дерева, посуда, бокалы в серебряной оправе, гортанный бой часов. На хозяйке было красивое, зеленоватого цвета платье. На руках – кольца, позвякивающие браслеты. Шею охватывал дутый позолоченный обруч.

Стол был накрыт на веранде. Эмилио беседовал там с мужчиной лет сорока пяти. Гости представили: «Это наш знакомый – Митко. Приехал из Болгарии».

– Мне не нравится этот человек, – сказала я Неле, как только мы отошли.

– Чем?

– Пока не знаю.

За ужином, впрочем, всё было мило. Дыхание моря. Негромкая музыка. Непривычного вкуса вино. Неразгаданные блюда, приготовленные Элизабет.

У Нели был редкостный талант осваивать языки, поэтому она с завидной легкостью включалась в беседы, которые велись на французском, немецком и даже на испанском. Мне же оставалось только догадываться, что так веселит, а что заставляет в удивлении поднимать брови собравшихся здесь людей. И, конечно, я была благодарна Неле, когда в паузах она успевала что-то для меня перевести.

По возвращении с ужина, желая выказать свою осведомлённость в дамских украшениях, я спросила у Нели:

– Всё в их доме такое дорогое, подлинное – почему же на Элизабет не настоящие драгоценности?

– Что значит «не настоящие»?

– Ну вот позолоченная дуга на шее...

– Но все её украшения из чистейшего перуанского золота! – залилась смехом Неля.

Развеселилась тут и я.

Ранней осенью в Испании устраиваются карнавалы. Перед днём Fiesta de la Merce (праздник в честь покровительницы Барселоны) нам посоветовали: «Если поедете в Барселону, наденьте всё самое что ни на есть худшее». Решив, что нас разыгрывают, мы принарядились.

Занимавшиеся у Нели актёры, мексиканка Юлия и её муж – немец Франц, провели нас до начала празднеств по городу, показав несколько мест, откуда брали старт марши и шоу. Я была изумлена, увидев, что основную работу организаторы карнавала препоручают юнцам и девушкам лет шестнадцати-восемнадцати, обученным пиротехнике и досконально изучившим план города со всеми его улицами и завитками переулков. Они умели до секунд просчитывать время продвижения колонн, чтобы в определённой точке слиться с тем или другим шествием.

Вовлечённые в атмосферу праздника, люди в карнавальных масках и без них следовали за бутафорскими, огромных размеров драконами, птицами и ящерами. Я и вообразить себе не могла, что почтен-

ные граждане могут так дружно и самозабвенно предаваться карнавальным утехам. Неожиданно мы с Нелей попали в весёлый, бездумный людской водоворот, выдавивший нас с центральной улицы в параллельный переулок, по которому тоже пронесли макеты чудищ, изрыгавших огонь. Искры разлетались во все стороны. И только в кутерьме и тесноте узкого переулочка мы оценили совет одеться похуже. Заряженная бесшабашным весельем, пронятая зноем дня публика, закидывая вверх головы, умоляла жителей квартала лить с балконов воду, что те с охотой и совершали. Жаждающих поостыть окатывали с головы до ног. Кто-то шарахался прочь от искр и от воды, кого-то толпа прижимала к стенам домов. Меня вдруг куда-то оттеснили от Нели... Раз-другой где-то мелькнул её головной убор, а затем я совсем потеряла её из виду. Толпа двигалась в прихотливом направлении, растекалась по незнакомым улицам и переулкам Барселоны... С клочком толпы меня в конце концов вынесло на главную улицу, по которой чеканили шаг юные оркестранты в красных мундирах с позолотой и киверах с кистями...

Не имея понятия, в какой части города нахожусь, я искала глазами скамью, чтобы сесть и обдумать, что следует предпринять. Наобум свернула на улицу, ведущую к небольшой площади, также забитой людьми, и вдруг увидела Юлию и Франца. Когда же через какие-то пятнадцать минут в многотысячной бурлящей толчее мы увидели Нелю, то ничем, кроме мистики, объяснить этого не могли.

– Ваша собака из моря обернулась невидимкой и вывела нас друг к другу, – высказалась Неля.

– Она! Она!

Из вечерних представлений карнавального дня мне было предложены на выбор фламенко, оперные певцы, гитары и классическая музыка с цветными фонтанами у Национального дворца.

– Последнее! – выбрала я.

Симфонии Моцарта, Гайдна сопровождалась то взвивавшимися ввысь, то ниспадавшими, то скрещивавшимися разноцветными струями могучих фонтанов. Как на скамьях, зрители сидели на ступенях лестницы, ведущей к дворцу.

Тут же, на площади, шла торговля веерами, масками, пирожками, мороженым. С желающих художники при электрическом свете писали портреты.

Всё чаще вглядываясь в черноту неба, я уже хотела отделиться от буйства звуков и красок, очутиться в тишине Эль-Масноу.

Непонравившийся мне болгарин Митко раза три сопровождал нас в красавицу Барселону. Был ненавязчив, малоинтересен. Присутствовал, казалось, и всё. И тем не менее меня не оставляло ощущение: всё время что-то происходит.

В Барселоне на бульваре продавались билеты на кресла, в которых можно было отдохнуть, рассматривая со стороны бурлящую жизнь. От зрелища меня отвлекала мысль о почтовом ящике. Я хотела опустить письмо, адресованное живущим здесь ленинградским друзьям – Асе Латышевой и Борису Ротенштейну. Спросила Нелю, где тут поблизости может быть почта. Неля пожалала плечами: не знаю, сейчас, мол, не время. Случайно оглянувшись на Митко, удивилась мелькнувшему в его глазах сочувствию. По-русски он не понимал. В чём тогда причина? Я отнесла его реакцию к тону Нелиного ответа. Едва мы встали с кресел, как Митко будто случайно увидел конверт и, обратившись к Неле по-испански, предложил отправить моё письмо.

Когда мы были в Барселоне в третий раз, Неле предстояла очередная встреча с актёрами. А я хотела побывать в соборе Святого Семейства Гауди. Митко вызвался меня сопровождать.

На входящих в собор с горельефа – сверху вниз – взирает Христос. За его затылком – не до конца зашторенный проём. Христос как бы посредничает между нами и мирозданием. Поскольку пять сужающихся кверху башен за оградой собора существуют независимо одна от другой, то, перешагнув порог, оказываешься не под крышей, а под открытым небом. Укрыться от Божьего ока как бы – нигде. Возможно, я что-то дофантазировала, но, восхитившись оригинальностью замысла архитектора, хотела поделиться впечатлением. Спутник вежливо переждал, пока я подыскивала английские слова, а затем с расчётом на эффект на отменном русском языке сказал:

– Интересное наблюдение. Мне это в голову не приходило.

Насколько же я здесь расслабилась, отключила своё «больное воображение»! Мысль о слезке ни разу не пришла в голову. Да и по возрасту я, честно говоря, считала себя уже «снятой с учёта».

На саморазоблачение Митко внешне я не отреагировала. Зачем? Мы с ним молча дошли до места встречи с Нелей. Прощаясь с нами у эскалатора метро, он сказал, что уезжает в Болгарию – и больше мы не увидимся. Не знаю, что Неля вычитала в подобии его улыбки, но мне он явно демонстрировал «дружелюбие» и мелькнувшее уже однажды усталое сочувствие. Коли так, сосуществование визави надзирающего и поднадзорной стало уже устаревшим и отыгранным

сюжетом. Требовались (по Треплеву) «новые формы». Да они уже, собственно, и были.

Сообщать Неле, что этот Митко прекрасно говорит по-русски, что он был ко мне или к нам обеим «приставлен», значило коснуться того, от чего она уехала в эмиграцию. Поэтому я рассказала Неле про «болгарина» через два года, при следующей встрече.

Двухнедельные впечатления от Испании были прекрасны, в избытке было «ситца и парчи». Мне оставалось встретиться с ленинградцами, которым было адресовано опущенное Митко письмо. А, кстати, не были ли и они под его присмотром?

Отъезд из Ленинграда в Испанию режиссёра Бориса Ротенштейна был вызван разного рода притеснениями. Для постановок он, с точки зрения начальства, не всегда брал «желательную» драматургию, а если «желательную», то «не так» её ставил. Дружба с правозащитниками, конфликты с чиновниками. Смирным он не был и не обещал стать. Попал в творческую блокаду, подвергся обструкции – и уехал.

В Барселоне ему выпал просто-напросто выдающийся успех. Актёры и студийцы его обожали. Некоторые из его спектаклей рецензенты называли блестящими.

В Барселоне, на площади Каталонии, в кафе, что на крыше гигантского супермаркета, он, его жена Ася и я отмечали счастливый поворот их судьбы шампанским и мороженым.

Каким-то седьмым чувством я ощущала, что поезд из Барселоны в Эль-Масноу, в который они меня усадили, – не тот. Попыталась дать им это понять. Они смеялись: «Значит, вы знаете здесь всё лучше, чем мы?»

Как раз в том пункте, где железнодорожные пути расходились в разные стороны, контролёр проверял мой билет. Только взглянув, он стал что-то торопливо втолковывать мне по-испански. В мою сторону повернулись даже те пассажиры, которые сидели спиной. Увидев реакцию находившихся в вагоне людей, я показала рукой на себя и на дверь: «Мне надо выйти?» И тут все разом заговорили, энергично закивали головами: «Да! Да! Да!»

Это общее участие оставалось утешением и тогда, когда я очутилась в одиннадцать часов вечера на пустой и тёмной платформе неизвестной станции.

Заслышав минут через сорок, что к станции приближается какой-то поезд, решила так: буду произносить «Эль-Масноу? Эль-Масноу?»

и указывать рукой то в одну, то в другую сторону. Но тут же увидела в первом вагоне подходившего поезда по пояс высунувшихся из окна друзей. Поняв, что права была я, они кинулись вдогонку выручать меня.

Уснуть в канун отъезда домой не удавалось. Накинув на себя плед, я вышла на террасу. Села в плетёное кресло. Чарующая тёплая ночь. Часы на башне ратуши били четыре.

Как мало мы всё-таки знаем про смысл существования! Может, Элизабет и Эмилио – эталон и мера? У них двое взрослых детей. Сын – известный дирижёр. Дочка – врач. Элизабет признавалась Неле, что у них счастливый брак, что они до сих пор «волнуют» друг друга. Они не бедны. Разве всего этого не достаточно для счастья? И неужели не достаточно?

И что же моя Неля? Отважная, великодушная, умеющая обращаться с каббалой, вычитывать в ней возможности человека?

Только после отъезда семьи Нели в эмиграцию я поняла своевременность её переключения с театроведения на режиссуру. Профессия театроведа ни при каких обстоятельствах не дала бы ей возможности устоять на ногах. К режиссуре же её подготовили семинары талантливейшего педагога А. И. Кацмана, которого она боготворила и верной ученицей которого была. Тренинги по актёрской технике, ежегодно проводимые ею в двух-трёх странах, способность к языкам, хорошая спортивная форма помогли ей выиграть жизненное сражение.

Когда она в первый раз как гостя приехала в Ленинград, мне удалось договориться в театральном училище, чтобы она провела там мастер-класс. Нас, нескольких её сокурсников по «6-А», присутствовавших на этих занятиях, поразила нестандартность предложенных ею упражнений и то, как мастерски она их выполняла сама. После её уроков студенты атаковали директора просьбами повторить встречу с ней.

Нелю переполняли постановочные идеи. Через два года после Испании она пригласила меня в Германию и показала три поставленных ею спектакля. Она пыталась разобраться в природе терроризма, в запутанности человеческих страстей. В спектакле по пьесе Стриндберга «Кто сильнее» она смело шла до конца в познании неистовства человеческих инстинктов и чувств.

Для детей она сочинила сценическую историю о том, что деревья знают про жизнь нечто более важное, чем люди. Владея иным пониманием живого, они соединяют нас с космическим миром, поддерживают нас, а мы их – убиваем.

В студенческие годы Неля, понятно, была гораздо больше связана с ровесниками по «б-А», чем со мной. Она была привлекательной, неунывающей, но в самой её органике существовало какое-то горемычное знание о крайностях жизни. Оно, кажется, и свело нас.

Наши завтраки на террасе, когда мы вели не заготовленные, но жизненно важные разговоры «обо всём на свете», были главным часом суток. Неля могла сказать:

– А вы знаете сегодняшнее отношение к вопросу предательства? Многие считают жизнь такой великой ценностью, ради которой не грех и предать.

И мы выясняли, что означает появление аргумента «сегодняшнее» применительно к заповедям...

Судорожные рывки страстей, безудержное желание свободы добавляли какой-то дьявольский дурман в законное право человека на неё. Эмиграция дала Неле не один суровый урок.

Необходимость зарабатывать на жизнь раскидала семью Нели по разным странам. Хозяйка Мэрчи спускалась к нам с верхнего этажа позвать Нелю к телефону, когда ей из Швеции звонил муж, из Франции – сын. После разговоров с ними она возвращалась умиротворённой. Комментарий всегда был один: «Всё равно мы – семья». Это было их обобщённым самосознанием. Но когда мы созванивались перед моим приездом в Испанию и я спросила, что ей привезти из России, она горько хохотнула и после паузы ответила:

– Привезите мне русскую сказку о Колобке.

И тут мне стало – жутко. За всё, за всех.

Неля возмущалась теми, кто приносил мне посылки для своих ленинградских родственников, равно как и мною – за то, что я не отказывалась их брать. В общей сложности посылок оказалось одиннадцать.

В вагоне поезда Неля попросила соседа, молодого человека, закинуть мои вещи на полку и при пересадке на Париж помочь их снять. Попутчик просьбу выполнил. В Монпелье вещи с полки снял, поставил их возле меня и направился к выходу со своим аккуратным кейсом в руке. Чётко преподанный урок гласил: не можешь с чем-то справиться сам, не возлагай нагрузку на другого. Ни к кому уже не обращаясь, я собственноручно перетащила вещи на другую платформу.

А в Париже Клер меня не встретила.

Для того чтобы позвонить ей (автоматы располагались тут же, на платформе), в кармане не нашлось и франка. Испанские же монеты

не годились. Все пассажиры ушли. Я прибегла к испытанной практике: перетаскивать вещи на несколько шагов вперёд и возвращаться за остальными. И тут увидела на соседней платформе пожилого человека в шляпе с широкими полями, подвёрнутыми по бокам. Он катил нагруженную чемоданами тележку к зданию вокзала и жестами давал мне понять, чтобы я стояла на месте, а он, дескать, отвезёт свои вещи и вернётся помочь мне.

Пожилой мексиканец в самом деле вернулся, прихватив тележку. О чём-то спрашивал на французском языке. Поняв, что мы не договоримся, ободряюще улыбнулся, погрузил мой скарб, довёз до здания вокзала, попросил кого-то последить за вещами и повёл меня в полицию. Полицейский лениво пододвинул телефонный аппарат.

Услышав, что я уже в Париже, Клер заахала, сказала, что письмо не пришло, что у неё полно гостей. Я должна написать на листке бумаги её адрес и дать таксисту, а она на месте расплатится.

Вместе с Клер у подъезда меня ожидало человек пять готовых помочь гостей.

Славно было понять, что испано-французские приключения с их полезными и для моего возраста уроками завершились. Утешало сознание, что и без знания языков можно не пропасть в «преогромном» мире.

В Берлин я прибыла утром 3-го октября 1990 года, в день воссоединения двух Германий. Неля позаботилась о том, чтобы меня встретил её друг, немецкий актер Ральф. Он помог сдать вещи в камеру хранения. Поезд на Ленинград отходил в полночь. Впереди был долгий день.

Казалось, решительно все жители западного и восточного секторов вышли из своих домов на площади и улицы. Праздничный, разукрашенный Берлин тяжело проворачивал беспокойные, возбуждённые людские толпы. Мы с Ральфом одолели длинную улицу Унтер-ден-Линден, прошли по улице Курфюрстендамм. Берлинцы пели, танцевали на мостовых, на возведённых подмостках, закусывали и пили пиво у множества расставленных повсюду ларьков и палаток. Берлинская стена была разобрана до основания. Лишь один фрагмент был оставлен как памятник. Праздник то полыхал, то гаснул. В одночасье он не мог освоить сам себя, развязать все узлы национальной драмы. На ступенях Рейхстага, у Бранденбургских ворот митинговали отдельные группы. Дух идеологического несогласия должен был отбушевать свой срок.

Здесь, в Берлине, Володина просьба позвонить Рае, навестить её, примирить нас всех превратилась в сущее наказание: «Смогу? Не смогу?» Мужу за восемьдесят, Рая ещё старше. Он о ней тревожится. Но я не понимала, с какой стороны подступиться. У меня опускались руки. Я попросила Ральфа показать мне Шаперштрассе, где жила Рая. Мы прошли с ним по этой небольшой и милой улице, даже посидели возле дома, в котором Володя провёл у сестры сорок дней. Не позвонив Рае на пути в Испанию, я поняла, что не смогу этого сделать и сейчас.

Утвердившись в том, что *не смогу*, согласилась на приглашение Ральфа пойти вечером на спектакль под названием «Mein Kampf». Ральф обещал, что мы уйдем после первого акта и до отхода поезда будет еще уйма времени. Первый акт оказался длинным. Ральф был так увлечён спектаклем, что отмахивался от моих попыток показать на часы: «No problem! No problem!»

Кончилось всё тем, что мы приехали не на тот вокзал. А когда сломая голову добрались до нужного, то увидели красные огоньки последнего вагона удалявшегося в сторону Ленинграда поезда. Такого в моей жизни ещё не случалось.

Наступившая ночь, тем временем, готовила такую тьму гримас, что и по сей день я вспоминаю её не иначе как живое, злобное существо.

Чтобы билет не утратил силы, я попросила Ральфа проставить на нём штамп опоздания на поезд. Ральф ушёл к кассам. Платформа была пуста. Я стояла одна возле вещей, когда появилась ватага агрессивных бритоголовых молодчиков. На плечо у одного из них на русский манер был закинут топор. Памятуя лагерную заповедь – не смотреть в глаза разогретым злобой уркам – я обречённо повернулась к ним спиной. Что меня уберегло – не ведаю. Через полчаса в многолюдном зале ожидания они нашли себе жертву – турчанку.

Ральф вернулся с информацией: мой железнодорожный билет недействителен, восстановлению не подлежит.

Зайдя в телефонную будку, он безрезультатно названивал знакомым, пытаясь устроить меня к кому-нибудь на ночлег. Праздник на улицах ещё продолжался. Телефоны безмолвствовали.

Ральф с товарищем не выехали из семиэтажного дома, поставленного на ремонт. Электричество, вода были в нём отключены, вход – заперт. Тем не менее в этом пустом и жутком доме я и просидела всю ночь на подоконнике, когда оба молодых человека ушли ночевать невесть куда.

Чувствуя себя виноватым, Ральф на следующее утро раздобыл деньги, купил новый билет. Вручил его мне, ушёл на репетицию и пообещал приехать на вокзал как можно раньше.

Озадаченная зловещими событиями бессонной ночи, отягощённая сознанием, что не смогла простить Раю спустя целых двенадцать лет после инцидента, я суеверно набрала номер её телефона:

– Здравствуйте, Рая. Говорит Володина жена, Тамара. Володя беспокоится о вашем здоровье. Просил меня позвонить и узнать, как вы себя чувствуете.

– Откуда вы говорите, Тамара? Вы что, в Берлине? – необычайно живо откликнулась она.

– Проездом.

– Куда вы едете? Где находитесь? Немедленно приезжайте ко мне!.. Что значит нет времени? Тогда я сейчас же беру такси и еду к вам. Диктуйте адрес.

Я проявила непреклонность, сказала, что исполняю только просьбу Володи и приехать к ней не успеваю. Она настаивала:

– Я живу в центре. Такси довезёт вас за десять-пятнадцать минут.

Почему вы не хотите сказать, где находитесь?

После нудного и тягостного спора я в конце концов согласилась:

– Хорошо. Я приеду.

– Я выйду вас встретить. Вы заблудитесь, не найдёте. *

– Не заблужусь. Я вчера была возле вашего дома, – не удержалась я.

– Были возле моего дома?.. И не зашли?

– И не зашла.

– Вы выглядите утомлённой. Примите душ. Отдохните, – хлопотливо встретила она меня. – Я сейчас попрошу соседку купить нам что-нибудь поесть.

Взволнованная воссоединением, празднествами минувшего дня, Рая была неузнаваемо оживлённой. Ни единым словом не коснувшись её визита в Ленинград, её хладнокровного «отчитывания», мы провели вместе несколько часов почти по-дружески. Казалось, до этого дня не были знакомы друг с другом.

Она в подробностях поведала мне о своём прошлом. В её изложении оно было ещё безжалостнее, чем в пересказе Володи. О годах, проведённых ею при нацистах в Берлине, о своём поругании она говорила безучастно, без эмоций, как пишут протокол. Жизнь её была чередой пережитых измен и предательств. Я поняла, что психологически она из своего прошлого не выбралась и не выберется никогда. Так же, как из него не выбралась я.

Общение её с сыном, проживавшим в другом городе, носило чисто деловой характер. Выстоять Рае помогли, как я поняла, практичный ум и сметливость. То, что в свои восемьдесят пять лет она ещё для заработка занималась вопросами недвижимости, говорило о её деятельной натуре.

– Меня ведь, Тамара, никто из родственников никогда не разыскивал. Ни до, ни после войны! – говорила она. – Ни братья, ни сестра! Даже Лев Славин, находясь в Берлине при подписании акта о капитуляции, не сделал попытки что-нибудь узнать обо мне.

Слушая её, я думала о том, что родные ей не расскажут, как, узнав, что она жива, затёрли её портрет, выбитый на семейном надгробье в Риге. И кто сможет признаться ей, перенёсшей столь тяжкие испытания, что одна строчка, написанная в те годы в анкете – «Сестра живёт за границей, в Германии», – могла порушить их жизнь?

– Вы верующий человек, Рая? – спросила я.

– Нет! – ответила она жёстко.

– Во что-то же вы верите?

– Ни во что!

Каждую из нас век перемолол на свой манер, но в одном мы узнали друг друга. Оказывается, мы обе боялись любого «после». Жил? Был? Не стало? И всё! Хватит. Так легче. Лишь бы вновь не испытать познанной в жизни боли. Только бы стёрлись все воспоминания о ней.

В категоричности ответов Раи была её правда, её опыт. Она жила без оболщений. Люди виделись ей корыстными, заинтересованными в её небольших деньгах. И вся она была переполненной чашей какого-то однобокого всеведения.

Сестра мужа раскладывала по тарелкам рыбу, копчёности, салат, принесённые соседкой. Всего понемногу, но всё дорогое. Я вспомнила, как она обвиняла меня в транжирстве, в излишней роскоши застолья, но увидела всё иначе, чем тогда.

Рядом сидел мало кому нужный, выжженный дотла человек. В какое-то мгновение мне показалось, что она никого не любит. Не может любить. Она не была в том повинна, поскольку когда-то отдавала себя целиком и мужу, и сыну. Мне стало страшно за неё. Такого рода выстуженность была образом моего личного страха. Как о самом для себя важном и главном, я просила высшие силы: наказывать меня, если заслуживаю, но только не лишать меня ДАРА ЛЮБИТЬ.

Сидя возле Раи, я благодарила Бога за опоздание на поезд, за перенесённые страхи прошедшей ночи, за всё, что вынудило меня на-

брать номер телефона женщины с такой переломанной судьбой. Мы были с нею из одного века, из разноязычных, но однотипных тоталитарных систем, а судьбы при них – неизбежно схожи.

В 1977 году, после своего визита в Ленинград, Рая выслала приглашение своей младшей племяннице Маше. Маша ездила к ней. Впоследствии, ближе познакомившись с Майей и Николаем Николаевичем, часто бывавшими в Берлине у друзей, Рая по-доброму отнеслась и к ним, и к их детям Вове и Андрюше.

Во время следующего своего визита в Берлин я почти ежедневно ездила к Рае в больницу. Её прооперировали после перелома шейки бедра. Медсестра вывозила её на веранду, выходящую в сад, где бил фонтан, а на клумбах алели и голубели цветы. Рая ожидала моего прихода. Я рассказывала ей о Володиных спектаклях, о наших с ним поездках на отдых, о его дочерях и внуках. Но главное, я, наконец, рассказала ей всё о её маме – моей свекрови. Рая с полным доверием приняла то, что касалось забот Марии Семёновны о детях и их семьях, и с категорическим недоверием отнеслась к рассказам о шутках матери или о том, как она просила купить ей бутылку хорошего пива.

Теперь она часто звонила нам в Ленинград. Поговорив с Володей, непременно просила дать трубку мне.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

До отъезда друзей в эмиграцию знакомство с их родственниками, с их окружением чаще всего бывало шапочным. Теперь же, при передаче друг другу писем и приветов из-за рубежа, с кем-то из них завязывались более тесные отношения. Так в восьмидесятые годы мы сблизились с Иреней Милевской, подругой Наты – старшей дочери Анки и Гриши Тamarченко.

Роль «винтиков», которую продолжала отводить гражданам социально-политическая система СССР, перестала в те годы устраивать человека. В людях уже выбродило ощущение себя как более сложной структуры. У какой-то части молодёжи, к примеру, это выразилось в кризисе духа. Нехватка кислорода в то глухое меланхолическое время прорывалась даже в песнях молодых:

Остановите Землю, я сойду.
Мама, я не в силах выжить
В этом бреду.

Бывало то и в эмиграции. Кто-то из четырнадцати-пятнадцатилетних подростков, оказавшихся лицом к лицу с новой средой, незнакомым языком и с совершенно иными подходами к жизни предпочитал уход из неё, не успевая познать самих себя и того, что человек вообще собою представляет.

Спохватившись, люди более зрелого возраста тоже стали всматриваться в собственный психобиологический мир, через который лунатически перешагивали в течение десятилетий. Количество тех, кто захотел осознать, с чем он теснее всего связан: с Богом, с традициями, с КПСС и со «строительством коммунизма» или с природой, заметно увеличилось. Как по волшебству появились психоаналитики. Активно набирали популярность коллективы аутотренинга, где советских людей громогласно призывали «любить себя». Для населения нашей страны такой уклон был одновременно и шоковым, и соблазнительным. И, как бы неуклюже он ни выглядел, для многих это стало поворотным пунктом от обезличенного существования к себе как к основному «резерву». У Чехова это выражено предельно кратко и ёмко: «Добывание себя из себя в качестве акта личной воли – един-

ственная продуктивная форма участия человека в собственной судьбе». Обществом это не предусматривалось и не было подготовлено. Духовной литературы было крайне мало. Старого толка книги давно не переиздавались.

В стремлении пробиться к пониманию проблемы «человек и жизнь» на философском уровне, в НИИ, где работала Ирена, сотрудники переводили и распечатывали для себя книги индийского мудреца Шри Ауробиндо, Блаватской, американского антрополога и этнографа Кастанеды и многих других. Учёный Кастанеда положил жизнь на то, чтобы передать американцам смысл уроков, полученных им при личном общении со старым мексиканцем, ведуну доном Хуаном, не имевшим никакого образования. Дон Хуан обладал знаниями такого рода, которые в нашем обиходе вообще не принимались в расчёт, самым категорическим образом игнорировались наукой.

Если бы я на Урале не залезала в пещеру на обрывистом берегу в желании спрятаться от проблем, не всматривалась бы в жизнь реки, в играща рыб, если бы не замечала, как одному ветру хочется подставить лицо, а от другого – укрыться, грамота ведуна не затронула бы меня. Но в бессловесных диалогах с уральской природой я поняла, что за постижением одной из тайн следует другая, ещё менее объяснимая, что решительно всё связано между собой и что природа не только мать-утешительница, но и – каратель.

Конкретно, доверие к грамоте ведуна возникло, как только я прочла о первом задании, полученном Кастанедой от учителя: отыскать на небольшой веранде дона Хуана *свою* точку. Потребность осознавать себя в подчинённости астральному плану Бытия не казалась мне бессмысленной. Возникавшая порой душевная согласованность с местом убеждала в том, что порой мне удавалось найти *мою* точку.

Погружение в беседы с Иреной Милевской после перевода очередной книги Кастанеды или похожей литературы и определило наше союзничество. Вообще при шаткости и валкости общественного самочувствия духовная устойчивость Ирены была необычайно притягательна. Её появление в доме таинственным образом налаживало настроение. Даже Володя, на дух не принимавший обсуждаемых нами книг, неизменно радовался визитам Ирены.

Общение с друзьями из этого умного поколения мне вообще очень много давало. Мой ближайший друг Кира Тевёровская, как и Ирена, покорила способностью полезно формулировать личный опыт своих отношений с жизнью и с людьми. «Надо учиться жить без тех, кому мы не нужны», – говорила Кира. «Откуда вы, собственно, берё-

те право на то, чтобы переделывать другого человека? – спрашивала Ирена. – Он же не по вашему замыслу создан?» Самих моих молодых подруг эти знания не спасали от боли, но выбираться из неразберихи чувств, похоже, помогали.

С сиддха-йогой познакомила меня тоже Ирена. И надо сказать, что в постулатах незнакомой мне йоговской системы не так уж многое меня удивляло. То, что при медитации человек может в собственных глубинах осознать среди многих «я» – своё Высшее, что «Бог обитает внутри нас и в виде нас», я кустарно познавала в неволе, когда не было сил её выносить, а как-то – выносила.

Неподалеку от Нью-Йорка, в горах Саут-Фоллсбурга находится ашрам Сиддха Йоги. По инициативе Гурумайи в 1992 году оттуда в Ленинград прибыла миссия сиддха-йоги в составе двенадцати человек. В качестве переводчиков эту группу сопровождали Века и Ната, дочери Тамарченко, и сын Наты Андрей.

В момент их приезда я была больна. Мне был прописан постельный режим. После уговоров и разъяснительных бесед Наты и Веки я согласилась на их предложение возить меня на машине к месту занятий и лекций – больше из-за желания видеться с ними, чем из интереса к йоге. Кто мог предвидеть, что одно из сопутствующих визиту этой миссии обстоятельств так ощутимо скажется на моей дальнейшей судьбе?

Приехавшие миссионеры оказались не отрешёнными, суховатыми монахами-свами, а современными американскими бизнесменами, ориентированными на духовную и физическую упорядоченность чувств. В целом их чистосердечные, лишённые корысти исповеди как раз и сводились к методам чеховского «добывания себя из себя».

Заключал те три встречи с американскими йогами так называемый «интенсив»: в этот день Гурумайи (их гуру) должна была «обратить свою духовную энергию и энергию последователей сиддха-йоги непосредственно на Россию».

Под «интенсив» был снят актовый зал Педагогического института имени Герцена. Чтобы каждый чувствовал себя ни от кого не зависимым, нас рассадили с разрядкой, через кресло. Должны были продемонстрировать американские видеоленты с проповедями Гурумайи. На этих видео-записях тысячная аудитория, преимущественно молодых американцев, слушала изящную и мудрую индианку. Проповедь её пестрела остроумными притчами, обличающими человеческие заблуждения и слабости. Тишина внимавшего ей зала то и дело

взрывалась смехом. Получалось, что, ассоциируя свои промахи с действиями персонажей притч, слушатели с немалым удовольствием смеялись над собой.

Из проповедей гуру следовало, что определяющими свойствами человека должны быть искренность и чистосердечие. Она подчёркивала: только в этом случае человеку может открыться доступ к духовному опыту. Только «распахивающему дверь в царство сердца раскрывается скрытая в нём тайна – огонь Сознания, божественного и вечного, неизменного Высшего Я, – говорила гуру. – Это и есть то, чем вы в действительности являетесь».

После урока, преподанного мне Векой в Нью-Джерси, язык энергий и йоги перестал быть чуждым для меня. Озадачивал один применяемый гуру термин – «игра сознания». Я никак не могла определить место «игры» рядом с искренностью и чистосердечием, пока не поняла, что под «игрой» надо понимать не форму отношений человека с миром, а характер и обогащённость самой творческой силы.

В перерыве присутствующие вышли в фойе. Собравшись с силами, поднялась и я. И тут же ко мне подошла Аля Яровая с молодым человеком, приехавшим в составе американской миссии:

– Это Эндрю Шарп, актёр из Австралии, – представила она его. – Хочет познакомиться с русской актрисой.

И, повернувшись вполоборота, тихо добавила: «Был бы не прочь прийти к вам в гости».

Это был тот уникальный случай, когда полыхавшее в глазах человека любопытство «кричало» о его искренности и чистосердечии. Его распахнутость просто требовала к себе индивидуального внимания. Не отозваться на интерес австралийца к людям другой страны казалось недопустимым грехом. Вопреки нездоровью, я пригласила его прийти в наш дом.

Эндрю Шарпа сопровождал переводчик – Андрей, внук Анки и Гриши Тамарченко. Пока я накрывала на стол, муж расспрашивал Эндрю о театрах и киностудиях Австралии, о сыгранных им ролях.

– О-о! Однажды мне пришлось играть роль майора вашего КГБ! – вскинулся актёр.

– Таким его играли? – сведя брови и изобразив на лице твёрдокаменность, спросила я.

Австралиец весело рассмеялся и отрицательно замотал головой. Мимикой показал, что имел в виду умного и даже галантного офицера.

Эндрю рассматривал висевшие на стенах фотографии, книги на стеллажах, безделушки. В российском доме его, казалось, занимало

решительно всё. Любопытство иностранца вполне укладывалось в рамки хорошего тона. Он был воспитан. И всё было бы мило. Но когда с неотрывным вниманием наблюдавший за всем, что я делала, чужестранец вдруг смолк и глаза его увлажнились, я не на шутку растерялась: «В чем дело? Как с этим обойтись?»

То, что желание Эндрю Шарпа прийти в наш дом вызвано рассказом Али Яровой о моём прошлом, угадать было нетрудно. Я уже говорила, что сокурсница обладала поразительным талантом соучастия в судьбе другого человека.

– Что-то случилось, Эндрю? – нерешительно спросила я.

– Я хотел... я хочу понять, как можно было жить без свободы, и – не могу! – ответил он, не стесняясь намернувшихся слёз.

Напротив меня сидел человек с земель, омываемых Индийским и Тихим океанами, ужаснувшийся чужой и чуждой ему судьбе. Его занимал не государственный, не политический аспект, а экзистенциальный смысл несвободы. Для него свобода была – дыханием, первым и безоговорочным условием существования.

Меня никто и никогда не поражал *такой* первородностью удивления и неуёмным желанием вникнуть во что-то ещё не понятное. Он не мог себе представить, как можно было дышать без свободы, а я много лет прожила – без неё.

Я дрогнула перед годившимся мне в сыновья молодым человеком. Не от растроганности. Больше, думаю, от стыда – за то, что смогла приспособиться к отсутствию этой свободы. Так я однажды была смята одним сном. Я находилась в стаде людей, понукаемом погонщиком с хлыстом в руке. Столь же реальным, как кожаный хлыст, удара которого я ожидала, было ощущение ПРИСУТСТВИЯ КОГО-ТО НЕЗРИМОГО. Этот НЕЗРИМЫЙ наблюдал за мной с укоризной, граничащей с презрением. Я понимала, как эта укоризна несправедлива, но ничего не могла ни придумать, ни предпринять, чтобы вырваться из стада невольников. Потому погибала от стыда перед НЕЗРИМЫМ.

– Что ты там сделала с Эндрю? – кричали в две трубки позвонившие из Америки Анка и Гриша Тмарченко.

– О чём вы?

– Эндрю с группой вернулся в США. Перед отъездом в Австралию пришёл к нам знакомиться. Наши дети сказали ему, что ты наш друг. Он собирается добывать деньги на издание твоей рукописи.

– Бред! Что вы! С какой стати? Или забыли, куда ведет дорога, вымощенная благими намерениями?

И разве что смехок обежал сердце: «Ну и ну! Помысел-то каков!»

А месяцев через восемь Гриша взволнованно говорил мне по телефону:

– Слушай внимательно, Томочка! Знаешь, этот австралиец Эндрю действительно собрал деньги на издание твоей рукописи. Всё серьёзно. Мы здесь с Мелиссой Смит и Галей Шабельской сколько-то доложили. В Петербург едет человек, деньги посылаем с ним. Запоминай, что ты должна сделать. Первое: пригласи ту знакомую из газеты «Час пик», которая хотела издать твои воспоминания. Пригласи также профессора Бориса Фёдоровича Егорова. Пусть он эти деньги передаст ей из рук в руки и возьмёт расписку. Как заключать договор, что в нём должно быть непременно оговорено, тебе тоже подскажет Борис Фёдорович. Я сейчас буду ему звонить. Ты всё поняла?

– Нет! Конечно же, нет! Ничего я не поняла... Помилуйте! Дайте опомниться!

Шесть лет назад Константин Лазаревич Рудницкий вознамерился хлопотать о выходе книги в государственном издательстве. Я могла это понять: его призывала к тому судьба матери. Но почему актёр из Австралии хочет оплатить издание воспоминаний человека, которого только единожды видел в чужой стране?! По незнанию языка не прочитав рукописи? По той же причине не имея перспектив ознакомиться с книгой в будущем? Константин Лазаревич Рудницкий и австралийский актёр Эндрю Шарп? Почему?

Всё было как во сне. Я действовала «согласно предписанию».

Задолго до этого театральным критик Елена Алексеева распропагандировала рукопись молодому редактору одного из отделов газеты «Час пик» Маргарите Тоскиной, только-только организовавшей собственное издательство. Маргарита Васильевна проявила к изданию воспоминаний глубокий интерес.

И вот мы с Володей сидим напротив Бориса Фёдоровича и Маргариты Васильевны. Деньги вручены ей, договор заключён...

Мы с издательницей подбираем фотографии. Подыскиваем книге название. Маргарита Васильевна отвергает одно за другим. Наконец соглашается на видоизменённую строку Марины Цветаевой: «Молодость! Мой сапожок непарный!» я предлагаю заменить на «Жизнь – сапожок непарный»...

Через некоторое время она приносит эскиз обложки. Допытывается: «Устраивает? Нравится?» Я не очень понимаю его. На эскизе изображено что-то вроде вдребезги разлетевшегося метеорита. Это чему-то отвечает. Говорю: «Да!»

Маргарита Васильевна приносит корректуру первой главы...

И вскоре, не доверяя ни глазам, ни пальцам, я держу в руках КНИГУ.

Она – часть меня! Но я её никогда не смогла перечитать. Похоже, и не перечту.

Когда книга вышла, Елена Сергеевна Алексеева предложила устроить в Доме актёра презентацию. Мне было страшно. Едва ли не до потери сознания.

Когда-то в фильме Эдуардо де Филиппо «Неаполь – город миллионеров» меня потряс такой эпизод: с фронта Второй мировой возвращается домой итальянец, отец семейства. Чаёт одного: рассказать жене, родственникам, как существовал под бомбёжками и пулями, чего натерпелся, когда армия отступала. Но его никто не слушает. Это никому не интересно. Семья, соседи сами хватили лиха: перебиваясь «с хлеба на квас», спекулировали, выкручивались, как могли. Страдания войны были никому не в новинку. И вот вояку озарило: купить уличным мальчишкам по палочке эскимо! Они будут его уплетать, а он – рассказывать. Он успевал лишь подступиться к фабуле, как покончившие с лакомством ребята разбежались.

Примерно так я представляла себе презентацию и судьбу книги.

Увидев, как заполняется Карельская гостиная Дома актёра, как в зал входят театральные педагоги, у которых я занималась, известные театроведы, сокурсники, знакомые, я испытала только испуг. Мне предстояло находиться на сцене без роли, один на один с аудиторией и с пережитым.

Я намерена была говорить о времени, а рассказала про первую ночь в тюрьме: про карцер, в который меня отвели, про то, как я пыталась в его кромешной тьме нащупать какой-нибудь уступ, чтобы сесть, но были только стены и каменный пол. Я до ужаса боялась нашествия крыс. От холода решила натянуть на голову шляпу, которую держала в руках, и обнаружила там два ломтика хлеба с котлетой, подложенные следователем...

В зале стояла озадачивающая тишина. Потом последовало несколько коротких и скупых вопросов; нестерпимо горячие слова друзей. И поразившее меня выступление наблюдателя – мужа: «...Она может работать по четырнадцать-шестнадцать часов в сутки... Книгу писала по ночам... Мои дети и внуки звонят не мне, а ей. Узнают, как я себя чувствую, и тут же просят: “Дед, дай трубку тётё Тамаре”...»

Встречи прошли в музее Анны Ахматовой, в польском консульстве. Инициативная и щедрая Лариса Погосьян провела презента-

цию в библиотечно-культурном комплексе Кировского района. Меня приглашали то в одну организацию, то в другую. Залы оказывались переполненными. На сцену выходили дети и внуки погибших в лагерях людей, поведывали схожие истории. Даже я не представляла, сколько в Петербурге семей, пострадавших от репрессий.

День прилёта Анны Владимировны и Григория Евсеевича Тамарченко из США в Петербург совпал со встречей с читателями в музее А. С. Пушкина. Вопрос: «Каким образом была издана книга?» – на таких встречах возникал неизменно. Я обычно рассказывала об Эндрю так же, как это описано выше. Так же изложила эту историю и на сей раз. И вдруг услышала с места голос Анны Владимировны:

– Ты не всё рассказала.

– Я что-то упустила? – заволновалась я. – Что?

– Из твоего рассказа следует, что Эндрю заработал деньги как актёр театра и кино или просто собрал их.

– Да! А разве было иначе?

– Существенно иначе, – поднялась с места Анна Владимировна. – Чтобы заработать деньги на издание этой книги, Эндрю устроился у себя в Австралии мойщиком посуды в ресторан и проработал там полгода.

Как жаль: Эндрю Шарп не слышал долгих аплодисментов зала.

На фотографии, присланной им из Австралии, они сидят за столом вдвоём с матерью; перед ними лежит не прочитанная ими книга, изданная на незнакомом языке, о непонятной для них жизни. Оба потерянно и по-доброму улыбаются.

После выхода книги Эндрю приезжал в наш город дважды. Перед третьим его приездом, в 2000 году, от него по факсу прибежало письмо из Англии – он вёл там курс оперной режиссуры в лондонском театральном колледже: «...Наконец-то я прочитал по-английски несколько страниц Вашей прекрасной книги! Прямо сегодня. Проходя по Брайтону мимо книжного магазина, в который люблю заглядывать, увидел в витрине выставленный там английский перевод “Доднесь тяготееет. Записки вашей современницы”. Это женские мемуары о ГУЛАГе, том составлен Семёном Виленским. Книга была издана на английском в 1999 году. Я о ней ничего не слышал и не знал о её существовании. Книга лежала поверх груды других. Я сначала прошёл мимо, но слово ГУЛАГ заставило меня остановиться и повернуть обратно. Владелец магазина сидел прямо у двери, так что я только попросил его: “Пожалуйста, покажите мне эту книгу”. Книга факти-

чески бросилась мне в руки! Я сразу раскрыл её на алфавитном указателе и увидел имя: Петкевич Тамара Владимировна. Конечно, это были Вы! У меня закружилась голова. Наконец-то я мог прочесть Ваши слова! Я протянул продавцу деньги, выхватил у него книгу, начал листать её прямо на улице! Побежал в ближайшее кафе. Сел и немедленно прочитал всю главу, которая была взята из книги “Жизнь – сапожок непарный”. Там была Ваша замечательная фотография, которую я раньше не видел... Сначала шла страница о Вас, написанная Владимиром Галицким... Читая то, что написали Вы, я был переполнен смесью сострадания, печали и восхищения Вами. История была недлинной: о Вашем пребывании в Джангиджире. Дошёл до слов: “Все страдания жизни до той минуты... были ложь, неправда, игрушки! А это было настоящим! Правдой! Буквой А подлинного алфавита страдания и муки рода человеческого”. Здесь я должен был остановиться на некоторое время. Меня пронзила сила Ваших искренних слов. Я не впервые задавался вопросом: как я был выбран судьбой, чтобы вести такую привилегированную, защищённую жизнь и пребывать в полном неведении? Я уверен, что Вы бы сказали, что я счастливец, и, конечно, со всеобщей точки зрения так и есть. Но не проходит ли жизнь как таковая мимо меня? Как я могу считать, что знаю себя и жизнь? Мы, немногие, кто проводит жизнь в удовольствиях и потворстве своим желаниям, в таком долгу перед вами, многими, кто страдает за нас! Много раз Вы благодарили меня за мою скромную помощь, но в действительности это я снова и снова должен благодарить Вас за предоставленную мне возможность помочь Вам в публикации книги, за возможность прикоснуться к реальной жизни и способствовать, пусть самым незначительным образом, заживлению одной из самых больших ран этого столетия... Вам и всем Вашим любимым мой самый глубокий поклон...»

Однако этоещё не всё об Эндрю Шарпе.

Съёмки документального фильма «Жизнь – сапожок непарный» (режиссёр Марина Разбежкина) пришлись на момент пребывания Эндрю в Петербурге. Повесть о том, как рамки частной судьбы благополучно живущего на другом континенте человека раздвинулись до ощущения «ран этого столетия», осталась бы не до конца ясной без интервью с ним. Вот фрагмент этого интервью:

«Я пытался понять, как в России могут жить палачи и их жертвы. Думал, что группы узников будут собираться вместе, чтобы найти охранников и следователей и наказать их. Однажды Тамара Влади-

мировна пригласила меня в музей Ахматовой, где были выставлены реликвии прошедших лагеря людей. Это были страницы из дневников, издания Библии, фотографии. Я спрашивал бывших узников: “Не хотите ли вы отомстить?” И получал один ответ: они сожалеют о происшедшем с их страной, но, находясь в лагере, они поняли – революция началась потому, что люди жаждали мести. Это и привело ко всем последующим печальным событиям. Мсть – не способ решения исторических вопросов. Эти люди научили меня, что прощение – самая большая добродетель. Не забыть, но простить».

Большую партию «Сапожка» закупил Областной центр народного творчества, директор которого, удивительной теплоты и сердечности человек, Людмила Парфёновна Шахнова, тоже вложила немалую сумму в издание. Много книг приобрёл заведующий отделом культуры Кировского района Александр Александрович Кравчук. Из Ухты приехал председатель общества «Мемориал» Аркадий Ильич Галкин и увёз с собой в Республику Коми, где я провела более восьми лет, две тысячи экземпляров...

«Сапожок» читали. Как-то я вынула из почтового ящика конверт с запиской театроведа Саши Уреса: «По слову Булгакова, Ваша книга принесёт Вам ещё много сюрпризов». В ответ на вопрос: «Почему?» – Саша Урес с загадочной улыбкой сказал: «Сами увидите».

Если сюрпризами считать пропажи, то в рукописи она пропала однажды в Москве. Отважившийся на детективный поиск друг нашёл её под матрацем у взявшей её читать дамы. Какое-то количество книг горело и сгорело при пожаре на складе. Книги пропадали и непонятным образом обнаруживались по самым неожиданным адресам, в разных городах, в семьях, которые их не приобретали. Не говоря уже о том, как рукопись подобрал уборщик в нью-йоркском аэропорту.

Разумеется, я думала над тем, как передать книгу сыну. Он по-прежнему не давал о себе знать. Невестка, с которой мы так ещё и не познакомились, тоже редко откликнулась на письма.

Внуки подрастали. После рождения второго мальчика прошло уже три с лишним года, а я его ни разу не видела. Ездить в город, где было пережито столько отъявленно тяжёлого, искать встреч с маленькими внуками *на стороне* я не могла.

Летом 1993 года из Севастополя позвонили родственники невестки, которые когда-то приезжали в Ленинград знакомиться:

– Аня с детьми едет отдыхать в сева­сто­поль­ский пансионат. При­езжайте. Будем рады вас видеть.

В разгар летнего сезона, когда люди простаивали у железнодорожных касс по трое суток, приехавший из Швеции Натан Горелик одному ему известными путями добыл для меня билет в Крым. Дети Ната­на и Наташи Казимировской прибежали на вокзал с цветами прово­дить меня на свидание с внуками. Неизменный друг Саша Жолондзь упр­осил начальника поезда поменять верхнюю полку на нижнюю. Взво­лнованы были, кажется, не только близкие, но и просто знако­мые: «Наконец-то! Увидите обоих внуков, познакомитесь с невесткой!»

Пансионат располагался на берегу сева­сто­поль­ской бухты. В во­семнадцатиметровой комнате, кроме Ани с детьми, жили ещё двое: мать с семилетним сыном.

Старания легально поселиться в пансионат или на квартиру к кому-то из обслуживающего персонала терпели крах. Везде и всё было занято. В конце концов сестра-хозяйка шепнула:

– Да не ходите вы больше никуда. Попросите соседку не жаловаться и ночуйте вместе со своими. Я подкину вам одеяло с подушкой.

Удивляясь сердобольной соседке, согласившейся на увеличение коммуны, смущённая тем, что невестка уступила мне свою кровать, я провела возле детей весь срок путёвки на птичьих правах.

Дети радовались морю так, что ничего, кроме него, и знать не хо­тели. Прямо из столовой наперегонки мчались на пляж.

– Хочешь, я научу тебя плавать? – зазывала я то одного, то друго­го. – Хочешь, покажу, как лежать на спине?

– Я сам, я сам, – восставали оба против посягательств на их свободу.

Старший, Алёша, раздумчивый, с мягким сердцем, незамедлитель­но вставал на защиту, если кто-то обижал младшего. А маленький Ан­дрей, олицетворявший собой страсть и азарт, бросался в воду, барах­тался до посинения и не обращал внимания на попытки вытащить его из моря.

Мне нравилось полное растворение невестки в детях и то степен­ное внимание, с которым она вникала в любую их просьбу. Дети к ней льнули.

Моё имя в доме сына не произносилось. Старший внук меня уже забыл. Младший вообще не понимал, кто я такая. Аня представила меня детям как «Тамару Владимировну». Мой приезд ставил её в крайне сложное положение. Она не могла решить, признаться мужу по телефону, что я нахожусь здесь, или продолжать скрывать.

Все попытки «Тамары Владимировны» поддерживать какое-то подобие совместности в восемнадцатиметровом общежитии на шестерых подавлялись перенаселённостью. Я не имела возможности предстать перед детьми не только бабушкой, но и щедрой «тётей», покупающей им лакомства и фрукты, организующей прогулки по морю. На это у меня просто не было денег. «Присутствие» рядом с детьми мне самой казалось неестественным. Более того – бедственным.

К ночи прибрежный песок остывал, становился колким. Море отчуждалось, будто над ним воцарялся какой-то мрачный властелин. В коттеджах пансионата одно за другим гасли освещённые окна.

Я сидела на погружённом во тьму берегу с окаменелым жёстким сознанием своей фатальной ненужности. Уложив детей спать, невестка пришла за мной на берег. Не окликая по имени, отыскала в темноте. Села рядом. Невесело, напевно стала уговаривать:

– Что же вы так убиваетесь, Тамара Владимировна? Пойдёмте домой. Уже поздно.

По скупости и односложности её рассказов о доме трудно было понять, как сложились их отношения с Юрой. В тот поздний вечер на берегу моря кое о чём я решила её спросить.

– Скажи, пожалуйста, как мой сын относится к Вере Петровне?

– Бывает, срывается, резко ей отвечает, но вообще, по-моему, любит её, – ответила Аня.

– А она?

– Она плоха.

– Что значит «плоха»?

– У неё... онкология.

– Так серьёзно?

– Похоже, очень серьёзно. Встает иногда с постели что-то ему готовить.

– Сготовить *ему*? Ему одному?

– Да.

С чем же таким феноменальным я встретила в собственной жизни, если женщина, имея своего ребёнка, вписывает себя матерью в фальшивые метрики чужого, воспитывает его и любит так преданно и сильно? Кроме того, что он был для неё ставкой в борьбе за брак с Филиппом, было, значит, ещё нечто другое, решающее? И как могла сложиться Юрина семейная жизнь, если, не обращая внимания на его жену и детей, она, больная, встаёт с постели, чтобы ему одному готовить обед?

Разговор был невестке явно в тягость. Она была напряжена. Позже я узнала, что они со свекровью с самого начала не питали друг к другу приязни, что несмотря на это Аня ухаживала за Верой Петровной до конца. Но тогда она добавила только, что у Веры Петровны рак гайморовой полости, причиняющий ей мучения и обезобразивший её.

Семья севастопольских родственников Ани была необычайно тёплой. Взрослые и дети дружно лепили пельмени, дружно их уничтожали; все вместе ходили на прогулки, вместе играли и шутили... Два дня, проведённые в их доме после пансионата, были бесценным даром. Даже близость с детьми показалась возможной.

Несколько лет назад, при одном из посещений Юры, в попытке вызвать интерес сына к моим воспоминаниям я прочла ему страницы о его рождении. Через некоторое время Юра неожиданно позвонил:

– Хочешь, я дам здесь одному знакомому твою рукопись?

– Зачем?

– Может, он попробует её издать.

– Но ты же рукопись не читал. Сначала прочти её сам.

Юра снова замолчал. На годы. Ни к этой теме, ни к какой другой возврата не было.

Собираясь в Севастополь, я написала на титульном листе: «Сыну! С надеждой!» и взяла книгу с собой, чтобы передать её через невестку. Узнав, что Вера Петровна так тяжело больна, с просьбой вручить Юре воспоминания, в которых описываются все её ухищрения и кража ребёнка, я решила повременить.

– Я привезла Юре свои воспоминания о прошлом. Но раз дела у его «матери» так плохи, отдашь ему, когда увидишь, что острый период пришёл и он успокоился, – попросила я Аню.

Вера Петровна умерла через девять месяцев, 10 мая 1994 года.

Уже много времени спустя я в телефонном разговоре с невесткой спросила, отдала ли она сыну книгу.

– Отдала. Видела, как он её читал, – ответила Аня.

Наконец он позвонил. Был собран. Разящим голосом принялся рубить:

– Филипп Яковлевич и Вера Петровна – мои родители, а ты их – ненавидишь! Двадцать пять лет бьёшь меня этим! Сколько я себя помню, была своими поступками, своими письмами!

– Поступками? Какими?.. Письмами?

– Ты никогда меня не понимала! Не умеешь, не можешь, не хочешь понять!

– Они украли у меня ребёнка, Юра. То, что я к ним чувствую, имени не имеет. Это больше ненависти. Я могла совершить тьму ошибок в поиске путей к тебе. Но то, что двадцать пять лет бью тебя ненавистью, – несправедливое обвинение.

– Я только теперь понял, почему меня к тебе не тянуло. Я приезжал в командировки в Ленинград, в Кронштадт, шёл к тебе, но поворачивал обратно. Не хотел к тебе идти. Для меня они – родители. Ясно? Я говорю искренне...

– Слышу, что искренне. При всей тяжести разговора за искренность и правду – благодарю. Так лучше. Яснее, чем непрочитанные и возвращённые тобой письма. Я в этих письмах писала не о твоих родителях. Письма были попытками найти общий язык с тобой.

Накопленные сорокавосемилетним человеком чувства хлестали через край. Но я – слушала. Ему надо было высказаться до конца, а мне – понять его до конца!

– Ты говоришь обо всём этом только сейчас, потому что прочёл книгу?

– Я её не читал!

– Но видел хотя бы?

– Да. Видел. Прочёл то, что касается меня. Там всё ложь!

– ...Ты можешь мне *так* говорить?

– Да. Там всё не так.

– И ты знаешь как?

– Да. Знаю. Ты мне в армию писала, что они меня настраивают против тебя, а они вообще о тебе никогда ничего не говорили. Ты пишешь в книге, что отец вошёл в комнату и зло сказал: «Юра, это твоя вторая мать». А детская память, она знаешь какая? Он ласково, а не зло сказал: «Юрик! Это твоя вторая мать». Я их любил и люблю! Понятно?!

– Да! Так до конца – впервые.

Я была предметом *его* воспалённой и уже неискоренимой ненависти. Действительно, только любовь к ним могла так всё уложить в его памяти. Даже Филипп не посмел тогда сказать «твоя *вторая* мать».

При первом таком атакующем разговоре сын не избыл всего, что накопил. Звонил ещё несколько раз. Добавлял:

– Ты передала книгу через чужих людей. Чужие люди прочли её раньше, чем я.

– Через каких «чужих», Юра? Я передала тебе книгу через твою жену. Мне было бы очень тяжело получить её непрочитанной, возвращённой почтой, как это было с письмами.

В длинный список его упрёков было занесено всё возможное и самое немыслимое. Я не должна была общаться с родителями жены «за его спиной». Не имела права «тайком» ездить в Севастополь к детям. Я вообще ни на что не имела права!

К тому самому времени подоспел суд и со стороны. Им были слова священника. Возвращая «Сапожок» знакомой, которая дала ему прочесть книгу, священник сказал: «Не каждая мать может навесить такую книгу на сына».

Поистине так. Не каждая.

Ни от суда сына, ни от суда священнослужителя мне уже не оправиться. А предстоит ведь ещё и Страшный суд.

Мне всё припоминалось, как нагрузившийся вином брат Бориса метил при мне злыми упрёками в сердце Александры Фёдоровны – и как достигал его. Любящая мать пыталась оправдываться: «Не могло быть такого, чтобы я не откликнулась на зов моего мальчика! Не могло!» Но Костя был глух к оправданиям матери. А я тогда молила её про себя: «Не надо! Молчите! Не оправдывайтесь. В тишине человеку слышнее, какую он наносит боль». Даже свидетелем той сцены побывать было страшно. Моя ситуация была ещё более нечеловеческая.

Жизнь подарила мне встречу с двумя значительными и замечательными женщинами. Удивительны были не только их корни и судьбы, но и их духовное мужество.

Мы сидели втроём в одной из старинных петербургских квартир; разговор шёл об отношениях родителей со взрослыми детьми. Поводом к разговору послужил день рождения Юры. Подлинная дата рождения ему ничего не говорила. Он праздновал вымышленную. А я поздравляла его каждый год в день, когда он появился на свет. Мои собеседницы считали: я не должна была этого делать. Согласна, да. Оправданием мне служило то, что я поздравляла не ребёнка, а мужчину с возраста двадцати восьми лет.

Получилось так, что каждая из них рассказала историю: одна – стороннюю, другая – свою.

Первая история была о драме материнского чувства, о претензиях сына и непросении им своей знаменитой матери. Подсудны были не она, не он, а «времена, где солнце – смертный грех». Рассказанное было особенно тяжело тем, что примирения их так и не случилось.

Вторая история была о матери, похоронившей тридцатилетнюю дочь, погибшую от рака. Здесь, напротив, речь шла о духовном и душевном единстве, в котором семья прожила эти тридцать лет. Особая глубина отношений, подчеркивала прекрасная собеседница, су-

ществовала между дочерью и отцом, понимавшими друг друга без слов и во всём.

Как и ежедневно, родители отправились к дочери в больницу, не зная, что ей остается жить чуть более суток.

– Пусть завтра ко мне придёт только N., – назвав имя своего возлюбленного, сказала им дочь при прощании. – Ни отца, ни мать я больше видеть не хочу.

Какую задачу так сурово решала перед смертью молодая женщина – понять непросто.

Меня потрясло другое – откровение матери:

– Я была рада, что перед уходом *туда* она освободилась от нас, – заключила она.

«Не плачь! Отпусти его (её) душу!» – советуют людям, теряющим близких.

Так просят порой живые – живых: «Отпусти! Освободи от себя!»

За злым раздражением сына: «Отвяжитесь от меня, наконец!» – я когда-то не захотела и не сумела расслышать мольбу. Не смогла смириться с его отречением от меня. Несколько попыток Юры побывать у нас в доме, попытка отнести ко мне слово «мама» были *его* усилиями. И освободился он от меня в результате тоже *сам*. Прежде, чем я его «отпустила».

А здесь, отчаянно страдая, мать сумела принять решение дочери уйти из жизни освобождённой от неё и от отца. Непоправимо запоздалым оказался этот высокий урок для моего теперешнего: «Отпускаю».

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

– А вам не кажется, что силой духа вы обязаны вашему польско-му происхождению? – спросила меня не так давно полуфранцузенка-полуполька Мариэтта Эрнестовна.

Считал же немецкий философ Шеллинг нацию «индивидуальной чертой человечества» – значит, вопрос был не бессмысленным. Национальные особенности крепко всажены в дух и в земное тело как вековые и тайные свойства человека. Но сила духа – нечто другое. Зная, как она выковывается и чем оплачивается, я не причисляла себя к числу сильных. Вот отца-поляка сильным считала. С детства была загипнотизирована рассказами его фронтовых друзей о смелом и решительном комиссаре, бравшем на себя ответственность в самых рискованных ситуациях. Его характер интриговал меня, отчасти, может, и формировал.

Во всяком случае, в шестнадцать лет при получении паспорта я на вопрос паспортистки: «Кто по национальности?» без колебаний ответила: «Полька!» И это было – решением собственным и категоричным. Может, в нём крылось желание выразить отцу благодарность за пробуждающийся интерес к школьным успехам нелюбимой дочери? Может, сыграли роль фотографии его сестёр с глазами-озёрами в пол-лица? Но мне нравилось, когда меня останавливали словами: «Девочка с коньками, вы часом не полька?» или когда я слышала брошенное кем-то на улице: «Ну, разумеется, полячка».

Бабушка и мама тайком крестили меня в православной церкви. В бархатной, бордового цвета коробочке-яйце хранился мой крестик. Для безбожных двадцатых–тридцатых годов никакого значения не имело, православная ты или католичка. Для меня же самой важно было то, что в шестнадцать лет я от корки до корки прочла стоявшие в книжном шкафу книги Сенкевича, Крашевского, что пленительная мелодия модного в тридцатые годы польского танго «Чи жу-чиш мне» создавала неизъяснимый романтический ореол вокруг всего польского.

Я обрадовалась любопытству, мелькнувшему в глазах отца, когда мама спросила его: «Что скажешь? Она записала себя в паспорт полькой!»

В 1937 году родные сёстры отца напрочь не поняли эзопова языка, на котором мама давала им понять, что отец арестован: «Осталась одна с тремя дочерьми. Владик неизвестно где находится». Решив, что он изменил маме и бросил семью, негодующие и возмущённые сёстры потребовали, чтобы мама незамедлительно выслала им его адрес. Но наши знания о месте его пребывания ограничивались сведениями из справочного бюро Большого дома: «Магадан. Десять лет без права переписки».

То, что я переписывалась с кузиной Бенитой, при исключении из комсомола стало пунктом обвинения в «связях с границей». Поняв, чем чревато общение с семьёй отца, мама его оборвала. А последовавшие после ареста отца события – война, смерть мамы и Реночки, мой арест и лагерные годы – вообще загнали польские связи в небытие. По собственной прихоти память сохранила имена сестер отца: Леокадия, Виктория, Иогася – и адрес одной из сестёр: Рига, улица Кришьяна Барона (без номера дома и квартиры).

В среднеазиатских лагерях моё польское происхождение стало поводом к разного рода недоразумениям. Меня заносили в «польские» списки на этап. Когда выяснялось, что место моего рождения – СССР, вычёркивали. Иногда я всё же попадала в «польские» этапы. А в 1943 году в Беловодский лагерь в Киргизии пригнали большой этап с поляками. Встреча с ними поставила тогда моё двадцатитрёхлетнее сознание в тупик. Прежде всего, меня поразила их вера в то, что Польша так или иначе вызовет их из лагерей. «Раз не освободили к Рождеству, значит, к Пасхе выйдем отсюда», – уверенно говорили поляки. После предъявленного мне ещё в школе в 1937 году ультиматума: «Хочешь остаться в рядах ВЛКСМ – отрекись от отца! Не отречешься – исключим, изгоним!» – в основание моих представлений о мире легло: государство противостоит человеку. Потому чистосердечное упование тридцатилетних–сорокалетних поляков на то, что государство о них хлопочет, для меня выглядело постыдной наивностью. Попав в лагерь, я понимала, что нахожусь на пути к смерти. А они шутили, уговаривали: «Давайте учить польский язык. Он вам понадобится в Варшаве». Я была уверена, что их ночами уводят на расстрел, а их увозили в армию, на фронт. Военный котелок, брошенный мне через проволочное ограждение в женскую зону, где на каждом шагу слышался мат, Юзеф Генюш сопроводил несусветным текстом: «Вы драгоценны мне». А Генрих Миколайко, стоя в строю на морозе, куда нас вывели мокрых после аврального потопа, отыскал на небосклоне звёздочку Вегу и завещал глядеть на неё и «вспоминать поляка Генриха до встречи в Польше».

С 1940 года Латвия, в которой проживала семья отца, превратилась в одну из республик СССР. И когда в 1950 году мне в Микуни, после освобождения из лагеря, предложили командировку в Ригу (надо было отвезти в санаторий шестнадцать подростков, детей железнодорожников), я не раздумывая согласилась. Если отец остался чудом жив, не сумев отыскать нас с Валечкой, он мог дать знать о себе сёстрам. Встретиться с отцом было одним из самых сильных моих желаний. Теперь мы могли бы стать друг для друга серьёзными оппонентами.

Командировка оказалась крайне изнурительной. Дети не слушались, на больших стоянках разбегались. Только добравшись до пригорода Риги – Дзинтари, оформив все документы и сдав детей в санаторий, я смогла оглядеться.

То, что при выходе из поезда я приняла за сияние дали, оказалось взморьем. На бесконечном песчаном пляже, который я увидела с пригорка, было неправдоподобно много отдыхающих. Для меня, только что вышедшей из лагеря, зрелище купающихся в море, загорающих, играющих в волейбол людей было скорее миражом, чем действительностью. Я никак не могла понять, из какой жизни происходили беспечность, расслабленность, взрывы смеха, глуховатые звуки шлепков по волейбольным мячам... Я забыла, что такое бывает. Если бы мне вдруг дали купальный костюм, я не смогла бы раздеться и выкупаться.

Припекало. Я присела на песок. Потом прилегла. Измотанная хлопотными днями, уснула. Очнувшись от тяжёлого сна на солнцепёке, долго не могла поднять головы. Возле меня разговаривали две женщины.

– А как же, – говорила одна из них, – я дочке за каждую хорошую оценку плачу.

– А сколько платишь? – интересовалась другая.

– За четвёрки по триста рублей даю. А если пятёрку приносит, пятьсот отваливаю. Поощряю. Если хорошо окончит школу, кругленькую сумму получит...

Названные женщиной суммы казались баснословными. Факт, что родители платят детям за хорошие оценки деньги, – каким-то вывертом.

Мужчины справа вторили:

– За рождение сына подарил жене бриллиантовое кольцо.

– Почему бриллиантовое?

– Так положено. За дочь можно с рубином, с сапфиром, а за сына надо с бриллиантом.

За эти годы всё так изменилось? В какую же дверь стучать мне, чтобы попасть в нормальную вольную жизнь?

Чтобы разыскать сестёр отца, надо было ехать в Ригу. Уточнив в адресном бюро номер дома на улице Кришьяна Барона, пошла туда. На звонок никто не ответил. С крайней неохотой соседка из другой квартиры сказала, что тётя Леокадия отдыхает с семьёй в Дзинтари, то есть там, откуда я только что приехала. Прodelав путь туда – сюда – туда, я в конце концов отыскала нужную мне дачу. Калитка открылась без труда. У распахнутого настежь окна на первом этаже сидела пожилая дама с маленьким ребёнком на руках. Подойдя ближе, я спросила:

– Скажите, пожалуйста, здесь отдыхает Леокадия Иосифовна?

Женщина как-то напряглась и неожиданно вскрикнула:

– Та-ма-ра! Ты?!

Вскрик прошёл по мне судорогой. Мы с тётей ни разу в жизни не виделись. Мама могла послать ей мою фотографию, на которой мне было пятнадцать-шестнадцать лет. Перед ней стояла тридцатилетняя.

– Вылитый Владек! Ты же вылитый Владек! – обнимала меня, плача, седая тётя. – Ты специально приехала ко мне? Мой брат жив? Столько лет прошло! Рассказывай. Рассказывай всё. Сейчас придёт твоя сестра Бригита. Познакомьтесь. Она пошла выкупаться на взморье. А это её дочурка – Сандра.

Потрясённая рассказом об аресте отца, о гибели мамы и Реночки, о моих скитаниях по ссылкам и лагерям, тётя говорила:

– Конечно, мы кое-что знаем. И – понимаем. У нас тоже многие пострадали... Но я всё-таки хочу понять, за что Владека арестовали? Ты, может, что-то не договариваешь, скрываешь? И тебя – за что? Объясни мне, пожалуйста! Объясни!

Когда пришёл мой черёд задавать вопросы, сдержанной оказалась – тётя. Война разгромно прошла по судьбам сестёр отца. После немецкой оккупации одна из сестёр, Иогася, с трудом отыскала в Германии дочь Бениту и уехала к ней. Мать и дочь находились в Германии и поныне, поскольку Бенита лечилась в какой-то частной клинике. Были осложнения и в семье младшего брата. А третья сестра отца, Виктория, с дочерью Вероникой жила в Риге. С ними, по словам тёти, я непременно должна буду увидеться.

Погружаясь в воспоминания о детстве, тётя Леокадия открывала мне неожиданного отца: он был, оказывается, необычайно заботливым и нежным братом.

– Нас было пятеро, – говорила она. – Два брата и три сестры. Отец и старший брат Казимир умерли рано. Владеку пришлось бросить

учёбу и пойти работать, чтобы помогать многодетной семье. Он, знаешь, франт был. Носил шляпу. Так красиво поигрывал тростью. Мы гордились тем, что у нас такой шикарный брат. Весёлый был, обо-жал нас смешить, всегда что-то придумывал. Маму нашу очень лю-бил. И до чего же нам туго пришлось, когда в девятьсот десятом году Владека взяли в армию!

Она извлекала из памяти ещё и ещё какие-то чёрточки характера брата. Но я в её описании напрочь не узнавала отца. Во всяком случае, поначалу. Рано пошёл работать, чтоб помогать семье? Этому верила. Насколько помнила, отец всегда был на работе. Задаривал сестёр? Да. Он и мне накупал собрания сочинений классиков... Но весельчак, франт? Впрочем, действительно, он одно время носил модную тол-стовку и бабочку. Это потом, став начальником стёрок, опростился. Чем непосредственной и глубже были воспоминания тёти, тем охот-нее моя память начала отзываться на незнакомые подробности о нём. Я даже вспомнила что-то похожее на шутку. Мне было лет пять. На выходные дни папа приезжал в пригород Петрограда, Парголово, где мы с мамой проводили лето. Там была довольно высокая гора – Пар-нас. С её вершины был виден купол Исаакиевского собора. Уезжая, папа сказал мне: «Завтра в двенадцать часов дня заберись на Парнас, а я в городе поднимусь на Исаакиевский собор, и мы с тобой увидим друг друга». Я не поверила, хотела возразить: «Это же далеко. Я тебя не увижу», но почему-то промолчала.

Ночевала я на даче у тёти в небольшой опрятной комнате. Ветер со взморья трепал, пригибал ветви кустов, резко смещая на стенах границы света и тени, и никак не мог уgomониться. В голове стучало: «Раз отец ни разу не дал о себе знать сёстрам, значит, погиб там, в Магадане».

Мои кузины, Бригита и Вероника, водили меня по Риге, по теат-рам. Одна из них училась на юриста, вторая только собиралась по-ступать в вуз. Юные, романтичные, они щебетали что-то про моду, делились пылкими мечтами увидеть Москву, Красную площадь и по-бывать в мавзолее Ленина. Были милы, любознательны. Обращали моё внимание на красивые дома, на скверы и кусты роз. Им очень хотелось, чтобы я полюбила Ригу.

Не знаю, чему я умудрилась тогда радоваться, если на общей с ку-зинами рижской фотографии выгляжу почти счастливой. Впрочем, тётя познакомила меня с молодым, неизвестным мне отцом. И меня ещё долго согривал её пылкий, взволнованный возглас: «Та-ма-ра! Ты же вылитый Владек!»

Прошло тридцать семь лет после моей встречи с сёстрами отца. В Ленинграде в 1987 году я неожиданно получила от Генерального консула Польши приглашение «на чашку кофе». Поводом к тому послужила встреча с консулом Александра Львовича Жолондзя, его рассказ о нашей с отцом судьбе и о том, что я в лагерях находилась вместе с поляками.

Неподдельное внимание и заинтересованность, с которыми Генеральный консул расспрашивал о спаянности поляков между собой, обо мне и семье, поколебало моё предубеждение против всех вместе взятых институтов власти, которые виделась мне все на одно казённое и бесчувственное лицо. Память о вере поляков в своё государство наследием перешла в доверие к польскому представительству.

При Генеральном консульстве Республики Польша существовало общество «Полония», объединявшее ленинградских поляков. Желая изучать польский язык такая возможность предоставлялась безвозмездно. Много внимания консульство уделяло «жертвам необоснованных репрессий».

В 1993 году по инициативе «Полонии» в консульстве была проведена презентация книги «Жизнь – сапожок непарный». Со временем я обрела там много добрых знакомых, друзей, отмеченных схожей судьбой. И меня не переставало удивлять, какими разными бывали поводы к складывавшимся отношениям. То оказывалось, что мы с кем-то находились в одном лагере, то кто-то слышал друг о друге. В помещении, где проходила презентация, былолюдно. Надписывая книги, я была окружена довольно плотным кольцом. Почувствовав какое-то оживление, подняла голову и увидела очень красивую молодую женщину, перед которой все расступались. Игнорируя «очередь», она подошла к столу, за которым я сидела:

– Мы ведь друг друга узнали, не так ли? – спросила она и протянула мне книгу для автографа.

Я понимала и то, что никогда её не видела, и то, что *знала* её. Что-то странное было в том, как мы перемолвились взглядами: то ли вспоминали друг друга, то ли запоминали во имя какого-то ещё следующего раза.

Встречались мы потом довольно часто. Выяснять, что значит «узнали друг друга», было почему-то ни к чему. Она была разумна, необычайно хороша собой. Исповедовала бахаистские идеи. Её муж сказал как-то вскользь: «Мы с Иреной поняли, что встретили в вас “маму”». У них была страсть возить нас с Володей на машине и показывать нам красивые места и озёра на Карельском перешейке.

Но Ирена вскоре умерла.

По мере того как наши власти рассекречивали архивы и становились известны указы о разнарядках ГБ на аресты и расстрелы людей по национальному признаку, польское консульство присоединилось к обществу «Мемориал» в розыске мест захоронений расстрелянных поляков.

На встречах в «Мемориале» журналисты рассказывали о работе комиссии по розыску этих захоронений. Говорили о том, что в состав комиссии включены видные лица из КГБ, которым лучше, чем кому-либо другому, была известна подземная засекреченная «география». Видные лица, однако, сетовали на утрату архивов. Отвечали: «Не знаем! Но, разумеется, будем искать и, конечно, найдём».

Наняв вертолёт и облетев по разработанному плану окрестности города, журналисты сами отыскивали одно из таких мест. В посёлке Левашово под Ленинградом лесной массив выглядел с высоты подозрительно линейным и правильным. Никаких посадок леса на этом участке не производилось. Всё указывало на то, что здесь когда-то выкапывались рвы.

Землекопы подтвердили, что в эти рвы свалено множество расстрелянных в 1937 году людей.

Левашовскую пустошь огородили. Когда 30 октября было объявлено Днём памяти жертв политических репрессий, сюда стали приезжать родственники расстрелянных, представители общества «Мемориал», а со временем и священнослужители всех конфессий. По уничтоженным людям здесь совершают литию, на эту землю возлагают венки и цветы. Никто из посетителей пустоши, понятно, не знает, в эти ли рвы сброшены их родные или в какие-то другие, не известные до сих пор. Поскольку отец покоился далеко на краю света, в Магадане, я стала приезжать сюда.

В 1993 году на участке, где польское консульство воздвигло католический крест с начертанной на плите эпитафией: «Памяти поляков – жертв массовых репрессий, расстрелянных в 1937–1938 гг. Соотечественники». Когда читаю, о подпись «Соотечественники» всегда спотыкается сердце.

Осенью 1994 года в День памяти, когда, выйдя в Левашове из автобуса, заказанного польским консульством, мы направились к сгруппированным в одном месте памятным крестам, ко мне подошел поляк Евгений Вацлавович Вольский:

– Прочёл вашу книгу. Замечательно написано, – сказал он. – Но, Тамара Владиславовна, вы ведь умная женщина, так разрешите спро-

силь: неужели вы верите в то, что с приговором «без права переписки» вашего отца довели до Магадана и он отбывал срок там?

Да! Верила! Верила безусловно! До этой, вот этой самой секунды!

Разве можно было как-то иначе истолковать реальный приезд в наш дом в 1938 году освободившегося из магаданских лагерей человека, который передал написанное рукой отца письмо с вложенными в него ста рублями?! Для нас это было потрясением. Десятки раз мы с мамой перечитывали то письмо отца. Посланец рассказал, что отец работает в бухте Нагаева по колено в воде, что у всех заключённых на бушлатах нашиты номера. Разве жизнь нуждалась в какой-то более жестокой правде?

Заданный спустя пятьдесят шесть лет вопрос: «Неужели вы в это верите?» – пригвоздил. Он был обращён не только к дочери репрессированного отца, но и к человеку, который сам прошёл следствие, тюрьму, семь лет лагерей. Вопрос сверлил мозг. Все и всё вдалбливало: формулировка «без права переписки» расшифровывается *единственно* как расстрел. Но рассказ солагерника отца, письмо самого отца были также реальностью?! Мы поверили: наш случай особый. Как мы благодарили посланца! Как упрашивали его передать ответное письмо отцу! И он куда-то ездил. Вернулся, обрадовал нас тем, что «договорился со сплавщиком, и ваш ответ ушёл».

Мы с сестрой также поверили справке, полученной в 1956 году: отец «умер в 1942 году от абсцесса печени». Всё сходилось. Тот человек свидетельствовал, что в 1938 году отец был жив и находился в Магадане. Справка КГБ подтверждала это.

Столько пройдено, узнано – а я остаюсь всё ещё под гипнозом лжи?

Знакомством с супругами Вишневыми я была обязана обществу «Полония». Юрий Константинович отсидел десять лет. Его жена, Ия Васильевна, сберегала оставшиеся силы мужа.

– Мы с Юрием Константиновичем ходим в Большой дом и попросим дать вам ознакомиться с делом отца вне очереди, – самоотверженно предложила она.

Несмотря на то, что я возражала, они опередили меня. Получили разрешение. И категорично заявили:

– Не пустим вас одну читать дело.

Я упрашивала больных, пожилых людей не провожать меня. Они не уступили. Остались поджидать меня в вестибюле Большого дома.

В закутке, который никак не назовёшь комнатой, нас, молчаливых и отрешённых, разместилось человек пять. Принесли «дела».

Я открыла пугающе толстый том, включавший протоколы допросов тридцати шести поляков. Допрос отца: его имя, фамилия..., сведения о маме и о нас, трёх сёстрах. Даты рождения дочерей смещены на год-два. Может, от шока при аресте? Впрочем, отец никогда точно не знал, кто из нас в каком классе учился, когда бывали наши дни рождения...

Внизу первого листа допроса – знакомая подпись отца, «Петкевич», в которой каждая из букв каллиграфична. Точно так же он шутиливой резолюцией заверял письма, которые мама писала мне в пионерлагерь: «Согласен! В. Петкевич». Подпись отца?! Боже мой! Точно такая же стояла в конце письма из Магадана! Только сейчас вопрос: «почему фамилия?» – раскрыл сознание. Письмо было адресовано мне, дочери. Почему же он подписался не «папа», а «Петкевич»? Бессонно, до изнурения надо быть начеку! Не упускать самой незначительной детали! Тогда, в восемнадцать лет, я была начинающей в этой науке.

Как директору торфоразработок, отцу вменялся в вину план: «Путём диверсионной и вредительской деятельности срывать механизм добычи, сушки и уборки торфа. Подрывать снабжение важнейших промышленных предприятий торфотопливом. Организовывать диверсионные акты путём поджога болот и караванов добытого торфа. В случае войны по заданию польской разведки подготовить взрывы на железных дорогах». И всюду, где ни попадая, «собирать сведения шпионского характера»...

На том первом листе допроса – ответ отца на предъявленные обвинения: «Мой арест рассматриваю как недоразумение, поскольку являюсь честным советским гражданином и коммунистом. Больше мне сказать нечего!» Такой же чёткости подпись «Петкевич» венчала первый протокол.

Общее дело состояло из нескольких групповых. Протоколы допросов отца были совмещены с другими – ещё двух поляков. Все трое причислялись к членам шпионско-диверсионной польской организации.

Стандартный набор: «Вредитель, враг, с кем сговаривался повреждать железную дорогу? Где собирался добыть динамит? Кто вербовал? Сколько платили?» – дальше этих стандартов следователь не шёл. Такого рода дознавателей набирали не для выяснения истины, а для работы костоломами: бить и увечить!

На втором и третьем протоколах допросов подпись отца уже утратила чёткость, теперь это были *корявые, развехавшиеся буквы*.

Память слуха хранила крики мужчин, избиваемых во внутренней тюрьме НКВД города Фрунзе, в которой я находилась во время следствия. Я живо представила избиваемого и избитого отца...

Под написанным за него «признанием»: «...Будучи убеждённым польским националистом, был в 1936 году завербован... снабжал негодными рельсами... засыпал в песок железные опилки... собирал сведения шпионского характера» вместо подписи – *каракули*.

Так они расшибли сильный характер отца – комиссара, члена ВКП(б) с 1918 года.

В трёх местах дела вклеены бумажные карманчики. Я вынула из первого сложенный вчетверо акт:

«15 января 1938 г. старшим лейтенантом Гос. безопасности П.А.Р. на основании предписания зам. начальника УНКВД ЛО ст. майора Гос. безопасности т. Г. от 14.01.1938 г. за № 219057 и отношения наркома внутренних дел СССР от 12.01.1938 г. – приговор в отношении Петкевич В. И. приведён в исполнение 15.01.1938 г. Вышеуказанный осуждённый – расстрелян».

В том же первом карманчике – акт о расстреле 15.01.1938 года еще двенадцати человек. В других карманчиках дела – также акты о расстрелах. Уничтожены были все тридцать шесть поляков.

Не было никакого Магадана в жизни отца. 15 января 1938 года отец был расстрелян здесь, в Ленинграде. Возможно, в подвале этого дома.

Понимал ли он, что его волокут на расстрел? В сознании ли был? В упор его? В затылок?

Честнейшего, преданного «делу Партии» отца, не знавшего, что такое отдых, что такое время обеда, что значит провести день дома с семьёй и детьми, уничтожили в сорок восемь лет.

Толстый том дела дополнен вшитым в него листом:

«Проверкой установлено, что принимавшие участие в следствии по данному делу бывшие сотрудники УНКВД К. и З. за нарушение социалистической законности и применение незаконных методов следствия осуждены Военным трибуналом (Л-д, 144 т. 2)».

И даже если они расстреляны, даже если это так, то искуплением за преступления власти это служить *не смеет!*

Зачем выучивать целые ведомства так презирать людей? Так лгать – не только перед лицом жизни, но и перед лицом смерти?

Мне на следствии предъявили обвинение в клевете на органы НКВД:

– Вы говорили, что арестованных били!

Отрицая предыдущие, абсурдные обвинения, на это обвинение я отвечала:

– Да. Говорила! Сама видела «браслеты» от тушения папирос на руке человека. Это БЫЛО!

– Нет! – кричал следователь. – Нет! Этого НЕ БЫЛО!

И после стократно повторённых мною «да» и его «нет» провёл пальцем по ряду своих искусственных зубов и сказал:

– Это тоже было выбито в тридцать седьмом, но этого – НЕ БЫЛО!

«Пишите, – напутствовала меня Анна Владимировна Тмарченко спустя двадцать лет после моего освобождения. – Пишите: ТАК БЫЛО НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ!»

Я пытаюсь.

К делу отца приобщены прекрасные характеристики на него, написанные двумя бесстрашными партийцами: Вениамином Михайловичем Агеевым и Константином Михайловичем Афиногеновым. Хочу, чтобы имена этих людей были известны. Спасибо им!

Спасибо Евгению Вацлавовичу Вольскому за толчок к уяснению полной правды о гибели отца. Спасибо супругам Вишневым, дождавшимся моего выхода из каморки Большого дома. Спасибо за то, что они без слов обняли меня тогда.

Когда мы выходили из здания, где в 1937 году я выстаивала нескончаемо длинные очереди за лживыми сведениями о приговоре отцу, к нам подошел майор ФСБ, разрешивший вне очереди познакомиться с делом.

– Прочёл я вашу книгу, – натянутый, как тетива, сказал он. – Досталось вам. Но всё-таки хотел бы посоветовать...

Я остановила его:

– Даже хоть что-то советовать – неудобно!

В 1994 году прежнего Генерального консула сменил обаятельный, сердечный и верующий Эдислав Новицкий. Его выступления по ленинградскому радио о польской литературе и музыке доносили его пылкую влюблённость в Польшу и поляков. Он посетил Республику Коми, где сидело и погибло много поляков, установил там памятный знак. Поздравляя меня с семидесятилетием, назвал мою книгу «улыбкой – из ада».

Работающая в консульстве со дня его основания пани Тереса Конопелько, вникающая во все детали жизни «полонистов», во все наши нужды, объявила мне тогда о подарке Генерального консула – поездке в Польшу. Он хотел, чтобы я побывала на родине отца.

Канун Рождества. Я ехала в город Познань. Ночь. Соседи по купе спали. Сидя впотьмах, я смотрела в окно. Когда мы уже миновали Белосток, в лесу, во тьме неожиданно засветились рождественские огни на одной из елей. Не срубленная, сверху донизу увешанная разноцветными лампочками, она – сюрпризным видением – предназначалась таким путешественникам, как я.

Я припоминала польские кинофильмы. Касались ли они национальных резонов, войны или области чувств, они включали в себя время, пейзаж и характеры. При самых безжалостных обстоятельствах характеры были литые. В киноленте «Эроика» находившийся в концлагере немолодой офицер, пытаясь сберечь самосознание и достоинство, выгораживал для себя в переполненном людьми бараке кабину из фанеры. Но при огромном скопище разного люда это спасти не могло. Зная, что выход из барака после отбоя приравнивается к побегу, он, выпрямив спину, переступал порог барака – и шёл навстречу скосившей его пуле. О чем бы ни говорилось в польских кинокартинах, таких, как «Пепел и алмаз», «Березняк», «Всё на продажу», «Пейзаж после битвы», «Дирижёр», «Как быть любимой», это всегда оказывалось сражением незаурядных человеческих натур с обстоятельствами жизни и времени. В подобных поединках человек, как правило, не побеждал. И тем не менее это было гордое кино. Мы многое знали о театре удивительной исполнительской подлинности, созданном в Польше режиссёром Гротовским. Читали умопомрачительные пьесы Мрожека.

«А как хорошо Колюшка говорил по-польски!» – вспомнила я вдруг. Немецкий концлагерь, в который Коля попал в числе других военнопленных, находился на территории Польши. Об этом отрезке его жизни я бы так ничего и не узнала, если бы не один телефонный звонок в конце 80-х. Позвонивший представился: «Моё имя Николай Владимирович Вишневский. Сотрудники принесли мне газету со статьёй “Крепостная актриса”. Честно говоря, ничего не хотел читать на тему лагерей, но мелькнуло имя Николая Даниловича Теслика. Как я понял, он был дорогим для вас человеком. Значит, вам будет небезынтересно узнать, что какое-то время мы находились с ним в одном концлагере».

Из дворян, образованный, яркий человек с необычной судьбой, Николай Владимирович тут же приехал к нам знакомиться. Колю характеризовал как красивого, артистичного и надёжного человека. Однако о Колиной надёжности Вишневский узнал тогда, когда уже

поздно было включать его в трицу сговорившихся о побеге пленных. Побег был прекрасно подготовлен и – удался. Сначала Николая Владимировича прятала в своём погребе одна польская семья. Когда же Вишневого переправили в Австрию, его укрыло другое семейство, тоже поляки. Все последующие годы жизни Николай Владимирович Вишневский так и делил свой отпуск между Польшей и Австрией. Ездил к тем, кто его спас.

Только после его рассказа о побеге я и поняла, что означал рефрен Коли перед моим освобождением: «Обещаю, что окажусь за зоной раньше, чем ты можешь это представить». Удача побега Николая Владимировича Вишневого слишком глубоко запала ему в душу.

Дом «Спультоты польской» – организации, объединившей польские диаспоры, – находился в Старом городе Познани. В нём было всего два гостиничных номера, оба – на последнем этаже. Форму потолка определял рельеф крыши. Не покрытые ни краской, ни лаком деревянные скосы потолка и стен источали заключённое в дереве здоровье. Через открытую форточку комнату наполнял морозный воздух декабря. Я укрывалась периной, положенной на постель вместо одеяла. И сон там был непривычно глубок и отраден.

В кухне этажом ниже стояло несколько ящиков с минеральной водой. В любое время суток там можно было вскипятить чай или попить кофе.

Не знаю, что пани Тереса написала в сопроводительном письме, только оказанный мне в Познани приём изобилует умными и тёплыми неожиданностями.

На кафедре литературы и искусства в Познанском университете профессор Доброхна Ратайчик обратила моё внимание на стеллажи с красиво и аккуратно переплетёнными томами архивов. Это были дневники и письма, сценарии, проза, стихи погибших в войну или не выживших в репрессивные времена поляков. Бережное и любовное отношение к архивному наследию – покорило и трогало. Заинтересованность в беседах возрастала порой до такой степени, что, несмотря на моё незнание языка, прикреплённый для этих встреч переводчик оказывался ненужным.

В преподавательском кругу университета, «за круглым столом», который тогда ещё не имел популярности в России, внимательно относились к частным суждениям и к авторству высказываний. Обсуждались вопросы смешения культур, захоронений жертв войны на территории бывших противников. Говорили об этом как об акте неизбежной справедливости: «Солдаты воюющих сторон исполняли

воинский долг, и если пали на “вражеской земле”, то подлежали там уважительному захоронению».

В «Союзе сибиряков», куда меня пригласили на чаепитие, знакомили со списками прошедших наши лагеря поляков, насчитывающими десятки тысяч человек. Я со стеснённым сердцем глядела, как эти списки листали. Но более всего «Сибиряков» интересовало то, что происходило в России в данный момент. То и дело в разговорах о переменах возникали одобряющие и примирительные интонации. Две сидевшие рядом со мной пожилые польки жестаи объясняли, что начисто забыли русские слова, усвоенные в сибирской ссылке. А две другие пронзительно искренне признавались в обратном: «Наглядевшись на то, как сибирские женщины принимали безногих, безруких мужей, возвращавшихся с фронта, как, сами будучи полуголодными, делились хлебом-солью с нами, мы полюбили Россию».

Ко мне в номер беспрерывно кто-то приходил: знакомиться, взять интервью, спросить, пригласить, подарить свои книги.

Молодой хирург Михал, сын пани Тересы, только что окончивший Медицинский университет Познани и тоже посетивший меня, внёс нотку изысканности в польские впечатления рассказом о первых опытах своей врачебной практики: «Если пациентка старый человек, я пытаюсь представить её такой, какой она была в молодости. Это мне помогает».

С польской поэтессой Эвой Найвер, стихи которой в прекрасном переводе А. Нехая мне нравились, мы тоже познакомились здесь. Нас с нею (а пару раз и с молодым поэтом Владимиром Ноговицыным из Котласа) приглашали на ужин в несколько домов. Зажжённые свечи, накрахмаленные скатерти теплее и чуть иначе высвечивали круг семейных отношений и польский быт. Более тесные знакомства с откровенными беседами, альбомами, любопытством, интересом друг к другу не переставали удивлять неумиряющей надеждой на то, что мир образумится и станет более миролюбивым.

В «Познанской газете» за подписью журналистки Лидии Закшевской появилась статья обо мне – «Полька из Петербурга». В журнале «Аркус» писателем Юзефом Ратайчиком был опубликован перевод отрывка из книги «Жизнь – сапожок непарный».

В вечер сочельника «Спульнота польска» собрала молодежь из всех бывших советских республик – студентов, обучающихся в университете Познани. Было ещё непривычно, что Советский Союз распался, что его – нет. Не приноровившись к существованию врозь, мы как-то инстинктивно сплотились. Ребятам явно не хватало здесь стар-

ших, тем более в предрождественский вечер. Обменявшись друг с другом кусочками облаков, молодёжь сгрудилась вокруг моего кресла, рассевшись на ковре. При горящих свечах задавались трудные вопросы про жизнь. И мне отчаянно хотелось внятно и ясно вселить в них Веру в будущее.

Рождество Христово было праздником для всех. Величественные, просторные католические храмы Познани были переполнены людьми. Шли торжественные службы. После одной из них Володя Ноговицын преподнес мне листок:

В костёле

Тамаре Владиславовне Петкевич

За дубовую стойкой
Молитва звучала,
И красивая полька
О чём-то шептала
И листочек бумажный
К груди прижимала...

Семидесятипятилетняя полька шептала слова молитвы о многом и многих, крепко прижимая к груди нескончаемо длинный поминальный листок.

С некоторыми из поляков переписка заладилась ещё до поездки. Приходили отзывы на книгу. Спрашивали, не встречала ли в лагерях Республики Коми таких-то и таких-то. Я связывала своих корреспондентов с легендарным Михаилом Борисовичем Рогачёвым, председателем общества «Мемориал» в Сыктывкаре. Отвечать на подобные запросы он считал для себя святым делом.

Домой я возвращалась с гостившими в Познани учениками младших классов петербургской школы имени Мицкевича. Нам предстояла пересадка в Варшаве. Там меня встречали друзья Марыси Будкевич, а теперь и мои (по переписке) – пан Рышард Калицкий с женой. Заслышав русскую речь, имевший к России свой счёт водитель автобуса умышленно высадил нас всех не у вокзала, а дальше, чем было положено. Засучив рукава, польские друзья помогли детям перетасать вещи до вокзала и на платформу.

Глядя на Рышарда, на его красавицу-жену, пришедших на вокзал с цветами, одна из молодых преподавательниц простодушно заметила: «До чего же я вам, Тамара Владиславовна, завидую!» Зависть ко мне? Как парадоксально, как нечасто это звучало!

Когда произошла очередная смена консулов, я очень сожалела об отъезде пана Здислава Новицкого. Очень.

Из Польши в Петербург приезжали сенаторы, музыканты, актёры, была встреча с Мрожеком и многими другими деятелями культуры. Я получала из консульства приглашения на приёмы и с удовольствием бывала в этом гостеприимном и тёплом доме.

Двенадцатого ноября 1998 года новый Генеральный консул, умный, элегантный Ежи Скотарек, огласил на приёме небольшой список поляков-петербуржцев, награждённых орденами. Моей реакцией на свою фамилию было ошеломление. Польское правительство наградило меня Кавалерским Крестом Ордена Заслуги Республики Польша.

На слова благодарности, адресованные мною президенту Польши Александру Квасневскому, пришёл ответ: «...сердечно благодарю Вас за письмо, которое я получил вместе с Вашей книгой “Жизнь – сапожок непарный”. Книга будет теперь храниться в моей личной библиотеке. Я глубоко взволнован тем, что Вы мне написали, и рад, что награду высоким польским орденом Вы приняли как искреннее выражение нашей памяти и признания. В ответ на Ваши добрые слова хочу пожелать Вам здоровья и благополучия. С уважением...» – и подпись президента.

На награждение откликнулась Молдавия – статьёй журналистки Ольги Тиховской «Орден Польши – русской актрисе»: «Тамара Петкевич – автор получившей международное признание книги “Жизнь – сапожок непарный”. Это документальное свидетельство о сталинских лагерях, созданное в память мучеников Большого террора в СССР, в память расстрелянного отца, поляка Владислава Петкевича... Особым маршрутом судьба соединила Тамару Петкевич с Молдовой и Кишинёвом... Первые постановки пьес М. Горького, А. Н. Островского в Кишинёве связаны с её именем. Зрители старшего поколения и сегодня вспоминают таких героинь актрисы, как Вера в “Обрыве”, Мона в “Безымянной звезде” и других.

...Когда русская актриса Тамара Петкевич, полька по рождению, работала в Кишинёве, официально признанной польской общины здесь не существовало. “Теперь у нас есть Дом Польский, и двери его гостеприимно распахнутся перед нашей соплеменницей”, – сказал Эдвард Ярошевский, председатель Польского общества в Республике Молдова».

В газете Республики Коми статью озаглавили «Тамара Петкевич – кавалер “Кавалера”»: «Вышедшая несколько лет назад из-под её пера книга сделала автора другом, советчицей, утешительницей для тысяч её читателей. Для жителей нашей республики автор и её книга-испо-

ведь притягательны и близки вдвойне. Большая часть пережитого и рассказанного в ней происходило на Коми земле в 30–40-е годы...»

Горячее чувство благодарности моё сердце адресует замечательному человеку, Генеральному консулу пану Эугениушу Мельцареку, принявшему участие в последующих событиях моей жизни. Позже, 29 марта 2005 года, я получила от него поздравление:

Глубокоуважаемая Тамара Владиславовна!

От имени Генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге, от себя лично, от сотрудников представительства имею честь от всей души поздравить Вас с юбилеем – 85-летием.

Droga Pani Tamaro,

Санкт-Петербург – город, в котором мне довелось работать почти пять лет, подарил ряд незабываемых встреч с замечательными людьми. Мне посчастливилось познакомиться с Вами, с Вашей судьбой, Вашим мужеством, увидеть в Вас до боли знакомую, родную черту характера польской женщины – гордость.

Мы, в свою очередь, гордимся тем, что в городе святого Петра, на Неве живёт пани Тамара, у которой мир, создавший нас, неоднократно тускнел от времени, был клубком изощёренных иллюзий и драм, но она выстояла и радуется нас своей скромностью, обаянием, женственностью, мудростью, искусством понимания другого человека.

Для Польши Вы сделали очень много – сказали окружающему миру: «Я – полька». Мы преклоняемся перед Вами.

Тамара Владиславовна, желаем Вам доброго здоровья, творческого долголетия, неиссякаемой бодрости духа и жизненного оптимизма. Мы Вас любим и ценим!

С пожеланиями всего наилучшего и глубоким уважением

Эугениуш Мельцарек

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

О моём восприятии переломных 90-х годов говорить излишне. Стать свидетелем того, как на основании собственного разума и интуиции люди освобождают себя от тоталитарной системы *сами*, было наивысшей степенью удовлетворения, которое только может испытывать человек, десятилетиями сминаемый этой системой. В сопоставлении со зрелищем заговорённого, рыдающего по Сталину в 1953 году народа, происходящее в 1990-е несомненно было грандиозным рывком к бытийному просветлению. Необычайно свежим было и то, что пункты пути («процесс пошёл», «перестройка») и отмечались, и обозначались руководителями страны. Пробуждавшиеся в людях импульсы тревоги за неблагополучие собственного сознания, за непорядок чувств были признаками совместного живого «процесса». Мы регистрировали, как сами в роли блудного сына возвращались в человеческий дом с общими законами существования, как прихотливо раскалывалось общество не только по идеологической принадлежности, но уже и с оглядкой на разум и совесть.

Как за чем-то фантастическим, мы следили за переговорами мэра Ленинграда А. А. Собчака с военкомом, получившим приказ ввести в город войска. Военные приказы не обсуждались. Но на сей раз это был диалог на языке нравственных понятий. Ни войска, ни танки в город не вошли.

Мы с Володей не отрывались от экрана телевизора. Захватывало дух от неисчислимости людей, вышедших на улицы Москвы, чтобы противостоять упорству косности в августе 1991 года. Историю конца XX века творили люди на два, на три поколения моложе нас. Младшие соотечественники, ученики, живущие в разных городах, в те кризисные дни держались единой позиции. Сокурсницы Лена Фролова, Лара Агеева, поэт Анатолий Бергер, физик Леонид Рикенглаз дежурили во время путча у стен Мариинского дворца в Ленинграде. В телевизионных репортажах Москвы под транспарантом «Зеленоградцы» мы видели в группе единомышленников Лиру Ионовну Андрееву, мать двоих детей, чистейшей совести человека. В других колоннах камеры фиксировали Киру Теверовскую с друзьями и т. д.

Противники перемен не уступали позиций и позже, когда вместе с группой депутатов А. А. Собчак переименовывал Ленинград в Петербург, возвращая городу имя, данное ему при сотворении его красоты и славы – в доленинскую пору.

Потрясение 1990-х оказалось настолько всеохватным, что, вывернув всё наружу, наглядно показало, кто чем жил и на что уповал. Хуже обстояло дело с истощённой почвой. Она была во многом обескровлена и обеднена. Вторжение в жизнь всех видов насилия не остаётся безнаказанным. Будущее расплачивается за него самым непредсказуемым образом.

Когда в Грузии вышла книга Тамары Цулукидзе «Всего одна жизнь», в которой она возвращала честь имени своего расстрелянного мужа, внук известного лица, по доносу которого знаменитый Сандро Ахметели был арестован, так избил издателя книги, что того увезли в больницу с сотрясением мозга. Сам по себе факт, что дед предстал для внука в ипостаси доносчика, сокрушал его жизнь. А за жизнь уничтоженного Сандро Ахметели, за жизнь Тамары Цулукидзе, отсидевшей десять лет, вторично осуждённой на пожизненную ссылку в Сибирь, ответственности на себя никто не хотел брать. Государство не желало озаботить себя вопросом, как вернуть на место нравственные постулаты, без которых обычно всё валится.

В ситуации, отчасти схожей с ситуацией Тамары, очутилась и я.

К концу 1980-х из нас, четырёх подруг юности, в живых остались только мы с Ли. Первой умерла Рая, чьи показания на меня как на «врага» я отказалась читать на следствии (после доноса «подруги» Роксаны знакомиться подряд с доносом второй было невмоготу). Глазами я только схватила псевдоним и сбросила дело со стола. Вопрос, кто скрывался за псевдонимом, стал мучить тут же, но было поздно. Путём сопоставлений, додумывания я всё-таки определила, кто это мог быть. Вернувшись в Ленинград, в попытке утвердиться в правоте рассказала об этом Ли.

Телефонный звонок младшей сестры той, которую я «вычислила», был неожиданным:

– Здравствуйте, Тamarочка. Вам звонит Саша, младшая сестра Раи. Помните меня?

Разумеется, помнила! Мы хорошо знали родных друг друга.

– Как я рада вас слышать! Вы себе не представляете, как вас любила Раечка! Всегда ссылалась на вас: «Тамарочка сказала... Тамарочка считает...» Вы были для неё авторитетом, – взволнованно

говорила Саша. – Я долго добивалась у Ли номера вашего телефона. Она сказала, что вас не надо беспокоить, но мы с дочерью уезжаем в Израиль, насовсем. Разрешите зайти к вам минут на десять. Я возле вашего дома.

Младшая сестра бывшей подруги мало изменилась. Была такой же ясной и тёплой.

После визита ко мне она позвонила Ли:

– Напрасно ты не давала мне номер телефона Тамары. Она так хорошо меня приняла. Мы обо всём поговорили.

– Да? – спросила её Ли. – И о том, что Рая её предавала, тоже?

– Что значит «предавала»?!

Чем бы ни руководствовалась Ли, это было жестоко по отношению к непосвящённому в эти «превратности» человеку. Поняв по реакции Саши, что совершила ошибку, Ли заторопилась поставить меня в известность:

– Я сказала Саше, что Рая стучала на тебя...

– Зачем? Разве я уполномочивала тебя? – содрогнулась я, представив, что могло происходить в этот момент с Сашей.

– ...Рая не могла вас предавать. Она не могла этого делать, – твердила младшая сестра, когда я набрала номер её телефона. – Ли говорит, что после похорон Раин муж остановил вас и сказал: «Вы должны её простить». Но мы с сестрой были гораздо ближе и откровеннее. Я бы знала об этом, знала бы непременно. Рая поделилась бы со мной...

Мысль о том, что её старшая сестра могла доносить, была для Саши нестерпима.

– Если бы вы не позвонили, я бы что-то сделала с собой, – сказала она.

И тогда уже я попросила её приехать ко мне, чтобы, не скрыв того, что самих доносов Раи не читала, рассказать о привходящих обстоятельствах.

Полностью устранившись, власть оставила взаимные «разборки» на откуп тем, кто сидел, и тем, кто доносил...

Однажды я вплотную столкнулась с моральными претензиями – к нам. В одном из народных театров меня попросили проконсультировать постановку пьесы Дворецкого «Колыма». Постановщика и актёров интересовали вопросы лагерного быта: чем кормили, какая разница между нарами и вагонками, были ли матрацы, посуда? Неминуемо коснулись и подоплёки репрессий. Молодые актёры отказались

верить в то, что для осуждения на десять лет лишения свободы достаточно было слов неодобрения в адрес трудов Сталина по языкознанию, рассказанного анекдота о вожде или «колосков», которые после сбора урожая подбирали голодные люди.

– Как вы могли допустить тридцатые годы? Как разрешили поработить себя такому страху? Почему не прибегали к вооружённым восстаниям? – с возмущением спрашивали меня.

Счёт предъявляли не государству, а тем, кто подвергся репрессиям.

Когда бы от нас ни исходило пронзительное слово правды, в 50-е или 70-е, это выслушивалось вполуха и всегда оказывалось «не ко времени». Увы, та правда ржавела, как затонувшие корабли.

Не было сопротивления, считало молодое поколение? Было! Но те, кто подлежал уничтожению, сражались поначалу с не понятым ими явлением. Потому средством сражения была пассивная чистота воззрений. Только поняв, что от них добиваются не правды, а подписи под признанием: «Да, я враг», чтобы превратить в неоплачиваемую рабочую силу для «строительства коммунизма», арестованные, у которых отбирались ремни и подтяжки, дабы они не смогли покончить с собой, начали хватать со столов чернильницы и запускать ими в мучителей. Именно после этого арестованных стали отсаживать от столов следователей к дверям кабинетов, чтобы успеть нажать на кнопку вызова вооружённой охраны.

Никто теперь не вызовет из небытия ни сцен потрясённости, ни слов, ни действий тех, кого арестовывали ночами на квартирах при детях и жёнах. НКВД, переименованное в МВД, мобильно меняло практику арестов: начинали брать на вокзалах, в поездах, и всегда врасплох. Загружали в машину с надписью «Хлеб» или «Мясо» и увозили... В лагерях заключённые объявляли голодовки. Бывали восстания. Их подавляли силой. Участников в живых не оставляли. Свидетели были не нужны.

А разве закрывающих на всё глаза «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Исаевича Солженицына с предъявленными им цифрами репрессированных и уничтоженных людей, с реальными названиями лагерей, запрудивших географическую карту страны, подводил к пониманию явления? То, что сегодня именуют беспределом, начиналось не в 90-е годы, как считают «не помнящие родства», а в 20–30-е. «Заказчики», «исполнители» тоже произросли из этих внутриутробных маний.

В 1992 году в слаженное течение жизни смерчем ворвалась Володина болезнь.

Он жил всё так же неугомонно, жадно. После выхода первой книги продолжал писать о театре военных лет, дорабатывал «Записки периферийного главрежа». Издал сборник своих рассказов «Одесские были». По приглашению бывших студентов ездил то в Латвию, в город Резекне, смотреть их спектакли, то в Москву – смотреть постановки пьес своего любимца, драматурга Саши Галина.

Угрожающий диагноз приостановил эту активность. Требовалась незамедлительная операция. Мы с дочерью Володи скрыли от него истинный диагноз, но прибегли ко всем возможным средствам вразумления, настаивая на срочности хирургического вмешательства.

– Нет! – утвердил он себя в озадачивающей беспечности. – Пока не отпраздную своё восьмидесятипятилетие, в больницу не лягу!

На его предыдущие юбилеи собиралось много народа. Мы с Машей загодя всё организовывали. Приезжала Маечка, приходила бывшая жена Володи. Старшие внуки, Вовочка и Андрюша, за ночь «сображали» уморительную смешную стенгазету с фотографиями деда. С разных концов Союза съезжались ученики, друзья и актёры. Бывали случаи, что за столом не хватало мест, и кто-то ожидал своего часа в коридоре. Телеграммы, поздравления... Володя чувствовал себя счастливым человеком.

Когда врач объявил мне результат обследований, я выбралась из озерковской поликлиники через чёрный ход на какой-то пустырь. Страх только частично выкричал себя там.

Я прибегла к крайним доводам: «Вдруг на самом деле всё гораздо страшнее, чем мы себе представляем?» Володя жёстко осадил: «Ты пользуешься правдой, как средством пытки». Так это именовалось на сей раз. Сбитый в твёрдое ядро характер не поддавался ничему вразумлению.

Вопросы жизни и смерти, полагала я про себя, должны решаться *вдвоём*, в тишине. При очередной попытке привести мужа в чувство я была тревогу.

– Вдруг всё гораздо страшнее, чем мы себе представляем? Вдруг это смертельно?

– Не страшно умереть! Страшно не жить жизнью, которая есть у нас с тобой! – обезоруживающе-философски отвёл он в сторону и этот довод.

Восьмидесятипятилетие было отпраздновано.

После операции отца жертвенно выхаживали обе дочери. Я лежала с воспалением лёгких. Послеоперационные сложности, которых

можно было избежать, согласись он вовремя на операцию, существенно ограничили нашу жизнь во всём. В течение шести лет проблемы пришлось одолевать со всей мерой перегрузок. Пленявшая всех победная лёгкость Володи помогала не сказываться на общении с людьми, на работе над воспоминаниями. Он по-прежнему сохранял живейший интерес к жизни.

В 1994 году Кира Ефимовна Тверовская прислала мне приглашение в Израиль. Я нуждалась в передышке, в том, чтобы побыть возле неё, и мне страстно хотелось увидеть Святую Землю. Если конкретно: прикоснуться, припасть к ней. Дочери мужа отпустили меня, как делали это уже не однажды: «Езжайте! Отдохните пару недель. За папу не волнуйтесь».

Лететь надо было через Москву. Встретили меня и отвезли в аэропорт Шереметьево племянники. Пока они парковали машину, я одним махом заполнила декларацию: «Нет», «Не везу», «Не имею».

– Перепишите декларацию, тётя Тамара, – сказали Серёжа с Андрюшей. – Не хочется, чтобы вы там чувствовали себя стеснённо. Вот кое-какие доллары... Не смущайтесь...

Я уже давно соорудила себе защитную маску, под которой существовал дисциплинированный безденежем человек. Вышедшие из крошечной нужды, двое родных мальчиков с сыновним чутьём решили обеспечить мне душевный комфорт.

– А жёны ваши знают об этом? – запинаясь, спросила я.

– Да, тётя Тамара. Конечно, знают, – весело и хором ответили братья. – Они с нами «во всём согласные».

Уже через два с половиной часа самолёт пошёл на снижение над страной, которую я до эмиграции друзей считала мифом. Израиль? Иерусалим? Гефсиманский сад? Эти древние символы переплелись теперь с их реальными судьбами.

Шум экскаваторов, катков, ремонтники в знакомо оранжевых спецовках, асфальтировавшие дороги вокруг аэропорта, наступили на робость, поубавили её.

Увидев встречающих меня Киру и внука моего школьного друга Давида – Вадика, поразилась сочетанию. Впрочем, да, все они уже перезнакомились здесь сами, без моего участия.

...Мы проезжали мимо банановых рощ. Гроздь бананов прямо на деревьях были упакованы в синие целлофановые мешки и дозревали в них.

– Зачем? Почему?

– Это те, что на экспорт.

На полях, где выращивалась клубника, виднелись расчищенные площадки для вертолётов.

– Зачем?

– Клубнику собирают в корзиночки и тут же отправляют в аэропорт, а оттуда в другие страны.

Каналы. Хранилища с очищенной водой. Каждый кусок земли использован подо что-то полезное. Это первые впечатления от страны. Пока современный Израиль заслонял древний.

Город, в котором жили Кира Ефимовна и Юрий Абрамович, назывался Мигдаль ха-Эмэк. В переводе – Башня в Долине.

Возле дома играли темнокожие дети.

– Посмотрите, какие прелестные шоколадки, – остановила моё внимание Кира.

До отказа населённый эмигрантами из Марокко и Эфиопии дом не имел лифта. На перилах лестницы, по которой мы поднимались на четвёртый этаж, – развешенные на время уборки квартир ковры. Вся кухонная мебель сработана руками Юрия Абрамовича. Три небольшие комнаты: две спальни, столовая-гостиная. Полностью перевезённая сюда фонотека и проигрыватель. На стене – портрет отца Киры, скончавшегося после чернобыльской катастрофы. Новое приобретение – кондиционер (мазган), без которого на последнем этаже в беспощадную жару октября того года впору было бы расплавиться.

Часа в четыре того первого израильского дня Кира неожиданно настойчиво позвала меня к окну:

– Скорее, скорее сюда! Смотрите!

Окна выходили в долину, по ближнему к их дому краю застроенную коттеджами. Далее виднелись пахотные земли и лес. Но Кира торопила взглянуть не на пейзаж, а на свет. Она караулила миг, чтобы застичь начало его семи-десятиминутного феерического царствования. Что это было за явление, когда казалось, будто свет переливают из одного гигантского небесного кувшина в другой? Розовато-синевато-лиловое волшебство, стремительно превращающее день в сумерки.

Возможность видеть это чудо я потом сторожила сама, ожидая его, как ежедневного Воскресения.

Программист по специальности, Кира, переехав жить в Израиль, захотела почувствовать прошлое этой земли, как можно больше

узнать и выведать о ней. Уже года через два она стала водить экскурсии.

Показывать мне Израиль Кира и Юрий Абрамович начали с облюбанных ими самими мест. Первым городом в плане значился Ципори, где велись археологические раскопки.

С слышавшими русскую речь эмигрантами, переобученными на археологов, то и дело возникали мимолётные диалоги:

– Откуда?

– Из Питера.

– И я. Работал на мебельной фабрике «Нева». Слышали о такой?

– Конечно. Не жалеете, что уехали?

– Не-а.

Откопанный в результате изыскательских работ памятник римско-византийской эпохи – вилла и расположенный вблизи неё амфитеатр – выглядели единым архитектурным ансамблем. Чтобы дать представление о жилом доме в целом, не подлежащая реставрации часть фасада была по высоте затянута чёрным холстом. Мозаики пола воспроизводили сцены из жизни Диониса. Одна из мозаик, состоявшая из камней двадцати трёх цветов, изображала прекрасную женскую голову с подобранными вверх роскошными волосами. Красота лица когда-то существовавшей матроны поражала вневременностью совершенства.

С раскопок в Ципори Кира повела нас в старый монастырь. Монах-привратник доверил ей ключи. Одним из них она открыла заржавевшую калитку в запущенный сад с проросшей сквозь трещины каменных ступеней высокой травой. Подвела к притвору. Открыла дверь там. И мы увидели написанную маслом картину, изображавшую семейство Святой Анны, матери будущей Девы Марии. Границы нимба над головой девочки Анны были означены звёздочками. Так необычно, так странно было рассматривать одну-единственную картину из огороженного монастырской стеной одичавшего сада в безлюдье жаркого израильского дня.

Чтобы связать в одно тему девы Марии, Кира повезла нас в Назарет. Прежде чем пройти в галерею храма Благовещения, где собраны изображения Девы Марии – подарки католических общин разных стран, Кира подвела нас к скульптурной композиции: архангел Гавриил сообщает Марии о её избранничестве. Будущая Мать Божья ещё подросток. Возможно потому, что она изображена донельзя испуганной, словно громом поражённой, легенде о Благой Вести была впервые придана достоверность.

Размеренный звук капель, по одной падающих в источник, из которого Мария набирала воду, оглушительно резонировал под каменными сводами греческой православной церкви Святого Гавриила. Этот звук сливал в одно все истины века. Прохлада, исходящая от мощных церковных стен, и обваривающая жара улиц, соседствуя, сопровождали нас повседневно и всюду.

На горе Блаженств у озера Киннерет, где Сын Божий читал Нагорную проповедь, кто-то из компании принёс сорванный в роще грейпфрут: «Ешьте». Взяв плод в руки, я даже надкусить его не посмела. Мне вообще здесь хотелось молиться Земле так же, как Небу. Я ехала сюда с чёткой физической потребностью припасть к сухому теплу этой Земли. Отстала от всех. Распростёрлась. Но друзья спохватились, вернулись. Не дали насытиться тем теплом.

Меня волновала каждая буква названия города Иерусалим!

Три дня мы жили в его пригороде, в доме замечательной писательницы и очаровательной женщины Светланы Шенбрунн. За разговорами засиживались до глубокой ночи.

Всех вместе нас пригласили к себе живущие в Старом Иерусалиме друзья Киры и Светы. Современные платья и обувь не согласовывались ни с проёмами дверей, ни с вытянутыми в высоту окнами. Современная чашка с чаем утрачивала здесь смысл, была нелепа. Странные узкие комнаты разрешали себя засвидетельствовать глазам, но бесцеремонно выталкивали при попытках вчувствоваться в их историческое время.

Раскопки, всюду раскопки. В Старом городе они обнажили мостовые римской поры, по которым раскатывали колесницы властолюбцев, чеканили шаг воины, шумели несметные толпы людей.

Когда мы к вечеру набрали в Старом городе на разрушенную, без крыши синагогу, светила луна. В полной отлучённости от жизни на ободке каменного полукружья сидела затихшая женщина. В таком же молчании, присев на корточки, возле неё забавлялся игрой с камушками ребёнок лет пяти. Обострившееся в Израиле чутьё заставило нас так же тихо обойти их и удалиться.

Покидая Старый город, мы неожиданно очутились у Стены Плача. Ничуть не стесняясь наивной веры (оставь в узкой щели стены записку с просьбой о спасении твоих близких – и просьба будет исполнена), там рядами стояли углублённые в молитву люди.

Когда в храме Гроба Господня, невзирая на «нельзя», пожилой турист лёг на камень Помазания, где лежал снятый с креста Иисус, он был – понят. Возможно, здесь с такой силой обобществлялись

неповседневные человеческие чувства, что правда Гефсиманского сада, где ученики Сына Божьего уснули, а сам Он был так беспредельно, так безысходно одинок, зная, что будет предан, и был предан, – так и оставалась прообразом земной судьбы человека.

Мы, разумеется, от начала до конца прошли путь, по которому безжалостная толпа сопровождала Иисуса, несущего свой крест на Голгофу. Не впечатлением, а оглушением вины отзывалось всё это сейчас.

Мы с Кирой купались в Средиземном и Мёртвом морях, в озере Киннерет. А перед отъездом – в горячих источниках на границе с Иорданией. Граница представляла собой высокий, крутой склон горы, густо опутанный проволокой. Под горой из-под земли бил горячий источник. Целебная вода заряжала такой недюжинной силой, что, забыв про свои семьдесят четыре года, не отдавая отчёта в том, что делаю, я скинула туфли и впервые в жизни встала на батут. Соревнуясь с Кирой, мы взлетали: кто отчаянней и выше? В компании, с которой мы направлялись тогда от источника к крокодильему питомнику, были эмигранты из Молдавии, знавшие меня по кишинёвскому театру. Прыжки на батуте были награждены аплодисментами.

Мне была интересна поездка в кибуц (род коммуны). Тот, в который нас привезли славные люди Аврош и Римма, имел свою обойную фабрику, коровник, птицеферму, свиноводник, магазины, гигантскую кухню, столовую, где на всех жителей готовили завтраки, обеды и ужины. Имелись детский сад, школа, дом престарелых. Показывал нам всё председатель кибуца – отец семерых сыновей (восьмой был приёмный).

– Окупает себя коммуна? – спросила я.

Председатель честно ответил:

– Нет.

– Какой же вы находите выход?

– Когда не справляемся, правительство дотирует.

На территории кибуца стояло несколько вагонов-общежитий для любопытствующих молодых людей из других стран. Они приезжали сюда с желанием вникнуть в этот социального толка опыт.

В этой стране жили мои друзья по Северу, по Петербургу. Все без исключения существовали более чем скромно.

Дороговизна транспорта в Израиле лимитировала поездки по городам. И времени было немного. Кое-кто из друзей приезжал в дом Кире и Юрия Абрамовича. Кого-то навестили мы с Кирой. Побыва-

ли в старинном городе Акко в семье школьного друга, Давида. Самого его давно уже не было в живых. Его прелестная жена Лиза подвела к окну комнаты, откуда виден берег Средиземного моря: «Когда тоскую по Питеру, стою на этом месте, смотрю в далёкую даль». Компенсировало её тоску признание дочери Элочки: «Вы себе не представляете, как интересно с мамой. Я раньше и не догадывалась, что она так много знает, так может всё понять и объяснить». С соучеником Борей Магаршаком, приехавшим из Штатов, встретились здесь, будто сговорившись, но – случайно. И тоже наговорились всласть, на всю жизнь.

Работали все в большинстве своём не по специальности. Кто-то жил в одном городе, а на работу ездил в неблизкий другой. Но творческий вклад, результаты труда приехавших сюда пионеров были прописаны во всем. Ортодоксальный иудаизм не жаловал полуверующих. Неверующих эмигрантов из СССР отвергал вообще. Мир между ними даже не намечался. На вопрос: «Отношения с палестинцами серьёзно осложняют жизнь?» – отвечали: «Они нас ненавидят даже тогда, когда любят». Экскурсии школьников сопровождали люди с автоматами. «Мы тоже из России, – сказал нам один из них. – Я из числа родителей. Вон мой сын. Пришлось обучаться стрелять из автомата. Иначе нельзя. Опасно». Удивляла охота, с какой юноши и девушки шли здесь на службу в армию. Удивляло отношение властей и граждан к своим военнослужащим. Драматизм ощущался во всем, но если суммировать смысл ответов, то это выразалось так: «Всё равно жизнь прекрасна».

В стране были содержательные, умные передачи по радио «Рэка». Иногда не хотелось уходить из дома, не дослушав выступлений специалистов и комментаторов. Я тогда ещё не знала, что передачу «Прогулки фраеров» с умными, высокого вкуса поэтическими композициями здесь будут вести талантливые Люда и Игорь Мушкатины.

«Разве в Израиле как-то проявлял себя быт?» – пыталась я вспомнить позже. Разумеется, да. Поздним вечером мы однажды попали на рынок в Хайфе. Рыбы – навалом. Названий не счесть. Её тут же чистили и разделявали, как было угодно покупателю. Изобилие овощей и фруктов...

Но вот особая бытовая деталь: старое, с порванными пружинами кресло. Дети Киры только-только приобрели в кредит небольшой одноэтажный дом с участком в долине под Афулой. Кресло они притащили с помойки и поставили его на границе с соседним участком, шагах в шестидесяти от дома.

Был поздний вечер. Канун отъезда. Все сидели за ужином. Меня тянуло выйти в дверь, отворявшуюся прямо в долину. Почти впотымах я добралась до кресла и опустилась в него. Вдали, на холмах, электрическими огнями перемигивались города Назарет и Афула. Только гора Фавор с часовней на вершине оставалась погружённой во тьму, хотя я была уверена, что кто-то там в отшельничестве непременно зажигает свечу в часовне. Голая, никем ещё не обработанная земля долины. Небо тяжелили низкие, внушительные звёзды. Бездна воздуха, позванивающее пространство. Ошеломляющая живость инобытия. Я ощущала себя на оси Земли, в самой сердцевине Вселенной. Что-то похожее я когда-то пережила в Средней Азии, в Сочи в санатории «Актёр». Неизмеримость пространства – укачивала, омывала.

Я догадывалась, что Кира не позволяла звать меня из долины в дом: «Не надо. Не трогайте её. Ей сейчас хорошо». Это «хорошо» было заземлено в прочности отношений с нею. В уверенности в ней как в человеке, который никогда, ни в чём тебя не подведёт. Несклонная к велеречивости, Кира бралась за неодолимо трудные дела и успокаивалась только тогда, когда их завершала. Считая своим личным долгом добиться посмертной публикации воспоминаний Хеллы, осуществила это в изданной С. С. Виленским книге «Доднесь тяготееет». В этот же сборник по её инициативе были включены воспоминания Хавы Волович, Миры Гальперн и глава из моего «Сапожка». Еще не так давно Киру с её прекрасным лицом можно было видеть на кадрах наших кинолент в скорбном потоке тех, кто провожал в последний путь А. Д. Сахарова. Диапазон от программиста, друга в тысяче проявлений, участницы гражданских акций в Союзе – до воспитания внуков и взращивания сада, цветов на голой земле Израиля.

Как рассказывают побывавшие у неё в последние годы знакомые, деревья, посаженные ею в 1994 году, сравнялись теперь с антенной на крыше дома. Хозяева срывают с ветвей лимоны, апельсины, гранаты.

А внуки? Важно не где они растут. Важно – какими. И вот прелестный пассаж. Одному из внуков иврит давался непросто. Учительница мальчика не жаловала. Во время урока ему понадобилось выйти в туалет. Он поднял руку, спросил: «Можно выйти?» Недовольная учительница ответила: «Нельзя!» Немного посидев, ребёнок осмыслил отказ. Поднялся и пошёл к дверям класса. На окрик учительницы: «Я сказала: нельзя!» – мальчик спокойно остановился, повернулся к ней и дал ей на иврите совет: «Возлюби ближнего своего, как самого себя».

Перед тем, как отдать приготовленную для меня в подарок книгу, обретенный в Мигдале друг Белла Житникова спросила:

– Вы знаете, что такое «Экклезиаст»?

– Почему «что», а не «кто»? – спросила я.

– Значит, не знаете. Тогда изучайте, – с милым лукавством ответила она, вручая подарок.

Те, с кем не удалось повидаться, приехали проводить меня в аэропорт. Воспоминания. Слезы. В стороне ожидала младшая сестра Раи – Саша (приехав в Израиль, я позвонила ей). Кто бы мог представить, глядя со стороны на обнявшихся женщин, каким мучительно-трудным чувством они оказались связаны?

Благодарность за годы удивительной дружбы, за счастье побывать на земле Израиля я адресовала бесценной Кире и её семье.

Трудно сказать, почему ощущение от поездки на Землю Израиля было таким щемящим. Я увидела, как раскапывали здесь землю, как раскрывали её прошлое. Видела, как разумно и грамотно упорядочивают эту землю во имя сегодняшнего дня и – будущего.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

После того как председатель общества «Мемориал» города Ухты Аркадий Ильич Галкин закупил и увез в Республику Коми целую партию «Сапожка», из многих северных городов стали приходить письма с описанием схожих судеб и откликами на книгу. А ещё какое-то время спустя из городов Ухта, Печора, Княж-Погост, Котлас и других последовали приглашения приехать для встреч с читателями. Настоящее других звали из Финно-угорского центра Сыктывкара.

– Приезжайте. Очень ждём. Оплатим дорогу, оплатим проживание в гостинице...

Зов навестить могилу Коли не умолкал никогда. Заменить деревянную ограду на железную числила давним долгом. Лимит возраста, непредсказуемость исхода операции, лечь на которую предстояло теперь уже мне, не давали больше прав на отсрочку.

Согласившись побывать в трёх городах – Сыктывкаре, Княж-Погосте и Ухте, – осенью 1996 года я отправилась в места моего прошлого.

Десятки раз езженная дорога – через станции Андога и Суда, где когда-то работал отец, – не воскрешала больше элегических настроений, связанных со школьными каникулами, которые я проводила там с семьёй. Реальный финал судьбы отца замкнул их на себе.

Поезд вёз дальше на Север. Замелькали названия станций, вовлекавших в пропасть прошлого. Я ловила себя на том, что память и здесь поменяла курс на что-то прочно забытое.

Узловая станция Котлас пробудила одно из мятежных состояний. Послевоенные годы: 1947-й, 1948-й. Все ещё куда-то ехали, переселялись, кого-то искали. Нас выгрузили из «театральных» вагонов, чтобы прицепить их к другому товарному составу. Подняв пассажиров с мест и освободив для заключённых артистов угол в зале ожидания, конвоиры заняли позиции сторожей слева и справа от нас. Истошные свистки маневрирующих паровозов, гул, авралы посадок, форсированный голос из радиорубки – нам, вынырнувшим из глухоманы тайги, донельзя взвинтили нервы. Недалеко от этих мест жила семья, в которой рос мой сын. Рвущая сердце тоска стянула петлю на

горле. Меня обуряла необоримая потребность вскочить, броситься в неразбериху этих шумов, свистков, перемещений и пересадок.

– Разрешите, я пройду в другой зал? – обратилась я к конвоиру.

Имея Колю в заложниках, меня можно было отпустить куда угодно (так же как и Колю, если в заложниках была я). Конвоир мотнул головой: «Разрешаю». Перешагивая через корзины и мешки, я направилась к дверям следующего зала, чтобы хоть несколько минут побыть безнадзорной. Шальным запалом я, видимо, пугала мирно ожидавших своего поезда людей. Они вскидывали головы, отстранялись. Я бессмысленно кружила по залу, пока меня не привёл в чувство сомнительный комплимент какого-то пожилого человека: «Безу-у-умная блондинка!»

Оставленные без внешнего мира, мы с Колей умели гасить друг в друге подобные предвестья «безумий». Я вернулась к нему.

Проезжая теперь место, где родился, где с удивлением и залихватским смехом впервые встал на ножки сын, я уже не пыталась соединить в одно то дитя, которое по пять раз в день одержимо бегала кормить в детприёмник, с не признающим во мне мать сегодняшним взрослым мужчиной. В сознании они существовали порознь.

Через окно вагона я смотрела на валявшиеся возле железнодорожного полотна сгнившие деревянные шпалы, которые мы укладывали в сороковые годы. Нынче их заменяли железобетонными... Как же я стара, Боже! Но как – до сих пор – «безумна»! И какой невероятной силы память ведёт меня – через сорок шесть лет после освобождения – в эти места!.. Надо! Мне это так надо!

От Микуня на Сыктывкар теперь была проложена железнодорожная ветка. В Микуня поезд имел длительную стоянку. По прямой, как линейка, дороге я быстрым шагом успела пройти до дома культуры, у входа в который посеревшие, но целёхонькие стояли скульптуры, созданные заключённым Борисом.

В сторону дома, в котором я жила в Микуня, туда, где находилось здание измытарившего меня ГБ, и головы не повернула!

В столицу Коми, Сыктывкар, поезд прибыл к ночи. К вагону подбегали молодые незнакомые люди. Вглядевшись, в одной из женщин я узнала ученицу мужа Верочку Морозову, за ней следовал мой бывший сослуживец, переехавший сюда несколько лет назад из Ленинграда. Остальных я не знала.

С самого начала всё в этой поездке отмечалось неожиданностями. Приглашена я была, оказывается, не ровесниками и солагерниками, а юными, красивыми сотрудницами Финно-угорского центра, ника-

кого отношения к лагерю не имевшими. Поселили меня не в гостинице, а в каком-то ведомственном профилактории, в необычайно уютном и чистом номере и в тишине, что помогало мне справляться со всем нахлынувшим.

– Сюда, Тамара Владиславовна, сюда садитесь, к окошечку, – встретила меня утром следующего дня заведующая столовой.

На кухне посудомойки громыхали пустыми кастрюлями. Все уже были накормлены. На предназначенном для меня месте стоял стакан берёзового сока и прозрачный мёд в розетке. И как-то совсем уж домашнему мне было сказано: «Сейчас принесём вам горяченькой каши и судака».

Республика Коми! 1996 год. Октябрь. За окном на алеющую листву уже неторопливо слетали с хмурого неба снежинки. Я всё ещё в пути. Пора примириться с тем, что «в пути» означает «дома».

Для меня было намечено посещение двух музеев, встреча с читателями в Финно-угорском центре.

У входа в Краеведческий музей меня ожидала группа сотрудников. Заочно, по переписке, с кем-то из них мы были уже знакомы.

Музейная экспозиция рассказывала историю этой земли. На богатства природа здесь не скупилась: лес, уголь, нефть, радиоактивная вода. Государственная стратегия развития края, не в пример щедлости недр, была беззастенчиво сужена: рабский труд.

Вот за стеклом стенда – плошки, черпак, пара глиняных горшков. Эта незамысловатая утварь была изъята по описи при раскулачивании крестьянской семьи. Стенды с фотографиями множества людей – подневольной рабочей силы. Это мы, заключённые, свезённые сюда с разных концов страны. Мы – на строительстве железной дороги. Мы – на лесоповале, на распиловке стволов, на погрузке брёвен, досок. В шахтах, при добыче руды, тоже мы. Завершали этот визуальный ряд фотографии кладбища заключённых: над свальными ямами – колышки сантиметров в тридцать высотой, к которым прибиты дощечки с номерами. Так на языке фотодокументов излагалась повесть о нас.

Экскурсия была организована для меня одной. Как перед полпредом трудившихся здесь невольников, молоденькая сотрудница музея с сопровождавшими её коллегами держали передо мной экзамен на Правду, Совесть и Память. А я была глазами и ушами ушедших. И хорошо, что музейный канон изложения не достигал дна преступной правды. Боль и так была сильна, волнение – обоюдно.

После чаепития в кабинете директора музея, при прощании молоденькая девушка-экскурсовод сказала: «Читая вашу книгу, я и подумать не могла, что вы ещё живы, и я смогу сказать вам, как люблю её».

Затем был поход в картинную галерею.

Художники Коми запечатали свой народ литым и цельно скроенным. Косая сажень в развороте плеч у охотников-коми, у коми-рыболовов. Тундра, тайга – и они, богатыри. Озёра, реки – и они, добытчики. И тут же – нечто из другого миропонимания: вместо самолёта по небу движется танк-вездеход, погубитель не только земли, но и неба... Или картина «У камина», где пасть камина черна, об огне нет и речи; рядом с камином – мольберт, на который устремлён опустошённый взгляд художницы... В углу же зала теплела скульптура лукаво-улыбчивого пасечника из светлого дерева.

На встрече с читателями в Финно-угорском центре в роли ведущей – недавняя студентка Володи Верочка Морозова. В тёмном платье, оттенённом белым кружевным воротничком, она выглядела ничуть не смущённой темой разговора. Мне оставалось только удивляться трезвости её оценок «исторического прошлого» и незатасканности формулировок.

Пришедшие на эту встречу просили перечислить, в каких местах республики я отбывала срок, кто-то называл имена родных и знакомых с надеждой: «Не встречали?..» Интересовались режимом дня заключённых. Спрашивали: «Сумели ли вы забыть прошлое?» «Есть ли у вас семья?» «Как вы относитесь к общественным переменам?» «Верите ли в Бога?» Форма «вопрос-ответ» тем и плодотворна, что возьмёт и явит ненароком совсем не букварную, а живую, юркую правду. В каждой аудитории, как правило, возникал свой климат, выкристаллизовывалась собственная тема. Оттеснившим остальные ключевым вопросом здесь стал:

– Как вы относились и относитесь к тем, кто вас охранял?

Обычно я отвечала:

– В зависимости от того, каким был тот «человек с ружьём».

В лагере заключённые наклеивали на вохровцев меткие ярлыки: «садист», «куркуль», «зверь». Бывали «молчуны», реже – «бати». Со всем изредка случались «соловьи» и «розы» – поклонники солистов и музыкантов ТЭКа.

Нынче в местах, где после ликвидации лагерей бывшие узники и те, кто их охранял, остались работать и жить бок о бок, соседство выразило себя в форме обострённой драмы. Проволоку заменил идеологический сумбур в головах вохровцев, приводивший к бесперыв-

ным баталиям. В присланном отсюда же, с Севера, сборнике «Мемориала» я прочла однажды воспоминания охранника, описывающего, как политических заключённых кормили в зоне икрой и копчёностями, а охрану – хлебом и картофельной шелухой. Засевший в голове бред до сих пор разъедал недоброкачественную память этого «стража порядка».

Здесь, на Севере, невольно возникал вопрос: думал ли тот, кто планомерно изготовлял из народа «друзей» и «врагов», натравливая одних на других, к чему это приведёт? «Посеешь ветер – пожнёшь бурю». А ведь сжатую бурю сеяли в почву – для следующего урожая, сохраняя тем дух гражданской войны.

И разве не узел отношений вольного с заключённой был причиной *моей* беды с сыном?

Лыком в строку оказалось на той встрече выступление одного из присутствующих:

– Я узнал человека, которого вы в своей книге спрятали под вымышленным именем.

Все имена в книге были подлинными, кроме трёх. Я изменяла имя только в случае, когда его упоминание могло задеть детей того, о ком шла речь. Было件件но: этот человек вычислил «Филиппа». Так уже не раз бывало: чья-то интуиция доставала глубоко скрытое событие или чувство. Постигнутое кем-то помогало, в свою очередь, добыть упущенную деталь, и объективная правда становилась крупнее.

Переждав всех, кто после окончания встречи подходил ко мне с вопросами, этот человек с открытым, светлым лицом подсел теперь к моему столику.

– Я много лет проработал с Филиппом, – сказал он. – Не однажды видел вашего сына. Понимаю вашу беду. И боль вашу понимаю. И всё-таки... всё-таки хочу, чтобы вы мне поверили: Филипп был неплохим человеком.

Нелестно отозвавшись о его окружении, он рассказал, как и сколько раз Филипп выручал его из безнадежных ситуаций.

Я могла только молча слушать. Доводы тут были ни к чему. Кража сына перечеркнула Филиппа для меня. Но каким-то чудовищным, нечеловеческим образом – он оставался без последнего слова суда.

Прервала разговор сотрудница Финно-угорского центра: «Можно включить телевизор? Встречу снимали. Сейчас покажут».

Вручив свои отпечатанные на ротапринте воспоминания, заступник Филиппа поднялся. Уходя, обернулся. Я смотрела ему вслед.

В потоке местных новостей по телевидению были показаны кадры заседания правительства, выступление главы республики Спиридонова – и «встреча в Финно-угорском центре с автором книги “Жизнь – сапожок непарный” Тамарой Петкевич, которая много лет провела в лагерях на нашей земле...». Соединение сюжетов в одном выпуске новостей удивило. Республику относили к «красному поясу». Но здешние руководители, кажется, не были настроены на ложь. Сама земля здесь этого не разрешала делать.

– Изменилась наша республика с той поры? – спрашивали меня.

Когда после двадцати пяти дней этапа в мае 1944 года из тёмных ночей Киргизии нас высадили в белую ночь Коми АССР, я увидела только вышки и опутанные проволокой зоны. По-настоящему мне предстояло разглядеть республику только теперь.

Прежний Сыктывкар, в который я однажды приезжала после освобождения – тогда здесь ещё жили Хелла, Иван Георгиевич Белов, Тамара Цулукидзе и китаец Шань, – произвёл впечатление только видом с холма на слияние рек Вычегда и Сысола. Обе долго ещё сохраняли цвет своих вод, оберегая себя друг от друга чёткой линией раздела.

Сейчас столицу Республики Коми застраивали многоэтажными, продуманной архитектуры домами, комбинируя красноватый и серый кирпич. Были отреставрированы старинные дома, разбиты парки, скверы. Город удивлял чистотой.

Я побывала в радостном, сияющем такой опрятностью, что и пылинке не нашлось бы места, доме Веры Морозовой. Там царила взаимная любовь дочери и матери. Приглашённые в гости подруги пели дерзкие по тем временам песни северного барда Вячеслава Кушнира.

Вера сводила меня в мастерскую одного сыктывкарского художника. На рабочем полотне серой, вяло вьющейся лентой был прорисован последний выдох распятого на кресте и перевёрнутого вниз головой человека. По молодости лет о таких физических муках художник мог знать разве что из книг или понаслышке.

С непрекаемым уважением говорили здесь о Михаиле Борисовиче Рогачёве, организовавшем местное общество «Мемориал», создавшем точные списки тех, кто прошёл лагеря Коми. Рассказывали о геологе Викторе Ложкине, отправившемся сюда на поиски полезных ископаемых и споткнувшемся о безымянные захоронения заключённых. Человек этот принял беспримерное решение: ничего не говорящие номера на фанерных дощечках заменить реальными именами сгинувших людей.

Неизгладимое впечатление оставило знакомство с пленительно-талантливым, глубокого чувства человеком – журналисткой Анной Сивковой. Не с любопытством, а с пронзительным сочувствием она тихо спросила меня:

– Как вы смогли рассказать о себе так откровенно?

Для себя я находила тому объяснение, но ответив: «Сама не знаю», – тоже не кривила душой.

Из Сыктывкара в Княж-Погост вела автомобильная дорога. Солнце золотило и её, и припорошённый снежком лес в буйстве осенних красок. Молчали сопровождавшие меня Розалия Павловна Сливкова и Верочка Морозова.

Меня неизъяснимой силой притягивали две княжпогостские точки: могила Колюшки и пятачок у железной дороги, где мы с ним простились за десять дней до моего освобождения из лагеря. ТЭК уезжал обслуживать трассу. Мы уже разместились в своих товарно-театральных вагонах и ждали одного: чтобы их как можно скорее прицепили к товарному составу и он тронулся в путь. В этом случае десять дней были бы ещё наши. Но во Втором отделе лагеря спохватились. За мной прислали двоих конвоиров, чтобы увести в зону.

Все мои товарищи вышли из вагонов. Прощалась я с каждым. Но невысказанной для меня задачей было оторваться от Коли. От смертельной боли в его крике мне вслед: «То-о-о-ми-ик!» – растерялись даже конвоиры. Я опрометью бросилась к нему. Нам дали ещё несколько минут. Тот крик не мог не прорасти своим предсмертным отчаянием сквозь мерзлую княжпогостскую землю. Как-то я должна была его опознать.

Во время моей поездки на Север в 1972 году горели леса. Дым застилал Княж-Погост. Потревоженные тени прошлого хватили за полы, куда-то утягивали. Покрасив в голубой цвет деревянную ограду, я уехала, не успев выкопать две небольшие сосенки возле могилы. Все эти годы я мучительно представляла себе, как они могли разрастись. Сейчас беспокоило: сумею ли найти кого-нибудь, кто их спилит и кто заменит деревянную ограду на железную?

Мы приближались к Княж-Погосту. Вот-вот я должна была справа увидеть кладбище...

В первый момент меня ввела в заблуждение широкая, протоптанная вглубь него дорога – не совсем там, где мне помнилось... Дорога привела к оврагу. Его прежде не было. Я тут же возвратилась к исходной точке. Пошла, как велела память клеток. Сейчас могила должна была быть слева. Да! Теперь я точно знала: место Колюшкиной моги-

лы – тут и только тут. Но деревянной, голубого цвета ограды глаза не отыскивали. Оглядывая всё вокруг, ещё и ещё раз за железной оградой могилы, возле которой стояла, я неожиданно увидела на новом кресте табличку с Колиным именем, датами его жизни и чёрную ленту: «Безвременно ушедшему человеку трагической судьбы»...

Первое чувство – испуг. Через столько лет – наедине с могилой, которую не узнаю! Что это? Кто посмел её преобразить?

Ну а потом – одно Господне безмолвие вокруг. Между желанием здесь быть и свершением зазор исчез. Исчезло вообще всё. И настоящее время – тоже. Власть ли памяти что-то творит? Или это беспмятство во имя чего-то иного? Трудно сказать. Но я – здесь, это главное и единственное. И много времени спустя пришло реальное успокоение...

В Петербурге, на одной из встреч с читателями в музее Ахматовой, я получила записку: «Открылся ли вам с годами смысл сказанного Николаем Даниловичем в вашем сне: “Теперь я должен уйти навсегда”?» Я и предположить не могла, что кто-то обратит на это внимание, запомнит. Ухватившись за представление Данте о «кругах», об иерархии того света, ответила тогда: «Да». Имела в виду, что отстрадавший войну, плен, камеру смертников, мучительнейшую болезнь и смерть в зоне Коля был допущен куда-то ещё выше, где вообще нет никакой муки.

Конечно же, я не знала, куда ещё могут уходить ушедшие, если память их ни за что и никому отдавать не хочет, если пережитое с Колей как было, так и осталось мерой любви и полноты? К тому же слова «навсегда», «вечная одинокость» обдавали холодом окончательности, которую душа принимать не хотела.

В Краеведческом музее Княж-Погоста нас ожидали с накрытым для чаепития столом, с усердно пыхтящим самоваром. Едва познакомившись с приветливыми работниками музея, я стала дознаваться:

– Кто поставил ограду и новый крест? Как это вышло? Почему?

– Первыми приехали дети-следопыты из Ухты с учительницей Илзой Брауэр, – рассказывали мне. – По описанию в вашей книге отыскивали могилу. Ну а потом уже жители Княж-Погоста заменили Николаю Даниловичу крест и поставили железную ограду.

Да, о приезде детей с педагогом Илзой Брауэр, о том, как они зимой зажгли на могиле свечи и стали в снег на коленки «перед Страданием», мне писали. Это потрясло тогда до глубины души. А далее?

– Что значит «жители Княж-Погоста»? Кто именно поставил ограду и крест?

- Здешняя учительница, Капитолина Васильевна Ворсина.
- Дайте мне её адрес.
- Да увидите вы с ней, увидите. Не волнуйтесь. Она вот-вот должна сюда прийти.

В музей один за другим входили жители Княж-Погоста. Никто не говорил мне, как выглядит Капитолина Васильевна, но я на полу-слове прервала разговор с корреспонденткой местного радио и поднялась навстречу вошедшей в музей неторопливой, полсекунды назад незнакомой, с безоговорочно добрым лицом женщине. И разом все вопросы получили ответ. Такие, как она, совершают добро не для кого-то, не для себя. Во имя Творца, видимо. Так им – велено.

У заведомо культуры Елены Юрьевны Нифит и у директора музея Галины Валерьяновны Тягиновой всё было приготовлено к поездке на могилу: венок, цветы, вино и свечи. В качестве кого же, Господи, побывав на кладбище наедине с Колей, я поеду теперь? В качестве гостьи?

В поездке 1996 года на Север жизнь моя в известной мере перестала быть только моею. Она превращалась и превратилась в часть соборной повести о жителях этого края. Ясным рассудком я ощутила себя в тот момент полумузейным экспонатом. Живым лишь в той степени, в какой участие людей помогает жить с содранной кожей.

В фрагментах летописи края мне увиделись в полный рост конкретные люди и конкретные их поступки. Неразговорчивый старший надзиратель Сергеев, который в 1950 году разрешил похоронить Колюшку на местном кладбище для вольных – с условием, что я сделаю это ночью. Он сам вывел из зоны лошадь с дрогами, на которых стоял гроб с Колюшкой, передал мне поводья, сказал: «Везите». Немка Илза Брауэр, родившаяся на Севере в ссылке, приезжавшая сюда с учениками-следопытами. Капитолина Васильевна, муж которой погиб в дорожной катастрофе. Не теряющая силы любовь к мужу повела этой женщине принять в душу нас с Колей...

На месте барачной центральной колонны Княж-Погоста высились пятиэтажные дома. Сам Княж-Погост был переименован в город Емву. Вместо секретаря горкома партии с нуждами города управлялся мэр – Ангелина Михайловна Барбашева. Она и организовала встречу, проходившую во вновь отстроенном доме культуры. Прежний, в котором наш ТЭК отыгрывал для вольнонаёмных спектакли и концерты, сгорел.

За столиками с угощением сидели люди двух-трёх следующих за мной поколений: дети и внуки тех, кого я знала по прошлому, и вовсе

незнакомые. Выступавшие делились впечатлениями от «Сапожка». Рассказали о десятикласснице Наташе, написавшей по книге сочинение. Девочка с родными присутствовала тут же, в зале. Гости постарше вспоминали наш лагерный театр. Фактически, излагалась уже легенда: о вдохновенном и прекрасном слове, о песнях и спектаклях, которые в те мрачные годы дарил им наш ТЭК. Кто-то принёс с собой извлечённые из домашних архивов письма родных. Принесли в подарок фотографию Дмитрия Фемистоклевича: блестящий пианист разучивает в детском саду с трёх- и четырёхлетними детьми песенки о зайке и ёлочке, сопровождая им на аккордеоне. Дата на фотографии указывала на то, что снимок был сделан, когда Дима вернулся сюда после увольнения с работы в Шадринске. Никогда мне так ясно и до конца не виделась драма Диминой жизни. Как же не миловала нас после заключения свобода! А мы, осознавая её немилость, продолжали трудиться, желая вписаться в жизнь, учились вопреки всему ходить на двух ногах.

– Можно я прочту стихотворение, посвященное вам? – поднялась с места молодая обаятельная женщина. – Только оно любительское.

– А можно узнать ваше имя?

– Уляшова Наталья Сергеевна.

Вам много писали красивых стихов.
Смогу ли набрать столько ласковых слов,
Чтоб вас всей душою обнять,
Чтоб вы меня также сумели понять?..

Мне хочется рядышком с вами сидеть,
В глаза ваши мудрые долго глядеть.
И слушать внимательно, смиренно рассказ
О том, что прошло, хоть без нас, но о нас.

Меняется всё. Быстро годы бегут,
Уже Княж-Погост люди Емвой зовут.
И каждый мечтает, чтоб сбылось скорей:
Не стало б на нашей земле лагерей.

Но то, что свершилось, уже не забыть,
Нам с памятью горькой приходится жить.
Чтоб к нам не вернулась обманом беда,
Сапожки пусть парными будут всегда.

Не всё в жизни просто, мы знаем о том,
Но в жизни, как ваша, мы силу найдём,
Чтоб мудро и радостно деток растить,
Чтоб им не пришлось снова ад пережить.

Поэтому кланяюсь вам до земли.
Мы здесь, в Княж-Погосте, друг друга нашли.

Так ведь это – заплачка! Самое что ни на есть народное творчество! Наговор, заговор, колыбельная... Такое сочиняют люди, способные «чувять» жизнь других...

Понятие «народ» я осознаю непомерной силой. Нередко беспощадной. С одним из её суровых проявлений я и столкнулась здесь же.

Желая навестить на княжпогостском кладбище могилы Ванды Разумовской и её дочери Киры, я Кириной могилы не нашла. Стала спрашивать: «Почему Киру захоронили в другом месте? Ведь рядом с матерью она оставила место и для себя?» Отвечали глухо: «Не знаем». Знали!

В первой книге я касалась этой драмы. Ещё до освобождения Ванда получила в лагере отказ сына от неё. А дочь она нашла после выхода на волю в детском доме, где голодная Кира рылась на помойке. Уживались мать и дочь с трудом. Одичавшая в детдоме Кира никак не могла понять, чего от неё добивается мать. Убегала из дома. Её находили рыдающей в соседских сараях. Сострадали девочке. Забирали к себе, отпаивали чаем. У Ванды тем временем обнаружили рак. Безмерно терзаясь после смерти матери, Кира делила пополам каждую перепадавшую ей конфетку или яблоко, шла и зарывала их в землю у креста на могиле. Позже сама определила свою «вину» перед ушедшей: «Мамочка была такая образованная, такая умная. Она хотела, чтобы я была такая же, а у меня не получилось».

Превращение подростковой девочки в редкостно несчастливую, невезучую женщину тоже происходило на глазах у княжпогостцев. Наблюдая её жизнь, они продолжали жалеть сироту. Захоронив Киру в другом месте, таким образом «защитили» её.

«Суд народа» – не «общественное мнение». Нечто более исконное.

Из Княж-Погоста в Ухту мы отъезжали поздним вечером. Глядя через стекло машины в непроглядную темень леса, я пыталась угадать место, где располагалась когда-то зона Ракпас, в которой много лет томился Александр Осипович, Хелла и Борис. Бог мой! Насколько же наши судьбы – отсюда!

В сороковые годы нам, разъезжавшим с ТЭКом по зонам не только нашего Севжелдорлага, но и ухтинского лагеря, Ухта виделась самым богатым и уютным городом Коми АССР. К тому же это был первый город, в котором я оказалась после освобождения – на следующий же день, 31 января 1950 года. Я была зачислена в труппу филиала

Сыктывкарского театра, и мы начали гастрольную поездку с Ухты. Ухта знаменовала для меня волю.

Хотя была уже глубокая ночь, в вестибюле гостиницы «Тимман» нас терпеливо дожидалось несколько человек: председатель общества «Мемориал» – по-матерински заботливый и внимательный Аркадий Ильич Галкин, с закупки книг которым, собственно, и завязались мои нынешние отношения с Севером; Илза Брауэр и четверо её учеников, лет шестнадцати-семнадцати. Юноши преподнесли мне то, что выручало их в походах: спички, бересту для разжигания костров, куль с сухарями и банку сушёнки.

Илза Степановна Брауэр с детства руководствовалась немудрёными наставлениями ссыльной матери: «Приветствуй людей с улыбкой, с добром... Бережно относись к труду каждого человека». Теперь она внушала это ученикам. Наделённая недюжинной энергией, вместе с другими преподавателями она ввела в практику походы и поездки со школьниками по республике. Во время этих путешествий дети брались что-то подремонтировать в монастырях, помочь в деревнях по хозяйству. Там их привечали, селили у себя. Обедали они в трапезных вместе с послушниками или в крестьянских семьях. Более тесное знакомство с краем неминуемо подводило к теме репрессий. Педагогам приходилось отвечать на вопросы детей. Письмо из Ухты, полученное мною в 1995 году, проясняет содержание этих бесед в походах: ♦

Благодарность – Петкевич Тамаре Владиславовне!

Ассоциация скаут-краеведов г. Ухты выражает Вам глубокую благодарность за Ваш труд на земле Севера. Мы читаем Вашу книгу «Жизнь – сапожок непарный». Узнаём правду, восхищаемся Вашей красотой. Все места по ж/д Севера мы прошли, встречаясь и записывая воспоминания старожилов деревень и сёл. Вы, дорогая Тамара Владиславовна, открыли нам много новых людей, познакомили нас с их трудом. Вашу книгу берём в путь-дорогу. Пройдём по всем указанным Вами местам. Надеемся, что скаут-краеведы Ухты нашли в Вашем лице искреннего друга... С уважением к Вам – мы, дети Севера. 20.3. 1995 г.

И отрывок из другого письма:

Дорогая Тамара Владиславовна!

Мы, учащиеся школы № 16 г. Ухты, передали в дар Вашу книгу «Сапожок» школе № 2 г. Емва (Княж-Погост) и провели там презентацию Вашей книги. Присутствовало более 70 человек, учителей и учеников школ № 1, 2 г. Емвы и школ № 13, 16, 20 г. Ухты. Потом мы посетили места захоронений 40-х – 50-х годов в Княж-

Погосте. С утра была метель и ураганный ветер с обильным снегопадом, но мы ещё посетили одну разорённую церковь в селе и прочитали на её развалинах поминальную молитву по безвинно убиенным. Потом в гостях у директора музея Галины Петровны было чаепитие в тёплой избе, у русской печи. Галина Петровна испекла для нас ночью хлеб и коми-шанги...

Спасибо Вам, дорогая наша Тамара Владиславовна. Все мы.

И подписи...

Не знаю, какой мыслилась организаторам встреча с учениками пятых-шестых классов, но, войдя в зал Городской публичной библиотеки Ухты, заполненный маловозрастными детьми, ябыла не на шутку озадачена. Вспомнив, что они с учителями побывали на Карельском перешейке, повидали там настоящие доты, землянки, нашли в лесах заржавевшие солдатские каски, я взяла инициативу на себя, рассказала им несколько военных историй, и беседа таким образом состоялась. После окончания встречи дети гуськом выстроились в очередь, чтобы вручить мне свои подарки: поделки из дерева, клюкву в туесках, собранную ими на болотах, кто-то держал в руках каравай, кулёчки с шанежками, испечёнными бабушками и мамами. Об одном из мальчиков педагоги сообщили:

– Он сам заработал деньги вам на торт: мыл автомобильные стёкла.

Только родниковой чистоте детских глаз, только искренности детей под силу дарить облегчение.

Председатель общества «Мемориал» А. И. Галкин превратил моё посещение Ухты в непрерывную вереницу встреч с самыми разными людьми: по-особому содержательными библиотекарями, умными педагогами, чиновниками нового поколения. Познакомилась я с вдовой художника Николая Миллера, сохранявшей все его картины. Среди них впечатляющей силы цикл «За проволокой»: лица реальных людей, с которыми он находился в лагере. К моему тридцатилетию по просьбе Колюшки этот художник писал когда-то и мой портрет. Я по сию пору горюю о его пропаже.

Ухтинский «Мемориал» ежегодно приглашал отсидевших в здешних лагерях людей. От поэта Павла Иренина знаю, как хворые, старые люди откликались на эти приглашения, приезжали. Их здесь помнили, хоть кому-то они были нужны.

Рассказывали в Ухте историю о поляках Феликсе и Фране Зайчевских, уговоривших односельчан всем миром построить костёл в казахском селе, где они были в ссылке. Узнала и о благодарственном письме, которое им прислал уже сюда, в Ухту, Папа Римский Иоанн Павел Второй.

Поездка была завершена. Я намечала побывать в трёх городах – и это было исполнено. Билет домой лежал в сумочке.

Возвращаясь с последней встречи, при входе в гостиницу я обратила внимание на человека, с бойцовским видом ожидавшего кого-то в фойе. Оказалось, он ждал меня. Взгляд у человека был решительный, речь – не допускавшая возражений:

– Даже и не думайте уехать с Севера без встречи с мемориальцами города Сосногорска! Встречи ждёт столько людей! Вы должны у нас побывать – и баста!

Георгий Иванович Устиловский, председатель сосногорского «Мемориала», отступничества с моей стороны не допускал. Главный смысл существования таких людей, как он, состоит в одном: обеспечить справедливостью ближнего и дальнего. Пешим ходом или на коне, но – до победы! Такие – щедры. Такие – резки. Таких именуют «корень жизни». Позже в его книге «Многоликая правда» прочла: «Мой отец – крестьянин, сапожник, железнодорожник – имел трёх сыновей и пять дочерей... Мать растила нас так: утром ставила на колени, и мы молились Богу. При этом убеждала, что ничего плохого делать нельзя даже украдкой, потому что Бог всё видит, всё слышит... В настоящее время живых наследников моего деда Астапа 1200 человек. Рабочие, крестьяне, врачи, учёные. Среди этой многочисленной семьи нет ни одного вора, ни одного мошенника, ни одной проститутки. Все живут честно, правдиво...» Установку на честную жизнь Георгий Иванович сохранял в лагерях, где провёл десять лет, держался её и поныне.

Машину из Сосногорска за мной прислали на следующее утро.

Я слишком хорошо помнила Сосногорск крупным железнодорожным узлом под названием Ижма. Боже мой, каким безумием, каким обжигающим холодом мартовского вечера 1950 года была прописана во мне эта Ижма! Сюда из Ухты, в тридцатиградусный мороз, сквозь волчий лес, я прошла-пробежала восемнадцать километров, чтобы, будучи уже свободной, повидать Колюшку. И вот сорок шесть лет спустя машина катила меня по той самой дороге, с одного пригорка на другой, потом угнетающе долго – прямо. Уже на половине пути я отказалась верить в то, что могла когда-то одолеть эти километры ночью, одна. В тот дикий мороз. Кто давал мне на это силы? Кто хранил? У Коли почему-то было перебинтовано горло. Но ни он, ни я не смели тогда подумать, что подкраившаяся к нему болезнь – смертельна.

На встрече в доме культуры Сосногорска сидели мои погодки. Их кровно волновало, может ли когда-нибудь повториться былое.

– Не думаю. Ведь мы уже другие, – храбро отвечала я.

Вопросов было много:

– Что проглядывает дальше? Что делают московский и ленинградский «Мемориалы»? Расскажите, как сложилась ваша жизнь.

И вдруг кто-то с задором выкрикнул:

– А золото где?

– Не поняла.

– Где золото ваших волос? Куда его дели? Не помните нас с женой? Мы стенка в стенку жили после освобождения в одном доме с вами...

– Ах, Боже мой! Боже мой, вы?

До 1996 года памятника жертвам сталинских репрессий мне видеть не доводилось. Кое-где бывали закладные камни. К сосногорскому памятнику нас гордо вёл Георгий Иванович Устиловский.

Тесно касаясь друг друга, словно Вера, Надежда, Любовь, в небольшом сквере стоят на постаменте три белые изящные колонны-свечи, увенчанные позолоченными церковными луковками. Между колонн – крест с терновым венком.

Молодой мэр города Владимир Андреевич Стромцов пригласил в ресторан на обед немногословного, удивительно милого и обаятельного начальника железнодорожного узла Николая Григорьевича Пидченко, Георгия Ивановича Устиловского и меня. По репликам, обрывкам разговора поняла: какими бы разными ни были эти управленцы, сложности они одолевали – союзничеством. У каждого из них была своя «епархия», у двоих – свой бюджет, при отсутствии такового у Г. И. Устиловского. Администрация города и начальник отделения железной дороги подкидывали деньги сосногорскому «Мемориалу». Они же, по всей видимости, субсидировали и трогающий душу памятник.

При том мужском застолье разговор не обошёл противостояния между отсидевшими людьми и их бывшими охранниками:

– Сражаются? – спросила я.

– Без правил! – был ответ.

– Как же быть?

– Как-то – будем!

– Пьют?

– По-чёрному!

– А верят во что-нибудь?

– Нам – верят!

Потом молодой мэр спросил:

– Хотите, покажу вам, что понастроил в городе? Едем?

– Едем!

– Тогда начнем с кладбища. Строю – новое. И церковь на нём возвожу. Говорю нашим людям: не забывайте, что человеческая жизнь – путь от роддома до могилы. Так-то.

Церковь была поставлена недалеко от входа на кладбище. Идущие от неё дороги делили погост на сектора. Всё уже было обнесено забором.

От кладбища мэр повёз к памятнику воинам, погибшим в Отечественной войну. Памятник представлял собой огромную мраморную книгу, лежащую на пьедестале. На развороте страниц – имена погибших на войне жителей Ижмы и близлежащих деревень.

У колодца под навесом мэр предложил испытать воды. Заскрежета ла цепь. В глубине ведро брякнуло о тугую воду. Он наполнил его, поднял:

– Отпейте. Гарантирую: не простудитесь. Колодец освящён. И на дно серебро брошено.

К мэру подошли женщины. Просили изменить расписание автобусов, чтобы детям было удобнее ездить в школу...

Исчерпывающе не могу объяснить, почему моментом, повредившим представление о людях, для меня явился не столько лагерь, сколько похороны генсека, когда я увидела рыдающие толпы. В мозгу жужжало: «Как можно не сострадать тем, кому изувечили судьбы, а убиваться по вождю, истребившему несметное количество народа? Отчего бедствия войны сплачивают, а бедствия диктатур секут человеческие связи?»

Потребность в вере, что общество, к которому принадлежишь, нравственно состоятельно, ничем не отменить. Эта вера – вода и хлеб. Открытость северных встреч с разного рода людьми в 1996 году потрясала меня активностью человеческого участия и доброты.

Руководители Коми – её глава Ю. В. Спиридонов, И. Е. Кулаков и многие другие – правдой и делом приводили в чувство искалеченную рабовладельческим укладом республику.

Председатели местных «Мемориалов» М. Б. Рогачёв, А. И. Галкин, Г. И. Устиловский, В. Н. Дубровина тратили бездну сил на починку раскрошенных судеб. Внимание к отдельному человеку? За

прежним режимом такого не водилось. Во всяком случае, мой опыт такого не знал.

Чтобы справиться с идеологическим хаосом и междоусобицами, требовался характер. Находившиеся здесь у власти мужчины его предъявляли и проявляли. Это было залогом перемен и одним из самых оптимистичных впечатлений, вынесенных из посещения Республики Коми.

Уже на пути домой, на станции Котлас, к вагону, в котором я ехала, подошло человек десять – «за автографом». Был ветреный, холодный вечер. Проводник окинул взглядом стоявших у вагона покинутых людей и сказал:

– Чего ж тут дрогнуть-то? Есть свободное купе, поезд стоит полчаса – заходите.

В том же 1996 году, после поездки на Север, я должна была лечь на операцию. По счёту она была третьей. Если честно, выжить я не надеялась. И на Север ведь ездил для «последнего поклона».

Друзья нашли специалиста нужного профиля в одной из лучших клиник Петербурга. Договорились с ним. А дочь Володи, Маша, продолжала настаивать: «Ну хотя бы только проконсультируйтесь у профессора, которого рекомендуют для вас мои друзья. Прошу».

Вняв её уговорам, на консультацию я согласилась. Зимним питерским утром накануне того дня, когда нужно было уже лечь в клинику, Маша и её друг, врач Наталья Алексеевна Яковлева, препроводили меня в Мариинскую больницу, к профессору Королёву.

– Оперироваться надо было позавчера, – сказал он, едва ли не дублируя ситуацию с Володиёй, оставившую его инвалидом на шесть послеоперационных лет.

И надо же было попасть на приём к врачу такого необоримого человеческого обаяния, чтобы тупое равнодушие к себе сменилось желанием тут же на месте всё – перерешить! Я захотела довериться только этому врачу, только его рукам.

Шёпот Маши, прорвавшейся ко мне в реанимацию: «Всё хорошо! Всё хорошо! Михаил Павлович всё сделал наилучшим образом!» – вызволил сознание из наркотического бесчувствия. И первым, нескончаемо долго длящимся чувством было – удивление:

– Я осталась на белом свете?.. Как это странно!

Профессор Королёв справился с моим возрастом, со смертельной болезнью. Это было не только победой его высокого мастерства, но и чудом!

Выхоженная обеими дочерьми мужа и заботами удивительно верного молодого друга Олечки Рубинчик, я уже готовилась к выписке. Ожидая, когда профессор появится возле своего кабинета, я безуспешно пыталась справиться не только с волнением пациентки, но и с волнением случайно уцелевшего в передрыгках истории человека, жизнь которого была *ещё раз* спасена.

– Я, я...

Вернувшийся с очередной операции Михаил Павлович Королёв положил мне руку на плечо, завёл в кабинет. Ни тени улыбки не было на его лице:

– Это я благодарен за то, что вы дали мне возможность помочь вам.

Выразив таким образом почтение к тем, чьё страдание глянуло на него со страниц моих воспоминаний (как говорили, он прочёл их за сутки), врач перевернул мне душу и, казалось, обязал – жить.

Ещё одна встреча в 1996 году стала нечаянно точкой опорой.

Московские друзья Люда и Володя Мезенцевы после рождения у них пятого ребёнка позвонили – и смутили просьбой стать крёстной матерью новорождённой девочки. Просили очень.

По приезду в Москву выяснилось, что у образованного строгого священника есть два условия, которым я должна соответствовать. Первое: быть крёстной. «Крёстная», – ответила я. Второе: перед крещением я должна была исповедаться у него.

Исповедь мне до сих пор заменял жёсткий самосуд. Встретить мудрого духовника было заветным, несбыточным, казалось, упованием. И вдруг!

Ночевала я в семье моего старшего племянника, на Крылатских холмах: окно гостиной, отведённой мне для ночлега, выходило во двор их огромного многоквартирного дома. Во всех окнах давно уже погасили свет, а я с добросовестностью старателя приисков перерачивала пласты своей неудобоваримой жизни и безжалостно формулировала свои проступки и вины.

К восьми часам утра Серёжа отвез меня на машине к небольшому храму Успенья Пресвятой Богородицы, располагавшемуся неподалёку от Лубянки.

Молодые по преимуществу прихожане стояли, сгруппировавшись у левой стены храма. Люда и Володя с детьми, с новорождённой Василисой на руках находились там же. У священника, отца Георгия Кочеткова, исповедовался юноша лет семнадцати. Трудно было представить, сколько «джинсовому» парнишке надо было сотворить гре-

хов, чтобы в течение двадцати минут в них признаваться. За юношей следовал кто-то ещё. Третьей была я.

Подходя к священнику я поняла, что не уследила: надо ли дожидаться вопроса священника или приступать к исповеди самой. В ту же самую секунду отец Георгий задал мне не соответствующий, казалось бы, моменту вопрос:

– Как вы себя чувствуете?

Застигнутая врасплох столь щадящим началом таинства, с ощущением взявшейся Бог весть откуда лёгкости после мучительной и горькой ночи, я неожиданно и с полной мерой искренности доверилась духовнику:

– Я чувствую себя очень хорошо!

Ни о чём более не спросив, священник наложил мне на голову епитрахиль, прочел разрешительную молитву, перекрестил, причастил и, указав в сторону стоявших у стены прихожан, сказал:

– Пройдите туда и прочтите пятидесятый псалом.

Люда смотрела на меня едва ли не с испугом:

– Что это было, Та-ма-ра Вла-дисла-вовна?

Да простят меня молодые друзья: я никого не могла подпустить к тому, что со мной происходило. Закрылась ответом: «Не знаю», сознавая, что необычайное не только было, но и продолжает быть...

Прочла псалом. Приняла на руки ребёнка. Послушно следовала тому, что диктовалось ходом крещения.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

10 февраля 1997 года в Карельской гостиной Дома актёра театральный Петербург отмечал девяностолетие Володи – старейшего режиссёра, имя которого славно вписано в историю русского советского театра, значится и в Театральной энциклопедии Украины.

Я сидела вместе с его детьми, его внуками, его бывшей женой. Прошла уже добрая треть торжества, как юбиляр вдруг громогласно потребовал, чтобы я заняла место возле него. Мне хотелось остаться в прежнем окружении, но верх одержала категоричность Володи:

– Нет! Я хочу, чтобы ты сидела рядом со мной.

Непостижимым образом в тот юбилейный вечер болезнь последних шести лет никак не напоминала о себе. Владимир Александрович был внутренне собран, смотрелся красивым, величественным патриархом, с достоинством принимавшим поздравления друзей и коллег – педагогов Института культуры, режиссёров, актёров, студентов. С чувством благоговейной благодарности к прошлому он рассказывал о спектаклях, подаренных его юности «общедоступным» МХАТом, театрами Мейерхольда, Таирова. Отдал дань замечательному петербургскому педагогу ЛГИТМиКа, режиссёру В. В. Петрову, подробно пересказав две-три мизансцены поставленного в ЛГУ спектакля по пьесе Островского «Праздничный сон до обеда», где Андрей Толубеев неподражаемо играл Бальзаминова. С похвалой говорил о спектаклях Ю. А. Смирнова-Несвицкого в созданном им экспериментальном клубе-театре «Суббота». И сверхотважно завершил своё выступление, пропев две дореволюционные одесские песни.

Право, это был праздник воли и жизнелюбия режиссёра и человека, прожившего «честную жизнь в искусстве», как назвала свою статью в газете «Невское время» Татьяна Золотницкая. Самое же главное заключалось в новом и важном для Володи осознании самого себя и прожитой им жизни. В свои предъюбилейные и юбилейные дни он был спокоен и счастлив. Володя любил праздники, и праздники благоволили к нему. Старший внук Вова сказал на одном из его юбилеев: «А ведь тебя, дед, можно назвать “счастливым сыном трагического века!”» Владимир Александрович осознавал эту двойственность.

Испытывал порой смущение, сбивался в иных ситуациях, но ощущение себя как человека *счастливого* было благом и для него самого, и для близких. Слишком заразительным и стойким было это свойство.

В тандеме с возрастом болезнь, однако, безжалостно расправлялась с ним. Володя уходил тяжело, беспокойно. Как всегда, в трудную минуту приехала Маечка, но мы и вдвоём не справлялись с появившейся в нём агрессией. Я приглашала врачей. Володя выражал им недоверие. Не признавал ни уговоров, ни просьб. Всё ещё полагаясь на свой победительный нрав, со свойственным ему упрямством («я так хочу!»), категорическим образом потребовал поместить его в больницу: «Там меня поставят на ноги!»

Как всегда, всё, что касалось лечения и больниц, организовала Маша: поехала, договорилась. «Скорая» увезла Володю.

На календаре 1997 года значился уже декабрь.

– Кто это к вам пришёл, Владимир Александрович? – спросила его лечащий врач, когда я вошла в палату.

– Это моя жёнка пришла, – незнакомо ответил он.

Уезжая в больницу с утра, я проводила возле Володи всё время.

Майя уехала домой, к семье. У Маши начались предновогодние утренники и вечерние спектакли.

Метания и беспокойство вскоре сменились полным безразличием ко всему. Он ни о ком и ни о чём не спрашивал, был глубоко погружён во что-то своё.

Я водила бритвой по его щеке, когда вдруг в слово пробилось адресованное явно мне признание:

– Я не сжёг и никуда не сдал свой партбилет.

– Я знаю. Ты – молодец, – поддержала я его.

В те мгновенья в нём говорили, по-видимому, и мальчик, взбиравшийся на фонарный столб, чтобы увидеть царя и цесаревича, когда царская фамилия приезжала в 1915 году в Одессу, и голодавший во время Гражданской войны подросток, и осыпанный почётными званиями, государственными наградами талантливый режиссёр. Более же всего он хотел удержать ощущение целостности.

На краю жизни от Володи исходили никогда не изменявшие ему чистосердечие и честность. Его свойство быть во всём правдивым до конца порой нестерпимо больно ранило. Но и трогало. При его-то талантливости и уверенности в себе он мог посетовать после своего выступления на обсуждении спектаклей: «А я думал, тебе понравятся мои замечания и оценки. Мне так хотелось, чтобы ты мной горди-

лась!» И я благодарила жизнь за незамутнённую его правдивого сердца, раз не случилось «всепоглощающей любви».

Было высказано ещё одно неожиданное откровение.

Именуя себя атеистом, Володя не признавал разговоров о религии, тем более о реинкарнации и тому подобных искусствах. И вдруг, как о самосильно постигнутом, чётко и кратко сказал:

– Я ещё – буду – жить – на земле!

Я как-то мгновенно допустила: «Да! Неизвестно каким образом, но он будет существовать! Он *так* жадно любит Жизнь! И *так* неизрасходован!»

В последний день декабря у Маши закончились предновогодние концерты.

Первое января 1998 года было её первым выходным днём.

– Отдохните, – сказала она. – Завтра я посижу возле папы.

Маша позвонила из больницы около двенадцати часов дня:

– Папа в коме.

Володя умер первого января нового, 1998 года.

Ничего адресованного кому-то лично Володя перед своим уходом не сказал.

По когда-то мимоходом брошенным фразам было ясно, что Володе хотелось быть похороненным в Комарове на кладбище деятелей культуры и науки. Приехавшие внуки Володи и верные ему ученики по Институту культуры добились разрешения. Желание его было исполнено.

Володина сестра Рая пережила брата всего на пять месяцев.

Ещё года за три до смерти Володи австралиец Эндрю Шарп сообщил нам, что едет в Германию. Я дала ему номер телефона Раи и попросила навестить её. Их совместный звонок к нам был необычным. Выражая восторг по поводу знакомства, Эндрю назвал Раю «потрясающей собеседницей». Она, устало и тем не менее кокетливо смеясь, нарекла его «очаровательным молодым человеком». Это был единственный случай, когда я слышала, что Рая умеет не без игривости смеяться.

После выхода «Сапожка» она говорила, что не растаётся с книгой:

– Я её перечитываю с лупой уже в третий раз.

Мы не стали с нею друзьями в привычном смысле слова. Мы пришли к признанию друг друга. И нас связывала тема сыновей.

Это тоже было при жизни Володи: сын Раи обанкротился. Она продала все имеющиеся у неё акции, отдала ему вырученные деньги.



Сосногорск. Памятник жертвам политических репрессий



2000 год. 80-летие.



СРЕДА
29 марта 2000 года
Начало в 18 часов

*Приглашаем Вас
на 80-летие
нашего друга – актрисы,
театроведа, автора книги*

**«Жизнь – сапожок
непарный»**

**Тамары
Владиславовны
ПЕТКЕВИЧ**



*Дом Актрисы им.К.С.
Станиславского
(Невский пр. 86)*

80-летие.

Дом актёра. Санкт-Петербург





Награждена
Кавалерским крестом
ордена заслуги
Республики Польша



С Александром Володиным

С Валентиной Ковель
и Ларисой Погосьян



Оксана Скачкова и Александр Кладько



Выпускники курса Г.М. Козлова. Академия театрального искусства



С Ренатой и Танкредом Дорстами



Марго Вендт с детьми: Юттой, Инной, Гётцем, Тиллом



Ольга Завадовская



Ксения Глотова



Ариадна Плотникова



Нина Балан



Светлана Льянская



Людмила Разумовская
и Наталья Казимировская



С Аней Роговой



2004 год

Это не спасло положения. Мы с Володей пережили самый натуральный шок, когда она позвонила сказать:

– Мой сын и его жена не перенесли разорения. Покончили с собой.

Присущая Раиной судьбе нещадность и в этом случае явила себя до конца.

Совсем незадолго до ухода она позвонила мне:

– Тамара, ко мне приехал мой внук. Я хочу, чтобы вы с ним поговорили по телефону.

– На каком языке, Раечка?

Он не знал русского, я – немецкого.

Неисполненная просьба Раи осталась занозой. На следующий же день я набрала номер её телефона:

– Я попробую, Рая. Как звать вашего внука?

Она вдруг замешкалась. Беспомощно ответила:

– Я забыла.

Ей было уже девяносто пять лет. Умерла она 25 мая 1998 года.

О кончине Раи мне сообщила мой друг Ольга Александровна Заводовская – в два приёма. После первого звонка из Берлина: «Умерла Раиса Александровна» – второй последовал часа через три: «Успокойтесь хоть немного? Должна вам сказать что-то ещё: Раиса Александровна завещала её сжечь, урну из крематория не брать, прах нигде не захоранивать и нигде не ставить никаких памятных знаков».

Своим завещанием Рая как бы сказала: «Сама считаю, и вы считайте: я на этом свете – не жила!»

1998 и 1999 годы так наступательно и неуклонно уносили из жизни всех, с кем исполнялась моя судьба, с кем я была теснее всего связана, что я не успевала опомниться.

Я ещё ни в коей мере не оправилась после смерти Володи, когда от Дмитрия Фемистоклевича пришло тяжелейшее письмо: «Мучает аритмия. Изменяют ноги. Кружится голова. Не могу уже ходить по квартире».

Я давно не навещала Диму. Ему становилось всё хуже. Он надеялся на мой отклик. Телефонный звонок его приятеля из Кишинёва вообще сбил меня с ног:

– Дмитрий Фемистоклевич согласен на то, чтобы вы взяли его в Петербург.

Плохо понимая, что там происходит, я купила билет к своему другу, к своему бывшему мужу.

Дима действительно не мог уже ходить по комнате. К моему приходу его усадили на постель. Полные растерянности глаза выражали одно: «Видишь, какой я стал? Видишь, что со мною происходит?»

Из-за состояния его здоровья ни о каком переезде речь уже идти не могла. Заниматься продажей своей квартиры, переоформлением пенсии в другое государство Дима тоже не мог, а, главное, не пережил бы самого переезда.

Вокруг него кипели страсти. На то, чтобы ухаживать за ним, ради завещания на квартиру, претендовала соседка с нижнего этажа и соседка – с верхнего. Желание взять на себя попечительство над ним выражал его знакомый грек – с условием, что заберёт его к себе, а квартиру Димы они будут сдавать.

Доверенности на Димины сберкнижки были оформлены на близкую ему даму. Назвав вещи своими именами, она честно сказала Диме, что ухаживать за ним не станет. И действительно, ни разу так и не появилась.

Мы уже тридцать восемь лет жили разными жизнями. Окружавшие его люди были мне незнакомы. В своих предпочтениях Дима должен был определиться сам. Поскольку и психологически, и физически любая перемена для него была уже непосильна, он сказал, что хочет остаться в своей квартире и склонился, в конце концов, к тому, чтобы завещание написать на соседку. «Как за отцом родным буду ухаживать», – заверяла она.

Три с лишним недели, проведённые в Кишинёве, ушли на то, чтобы вызывать врачей, добиться для Димы курса капельниц и уколов, готовить и ухаживать за ним. Только к вечеру я добиралась до дома Нелли Каменевой, у которой ночевала.

Нелли раньше меня потеряла мужа. С Виталием Левинзоном, значительным, мощного дарования актёром, они были прекрасной парой.

Нелли имела теперь звание народной артистки МССР. Была художественным руководителем театра, продолжала играть на сцене.

Через все эти годы мы пронесли нашу дружбу. Всё теми же остались её каштановые кудри, её неповторимый низкий голос. А в сердечном участии появилась ещё большая глубина:

– Не надо так, Тамаронька. Не надо, – приводила она меня в чувство.

С намерением приехать снова я собралась домой. Возвратиться не успела. Эта встреча с Димой была последней.

Я регулярно звонила ему и соседке, взявшей на себя обязанности по уходу за ним.

– Знаете, он дал мне прочесть вашу книгу, – рассказала она. – Я её прочла. Он и спрашивает: «Ну что? Нравится, как она там описала свою любовь к Коле? А я тогда, интересно, причём?!»

Дима был самым близким свидетелем той любви. Жаждали мы, получалось, оба – такой же?

Сказав однажды, что порой ненавидит меня, дорогой мне человек ничуть не преувеличивал. Даже признав все вины за собой, ухода мне не простил. И книги – не простил, оказывается, тоже. С тем и умер.

От Оли Тиховской, которую я просила навещать Диму до моего возвращения, пришло невыразимо тяжёлое письмо: «Не знаю, как собрать осколки фраз, слов Дмитрия Фемистоклеви́ча, поскольку собирать и описывать – значит превращать их в какую-то картинку, в единство. А они ведь уже связаны с другим измерением, и не мне, совсем не мне даже в предложения их складывать. Вот два обрывочка, но с пульсирующим включением и выключением из реальности, с неуловимой этой границей между пониманием и непониманием...

Звонят в дверь. Приехал врач “скорой”. Открываю дверь. Шаги. Движение.

Д. Ф. – Что такое? Кто здесь?

Я. – Это доктор. Доктор к вам приехал.

Д. Ф. – Что? Это Петкевич?

Я. – Нет. Это к вам доктор. К вам.

Д. Ф. – А, это к Петкевич? Но она умерла. Её нет. Ничего не надо.

Другой день.

Д. Ф. – Откройте, откройте! Где мы?

Я. – Вы дома. У себя дома.

Д. Ф. – А-а, мы под стражей? Где суд? Был суд?

Я. – Вы дома.

Д. Ф. – Знаю. Знаю. Это нас судят. Это суд. А где Петкевич? Где Петкевич?! Она умерла? Или нет? Отпустите меня. Отпустите.

Я. – Вам, наверное, что-то плохое приснилось?

Д. Ф. – Нет, не приснилось. Я знаю, где я... Что вы делаете? Отпустите меня... Я пойду домой... Я хочу домой...»

Память Димы извлекала свою горестную добычу из глубины в тридцать восемь лет, из лагерной и долагерной жизни. Какое же я слышала непростение в том, что он называл меня по фамилии!

В тюрьме и лагере, сутками ожидая, выкликнут ли в списке на этап: «Петкевич!», я привыкла бояться своей фамилии. Вздрагива-

ла и потом, в институте, когда кто-то по студенческой привычке так окликал меня. Но ведь однажды меня, уже поглощаемую небытием после слов сына: «Отвяжитесь от меня!», вернуло к жизни кем-то там, в непостижимой бездне, произнесённое: «Петкевич!»

Старое армянское кладбище, на котором покоятся в Кишинёве Александр Осипович и Ольга Петровна, было уже закрыто для захоронений. Диму похоронили на новом, названном «Дойна». По замыслу оно напомнило черновицкое. Без его вековых деревьев, без причудливых черновицких склепов, но, расположенное на высоком холме, оно тоже как бы парило над городом. Там я поставила Диме памятник.

Ушёл из жизни и Борис.

Я думала, он пугает: «Приехала бы на недельку. Любопытно бы нам до смерти увидеться. Затягивать с этим делом рискованно». Или: «Я теперь всё опасаюсь – один из нас не вовремя помрёт, сколько недоговорённого останется! Я малоподвижен. Примчалась бы, душа моя? Махни!.. Отдельную комнату тебе отведём!»

Он когда-то писал: «Я не боюсь своей юности, хочу сделать её стабильной, разделить с моим человеком и в полночь Нового 2000-го года умереть с бокалом в руке, с улыбкой в морщинах и умной наглостью в сердце...»

До желанной даты, 2000-го года, Борис не дожил. Немного. Несколько месяцев. Точного числа его ухода не знаю. Преданно выживавшая его жена только какое-то время спустя поручила своей подруге известить меня о его смерти.

Тема «двух дураков, так и не отыскавших общей дороги», в одном из последних писем Бориса звучала так: «А можно предположить что-то повеселее: сыграем мы в ящик, и определит нам Всевышний некое славное переселенье душ. Ну, скажем, мне – в какой-нибудь цветочек, а тебе – в эдакую буколическую козочку. Пойдёшь ты гулять по райским газонам – и слопаешь этот цветочек. Вот мы, наконец, и воссоединимся. Забавно я нынче шучу, правда?»

Стремительный уход близких мне людей сделал мир неузнаваемым. Он был так красноречив обращёнными ко мне живыми голосами, сказанным и начертанным на листках бумаги словом, выражением лиц и глаз ушедших, их нежностью, их гневом...

Позвонила друг Нина Балан: «Продаётся собака. Порода – колли. Вы не хотели бы её купить?» И позже укоряла: «Всё было бы по-другому, если бы вы тогда купили колли».

– А вас не могло бы утешить, если бы я рассказал вам о том, что моя аспирантка нарыла для своей диссертации о молниях? – пытался вызволить меня из прострации метеоролог, друг мужа.

– О молниях? Могло бы, наверное. Определённо: могло бы. Расскажите.

А вдруг мелькнёт что-то попутное в «нарытых» знаниях из щели между известным и непонятым, раздвинет границы разумения «жизнь–смерть»?

Увы, друг мужа заболел. Навестить себя не разрешал:

– Вы плохо себе представляете, каким бы меня увидели.

Но вдруг взмолился:

– Мне плохо. Очень. Сделайте что-нибудь! Я знаю, вы *можете*.

Если бы *мочь*!

Сын Майи и Николая Николаевича Вовочка, раньше присылавший названия прочитанных им книг («Прочёл Гессе... Прочел Борхеса»), слал теперь оттиски своих работ по математике: «О когомологиях Дег-комплекса», «Относительно инвариантные Дег-когомологии модулей», «О квантовых интегрируемых системах», «Эллиптические алгебры интегрируемых систем» и т. д. Какие-то работы создавались с соавторами-друзьями, в большинстве своём переехавшими в Европу. Вову стали чаще приглашать на международные конференции в Швецию, Италию, Англию. И когда в 1997 году предложили преподавать математику в одном из университетов Франции, он уехал туда с семьёй по рабочей визе.

Отъезд старшего сына Майи послужил толчком к тому, чтобы об эмиграции задумалась и семья младшего сына – Андрюши.

Для Маечки отрыв от Тамбова, от России стал подлинной драмой. Страдала она страшно. И всё-таки в конце 1998 года семья, ставшая для меня за последние сорок лет такой родной, уехала в Германию.

Возвращаясь из Штатов в Германию через Францию со свадьбы старшей внучки Юли, Маечка заболела. В больнице Анжера диагноз установить не смогли, наугад прооперировали, ничего не уяснили. Майю продолжали мучить боли. Когда её везли в операционную на повторную операцию, Вовочка набрал по своему мобильному телефону мой петербургский номер и передал ей трубку.

– Дорогая моя, – успела она сказать, – пожалуйста, прошу, не волнуйтесь за меня. Всё будет хорошо. Не волнуйтесь! Обещаете?

Второй операции она не перенесла. Умерла.

Нелепая, никем и ничем не объяснённая смерть в полном смысле слова скосила нас всех.

Муж и дети свято выполнили её просьбу: похоронить рядом с мамой, Кларой Михайловной, и бабушкой Бергой. Гроб был переправлен детьми из Франции в Тамбов. Вместе с Машей мы поехали туда проститься с нашей любимицей.

Редко случается встретить такую совершенную и безгрешную душу, как Маечкина. До доньшка ясная, преданная семье, своей профессии, она была бескомпромиссной, но тёплой, необходимой и бесконечно близкой.

Поистине, свершаться больше было – нечему.

Утраты, свинцовая физическая усталость прочно погребли под собой. Я существовала вне времени, вне событий. Просто была жива.

Однажды мне приснился Володя. Это было под Петербургом, в том самом Комарове, куда мы так часто ездили вместе и где теперь находилось место его упокоения.

Я жила в одноместном номере Дома творчества театральных деятелей, в трёх с лишним километрах от комаровского кладбища.

Наполненный летом, теплом и весёлостью, Володя будто толкнул из коридора дверь в мою комнату и, не переступая порога, вскричал: «Ну что же ты не идёшь? Я же жду!» Речь будто бы шла о прогулке. Набежала трезвая мысль: «Но тебя ведь – нет». И сразу – приказ себе: ничем это знание не выдать. Сама я, между тем, находилась уже в коридоре, возле него. А далее случилось погружение в какую-то ещё более глубокую, чем сон, ирреальность. Володя, схватив меня за обе руки, опустился на колени и прямо в душу вложил до вещественности необходимое: «Прости меня. Прости!»

Я тут же проснулась по приказу властной и бесцеремонной силы: «Во что бы то ни стало удержи, упрочь этим “прости” то, что так много лет продержало вас друг возле друга».

Я много лет билась над загадкой наших неровных отношений с Володей. Много раз говорила «нет» отведённому мне не первостепенному месту в его жизни.

Мы всё-таки не расстались. «Родной кусок» варьировался во многих его записках, и далее он прибегал к метафоре, объясняющей, как и насколько мы «сращены». Фактически же мы не сумели простить друг другу того, что уступили искушению жить творчески наполненной жизнью ценой порушенных семей и причинённой близким людям боли.

Анна Владимировна была права, когда говорила: «Заметьте: что бы люди ни вытворяли, они не хотят оказаться вне общепринятых нравственных постулатов».

Мы ничего не «вытворяли». Нет! Более того: страдали, а «вина» своим ходом автономно рушила жизнь. С общепринятыми нравственными постулатами мы, люди той поры, оставались «сращёнными» ничуть не менее, чем друг с другом по прихоти судьбы. И у Володи его целостное сознание было выражено более откровенно, чем иссечённое жизнью моё.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

2000-й год! Встречала его одна. Так же неприметно, как всегда, он перевёл через невидимый порог в новое тысячелетие, в двадцать первый век. Выразительнее традиционного полночного боя часов была на этот раз новизна заглавной цифры с нулями, обозначающая год.

Впервые невестка с внуками приезжала к нам погостить ещё при жизни Володи, в 1996 году. После его ухода визиты стали регулярными. Повзрослевшие дети оставались доверчивыми, безвинными, неизбалованными. Мальчикам нравилось приезжать в Петербург. Привязавшись к ним, полюбив их, я с нетерпением ожидала их школьных каникул.

Сын о себе ничем не напоминал. Несуществующие отношения, тем не менее, всё усложнялись и усложнялись. Происходившая в 90-е годы ломка в обществе жесточайшим образом обошлась с невооружёнными чутьём или трезвым взглядом на эти перемены людьми. НИИ, в котором сын занимал должность программиста, закрылось. Пыталась как-то поладить с новой действительностью, он остался без работы. Растерялся. Едва не лишился квартиры, отдав её под залог одной из образовавшихся в те годы «пирамид». Благодаря вмешательству судьи Полины Ивановны чуть ли не в последнюю минуту в квартиру удалось прописать невестку и детей, до тех пор там не прописанных, и квартира осталась за семьёй. Я полагала, что прописка детей и Ани помогла им удержать дом. Однако в сыне решение суда вызвало приступ раздражения. По телефону последовали обвинения в том, что я своими действиями умножила его долги.

Не желая причинять боль, Аня долго не говорила мне о разладе между ними. Жили они под одной крышей, хозяйство, оказывается, вели врозь – притом что оба любили детей, а дети любили их. Я написала письмо Юре и Ане. Пыталась вразумить взрослых. Был даже момент, когда моё слово о мире было услышано: «Ты права», – прокомментировал сын. Доброй воли к примирению, однако, не хватило. Напряжение и неблагополучие в семье нарастали, как снежный ком.

В марте 2000 года невестка с внуками собиралась приехать на моё восьмидесятилетие, когда позвонил сын:

- Ты хочешь, чтобы я приехал?
- Разумеется, хочу.
- Тогда выбирай: или я, или они.

Я понимала, что это иступлённый крик одинокого человека. Юра голодно нуждался в том, чтобы услышать хоть от кого-то: «Конечно, ты! Ты и только ты!» Но по сути-то это было безобразием по отношению ко всем: к жене, к детям, к самому себе, ко мне. Столь же испепеляющим, сколь и ледовитым.

Я выдохнула:

- Они!

Приехали Аня с детьми, Валечка и племянники из Москвы, друзья из Швеции, Германии, Грузии. Целая делегация прибыла из Республики Коми...

Приехал и сын. Тогда ли появилось у отпущенного мной «на волю» сына желание понять, может ли ещё что-то получиться из отношений с непризнанной матерью, или раньше – не столь уж важно. Но в конце того же года он позвонил и сказал, что несколько дней отпуска хочет провести у меня. Мы в самом буквальном смысле слова *впервые в жизни* оказались с ним *вдвоём*.

– Хочешь знать, что сказала родная сестра Веры Петровны, когда прочла твою книгу?

- Нет, – отстранилась я.

– Она сказала: «Я предупреждала Веру. Я просила её не брать такой грех на душу», – договорил он.

Мой пятидесятипятилетний сын показался мне на сей раз доверительно настроенным, нуждающимся в совете. И что-то из прежних надежд ожило. Давая ему выговориться, я с затаённым вниманием до пяти часов утра слушала его рассказы нём самом, об отношениях в семье и с людьми. Искажённые доминанты, внутренняя сбивчивость при несомненном умении здраво оценивать *не свои* действия красноречиво говорили о том, как в стремлении «ликвидировать» меня «родители» заслонили ему собою мир, жизненные процессы и всё, что в них есть натурального и живого. В его сознании были отгиснуты догмы, границы, абстрактные правила поведения, неравным образом распространяемые им на окружающих и на себя. У Юры отсутствовало понимание того, что кто-то может испытывать такую же боль, как и он. Я не прерывала его. И чем откровеннее и доверительнее он становился, тем явственнее обозначалось, что причиной всех неурядиц его жизни, будь то несложившиеся отношения с женой или нелады с её родителями, была – я. Он спотыкался о моё существование, как о

единственный психологический пункт, который лично ему разъяснял всё. Это была ночь безоглядной, беспорядочной расправы со мной. Учинял её единолично сын. И апеллировать было не к кому.

Отказ дочерей Володи от права на свою долю жилплощади дал мне возможность написать завещание на квартиру внукам. Юра был этим задет. Чрезвычайно. По-житейски его можно было как-то понять. Но когда он с искренним, как мне показалось, испугом спросил: «Ты этим завещанием хочешь отнять у меня детей?» – вынести такого изворота его сознания я не смогла. Сын подозревал меня в грехе своих «родителей»? Не к кому было броситься. Это было тем самым моментом, когда о сердце говорят: «И вот оно уж вынести не может того, что вынесло оно».

Юра услышал, что со мной происходит. Вошёл ко мне в комнату:
– Что ты? Что ты? Успокойся.

И я ещё раз его растерянность приняла за участие. В чаду беды непонимания, следуя единственному чувству: «Но это же мой ребёнок!» – я со всей мерой отчаяния обхватила его руками. Хотела дать понять, что тоскую по нему, что люблю внуков, что мысли отнять их у него никоим образом не может существовать в природе, что мой ответ: «Они!» – был только реакцией на недопустимость постановки вопроса: «тогда выбирай: я или они».

Пару секунд Юра терпел отчаянный рывок к нему. Достаточно мягко отстранил от себя:

– Ну, я пошёл?

Всё разверзшееся начало привычно стыть, превращаться в корку:

– Да, да. Иди, конечно.

Невыносимую для обоих встречу следовало заключить хоть чем-то умеряющим. Вечером я спросила Юру:

– Ты не против того, чтобы посмотреть фильм обо мне?

Юра смотреть его не хотел.

– Он короткий, – усилила я просьбу.

– Ладно.

В снятом по заказу канала «Культура» фильме, названном так же, как книга, режиссёр Марина Александровна Разбежкина задаёт мне вопрос:

– Юра эту ситуацию не пережил?

– Что значит «не пережил?» – прошу я уточнить.

– Пережить – это значит осознать.

– Думаю, нет. Это заставило бы его подвергнуть свой опыт сомнению. А взамен что? Ему не оставалось ничего другого, как отказаться

понимать происшедшее. Я ему фактически не была матерью. Он меня совершенно не знает. И чувств ко мне никаких не питает...

Мы с Юрой сидели недалеко друг от друга. Он молча протянул руку и ладонью прикрыл мою, лежавшую на подлокотнике кресла. Это было его благодарностью за мой ответ режиссёру, за публичность такого ответа. Было и его ПРОЩАНИЕМ.

После этого визита Юра ещё глубже ушёл в свою обширную библиотеку, в своё «фермерство», в доставшуюся ему от меня в наследство – одинокость. Больше он никогда не приезжал и не звонил.

На моём восьмидесятилетии родственница Тамары Цулукидзе, Натела Арвеладзе, произнесла дерзновенный тост: «...Лично от себя я дарю вам часы Тамары Цулукидзе. Дарю вам Время, которое было у вас украдено». Как и отвоёванную для меня профессором Королёвым жизнь, я отнесла подарок Времени к проявлению высочайшей воли. Поэты создали для себя образ Музы. Она для них была реальностью. У Фета: «Пришла и села...» У Ахматовой: «И вот вошла...» Примерно так меня в тот год посетила Судьба. Спокойная пришла. Утомлённая. Собственноручно сняла с меня ношу. Увы, не всю! Мы были с нею как бы на равных. И я без ропота доверила ей право распоряжаться оставшимися силами, решив продолжить разговор – с пером и бумагой.

У меня оставались прежние разного возраста молодые и немолодые друзья. Появлялись новые.

Мне, скажем, нравились стихи одного учёного, Рафаила Ароновича Лашевского, с которым заключил договор интернациональный университет, располагавшийся в японском городе Айдзувакамацу. В общей сложности он со своей жертвенной женой Таней прожили в Японии девять лет. Я уговорила его издать в Петербурге небольшой сборник стихов. Нашла издательство. Сборник вышел. Рафа часто звонил из Японии. Таким же, видимо, образом по телефону попросил своих друзей «сочинить» для меня компьютер. Они его собственноручно собрали, приехали, установили, дали мне пару уроков. Для меня это стало потрясением: «Долой ножницы! Долой клей!» Я страстно влюбилась в техническое достижение разума. Слов благодарности Рафе не находила! Над новой рукописью работала теперь на компьютере. Дни оказались загруженными до отказа.

Как-то раздался телефонный звонок из берлинского издательства «Volk und Welt». Ознакомившись по совету драматурга Людмилы Ни-

колаевны Разумовской с книгой «Жизнь – сапोजок непарный», издательство выразило желание перевести её на немецкий язык. Так о себе напомнил внешний мир, живая жизнь. К новым её проявлениям пробудился интерес и у меня. Главный редактор издательства Кристина Линкс прекрасно говорила по-русски. Была умна, необычайно доброжелательна. В Берлине встречи с нею, с переводчиками – мужем и женой Решке, с директором «Volk und Welt» прошли на одном дыхании. Как в экипаже с мягкими рессорами, судьба завезла меня в абсолютно новые обстоятельства деловых переговоров и решений. Находясь в Берлине, я навестила Шаперштрассе, где жила не верившая в то, что её жизнь западёт кому-то в душу, Рая. Положила цветы под окна её квартиры, выходящие во двор. Долго там сидела.

В Берлине я до того бывала дважды. Первый раз – проездом из Испании, второй – по приглашению Нели Вексель, когда она переехала в Германию. Нынче, в третий приезд, жила у поэтессы Ольги Александровны Завадовской, дружба с которой нечаянно завязалась с первой встречи в Петербурге, когда она гостила у наших общих друзей – в семье Гриншпунов. Оля приняла щедро, широко и продуманно. Благодаря её гостеприимству и приглашениям Наташи Казимировской в Швецию, мне по-иному, чем раньше, увиделась эмигрантская жизнь. Всеми членами Олиной семьи, например, немецкий язык изучался не для обихода, а ради полноценной жизни в другой стране. Гражданство им было предоставлено, социальные льготы гарантировались законом. Закон был в действии. Уже со школьной поры оба сына имели немецких друзей. Так и получилось, что для своих детей эмигранты завоевали пристойные права и свободу. Сама Оля обихаживала семью, заботилась о девятилетней матери. Рисовала. Написала книгу об отце. Вышло два сборника её стихов. Другьям своим Оля помогала безоглядно.

На берлинской встрече с читателями русского издания «Сапожка» во вступительном слове Ольга Александровна умно и с горечью говорила о том, что корни эмигрантов как были, так и остаются в России. Всё происходящее у нас в последние годы отдаётся в них надеждами и болью. Атмосфера той встречи запомнилась измученно-суровой. Вопрос: «Как думаете, покается наша власть за всё содеянное?» – оставался открытой раной. В какой форме можно было представить покаяние? И перед кем в первую очередь? Перед крестьянством? Перед интеллектуальным и культурным слоем страны? Перед разорёнными семьями? Нет. Я в возможность покаяния – не верила.

В Русском доме на гастрольном выступлении народного артиста СССР Михаила Козакова с композицией по стихам Иосифа Бродского зал был переполнен. Умный, вдохновенный артист. Поразительная уместность музыкального сопровождения – саксофон. Жадность, с которой слушатели вбирали строфу за строфой. Да, тоска немолодых эмигрантов по русской речи, по русской культуре, музыке, театру, по корням оставалась неизбывной. Но большинство вряд ли вернулось бы «домой».

Если не брать во внимание общую мотивировку эмиграции как «реакцию на насилие», то решающую роль в отъезде семьи Наташи Казимировской в Швецию сыграла скорее всего профессиональная неустроенность. В конце восьмидесятых имеющим гуманитарное образование было не просто найти работу в Ленинграде. Наташа и её муж были театроведами. По приезде в Швецию семью выручала первая профессия Наташи, не требовавшая углублённого знания языка: педагог по фортепьяно. Родители и дети, однако, принялись так основательно и досконально изучать шведский язык, что впоследствии это привело к их творческому и деловому расцвету. Глава семьи Натан определился с работой. Продолжая давать уроки фортепьяно, яркая, красивая Наташа параллельно преуспевала в области журналистики и перевода. С дочерью Женей они перевели со шведского языка на русский три пьесы. Все три были поставлены в Москве и Петербурге.

Наташа приглашала меня в Стокгольм дважды. Устраивала встречи на телевидении и в Польском доме. Водила по Стокгольму, по Старому городу, в театры, в дома друзей. Возила в старинные усадьбы, в рыбацкий посёлок. Визит к отцу Наташи, режиссёру, заслуженному деятелю искусств и замечательному рассказчику Семёну Савельевичу Казимировскому, помолодевшему здесь на добрые два десятка лет, не мог не ошеломить. Отец с женой жили в светлой двухкомнатной, с балконом, квартире дома для пенсионеров. На первом этаже этого дома размещались продуктовый и промтоварный магазины, аптека, почта и телеграф, прачечная, парикмахерская, кафе, пошивочная мастерская и т. д. На последнем этаже имелись два зала для торжеств, обеспеченные двумя буфетными с полным набором посуды, чтобы никому и ничего не надо было носить из квартир. Продуманная система социальной защиты пожилых людей превосходила все мыслимые представления о государственной опеке.

Второй мой приезд в Швецию совпал с экзаменом старшей и младшей групп детей, которых Наташа обучала игре на рояле. Он прово-

дился в концертном зале при стокгольмской кирхе. Красиво одетые дети, реверансы при выходе на сцену, подарившие Наташу цветами и счастливыми улыбками родители превратили этот экзамен в триумф. Лучших учеников магистратура города наградила бесплатными путёвками на отдых. Наташа купила путёвку и для меня. Несколько дней, проведённых за городом вместе с детьми, дали мне возможность почувствовать, что нормальная жизнь страны имеет непередаваемый вкус блага.

Мы сидели группой на тёплой земле, у опушки леса.

– Линя спрашивает: хотите ли вы, чтобы она воспроизвела звук, которым шведские пастухи сзывали в давние времена коров и овец? Её научил этому дедушка. Она хочет доставить вам удовольствие, – обратилась ко мне Наташа.

Двенадцатилетняя девочка поднялась на пригорок, откинула назад головку и издала замысловатый гортанный звук на каких-то «дельфиньих» частотах. Как при всём доселе неведомом, по коже пробежала дрожь. Воспроизведённый девочкой пастуший зов заставил увидеть всех её прадедушек, прабабушек, простор, древний крестьянский быт, воображаемые стада. Гордость, с которой Наташа смотрела на свою ученицу, свидетельствовала о том, что её самоощущение эмигрантки – дело прошлое. Она была уже включена в культуру новой для неё страны. Страны, обеспеченной завидными гражданскими законами, правилами общественного поведения, присутствием во всех сферах быта чистоты и красоты. Что же касается мнения о Швеции как о скучной стране, то за яркостью натур Наташи, её мужа Натана, их детей я скуки не заметила.

Позвонивший летом 2000 года молодой человек отрекомендовался выпускником режиссерского курса нашего театрального института (руководитель Г. М. Козлов) и попросил разрешения прийти с женой «для важного разговора».

Открыв дверь, прежде всего я увидела юную женщину с таким разлитым морем внутреннего света в глазах, что всё вокруг неё светило. Захотелось даже оберечь её: «Девочка, умерьте свою бескрайность!» За нею стоял красивый, высокого роста молодой человек. По возрасту оба годились мне во внуки.

Александр Кладько – режиссёр, прочёл «Сапожок», сделал инсценировку. В основу её положил только арест и следствие. Оксана Скачкова – актриса, играющая меня. Пришли пригласить в институт на свой дипломный спектакль, названный ими «По ту сторону смысла».

Подкупило, что в эпиграф на программке спектакля они вынесли наши любимые с Ольгой Петровной Тарасовой строки из узбекской поэмы «Семург»: «Нету солнца – в себя смотри...» И всё же: в чём ещё могли разобраться дети? Разве могут они представить убийственную способность диктатур тормозить ход Истории, поворачивать и отшвыривать человечество вспять? Отправляясь на спектакль, я готовилась увидеть по-студенчески горячее, задиристое отрицание несправедливостей жизни. Но! С самого начала артисты прибегли к такому безжалостному ритму схватки, направленному на то, чтобы вмиг скрутить, смять и подавить неготовое к аресту сознание, ясность обратить в бред, что оторваться от происходящего на сценической площадке уже не могла. Молодые артисты заставили пристально следить за правдой существования персонажей. Возникла боль. Не проходила... Уже потом мне напомнили сказанное после спектакля: «Я не знала, что это было так страшно!»

Рецензия театрального критика Марины Дмитриевской, появившаяся в печати под названием «Озноб», говорила о том, что удивление увиденным было не только моим субъективным восприятием. «Признаюсь (не стыдно): выйдя с учебного спектакля “По ту сторону смысла”, – писала критик, – я хотела только одного – ни с кем не общаться, не говорить, молча дойти до дому и остаться одной. Такого впечатления на Моховой у меня не было со времён додинских “Братьев и сестёр”...» Конечно, дело было в режиссёрском решении спектакля и в таланте актёров. Но рецензентка говорила о большем – о состоянии умов молодых людей начавшегося века: «Трудно было представить, что книга Т. В. Петкевич могла стать частью жизни сегодняшних студентов – через два поколения... Казалось, не соврать молодые исполнители не смогут (чтобы не сфальшивить, почувствовать реальную боль, играя страницы этой книги, надо не иметь кожи)... А. Кладько и его актёры присваивают опыт той истории, которую, считается, их поколение не хочет присваивать, как всякий негатив. Они не скрывают потрясения от того материала, который играют, относясь к событиям 1943 года не эпически (что было бы понятнее), а лирически... Молодые актёры играют это *поразительно*... Оксана Скачкова... играет судорожное стремление сохранить себя “по ту сторону смысла”... ежесекундно верить только в то, во что положено верить, и не верить в то, во что не велел Бог. А В. Кузнецов (в роли следователя) существует в не менее драматических обстоятельствах, когда судороги любви изначально лишены человеческой основы и потому обречены».

Рецензия М. Ю. Дмитриевской привела на спектакль бывшего замминистра культуры Польши, тогда Генерального консула Польши в Петербурге – Эугениуша Мельцарека. Посмотрев спектакль ЛГИТМиКа, Генеральный консул рекомендовал его на международный театральный фестиваль, проходивший в польском городе Вроцлаве. Дипломный спектакль выпускников имел там успех. А в 2002 году мне позвонил член международного жюри, немецкий писатель Танкред Дорст, отсматривавший в Петербурге спектакли на предмет международного фестиваля современной пьесы, проводившегося каждые два года в Бонне. Писатель, не понаслышке знавший гитлеровскую Германию, выбрал два спектакля: «Рождество 1942, или Письма о Волге» (ТЮЗ) и «По ту сторону смысла» ЛГИТМиКа.

Танкред Дорст с женой Ренатой пришли ко мне знакомиться. Первым делом опытный драматург поделился озадаченностью:

– Как я понимаю, это отнюдь не «политический» театр. Тем удивительнее, что молодых артистов интересуют и волнуют бытийные проблемы человечества...

Оксана Скачкова рассказала в интервью такой же юной, как и она, журналистке Елизавете Мининой: «Мы начали работать с Сашей вдвоём. Потом нашёлся “следователь”. Потом ещё люди появились... Все сами пришли, никого специально не искали. Приходили, сидели, смотрели... И для них находились роли... Это спектакль о свободе, которая может быть даже в условиях несвободы. О духовной свободе. О росте человека. О вере в себя. Этого так не хватает».

Что-то весьма важное договаривает письмо тонкой и трепетной актрисы Анны Яковлевой, посмотревшей спектакль выпускников: «Я сидела и чувствовала странное родство с этой девочкой, как будто она была частью меня и сейчас только проявлялось то, что мы обе когда-то пережили. И я плакала, плакала... Такое было чувство потом, будто я вместе с нею отыграла сейчас этот спектакль, пережила это душевное пространство. И – смешно – руки дрожали. Это, видимо, то библейское ощущение, что вообще живёт в людях, но глубоко, закрыто, заасфальтировано. И вдруг книга, которая всё взломала, освободив в людях исконное, Богом данное. Для меня удивительно было, как зал жил одним дыханием... И как это было про каждого. И ещё – как чисто. Это больше, чем искусство, потому что нельзя лгать. И эта девочка – как светло и свято она это делала... После спектакля вдруг как будто пелена какая-то спала, – освобождение, просто даже возвращение того чувства, когда ничто не страшно, потому что в человеке, внутри него есть *что-то...*»

Инстинктивно устремляясь к театру, в театр, я не предполагала такой силы таинственных путей к сближению с молодым поколением. С людьми и – жизнью. Возможно, такого рода переимчивость и есть непросматриваемая ткань бессмертия жизни, о которой говорили Анна Владимировна и Александр Осипович.

Представленный в Бонне репертуар современной пьесы достаточно точно отражал психологическую и духовную усталость землян, показывая, как напряжённое существование в сегодняшнем мире приводит к ослаблению натур и психики. Всё было так разворощено, растревожено, так по-новому вскрыты поводы и причины. Всё будто кричало о необходимости отыскивать некое новое состояние жизни.

Фестивальная же реальность утешительно контрастировала с тревогой творческих исканий театров мира. Мы были покорены блестящей организацией фестиваля. Она была во всём: во встрече на аэродроме, прикреплении переводчиков, точности графиков, в комфорте гостиниц и шведских столов.

После спектаклей в огромнейшей брезентовой палатке, раскинутой в парке для того, чтобы в ней кормить участников фестиваля, на скамьях у вынесенных наружу столов актёры засиживались до поздней ночи. Пили кофе, вино. Концертировали.

В предотъездную ночь мы с Сашей Кладько и Оксаной Скачковой тоже задержались в парке. Съехавшиеся со всех концов света актёры пели песни на разных языках, кружились в танцах. На специально отведённом месте жгли костры. И похоже, зябкость от ночной сырости, желание во что-то закутаться возникали для того, чтобы напомнить: происходящее вокруг не вымысел, не сон, а – явь. Пусть отрывок ещё какой-то «другой» жизни. Спектакли, языковая разобщённость и схожие чувства людей, разгоревшиеся костры, музыка, падающие звёзды, срывающиеся во вселенскую тьму. Бог мой! Как хорошо, как осмысленно живо может быть на Земле! Кант считал, что человечеству присущи два благородных недуга: тоска по родине и тоска по чужбине. Была у нас родина. Находились мы на чужбине. А тосковали *ещё о чём-то...*

Мне почему-то вспомнился рассказ Василия Шукшина. Названия его не помню. Сидя перед своей кончиной на крыльце деревенского дома, старик пытается вспомнить самое что ни на есть «закадычное», самое значительное из пережитого. Перебирает: любовь? дети? работа? Да-да! Но нет, что-то ещё... что-то *иное...* И клеточной памятью он добирается до ощущения слияния с конём, когда, пускаясь вскачь через лес и поле, в напряжении обоюдных сил им с лошастью

удавалось выжать ту, с сумасшедшиной, скорость. *Скорость* и была первенствующим в памяти старика чувством. С чем-то схожим я встречалась и в жизни. Бывая в Москве, я неизменно навешала Славиных на их даче в Переделкине. Льву Исаевичу было уже за восемьдесят, когда он сломал шейку бедра и оказался прикованным к креслу на колёсиках. Однажды я вызвалась провезти его по дорожкам запущенного лесопарка.

– Как вы думаете, Тамара, чего я больше всего хочу? – спросил он. Я не сразу нашлась что ответить.

– Сесть за руль «газика» и... по монгольским степям, – сказал он.

Это из его молодых лет, из поры Халхин-Гола, когда он был военным корреспондентом.

Желание разгадать очередную «шарату» привело меня в парке Бонна к фантазии: может, эта земная тяга совпасть с одним из объективно существующих свойств физического мира – предвестье нашего будущего? Возможно, энергия души превратится в скорость света? В интенсивность энергии? А может, в температуру смёрзшихся или, напротив, кипящих вулканами планет? Это было бесстрашие усталости, когда понимаешь, что «жить» и «быть» далеко не одно и то же.

...Книга в Германии была с некоторыми сокращениями переведена. Издана. Дважды переиздавалась. Немецкий перевод фатально и странно возвратил мне часть утраченного. Все послелагерные годы я пыталась хоть что-то разузнать о Марго Вендт-Пичугиной, с которой мы несколько лет находились на Севере, в ТЭКе и о которой я упоминала в «Сапожке». Мать Марго была немка. Замуж вышла за русского инженера. Жили они в Екатеринбурге. В 1925 году родители отправили свою восемнадцатилетнюю дочь в Берлин, в Школу мастеров – изучать художественные ремёсла и прикладное искусство. Окончив школу, Марго вышла замуж за немецкого художника Гюнтера Вендта и осталась жить в Германии. Брак был счастливым. У них было четверо детей: две девочки и два мальчика. С 1925 по 1945-й, то есть двадцать лет, Марго прожила в Германии. Что такое советская власть, она фактически не знала. Но в 1945 году подпала под соглашение о «безусловной и всеобщей репатриации» советских граждан в СССР, подписанное на Ялтинской конференции Сталиным, Черчиллем и Рузвельтом. Насильственно оторвав от мужа и от четверых детей, Марго осудили на десять лет по самой тяжёлой из статей УК СССР – 58-1, «измена Родине» – и отправили в северные лагеря. Места наши на нарах в вагоне ТЭКа были рядом. А сблизил-

ла – тоска по детям. Когда нам, идущим под конвоем на спектакль, случилось встретить вольную женщину или вольного мужчину с ребёнком, мы знали, что творилось в душе друг друга.

Марго была старше меня на тринадцать лет. Внутренне мятежная, внешне сдержанная, она никогда и ни с кем не вступала в конфликт. Даже когда кто-то другой не только вспылал бы на её месте, но и разнёс бы всё в щепу, у Марго вспыхивали щёки – и только. Деятельной, отзывчивой, ей ничего не стоило притащить кого-то с помойки, поделиться тем, что ела сама, простирнуть бельё. Она носила длинный свитер крупной вязки, подпоясанный тоненьким ремешком. Волосы на затылке убирала в сетку. Взгляд, нечаянная улыбка выдавали её особую и таинственную женственность. Однако характер и эта женственность были заперты на замок. Одержимость – вернуться к детям и мужу – стеной отделяла её от всего лагерного. Начав писать воспоминания, я рассказала о том, как эта неугомонного таланта художница умудрялась стеклянной крошкой от битых бутылок имитировать блеск полудрагоценных камней на кокошниках танцовщиц, из битого кирпича создавать лепестки роз, верёвками выкладывать на подоле платьев солисток столь затейливые узоры, что все только ахали. Мы с Марго пережили не одну трудную лагерную ситуацию. Мне не просто нравилась эта неординарная во всех своих проявлениях женщина – я привязалась к ней. И она по-особенному относилась к нам с Колюшкой, ко мне.

В 1950 году меня освободили. Срок Марго заканчивался в 1955 году. Одиозная статья стала поводом к тому, чтобы её отчислили из лагерного театра и отправили на тяжёлые земляные работы. Находясь ещё на Севере, я развела адрес рабочей колонны, на которую её этапировали. Написала ей. Она моё письмо назвала «неожиданной ласточкой в самую лютую зиму». А я ответ Марго отнесла к потрясающему свидетельству её свободолюбия и редкого дара «творить жизнь из самой себя».

По обстоятельствам, описанным в начале книги, я с Севера – бежала. Искала её позже: с Урала, с Волги. Расспрашивала о ней всех, с кем вела переписку. Никто о ней ничего не знал. Связь наша оборвалась. Лишь однажды мелькнуло в чьём-то письме: «Прошёл слух, что Марго вернулась в Германию и будто муж даже оркестр нанял, чтобы встретить её на вокзале».

Трижды побывав в Германии, но не зная названия города, в котором жила Марго, я ничего не могла предпринять, чтобы отыскать её следы. Забыть её тоже никак не могла. Меня, как наваждение, гвоз-

дил вопрос: «Как Марго встретила с детьми? Какой оказалась встреча с мужем после стольких лет?»

На конверте, полученном мною весной 2004 года, стоял штампель «Deutsche Post». Из конверта выпали фотографии незнакомой мне женщины и ксерокопии неизвестных картин. Я заторопилась прочесть письмо:

Зенфтенберг, 8 марта 2004 г.

Здравствуйте, уважаемая Тамара Петкевич!

О Вашей книге «Жизнь – сапожок непарный» мы узнали от покойной гражданки города Зенфтенберг, которая знала о судьбе моей матери. Мы сразу купили несколько экземпляров и подарили их моим братьям и сёстрам. Наконец-то мы узнали о жизни нашей матери Марго Вендт-Пичугиной на Севере. Нас 4 ребёнка.

...Только в 1956 году мать вернулась к нам. О своей тяжёлой жизни в России рассказывала немного... Вернувшись в Германию, она стала свободным живописцем. Но в первую очередь, она заботилась о семье.

19 мая 1976 года она умерла...

Я был бы очень благодарен, если бы Вы сообщили нам больше информации об этом времени. К сожалению, я не владею русским языком, потому письмо это переводит мой бывший учитель.

С уважением,

Гётц Вендт

Через пятьдесят четыре года после разлуки с Марго получить письмо от её сына? Понять, что в конверте её фотографии? Что её давно нет на свете? Даже разыскивая её, я не отдавала себе отчёта в том, насколько родственна и близка она мне по судьбе. Я заметалась по квартире, кричала от разрывавшей меня боли. Кошмар прошлого, обуявшая тоска смели все прошедшие годы. На конверте значился только обратный адрес Гётца, номера телефона не было. Если и был бы, немецкого языка я не знала. Но что-то, хоть что-то я должна была совершить незамедлительно, в те самые минуты.

Озарило! В Германии живёт Ляля Клавсутъ, человек схожей с Марго драматичной судьбы. И она знала Марго по ТЭКу. Я тут же набрала номер её телефона: «Ляля! Милая! Представьте: о себе дал знать сын Марго. Разыщите по адресу номер его телефона... Расскажите ему о ней. Расспросите его о ней. Скажите ему: я письмо получила. Отвечу непременно». Я переворачивала чемоданы и ящики с архивами. Во что бы то ни стало мне надо было найти письмо Марго. Дети должны были увидеть её почерк, должны были прочесть этот трактат о сопротивлении Человека.

Написанное карандашом, пролежавшее более полувека письмо я нашла почти неповреждённым! Отправила его Гётцу.

Прибывшая вскоре по туристической путевке из Берлина в Петербург молодая супружеская пара, Анна и Франк, которым Гётц дал мой адрес, пополнила происшедшее подробностями. Это мать Анны, придя в аптеку Зенфтенберга, поделилась тем, что в книге, которую она читает, упоминается имя Марго Вендт. В той аптеке работала жена Гётца. Так сын узнал о матери.

Недолгое время спустя пришло письмо из Швеции, от дочери Марго Инны, написанное на английском языке. Теперь я спешила набрать номер телефона Наташи Казимировской в Стокгольме: «Наташенька! Я получила письмо от дочери моего друга по лагерю – Марго, которую уйму лет безуспешно искала. Пожалуйста...» Наташа не только дозвонилась до дочери Марго. Беспремерная по отзывчивости, она поехала в Астраканг – район Стокгольма, в котором жила Инна. Познакомилась с нею, с её семьёй. Взвалив на себя миссию переводчицы, приехала с Инной и её мужем Джимми в Петербург. Для своего сына Алекса она писала историю их семьи. Прибегну к выдержкам из неё, чтобы всему касающемуся Марго была гарантирована достоверность.

Художник Гюнтер Вендт, муж Марго, всю войну провоевал на Восточном фронте. Из России вернулся домой в 1945 году таким, что дети не узнали отца. А 7 апреля 1946 года арестовали их мать:

В последний учебный день перед пасхальными каникулами дверь квартиры оказалась открытой. В большой комнате сидела тётя Элли с заплаканными глазами. Она рассказала, что двое пришедших мужчин обыскали квартиру и после этого забрали маму. Почему? По какой причине? Маму, которая так хорошо ко всем относилась? Маму, которую русский комендант приглашал в гости? Мы в то время ещё ничего не знали о сталинской тактике использовать дешёвую рабочую силу для русского Севера. Оказалось, всё случилось согласно конвенции, которую поддержали великие державы... Маму приговорили к десяти годам принудительных работ как предателя советской власти и отправили на Восток. Маме даже не дали с нами проститься. Она лишь передала нам пять куколок, которые слепила из хлеба и покрасила известкой, выцарапанной из тюремной стены...

Когда Конрад Аденауэр в 1955 году, посетив Москву, добился у Хрущёва амнистии для своих арестованных сограждан, была освобождена и Марго Вендт...

Навестив после освобождения находившуюся в ссылке мать-немку и заработав на билет в Германию деньги, Марго уехала домой.

Оставшись после ареста Марго с четырьмя детьми, Гюнтер Вендт не стал раздавать их по родственникам, как ему предлагали. Но в его жизни появилась другая женщина. В течение всех десяти лет, пока Марго отбывала срок неизвестно за что, «другая женщина» заменяла детям мать.

По возвращении Марго жён у отца стало две. Матерей у детей – тоже две.

Дети помнили свою мать. Но за эти годы привязались к «другой».

– Другая женщина? – неторопливо, как при замедленной съёмке, отвечала на мой вопрос сидевшая против меня Инна. – Она? Она собралась и уехала.

– А Марго?..

– Счастье к матери не вернулось. Ни в чём. И уже никогда.

После приезда из Швеции Инны и Джимми из Германии приехал Гётц с женой Вибке. Всё мне было в отраду в необычайно привлекательных и деликатных детях Марго. Тщательно готовясь к встрече, они привезли свадебную фотографию родителей, проспекты совместных выставок художников Гюнтера и Марго Вендт, фотографию Марго, окружённой детьми, много фотографий одной Марго, в том числе – после перенесённого инсульта. Привезли ксероксы со сделанных ею на Севере эскизов и картин: маленькие дети в разных ракурсах, кувыркающиеся, висящие в пустом пространстве; зарисовки заключённой, разметавшейся во сне, лагерной проститутки, рабочих бригад на лесоповале...

Внутрисемейная драма на многие годы перекрыла для членов семьи все иные смыслы происшедшего с их жизнью. Никто не смеет расспрашивать детей Марго, что они чувствовали при встрече с матерью после десятилетней разлуки, что испытывали при расставании с «другой». Подлинный размах бедствия, прогромыхавшего по судьбам родителей, по душам их детей определяется, думаю, только сейчас. Дети Марго, имеющие своих взрослых сыновей и дочерей, для того ведь и приезжали из своих стран в Петербург, чтобы приблизиться к более объёмному и детальному пониманию катастрофы, того, что пережила их мать, какой она запомнилась тем, с кем её свела жизнь на Севере.

Когда-то в мрачный период нашей с Хеллой жизни в Микунни она однажды сказала: «Я люблю смотреть на тебя и понимать: из чего ты соткана. В тебе постоянный свет». Право, мы владели выучкой *рас-*

познавать друг в друге внутренний ум, свет, внутреннюю силу, и если это касалось таланта, то даже его фактуру и свойства. Я была благодарна Гётцу и Вибке, когда они попросили русский вариант книги, чтобы через переводчицу, с которой они пришли, я разъяснила им непонятое в тексте материнского письма. В немецком переводе письмо Марго отсутствовало, а именно в нём так выпукло выражено физическое и духовное достояние их матери. На языке того клеточного свечения, которое нам выдаётся небом, Марго сама объясняла, как непосильное превращать в доступное:

...Я нашла привлекательность именно в массовой, дружной работе. Мне вспоминались пирамиды Египта. И бывали минуты, когда, стоя у края поля, уже «побеждённого» нами, у меня почему-то начинало биться сердце, – писала Марго. – Прочитав у Станиславского... о телесной свободе, экономии сил, об отсутствии всякого мышечного напряжения, я использовала этот совет для себя. Пример: я несуносилки с глиной... напряжены только грудные мышцы, руки только слегка ведут рычаги носилок, а ноги идут, легко пружиня... Я люблю свои руки, свои ноги, которые хорошо минуют скользкие щепы, легко идут под гору... по мокрым, прогибающимся доскам над говорливой речушкой... Всё тело отдыхает и только в ту минуту, когда этого требует необходимость в процессе работы, я напрягаю какой нужно мускул. Только таким путём я не устаю. Мне не больно. Понятно, Томик? Я отличник производства. 130 % – мои. Таким образом, я свободна! Свободна! Без интриг, без просьб, без всякого того многого, что в лагере необходимо для получения места прикурка...

Как можно мягче я пыталась объяснить, что «местом прикурка» в лагере именовали рабочее место под крышей, а «всякое то многое» подразумевало домогательства прорабов и нарядчиков, определявших «зэкам» нормы хлеба. Марго была счастлива в своей свободе, которой добилась сама, и дети должны были почувствовать величие и силу духа их матери.

У сына были крепко сжаты губы. Глаза Вибке застилали слёзы. Переводчица перевела для меня: «Спасибо. Мы этого и многого другого – не понимали».

В 2007 году дети Марго собираются отметить столетие со дня рождения матери выставкой её картин.

При разговоре о приглашении на столетие Гётц будто нечаянно протянул мне старого образца видовую открытку с изображением взбаламученного моря. На обратной её стороне, слева, рукой Марго был написан мой кишинёвский адрес, имя и фамилия. Справа, на от-

ведённом для текста месте, не было ни слова. Но так я узнала, что Марго искала меня, как и я – её!

– Напишите здесь что-нибудь, – попросил Гётц. – Мы поместим открытку на стенде к столетию матери.

Как когда-то Володя – мне, я написала: «Дорогой Марго (Маргоше) – во Вселенную!», где столько людей XX века жили «на фоне звёзд и страха». Написала о том, что полстолетия спустя после того, как мы расстались, её детей привела ко мне в Петербург *потребность* узнать, как прожила их мать годы НЕСВОБОДЫ.

Одну из привезённых детьми фотографий Марго я приняла как личное её послание мне: в подсвечнике на столе догорает свеча; в хлебнице не то крошки, не то несколько сушёных ягод; опираясь локтем о стол – Марго в необычайно выразительном устремлении к силам Судьбы: «Разве я что-то должна ещё? Почему? Уточните!» Я вставила эту фотографию в небольшую деревянную раму, повесила на стену. Она неразговорчива, но она – говорит.

В каком-то неестественно близком соседстве друг с другом сопрягаются в XX веке судьбы реальных людей с решениями столь же реальных политиков. Я обратилась к своему сокурснику, Михаилу Семеновичу Пятницкому (и сейчас еще проводящему многие часы в Публичной библиотеке), с просьбой снять для меня копию с Закона «О депортации русских на родину после Второй мировой войны», подписанного Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем. Хотелось вчитаться в формулировку разрушающей силы закона, особенно хотелось увидеть подпись Черчилля.

– Закона никакого нет, – сообщил сокурсник. – Есть так называемые отдельные «Соглашения».

На принесённых им копиях «Соглашений» подписей глав правительств не было. С подписями они, должно быть, хранятся где-то под особым грифом.

«Кто знает, – прокомментировали две умные, элегантные дамы, навестившие меня в тот момент. – Очень может быть, что речь Черчилля, произнесённая им позже в Фултоне, находится в сугубо личной связи со сделанной им уступкой Сталину».

С «6-А» мы всё так же ежегодно собираемся в «лицейский день» 19 марта. Последние годы – у меня. Перезваниваемся, видимся и помимо общего сбора. К тридцатипятилетию окончания института я сняла с полок домашней библиотеки написанные сокурсниками и некоторыми из наших педагогов книги. На одну полку они не умести-

лись. Книги Ларисы Агеевой, созданные в соавторстве с мужем, Владимиром Лавровым. Замечательные книги самой Ларисы – о Матери Марии и о Черубине де Габриак. Работа Валентины Яровой о Пушкине в сборнике Академии наук. Более десяти книг Евгения Биневи́ча о еврейском театре, о деятелях культуры. Публикации Михаила Пятницкого о Таирове, о пантомиме. Рассказы Елены Фроловой. Шесть сборников стихов Анатолия Бергера. Много очерков об актрисах Марины Тимченко.

В институтские годы «6-А» воспринимался мною как курс талантливых студентов. Затем мы стали друг для друга благословенной *средой*, в которой протекали последние пять десятилетий. С годами возникали какие-то внутренние подвиги и переоценки, но мы остались друзьями – безоговорочными и очень дорогими.

Что касается семьи, то с моей строгой младшей сестрой Валечкой мы живём в разных городах, видимся нечасто, но любовь наша друг к другу верна и неизбывна. Её сыновья, Серёжа и Андрей, необычайно внимательны к ней, этому же учат своих детей.

Продолжая работать, дочь Володи Маша и сейчас неизменно выручает меня в сложных ситуациях. Хлопочет о врачах и больницах. Ежедневно, утром и вечером, проверяет по телефону: «Как?» Мы с ней по-особому прочно связаны. Старший внук мужа Вовочка с женой Олей еженедельно звонят из Франции, чтобы расспросить о самочувствии, рассказать, как растут их дети, о своих делах и успехах. Звонят и средний внук Андрюша, его жена Светик, муж Маечки Николай Николаевич. Младший Володин внук Саша после окончания консерваторской аспирантуры блестяще защитил диссертацию. Как музыковед читает лекции на престижных площадках города. Влюблён в классическую музыку, влюблён в джаз, в хоровое пение, в путешествия, а теперь ещё и в спорт. Я дорожу нашими с ним доверительными отношениями.

Любимые мои внуки Алёша и Андрей, как и прежде, приезжают с невесткой Аней. Терпеливо жду встреч с ними. Замерла, была счастлива, когда старший, Алёша, сказал: «Ты не только бабушка, но и друг», а младший, Андрюша, повторил на свой лад: «Только ты можешь меня понять». Но «самое внимательное место» жизни, как говорил когда-то главреж шадринского театра, – это то, что все наши дети сдружились. Вовочка уже приглашал во Францию моего внука Алёшу; печётся о его учебе. Компьютерные интересы связывают мальчиков с Вовиными детьми и многими моими друзьями.

Меня сокрушает чувство вины за то, что я не охватила и уже не охвачу многих очень значительных имён, событий, существенных звеньев цепи и причудливых связей со многими людьми. В последние годы, к великому счастью, случились знакомства с совершенно замечательными современниками, и я уже никогда не буду считать себя обойдённой волнением бесед, посвящением в опыт их мыслей и знаний. О каждом из них, о каждой встрече хотела бы написать отдельную главу.

Недавно одна знакомая пересказала мне диалог между молодой матерью и четырёхлетним сыном:

– Зачем, по-твоему, нужны мамы? – спросила она его.

– Чтобы рожать людей, – ответил ребёнок.

– А папы?

– Папы? Чтобы их воспитывать.

– А люди зачем нужны?

– Люди?

Четырёхлетний человек задумался. Затем ответил:

– Я ЗНАЛ! НО ЗАБЫЛ.

В возрасте за восемьдесят семь того *знания* тем более *не вспомнить*. Но убеждена, что ответом на вопрос «зачем люди нужны друг другу» послужат бесценные письма, которые я получала и получаю по поводу того, что «жизнь – сапожок непарный».

Испрашивая прощения у тех, кто, возможно, не хотел бы огласки своего письма (спросить у каждого позволения на публикацию нереально), я решаюсь поместить некоторые письма в последней главе. Здесь прежде всего истории века, судьбы, отклики. Без этих писем Время не предстанет таким, каким оно было и есть, и трудно будет вообразить, каким полноводным источником спасения люди могут стать друг для друга.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

У того, кто отовсюду гоним, есть лишь один дом, одно пристанище – взволнованное сердце другого человека.

Э. М. Ремарк. «Триумфальная арка»

...Реакция на книгу ещё и потому важна для меня, что доказывает наличие живой жизни и живых людей, когда вся печать только и кричит о распаде душ и связей между людьми...

А. В. Тамарченко

Софья Григорьевна GOLDMAN

12.11.1996, США

Дорогая, милая Тамара Владиславовна!

...Вы пишете в начале книги: «...если эта повесть затронет души тех, кто...» Я дважды прочла Вашу книгу – и удивительно ощущение, что всё это происходило со мной или с кем-то очень близким. Сколько я за эти годы прочла «лагерной литературы», и ничто, даже очень сильно и талантливо написанное, так не всколыхнуло всю прошлую жизнь, не вызвало столько воспоминаний...

...Дай же Вам Бог здоровья, сил!

Ефим Григорьевич Эткинд

21.05.1989, США, Бельмонт

Милая Тамара Владимировна!

Не удивляйтесь внезапности этого письма – просто я уже несколько дней не расстаюсь с Вами. Мне Анна Владимировна дала читать рукопись, которую я про себя называю «Записки красавицы», и я бросил всё, необыкновенно срочное, ради чего я отказывался от встреч, бесед, книг, бросил всё и читаю, словно живу жизнью этой прелестной, искренней до нелепости, привлекательной до волшебства, приняв-

шей на себя удесятёрённый её молодостью и красотой ужас эпохи – женщины. Мне всё кажется, что я ещё никогда ничего подобного не читал – по жизненной подробности, абсолютной достоверности, наивности и, одновременно, ума. Книга эта – по-настоящему художественное произведение, и вот почему: та, которая так жестоко рассказывает о себе и своих иллюзиях, изменяется от страницы к странице – по мере того, как открывает всё новые и новые стороны жизни, как с отчаянием узнаёт о предательстве близких ей людей, предательстве разном и каждый раз невыносимом, или как её обучают очередной мерзости, от которой она старается отмахнуться, как от дурного сна. Это настоящий роман воспитания – есть такой жанр, и у Вас он доведён до высшей точки, потому что роман соединён с исповедью, с безжалостным по правдивости самообнаружением, с дневником, с интимностью признания. Хочу сказать Вам, что молодые, не понимающие безумия нашего времени, прочитав Вашу автобиографию, переживут её сами, эту эпоху лжи, крови, предательств, душевной красоты, преданности, поэзии. Всё это у Вас есть: и высокое, и низкое, и уродливое, и пленительное. У Вас люди зверствуют, и не всегда понятно, почему: вроде бы не они сами, а какие-то за ними стоящие силы действуют, и эти силы неодолимы. Меня ошеломило открытие Роксаны и второго агента, по кличке «Норд». Вы узнали то, что не узнал ни один из нас, а мог бы каждый: и растленность ближайшей среды, и сатанинское всезнание органов, и низость благородных, и тайную преданность, даже бесстрашие казавшихся далекими и посторонними (Чингиз).

Издать эту книгу необходимо – и как можно скорее, и как можно полнее. Надо убрать некоторые стилистические красоты, которые мешают абсолютной искренности, лежащей в основе этой бесценной, ни с чем по содержательности и человеческой красоте несравнимой автобиографической книжке, истории не только «красавицы», но и всей нашей эпохи.

Спасибо Вам. Нежный привет Владимиру Александровичу. До скорой – как я надеюсь – встречи.

Преданный Вам и безмерно благодарный...

Александр Васильевич Снегин

11.08.1993, Молдавия, Кишинёв

...Сердечно благодарен за блестящую книгу «Жизнь – сапожок непарный». Нет слов выразить наше волнение и слёзы при её чте-

нии... Спасибо Вам, что Вы раскрыли нам глаза на то, при чём мы жили...

Дорогая, прекрасная Тамара Владимировна, мы гордимся, что нам выпало счастье встретиться с Вами. Сейчас мы оказались за границей, но не теряем надежды повидать Вас. Бог даст, состоится наша встреча.

Натела Урушадзе

24.08.1993, Грузия, Тбилиси

Тамарочка, дорогая моя, необыкновенная!

Я и сейчас не знаю, как выразить в словах то, что произошло со мной от встречи с Вашей книгой, вернее, Вашей жизнью. В какой-то мере и своей, потому что всё время выплывало собственное прошлое, то, что происходило в те страшные годы у нас. Мы стремились забыть то время. Вы заметили, что мы не любим вспоминать те годы? Что это, защитный инстинкт? Наверно. Меня просят написать о том, как я ездила в Потьму к маме, что там видела, как мы встретились с ней через девять лет, когда обе были уже совсем другими... Мне не хочется. Не могу. Как видно, и не умею. Вы смогли. А разве можно сравнивать мою жизнь с Вашей? А смогли. Потому что это предназначение свыше. Иначе невозможно было бы вынести то, что вынесли Вы, и, несмотря на все невообразимые ужасы, остались доброй, чуткой... Господи, неужели обязательно столько страдать для того, чтобы написать книгу о том, что нет на свете ничего сильнее человеческого духа! Но ведь Ваша книга не только об этом, она ещё о том, какой была жизнь людей в той ужасной стране, в которой мы жили, она – история. Историю тех людей лучше Вас, Е. Гинзбург и Т. Цулукидзе пока никто не написал. Три прекрасные эти женщины заставят любого читателя поверить в правду своего повествования и содрогнуться от того, во что можно превратить человеческую жизнь...

P. S. Если б не опередил классик, точное название Вашей книги – «Хождение по мукам».

Юрий Константинович Вишневский

19.12.1993, Россия, Санкт-Петербург

Дорогая Тамара Владиславовна!

Ваш замечательный роман «Жизнь – сапожок непарный» – это моя встреча с прошлым.

Читая его, я не мог оторваться от книги, тем более что наши с Вами судьбы поразительно схожи, вплоть до того, что мы оба сидели в одном лагере (Севжелдорлаг).

Ваша замечательная книга написана талантливо, умно, с большой душой. Часто мои глаза наполнялись слезами, а вызвать слёзы у мужчины, у которого в тридцатые годы безвинно расстреляли родителей и который сам отбыл в северных лагерях (Коми АССР) десять лет – трудно.

Очень несправедливо, что роман «Жизнь – сапожок непарный» издан тиражом 15 000 экземпляров, а не миллионным и не распространён по всей России...

Теперь кратко о похожести наших судеб. Посудите сами. Практически мы ровесники (я на два года старше Вас). Оба арестованы, будучи студентами мединститута (я в 1937, Вы – в 1943 году). Обоим безвинно пришили 58-ю статью УК, пункт 10. У обоих срок отбывания наказания в лагерях (у Вас семь лет, у меня – десять). Оба мы погибли бы в первые месяцы там, на общих физических работах, если бы не случайности. Миллионы заключённых погибли в сталинских лагерях, а мы выжили. Значит, не судьба была умереть. Оба мы освободились из Севжелдорлага НКВД. Оба мы узнали там, в Коми АССР, те же лагерные поселки (Княж-Погост, Межог, Ухта и т. д.).

Интересно и то, что судьбы наших отцов и их возраст схожи (год рождения Вашего отца – 1890, моего отца – 1893). Оба поляки, оба попали в свои молодые годы в преступные ленинские сети. Оба поверили в «светлое будущее – коммунизм». Оба активные участники Гражданской войны. Оба были комиссарами (бригады, дивизии). В мирное время честно работали на руководящих должностях, отдавая все силы, как им казалось, во имя «светлого будущего».

Наши отцы в тридцатые годы оба были оклеветаны и безвинно арестованы. Оба осуждены на 10 лет лагерей. Оба погибли. Ваш – 15 января 1938 года, мой – 17 сентября 1937 года. Оба реабилитированы посмертно в пятидесятые годы.

К слову: моя мать – Соколовская Ядвига Николаевна, полька, была безвинно расстреляна 23 марта 1938 года. Посмертно реабилитирована в 1960 году.

Мне бы хотелось побеседовать с Вами о наших лагерных судьбах, вспомнить общих знакомых, конечно, если у Вас на это найдётся время и желание.

Дай Вам Бог, дорогая Тамара Владиславовна, здоровья и долгих лет. Ещё раз желаю роману «Жизнь – сапожок непарный» милли-

онного тиража и чтобы это произведение разошлось по всей России, как произведения Шаламова.

Хава Владимировна Волович

16.01.1994, Украина, г. Мена

Дорогая Тамара, мой многострадальный Прометей!

Прочитала Вашу книгу. С трудом, при помощи лупы, потому что мои бедные глаза совсем уже отказывают мне. Книга покорила меня. Понравилась. Очень! С каким тактом Вы пишете об ушедших, о тех, кто, я знаю, доставил Вам немало неприятностей... И столько горячей любви Вы вложили в описание тех, кто любил Вас и к кому Вы сами относились с истинным обожанием (Гавронский, Улицкая)! Александр Осипович Гавронский был ведь и моим спасителем, хотя я не могу отнести себя к тем, кого он одаривал каким-то особым теплом. Было понимание – и то слава Богу!

Мое пребывание в ТЭЖе было всё окрашено в чёрный цвет. Сколько я там переделала работы, от которой все отказывались! («Не умею! Не могу!») Там мне был симпатичен только Аллилуев. Все остальные – чёрные тени. В конце концов меня обокрали: вытащили из моего ящика две кулисы и мою единственную юбку, а мне прицепили промот. Всё это сделал Х-в с некоторыми лабухами. Свою юбку я узила в заплатках на рукавах его пиджака. Когда я пожаловалась Невольскому и Ерухимовичу, они меня же обвинили в клевете на «порядочного человека». Хорошо, что там еще был наш добрый гений – Александр Осипович. Он уговорил Тамару Цулукидзе взять меня к себе. Новый набор тэковцев мне был незнаком, поэтому я и Колю Теслика совсем не знала.

Теперь ещё про одну даму, которую Вы считали «человеком».

С О. В. Т-вой мы прибыли одним этапом на колонну, где правил Малахов. Ходили с ней на общие работы. Товарищей по несчастью она и за людей не считала. Придя с работы, она раздевалась догола, забиралась на свои верхние нары, становилась раком к публике и начинала копошиться в своих вещах, не обращая внимания на негодующие реплики «зрителей». Пока однажды одна бытовичка не запустила ей здоровенным грязным ботинком в зад. После этого «кино» прекратилось. Через несколько лет мы снова встретились на одной маленькой уютной колонке. Женщин там было мало – человек восемь. Однажды она была поймана «на горячем». Писала оперу донос на кого-то из эжков. Так выяснилось, что она всю дорогу была стукач-

кой. И к Вам она приходила с уютной корзиночкой с фарфоровыми чашечками, чтобы выуживать что-нибудь, что могло пригодиться её «опекунам».

Потом у неё, по-видимому, «зачесалась» совесть, и она стала бояться встреч со своими бывшими знакомыми. На той маленькой колонне женщины украли у неё очки и отдали мне на хранение. Я держала их у себя дней десять, потом решила отдать. Жалко её стало. Я спросила её: «Зачем вы это делаете?» Она нагло ответила: «Не одна я этим занимаюсь! Только я по-глупому попалась». Отдала я ей очки, она даже не поблагодарила. Потом уже в Москве Хелла однажды встретила ее на улице, обрадовалась, стала напрашиваться к ней в гости, приглашать к себе, но та в испуге отказалась и от одного, и от другого. Хелла в недоумении рассказала мне об этой встрече, ну я объяснила ей, что знала. В хрущёвские времена тоже было опасно иметь таких «друзей»...

Я очень скучаю по Ленинграду...

Обнимаю Вас!

Раиса Каримовна Федичева

24.01.1994

Дорогая Тамара Владиславовна!

Не могу не выразить переполняющее меня чувство благодарности, восхищения Вашим трудом и талантом. Книга Ваша произвела на меня потрясающее впечатление.

До боли в сердце прошла перед моим взором вся моя жизнь в лагере.

Мне 76 лет... Перенесла все муки ада, которые так точно описали Вы. В Воркуте я оставила здоровье и молодость.

Я редкий экземпляр – турецкая шпионка. Анекдот, да и только. Расскажу. Сохранила чувство юмора и друзей. Несколько человек сейчас живёт в Петербурге. Они тоже сидели...

Они не оставляют меня в одиночестве. Часто посещают и звонят. Много я прочитала книг об этих годах. Но Ваша книга захватила мою душу до дна. Она написана женщиной, которая обрисовала положение женщин в этих условиях. Так тонко, умно, беспощадно, во всех деталях.

Спасибо Вам.

Дай Вам бог здоровья, я попрошу Аллаха Вас не оставить в своих милостях.

Аллах акбар!

Дорогая Тамара Владиславовна!

Позволяя себе так обратиться к Вам, потому что Ваша книга «Жизнь – сапожок непарный» оказалась частью моей жизни.

Я должна была стать «дочерью врага народа», но мой отец, сотрудник и друг Н. Н. Крестинского и многих других «врагов народа», вовремя умер от скоротечной чахотки (туберкулёза) в 1925 году. Ему было всего 33 года. Это больно и стыдно писать. Но я думаю, что особенно тяжело умирать от несправедливости, от предательства того общества, в которое свято верил и которому беззаветно служил. Все сотрудники его и друзья погибли в 1937–39 годах. Все они работали за границей, а в 1930 году их потребовали обратно в Союз и постепенно уничтожили.

Мой отец был крупным финансистом, директором Московского народного банка в Лондоне. Там и умер. А я училась в Москве в особой школе – МОПШК (Московская опытно-показательная школка-коммуна имени Лепешинского), в которой учились почти все дети «дома на набережной» и дети Кремля. Начиная с 1937 года, на наших комсомольских линейках рядом стояли дети вождей и «дети врагов народа»: Каганович и Каменев, Орджоникидзе и Крестинская, Жданов и Смилга, Микоян и Розенгольц и т. д., и т. д. И бедные дети должны были слушать, как отцы одних готовили убийства и убивали отцов других. Мы мало что понимали, но очень жалели детей «врагов народа», горько плакали, когда их отсылали в детские дома, и писали им письма.

Нашу школу кончил Анатолий Рыбаков («Дети Арбата»). Вы, конечно, слышали и о девочках Арбата, об ученицах нашей школы, которых я хорошо знала. Это пять девочек, дочери «врагов народа», среди них и Наташа Крестинская. Все они получили срок за то, что вместе оплакивали своих мам, которых арестовали, когда отцы уже были расстреляны. Я много знаю о жизни женщин в лагерях, о трагедии матерей, «потерявших» своих детей, о детях-«сиротах» в детских домах. Думаю, что многие из них встречались и на Вашем пути, так как жена Бруно Ясенского была близка с матерью моей подруги, которая «потеряла» свою маму и нашла только после реабилитации. Всё это страшно вспомнить.

А теперь о главном в Вашей книге «Жизнь – сапожок непарный». Прочла с неослабным вниманием. Удивительная книга. Она написа-

на не просто талантливым автором, но человеком, обладающим самым редким «талантом личности»... Ваша книга показывает, что трагедия действительной жизни сильнее, чем романы – сочинения писателей.

С уважением и любовью...

Анна Гилрой

18.02.1994, США, Бостон

Дорогая Тамара Владимировна! Я прочла Вашу книгу, она перевернула что-то глубоко внутри, перевела меня через точку перевала. И, как странно это ни прозвучит, я многое поняла про себя через Вас. Спасибо Вам большое. Я Вас очень люблю и всегда помню, хотя совсем не пишу.

Крепко Вас целую и обнимаю...

Ефим Рабинович

24.02.1994, США, Бостон

Дорогая Тамара Владиславовна!

...Спасибо большое за Вашу книгу. Она не просто лежит на полке: как говорил Левий Матвей, «Ваш роман прочли». Я прочел ёго в несколько вечеров, читал иногда до часа ночи, чего давно уже не было.

«Быть женщиной – великий шаг, Сводить с ума – геройство», где бы это ни происходило, даже в тех ужасных условиях.

Роман подтвердил мое первое впечатление от нашей короткой встречи в Америке в 88-м году, что Вы – «Женщина, Ваше Величество», как поёт Окуджава.

Еще раз спасибо за книгу.

Всего Вам наилучшего.

Александр Николаевич Смирнов

19.04.1994, Россия, Тамбов

Глубокоуважаемая Тамара Владиславовна!

Не надеясь, что Вам удастся вспомнить меня, представляюсь – Александр Николаевич Смирнов. Было время – были конкурсы чтецов в Ленинграде, замечательные две лаборатории режиссёров народных театров Северо-Запада, на которые «контрабандой» (ибо Юго-Восток) приезжал я. Было любимое Комарово, где так хорошо

работалось и отдыхалось... Мы общались там в последний для меня приезд. Я прекрасно помню нашу неожиданную встречу на Невском, подле Акимовского театра, когда внезапный ливень загнал меня в уютный вход в Елисеевский магазин – и я увидел там Владимира Александровича и Вас...

...В прошлом году в разговоре по телефону Коля Рубцов сказал мне о написанной Вами книге воспоминаний, и я вознамерился её прочесть, ожидая, что это актёрские мемуары, к которым в последние годы всё больше лежит душа (за неимением театральных впечатлений, так как тамбовский театр безнадежно погас). Достали мне в библиотеке «Жизнь – сапожок непарный»... Трое суток я был подчинён только этому трагическому роману, оставляя на сон 2–3 часа в сутки. Я потрясён. Я восхищён стилем, слогом, подчинён ритму изложения, ослеплён стереоскопичностью лиц, характеров, пронизан остротой переживаний...

Ох, сколько я нашел схожих моментов! Там, где идёт рассказ о лагерном театре, как всё это знакомо! Только было это на Индигирке и в Сарове.

И вот, прочитав книгу, я вдруг вспомнил, наконец, что прочёл-то ведь не роман, сочинённый талантливой писательницей, а её жуткую, полную несправедливости и горя жизнь!

Вспомнил Вас той, которую знал по ленинградским общениям, и поразился снова. Вот эта изящная, элегантная, со светящимся взором, золотоволосая, с острым умом и лирическим складом натуры Тамара Владимировна и та Тамара Владиславовна, проходящая все круги – нет, не Дантова – ГУЛАГовского ада, – одно лицо?

И хоть книга жутка, хоть во время чтения её приходится принимать реланиум и резерпин, но прочтёшь ее, закроешь, и вдруг осеняет мысль: «Нет, духовный человек, даром Божиим отмеченный, не может быть сломлен никакой сатанинской силой!»

Всё можно отнять – близких, любовь (её просто убивают!), здоровье, даже жизнь. Но душу живую, но память сердца, но достоинство, но интеллигентность, но веру, но Бога в душе, но творчество – дудки!

Мне пришлось в лагере оказаться в 1947–1951 годах. Много было тяжёлого, драматичного. Но... это были детские игры, если сравнивать с тем, что выпало Вам. Какая же Вы молодец, что написали эту книгу!

Спасибо миллион раз, и именно за то, что Вы – такая!..

Галина Ивановна Даль

29.05.1994, Россия, Республика Коми, Воркута

Дорогая Тамара Владиславовна!

...Вашу книгу зачитали. Листы на месте, а золотое тиснение осыпалось. Сын обещает покрыть серебрянкой. Читали многие мои друзья: коллеги по ГУЛАГу-Речлагу, соседи, дети, инженеры, учителя, сотрудники «Мемориала». Все в восторге от таланта и ума Филиппа! Я тоже! Но мне такой не встретился. И сейчас своей недалёкостью я рассуждаю так: надо Вам было остаться в роли «тёти». Филипп помог бы Вам переехать туда, где он жил. Помог бы устроиться на работу. И можно было бы ещё одного ребёночка от него родить. Две мои знакомые в Вашей ситуации до сего дня «тёти», любят своих «племянников» – и племянники платят им своей любовью... Жаль, что хорошие мысли посещают нас много позднее.

Я вот сравниваю свою жизнь с Вашей. С 1945 до 1949 г. я работала в больнице, в основном, с иностранцами... И так до конца, до июня 1955-го. Работали на улице: очистка снега, строительство железных дорог. Но я вспоминаю людей, а не работу. Со сцены читала «Нунчу», рижский режиссер «натаскал». Таких людей, как Гавронский, встречала. Видела. Но я их боялась. Очарует, околдует, а потом не захочешь смотреть на «серость». После двух лет любовной переписки, освободившись, я вышла замуж...

Галина Ивановна Даль

23.08.1994, Россия, Республика Коми, Воркута

Дорогая моя Тамара Владиславовна!

...И слава Богу, что у сына было хорошее детство, что вокруг был достаток и любовь. А что бы Вы могли ему дать, не имея ни средств, ни своего угла? И каким бы он ещё мог вырасти, нам неизвестно. Главное – он знал своего отца, а самой несчастной из всех была Вера Петровна. Сын, если вести отсчёт от человеческого понимания, должен быть Вам благодарен за то, что подарили ему жизнь, наградили умом, талантами... Ваш долг выполнен сполна! И это не вина, если Вы ждёте от него ласкового взгляда, хорошего слова! С детства в его хрупкую душу заложили что-то, что он не может выбросить, пересилить себя! Но он думает о Вас ежеминутно. Только по натуре своей не может разорвать цепь, которой связан с детства. Постарайтесь не думать, это ещё не трагедия. Образован, обеспечен! Не унижайтесь. И старай-

тесь ни с кем не говорить на эту тему: Вас не поймут! Будьте сами собой, живите маленькими радостями.

...Каждый день в молитве об усопших поминаю Вашего Филиппа. И жалею, что на моем пути не было такого человека. Ни в литературе, ни в жизни я не встречала такого примера, где бы так любили, так помогли выжить и вытащить из ада. Любил он Вас и любил сына, и действия его были правильны. Он не крал, он оберегал детскую душу. Простите меня, но Вы сами написали об этом...

Ваша...

9.09.1994, Россия, Москва

Дорогая Тамара Владиславовна!

Горячо благодарю за Вашу потрясающую книгу... Мне трудно Вам писать, потому что со мной это случилось впервые в жизни: я горячо полюбила человека, которого никогда даже не видела, – Вас. Боже мой, если бы эту поразительную книгу я прочла всего только два-три года назад, я бы немедленно, в тот же день отправилась в Ленинград, чтоб увидеть Вас, чтоб сказать Вам, как я потрясена, как люблю Вас и какая Вы необыкновенность! Увы, теперь (мне 83 года) я уже не могу ни ходить, ни ездить...

Я боюсь экзальтации, я боюсь чего-нибудь «слишком», что может как-то принизить то огромное, что Вы – не ведая того – создали Вашей книгой. Я не в силах была от неё оторваться, читала её и днём, и по ночам. Почему?! Я ведь столько слышала о кругах ада, которые Вы прошли, от моего дорогого, ныне покойного брата, от некоторых уцелевших друзей, наконец, я столько об этом читала...

Мне ещё трудно до конца разобраться в моих переживаниях по поводу Вашей книги, да и разберусь ли... Но представьте – Вы это непременно поймёте – я читаю Вашу книгу и как-то незаметно вхожу, как бы вливаюсь в неё... И я – с Вами. Или вместо Вас? И каждый удар чудовищной судьбы, всегда неожиданный, невероятный и неотвратимый, – это удар и по мне. И я под ним падаю и не могу подняться, не могу. Но поднимаетесь Вы, и я – вслед за Вами. До следующего удара...

Ни один человек не мог бы написать роман о Вашей жизни. Это был бы плохой роман, потому что казалось бы: в жизни так не бывает, чтобы каждый, пусть верный, поступок, каждый шаг бумерангом возвращался страшной бедой. Но Вы написали не роман, Вашу кни-

гу продиктовала сама жизнь, чудовищно изобретательная на самое невероятное... Жизнь выбрала Вас своим летописцем, быть может, потому, что только Вы смогли весь этот пережитый изощрённейший ужас осветить Вашей лучезарной личностью.

Вы очень красивы. Как на чудесное произведение искусства, смотрю я на Ваше фото. Ваша красота была немалым источником Ваших бед, но и не раз спасала от гибели. Я спросила у моего племянника: «Тамара Владиславовна и теперь такая же красивая?» Он ответил: «Она очень красива. С ней происходит то же, что с Анной Ахматовой...»

А ведь у Вас с Анной Ахматовой много общего. Я видела Анну Андреевну, она была красива гордой и несколько высокомерной красотой, чувствовалось – она знала себе цену. А Вы? Убеждена: несмотря на приведённые Вами в книге письма Ваших друзей, где они восторженно пишут о Вас, Вы себе цены не знаете, нет. Чтоб в этом убедиться, достаточно прочесть, как Вы пишете о самой себе и о своих друзьях. Сердце томит Ваша трогательная, почти наивная, скромность. А ведь Вы – чудо. И Ваша, казалось бы, страшная книга вселяет в душу не ужас перед тем, что было, а светлое чувство гордости и радости за человека, за Вас, за Ваших друзей, сохранивших душу, вечно живую человечность, на которой и держится наш несчастный мир.

Не бываете ли Вы в Москве? Как была бы я счастлива встретиться с Вами!

Ваша...

12.09.1994

Дорогая Тамара Владиславовна!

Как много мне надо Вам рассказать! Как многим надо поделиться...

...Представьте, в нашей судьбе есть нечто общее – и меня предала моя ближайшая подруга. Она написала в райком и в НКВД слово в слово то, что я ей сказала. А сказала я ей вот что: «Уверена, в этом разгуле подлости в стране я всё-таки переживу Ежова, как уже пережила Ягоду». За такое меня ждал даже не расстрел – четвертование... Вам могут рассказать обо мне наши общие знакомые. Но ведь главное не в том, что говорят, а в том, кто говорит. Пусть даже самые хорошие люди. Представьте «Войну и мир», всё, что там происходит, рассказанное не Толстым, а кем-нибудь другим...

С чувством любви к Вам...

24.09.1994

Дорогая Тамара!

Книга ошеломила меня. Насколько я могу судить, это великая книга, и до чего же важно, чтобы её прочло как можно больше людей на земле! Подумать только, что, крайне ограниченная в общении (очень слаба), я вообще могла не прочитать её, если бы не Кирина любезность. Спасибо, спасибо, спасибо.

Трудно согласиться с автором послесловия (в целом очень достойного), что книга не оттесняет других талантливых лагерных воспоминаний. Оттесняет. Так мне кажется.

Знаете, Тамара, получился парадокс. То, что я из-за своего состояния читала книгу медленно, почти каждый кусок – по два раза, сдерживая бешеный интерес к людям и событиям, помогло мне полнее увидеть её необыкновенные литературные достоинства и понять, насколько точна, безукоризненно верна реакция каждого человека на каждое сказанное ему слово, на каждое случившееся с ним событие. Это о форме. Как я болела душой за Вас и других необыкновенных людей, как восторгалась их умом, достоинством, мужеством, писать не могу, неловко как-то. Скажу то, что мне кажется главным.

«...Бог и черт, мораль и ответственность перестали быть конечной инстанцией. За тем и другим возникало своё антипространство. Одно переходило в другое. Понятия замутнялись, становились чащобой» – это Ваши слова... А у Вас хватило мужества создать Пространство-II. Какая великая сила духа! Сколько знакомых (и заочно, и близко) и дорогих людей на её страницах!..

Поздравляю Вас от всей души с выходом «Непарного сапожка» (название какое точное!) и... наверное, только приблизительно понимаю, какого нечеловеческого труда всё это стоило. Изю всех сил желаю Вам добра, а книге – великого множества читателей (т. е. повторных изданий).

Спасибо, да нет, в «спасибо» это всё не влезет.

Ваша...

P. S. Нет ли какой-нибудь возможности опубликовать отдельно всё собранное Вами об Александре Осиповиче Гавронском? Я немало о нем слышала, но больше всего узнала из Вашей книги. Боюсь, что вопрос наивный в силу всех с этим связанных трудностей, материальных, полиграфических и иных. Но Человек! Вот Человек, Боже!

Будьте здоровы, пусть Вам будет везение и радость во всём.

Александра Александровна Пурцеладзе
29 марта 2000 г., Санкт-Петербург

Тамаре Владиславовне Петкевич

Ах, какое долгое житьё,
Милый друг, за нашими плечами!
Пёстрое лоскутное шитьё –
Лоскутами годы, лоскутами...

Вот он – ранней юности лоскут –
Розовый, в просветах – голубое...
Как наивны были мы с тобою!
(Это нынче глупостью зовут!)

Чёрный лоскут в клетку – ох, беда!
В чёрных клетках – вереница буден...
Жаль, что тот, кто вшил его сюда,
Для суда земного неподсуден!

Жизни нашей странная стезя –
Шиты дни не нитками, а кровью.
На иные мы глядим с любовью,
А иные б вырвать, да нельзя!

А лоскут сегодняшнего дня –
Выцветший, как старая рубашка,
Штопанный, как сердце у меня –
А однако держится, бедняжка!

Соберёмся с силами, дружок
(Право, их у нас не так уж мало!),
И вошьём покрепче лоскуток,
Чистый, словно воздуха глоток,
Ясный, точно неба лепесток,
В нашей пёстрой жизни одеяло!

Олеся Рудягина

22.01.1995, Молдавия, Кишинёв

...Милая моя, дорогая! Знаете ли Вы, что Вы счастливый человек?!
Какие люди были Вашими друзьями, помогали выстоять! Какая любовь озарила Вашу жизнь! То, чего так не хватало мне всегда, чего так страшно и упорно ждала я, – было у Вас. Любовь! Жертвенная, честная, не уронившая себя ни фальшью, ни подлостью, ни корыстью.

Благословенная минута Вашей встречи с Коленькой! Вечная ему память... И его Любви. Когда не существует преград – ни расстояний, ни заборов, ни крыш, ни запретов... Ни смерти!

Если бы Вы знали, как Вы близки мне! И я уверена: есть множество людей, которые смогли бы сказать это. Знаете, ведь Вы написали книгу всемирного, вселенского масштаба! Ведь это не просто история Т. В. Петкевич, это не просто история поколения или даже государства. Это история вечной борьбы Добра и Зла. Зло многомерно и многолико. Войны, тираны, революции, попрание свободы, чести, превращение людей в рабочих скотов, народов – вбьющуюся в националистической истерике толпу, лишение детей родителей, отнятие у родителей детей... И против всего этого только единственное средство борьбы: свет души, работа души, взаимное притяжение родственных душ, «перетекание» их друг в друга путём книг, мысли, искусства, дружбы... Я мечтаю написать статью о Вашей книге. Я собираюсь с духом. Для меня это очень важно. Чтобы Вы лучше узнали меня, я посылаю две газеты. Мои статьи – под псевдонимом Саша Серёгина...

Тамара Владиславовна! Говорят, в России речь скудеет и засоряется. Что же говорить о нашем эмигрантском захолустье, где русский язык объявлен «врагом народа». Книга Ваша – глоток воздуха, изумительный по чистоте и насыщенности. Какая она вообще – русская! Как описанное Вами счастливое деревенское лето – со всеми его звуками, запахами, солнцем, обрядами, детством...

Зная Россию только по литературе – какая во мне любовь и отчаянная нежность ко всему, что она!

Крепко целую Вас! Пожалуйста, будьте здоровы. Пишите! Знайте, что Ваше имя, Вы нам очень дороги. Не сердитесь, ради Бога, за мое вторжение.

С искренним уважением и восхищением...

Мирра Ефимовна Перельман

30.01.1995, Россия, Москва

Дорогая Тамара Владиславовна!

...Я же знала о Вас от Жени Горелова. Держа в руках Вашу книгу, вместе с Вами проделала Ваш крестный путь, а мне всё казалось, что путь этот ведёт на Голгофу. Как я боялась за Вас! Как проклинала себя за то, что не знала Вас тогда, до всего – я бы непременно

удержала Вас от единственного рокового шага, предопределившего всю Вашу судьбу. К этому времени у меня уже был опыт. Я сумела перехитрить бандитов, и без того сломавших жизнь нашей семьи, моего обожаемого брата, его жены Розы, но и я была под прямой угрозой.

...Я сбежала. Исчезла. И уцелела. Только пять лет нигде не показывалась, не работала.

У Вас всё шло по-другому, и, Боже мой, не было рядом меня, чтоб Вас удержать, не дать Вам самой идти в уже заготовленный капкан.

Я много думаю о Вашей книге и, конечно, о Вас. Книга Ваша стоит в ряду тех, которые написаны о кошмарах лагерей. Первой, ещё в самиздате, я прочла потрясшую меня книгу Гинзбург. Потом хлынул поток этой горестной литературы – тут и Шаламов, и Разгон, и много, много других. Но почему же только в Вашей книге я казалась себе действующим лицом, почему мне казалось, что всё время держу в своей руке Вашу руку, чтоб не допустить Вашей ошибки, чтоб отворотить беду? И я поняла чудесную особенность Вашей книги. Все писали об ужасах, ими пережитых. Вы же, с Вашей открытостью, с Вашей трогательной доверчивостью, писали, не замечая этого, вовсе об этом не думая – Вы писали о себе! Вы создали поразительно живой, магнетически привлекательный образ – молодой, очень неопытной, очень доверчивой женщины, почти девочки, с поразительной душевной силой преодолевающей неодолимые беды. Образ необыкновенно светлый, если не бояться высоких слов – лучезарный. Вы такая же, какой были, и Вас невозможно не полюбить. Я и полюбила.

Герцен писал, что вернувшиеся из тюрем всегда остаются теми же, какими они туда ушли. Представьте – и мои друзья, которые вернулись из ада, были такими же, какими ушли. (После фронта все очень менялись.) Мне понятен Ваш чудесный образ, так ярко – помимо Вас, Вы об этом, наверное, не подозреваете – Вами не созданный, нет, воспроизведённый! Вы решительно ничего не придумывали, это – Вы, какая были, есть и будете. Вы для меня близкий человек. Ещё бы! Ведь я прошла с Вами, держа в своей руке Вашу руку, весь Ваш скорбный путь! В моей тогдашней тоске по томящимся в тюрьмах моему брату и друзьям, наверное, были и Вы. Я Вас, наверное, предчувствовала (вспомните Блока: «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...»). Не хочу, чтобы Вы удивлялись или сочли бы меня отступницей от норм. Со мной всякое бывает. Когда брат вернулся, я ему назвала даты,

когда с ним происходило то или иное. И ни разу не ошиблась! Он только повторял: откуда ты знаешь?! Вот знала.

Ваша....

М. Лилина – мой псевдоним. 40–50 лет назад меня с моей фамилией никто бы не напечатал.

Рышард Калицкий

25.04.1995, Польша, Варшава

Многоуважаемая Тамара Владиславовна!

С огромным волнением прочел Вашу замечательную книгу. Её прислала своему другу детства в Варшаву Мария Станиславовна Будкевич из Петербурга...

Уважаемая Тамара Владиславовна! Не повстречалась ли Вам на Вашем лагерном пути Матильда Мионовна Тёмкина, еврейка из Польши, педагог по образованию, была арестована на Урале в начале июля 1941 г. После очень тяжелого следствия в Москве на Лубянке и в Лефортове она – как «польская шпионка» – провела 10 лет в лагерях Коми. Там, после общих работ, работала медсестрой в лагерной больнице. Получив образование в Бельгии, прекрасно знала латынь. Там же, в лагере, пережила свою первую и последнюю любовь. В марте 1946 г. родила сына Женю. Как место рождения мальчика в документе указан Княж-Погост. Отца – Сашу, тоже заключённого, лагерного плановика-экономиста из Грузии, сразу же перевели в другой лагерь, и о дальнейшей его судьбе ничего не известно...

Мадя – моя двоюродная тётя, вернулась в Польшу после ссылки в 1957 г. Она скончалась в Варшаве в 1970 г. Сын Евгений живет в Варшаве. Мадя оставила рукопись воспоминаний, которые написала сразу же после своего возвращения в Варшаву. К сожалению, не приводит в них ни одной фамилии, ни имени, ни одного названия лагеря, только места ссылки. Почему – могу лишь догадываться. Если когда-либо Вам пришлось с ней встретиться, буду очень благодарен за любую информацию, которую сохранила Ваша память.

Несколько слов о себе. Мой отец – польский коммунист, политэмигрант, редактор польской газеты в Москве, арестован и расстрелян в 37-м г. Я прожил молодость в Москве, благодаря добрым людям избежал детдома, вернулся к матери в Варшаву в 1946 г. По образованию инженер. Сейчас на пенсии, работаю в польской секции «Мемориала». Собираю сведения о поляках и польских гражданах,

репрессированных в Союзе в 30-е гг. (до 1939). Сотрудничаю с «Мемориалом» в России. Вот вкратце всё.

Примите мои самые лучшие пожелания, с уважением...

Рышард Калицкий

29.06.1995, Польша, Варшава

Многоуважаемая Тамара Владиславовна!

Большое спасибо за письмо и за помощь в розысках информации о Маде Тёмкиной. Вашему знакомому Куценко я напишу, может быть, удастся что-нибудь узнать. А ведь она всего лишь крупница в море мучений и горя! И у каждой крупницы своя судьба! Я сижу над копиями документов: допросов, показаний и обзорных справок из архивов НКВД – и передо мной проходят тысячи судеб врачей, рабочих, учителей, актёров, домработниц, партийных и военных работников, поэтов и духовных лиц, и всё обрывается одним: «Приговор приведён в исполнение». Что они думали тогда, эти обречённые люди? О чём думал мой отец, когда его, 34-летнего журналиста, переводчика «Капитала», члена ЦК Компартии Польши, вели в тот страшный подвал? О своей матери в далёком Данциге? Или о жене, которая отсиживала очередной срок в Польше? Или о своих товарищах-эмигрантах, обманутых, растерянных, полных самых плохих предчувствий и поочерёдно исчезающих неизвестно куда? Этого уже никто никогда не узнает. А о Маде хочу ещё добавить несколько интересных подробностей. Она происходила из хорошо обеспеченной еврейской семьи. Окончила педагогический факультет в Бельгии, в Варшаве работала в еврейском детском доме, вместе с доктором Гольдшмитом (это очень известный педагог и писатель Януш Корчак, убитый вместе со своими воспитанниками в Трешлинке). Потом, будучи, как все прогрессивные люди того времени, приверженкой советской России, поехала, кажется, в 1936 г. в Москву перенимать опыт советской школы. С собой она взяла, ни больше ни меньше, рекомендательное письмо к Карлу Радеку! Это возымело известные последствия, и её на этот раз лишь выслали обратно в Польшу. Потом началась война, и она, еврейка, естественно, искала убежища в России. Очутилась в эвакуации, жила у семьи, которая её приютила. К несчастью, к ней начал благовоить глава семьи, который, не получив требуемого, попросту сдал квартирантку в органы – как шпионку, высланную из Союза, которая вернулась! Так она и пошла по «кругу первому»...

Вот Вам, дорогая Тамара Владиславовна, ещё одна судьба, ещё одна жизнь, ненормальная, изуродованная, но хотя бы оконченная дома, в своей постели. А ведь подумать только, что в то же самое время, когда в России продолжалась вся эта кровавая бойня, где-то в другом мире, хотя бы в той же Бельгии, жили нормальные люди, ходили в кино, растили нормальных детей, не просыпались по ночам от стука на лестнице. Как всё это могло совместиться? Этого, вероятно, никто никогда не поймёт.

Простите меня за столь длинное и печальное письмо. Думаю, что Вы меня поймёте. Всего Вам самого, самого хорошего.

С искренним уважением...

Михаил Борисович Рогачёв

8.04.1996, Россия, Республика Коми, Сыктывкар

Уважаемая Тамара Владиславовна!

Я получил Ваше письмо, но, к сожалению, с большим опозданием, так как Вы отправили его по адресу, по которому я уже давно не живу. В довершение ко всему, извещение почему-то принесли не по новому адресу, а на работу – в Институт языка, литературы и истории Коми научного центра РАН, где я работаю по совместительству и бываю редко (основная моя работа – в лицее при университете, я учитель истории).

Я сделаю всё возможное, чтобы выполнить Вашу просьбу, тем более что хорошо Вас знаю заочно – по Вашей книге, которая произвела на меня неизгладимое впечатление. Сам я это время не застал: родился за полгода до смерти Сталина, но много прочёл об этом страшном времени, работая в «Мемориале», встречался и говорил со многими бывшими политическими заключёнными. И могу сказать, что более потрясающей книги я не знаю.

Спасибо Вам огромное за то, что Вы нашли силы и *сумели* рассказать о пережитом!

Я послал все необходимые запросы: в Волгоград, где должно быть следственное дело, в наши лагерные архивы, в Главный информационный центр МВД РФ в Москву, в архив ЗАГС. Материалы в Сыктывкаре проверю сам. Надеюсь, что удастся найти необходимые сведения. Всё это потребует времени. Буду извещать, а документы отсылать в Польшу.

Всего Вам наилучшего.

Анна Яковлевна Григорова

18.09.1995, Россия, Чувашская Республика, Чебоксары

Даже не знаю, с чего начать, Господи, наверно, здравствуй, прежде всего. Дорогая моя, красивая, умная, необыкновенная, спасибо за то, что ты есть! Пишу с перерывами, сразу не могу. Тamarочка, пишу, называю тебя на «ты», так лучше, знаю, поймёшь, знаю, не обидишься. Книгу твою прочитала два раза. Первый раз читала галопом, потому что Тонечка Бургулова сказала: «Даю ненадолго». Много желающих, всё понятно. А вот когда ты мне её подарила, читала с перерывами, сразу не могла, настолько правдиво, глубоко. Бросала, опять начинала, возвращалась. Хотелось кричать: «Нет, нет, такого не было! Нет, нет, такого быть не должно!» *Но это было*, к сожалению. Дорогой ты мой Спозжок непарный, вот пишу и опять плачу, не потому что я сентиментальна, нет, пойми меня. Книга ещё хорошо оформлена, спасибо художнику, только по-своему понимаю: то ли искра, то ли сердце разорвалось у автора, то ли цветок воспламенился, возродился к жизни. Ладно уж, по-своему, как могу. А почему такой маленький тираж?

Спасибо за записочку, которую Тоня мне передала. Всё перечитываю и смотрю на твою фотографию – вот как будто живая сидишь передо мной. Вспоминаю, как жили вместе в гостинице в Донбассе на гастролях. Не прошу себе, что мало в то время уделяла тебе внимания, тоже все мысли были дома с сыном. Ты-то уж это поймёшь, как никто. Ни на минуту не выходил из головы, оставленный один, ещё маленький, в начальных классах, – не хочу вспоминать. Иногда думаю, как хорошо, что всё проходит, и хорошее, и плохое. Но из жизни всё это не выкинешь.

Да, как мы с тобой капусту покупали. Как ты рожицу строила. Однажды мы с тобой стояли в очереди за чем-то, не помню. Ты пошла вперёд, а я осталась стоять. Ну, на тебя засматривались, ты это сама знаешь. И вот женщина выверилась на тебя, а ты ей рожицу молниеносно соорудила. Она стала оглядываться: кто как на это реагирует? Одна я только отвернулась, смеясь. В общем, всякую ерунду пишу, как умею, моя дорогуша...

Ну вот пока и всё, моя дорогая. А вообще-то ты как-то запала мне в душу с тех давних пор, не часто такое бывает.

Как-нибудь ещё напишу. Книгу буду читать третий раз. Над чем сейчас работаешь? Такие, как ты, не должны молчать.

До свиданья.

Люблю и помню.

Будет желание, напиши. Буду рада.

Анна

07.08.1996, США

Дорогая, уважаемая Тамара Владиславовна!

Пишет Вам Анна из Соединенных Штатов Америки (волею судьбы мне пришлось остаться здесь, я живу здесь уже три года).

Счастливый случай свел меня на Аляске с Вашей знакомой из Молдовы – Ольгой Тиховской. В разговоре с ней я упомянула, что перечитываю в который раз «Архипелаг» Солженицына, на это она сказала, что у неё есть для меня подарок – книга её друга Тамары, она что-то рассказывала о героях Вашей книги, тогда я не вникла в подробности... Первый раз я читала взахлёб, с боязнью глядя, как стремительно увеличиваются прочитанные страницы (ужасно не хотелось расставаться с Вами и Вашими друзьями), мороз подирал по коже от прочитанного. Я не берусь сравнивать Вашу книгу с «Архипелагом», это совершенно другое...

...Мой отец... тоже отбыл свои 10 лет, после возвращения из Китая, но у нас в семье как-то об этом никогда не говорили, только когда собиралось какое-нибудь застолье, я помню, как отец, подвыпив, начинал беззвучно плакать, говоря: «Десять лет – ни за что!» А мама иногда говорила беззлобно (!): «Русские над русскими издевались». Причем всё это говорилось с какой-то покорностью, безропотностью, а мы, дети, сами не спрашивали.

Спасибо Вам, дорогой человек, за Вашу работу! У меня к Вам море вопросов... Как долго Вы работали над Вашей книгой? Как сложилась Ваша дальнейшая судьба? Встречаетесь ли Вы со своим сыном? Вот бы он прочел эту книгу о судьбе своей мамы! Буду беречь её, как зеницу ока, для своих детей. Представляю Вас молодой, красивой, как на фото. Если это не затруднительно для Вас, хотелось бы иметь Ваше фото (можно с Вашей сестрой Валеёй) сейчас. Прошу Вас, живите долго, пишите ещё книги. Простите за нескладное письмо, так много хотелось сказать! Преклоняюсь перед Вами, Ваша книга, как Библия, заставляет задуматься о смысле жизни.

Татьяна

Октябрь 1996, США

Дорогая моя Женщина!

Я не буду говорить, что потрясена, что преклоняюсь перед Вами, что люблю Вас. Я читала Вашу книгу в Америке в онкологическом

госпитале. Болезнь у меня, как говорил Александр Исаевич, последняя. Я выжила благодаря книге. Впервые я читала воспоминания о чёрном времени именно Женщины. Могу ли, имею ли право сказать, что понимаю Вас, что по одной капле многое из Вашей судьбы испытала?

Рожала ценой операции на сердце при беременности; предательство и развод, попытка отобрать дочь; похоронила любимого человека; потеряла Родину; рак, операция, чудовищно тяжёлое лечение; дочь не понимает, не хочет разговаривать, общаться.

Стыдно жаловаться, но я почти умирала от боли, когда читала. И вот я уже дома, продолжаю бороться за жизнь. Только из последних сил решилась и крикнула «SOS» в русскую газету. И мой телефон в палате «заговорил». Звонили еврейки, украинки, русские – женщины, которые болели, поняли, посочувствовали. Люди!

Не решаюсь назвать себя эмигранткой, как и многих, кого я знаю здесь, к сожалению. Слишком мы мелки и мелочны для высокого звания русской эмиграции, которая бережно хранила и умножала великую культуру, заслонив её собой от социалистического реализма и атеизма. Это для меня свято. Как и страдания всего Вашего поколения.

Уезжала я сознательно, но знаю, что до последней минуты своей жизни буду одержима Россией. После Вашей книги я твёрдо поняла, что должна жить, чтобы помнить. Всё! И я помню. И мне хотелось бы, чтобы Вы, дорогая Тамара Владимировна, знали, что в самом северном штате Америки ещё живёт маленькая женщина, которой Вы помогаете выжить, которая рыдала над Вашей судьбой.

Целую Вас нежнейше.

Преданная Вам...

Владимир Давыдович Шварц

02.03.1997, Россия, Москва

Уважаемая Тамара Владиславовна!

Пишет Вам сын Давида Владимировича Шварца – Владимир Давыдович. Я 1924 г. рождения. С огромным волнением прочитал Вашу книгу «Жизнь – сапожок непарный». Я трижды был в Княж-Погосте у отца. Первый раз – в 46-м году, когда он ещё был з/к, и дважды после его освобождения с пунктом 39. Многих людей из его друзей я знал, и поэтому в Вашей книге мне многое знакомо. Отец в 1956 г.

был реабилитирован и вернулся в Москву. Умер он в 1973 году и похоронен на Новодевичьем кладбище. Он успел рассказать мне очень многое о тюрьмах и лагерях, и когда я читал Вашу книгу, я видел всё это, как наяву.

Я очень Вам благодарен, что Вы вспоминаете моего отца. Если у Вас есть о нём ещё какие-нибудь воспоминания, то не посчитайте за труд, напишите мне.

Если Вас интересует его судьба после того, как Вы его узнали, то я с радостью Вам напишу.

Ещё раз большое спасибо. Целую Ваши руки.

Михаил Борисович Миндлин

03.06. 1996, Россия, Москва

Многоуважаемая Тамара Владимировна!

Примите от меня, глубокого – 87-летнего – старика, бывшего узника ГУЛАГа с шестнадцатилетним стажем, сердечную благодарность за неоценимый подарок – Ваше произведение «Жизнь – сапожок непарный».

Несмотря на мой довольно солидный лагерный опыт, Ваше описание жизни в лагерях, где Вы отбывали свой срок, для меня было большим откровением, и если сказать правду, я был бы не против свой срок отбывать в Ваших местах Гулаговской империи, ибо Колымские ИТЛ на приисках на общих работах ни с чем не сравнимы. Нас выживали единицы. Несмотря на всё пережитое и на мой возраст, я с 1988 года вплотную посвятил остаток своей жизни увековечиванию памяти жертв политических репрессий. Многим нашим детям и внукам наша группа помогла найти место захоронения близких и родных. Между прочим, и некоторым ленинградцам, которые к нам обратились, мы тоже помогли.

Если у Вас есть друзья, которых постигла такая же судьба невинно убиенных, мы готовы оказать помощь, чтоб их родные могли узнать об их судьбе. Между прочим, дочь Кагнера работает в нашей группе. Я дал ей прочитать Вашу книгу. Ещё раз сердечное Вам спасибо за книгу. Живите долго и плодотворно на радость нашим детям, внукам и подрастающему поколению, чтобы кровавое прошлое не повторилось.

С уважением...

Ирина Борисовна Кагнер

Россия, Москва

Уважаемая Тамара Владиславовна!

Вам пишет дочь Бориса Марковича Кагнера...

Я очень благодарна Вам за теплые слова и память о моём отце.

Михаил Борисович позвонил мне сразу, как только дошёл в книге до того места, где Вы описываете встречу с моим отцом, и по телефону прочитал мне абзац, в котором Вы описываете встречу с ним. Позже Михаил Борисович дал мне прочитать Вашу книгу, которую я с жадностью читала. Особенно главы, описывающие Княж-Погост.

Я была там с мамой в 1946 г. и, пожалуй, только сейчас поняла, насколько тяжела была эта встреча для отца. Его арестовали, когда мне был всего год, и с тех пор я воспитывалась у бабушки с бабушкой. Дедушка и мамин младший брат вполне заменили мне отца. Почему он живёт не с нами, я тогда ещё не понимала, но это меня и не слишком волновало.

Эту поездку я запомнила тем, что почти половину пути проплакала, зачем мы уезжаем от бабушки, и меня утешал какой-то офицер, ехавший в Воркуту.

Когда же я увидела отца, то это был для меня совершенно посторонний человек, которому было очень трудно даже вызвать меня на разговор.

В Вашей книге я встретила много знакомых фамилий. Некоторые из них я просто слышала в нашем доме, некоторых помню – они бывали в Москве и заезжали к нам.

Помню Давида Владимировича Шварца. Бывал у нас Фруг. Отчетливо вспомнила мать Бориса Маевского. Она жила у нас в доме, в соседнем подъезде, и, очевидно, они с мамой передавали друг другу письма, полученные с оказией.

На самом деле судьба отца сложилась несколько иначе, чем описано в Вашей книге. Он не умер тогда в лазарете, как Вам сказали. Нет. Он был выслан в Кокчетав в 1949 г. Мы с мамой были там во время моих летних каникул. Отец работал бухгалтером на заводе. Там же были и Шварц с женой. В конце 1949 г. их арестовали снова. Как сказала мама следователю, очевидно, не был выполнен план по арестам. Он ей не возразил.

Отец попал в Озерлаг (об этом я узнала совсем недавно). А тогда практически мы писем от него уже не получали.

Когда умер Сталин и появилась надежда на освобождение, сердце отца не выдержало. Накануне смерти он писал письма маме и своей сестре, которые так и остались недописанными.

Он умер в мае 1953 года. Его друзья по лагерю написали нам о его смерти и переслали с оказией недописанные им письма.

Давид Владимирович Шварц выжил, освободился, приходил к нам после реабилитации. О последнем лагере он не мог даже вспоминать.

Ещё раз большое Вам спасибо за добрую память о моём отце...

Татьяна Ивановна Шмидт

02.01.1997, Россия, Москва

Дорогая Тамара Владиславовна!

Я совсем недавно «познакомилась» с Вами: где-то недели две назад Михаил Борисович дал мне почитать Вашу книгу, и все новогодние праздники я просидела над ней.

Спасибо Вам! Вы очень талантливый человек. И очень добрый. Книгу отдала вчера Михаилу Борисовичу, но хочу теперь купить себе две, чтобы книга была в семьях обеих моих дочерей.

К Михаилу Борисовичу я пришла этим летом. Знакома с ним с 1987 года – тогда узнала, что он в Бутырках пересёкся с отцом моего мужа. Пришла к нему в поисках имён расстрелянных – жителей так называемого московского Дома Правительства. С 89-го года там существует музей дома, и я работаю там. А теперь помогаю и Михаилу Борисовичу и работаю в его группе.

К нам в музей приходят бывшие жильцы, дети 30-х годов. Часто их родители были расстреляны или прошли лагеря, часто и они сами арестовывались – кто в 30-х годах, кто в 47-м – 49-м.

Одному из них я позвонила, прочитав в Вашей книге тёплые слова о его отце. Это Владимир Давыдович Шварц. В 1937 году он с родителями отправился в административную ссылку в Тобольск, а в начале 1939 года его отца, Давида Владимировича Шварца, приговорили к 10 годам лишения свободы, отправили в СЖДЛ. Вы приводите рассказ А. О. Гавронского о нём, через несколько страниц снова его упоминаете. Вот эти две странички я и зачитала по телефону Владимиру Давыдовичу. Он сам – инвалид войны, недавно из больницы и снова собирается ложиться. По его просьбе я в тот же день узнала, где можно купить Вашу книгу, дала телефон Виленского, а вечером он позвонил мне сам и сказал, что уже договорился с Виленским, и завтра его родные поедут за книгой.

Моё письмо пойдет к Вам 13-го – с Новым годом, дорогая Тамара Владимировна, счастья Вам, здоровья! Михаил Борисович шлёт Вам огромный привет, он уже знает, что у Вас благополучно прошла операция, и очень рад за Вас.

Спасибо Вам и низкий-низкий поклон.

Ваша «читательница»...

Татьяна Ивановна Шмидт

16.12.97

... Что до моих поисков, то через несколько лет после смерти мужа (в 1985 году) я ещё раз обратилась в Военную прокуратуру (была реабилитация отца мужа в 1957 году и свидетельство о смерти от 1954 года – умер в 1940-м, причина смерти – прочерк). Где-то в 1987–88 годах узнала, что он был расстрелян 29.7.38. А в 1993 году уже от Михаила Борисовича узнала, что место захоронения – Бутово – Коммунарка. Бутово – это полигон НКВД под Москвой, Коммунарка – совхоз, на месте бывшей дачи Ягоды. Там были дачи НКВД, а на даче Ягоды держали и расстреливали «врагов». Указывают оба эти места. Когда точно и где расстреливали и хоронили, неизвестно. Но скорее всего это Бутово, в Коммунарке обычно расстреливали «своих», т. е. энкавэдэшников.

Читала в прошлом году в архиве ФСБ следственные дела родителей мужа. Дело отца – 3 тома, мамы – совсем тоненькое. И тоже встретилась с чудом: отдали мне 12 документов и фотографий, взятых у неё при обыске в июле 1938 года и почти 60 лет пролежавших в деле!

Всё время думаю, как страшно жилось нашим родителям.

Дорогая Тамара Владиславовна, желаю Вам побольше сил, здоровья, радости! И ещё раз – спасибо за прекрасную книгу!

Майя Ованесовна Гаспарян

07.12.1997, Россия, Москва

Дорогая Тамара Владиславовна!

Ради Бога, не считайте себя обязанной мне писать... Судьбы у нас разные. Ваша судьба – испытанная горем, трудностями, отчаянием. Вы – человек уникальной судьбы, Вы – избранник Божий, как Иов. А у меня обычная судьба, отягощённая в нашей стране всего лишь двумя обстоятельствами: мать – еврейка, отец – враг народа. Прочи-

тав Вашу книгу в первый раз, я не могла понять, чем Вы так мне близки. Когда я Вас увидела, то почувствовала, что Вы, несмотря на то, что прошли через ад на земле, сохранили чуткое, доброе и внимательное отношение к окружающим Вас людям. А ведь именно Вы должны были стать жёсткой, злой и беспощадной. Это меня ещё раз потрясло, хотя я и была готова к этому, понимала, какой человек может написать такую книгу.

...Должна Вам сказать, что Михаил Борисович Миндлин звонил мне и сказал, что получил от Вас необыкновенную телеграмму. Ему было стыдно, он был потрясён, потому что ничего подобного никогда в жизни не получал. Спасибо Вам, дорогая, за то, что Вы остаётесь родником, к которому каждому хочется припасть. Именно поэтому я ещё раз перечитала Вашу книгу. И мне вдруг открылось, что же у меня с Вами общего. Помните, когда в поезде из Фрунзе в Ленинград лётчики спросили Вас, в чем Вы видите цель своей жизни, Вы ответили: «Усовершенствовать себя!» Вашим спутникам это показалось смешно, но я нашла в этом нашу с Вами общность. Другое дело, что моё стремление к самоусовершенствованию в школьные годы выглядело так, что теперь я несу за это покаяние. «Алёша Птицын вырабатывает характер» – такой был фильм, и я ссылаюсь на него в своём школьном дневнике, а за этим следуют пункты, которые я должна выработать в своём характере. И среди них самый главный – быть достойной дела Ленина–Сталина и своей самоотдачей этому делу доказать, что хотя я и дочь врага народа, но всецело предана партии и Сталину. Боже, какой ужас! Ведь именно я, как лучший декламатор в классе, читала чуть ли не со слезами на глазах эти безумные стихи: «Спасибо Вам, что в дни великих бедствий за всех за нас Вы думали в Кремле! Спасибо Вам, что мы повсюду вместе, за то, что Вы живёте на земле!» До сих пор не могу себе объяснить: почему я оказалась манкуртом? Почему я, беспредельно любящая и уважающая свою мать, не верила ей, что мой отец был честный человек? Может быть, потому что, в отличие от Вас, я не помню своего отца, ведь он был арестован, когда мне было три года...

Екатерина Романовна Дмитриевская

04.03.1997, Россия, Москва

Дорогая Тамара Владимировна!

...Я понимаю, что несколько запоздала со своими поздравлениями. Да и сами поздравления с такой пронзительной, талантливой

книгой-исповедью кажутся мне чем-то очень неловким и неделикатным. Вообще я читала Ваш «Сапожок» с чувством стыда от того, что, не пережив тысячной доли того, что досталось на Вашу долю, смею жалеть себя в каких-то ситуациях, думать о том, что что-то в моей жизни не задалось, чего-то там мне недодали. И дело, конечно, не во мне конкретно, а в том, что Ваша книга способна перевероршить читателя, вызвать это чувство стыда. В нашей жизни, где вообще этический элемент как-то сильно приглушён, необыкновенно важен сам факт появления Вашей книги. Я пишу сбивчиво оттого, что волнуясь. И надеюсь, что Вы мне простите корявость слога. Удивительно, как у Вас получилось описать среду, обстановку, само время. Всё это делает «Сапожок» лучшим учебником истории. И конечно, портреты людей, которых видишь, запоминаешь, даже если они даны мимолётными штрихами. Я случайно открыла книгу Туровской о М. И. Бабановой и там наткнулась на письмо В. Дасманова 1945 года о том, как они с Т. Г. Пулукидзе слушали радиорепродуктор, по которому передавали «Соловья» в исполнении Марии Ивановны. После Вашей книжки я так ясно представила себе эту картину. Не знаю, понимала ли Туровская, что это было за письмо и откуда. Она его никак не комментирует и только говорит, что «ради такого отклика, ради мгновенной счастья, подаренного в трудную минуту (воистину!) стоит быть артистом».

...Я прилагаю к письму свои колонки из «Экрана и сцены», в одной из них есть упоминание о Вашей книге. Хотелось бы надеяться, что Вы продолжите писать. 50-е, 60-е, 70-е, 80-е достойны быть описанными Вами. Завидую Вашему дару, восхищаюсь Вашим талантом, Вашей доброжелательностью, интересом к жизни...

Будьте, пожалуйста, здоровы и бодры.

Семья Карп

11.03.1997, Россия, Республика Коми, Котлас

Глубокоуважаемая Тамара Владимировна!

Вашу замечательную книгу нельзя читать с перерывами... От неё трудно оторваться!

Наша семья – сын Андрей, инвалид детства (ДЦП, 35 лет прикован к постели, сам себя не обслуживает), жена Екатерина Михайловна и я. Вашу книгу читаем одновременно, улучив минуты, когда она «свободна». Моё «льготное» время уже после 21 часа, я и этому рад.

Вы совершили подвиг дважды! Первый: прошли невероятный путь в муках и терзаниях! Второй: нашли в себе мужество и силы описать этот путь! Наша семья гордится Вашим подвигом!

Вами выстраданная книга... дала нам очередной заряд бодрости, помогает переживать трудный период суматошной жизни...

С глубоким уважением...

Кирилл Леонидович Датешидзе

Россия, Санкт-Петербург

Милая, дорогая, замечательная Тамара Владимировна!

Я читал Вашу книгу почти полгода, и не только потому, что суета и разные необходимости занимали моё время, а, в первую очередь, потому, что невозможно в 2–3 недели осознать, почувствовать и вместить в себя такую жизнь, как Ваша. Я читал её, откладывал, помнил о ней и думал, говорил о ней с близкими и начинал читать опять.

Мне казалось, что после Солженицына, Гинзбург, Шаламова, Оруэлла, Кёстлера, Зиновьева, Керсновской я знаю уже достаточно, но выяснилось, что есть ещё «многое на свете...», и всё это отзывается болью и ошеломлением не меньшим, чем тогда, когда я читал об этом впервые.

Постепенно, кроме Вашего названия книги, во мне, чем дальше я читал, тем настойчивей возникало и еще одно – «Раба любви». Мне кажется, это было не меньшим «ведущим предлагаемым обстоятельством» Вашей жизни, чем эпоха и места пребывания. И в этом смысле Ваше жизнеописание перешагнуло для меня рамки «Эпоха и Личность» и стало явлением на уровне «Эпоха и Вечность» или «Личность и Вечность», и поэтому у меня и у всех моих знакомых, кто читал Ваше житие, есть колоссальное желание так же подробно прочесть эту жизнь до дня сегодняшнего.

Я не знаю, есть ли у Вас желание и силы писать дальше, но если бы это осуществилось, то это было бы явление уникальное, ибо я, например, не знаю в мемуаристике ничего подобного.

Я хорошо помню Ваш юбилейный вечер в СТД и то, что я тогда сказал Вам. Я говорил, что бывают периоды, когда надо жить, и бывают периоды, когда надо выжить. И очень немного есть у меня людей, благодаря которым выжить получается. Вы, Ваше существование, знакомство с Вами именно в этом смысле и помогало мне, а ведь я тогда ещё ничего не знал ни о Вашей книге, ни о Вашей биографии.

Где-то я слышал изречение о том, что человеку за всю жизнь достаточно прочесть всего 13 книг, но искать их приходится всю жизнь. Мне кажется, что Ваша книга – одна из моих тринадцати.

Я позвоню и приду к Вам, если позволите, чтобы просить Вас оставить на книге автограф.

Тереза

Франция, Париж

...Эта книга с первых страниц очень живая и берущая за душу. Мы открываем для себя Ленинград начинающегося сталинизма, юный, идеалистический, динамичный, вопреки трудностям. И вдруг в эту жизнь вторгается ужас... Можно только, отстранившись, восхищаться: откуда человек может черпать столько энергии, мужества, достоинства для противостояния? Какими силами ему удается победить этот ад?

Как мне хотелось бы с Вами познакомиться, как мне хотелось бы дать возможность тем, кто достоин, открыть для себя Ваше свидетельство страдания, надежды, победы!

Фазиль Абдулович Искандер

14.04.1997, Россия, Москва

Уважаемая Тамара Владимировна!

Оказывается, Вы близко знакомы с Ефимом Эткиндром. Как это славно! Я ему написал о Вашей книге, которая произвела на меня самое большое впечатление из всех книг, прочитанных в последние годы. Оказывается, он Вас давно знает и любит. И он попросил меня Вам написать, что я и делаю. Я уверен, что Ваша книга навсегда останется в русской литературе. Она удивительна во всех отношениях. Она благородна, культурна, человечна и написана с редким тактом и мастерством. Это не только моё мнение, но и мнение всех, кому я давал её читать. То, что по поводу неё я не слышал в прессе большого разговора, пусть Вас не смущает. Такое время. Сейчас в нашей литературной критике серьёзные книги практически не обсуждаются. Десять лет назад она произвела бы фурор. Пишете ли Вы сейчас что-нибудь новое? Хотелось бы, чтобы Вы ещё что-нибудь написали, столь же мощное и убедительное. Хотя, конечно, наше время менее всего способствует самоуглублению. Однако дух веет не толь-

ко, где хочет, но и когда хочет. Крепко жму Вашу чудную руку, написавшую такую книгу...

Ф. Н. М.

06.11.1997, Россия, Санкт-Петербург

Уважаемая Тамара Владимировна!

14 июня этого года я встретил в Летнем саду Виктора Ампилова (лидера «Трудовой России») и сказал ему, что я думаю о нём, его партии и главной (для него) тайне нашей родины – об антагонистической структуре этого общества (М. Васленский. «Номенклатура»). Когда же В. Ампилов узнал, что я рабочий Кировского завода (сейчас пенсионер), то начался разговор в таких тонах, что все вороны улетели из Летнего сада. В результате обмена мнениями он мне пообещал верхние нары в бараке № 1 лагеря № 1. На что я ему ответил, что бросаю учебную гранату на 45 метров. И испугался. Видно, страх глубоко сидит у меня внутри. Мне Вам в этом не стыдно признаться.

Не встречали ли Вы людей, которые после лагерей пытались повторить деяния графа Монте-Кристо в отношении своих мучителей?

С уважением...

Иван Трифонович Твардовский

09.10.1997, Россия, Смоленск

Милая и дорогая Тамара Владиславовна, здравствуйте!

Сердечно благодарю Вас и Вашего мужа за добрые, обстоятельные письма и суждения о моей книге «Родина и чужбина». Я бесконечно рад, что Вы есть, что Вы живёте и здравствуете, что Вы не одиноки, что есть у Вас близкий и дорогой человек. С того момента, как в моих руках оказалась Ваша книга, Вы стали для меня истинно легендарным и дорогим человеком. И вся Ваша жизнь есть подвиг сильного духом человека. Пройдя через ад, Вы нашли силу и волю исполнить огромного объёма труд, результатом которого явилась чистая и прекрасная книга «Жизнь – сапожок непарный».

...Да, милая Тамара Владиславовна, читать «Жизнь – сапожок непарный» мне было очень тягостно, я прерывался, предлагая моей жене Марии Васильевне послушать отдельные главы. Мы вместе глубоко

переживали все Ваши ситуации. Верилось и не верилось, что Вы ещё живы, и хотелось, очень-очень хотелось слышать о Вас и молить Господа Бога, чтобы хранил Вас.

...Я дивлюсь и радуюсь, обращая внимание на Ваш почерк. Ваша рука продолжает быть послушной и устойчивой, что само по себе говорит о том, что Господь дарует Вам самое главное в жизни: светлый разум и добрые чувства, любовь к жизни, какой бы она ни была.

Храни Вас Господь!

Григорий Соломонович Померанц

31.12.1997, Россия, Москва

Дорогая Тамара Владиславовна!

Прочитав главу о смерти Николая, чувствую, что не могу писать иначе, более официально. Дочёл Вашу книгу до конца. Время от времени смотрел на Ваши фотографии и думал: счастливая внешность. Но не в этом дело. Секрет в другом. И находил слова: цельность, искренность, внутренний огонь. На последних страницах нашёл слова Хеллы – совсем как мои: «Жизнь наделила нас... изнутри идущим огнем...» Что-то, а захватывающую душу искренность Вы отвоевали у жизни с лихвой. И вот это всё будило в людях человечность. Даже в следователе, в начальнике тюрьмы, в надзирателе. Это то, что потрясает.

Во второй половине книги стало ясно, что мысль о близких, желание сохранить память о них была, может быть, главным толчком к книге.

...Так и я через 15 лет написал, нашел интонацию, смог... И люди читали, говорили мне, что хорошо. Но вот что меня удивило: добрая половина прибавляла, что лучше всего в повести (или как там это назвать) я сам, моя любовь. Я сперва удивлялся, а потом понял, что они по-своему правы. Можно даже пофилософствовать, как это делал Александр Осипович: именно когда совсем о себе не думаешь, всего себя и выкладываешь (кстати, два его высказывания в письмах совпадают с моими недавними лекциями, оба в точности: о том, что цель и смысл жизни не должны отрываться от жизни, и о личной жизни как о творчестве). Вот Вы и высказали себя всю, думая о других. «Очарованная душа» (это о Вас верно сказали), проходя через ад, на миг даже бесов завораживает. В этом особое обаяние Вашей книги. Вы уступаете Шаламову по мастерству, но духовно

Вы мне бесконечно ближе. Вы словно по моему заказу написали о своем пути.

В книге много того, что поверх тюремного и лагерного быта, что-то неповторимое, и это неповторимое – Вы.

Судя по надписи на книге, Вы что-то мое читали. Если хотите ещё что-то из моего или Зининого – пришлём.

Дай Вам Бог здоровья и сил в Новом году и ещё долгие годы!

Монахиня Иоанна

28.01.1998, США

Дорогая о Господе Тамара Владиславна!

Сестра Лидия дала мне прочитать Вашу книгу. Она глубоко затронула моё сердце. Много я читала книг о лагерях, но это не то – это о юной душе среди зла, которое невозможно воспринять. Я написала о Вашей книге. Если наша газета напечатает, то пришлю.

О себе. Мои родители принадлежат к первой эмиграции, папа – белый офицер, лётчик. Я выросла в Сербии, в Белграде, училась в русской гимназии, окончила медицинский факультет, но практикой не занималась (это была война – конец её). Из Германии мы приехали в Америку, и я преподавала литературу, русский язык в колледже. Теперь – здесь, при монастыре – маленькая община святой мученицы Елизаветы. Я уже монахиня.

Муж умер. Двое детей. Сын в Вашингтоне, дочь – адвокат. В Германии видела лагеря. Мы были свободны, но я посещала их, так как добровольно работала с тифозными. По возрасту мы близки. Я пробовала немного писать. Писала, конечно, религиозные статьи.

Очень рада была бы получить от Вас весточку.

С любовью во Христе...

09.11.1997

Многоуважаемая Тамара Владимировна!

Мои ухтинские друзья из «Мемориала» прислали мне Вашу книгу «Жизнь – сапожок непарный». Я не могу найти нужных слов, чтобы выразить благодарность им и восхищение Вашей жизнью, Вашим талантом...

Много страшного пережило наше поколение. Меня привезли в 1945 году сразу на Лубянку. Потом 2 года – Лефортовская тюрьма,

Ухта, Воркута, снова Ухта. В 1956-м реабилитирован. Жил в Ухте до 1963 года. Знал Ваших ухтинских друзей: Володю Глазова – с 1947 года, Наташу Пушину, Зинаиду Николаевну Корневу.

Вы талантливы и мужественны! Как смогли Вы всё это вновь пережить и написать?

Я разделяю Вашу муку из-за отношения Вашего сына к Вам. Мне это знакомо. Моя дочь всем говорила, что её отец умер, несмотря на то, что я из Ухты всегда посылал ей возможную помощь.

Моя дочь не знает меня. Ваш сын тоже не знает Вас.

Очень трогает Ваша привязанность к Николаю Теслику и благоговейное отношение к его могиле.

Ваша книга находится в одном ряду с «Крутым маршрутом» Евгении Семёновны Гинзбург и «Левым берегом» Варлама Шаламова. Написана кровью о погубленной жизни...

Бронислав

Ок. 1997 г.

Здравствуйте, Тамара Владиславовна!

Пишет Вам бывший заключённый, отсидевший 9 лет, с пересидкой в год. В 1946-м освободили, колонна № 15, вблизи станции Светик. Начальник колонны – Воркута. Прочитав Вашу книгу, которую мне дала прочитать Ирина Андреевна, вспоминал лагерь и колонны, описанные Вами, в которых и мне довелось побывать, почти в то же время, в 37–46 гг. Я живой свидетель пережитого. Родился я в 1920-м в Сибири, в Томской области. В 1937 г. был арестован по доносу трёх человек. Меня заставили подписать себе приговор: 8 лет и 5 – поражения в правах.

Прошёл и прочувствовал все этапы, пересылки, унижения и зоны, после долгого мучения распределили в Мариинские лагеря, в Сибирь. Часть из нас, 8 тысяч, на зоне отобрали на дальний этап в Ухтинско-Печорский лагерь.

В 38-м году через пересылку Котлас, этапом в барже по реке Вычегда до пристани Усть-Вым, а дальше пешком до 21-го лагпункта. Начальник Виноградов. Работа: лесоповал и вывозка леса машиной к реке Весляне. За время сидки моей я побывал в Княж-Погосте, 20-й лагпункт. На зоне – врач Шапурма Юрий Дмитриевич; фельдшер Трунин Дмитрий Григорьевич; вольнонаёмный врач, начальник Смирнова Евгения Васильевна. Был также в Весляне, зона Зим-

ка, 3-й штрафной, как специалист по пилению шпал. И наконец Светик, где я закончил свой срок.

В 1946 г. со Светика до Микуни я доехал товарняком, в Микуни мне оформили справку об освобождении, где стоит подпись «Варш». На душе были и радость, и смятение. Билет был выписан до Томска. Но по совету одного друга я не поехал в Сибирь, а устроился в селе Айкино грузчиком в «Заготзерно». Через год я переехал в Котлас и проработал на одном месте 36 лет. В Котласе была семья, дети. Жёну похоронил, дети разъехались по другим городам. 6 внуков и 2 правнучки редко пишут. У них свои заботы.

Спасибо Вам за правдиво написанную книгу о далёком времени. Я ещё живой тому свидетель.

Вероника Чернышёва

25.11.1998, Россия, Москва

Дорогая и прекрасная Тамара Владиславовна!

Меня зовут Вероника, мы мельком встретились с Вами на кухне у Галины Александровны Шиловой, в Москве...

Вашу книгу я прочла в два приёма. Сначала – до Вашего первого этапа. Каково Вам было это пережить – кафкианско-достоевский кошмар наяву, если я от одного сострадания сорвалась в депрессию, Галина Александровна свидетель. Я боялась читать дальше: не хотела мучиться, хотя понимала, что не имею права беречь себя и уклоняться. Только теперь, когда убили Галину Старовойтову, я решилась одну боль глушить другой. Простите, что звучит неделикатно по отношению к автору, но мы же книгами и спасаемся, и лечимся, с их помощью и живём, и бежим от жизни.

Я уже давно слушаю в книге автора, живую душу, а не писателя: года всех клонят к чтению воспоминаний. А тут я увидела автора наяву: невероятно молодую, красивую, по-ленинградски куртуазно-интеллигентную и удивительно живую женщину – без всякой заматерелости, как бы всё ещё в поиске, становлении, душевной трепетности.

Из книги я почувствовала, что Вы отмечены редчайшим из даров, который в человеческом каталоге и не обозначен толком, потому что не поддаётся умной словесности: что-то вроде жизненной полноты, крепости, какой-то очень качественный состав тела-души-духа – без червоточины и кособочины (то, что Вы прокладываете как неуверенность в себе, наверное, есть продукт Вашей потребности к самораз-

виту: духовный фермент, который препятствует окостенению личности, проявляется вовне как неуверенность, т. е. тормозит развитие уверенности в себе). Все дары обязывают – и Вы своей отработываете с честью, что тоже редкость. Для Вас всё это не новость, но я просто подтверждаю со стороны. Какая удача, что всё зафиксировано Вашей книгой – подвиг не меньший!

Из Ваших художественных достижений, которых я не искала, да и Вы, кажется, не к ним стремились, – как Вы сумели не спроецировать себя взрослую на себя юную?! Вы сумели передать, как медленно зреет женская душа, в каких-то глубинах, почти не зависимых от внешнего хода жизни. А другое – это ощущение ладони, прикрывающей свечечку на ветру.

Огромное Вам спасибо.

Н. В. К.

15.03.1999, Белоруссия

Дорогая Тамара Владиславовна!

Я не знакома с Вами, но мне трудно обратиться к Вам иначе, так как, несмотря на то, что я человек другого поколения, мне слишком близко и понятно многое из Вашей жизни.

Наверное, это символично, что после того, что Вам пришлось пережить в те страшные годы, Ваша родственница – Вера Стремковская из Минска защищает в суде моего отца (...), которому в июне этого года должно исполниться 75 лет и который уже почти полтора года предварительного следствия провёл в тюрьме. Так родное государство «отблагодарило» моего отца за то, что он больше 50 лет рвал жилы на адской работе, отдавая ей всё время и все силы без остатка. Впрочем, «награда» Вашему отцу была ещё страшнее.

Мой отец – слишком неординарная, нестандартная личность, талантливый хозяйственник и неугодный всем властям своей независимостью руководитель, не признающий слепого повиновения. В отместку он был публично оклеветан, унижен. Растоптана вся наша семья: мой муж провёл полгода в тюрьме и полгода в спецкомендатуре, моя сестра осуждена условно, её муж приговорен к четырём годам усиленного режима. Не стану описывать все унижения, которым мы подвергались, Вам всё это прекрасно известно. Почти год я провела на постоянных допросах, моя четырнадцатилетняя дочь прожила этот год с собранным чемоданом вещей и наказом о том, что ей

делать, если я не вернусь с очередного допроса. При этом на нашу семью выливались потоки грязи в официальных средствах информации, сейчас всё это продолжается в суде. Я запретила себе думать об этом, иначе можно было просто сойти с ума. Вера Валентиновна бессильна что-либо изменить, хотя и старается. Мы всегда будем ей признательны за понимание и моральную поддержку, которая нам всем так нужна.

Как удивительно через столько лет переживать ощущения, похожие на Ваши, чувствовать чужое горе так же, как своё, и всё это благодаря Вашей книге. Я думаю, Вы уже много хорошего слышали о ней, и мое письмо – не исключение, но я чувствовала потребность написать Вам.

Я прочла Вашу книгу, когда душа отказывалась жить, хоть её и принуждали, и ощутила, что я не одинока, переживая вместе с Вами.

Сожалею, что мне не довелось увидеть Вас на театральной сцене. Мне кажется, что Ваш талант смог проявить себя на сцене так же ярко и индивидуально, как он чувствуется в каждой строке Вашей необыкновенной книги. Спасибо Вам за то, что Вы есть, за то, что Вы смогли пережить все испытания, выпавшие на Вашу долю, сохранив силу и красоту. Несмотря на страшные потери, Вы вышли победителем в извечной борьбе Добра со злом, и благодаря Вашей книге жизни люди всегда будут помнить об этом. Вы заслужили право на счастье, и я от всего сердца желаю Вам, чтобы Вы не чувствовали одиночества или тоски, потому что Вы не одиноки. Я всегда буду помнить и рассказывать о Вас своей дочери, которая еще только вступает во взрослую жизнь.

Дай Вам Бог здоровья и возможности спокойно наслаждаться простыми житейскими радостями, в которых так нуждается человек и в молодости, и в пору зрелости и мудрости.

Сердцем всегда с Вами.

Олег Александрович Угрюмов

22.04.1999, Россия, Республика Коми, Яренск

Уважаемая Тамара Владиславовна!

Обращается к Вам журналист из Яренска Олег Александрович Угрюмов. Видимо, Ваша книга «Жизнь – сапожок непарный» дошла до Яренска из Ухты благодаря усилиям общества «Мемориал». Интерес она к себе вызвала огромный. Во-первых, тем, что читается на

одном дыхании. Во-вторых, речь касается знакомых нам мест: Светик, Урдома, Сангородок, Яренск.

Я являюсь одним из руководителей школьного клуба «Поиск», который занимается историей спецпереселенцев в нашем районе. Мы работаем над этой темой уже четвёртый год. Бываем с ребятами в походах в местах, где стояли посёлки переселенцев, записываем воспоминания этих людей. Уже подготовили книгу. Стараемся её размножить, чтобы она была в библиотеках района.

Прочитав Вашу книгу, мы решили пройти по тем местам, о которых Вы пишете. Были в походе на станции Светик. К сожалению, люди здесь уже давно сменились, самый давний житель живёт с 1959 года, и о стоявших здесь лагерях никто ничего не знает. Жители других населённых пунктов, а неподалёку были посёлки спецпереселенцев, вспоминают, что на Светике было две или три зоны.

Вы описываете поездку в Яренск и встречу с детьми из детского дома. Конечно, времени прошло очень много. Что за воспитательница была с детьми, установить сложно. Но работники детского дома той поры помнят и ваш концерт и говорят, что такая встреча могла быть. И даже морковку, которой дети вас угостили, детский дом выращивал всегда. В те годы это было лучшее угощение.

Побывали мы на месте, где находился лагерь Протока, у моста через Вычегду, нашли людей, отбывавших там срок. Хотим поработать в поселке Казлук, где располагался Сангородок. Одним словом, хотелось бы собрать материал по строительству железной дороги на территории нашего района. К сожалению, делать это значительно сложнее, чем собирать материал о спецпереселенцах, ведь узники лагерей в основном если не погибли, то уехали из этих мест. Поэтому мы и решили обратиться к Вам с просьбой: если не трудно, вспомните что-то ещё, о чём Вы не рассказали в Вашей книге, о жизни в Светике, Урдоме, Сангородке...

...Нам интересно всё, включая мелочи, о том времени, о той обстановке. И будем очень рады, если Вас не затруднит ответить нам, и если будет такая возможность, прислать нам Вашу фотографию. Ну а для знакомства высылаю Вам фотографию нашего клуба (слева руководитель «Поиска» Николай Евгеньевич Ильин), мы сфотографировались в посёлке спецпереселенцев Ледня, где в память о его жителях мы поставили небольшой обелиск. Такие обелиски или памятные кресты мы хотим поставить и в местах, где находились лагеря строителей железной дороги, в местах их захоронений...

Борис Степанович Хватов
16.01.1989, Россия, Республика Коми, Печора

Канин Нос

На десять лет «без права переписки»
Особый суд меня сюда сослал.
Сказали мне, что я шпион английский,
А я об этом ничего не знал.

Мне не забыть кровавого кошмара:
И день, и ночь – то пытка, то допрос.
Не помню, как везли до Нарьян-Мара,
Но помню, как попал на Канин Нос.

Мы ни о чём охрану не просили:
«Врагов народа» никому не жаль.
Нас на баржу в три яруса грузили,
Как негров на невольничий корабль.

Кто истощён, кто болен, кто изранен –
Нас всех в один зловонный «лазарет».
Живот мне грел своей спиной крестьянин,
А спину животом – больной поэт.

Четыре дня на нарах без матраца
Лежали мы, как грязные кули.
Нас ели вши, но даже почесаться,
Прижатые друг к другу, не могли.

Забылся я, дыша в затылок дяди,
И снится мне: я в ледяной барже.
А пробудился – спереди и сзади
Два мертвеца, холодные уже.

Им даже в братской не лежать могиле
В лесах печорских на краю земли.
Они обратно в Нарьян-Мар поплыли,
А их лохмотья на костре сожгли.

Под дулом пулемётов, доходяги,
Скорей за дело! И не ешь, не спи,
Пока не возведёшь надёжный лагерь,
Где сам себя посадишь на цепи.

А после – кто убит здесь, кто затравлен.
Здесь столько крови пролилось и слёз!
Где памятник Русанову поставлен
На мысе, что зовётся Канин Нос.

Наталья Александровна Шмаргилова

Россия, Республика Коми, село Айкино

...Прочитала Вашу книгу «Жизнь – сапожок непарный». Она произвела на меня неизгладимое впечатление: страшные страницы истории, поломанные судьбы.

Спасибо огромное Вам за книгу, за то, что Вы не даёте забыть прошлое.

В книге много страниц, где описаны Межог, Микунь, Ваше выступление на сцене Дома культуры г. Микунь, встречи с художником Борисом Маевским.

В этом году в июне месяце планируется открытие музея истории Северной железной дороги в г. Микунь, в экспозиции будет отражена тема ГУЛАГа, представлены экспонаты, которые нам удалось собрать.

Я обращаюсь к Вам, Тамара Владиславовна, с просьбой о помощи, хотелось бы иметь в фондах музея и на экспозиции Ваши материалы, рукопись Вашей книги, где описаны Межог, Микунь, фотографии до и после ареста, фотографии людей, с которыми Вы встречались в это время, воспоминания о них. Если они живы, их адреса, чтобы мы могли обратиться к ним с подобной просьбой...

Я работаю директором Усть-Вымского музейного объединения. Вместе с сотрудниками восстанавливаем и открываем закрытые страницы истории...

Эрна Евгеньевна Рашба

15.12.1999, США

... Я думала, живя уже 8 лет в Америке и стараясь понять её людей и их проблемы, что те давние трагические истории ушли для меня в прошлое и лежат где-то на дне души. Но взяла в руки Вашу исповедь – и всё ожило...

Помню декабрь 37-го, когда ночью в мою комнату (мне 10 лет) вошёл отец – попрощаться, какой-то очень высокий, в длинном чёрном пальто. Помню сквозь полубред (я болела тяжёлой корью) 27 июня 41-го года, когда со мной прощалась мама.

В моей еврейской семье главным приоритетом была возможность получить образование. Отец, Кельман Евгений Исаакович, был профессором права Киевского университета и Института народного хозяйства, а мать – адвокат. В решении тройки он – немецкий шпион; она свои 5 лет получила уже в эшелоне, везущем её в Марийские лагеря как жену шпиона.

Отцу дали 5 лет с правом переписки. Так что до последних его дней мы получали письма, а в 40-м году мама ездила к нему. Что меня особенно взволновало в Ваших хождениях по мукам – Вы упоминаете лазареты Межог, Протока. Там закончилась жизнь отца. Он был «пересидчиком», здоровье его сдало после общих работ, и добило его то, что бывшие ученики стали просить начальство ГУЛАГа отпустить его работать в разные университеты России, но на все просьбы приходил отказ. Он умер в апреле 1945 года. Только вырвавшийся оттуда один человек рассказал мне, в каком ужасном виде отец был к концу. А я помню отца красивым жизнерадостным человеком, большей частью за письменным столом, но в свободное время сочиняющим шуточные стихи, аккомпанирующим маме, которая хорошо пела.

Конечно, вероятность того, что он встретился на Вашем пути, мизерно мала, но всё же, а вдруг?

После смерти отца маму довольно быстро отпустили, но с минусом, и она поселилась в Петушках – 100 км от Москвы, где жила я, и провела там ещё 9 лет. Брак моих родителей был очень счастливым, и мама до конца жизни осталась верна памяти отца, при том, что была красивой женщиной и была разлучена с мужем в 40 лет.

Моя доля была счастливее судьбы многих детей «врагов народа»: меня не принуждали отказываться от отца, не арестовывали, не заставляли доносить; удалось получить образование, избежать комсомола. Варварский режим иногда давал сбой.

Когда мы с мамой смогли наконец поселиться вместе, нам было непросто. Я никак не оправдываю Вашего сына, который не делал попыток понять и полюбить свою родную мать, но понимаю трудности сближения после такой изломанной жизни. Всё же у меня остаётся надежда, что он не остался для Вас совсем чужим.

Приближается Новый, 2000-й год – начало нового тысячелетия. Мы не увидим этого будущего, но хочется, чтобы там было меньше крови, грязи, предательства и беззакония.

При всем кошмаре описанных событий Вашей жизни в книге есть сильная оптимистическая линия: человеческие взаимоотношения, дружба, взаимовыручка – то, что никакой изуверский режим не смог отобрать, отобрав свободу...

М. Ю. К.

2000 г., Россия, Москва

...В этом году моя внучка поступала в МГУ на журфак; на собеседовании её спросили, какая из прочитанных в последнее время книг произвела на неё наибольшее впечатление. Она назвала Вашу книгу. Экзаменаторы попросили рассказать, о чём она, после чего устроили разгром, довели девочку до истерики, а на прощанье посоветовали «подумать, почему Сталин *вынужден* был так поступать». Так вот и живём...

Семён Виленский

Московское историко-литературное общество «Возвращение»

*Тамаре Владиславовне Петкевич —
автору книги «Жизнь — сапожок непарный»*

Доверья и света
Безмерный поток —
Непарный за это
Носи сапожок.

Тюремные были,
Допросы и срок...
Уж лагерной пылью
Повеял Восток.

Там горе людское
И дьявольский смех,
А слово благое
Кто скажет за всех?

Звезда среди ночи,
Та женщина здесь.
Все армии молча
Отдайте ей честь!

И пусть мне простится
Возвышенный слог, —
Но парных
Непарный
Родней сапожок!

Майя Шейнина
17.01.2000, Израиль

Дорогая Тамара Владиславовна!

...Родилась я, слава Богу, позже Вас, в 1929 г. и, возможно, поэтому избежала страшной участи тысяч женщин (или миллионов), чья судьба была жестоко сломлена в начале, в середине или даже в конце жизненного пути. Мой отец, Харин Соломон, родом из Гродно, умница, крупный экономист, бывший какое-то время замдиректора Госбанка СССР в Москве, был арестован весной 1936 г., обвинён в троцкизме и расстрелян 4 ноября 1936 г. Моя мать, Софья Зильберберг, родившаяся в Лодзи, была замечательным врачом-гинекологом в знаменитом родильном доме имени Грауэрмана. После ареста отца её сначала выслали в Уфу, а затем отправили в женский лагерь в Акмолинск как ЧСИР. Спасение мамы было в том, что все семнадцать лет лагерей и ссылки она работала врачом. Характер у нее был стойкий, она спасла многих женщин-заклужённых от общих работ, т. е. от гибели, и они до конца её жизни (в 1977 г.) окружали её любовью и вниманием.

Возможно, такая биография особенно располагает к чтению Вашей книги, но дело, конечно, не только в этом. И не в том только, что и я с 1937 г. росла в Ленинграде (меня взяли на воспитание бездетные тётя и дядя, жившие на Петроградской стороне)...

Меня особенно привлекла психологическая глубина книги, стремление автора понять истоки человеческого характера, дойти до самой сути влияния людей и всевозможных обстоятельств на формирование личности ребёнка, потом девушки, потом взрослого человека...

Стоит только открыть книгу, как она снова затягивает в себя, невозможно оторваться. И снова сияют, как звёзды, прекрасные люди, особенно женщины, жизнь которых так бесчеловечно, так чудовищно загублена. И это всё люди с конкретными именами, каким-то непостижимым образом сохранившие живую душу и творческую искру в истине адских, мучительных условиях.

Какая в целом в Вашей книге получилась сюрреалистическая картина прожитой нами «советской» жизни – как непостижимые полотна Босха! Всё человеческое, естественное упорно вытаптывалось, вырывалось по обе стороны лагерной ограды. В лагере, пожалуй, было даже больше проявлений человечности, чем на воле. Нельзя дружить,

нельзя любить, верить, «высовываться», если талантлив, помогать слабым – всё было под запретом. И каждый эпизод книги, раскрывающий суть нашей прошлой жизни, воспринимается как (единственно) важный, необходимый, особенно значительный... И стыдно становится за себя в прошлом, на сумевшую самостоятельно понять, в какой безысходности оказались люди, пережившие ужас лагерей и не имевшие никакой почвы под ногами: ни жилья, ни возможности работать по профессии или призванию, отвергнутые людьми, обществом, зачастую даже близкими друзьями и родными... Сколько прекрасных, достойнейших людей, героев Вашей книги, не дожили до дней освобождения, реабилитации или пришли к ним уже без сил, не смогли подняться!

Спасибо Вам, Тамара Владиславовна, что Вы нашли в себе силы написать замечательную книгу, волнующую каждого, кто её прочел... Даже письмо написать довольно трудно, сколько же сил понадобилось Вам на создание книги!

Анастасия Георгиевна Лобода

24.03.2000, Россия, Республика Коми, Княж-Погост

Уважаемая Тамара Владиславовна!

Это письмо из Княж-Погоста. Пишу Вам я – Лобода Анастасия Георгиевна, мама Наташи, которой Вы прислали открыточку с добрыми пожеланиями. Эти добрые слова Ваши помогли и помогают нам жить. Наш Подоров Женя кончает 6-й класс, живёт он с отцом. Наташа ни в чем не виновата, такая, видимо, её судьба. Я знаю, как ей тяжело, сама окончила пединститут, учила детей в школе, в начальных классах, теперь в садике «Сказка» в компьютерном классе. Утешаю, как могу, говорю, что у людей ещё больше горя, надо вытерпеть, а сама часто плачу.

Мы обе прочли Вашу книгу. Сколько же пришлось Вам пережить! Читали и плакали. Я тоже считалась репрессированной, хотя родилась в 1939 г. в посёлке Вожаель. Мама моя в 30-м году была раскулачена в селе Зайцовки Воронежской области, с первым мужем Моторкиным была привезена в Княж-Погост, район Коми. Вся первая семья мамы умерла в голодные годы. Оставшись одна на Севере, она встретила моего отца Лободу Георгия Дмитриевича. В 1942 г. он ушёл на войну, в 42-м и погиб. Об отце я не знаю ничего, как он попал в Коми. Родственников его не знаю. Говорят, он был очень умный.

В 1941–42 гг. он работал в Коине – 18 км, там была очень трудная подкомандировка. Пыталась искать по отцу родных, узнать о нём что-то, но ничего не нашла. После войны мама вышла замуж, и мы уехали на Кубань. Окончив техникум, в 58-м г. я приехала в Коми. Меня отговаривали ехать сюда, но я надеялась, что найду кого-нибудь из родственников отца. Только в 79-м году отчим сказал мне, что, может, я всю жизнь жила под чужой фамилией. Он сказал мне: «Время было такое». В 80-м он умер, мама – в 53-м. Живу с 72-го г. в Княж-Погосте, с 58-го по 72-й – в других районах Коми. Здесь, в Княж-Погосте, много людей со всей страны, которые пережили страшную беду. Для того времени они были враги, а для нас они родные, дорогие и любимые люди. Мы должны рассказать детям, внукам о том, что мы пережили. Спасибо Вам за то, что Вы написали эту книгу, спасибо за то, что эта книга дошла до многих простых людей. Моя соседка, Ланина Зинаида, доярка, сказала: «Читала и плакала». Книгу я подарила Наташе своей на 8 марта.

В Княж-Погосте весна, снегу в этом году полным-полно, только начал таять. На кладбище всё в снегу. Мы часто бываем там, всегда заходим к Вашему Коле. Летом подметаем, когда надо, когда поминуют – помянем. Жалко табличку, её украли с могилки Вашей, а так все нормально.

До свидания.

Ирина Вааге*

24.09.2001, Норвегия, Осло

...Книгу Петкевич прочитала за два дня, было трудно заниматься чем-либо ещё. Она перевернула душу, выстроила всё на места, смыла всю повседневность... это событие в духовной истории России, это те современные праведники и мученики, ради которых Бог хранит этот мир. Всё-таки мне невозможно понять то такое недавнее, чудовищное время. Что это был за дьявольский эксперимент? Как с этим жить, куда вмещать? Невольно спрашиваешь себя, что бы сам стоял в тех условиях. Становится страшно. «Держи ум во аде и не отчаивайся». Одно из самых сильных мест в книге – это решение Тамары Петкевич не сотрудничать с «ними», её согласие на мученичество и смерть вместо гибели души... Жить можно и стоит, когда знаешь, что были и есть такие люди...

* Это и два следующих читательских письма автору переслали друзья.

...Спасибо тебе большое за книгу Тамары Петкевич. Я прочла её всю, от корки до корки. Теперь читает мама. Какая замечательная книга! Как много мыслей о моральных ценностях и проблемах каждого живого человека! Она возбуждает и заставляет пересмотреть всего себя. Я абсолютно верю каждому её слову и вижу то возвышающее и спасительное влияние, которое она оказывает на окружающих. Именно потому, что автор не старается этого делать и не стремится быть идеалом и лидером.

Дорогая Анечка!

Только что закрыла последнюю страницу рекомендованной тобою книги Т. Петкевич «Жизнь – сапожок непарный»... А когда прочла послесловие, то оказалось, его написал мой приятель по Ленинградскому университету Борис Егоров. Прочла воспоминания взхлёб, не отрываясь, с болью и содроганием сердца. Тем более что мой двоюродный брат, известный китаист Саша Шпринцин прошёл путь Тамары Петкевич, правда, в другом месте – под Магаданом. Но сволочная власть во всех местах имела одинаковых нелюдей. Саша вернулся инвалидом – ему выбили глаз... Крупный учёный, он посмертно включен в словарь выдающихся советских востоковедов.

Я закрыла последнюю страницу книги на ночь глядя и сразу же тебе пишу. Преклоняюсь перед мужеством Тамары Петкевич, не могу смириться с мыслью, что сын, здравствующий сын, отнят невозвратно (так я прочла в послесловии Бориса). Неужели ему не попадёт-ся на глаза эта исповедь измученной горем матери? Кстати, фамилия Бахарев не изменена? Ты писала, что знакома с автором. Осталась ли она одна на старости лет или нашла себе опору под старость?

А несколько дней тому назад в газете попало интервью с этим неандертальцем Зюгановым, в котором он на вопрос, почему его «демократы» носят портреты Сталина, кощунственно ответил, что во время оно он был ещё маленьким, а кроме всего, партия осудила на XX съезде «ошибки».

Почему-то подумалось, что пушкинская «заря пленительного счастья» над Россией никогда не взойдёт, если голосуют за Зюгановых и Жириновских.

И всё-таки я тоскую по Ленинграду, друзьям, квартире, могилам, где вся мамина родня, Шпринцины, лежат вместе. Я агностик: не верю и не отрицаю Бога, но... ведь, как говорил Светлов, «ни одной жалобы оттуда ещё не поступало», а Антокольский в поэме «Сын» писал: «Прощай, поезда не приходят оттуда»...

Алла Фёдоровна (медсестра в Военно-медицинской академии)
16.04.2002, Санкт-Петербург

...Помните, Вы лежали у нас в Академии, у Вас была высокая температура, а Вы никого не звали, ничего не просили. Я сказала Вам: «Вы – героическая женщина». А когда Вы выписывались, то подарили мне свою книгу...

Я вот уже и мать похоронила, через полгода мужа потеряла. У самой инсульт случился... А Ваша книга всё помогает и помогает. Опять перечитываю её...

Спасибо за неё.

Тамара Викторовна Мухачёва

Россия, Республика Коми, Емва

Тамара Владиславовна, здравствуйте!

Пишет Вам Мухачёва Тамара Викторовна, уроженка города Емва (в прошлом посёлок Железнодорожный). Мои родители тоже встретились в то тяжёлое время в тюрьме, и я у них родилась 7 июня 1942 года. Сейчас нет никого в живых, а при жизни эта тема была запретная. После смерти отца вышла книжка-брошюра о нём, кое-что я узнала о его жизни, но самое интересное – там не существую ни я, ни мама. Всё тайно, хотя потом, уже после освобождения, он помогал мне алиментами, писал письма, что меня и маму он любит, но такое время было, что были поломаны все человеческие судьбы. Каждый пошёл своей дорогой. В 20 лет я нашла его, в 40 лет он приехал первый раз ко мне на день рождения. И вот мы все собрались отметить его 80-летие 22 сентября, но скоропостижная смерть (от сердца) оборвала его жизнь.

А теперь о Вашей книге. Знакомые дали почитать в декабре, а в марте я сама купила её для домашней библиотеки, пусть все родные прочитают. Книга потрясла меня, и если бы была жива Вера Трофимовна, я бы и ей подарила её. Это я о Верочке Жевнерович, о которой Вы пишете в книге на стр. 322. Тётя Вера и её семья дружили с моими родителями. 30 лет они прожили в Туапсе. 17 лет я ездила к ним на море и помогала тёте Вере. Последние годы она никуда не выходила. Когда я приезжала, мы с ней все вечера разговаривали о Княж-Погосте, она так любила меня расспрашивать о городе: что изменилось, кто ещё жив, кто как живёт. И вообще её интересовало всё. В этом году уже 3 года в ноябре будет, как она умерла. В последний раз, когда мы уезжали, она мне сказала, что больше мы не увидимся, а я не

поверила. На Новый год не получила от неё ответа. Летом приехала, а соседи рассказали, как она болела и они за ней ухаживали. Раз в год я с соседями хожу к ней на могилку. Жизнь у неё была тяжёлой, муж рано умер, похоронен в Туапсе. Сын Игорь умер в 42 года от воспаления легких. Дочь Ирина в 40 лет умерла от сахарного диабета, буквально за 3 месяца растаяла. Остались два внука от обоих детей. Внук Максим – инвалид детства (ДЦП), прожил с бабушкой последние годы, ему уже 21–22 года – был единственный её помощник и трудяга. Теперь мальчика забрал отец-пьяница. Всё распродал из квартиры тёти Веры. Голые стены остались. Хотел квартиру продать, но соседи не дают. Вот такие дела. Часто хожу на кладбище к маме и захожу на могилку Николая Теслика, рассказываю своим знакомым о Вас и Вашем любимом Николае.

Р. М., А. К.

Россия, Республика Карелия, Медвежьегорск

Здравствуйте, дорогая Тамара Владиславовна!

...Вашей книге нет цены! Мы живем в Карелии, в Медвежьегорске, где вершились судьбы таких людей, о каких Вы написали в книге. Это не книга, а реквием!

Я читала без отрыва день и ночь и половину времени проплакала над ней. Прочла за несколько дней. Закончила читать 18 декабря, а 19 декабря – великий праздник, День святителя Николая Чудотворца.

Мы с Александром Климовичем утром 19 декабря пошли в наш храм Или Пророка. Благо, что он у нас теперь есть в Медгоре. К вере мы пришли на старости лет и стали молиться и всё изучать, читать. Открыли для себя целый мир, ранее незнакомый нам, хотя и были в детстве крещёные.

В храме поставили свечи, написали записки о поминовении усопших, упомянули в первую очередь Вашего Колюшку и остальных невинно убиенных и пострадавших, молились за них всех.

Храм у нас по воле судьбы находится на том месте, где во время сталинских репрессий 1934–39 гг. заключёнными был построен театр, и там, как и Вы, выступали заключённые артисты. Старожилы рассказывали, что было не хуже, чем в Мариинском театре. Во время войны здание было полностью уничтожено...

В этом году летом мы с Александром Климовичем обвенчались. Я докрестилась, так как меня в 1935 г. на дому крестила бабушка, сами

знаете, какое было время. Правильно сказала Ваша бабушка Дарья: «Без Бога-то нельзя, ходить всё равно будем, да только потихонечку!» Царство ей небесное, вечный покой. Права она тысячу раз, жизнь это показала. Не профессор, а так могла высказать именно то, что нужно в первую очередь каждому человеку, живущему на земле!

Тамара Владиславовна!

У Вас с Юрой всё будет хорошо, тоненькая, узенькая, чуть приметная росистая тропинка уже проложена, есть. Это Ваша невестка, внуки. Внуки – Ваша родная кровь, и это всё самое живое...

Целую, обнимаю Вас, Тамара.

Дай Бог Вам счастья, здоровья, да хранит Вас и всех Ваших Господь Бог!

Мария

19.09.2002

Здравствуйте, уважаемая Тамара Владиславовна!

Я прочитала Вашу книгу, и она настолько затронула мою душу, что возникло к Вам родственное чувство, сопереживание тому, что произошло с Вами. Вы стали мне близки. Простите. Не могу выразить словами то, что чувствую.

Мне 42 года. Разрешите мне кратко рассказать о моих предках. С отцовской стороны мой прапрадед (в середине XIX века) был священником. Имя его – Фёдор Успенский. Сын его умер, только успев жениться, и оставил мою бабушку, Матрону Моисеевну, сиротой. Бабушка вышла замуж за Фёдора Кондратьевича Капустина, работавшего на типографии Сытина литографом, корректором, гравёром. Жили они в Клязьме, в достатке. У них было 4 сына. Один из них – мой отец. В первую волну репрессий их раскулачили, а дедушку посадили в Бутырки, хотя к так называемым кулакам они не имели никакого отношения. Через год выпустили и сразу реабилитировали, но в тюрьме он заболел туберкулёзом, от которого умер зимой 1941 года. Его жена, моя бабушка, не боялась высказывать своё отношение к существующей власти и во вторую волну репрессий была осуждена по 58 статье и выслана в Красноярский край, в посёлок Балахна на Чульме. Удивительным образом сохранилось одно письмо, которое Фёдор Кондратьевич послал в ссылку Матроне Моисеевне. В нём говорилось, что он подал прошение о пересмотре её дела во все инстанции, и везде отказали. Старший брат отца Виктор погиб в 41-м году под Москвой. Моего отца на фронт не взяли, потому что во время рас-

кулачивания ему разбили коленную чашечку, начался туберкулёзный процесс и отец остался инвалидом.

Со стороны мамы мои предки казаки из Приазовья. Мой прадедушка Николай Аркадьевич Лащилин в 1895 году окончил Строгановское художественное училище в Москве, где учился на деньги казаков. Его два брата были офицерами царской армии. В 1918 году дедушка с женой бежали из Мариуполя от красного террора в Подмосковье. В Мариуполе он преподавал живопись и рисунок, в Подмосковье работал на заводе. Судьба его братьев неизвестна. Его дочь Мария Николаевна (моя бабушка) и её муж Дмитрий Николаевич Никитин (мой дедушка) были удивительно добрыми людьми. У них было три дочери. Старшая – моя мама. Удивительно, но я чувствую связь со всеми моими предками и понимаю, что не имею права своими поступками оскорбить их память.

Помоги Вам Господи!

Низкий поклон Вам.

Сергей Александрович Тиктин

16.02.2003, Израиль

Дорогая и многоуважаемая Тамара Владиславовна!

Пишут Вам Ваши новые поклонники Дора Штурман и Сергей Тиктин из Израиля. Фактически пишу я, Сергей, так как Дорочка приболела...

Читая Вашу книгу, мы плакали, как в детстве, читая «Хижину дяди Тома» и «Тия Уленшпигеля»...

Дора Штурман попала в советские лагеря почти тогда же, когда и Вы. Причём за дело. Будучи в эвакуации студенткой литфакультета в Алма-Ате (недалеко от мест начала Ваших злоключений), начала она с изучения творчества Пастернака, Маяковского и Бабрицкого и дошла до анализа советской системы, её пороков и объективных причин последних. В этом её работы близки к работам Р. Пименова... Эти её материалы надолго канули тогда в чёрную дыру ГУЛАГа, были возвращены почти через 50 лет и пересланы друзьями в Израиль. Когда мы их разбирали, то нашли Дорочкиным почерком на полях: «Сталин... сволочь». В 1940-х за это можно было схлопотать не пять лет, а пять расстрелов. Не заметили?! Выпустили Дорочку досрочно, тяжело больную – и тоже по ошибке. Ведь её дело, ко всему прочему, было ещё и групповым (58-10-11).

К счастью, ей удалось сохранить дочку, хотя и тут было много страхов. В лагерях Дорочка не исправилась. Выйдя на советскую волю, продолжала заниматься системологическими исследованиями, литературной критикой и стихосложением. Умело скрыла свою судимость, живя в непаспортизованной местности, и тем самым избежала повторного ареста. Потом окончила филфак и перебралась в Харьков, к матери (ныне покойной), расставшись с первым, «лагерным» мужем. С ним она прожила 16 лет, но, как сапоги, на воле они тоже оказались «непарными». Сокровище судимости раскрылось случайно. Ух и бесились харьковские партийные бонзы! Но времена уже были другие.

Познакомились мы с Дорочкой в 1966 году. Пожились в 1971-м.

Я окончил университет как физик, работал в различных НИИ, много воевал за своё научное направление, защитил диссертацию. А дома годами собирал анекдотный фольклор. Так что мы с ней оказались парными сапогами. Живём вместе уже тридцать с лишним лет. О нашей деятельности знал в Союзе только весьма тесный круг...

...К началу 70-х нам в Союзе стало «жарко». Надо было уносить ноги. Речь идёт не о смелости или трусости, а об элементарной осторожности, сохранении возможности продолжить работу и, в конце концов, «запустить её на информационную орбиту». Дорочка второго срока бы не выдержала, а я бы и первого. То, что пережили Вы и она, впору сравнить с тайфуном. Как правило, попавшие в тайфун корабли погибают вместе с экипажем и грузом. Мало кому удаётся спастись, и их заслуженно числят в героях...

Виталий Александрович Бернштейн

12.11.2006, США

Дорогая Тамара Владимировна! Пишет Вам из Бостона Ваш далёкий читатель и почитатель. Прочитал, не отрываясь, Вашу книгу, которую дал мне Рафа Лашевский. Тема её вроде бы не новая. О лагерях уже писали много: и Солженицын, и Шаламов, и Гинзбург, и другие. Материал тот же, но в нём Вы сумели увидеть что-то по-иному, под своим углом зрения... Вот ведут группу заключённых по посёлку, а несколько детишек подбегают к ним, голодным, и суют свои конфетки. И вдруг Вы замечаете, что идёт обок колонны заключённых охранник с винтовкой – и плачет. Это Ваш особый талант – и в лагерном аду, даже казалось бы у самых падших, подсмотреть сохра-

нившиеся крупинки человеческого добра. Но самое главное, что поразило меня в Вашей книге, – необыкновенная, чистая, несмотря ни на какую окружающую грязь, душа автора. Я, например, в неё просто влюбился. Думаю, что у Вас было в жизни так много влюблённых в Вас почитателей не только и не столько потому, что Вы были красивой женщиной, но прежде всего потому, что настоящие мужики чувствовали эту Вашу необыкновенную душу и обречённо тянулись к ней.. Искренне желаю Вам всего самого доброго и прежде всего – здоровья. Пользуюсь случаем, чтобы презентовать Вам книжечку своих стихов.

Ваш...

Анна Яковлева

2002, Россия, Санкт-Петербург

Здравствуйте, Тамара Владиславовна!

Какое странное чувство было у меня: как будто вне времени совсем. Всё спало, и ты один наедине с жизнью (или вечностью). Не знаю. С этой странной связью явлений и судеб, что стоит за всем этим. Когда ты напрямую к ней подключён. Сопричастность.

Наверное, я не имею права говорить об этом, но как это удивительно, что книга эта становится мифом почти; каждым к ней прикоснувшимся переживается заново и как какое-то личное событие, как будто это с ним происходит. Так ведь может быть только с мифом, который затрагивает что-то очень глубокое в людях, глубинное в каждом и в то же время что-то такое... их общую духовную жизнь. И вот кусочек книги инсценирован, кусочек только, а получился большой и пронзительный спектакль, огромный, по сути, целое пространство – ведь так может быть только с мифом. Как это удивительно!

Вообще для меня это было каким-то пробуждением. Как будто вдруг – глоток вечности.

Боже мой!

Сил Вам и здоровья, чтобы немножко полегче было бы.

Низкий, низкий Вам поклон.

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора	3
Глава первая	5
Глава вторая	33
Глава третья	64
Глава четвёртая	103
Глава пятая	127
Глава шестая	139
Глава седьмая	149
Глава восьмая	166
Глава девятая	187
Глава десятая	205
Глава одиннадцатая	225
Глава двенадцатая	245
Глава тринадцатая	260
Глава четырнадцатая	273
Глава пятнадцатая	290
Глава шестнадцатая	315
Глава семнадцатая	331
Глава восемнадцатая	349
Глава девятнадцатая	365
Глава двадцатая	382
Глава двадцать первая	395
Глава двадцать вторая	414
Глава двадцать третья	424
Глава двадцать четвёртая	443

Т. В. Петкевич**На фоне звёзд и страха. Воспоминания.** — СПб.: «Балтийские сезоны», 2008. — 496 с. 2,5 п. л. илл.

ISBN 978-5-903368-11-2

Книга продолжает повествование, начатое автором документальной прозы «Жизнь — сапожок непарный» пятнадцать лет назад, и на сей раз охватывает период с 1952 года до наших дней. Целая эпоха увидена глазами героини, чья взрослая жизнь началась в 1937-м, а творческая судьба — в театре Княж-Погоста. Театральные дебюты на сценах Шадринска, Чебоксар, Кишинёва. Поиски сына, потерянного в годы войны. Учёба на театроведческом факультете Ленинградского театрального института, работа в Доме художественной самодеятельности. За жизненными вехами одного человека встает жизнь страны, перемены, происходившие с обществом, культурой, превращая частную историю в повесть о воспитании чувств, обретении мудрости.

УДК 882-94
ББК 84 Р7Петкевич Тамара Владимировна
НА ФОНЕ ЗВЁЗД И СТРАХАИздательский редактор *Е. С. Алексеева*
Художественно-технический редактор *В. С. Дзяк*
Компьютерная вёрстка *Т. В. Климентенко, С. В. Арефьев*
Корректор *С. Мишеева*Подписано в печать 25.01.2008. Формат 60×90^{1/16}.
Бумага офсетная. Печ.л. 33,5.
Тираж 1000 экз.
Заказ № 2408.НП «Балтийские сезоны»
Тел/факс (812) 713-43-46Отпечатано с готовых диапозитивов
В ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие «Искусство России»
198099, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, корп. 2.